МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

С. В. МАКСИМОВ

СИБИРЬ И КАТОРГА

ТОМ 1



С. В. Максимов

Сибирь и каторга

Том I

Часть I–II



Москва
Берлин
2021

УДК 94(57)-058.56
ББК 63.3(2-253)-361
М17

Максимов, С. В.

М17 Сибирь и каторга. Том 1. Часть 1–2 / С. В. Максимов. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. — 648 с.

ISBN 978-5-4499-1958-8

Книга путешественника, известного этнографа-беллетриста Сергея Васильевича Максимова (1831–1901 гг.) открывает нам одну из малоосвещенных в печатных изданиях конца XIX — начала XX в. страниц российской истории. Мы говорим об истории каторжного режима России.

В 1858 г. царским правительством была приобретена Амурская область. Морское ведомство поручило С. В. Максимову, до этого хорошо зарекомендовавшему себя в ряде этнографических экспедиций по России, отправиться в исследовательскую поездку по Дальнему Востоку, а на обратном пути посетить ряд сибирских тюрем и изучить быт ссыльных и каторжан. В ходе этой экспедиции путешественником был собран уникальный материал по условиям содержания, типам преступлений, психологии преступников, истории возникновения и развития ссылки, который и вошел в книгу «Сибирь и каторга». Труд в то время был опубликован только для служебного пользования ограниченным тиражом.

Представляем первую и вторую части исследования в которых рассказывается о всех перипетиях этапного странствования от Москвы до каторги и дается классификация преступлений.

УДК 94(57)-058.56
ББК 63.3(2-253)-361

ISBN 978-5-4499-1958-8

Часть I. Несчастные

В дороге. На каторге. В бегах.
На пропитании и на поселении

Глава I. В дороге

Милосердная. — Картина этапного странствова-ния от Москвы до каторги: дорожные и тюремные злоключения. — Барабан. — Сила и значение отечественной благотворительности. — Москва и купеческие города. — Староверы. — Старые неурядицы. — Окровавленные колодники. — Сбор милостыни. — Приворотные кружки. — Обилие пожертвований. — Начальнические вымогатель-ства. — Этапные солдаты и командиры. — Похождение полушубков. — Арестантские деньги. — Парад шествия. — Этапные любовницы. — Начальники смирные и сердитые. — Тобольская тюрьма. — Железные прутья и кандалы. — Арестантская артель. — Этапные кабаки. — Этапные здания. — Полуэтапы. — Арестантская собственность. — Наручники. — Привал. — Майданщики и откупа. — Подводы. — Старосты. — Этапные крепы: вещественные и нравственные. — С этапов не бегут. — Солдатские и офицерские доходы. — Бритье голов и случай с поляками. — Золотой порошок. — Водка. — Нары. — Этапная ночь. — Пасхальная картина. — Весна на этапах. — Арестантские дети. — Казармы. — Солдаты. — Сторожа и торговцы. — Растахи. — Несовершенства этапной системы и дороги. — Приход арестантов на каторгу

Милосердые наши батюшки,
Не забудьте нас, невольников,
Заключенных, — Христа-ради! —
Пропитайте-ка, наши батюшки,
Пропитайте нас, бедных заключенных!
Сожалейтеся, наши батюшки,
Сожалейтеся, наши матушки,
Заключенных, Христа-ради!
Мы сидим во неволюшке —
Во неволюшке: в тюрьмах каменных,
За решетками за железными,
За дверями за дубовыми,
За замками за висячими.
Распростились мы с отцом, с матерью,
Со всем родом своим — племенем.

Песня «Милосердная»

Вот в какую простую форму сложилась и какою нехитрою песнею сказалась просьба проходящих по сибирским этапам арестантов, — просьба, обращаемая обыкновенно к сердоболию обитателей спопутного селения. Немного в этой песне слов, не особенно богата она содержанием, но слова ее не мимо идут, а содержание и склад ее, а особенно напев, трогают не одни только мягкие настроенные на благотворение сердца.

Я слышал эту песню один раз в жизни, но никогда не забуду того впечатления, какое оставила эта песня в моей на тот раз сильно утомленной памяти, в моем усталом воображении, притупленном разнообразием картин и пораженном неприглядностью и несовершенством картин этих.

Не помню дня, числа и часа; помню светлый апрельский день, весенняя теплота которого обязала меня отворить окно и смотреть на дешевые, не богатые содержанием подробности деловой и однообразной жизни сибирской деревни. Созерцание таких картин далеко не ведет: от них скоро отрываешься и скоро забываешь о них, ради воспоминаний прошлого, всегда готовых к услугам, всегда живых и свежих, и чаще всего о родине, которая тогда была для меня и далекою и удаленною.

Так было со мною и на этот раз в одной из самых дальних деревень Забайкальского края, у окна одного из ее утлых и старых домов, одного, в котором засадила меня весенняя распутица и бездорожица.

Я сидел и слушал; и слышал на тот раз отдаленные звуки какого-то неопределенно-тоскливого напева и строя. Звуки эти унесли воображение мое на Волгу, где, ломая путину и разламывая натруженную и наболевшую грудь жестокою лямкою, бурлак тянет свою унылую песню, подлаживая к ней свой шаг, приурочивая свои разбитые ноги. Сходство напева сибирской песни с волжскою бурлацкою на первых порах казалось мне поразительным. Но песенные звуки становятся яснее и определеннее, и досужее воображение мое спешит рисовать уже иные картины. Вот, думалось мне, безжалостные подруги расплели у невесты девичью косу, чтобы накрыть ее голову повоем: и вот она, невеста эта, вспомнив скорую утрату всей своей девичьей воли,

Что во неге у матушки,
В прохладе у братьецов, —

выливает все свое горе в песенный плач, у которого готова только внешняя форма, но наружное проявление в напеве всегда такое самобытное и сильное. Невеста как будто собрала в груди все накипевшее горе и все слезы и как будто в последний раз в жизни решилась вылить их все вдруг и вслух всем. Напев в нашей песне в таких случаях обыкновенно бывает не менее тоскливый и не менее щемит он сердце. На этот раз он показался мне схожим с тем, который доносился до моего слуха с улицы сибирской деревни. Но вот песня послышалась еще ближе. Воображение поспешило подладить к ее напеву другие, новые, но знакомые и похожие картины, — ив воспоминаниях встал, как живой, сельский погост: бедные и покривившиеся кресты, погнившая и обвалившаяся ограда, много могил на погосте. На одной могиле распластался, упавши на грудь, живой человек. Из груди его несется стон, слышатся те тоскливые тоны, какими богаты все могильные плачи. Однообразны плачи эти в содержании, одинаковы и в напеве. Тоскливее напева этих плачей я не знал прежде и не чаял встретить потом других, которые были бы равномерно закончены, одинаково верны своей цели и своему смыслу. Но когда из-за угла сибирской деревни показалась толпа арестантов с верховыми казаками впереди, с солдатами по бокам, и когда послышалась и песня, вся целиком, я забыл о всяческих сравнениях. Я бросил их как неверные, далекие от образов, навеянных настоящею песнею. Тоны арестантской песни сливались в один; переливы так были мелки, что их почти нельзя было отличить и выделить из целого. А в этом целом слышался один стон, и самая песня эта показалась тогда сплошным стоном: но стонал на этот раз не один человек — стонала целая толпа. Слов не было слышно (при всех моих напряженных усилиях я не мог поймать ни одного), слова и тоны слились в один гул; и гул этот и стон этот щемили сердце до того, что становилось положительно жутко и неловко. Так и веяло от песни сыростью рудниковых подземелий, мраком тюремных стен, свинцовою тяжестью всяческой каторги, где человеку хуже и безвозвратнее, чем в других каких-либо отчужденных местах на всем белом свете, на всем земном шаре.

Целые дни потом преследовали меня мучительные звуки арестантской песни, и, возвратившись теперь к ней воспоминаниями, я не могу указать иной, которая отличалась бы более тоскливым напевом. Смею уверить, что ни одна русская песня не приурочена так к выражению внутреннего смысла в напеве, ни одна из них не бьет прямо в цель и в самое сердце, как эта песня, выстраданная арестантами в тюрьмах и на этапах. На этот раз кандальная партия осиливала последнюю сотню верст из долгого и тяжелого, семитысячного и годового пути своего. Ей оставалось идти уже немного верст, чтобы попасть домой, т. е. прямо на каторгу.

Пока колодники у нас перед глазами, мы от них не отстанем. Не отстанем мы от толпы этой, хотя она и движется вдоль улицы мучительно-медленным шагом, едва волочит ноги. Самый звук кандалов стал какой-то тупой, и слышный и громкий потому только, что идущая партия ссыльно-каторжная, в которой — как давно и всякому известно — на каждые ноги надеваются тяжелые пятифунтовые цепи. На этот раз медленная поступь — преднамеренная, ради сбора подаяний, и вышла она торжественною потому, что всякий арестант увлечен пением и вводит в артельную песню свой разбитый голос, чтобы, таким образом, мольба была общею и конечнее била в сердобольные сердца слушателей.

Стоит на улице сплошной стон от песни, и бережно несет свою песенную мольбу эта густая арестантская толпа, точно боится выронить из нее слово, сфальшивить тоном, и поет усиленно громко, словно обрадовалась случаю торжественно и окончательно высказать вслух всем свое *неключимое* горе.

Задумались, целиком погруженные в слух и внимание, и конные и пешие: казаки и солдаты. Задумались даже эти привычные люди до того, что как будто не видят и не хотят видеть, как с обеих сторон отделяются из толпы арестанты, чтобы принять подаяние. Песня возымела успех, достигла цели: подаяния до того щедры и часты, что принимающие их даже и шапку поднимать не успевают — и не поднимают.

А между тем, несет к ним посильное подаяние всякий. Несет и знакомая мне старушка Анисья, у которой единственный сын погиб на Амуре, которая от многих лет и многих несчастий ушла вся в

сердце и живет уже одним только сердобольем и говорит одними только вздохами. У нее нет (я это верно знаю), нет никаких средств к жизни, нет и сил, но откуда взялись последние, когда она заслышала на улице эту «Милосердную», откуда взялись и деньги, когда бабушка моя очутилась на глазах проходящих. Дает бабушка деньги из скопленных ею на саван и ладан, дает она эти деньги, стыдится — и прячется, чтобы не видали все.

За бабушкою Анисьею (хотя и не костлявою, а жирною рукою) дает свою обрядовую дачу и условную милостыню торговый крестьянин, купец, вчера только успевший оплесть доверчивого казака на овсе и хлебе и давно уже отдавший все свои помыслы черствому и мертвящему делу «наживания» капитала. Несет он свое подаяние — и оглядывается, даст — и не хоронится.

Следом за ним тащит свой грош или пятак бедный шилкинский казак, у которого на то время своего горя было много: и казенные наряды без отдыха и сроку, и домашние невзгоды, которые скопил на казачьи головы пресловутый тяжелый Амур. Дает арестантам милостыню и малютка, посланная матерью, и сама мать из скопленных Богу на свечку, из спрятанных на черный день и недобрый час.

Всем им в ответ пропоют ужо арестанты за деревнею такую коротенькую, но сердечную благодарность:

Должны вечно Бога молить,
Что не забываете вы нас,
Бедных, несчастных невольников!

Этот конечный припевок и начальная песня в общем виде слывут под названием «Милосердной». Слышится эта песня в одной только Сибири, но и там она известна была еще в начале нынешнего столетия в зачаточном состоянии — именно в виде коротенького речитатива, на образец распевки нищих и сборщиков подаяний на церкви: «Умилитесь, наши батюшки, до нас бедных невольников, заключенных, Христа-ради». Словами этими просили милостыни в голос, т. е. кричали нараспев, пока искусство досужих не слило слов в песню и не обязало известным своеобразным напевом. В России этой песни не поют (да здесь она и не известна) не потому, чтобы в

России у арестантов отнято было право, обусловленное законом и освященное обычаем, право просить к недостающему казенному содержанию посильного прибавка от доброхотных дателей, — но по России «Милосердную» заменял бой в барабан. Этот бой вел к той же цели и обеспечен был тем же результатом, хотя, по сознанию арестантов, и с меньшим успехом.

— Дай-ка нам, — говорил мне один из беглокаторжных, — дай-ка нам эту «Милосердную» вдоль России протянуть, дай-ка! мы бы сюда с большими капиталами приходили. Барабан не то...

— Хуже? — спрашивал я.

— Барабан дело казенное, в барабан солдат бьет. Не всякому это понятно, а у всякого от бою этого тоска на сердце. Всякому страшно. Телячья шкура того не скажет, что язык человеческий может.

Вот что известно о путешествии арестантов с места родины до мест заточения или изгнания.

Арестанты, сбитые в Москве в одну партию и доверенные конвойному офицеру с командою, выходят еженедельно, в урочный день, из пересыльного тюремного замка.

Очутившись за тюремными воротами на улице, арестантская партия на долгое время затем остается на виду народа, в уличной толпе. Толпа эта знает про их горькую участь, знает, что арестанты идут в дальнюю и трудную дорогу, которая протянется на несколько тысяч верст, продолжится не один год. Немного радостей сулит эта дальняя дорога, много горя обещает она арестантам, тем более что пойдут они пешком, в кандалах, пойдут круглый год: и на летней жаре, и на весенних дождях, и по грязи осенью, и на палящих зимних морозах. Путь велик, велико и злоключение! Тем пуще и горше оно, что арестантская дорога идет прямо на каторгу, значение которой в понятиях народной толпы равносильно значению ада.

«Там, — думает народ, — там, где-то далеко за Сибирью, взрыты крутые, поднебесные горы. В горах этих вырыты ямы, глубиною в самые глубокие речные и озерные омуты. Посадят в эти ямы весь этот повинный народ, посадят на всю жизнь, один раз, и никогда уж потом не вынут и не выпустят. И будут сидеть они там, Божьих дней не распознавая, Господних праздников не ведая; будут сидеть в темноте и духоте подле печей, жарко натопленных, среди груд

каменных, на таких работах, у которых нет ни конца, ни сроку, ни платы, ни отдыху. Изноет весь этот народ в скорбях и печалях, затем, что уж им всякий выход заказан и родина отрезана, и милые сердцу отняты, да и яма на каторге глубока — глубока да и запечатана. С цепи не сорвешься, казна везде найдет. Из песку веревочки не совьешь, а на чужой дальней стороне помрешь, и кости по родине заплачут. И помог бы такому неключимому горю, да силы мало. Вот вам, несчастные горе-горькие заключенники, моя слеза сиротская, да воздыханье тяжелое, да грош трудовой, кровный: авось и он вам пригодится. Пригодится хлебца прикупить, Богу свечку за свои мирские грехи поставить: Он вам и путь управит, и в каторжной темной и глубокой яме свету подаст, силы пошлет и дух вознесет. Прощайте, миленькие! Вот вам и моя копейка не щербатая! чем богат, тем и рад!»

Собирает арестантская партия, идучи по Москве, мирские подаяния в приметном обилии и от тех меньших братий, у которых сердечные порывы непосредственны и потому искренни и у которых заработная копейка, только насущная, без залишка, самому крепко нужная. Порывы к благотворению в этой толпе еще не приняли обыденной рутинной формы и еще не успели снизойти до обычая, который всегда предполагает срок и меру. Порыв толпы этой не ищет случайных возбуждений, он ждет только напоминания. Достаточно одного появления арестантов на улице, одного звука кандалов, чтобы вызвать порыв этот на дело и обратить его на безотлагательное применение. С толпы народной сходит на арестантскую партию не роскошная дача, тут рубль копейки не подшибает. Но, тем не менее, пожертвования идут справа и слева в Москве: на бедных Бутырках, в богатом купеческом Замоскворечье, на торговой Таганке и в извозчичьей Рогожской. Чем больше народу на улицах, чем больше благоприятствует погода и время года скоплению народа на площадях и рынках, тем и подаяния обильнее и ощутительнее для арестантской артели. Но разобрать трудно, кто подает больше: случайно ли попавшийся на улице прохожий покупатель, или прикованный к улице, ради торговли, и промысла, постоянный обитатель ее, из торговцев и барышников, извозчик, лавочник и пр. Едва ли в этом отношении не все благотворители

равноправны и равносильны, едва ли существует тут какая-нибудь приметная разница.

Разницы этой должно искать в другом разряде благотворителей, и именно тех, которые кончили уже свое дело на улице, которым улица посчастливила барышом и капиталом. Благотворители эти засели теперь в большие дома и ведут оттуда большие дела. Они тоже не лишены сочувствия к арестантам, но за делом и недосугом ждут сильных возбуждений. Жизнь людей этих, принужденных искать системы и порядка, проходит размеренным шагом, разбитая на дни и недели, где каждому «дневи довлеет злоба его». Есть в среде дней этих и такие, которые по старому обычаю, по отцовскому завету, по житейским случайностям, но опять-таки, по предварительному и преднамеренному назначению, посвящены делам благотворения. Источник последнего лежит в том же чувстве и сердечном убеждении, которое в давние времена застроило все широкое раздолье русской земли монастырями и церквами и снабдило те и другие громкими звонами, драгоценными вкладами, богатыми дачами. Родительские субботы и радуницы, Страстная неделя, многие господские и богородичные праздники издавна обусловлены обязательною хлебною жертвою и денежным подаянием в пользу страждущих, гонимых и заключенных Христа-ради. Обычай этот, равно присущий и одинаково исповедуемый всем русским купечеством ближних и дальних, больших и малых городов, особенно свят и любезен тому большинству его, которое, вместе со старым обычаем, придерживается и старой веры. Если, с одной стороны, сочувствие к несчастным сильнее в угнетенном, и вера в учение, по смыслу которого «рука дающего не оскудеет», целостнее и определеннее в старообрядцах, то с другой стороны — зажиточная жизнь и материальное довольство, сосредоточенные в раскольничьих общинах и семействах, достаточно объясняют нам большие жертвования в тех городах и на тех улицах города Москвы, которые, по преимуществу, обстроены домами купцов- староверов. «Оденем нагих, — говорят они в своей пословице, — обуем босых, накормим алчных, напоим жадных, проводим мертвых: заслужим небесное царствие»; «денежка-молитва, что острая бритва: все грехи сбреет», «а потому одной рукой собирай, а другой раздавай», ибо «кто сирых питает, того Бог знает», а «голого взыскать, Бог и в

окошко подаст». Эти правила-пословицы дошли до нас от давних времен нашей истории, когда народ наш понятие о ссыльных и тюремных сидельцах безразлично смешал с понятием о людях несчастных, достойных сострадания. В одном из старинных документов, характернее других рисующем положение ссыльных (относящемся к концу XVII века), мы находим очевидное свидетельство тому, что наш народ издавна обнаруживал готовность посильным приношением и помощью усладить тяжелые дни жизни всякого ссыльного.

Протопоп Аввакум, один из первых и сильных противников Никона, находил и в Сибири помощь, и от воеводской семьи, жены и снохи («пришлют кусок мясца, иногда колобок, иногда мучки и овсеца»), и от воеводского приказчика («мучки гривенок 30 дал, да коровку, да овечек с 5–6, мясцо»). На Байкале незнакомые встречные русские люди наделили пищею, сколько было надобно, «осетров с 40 свежих привезли, говоря: вот, батюшко, на твою часть Бог, в запоре, нам дал, возьми себе всю». Починили ему лодку, зашили парус и на дорогу снабдили всяким запасом. В Москве благодеял сам царь с царицею и боярами («пожаловал царь 10 рублев денег, царица 10 рублев денег, Лука духовник 10 рублев же, Родион Стрешнев 10 рублев же, а Федор Ртищев, тот и 60 рублев казначею своему велел в шапку мне сунуть»).

Это участие и эта помощь ссыльным, совершенно неизвестные в Западной Европе, — у нас чувства исконные и родовые. Нет сомнения в том, что чувство благотворения выросло и укрепилось в народе именно в то время, когда для ссылки назначили такую страшную даль, какова Сибирь, а для ссыльных людей, таким образом, усложнили страдания, потребовав от них большого запаса сил и терпения. Только при помощи этого благотворного участия, облегченного в форму материальной помощи, могли наши ссыльные (и первые и позднейшие) отчасти противостоять всем вражьим силам, исходящим в одно время и из суровой природы и от жестоких людей. В примирении этих двух враждебных и прямопротиворечивых начал (каковы общественное участие, с одной стороны, и слишком ревностное и чересчур суровое исполнение службы приставами — с другой), в старании восполнять избытком участия одних крайний недостаток того же у других, — во всем этом провели большую

часть своей изгнаннической жизни наши первые ссыльные. Свой опыт и свои приемы они успели завещать и позднейшим несчастным. Обе силы, и враждебная и благодеющая, успели прожить долгие годы и уцелеть до наших дней в том цельном, хотя отчасти, может быть, и в измененном виде, что нас уже особенно и не дивят денежные пожертвования, высылаемые в последнее время из-за тюремных стен на помощь страдающих, вне их, от бесхлебья и голода.

Во все времена нашей истории и, в особенности, в течение двух последних столетий правительству представлялась возможность крепко опираться на добровольные приношения жертвователей и даже подчинять раздачу их различным узаконениям. Во всяком случае, нельзя отрицать того, что родившееся в народе чувство благотворения преступникам взлелеяно и воспитано правительством в такой сильной степени, что когда ему же понадобилось ослабление его, то все меры оказывались слабыми и недейственными. Вот коротенькая история этой неурядицы.

Царь Феодор узаконил выпускать из тюрем сидельцев по два человека на день для сбора подаяний. На этом праве колодники основывали свои челобитья на имена последующих царей, когда встречали прижимки со стороны приставников. Прижимок было много, и все челобитья тюремных сидельцев до времен Петра переполнены подобными жалобами. Петр, не любивший справок с народными свойствами, недоверчивый к непосредственным народным заявлениям, и на этот раз признал за действительные меры — крутые и решительные: в 1711 году он постановил за отпуск колодников за милостынею — виновных ссылать на каторгу. Жалобы на то, что заключенные «с голоду и цинги погибают», не прекратились; закон продолжали обходить. В Москве водили колодников на связках по городу для приношения милостыни, и сенат (указом 20 сент. 1722 г.) принужден был повторить запрещение. Тех, которые, за караулом сидя, прокормить себя не могли, стали отправлять в разные места: мужчины для казенных работ в Московскую губернию с заработанными 4-мя деньгами на день для каждого, а баб и девок на мануфактурные прядильные дворы, от которых шли им кормовые также по 4 деньги на день. Затем, если «связки» будут в употреблении, судьи обязывались штрафом. Но уже через месяц практика вызвала уступку. Там, где нет казенных работ (говорит

указ 1722 года от 17 октября), отпускать для прошения милостыни по одной, а где много человек, по 2 и по 3 связки. Для связок употреблять длинные цепи «с примера того, какие на каторгах учинены». Собранное подаяние узаконено делить только между теми, которые сидят в государственных делах, а не в делах челобитных (содержавшиеся за долги прокармливались на счет кредиторов). Екатерина I, слепо следовавшая всем предначертаниям мужа, узнав, что колодники все-таки сумели отвоевать святочное право ходить с 1-го января по 6-е по дворам и по улицам, — указом 1726 г. (23 дек.) преду-предила это дозволение, запретив его и подтвердив прежние указы Петра. Подтверждения затем следовали одно за другим, обременяя суды излишними бумагами, стесняя колодников и мирволя приставникам в излишней поживе от поборов и взыманий. В конце концов, при Анне разные приказы в Москве продолжали отпускать преступников на связках, без одежд, в одних ветхих рубахах, «а другие пытанные, прикрывая одни спины кровавыми рубахами, а у иных от ветхости рубах и раны битые знать». Велено отпускать с добрыми караульными, безодежных кормить тою милостынею, которую сберут одетые. В 1738 г. (8-го февраля) принуждены были снова формально запретить колодникам ходить по миру, потому что просят ее не только по разным местам, но и в одном месте собираются помногу (особенно содержащиеся от военной конторы в подложных отдачах рекрут). В 1744 г. Елизавета (в указе 16 ноября) признавалась, что колодники продолжают собирать подаяния вместе с бродягами-нищими, а потому приказала в этом случае поступать по указам. В 1753 г. указ подтвержден. По указу 1754 г. (30 марта) опять видно, что колодники нищенствуют по-старому, ходя на связках и во многом числе, а по указу 3 ноября 1756 года — что колодники ходят в Москве по церквам, «во время совершения службы», по домам, по кабакам, по улицам и торговым местам с ящиками, на связках, и притом пьянствуют и чинят ссоры. Указами не унялись. Прокурор сыскного приказа Толстой свидетельствовал, что колодники «действительно ходят пьяные в разодранных и кровавых рубашках, объявляя якобы из сыскного приказа пытанные и определенные в ссылку, и просят милостыню с великим невежеством и необычайным криком». Шатунов велено ловить и поступать по указу, а с караульных брать штрафы. По указу

1761 года видно, что колодники все-таки просят милостыню «с невежеством». С учреждением попечительного общества, уже при Александре (в 1819 г.), шатание колодников остановлено не насильственными мерами, а регулированною благотворительностью. К тюремным воротам привинчены были кружки для денег. Такие же кружки стали прибивать потом в кордегардиях губернских правлений и к церковным стенам. Высыпанные деньги пошли на улучшение пищи вдобавок к кормовым казенным. Остаток шел арестантам при освобождении из заключения и при отправлении в Сибирь. В тюрьмах заведены были артельные столы: отошла охота шататься со специальною целью за подаянием. При отправке в Сибирь арестанты увидели, что пожертвованные деньги употреблялись на покупку для них нужного на дорогу. Увлеченный успехами таких мер, президент комиссии князь Голицын ходатайствовал уже о новой мере, желал от генерал-губернаторов предписания, чтобы подаватели не давали денег арестантам на руки, а опускали бы их в кружки. Предписание дано, разумеется, с полною охотою и готовностью, но и ему судьба судила начало новой борьбы с регулированием доброхотных подаяний, на каковую потрачено столько же напрасных сил, как свидетельствует рассказанная нами история. Выдачу милостыни в руки сверх той, которая уже опущена во внутренние и наружные тюремные кружки, мы видим в наши дни в той же неприкосновенной целости, не ослабленною, не побежденною во всеоружии несокрушимого народного закона, одним из тех обычаев, которые бессильны не только искоренять но и ослаблять всяческими законами, распоряжениями и предписаниями. Тут, между прочим, еще в 1767 г. замечено было, что подаяние колодникам не выдается, а зачисляется в кормовую дачу, — велено наблюдать, чтобы из подаяний в руки каждого колодника доходило не более 3 коп. на день. Если затем явится остаток, то на него снабжать нужною одеждою. Несмотря, однако же, на это и на то, что по закону арестант не имеет права иметь при себе деньги (и для этого установлены обыски), несмотря на то, что давний опыт указал на ненадежного посредника с завистливым и алчным оком, — жажда благотворительности не устает и не прекращается. Даже как будто возрастает она по мере того, как усложняются противодействующие силы и неблагопри-ятные причины.

Обусловливая свое религиозное чувство всякими подкрепляющими правилами, взятыми от Св. Писания и из вековых верований, жертвователи из торгующего сословия России, помимо урочных, обязательных дач, идут на благотворение и в другие времена, но не иначе, как возбужденные и вызванные каким-нибудь внешним признаком, напоминанием. Арестантская партия в этих случаях прибегает, по воле и дозволению начальства, к единственному доступному им средству. В России — это барабанный бой, производимый конвойным барабанщиком; в пути по Сибири — пение песни «Милосердной», производимое всею путешествующею артелью арестантов. В Москве, где, по сознанию всех ссыльных, ждут особенно обильные и богатые подаяния, вызовы эти тем более были необходимы, что маршрут шел стороною от тех улиц, где, по преимуществу, сгруппировались домами тороватые богачи. Имена, отчества и фамилии богачей-благотворителей помнят ссыльные и на каторге. Вот что я слышал там.

— В вашей партии на каждого человека по тридцати рублей привелось, и все с Москвы одной. Мы на первом этапе дуван дуванили (дележ делали). Пр-в да С-в такие жертвы кладут, что вся партия дивится. Пр-в в Преображенском дал всем ситцу на рубахи, да по три рубля на брата, да в Богородском наказал дать серпянки на штаны и по рублю денег.

— Москва подавать любит: меньше десятирублевой редко кто подает. Именинник, который выпадает на этот день, тот больше жертвует. И не было еще такого случая, чтобы партия какая не везла за собою из Москвы целого воза калачей; мы наклали два воза. С офицером был такой уговор: на улицах останавливаться дольше, за пять часов остановки сто рублей самому Ивану Филатьевичу (офицеру) и 10 рублей Семену Миронычу (унтер был).

— Владимир-город (сказывали мне другие каторжные) всех городов хуже: подаяние сходило малое. Вязники Владимира лучше, но тоже не из щедрых. Нижний Вязники перехвастал, на Нижнем Базаре жертва большая. И нету городов богаче и к нашему брату арестанту сердобольнее, как Лысково-село, Казань-город, Кунгур, Екатеринбург, Тюмень, а все оттого, что в городах этих староверов много живет. На подаяния они не скупятся...

— Я, вот (грешный человек!), хмелем еще зашибаюсь, а и то в дороге накопил ста два рублей и сюда принес; с тем и жизнь свою каторжную начал, а накопил бы и триста, кабы не пьяное хамло. Поселенцы каторжных бережливее, так те и по пятисот рублей накопляют.

Помимо этих доброхотных подаяний и казенных кормовых копеек, выдаваемых арестантам на руки, партии иных сторонних доходов имеют уже немного. Собственные арестантские деньги перед отправлением отбирают в губернском правлении и отправляют вперед их в Тобольский приказ с почтою; у ссыльных, вместо своих скопленных денег, только квитанции. Во время остановок по тюрьмам арестанты получают иногда подаяния натурою, съестными припасами, но от этого все-таки артельному капиталу не прибавок, при всем желании и старании арестантов. Существует для партий еще один доход денежный, но доход этот, при крайней оригинальности и неожиданности своей, случайный и не всегда верный и благонадежный.

Известно, напр., что за несколько верст до больших губернских городов навстречу партии выезжал бойкий на язык, ловкий и юркий в движениях молодец, в сибирке и личных сапогах, который обыкновенно оказывался приказчиком или поверенным того купца, который снимает казенный подряд на поставку арестантам зимней одежды. Молодец этот обыкновенно находился в коротких и дружеских отношениях с партионным офицером и с ведома его вел такое дело, которое ему привычно и для арестантов выгодно. Он предлагал арестантам продать ему имеющееся на них теплое платье, обыкновенно полушубки, полученные немного времени тому назад и в недальнем губернском городе, при поступлении в пересыльную партию. Давал он немного, но наличными деньгами, и при этом брал даже и крепко подержанные полушубки, заменяя их тою рванью, которую привозил с собою, и изумлял только одним, именно: необыкновенною ловкостью в покупке, уменьем сойтись и убедить арестанта на сделку, для него и для них выгодную. Весь процесс перекупки совершался в каких-нибудь три или четыре часа, и притом несмотря на количество пересыльных, — обстоятельство, приводившее всех в изумление. Выезжая на бойком рысачке, молодец этот успевал привезти и сдать купленные вещи

хозяину, а хозяин отвезти и сдать податливому начальству, прежде чем оно успеет осмотреть партию, прежде чем партия эта придет в город. Дальше дело немудрое. Полушубки, подсунутые в казну ловким перекупщиком, поступали опять на те же плечи, с которых третьего дня собраны, даже редко исправленные, редко измененные к лучшему.

«По крайности обнашивать не приходится, меньше полушубок отшибает той дрянью и запахом, без которых ни романовским, ни казанским овчинам не жить», — думают арестанты и остаются довольными.

«Хоть и рискованное дело приказчик обделал, а все же я рубль на рубль нажил и слава Богу! В коммерции нашей без этого нельзя!» — думал в свою очередь плутоватый подрядчик, самодовольно разглаживая бороду и отпаривая живот дешевым и привычным чаем и всякими трактирными благодатями.

«К казенному жалованью не лишнее придаток получить детишкам на молочишко», — смекали про себя третьи и, довольные друг другом, вели подобные операции не один год и не в одном месте.

Вели подобные операции с полушубками и без огульного участия всех ссыльных, предлагая принять артельному старосте в большой куче даже и такие коротенькие и узенькие, что и на подростков-ребят не годятся. Вся суть дела на этот раз заключалась в том, чтобы соблюсти форму и записать вещи в расход. У ссыльных большею частью полушубки хорошие, ибо обношены и не смердят; с таковыми-то, пожалуй, ему расставаться жалко, а полученные вновь арестанты имеют право продать тут же. Тот же подрядчик охотно их покупал, чтобы опять всучить их в тюремный цейхгауз.[1]

Словом, довольны все дважды, но, разумеется, довольнее всех оставались арестанты и потому, что видели заботливость начальства (какова она ни на есть), и потому, главное, что имели капитал в разменной ходячей монете. Она им нужна, нужна до зарезу и

[1] Под Тобольском в подспорье мошне ссыльных существовал такой обычай: на последней станции кандалы у посельщиков покупали заранее, потому что, по приходе в город, здешние железа обыкновенно велели снимать и бросать в кучу, которая, разумеется, никогда не проверялась

крайней безвыходной необходимости. Для арестантов по дороге много соблазнов: и предугаданных, и неожиданных. Один этапный командир некогда держал, напр., кабак (и поэтому этап его, помимо казенного, носил другое название — «пьяного») и рассчитал правильно: давая из личных выгод возможную свободу партии, он заставлял ее упиваться и пропиваться до нитки, до последнего алтына. Арестанты тем охотнее делали это, что вскоре за этапом «пьяным» выходит на дорогу новый богатый город Кунгур, щедрый на милостыню и подаяния. Те и другие пополняли истощенные капиталы, которые вскоре и опять усиливались денежными дачами от старообрядцев в Екатеринбурге и Тюмени. В Тюмени, например, пожертвования в праздники Рождества и Пасхи были столь велики, сытны и обильны, что этапные арестанты платили смотрителю деньги, чтобы на эти дни не выпускал дальше, а дал бы возможность поесть шанег, яиц, кислого молока и всего того, за что в других местах и дальше приходится платить собственные и довольно большие деньги.

Деньги, всесильные, могущественные, творящие чудеса, деньги освещали этапный путь, богатый мраком, спасали арестантов от множества непредвиденных бедствий. Без денег и на этапах началась бы каторга, без них тяжела бы стала путевая жизнь, подневольная и зависимая. Знали это начальники — и брали, знали это арестанты — и давали деньги за все, за что требовал уже установившийся обычай и беспредельный, безграничный, бессовестный произвол. Произвол и обычай сделали то, что этапная жизнь арестанта сцеплена была из разного рода притеснений и вымогательств. Тут мы видим целую систему, которая за долгое время успела установиться и определенно выясниться. Выяснилась она, по нашему крайнему разумению, в такой формуле: всякий человек по всяческому праву ищет свободы, но лишенный ее — еще сильнее и настойчивее. «От тебя зависит моя свобода. Полной свободы ты мне дать не можешь, не в твоих это силах, не в твоем это праве, — ты сам мало свободен. Но ты человек тертый, бывалый, а потому смелый. Дашь себе немножко труда и можешь уделить нам частицу, кусочек этой свободы. Смелости и решимости тебя не учить, а нам все равно: мы сумеем обмануть себя, не раз обманутые в жизни, и частицу твоего права и твоей свободы примем за целое. Но ты не

хочешь, отчасти же можешь дать нам этого даром. Ты просишь вознаграждения за ту решимость, за ту жертву, которыми рискуешь ради меня. Возьми! Возьми, сколько потребуешь, сколько это в силах наших! Но дай нам подышать этой волей хоть на тот же пятак или грош, какими оценил ты эту волю. Знаем, что мы обманываем себя, знаем, что завтра же придется нам горько ж слезно посмеяться над собой, болезненно пожалев о затраченных деньгах, попенять на себя за малодушие: птичьего-де молока захотели!

Но сегодня мы хотим забыть о кандалах и о задних и передних этапах. Сегодня мы только люди, имеющие деньги, а завтра, пожалуй, варнаки, чалдоны, храпы. Но сегодня мы пьем и пляшем во всю Ивановскую, потому что добыли на этот раз за деньги непокупное заветное наше право».

Покупают арестанты все. Даже право на подаяние не всегда достается им даром, и оно иногда требует со стороны партии денежной жертвы. Денежные жертвы со стороны арестантов пойдут потом в бесконечность, но начало им все-таки в самом начале пути.

Еще в Москве, тотчас по выходе партии ссыльных из пересыльного тюремного замка, бывалые этапные начальники спешили заявлять и объяснять те начала, которыми будут руководствоваться они сами, а потом все остальные товарищи их, ближние и дальние, этапные командиры.

— Какими вас, ребята, улицами вести? — спрашивал было свою партию опытный этапный.

— Хорошими, ваше благородие! — отвечали бывалые из арестантов.

— Соблаговолите в барабан бить и прохладу дайте, — прибавляли опытные из них.

— Прохлада 50 рублей стоит; барабан столько же. Стало, ровно сто на меня, да десять на ундеров, по рублю на рядовых, согласны ли? — говорил офицер.

— Идет! — отвечали бывалые из арестантов с полною готовностью, когда на дворе праздник и не стояла глухая летняя пора. Они начинали торговаться, если на их стороне не было таких сильных и благоприятных условий.

Свежие, малоопытные арестанты задумаются, удивятся такому риску, такой решимости, зная, «что из казенной семитки таких

денег не выкроишь, хотя все иди в складчину»; но не доходили еще до заставы Рогожской, сомнения их разбивались. Партия пойдет медленным, примечательно медленным шагом, и пойдет притом не теми улицами, которые ведут прямо в Рогожскую заставу и по маршруту, но теми, которые по преимуществу наполняются торгующим народом или обставлены домами купцов-благотворителей (имена этих благотворителей, как уже сказано, помнят ссыльные, а дома их хорошо знают командиры и арестанты). Идет партия в неизменном, раз нарисованном и навсегда установленном порядке: впереди ссыльно-каторжные в кандалах, в середине ссыльно-поселенцы, без оков ножных, но прикованные по рукам к цепи, по четверо; сзади их, также прикованные по рукам к цепи, идут ссылаемые на каторгу женщины, а в хвосте неизбежный обоз с больными и багажом, с женами и детьми, следующими за мужьями и отцами на поселение. По бокам и впереди и сзади идут неизбежные конвойные солдаты и едут отрядные конвойные казаки. Смотрите на картину эту в любую среду (часа в 4 пополудни) в Петербурге, у Владимирской (хотя, наприм., в Кузнечном) или в Демидовом переулке; проследите ее за Томском, за Красноярском, посмотрите на нее в Иркутске: все одна и та же, раз заказанная и нарисованная картина, только, может быть, кое-когда окажется пробел на месте казаков. В этих картинах, со времен Сперанского, замечательное постоянство и однообразие. Привычный, не раз присмотревшийся заметит, пожалуй, во всей этой форменности некоторую фальшь и натянутость, которая стягивалась и вытягивалась во время прохода партии городами и распускалась, развертывалась свободнее за городом в поле. Так, конечно, это и должно быть. Разглядеть не трудно, что эта подтянутая форма и поддельный порядок существуют только для России и в России[2]: по Сибири арестанты ходили вольнее, свободнее и распущеннее. Там за парадным порядком не гоня-

---

[2] Художнику Якоби, желавшему уловить характерный беспорядок путешествующих арестантов, так и не удалось положить основы для будущей картины. Выезжал он и в поле, радел ему и конвойный офицер, но арестанты все-таки вытягивали мертвый солдатский фронт, выстраивали шеренги. Художник принужден был ограничиться личною фантазией) и дал картину, мало напоминающую этапный растах в его настоящем правдивом виде.

лись, чем премного обязывали арестантов, которые были довольнее дорогами сибирскими, чем русскими, и прибавляли:

— До Тюмени идем, несем кандалы на помочах, а помочи надеваем прямо на шею, по-российски. И давят кандалы шею, давят плечи, а им и без того на ходу тяжело, все они ноют. По Сибири несем кандалы на ремешке, на поясу. По-сибирски легче!

— По Сибири вольнее идем, легче и думаем. А думаем так: если, мол, начальники к тебе милостивей стали, значит, в свою сторону пришел, а если, мол, не совсем она тут, то теперь уже близко.

— Сибирь тем хороша, что врать не велит. В Рассее смирение напускай, а за утлом делай что хочешь; в Сибири иди как хочешь и каков ты есть, не притворяйся, не заставляют.

— В России думают, что ты самый худой человек, коли «часы потерял, а цепочкой обзавелся», а в Сибири знают, что мы не хуже других и не лучше других! Живут и на воле люди хуже тебя, а идешь ты на канате затем только, что проще других, глупее, говорить надо. Значит — попался, хоронить концов не умел...

До Тобольска партии шли в полном составе, т. е. так же, как снимаются с мест: женщины от мужчин не отделялись, давая, таким образом, возможность видеть часто на подводах, следующих за партиею, мужчин и женщин, сидящих вместе. Понимающие дело знали, что это счастливые четы любовников, успевших за долгую дорогу перемолвиться и войти в сношения между собою и с этапными; с последними для того, чтобы иметь возможность приобрести право принимать за собственные деньги лишнюю подводу. Любовным изъяснениям не препятствует при этом то, что часто подвода нанимается в складчину и, стало быть, на одни сани садятся по две и по три *любящихся* пары. По сознанию знатоков, женщины-преступницы вырабатывают на этапах особое душевное свойство, которое мешает им любить одного и служить на такой долгий срок, какой полагался для перехода партии до места. Этапная любовница особенной любви к супружеским узам не показывала, она редко остается верною тому, кто первый подвел под ее преступное сердце мину, и немного побольше любит разве только того, кто с ловкостью соединяет важную и существенную доблесть. Доблесть эта для ссыльной женщины заключается в бережливости, а последняя обеспечивает всегда туго набитый денежный карман. Большинство женщин идут в Сибирь за

поджоги или за убийства детей, а оба эти преступления вызываются ревностью и обусловливают в ссыльной женщине присутствие пылких страстей. Страсти эти, с одной стороны, послужили к погибели и ведут на каторгу, с другой — из пересыльной женщины делают легкую добычу для аматеров (от *фр. amateur* — любитель). Любители эти — по большей части этапные солдаты (на полуэтапах, напр., бабы — по уставу — ночуют в солдатской караульне), меньшая половина — товарищи-арестанты. Впрочем, нередки случаи и постоянства в любви, в форме даже как будто гражданского брака, в тех случаях, когда защемит женское сердце тот молодец, который сослан без срока на каторгу, а стало быть, не имеет права вступать в брак раньше 11 лет. Тем не менее, эти связи нельзя не считать в числе главных причин, что с этапов не бегут и крепко держится народ обоего пола за невеселый канат.

Наблюдающие за томским острогом согласно свидетельствуют о том, что пересыльные арестанты, пользуясь удобством размещения окон, выходящих на двор против бани, целые часы простаивают на одном месте, любуясь издали на моющихся в бане арестанток. Для достижения желаемой цели подкуп всегда действителен; иногда употребляется и насилие. В тюремном остроге арестанты ловко прячутся за двери, чтобы выждать выхода женщин; женщины настойчиво лезут к мужчинам и артелями (человек в 20) делают правильные вылазки, особенно в больницу. Один фельдшер попробовал помешать: ему накинули на голову платок и щекотали до тех самых пор, пока ему не удалось вырваться из весьма опасного для жизни положения, словом — пока он постыдно не бежал. В некоторых тюрьмах сами смотрители способствовали свиданиям мужчин и женщин и брали за это рубль серебром.

Этапы, во всяком случае, представляли больше удобств для сближений на случай любовных интриг. Так объясняют и сами арестанты.

— А не выгорит дело, не удадутся хлопоты?

— Тогда мы вразбивку идем.

— Что же это значит?

— В большом городе или на хорошем этапе к лазарету пристраиваемся. Господа дохтур к нашему брату жалостливы, отдыхать позволяют. А то, как и фелшаров покупаем, эти люди дешевые, на деньги слабые.

— Ну, а дальше что?

— В лазарете ждешь, наведываешься, когда больше баб набралось, — женская партия из Томска приходит. У смотрителя тюремного выпросишься, три рубля серебром подаришь ему успеха ради, он тебя к женской партии и припишет, на то закон есть. И пойдешь с бабами. Дорого это, да что делать?! Фелшар, однако, дешевле смотрителя. Этот за четвертак на койку положит, за двугривенный выпустит[3].

— Кто до женского полу охотник, — рассказывали нам многие другие арестанты, — тому траты большие, тому денег надо много: деньги ему надо на подводы, надо всякому солдату дать, офицеру — статья особенная. Опять же на водку изведет он денег двойное, а не то и тройное количество. Смотрите-ка, во сколько ему дорога-то обойдется! А дорога дальняя, трудная. По Сибири денежные подаяния меньше, все больше харчом да вздохами. Коли не скопил денег в России, в Сибири не наживешь. Так и знай!

— В Сибири наживают деньги одни только майданщики (т. е. откупщики[4]). Майданщику и баба другой стороной кажет, в ней он пользу видит и по портняжному делу. Во всякой рухляди каторжному большая нужда настоит.

— Кто же шьет, когда в партию не попадут бабы?

— Пьяного народу в партии всегда больше бывает, чем трезвых. Таких совсем почти нет. А пьет народ, так и пропивается, а затем и забирает в долг у майданщика и табак и водку. А забрал, так и плати чем сможешь, кто какое ремесло с собой унес: портной ты — иглой ковыряй; сапожник — дратву в зубы, и все такое. В каждой партии

---

[3] Замечено, что женщины родили до прихода в Тобольск, дорогою. Придя в приказ, просили вступить в брак или назначить в одну губернию с влюбленным. «Были даже неоднократные примеры, что оставившие на родине жену или мужа с детьми и не лишенные всех прав состояния, а следовательно, не расторгнутые в браке, просили при жизни еще кого либо из супругов о вступлении в новый брак с лицом, в одной партии идущим», — свидетельствует одна официальная бумага. По закону, до Тобольска женщинам не позволялось выходить замуж и ни в каком случае не дозволялся брак каторжной женщине с идущим на поселение.

[4] Это — денежные и ловкие из арестантов, снимающие подряды на содержание и продажу водки, карт, съестного и пр. Но о них подробно скажем в следующей главе.

редкий кто ремесла не знает и уж и во всякой партии по каждой части найдется доточник. Так это все майданщики и разумеют и припас покупают мастерам сами в деревнях у крестьян. Оттого у майданщиков навсегда деньгам вод большой; майданщик первый богач в свете. Копейка у него сильная, да и та алтынным гвоздем прибивается. Такие уж и люди на это дело идут, особенные.

В Тюмени ожидает этапные партии тюрьма и в ней отдых. Тамошняя тюрьма самая большая, самая просторная изо всех существующих в России по пути арестантов. Отдых или пребывание в этой тюрьме самое продолжительное изо всего времени, назначаемого для растахов (отдыхов от 2 до 5-ти недель). В Тобольске, как известно, со времени учреждения сибирских губерний, по проектам гр. Сперанскаго, существовал приказ о ссыльных, учрежденный вместо «общего по колодничьей части присутствия», бывшего до 1823 года в городе Тюмени[5]. Приказ занимается сортировкою всех ссыльных по разрядам, назначает определитель, но места ссылки проверяет частные статейные списки и составляет новые. Истрачивая на все это приметное количество времени, приказ, таким образом, дает арестантам некоторую возможность перевести дух, прийти в сознание, сообразить прошедшие и отчасти будущие обстоятельства жизни. Тобольская тюрьма, одним словом, играла весьма важную роль во всей этапной жизни арестантов.

Знающие люди примечали, что арестанты выходили оттуда опытнее, артели их устраивались плотнее и прочнее. Тюрьма эта, богатая событиями разного рода и вида, дающая обильный и разнообразный дневник происшествий, являлась чем-то центральным, каким-то высшим и важным местом, где арестанту преподается всякая наука, дается всякое поучение, столь необходимое для исключительного его положения, для его новой жизни в новой стране и при новых условиях быта. Рядом с разбивкою по отделам, по разрядам за тюрьмою идет все тот же порядок, какой был установлен на прежних этапах, но с тою только разницею, что теперь порядок этот имеет уже определенные, законченные формы и правила. Ря-

---

[5] Сюда же обратно переведен приказ из Тобольска на настоящее свое место, по справедливости.

дом с правом приказа назначать пересыльных арестантов на разные городские работы существовал побег и из тюрьмы и с этих работ. Вместе со строгостью тюремного заключения и надзора шло об руку деланье фальшивой серебряной монеты, составление фальшивых видов, паспортов и печатей. Тюрьма тобольская, несмотря на то, что играла как будто неопределенную роль, как место временного помещения, как бы роль проходного только постоялого двора, — важна была для проходящих партий главною стороною: коренною и самостоятельною наукою — наукою жизни в ссылке, на каторге, на поселении и на тех же этапах. У тюрьмы тобольской своя история, оригинальная и поучительная, история, могущая служить прототипом для всех российских тюрем. Это — резервуар, куда стекались все нечистоты, скопившиеся во всех других русских тюрьмах. Ее и на каторге разумели в том же смысле, как разумеют Москву другие города, торгующие тем же товаром, по тем же самым приемам и законам. Тобольская тюрьма сама даже некогда исполняла роль каторжного места и соблюдала в своих стенах прикованных на цепь, к тачке и проч.

В тобольской тюрьме арестантские партии делились на десятки, для каждого десятка назначался особый начальник — десятский, над всеми десятками — главнокомандующий староста, выбираемый всею партиею. Приказ о ссыльных утверждал выбор, и затем уже ни один этапный офицер не имел права сменить старосту, разве только пожелает этого вся путешествующая община арестантов. Староста этот, обыкновенно, собирает подаяния, когда дают таковые по пути. Он же ходит с конвойным по дворам тех селений, где стоит этап и когда назначена в нем дневка.

Из тобольской тюрьмы арестант выходил богачом, с запасом новых сведений насчет своего общественного значения и с запасом новых вещей насчет казенного интереса. В мешке у него появлялись две рубахи, двое портов; на плечах новый армяк — зипун из толстого серого сукна, с желтым либо красным тузом и двойкою на спине, и с единошерстным родичем — штанами, а на ногах — не сапоги и не калоши — обувь сибирского изобретения и вкуса, простая, но недолговечная, либо коты, т. е. мелкие башмаки, начиненные

бумагою[6]. На зимнее время движимое имущество его еще больше возрастает в силу требований суровой страны: на плечи — душистый тулуп, на руки варежки и голицы, на ноги суконные портянки, на голову треух — ту уродливую шапку на манер башлыка, которую любят в дороге, по глухим местам России, старики попы и торгующие крестьяне. Летняя казенная шапка из серого сукна без козырька, открывающая затылок и уши, делает из арестанта чучело. Имущество это арестант может уберечь, может и продать кому угодно — охотников много: тот же конвойный солдат, свой брат торговец-майданщик, крестьянин с попутной деревни и проч. Тулуп идет не свыше двух рублей, но бывает и дешевле полтинника; цена бродней колеблется между трехгривенным и двумя двугривенными, рукавицы (т. е. шерстяные варежки и кожаные голицы вместе) не свыше двугривенного. Продают больше по частям, но можно и все разом, особенно если подойдет дорога под большой губернский город. Там разговор известный: скажешь, что потерял, проел, товарищи украли. Выпорют за это непременно или, для ускорения взыскания, побьют по зубам, но накажут непременно, потому что арестанту без этого прожить невозможно. Новыми вещами снабдят также непременно, потому что казне без этого нет иного выхода, было бы нечего делать. Одевка, таким образом, произ-водилась в каждом губернском городе, а проматыванье вещей существует во всей силе, несмотря на указы, из которых первый издан был еще в 1808 году; продавались даже кандалы, т. е. сибирские, фунтов 10–12 весом, и обменивались у местных барышников на 5-и 4-фунтовые. Барышники, за недостающее количество железа до весу казенных, доплачивали арестантам по взаимному договору.

Тобольская тюрьма на этапный путь производила то влияние, что составу партий давала иное направление. До сих пор шли по России все вместе, отсюда уже отдельно: каторжные — своею партиею, посельская партия особо, женщины, по указу 1826 года, также в своей отдельной партии. Потом, на дальнейшем пути,

---

[6] В этом случае гражданские арестанты не могли надивиться и наплакаться тому предпочтению, которое оказывается военным арестантам. Эти вместо котов, как известно, получают сапоги.

арестанты умели эти партии спутать и намеченный законным уставом вид изменяли по своему уставу, но в приказе о сортировке усердно хлопотали. Раз в неделю выходили оттуда либо кандальная, либо женская и потом посельская, либо так: первая кандальная, первая, вторая, третья посельские, потом женская, опять посельские — четвертая, пятая, вторая кандальная и потом опять четыре-пять посельских, одна за другою понедельно. Идущие в кандалах шли вольно, отдельно. Посельщиков по три, по четыре пары приковывали к цепи в наручниках подвое. Наручник этот изобретен командиром отд. корп. внутр. стражи, генералом Капцевичем, и был утвержден 1 марта 1832 года. Для него потребовалась цепь, а прежде ходили прикованными к пруту. Прут оказался неудобным: при ходьбе рука каждого терлась о его собственный наручник, который не всегда приходился по руке. Высокие люди тащили вверх малорослых, а эти тянули руки высоких вниз; слабые за сильными не поспевали. От беспрестанного трения на руках появлялись опухоли и раны, на прикрепленные к пруту руки нельзя было надевать рукавиц. Холод от железа причинял ужасные мучения, тем более что нельзя было делать руками этими никаких движений, чтобы согреться. Унтер-офицер, сопровождавший партию, не имел права, во время пути, отворять замка, укрепленного на конце прута; ключ от замка хранился в особом ящике, за казенною печатью, из-под которой мог быть вынут только по прибытии в этап, где находился офицер. Следовательно, если заболевал один из арестантов в дороге, то должно было всех вместе сажать на повозку. На ночлегах арестанты не имели нужного покоя, ибо движение одного чувствовали все прочие, прикрепленные к пруту. Каждый раз, когда нужно было одному из них выходить ночью на двор, все товарищи должны были его сопровождать. «Ужас и уныние, — свидетельствует официальный акт, — замечаемые в арестантах в то время, когда делались приготовления прикреплять их к пруту, всеобщая радость и благодарность, воссылаемые к благодетельному начальству, когда отправляют их порознь в кандалах, явно убедили в том, что прутья для них, без всякого сравнения, отяготительнее кандалов». Прутья, просуществовавшие восемь лет (с 1824 года), были заменены цепью различной длины (от 11 вершков до 1½ аршина).

На цепи теперь другое горе: бойкие на ногу тянут задних тихоходов: остановится один за нуждою — все должны стоять и дожидаться, а сковывают иногда человек по восьми, по десяти. Но арестанты и этот способ сумели медленным хождением (причем нельзя распознавать первого виноватого) до того обезобразить, что сами конвойные охотно перестают применять его. Они хорошо знают, что надо пройти в день до стоянки верст 30 и больше. Утром вышли — надо ночевать на полу- этапе; опять день идти, чтобы попасть на этап. Здесь дневка — дается отдых (растах, по-тамошнему). На третий день опять путь-дорога до ночевки на полуэтапе и дневки на этапе. А там и пошла писать эта медленная путина, долговременная ночевка до места назначения. Пойдем вслед за арестантами.

Выйдем из тобольской (а теперь из томской) тюрьмы, чтобы следовать за арестантами снова вдоль этапного пути, у которого конец еще не ближний и во всяком случае дальше, чем для самого дальнего преступника находится теперь место его родины. Вот что мы слышим.

На первом привале и отдыхе арестанты устраивают в среде своей отдельную и самостоятельную артель, которая имеет такой же смысл, значение и важность, какие имеют всяческие артели, успевшие поглотить в себя все работающее население, во всех углах и странах нашего отечества. Устраиваемая на первом привале арестантская артель существует затем во все время этапного пути и существует самостоятельно и отдельно от той, которая установлена и поощряется законом. Не уничтожая, даже не ослабляя смысла и значения той, которая сочиняется в Тюмени по приказу чиновников, эта новая артель, в то же время, имеет особенный, самобытный характер, с которым плотнее и сильнее дружится путешествующий преступник. Она тоже не требует особых нововведений, изменений и улучшений, она тоже является в готовой форме, Бог весть когда придуманной, но до сих пор свято соблюдаемой. Арестанты такую артель любят и без нее не только не ходят по этапам, но и не живут в тюрьмах. Эта артель — жизнь и радость арестантской семьи, ее отрада и покой. В казенной артели полагается староста, в арестантской — откупщики, майданщики; вот в чем вся разница этих двух артелей, по-видимому, ничтожная, но, в сущности, огромная.

Образованию арестантской артели предшествуют торги, со всеми признаками этого обычного вида коммерческих операций. Торги производятся на отдельные статьи: 1) содержание водки, 2) содержание карт, съестных припасов, 3) одежных вещей и проч. (иногда в примечательной подробности). К торгам допускается всякий, без различия, но выигрывает только тот, конечно, у которого потолще других мошна, который сам бывал в переделках, а дело торговли ему и знакомое и привычное. Это большею частью люди бережливые, скопидомы, у которых замерзло в сердце всякое поползновение на соблазн, для которых и в тюрьме жизнь не беспорядочна, не разбита отчаянием, а несет те же живые струи и рисуется с теми же оттенками, как и жизнь на свободе. Бедняк и разочарованный на такое дело не пойдут, но не выпустят его из своих рук те, которые и на свободе маклачили торговлею и по этапам сумели уберечь и припрятать кое-какую копейку.

Откупные статьи поступают, по большей части, в одни-две руки, но, если идет большая партия (напр., свыше ста человек), торги становятся дробными. В одни руки сдают право на содержание карт, костей, юлки и других игорных принадлежностей; в другие руки поступает торговля табаком, водкою и всеми возбуждающими сластями и удовлетворяющими наслаждениями; в третьи руки идет торговля харчом и доставка съестных припасов. Дробность эта иногда бывает еще мельче, но, во всяком случае, торги устанавливались обыкновенно не на всю дорогу от Тобольска до каторги. Одни торги существовали до Томска, где впервые разбивалась партия, и на первом же этапе за Томском устраивались новые торги до Красноярска, в Красноярске — до Иркутска, в Иркутске уже вплоть до Нерчинска. По Сибири ходят партии человек в 200 и более[7]. Заплатив

---

[7] Закон ограничивает число людей в партиях во внутренних губерниях от 20 до 60 и в сибирских от 50 до 60,100 и более. Между тем, среднее число людей в партиях при еженедельной (50 раз в году) отправке по этапам бывало:

От Полтавы до Харькова……………………………….	30
-"- Харькова до Воронежа………………………………	34
-"- Воронежа до Тамбова……………………………….	40
-"- Тамбова до Пензы……………………………………	43

артели несколько рублей, а иногда и десятков рублей за право торговли, откупщики-майданщики обязаны уже иметь все, по первому затребованию арестантской общины. Часть денег, полученных с откупщиков этих, делится поровну между всеми остальными, другая, меньшая, сдается на руки казенному старосте, который обязан, на правах казначея, блюсти эту сумму, как зеницу ока. На эти деньги староста, с согласия целой артели и с ее разрешения, покупает всякие льготы у этапных начальников (офицера или унтер-офицера): право пропеть «Милосердную» и собрать в попутной деревне на артель деньги и съестные припасы; право сходить в баню на этапе, иногда выкупаться в реке, сбегать в кабак откупщику или его подставному помощнику; снять кандалы на честное варнацкое слово и принанять, сверх казенной, на артельные деньги, лишнюю подводу, куда садятся слабые и больные и складываются, снятые для облегчения в дороге со всей партии, кандалы[8].

-"- Пензы до Симбирска………………………………..	47
-"- Симбирска до Казани……………………………….	69

В Казани же присоединялась и московская партия (из ссыльных окрестных губ.), пополненная петербургскою (из арестантов финляндских, остзейских, литовских, псковских и олонецких).

Московская (соединенная) партия росла так :

От Москвы до Владимира…………………………	72
Владимира до Нижнего……………………………	80
Нижнего до Казани…………………………………	85

В Казани, таким образом, собиралось уже 154 арестанта; в Дебесах (куда сходились из Вятск., Волог., Костр., Оренб. и друг. губ.) число ссыльных средним счетом бывало 171.

От Дебес до Перми………………………………....	178
-"- Перми до Кунгура……………………………….	182
-"- Кунгура до Камышлова………………………...	189
-"- Камышлова до Тюмени………………………...	194
-"- Тюмени до Тобольска…………………………..	220

[8] На те времена, когда по малолюдству партии не сладится откуп, и не будет майданщика, обязанного оберегать арестантские удовольствия, запроданные на откуп, — на те времена карточные игроки на этапах защищались полтинником против унтер-офицера. За 10–15 коп. с майдана охотно берутся

— Где же нанимают подводы?

— Сами этапные лошадей держат. Солдаты тем и живут, живут тем же и господа офицеры.

— Да справедлив ли этот последний сказ?

— На правду-то дело пойдет, так мы (арестанты) и ответить не знаем как, кто из нас лучше: те ли, кто водят, или те, что ходят. Под Казанью был этап и прозывался «пьяным»; пьяный и был: там спаивали все партии. В Енисейской губернии другой такой этап стоял и офицер жил. У него было пять дочерей, а при них он кабак содержал. Мы люди гиблые, а душа в нас все та же: на всякую сласть соблазнов не отняли и силушки не хватает сладить с духом.

Прислушайтесь !

«Вышли мы из Тобольского городу и не отошли верст десяти, слышим, кричит этапный, который шел с нами:

— Староста!

Подбежал к нему староста.

— Спроси партию, по скольку даст за статейные списки?

Спросил староста партию. Отвечают:

— Давай по пятаку с рыла.

— Мало, — отвечает, — пускай-де дают по гривне! — и отослал старосту.

Тот к артели.

— Давай по восьми копеек!

— Не берет — без запросу-де.

— Ну, черт с ним, отсчитывай ему по гривне.

Развязали мошны, отсчитали деньги, передали старосте. Развернули нам бумагу и вычитали каждому — куда и как. А знаем, даром должен сделать; даром доведет до тех мест, кому какое уготовано. Надо бы было нам слышать это самое в приказе. Там не сказали, а тут зуд берет: всякому вперед знать о себе хочется. Всякому это лестно. Вот тут первый соблазн. Приказ сказывать должен, да захотел он, видно, помирволить офицеру; ин быть делу так!

защищать игру часовые и тогда ведут подходы за себя против унтера. Впрочем, подробности тюремной жизни дадут нам дальше возможность объяснить этот вопрос в более полном оконченном и определенном виде.

А бывало дело, и не один раз бывало такое дело. Этапный начальник тоже человек бедный».

— То ли бывает! — говорили другие ссыльные: — И кто знает, с чего это: от того ли, что так подобает, или по какому по другому закону, — мы не домекались. А слыхали не раз, как звал офицер старосту и наказывал: «Староста! а что бы партии-то этапного начальника яичками попотчевать». Приходил староста в партию, объявлял.

— Можно! — сказывали и отбирали человек с десять, самых голосистых. Певуны эти шли по деревне, пели заунывную «Милосердную», на песню выносили яйца, а из яиц господин начальник яичницу себе стряпал и кушал в полное свое удовольствие».

Из дальнейших рассказов и расспросов мы узнаем, что с офицерами и другими провожатыми партия старается жить ладно и во всем им угождает. В свою очередь, и офицер, с глазу-на-глаз поставленный с преступниками, обязан мирволить и подлаживаться к общему тону арестантской артели, чтобы не лопнуло звено в казенной цепи и она не рассыпалась бы. Этапному офицеру сделать это не трудно, потому что ему самому трудиться не надобно: до него все придумано, испробовано и подогнано в самую меру. Он сам искал этого места и получил его в награду за долгое терпение, как древний русский воевода, и с тою же самою прямою целью. Обманывать и обманываться тут не для чего, дело всему миру известное. Малого ребенка об этом спросите, и тот сумеет ответить. Тут чем ни замазывай, подгрунтовка сейчас окажется не тем, так другим краем. Инвалидные места в недавнюю старину тем и славились, что лучше крепостной деревни были. Хороши были инвалидные команды вообще, да и этапные таковы же в частности. Между тем, нетрудно было распознать человеку, что вот и еще житейская задача — влачить и ладить утлое житейское судно свое между ножом и артельным полуштофом, между крупными ругательствами и десятком яиц за кротость нрава и уживчивость. Закон уступок не знает, на него надеяться нечего; если по закону: когда убежит поселенец — накажет солдата командир, но зато, если убежит каторжный — военный суд, как снег на голову. Опять же закон больше себя очищает, с силами твоими не всегда справляется; велит

прилагать старание к поимке беглых и воров, которые укрываются вблизи дороги, или, по крайней мере, быть для них страшными своею деятельностью и поисками. Закон в то не входит, как приспособить желание его и где взять для исполнения его возможность, досуг и силы. Хорошенько поглядишь на дело и видишь, что жизнь дарит только две крайности: либо в стремя ногою, либо в пень головою; сегодня — деньги на приварок от артели из доброхотных подаяний, если дано ей посильное послабление, завтра — все в лес убегут, если нажил человек крутой нрав и натрудил сердце, а за то ему: лишение годового оклада жалованья, суд, клейменая отставка.

Вот те искусственные крепы, какими спутываются набалованные бродяжничеством и тюрьмою люди с теми людьми, у которых сердито сердце от житейских неудач, а пожалуй, и от той же забалованности. Арестанты забывают на время пути по этапам свою бродячую повадку; приставники, в свою очередь, должны поступиться кое-какими из своих личных прав. В итоге у тех и других выходила круговая порука, взаимное обязательство жить между собою мирно и ладно. Отсюда замечательная случайность: арестанты с этапов и с этапной дороги почти никогда не бегут. Бывают примеры, но очень редко, и те выпадают большею частью на Забайкалье, на места, соседние каторгам или на пустынные, вроде стран заленских[9], а кажется, чего бы легче и удобнее: у самой дороги такая лесная треща, что стоит вскочить в нее — с собаками не сыщешь, особенно если не зимнее время, не лежит снег глубокими сугробами, а стоит весна-красна или лето жаркое, трава-мурава шелковая, а промеж нее всякое коренье сладкое и ягоды рдяные. Стоит, сговорившись всем, крикнуть «уру», чтобы вся партия разом схватилась с места и брызнула, что вода из чана, в разные стороны.

---

[9] Пустыни по тракту в Якутск и дальше до Охотского края и Камчатки с двумя винокуренными и одним солеваренным Охотским заводом издавна служили исключением для этого правила. В конце прошлого и в начале нынешнего столетия ссыльные организовались очень часто в большие разбойничьи шайки. В 1832 г. высшее правительство узнало, что при внимании конвойных в небольшом числе ссыльные делали побеги и производили грабежи, а потому указом 26 февр. установило на этом пространстве в 400 в. три этапа.

Что тут каких-нибудь 20–30 конвойных противу ста или попредстали принять могут? И на плечах-то у них старые кремневые ружья с осечкою. Да не в том дело.

— Бежать с этапа невыгодно, — уверяли бывалые арестанты, — да и артель наша такого дела не терпит. Умелые начальники так сказывают: «Делайте, братцы, что хотите, а мне чтобы ни одного беглого в партии не было. Урвется который, всю партию к цепи прикую». А наложат цепь — для нашего брата ни в которое время хорошо не бывает. Летом эта цепь суставы ломает, зимою от цепи все кости ноют. На нашей партии один раз стряслось такое дело: наложили! На морозе цепь настыла, холоднее самого мороза стала, и чего-чего мы на переход-от этот не напринимались! Мозг в костях, кажись, замерзать стал, таково было маетно и больно, и не в людскую силу и не в лошадиную!..[10]

— У нас (говорили другие ссыльные), из нашей партии единожды бежал молодой да небывалый, горяченький. Ёкнуло сердце и суставы затрещали прежде времени. Думали: цепи не минуем, а зима во всей силе. Собрались мы в кучу, потолковали, померекали, пришли к начальнику:

— Так мол и так, Ваше благородие. А Вы нам сделайте эту милость: пустите на поиски! Мы Вам этого беглого сыщем, чтобы Вам со счету не сбиваться и перед начальством своим не ответствовать.

— Ладно! — говорит.

Офицер был старый, свое дело знал, да знал он и нашего брата; чуток был на варнацкое слово[11].

---

[10] Освобождали от каната, т. е. цепи железной, за 2 коп. с человека, каковые деньги удерживались из кормовых.

[11] Варнацкое слово, варнацкая честь — условные названия хорошо известного сибирякам нового элемента в народном духе. Основание его лежит на тех же самых данных, какими руководствуются купцы, вверяя на честное слово, по одной накладной, товары возчикам, а смысл самых слов сделается окончательно понятным, когда обнажатся в последующих наших рассказах тюремные тайны. Слова варнак, *чалдон* — бранные прозвища, адресуемые сибирскими старожилами всем беглым из тюрем, с заводов и с мест поселения и водворения.

— Ступайте! — говорит и конвойных нам не дал. Пошли мы от своей артели, пошли на ее страх, сами из себя и сыщиков выбрали. В лесу сделали облаву. Проходили ночь, много утра, на другой день взяли. В полудень через сутки сошлись, где сказано, и к начальнику привели прибылого да новенького: бежал от нас молодой парень лет восемнадцати, а наши ребята старика- сгребли, лет пятидесяти. Старик бродяга был, на бегах, а бродяг в сибирских лесах, что пня, не искать стать.

— Не того привели! — сказывает офицер.

— А Вам, мол, Ваше благородие, не все равно?!

Подумал начальник, согласился принять этого. Был бы, значит, счет верен, а там наводи справки, на чьем этапе смена сталась».

— Ну, а старик? — спрашивал я.

— Ломался, упирался на первых порах, дело известное. Мне-де, слышь, и погулять хочется, и погоде вы еще мне подставите: может, каторжного, может, бессрочного... и в лесу-де мне не в пример лучше, чем с вами... Сказывал много, всем нам слова его смешны даже сделались.

— Ты, мол, стар человек, а глуп очень. Черт тебе мешает в Иркутске сказаться: я-де не я, по ошибке за другого в список включен. Там начнут казенные справки делать, а ты сиди в тепле. На морозе-то, мол, дурак, хуже, да и не на всякий день харча промыслишь, а в остроге казенный.

Подумал старик, сдаваться стал. Обсказывает:

— Не осерчало бы начальство которое...

— А тебе, мол, с ним детей не крестить! Пущай серчает, пущай справляется, не что ему делать, начальству- то твоему! вишь, пожалел!.. Ты думаешь, на спину-то тебе оно крест повесит за то, что ты волком-то по лесам бродил? Этого, брат, баловства и в Рассее не любят.

Старик опять подумал, а мы ему ото всей артели рубль серебром положили: согласился. И пошел этот старик с нами. После будет сказываться непомнящим. Так его начальство и писать везде и всегда станет».

Обычай меняться именами, любовь к псевдонимам на этапах сильнее, чем в других местах каторжных. Иногда за самое ничтожное

вознаграждение соглашается бобыль-поселенец сказаться каторжным для этапов, чтобы объявиться потом поселенцем вблизи самой каторги, когда облагодетельствованный им, прикрытый его званием каторжник остался далеко назади и где-либо в волости воспользовался более легкими и льготными правами посельщика. Обычая этого не остановило и строгое решение закона, повелевающего поселенца с псевдонимом оставлять на каторжной работе 5 лет, а каторжному, по наказании на месте ста ударами лоз, к двадцатилетнему сроку прибавлять еще пять лет. Обмен именами не прекратился и между поселенцами, несмотря на то, что обоим предстояло пробыть за то на заводской работе по два года.

Другой случай, переданный нам очевидцем, поразительно доказывает отсутствие в арестантской партии стремлений к побегу и возможность существования таких стремлений при том плотном устройстве артели, в каком неизбежно шествует каждая партия.

Дело было около Тюмени. Партия состояла из трех сот человек. Пришла она в полуэтап, всегда тесный и непоместительный. Целью сделки было желание партии идти следующие лишние версты, чтобы отдохнуть в этапе и отдохнуть подольше, с зачетом выигранного времени. Офицер согласился. Партия пошла вперед после коротенького отдыха. С дороги, вопреки ожиданиям, бежали трое. Офицер собрал партию в круг, выбранил всех, раскаялся в своем доверии и крепко пригрозил. Партия почувствовала неловкость своего положения и всю ответственность приняла на себя. Тем же путем облавы, через выбранных лоточников-скороходов и бывалых бродяг, но также без конвойных, добыли арестанты к следующему утру всех троих беглецов своих. Привели их к начальнику. Офицер возымел желание наказать и, не встретив со стороны товарищей противодействия, дал каждому по сто розог.

— Теперь позвольте нам самим еще разделаться с ними, — просила вся артель.

Получив согласие, прибавила от себя каждому еще *пятьсот розог*, да таких горячих, что жестокость их изумила самого привычного к телесным наказаниям, этапного офицера.

Третья партия в жаркий июльский день соблазнилась на озеро холодное, искупаться захотела. Получив дозволение, сняла канда-

лы, разбрелась по берегу (партия была довольно большая), насладилась запретным удовольствием, но на сборном пункте явилась вся до последнего человека. На Борщовском хребте (в Забайкалье) от строгого офицера из следующей, четвертой партии бежало сразу 6 человек, и товарищи искать не ходили.

Но чем дальше в лес, тем больше дров. Взаимные отношения арестантов и конвойных приметно усложняются, и каждая партия расскажет непременно не один случай вымогательств с одной стороны, сильной и надзирающей, и не один случай уступок со стороны слабой и подчиненной. Конвойные не упускают ни малейшего повода, чтобы сделать с арестантов побор, и изобретательность их в этом отношении изумительна.

В большей части случаев придирки солдат носят какой-то отчаянный, злобный характер. Этапный солдат, получающий от казны около 3 руб. в год, как будто хочет наградить себя за многотрудную службу свою и немудреный уход за арестантами крохами тех, за кем надзирает. Словно целую жизнь он не ел и вот теперь, в боязни умереть голодною смертью, хватает зря, что попадется, не гнушается никакою скверною, не боится греха, что вот и нищего сгреб в ослеплении и исступлении ума своего и дерет с его голых плеч последний кошель. На практике выходит так, что где солдаты линейные, там и каторга, но где сибирские казаки (как, напр., в Восточной Сибири) — там и песня другая. Казак не ел крупы, не жил в казарме, не получал в приварок палки, а потому, умягчившись на мирных деревенских работах, на мягком воздухе — нравом кротче и к арестантам жалостливее, на желания их податливее и уступчивее. За казаками арестантам лучше. Послушайте — и судите!

Одна этапная партия кончает в Сибири дневку. Рано поутру она слышит обычную команду: «Вставай!» На дворе четыре часа ночи, мороз во всей силе утренника, а дело зимнее. В казарме этапной холодно до того, что у арестантов зуб не попадает на зуб.

Началась суматоха: «В дорогу собирайся!» Грохочет барабан обычный сказ: «по возам!» Выходи на двор. Там в суматохе согреваются, по команде собрались. Выведены на двор. Надо бы слушаться барабана, укладывать мешки на подводы и садиться больным на воза, а там барабан замолчал. Раздается команда словесная: «Полы мыть!».

— Устали мы, изныли все. Да и не наше дело.

— Кто дрянил, тот и чистит, везде это так. Мой полы — таково положение.

— Положения такого не слыхали и не видали. Смотри на стене, начальство притеснять не велит.

— Это в прошлом году было сказано. Нынче другой год идет и потому положения новые.

— Где они?

— Приколотить не успели.

— Покажи их.

— В другой раз приходи — посмотришь.

И затем унтер-офицер отбирает из партии, вместо обычной переклички, троих или четверых самых говорливых. При этом этапные ворота запираются, ружья берет конвой под приклад и делает цепь. Выбранные выводятся вперед и получают в руки шайки с холодною водою. Вода дается холодною затем, чтобы мыть приводилось больше, чтобы партия стояла на холоду и неподвижно на одном месте дольше. А комнат в казарме пять-шесть, а грязи налипло за целый год, если не больше; и не видать конца поломойной работе. Партии придется ждать долго, иззябнет она вся, измерзнет: думает и надумается. Ворота хотя заперли, под приклад взяли, но осталась лазейка, — зовут арестанты старосту.

— Поди, староста, спроси: сколько положения по новому закону. Черт с ними!..

— По грошу с брата!

И конец делу. И обычная по положению стройка во фронт в две шеренги, конвойные в авангарде, арьергарде и с боков. Барабан бьет генерал-марш: выходи рядами, а там уже иди как хочешь. На новом этапе опять порядок после того, как разобрали котомки, опять фронт в две шеренги. На правом фланге — каторжные, в центре — поселенцы, на левом фланге — бабы. На новом этапе опять поборы. Марш к ним навстречу!

Новый вид поборов столь обыкновенен и общеупотребителен, что без него и не идти, кажется, арестантской партии, пока существуют эти этапы и живут на этих этапах солдаты, и жестокие и сребролюбивые, от самого Томска до Сахалина.

Партия желает получить баню по положению и по закону.

— Баня в починке! — отвечают им.

— В починке была, братцы, прежняя, там указали на вашу.

— Указ не приказ, да и мы на ту стать указать вам умеем; нет у нас бани, ступайте дальше, там баня новая.

— Да, может, и она в починке. Закон велит топить баню каждую субботу.

— А по копейке с брата положите, так и наша поспеет, как-нибудь законопатим...

Почешутся арестанты, подумают да и велят старосте развязать мошну с артельными деньгами, ибо знают, что по закону «могут ходить в баню и мыть белье, но не иначе, как с позволения этапного начальника (!?)».

Недозволение огня — новая статья солдатских доходов, в особенности около ссыльных дворян[12], а вместе с этим запрещением и невозможность самим, для ускорения, ставить самовары — предполагает новый, непредвиденный расход для ссыльных путешественников.

Но до сих пор солдаты, а вот и настоящие этапные начальники, по тем несомненным данным, которые попадаются в следственных делах и официальных бумагах разного рода[13].

Первый пример.

Арестант на спросе в Томске показал, что у него один этапный начальник взял взаймы 15 рублей сер. — и не отдал. Навели справки, написали батальонному командиру и получили ответ, что деньги с офицера взысканы и отправлены по принадлежности к месту нахождения кредитора.

---

[12] Тюремные предписания, между прочим, превратно поняли свойства огня, не дозволив его в первобытном виде, но разрешив пользованье им в виде угольев; ссыльным из дворян не позволяют ставить самовары, но подают их с угольями и уже не боятся опасности поджогов. Арестанты из дворян, как известно, пользуются перед другими еще тем преимуществом, что освобождаются от оков и могут проедать в сутки 15 коп., тогда как другие должны быть сыты только на 10 коп., хотя бы эти другие и живали в ненасытных извозчиках.

[13] Этапные начальники обязаны провожать партию, если в ней больше 80 человек.

Другой пример оправдан не одним десятком случаев.

Во многих этапных зданиях пропадали казенные вещи, большею частью железные, имеющие перед прочими большую ценность: дверные петли и скобы, печные заслонки и душники, а на одном этапе изчезли даже целиком новые сосновые двери. Наведены были справки; оказалось, что все эти вещи проданы торговцам и продавали их сами этапные командиры.

— И нет никаких средств искоренить это зло! — говорили нам люди знающие, заинтересованные этим делом, как люди, ремонтирующие этапные здания.

— А подумать, приискать! — было у нас на уме, но знающие люди предупредили ответом:

— Придумать могли одно только: душники закладывают кирпичом, вместо заслонок рогожу моченую вешать, а двери и без скобок живут...

В Пермской губернии, почтовым трактом от Екатеринбурга к Москве, тянется небольшой обоз с чаем, с пятью-шестью возчиками. Сзади партии едет на подводе в одну лошадку офицер. По обыкновению господин этот кричит арестантам: «Давайте по два рубля с человека и делайте, что хотите!».

Состоялось согласие, учинилась сделка, отсчитаны деньги. Арестанты бросились на возы всею партиею, сорвали несколько цибиков (т. е. мест). Возчики сбежались в кучу, бросились отбивать пограбленное, но конвой сделал цепь — не пустил. Награбленный чай в соседнем городе сбыт был темными путями через надежных людей, деньги получены натурою, разделены поровну на каждого человека. Затеялось следствие, тянулось долго и много.

Таковы бывали начальники смирные, а бывают и сердитые.

— Иной придет будить партию да увидит, что наш братнеженка распустился на ночь, чтобы слаще спать: кандалы с ног спустил для легкости; подавай штрафные деньги по положению. А положение это он в трубе углем пишет...

«Бывало и вот что: у меня от морозу лицо опухло. Увидал это этапный офицер, в рыло съездил.

— Ты (говорит) клейма вытравляешь.

— И не думал, ваше благородие, мороз со мною пошутил.

Затопал ногами, закричал зычным голосом:

— Плетей подавай!

Дать мне ему было нечего, вздул меня. Другой, денежный, откупился от такой же напасти. Салом бы гусиным смазать надо и сало под рукой, всякий этапный солдат сало это на тот случай держит, а сунься — четвертаком за махонький кусочек не отделаешься. Не дашь, начальству под страх подведет, а дать не из чего. По Сибири наш брат идет совсем без денег. Там деньгами помогают мало, больше живьем да харчами».

Четвертый случай.

После известного омского дела, когда тамошние ссыльные поляки затеяли крупный побег через Киргизскую степь, началось передвижение их по Сибири. Между прочими составлена была партия из 30 поляков, находившихся в Троицком солеваренном заводе (близ Канска), и, закованною в кандалы, отправлена была в Нерчинск. В Иркутске увеличенная новоприбывшими, она выведена была из острога для дальнейшего

путешествия. Окруженные конвоем со всех сторон, поляки очутились в одной партии с прочими преступниками. Этим выбрили полголовы тут же, на тюремном дворе; то же самое хотели сделать и с поляками. Впрочем, конвойный офицер согласен был взять по 60 коп. с каждой головы, чтобы избавить их от операций, от которых освобождал политических преступников давний обычай. Поляки, не имея денег и желания подчиняться капризам конвойного, сделали несколько решительных и крупных замечаний, в ответ на которые офицер выслал вперед цирюльника с тупою бритвою и грязною бритвенницею. Первый, к которому подошел солдат-брадобрей (поляк Венярский), ударил цирюльника в ухо, а когда последний сорвал с него шапку, взял его за шиворот и бросил от себя с замечательною силою. Все солдаты, при виде такого поступка, с криком «поляки бунтуют!» кинулись на остальных. Началась общая свалка, которую прекратил сам губернатор, явившийся в острог по призыву. Офицера посадил он на гаупвахту, а поляков отправил дальше небритыми. Когда партия пришла в Верхнеудинск, тамошний полицеймейстер распорядился прогнать из тюремного двора всех продавцов и продавщиц съестного под тем предлогом, чтобы поляки, идущие партиею, не имели свидания с

живущими в городе. Для большего обеспечения себя, он даже запер их в казематах на замки, а между тем о пище не распорядился. Один повстанец из жмудяков выломал двери в своем номере и высвободил товарищей из других номеров, чтобы общими усилиями докричаться и доискаться пищи. Начался шум и прежний крик: «поляки бунтуют!» Прибежал полицеймейстер и дал разрешение на очередной выход с конвойным в город за припасами. А за бунт в остроге отомстили, говорят, тем, что дальше отправили польскую партию окруженною крестьянами с кольями и собаками. Под такою обороною, как говорит предание, прошли они всю Братскую степь, и только в г. Нерчинске конвой был уменьшен и принял обычный форменный вид.

Пятый случай.

Идет по этапам арестант бывалый и тертый, из бродяг. Дорогою он, по обыкновению, крепко промотался, надо добыть денег покрупнее и побольше. Нехитрая штука взаймы взять у старосты или в артели, мудреная штука взять деньги у офицера и взять без возврата. Попробовать надо, такого случая на этапах не слыхивали. Задумал арестант про себя и товарищам об этом передал. Выслушали те, посмеялись: выдумка понравилась. Решили все стоять заодно, помогать ему, а на несчастный случай выручить. И пошло дело в ход таким образом: пускает арестант между спутниками слух, что добыл он контрабандное золото в порошке по случаю. Штука дорогая, да он, бедный заключенник, не стоит за ценою и продал бы с радостью, да некому; ходячее-де серебро для него лучше. В лавку снести — конвой не велит, а начальству своему он не прочь передать за все, за что ему будет угодно взять. Пошел этот слух от арестанта к другому, дошел до конвойных солдат, а из уст солдатских попал и в офицерские уши. Разгорелся офицер на легкую добычу, пристал к арестанту:

— Продай!

— Извольте!

Взял офицер золото, отнес к серебрянику (дело было в Томске), показал мастеру:

— Где взяли?

— У арестанта.

Подумал серебряник, смекнул и ответил:

— Золото. Покупайте его, давайте что ни спросит.

— А купишь его у меня?

— Отчего не купить! Зайдите на обратном пути, когда проводите партию; теперь денег нет да и свидетели близко, а тогда куплю.

Проводил офицер партию, пришел к серебрянику.

— Ступайте, ваше благородие, в котельный ряд, там не возьмут ли? Порошок ваш — тертая сущая медь, без обмана. Золото бывает не такое.

Приводя все эти частные случаи, объясняющие взаимные отношения арестантов и провожатых, мы брали их в том виде, в каком они попадались нам, и не составляем связной и общей картины, потому что не имеем на то права. Право наше бессильно и потому еще, что приведенные примеры частные: сегодня один случай, завтра другой; один за другой не отвечает, одного за другим ни предвидеть, ни ожидать невозможно. Каждый имеет свой характеристический оттенок, один на другой не похож, и если нет крупных противоречий и отрицаний, то потому, что мастера-художники одни и те же, одной и той же школы. Для картины кладется все-таки один только грунт прочный, — все другое для нас мало определилось. Краски накладываются такою грубою кистью, что в рисунке не ожидаешь ни изящества, ни полноты, ни законченности. Мастера, правда, умелые и досужие, но, как владимирские богомазы, они на работе не спелись, в приемах не условились, идут особняком, на две стены и смены: один пишет лица, другой только одежду, «долишное». Работа раздвоилась. Один пишет, что может, другой — что хочет: нет, стало быть, ни лица, ни образа. Иногда вмешивается третий, и тогда совсем уже нельзя распознать не только деталей, но и общего в картине...

Записок пересылаемые арестанты не ведут да и вести не могут: бумага, перо и чернила для преступника вещи запрещенные. Отрывочные рассказы ведут к одному — к вере на слух и к такому заключению, что только на взаимных договорах и условиях и может существовать вся эта гниль и путаница отношений. Пока существует этапная система препровождения ссыльных в том виде, в каком она была — характер этих отношений измениться не может. Язва слишком застарела для того, чтобы прочить ей благоприятный

исход. Такие язвы медицина лечит только хирургическим ножом. Накладывать пластыри, делать местные и поверхностные перевязки — значит обманывать себя и больных. Больные сами хорошо это знают и в выводах не затрудняются.

— Как вы водку в тюрьме достаете? — спрашивал я одного из арестантов.

— Штоф водки стоит на воле 80 коп., дам солдату 1 р. 60 к. и принесет.

То есть таков закон, таково положение; иначе и быть не может, иначе никогда и нигде не бывало и не будет.

— Арестантское дело такое, — объясняли мне другие преступники, — не согласен один — другого попроси, этот заупрямился — третьего попробуй. На четвертом не оборвешься, посчастливит, соблазнится четвертый. Такого и примера не запомним, чтобы четыре солдата вместе все каменные были.

Только крепкая и давняя практика дает такие смелые и решительные выводы и заключения. Язва продолжает гнить, а, между тем, болезни далеко еще до кризиса и до благоприятного исхода. Арестанты все-таки продолжают говорить и думать свое.

— Этапы старые, холодные; их не починяют; солдаты на них народ перемытой, перетертый, их не сменяют. Хороших, говорят, в Сибири найти никак невозможно. Нашему брату оттого не легче. Тут наш брат поневоле через хлеб калач достает и много на это денег изводит. Этапные себя соблюдают, да и мы глядим в оба, чтобы и наша кроха нигде не пропадала. Рука руку моет, обе чисты бывают.

— Ребята! — говорит один офицер своей партии. — Мне надо поспевать к сроку по важному делу. Пойдемте дальше на этап, без остановок, сразу. Дело небольшое — всего 12 верст.

Арестанты прошли уже пятнадцать верст; офицер не изобидел, смирный был человек. Пора стояла летняя, время теплое. Посулил офицер накормить за это горячими щами на собственный счет, обещал достать мяса на этапе.

— Ладно, братцы! Пойдем дальше. Ведите, Ваше благородие...

Зимнее время сулит другое и судит иначе. Между городами Нижнеудинском и Красноярском где-то сгорел этап (кажется, Ка-

мышедской[14]). Сгорел он осенью, на зимние холода. Починить и поправить его не успели, а между тем, на вольные квартиры становить арестантов запрещено, под строжайшею ответственностью. Вести их дальше силы не позволят: вместо 25 верст придется сделать 60 — пространство не в силах человеческих плеч и ног. Что тут делать? Один командир надумал наскоро опростать уцелевшие от пожара этапные конюшни. Арестанты помещением остались как будто довольны и безропотны, несмотря на то, что на дворе стояла глухая морозная осень, которую в России свободно называют зимою. На покушение вести дальше следующая партия отвечала криком, обещанием употребить со своей стороны насилие, хотела разбежаться.

— Человеколюбие и справедливость арестанта ободряют, — наивно замечал мне один из этапных.

— Да кто их не любит? — хотел я заметить ему, но зная, что не все знают об этих доблестях и доверяют им, вписал в дневник свой следующие строки:

«Деревянные этапы и полуэтапы, за долгое стояние со времени постройки своей, производившейся в Сибири между 1824 и 1830 годами, пришли в такую ветхость, что современный ремонт дает возможность исполняющим строительские обязанности класть большие деньги в карман и большие, но дешевые заплаты на старые и гнилые прорехи. Дело, естественным образом, от этого не выиграет. Не тесом обшивать и потом проходиться по этой обшивке казенною желтою или серою краскою, а выстроить вновь и совсем уничтожить эти утлые, гнилые и холодные сараи. Вот прошла только одна неделя после того, как поправленные этапы сданы были ремонтером приемной комиссии, я вижу 10 этапов таких (вижу зимою), и во всех углах намело снегу, намерзли так называемые зайчики. В одном углу даже целая груда снегу, сбитая ветром по всей длине этапной казармы, под нарами. Не помешали ветру и досщатые заплаты, не помешали злу и надзор комиссии и ревизия ее. Предатель-ветер выдает дело в наготе.

---

[14] На случай подобных этому затруднений этапный солдат обязан — по закону — носить в ранце провиант на два дня.

И другое горе: этапы против прежних планов и соображений сделались тесны, неспособны вмещать всего количества проходящих арестантов. В пяти-шести комнатах на этапах, в трех на полуэтапах, приводится иногда поместить до 500 человек. Арестанты ложатся на пол, чуть не друг на друга, валятся под нары, где их встречает сквозной, сырой и холодный ветер.

Во всяком случае, лежащим на нарах всегда так тесно, что они едва поворачиваются и полагают обыкновенным явлением, если многие, прицепившись на краю нар, лежат поперек других товарищей, прямо и непосредственно у них на ногах. И вот отсюда новое злоупотребление в ущерб общего арестантского интереса: бывалые и опытные из них платили солдатам несколько денег, чтобы ехать вперед товарищей. От 8 до 15 коп. с человека платят за то, чтобы сесть на подводу, и прибавляли четыре коп. с человека, чтобы подшибить шаткую совесть инвалидного солдата и уехать денежным и желающим на этап впереди других[15]. Здесь счастливые и занимали места лучшие, места на печи, на нарах. Проделки подобного рода так часты и денежные вымогательства со стороны солдат столь обыкновенны, что арестанты, не придавая им особенного значения, смотрели на них, как на дело законное, неизбежное, роковое. Услаждая себя потом в рассказах об этом всем желающим ведать, арестанты и тогда относятся к прошлому со всем равнодушием и без всякой озлобленности. Вообще, требовательные на равноправность общую по идее артельного устройства и нетерпеливые, неуступчивые при поползновениях на привилегию, арестанты в этих случаях отчасти изменяют своим обычным правилам. Только одни кандальные, т. е. ссылаемые на каторгу, остаются им неизменно верны. У этих право удобно поместиться в казарме предоставляется тому, кто ловчее, кто шибче бегает. Принято за правило бросаться в кандальную казарму опрометью тотчас после того, как перекликали их по списку и произвели осмотр (если не успели и не догадались откупиться): нет ли денег, трубок, ножей.

---

[15] Иногда право обижать товарищей покупалось желающими за меньшую плату, но в таком случае не иначе, как перед самым этапом и теми, которые пешешествуют. Солдат отбирал охотников и вел их вперед других, конечно, пешком.

Я в крепко морозный день зашел в один попутный этап за Томском, час спустя после того, как в него вошла партия, и увидел безобразную картину беспорядочного размещения арестантов, как овечьего гурта, как стада: большая часть путешественников толпилась около топившейся печи. Один взгромоздился на уродливое громадное чудовище-печь и свесил свои ноги в кандалах.

— Пошел прочь! — ожесточенно и грозно закричал на него вошедший вместе со мною офицер, не этапный, но имевший на такое приказание некоторое право.

Я изумился его смелости, поражен был его крикливостью и решился робко заметить ему свое простое:

— Пусть погреется!

— Помилуйте! — продолжал кричать офицер. — Кандалами замазку околачивает, кирпичи обламывает, печь портит. Не успеешь выбелить, опять замазывай.

— Но здесь холодно, даже морозно.

— Казармы старые, обветшалые! — заметил со своей стороны этапный командир.

— Не верьте, ваше благородье! — послышался иной голос из толпы, сзади: — Печь-то они затопляют перед тем, как партии прийти, вон и дрова не прогорели. Всю неделю этап холодным стоит, его в два дня не протопишь.

Крикливый офицер опять закричал, силился *оправить* товарища по оружию, но речь арестанта была выговорена. Его искали, но, за многолюдством и теснотою толпы и ловкостью говоруна, не нашли».

Зло этапного холода остается все-таки злом и живою струною, которая звучит при самом ничтожном уколе, при малейшем прикосновении к ней. Звучит она одинаково, хотя и в разных тонах:

— Стынешь, стынешь дорогой-то, а придешь, и согреться негде! — замечали кроткие, а умеренные прибавляли к тому следующее:

— Трубу закроем, угар такой, что головы на плечах не держишь. Случалось, другие отравлялись этим угаром до смерти. Не закрыть трубы, зуб не попадает на зуб, цыганский пот обессилит.

— Куда ни кинь — везде клин (заключали озлобленные). В маленьких полуэтапах навалят народу в казарме — не протолкаешься.

Окна двойные, с решетками — не продохнешь. Есть в дверях окошечко, открыть бы! так солдат снаружи защелкнул. «Отвори, мол, служивый, сделай милость!» — Давай, слышь, грош! — «Возьми, черт с тобой!» Вот наше дело какое!».

Заезжал я на этапы и теплою порою, в весеннее время, и писал в дневник на ту пору такие строки:

«Сазановский этап (между Тобольском и Тюменью). В этапных казармах, по случаю весеннего бездорожья и задержки на Иртыше, скопилось 230 человек арестантов. На небольшом и тесном этапном дворе, образуемом обыкновенно, с одной стороны, арестантскою казармою, с другой — офицерским флигелем, выходящим на улицу, и с двух остальных — острожными палями (бревенчатым тыном), на дворе этом происходил решительный базар. Кругом двора сидели бабы, девки, девчонки, солдаты. Перед каждым и каждою лежали разные продукты и товары: творог, молоко, квас, щи, каша, пироги. Какой-то солдат продает всякую мелочь: мыло, пуговки, нитки и сладкое: конфеты, изюм, пряники.

— Кто это покупает? — спросил я солдата.

— Поселенцы своим ребятенкам, да мало.

Вижу, несет один бритый арестантик с тузом на спине и в кандалах, несет ковшик с квасом и шаньгу (колобок).

— Сколько заплатил?

— По три копейки серебром.

На крылечке поселенец, с семьею, впятером хлебает молоко (на дворе стояли последние дни Святой недели). Я спросил и его о цене припасов.

— Гривенник дал, вишь, великие дни идут, захотелось...»

А получает от казны только 3½ — 6 коп., а иногда и меньше, потому что количество кормовых зависит от справочных цен на хлеб в данной губернии. Хотя цены меняются в течение года, но положение казенное на круглый год остается одно и то же. Продавцы этого не принимают в расчет и соображение: берут все, что вздумают и что захотят. Контроля нет, наблюдений и не бывало. Продавцы эти (преимущественно женщины, жены тех же этапных солдат, редко деревенские бабы, иногда сами солдаты, в особенности отставные из этапных) действуют огулом, шайкою, предвари-

тельно сговорившись, между собою условившись[16]: 50 коп. сер. (по их таксе) стоит 1½ фунта вареного мяса неопределенного вида и сомнительной свежести; 25–35 коп. берут они, эти бабы-торговки, за чашку щей, которые и название носят щей арестантских, купоросных, и слывут везде с таким приговором: «Наши щи хоть кнутом хлещи, пузыря не вскочит и брюха не окормят»[17]. При покупках подобного рода арестанты обыкновенно делают складчину, человека по два, по четыре вместе и «хоть немножко да похлебаешь горяченького, а без того на сухомятке просто беда!» — замечают они и жалуются всегда на постоянную резь в желудке, на продолжительную и сильную одышку и прочее.

— По Сибири, однако, все-таки харч подешевле, — толкуют другие, — по Пермской губернии тоже сходные цены живут, едим слаще: покупаем дичь, варим и жарим ее, а вот по Казанской — просто приступу нет ни к чему.

— От казны на этап, — говорил мне этапный офицер, — ничего не полагается, кроме тепла и свеч; но и свечи прежде клали на цельную ночь, а теперь только до зари, до зари только...

И последние слова офицер старается громче выкричать, может быть, для пущего внушения арестантам, что вот-де я и сторонним людям то же, что и вам, сказываю. Может быть, и оттого громко говорит этапный, что на дворе творится решительный базар, со всеми признаками сходок подобного рода: криком, шумом, гамом. Все это слилось, по обыкновению, в один гул. В этапном базаре

[16] Из прежней истории этапов видно, что сперва вольных торговцев не пускали, торговали сами офицеры, но по многим жалобам, что «офицеры берут вдвое против вольной цены», торговать офицерам запретили. Однако злоупотребление не уничтожилось и только прикрылось маскою, особенно там, где этапы стоят далеко от селений.

[17] Высокие цены объясняют тем, что торговцы сами покупают право на торговлю у этапных начальников и не всегда без прижимок. Приходившие партии нередко заставали еще крикливый финал переторжки, а бывали и такие случаи, что торговцы долгое время оставались на улице перед офицерским флигелем. Унтерам, обыкновенно, платил не больше 1 коп. сер. каждый торговец, а иногда просто за все разы, бывало, отпотчует водкою или пивом на деревенском празднике.

было только то особенное, что звенели цепи да покупатели были без шапок, с бритыми наполовину головами и с желтыми тузами на спинах.

Мы пошли по казармам. Их было шесть, как и прежде, как, несомненно, увидим и впереди, потому что ни в чем нет такого однообразия и постоянства, как в устройстве этапов: изобразить один — значит все описать.

Два дома: один окнами на улицу для офицера и команды, другой внутри на дворе, окруженный частоколом, для арестантов. Посмотреть с фаса: стоит желтенький домик, в середине крылечко, с боков примыкает частокол. В нем также посередине широкие ворота: правые на арестантский двор, левые — на конюшенный двор, отделенный от первого частоколом. Войдешь крылечком через пролет сеней в сквозной коридор наружной казармы и знаешь: в правой половине две комнаты, из которых ближнюю прокуривают тютюном этапные солдаты, дальнюю — конвойные казаки. В левой половине две комнаты для этапного офицера, заведующего двумя ближними полуэтапами; там же его прихожая и кухня. На этапе, кроме офицера, живет еще каморник-сторож и уже больше никого.

Войдешь коридором на двор, вот и арестантская казарма, чуть не на самом носу, и совершенно против первой, той же длины и того же плана, т. е. так же она разделена на две половины, и каждая половина на две казармы: правая и левая для идущих на поселение. Две задние казармы (правая и левая) разделены поперечною стеною на две поменьше. Из них стало четыре маленьких: в одной направо — женщины, налево — запоздавшие на этап поселенцы. В двух задних помещаются кандальные, т. е. ссыльно-каторжные. Чтобы попасть к ним, надо обойти кругом всей казармы и попадать дверями с внутреннего фаса ее. Там узнаешь, что правее арестантской казармы двор называется женским, а домишко на нем — банею. Оглядимся в казарме.

В одной и той же помещены были и холостые и женатые поселенцы на общий соблазн. Ссыльно-каторжные отделены, но отсюда в Томск пойдут и те и другие и женщины, в общей куче, не делясь и не дробясь, как шли они из России.

В казармах поразил нас возмутительно-дурной запах, хотя на то время открыты были окна. Более тяжелым и с трудом выносимым

запахом отшибали те казармы, в которых помещались женщины. С женщинами в одной казарме жили дети.

— Бедные дети! — говорил мне со вздохом ко всему привыкший и ко многому в жизни равнодушный этапный офицер... — Зимою, — продолжал он, — на детей смотреть страшно: коченелые, испитые, больные, кашляют, многие кругом в язвах, сыпь на всех...

Но еще не столько опасны язвы физические, сколько те, которые упадают на мягкое детское сердце от соседства с такими взрослыми. Впрочем, не лучше участи детской участь и взрослых арестантов, которым путь до Иркутска тянется иногда около года. Лишения и болезни неизбежны и встречают их везде, во всякое время года. Тобольская тюремная больница наполнялась каждою зимою больными отморожением членов (pernio) до антонова огня; тюменскую и екатеринбургскую тюремные больницы нашел я (в апреле 1862 года) наполненными до тесноты больными тифозною горячкою[18]. Арестанты обязаны идти 500 верст в месяц, не разбирая никакой погоды. Только две распутицы, и то по поводу вскрытия и остановки рек (весенняя и осенняя), задерживали проходящие партии в тюрьмах и на этапах. На мой проезд по тюменскому тракту на одном накопилось 250, на другом 230, на третьем 290 человек. В тобольской тюрьме собралось до двух тысяч, в тюменском остроге — до полуторы тысячи[19].

Удивительно ли, что при таком накоплении арестантов такая духота в казармах и такое зловоние, когда стены успели прогнить целиком, когда большая часть зданий построена на местах болотистых, когда многие этапы в половодье очутятся стоящими на острову,

---

[18] Вот средний вывод из цифр в трехлетней сложности. Из 9,500 человек (среднее годовое количество ссыльных, проходящих через Сибирь) задерживаются по болезни в дороге до Нерчинска 1,260. Из них 260 умирают, что составит 0,027 с долями всего числа ссыльных. По прибытии в Томск, во время содержания в тюремном замке, в течение года умирают из пересыльных арестантов до ста человек. В числе главнейших арестантских болезней на этапах самая обычная — венерическая, чаще приносимая из России и нередко приобретаемая в дороге.

[19] Эти остановки произошли вследствие половодья рек Тобола и Иртыша. В 1860 году разлив Иртыша собрал на одном из тюменских этапов 512 человек.

залитыми со всех сторон водою, когда вода эта на пол- аршина в глубину застаивается и промозгнет на самых этапных дворах, в самых этапных зданиях.

В особенности нестерпима казарменная духота и сильно зловоние, когда арестанты, в ненастную погоду, приходят все мокрые. Ночью, когда ставят парашу, т. е. ночную кадку, казарменная атмосфера перестает иметь себе подобие. По словам очевидца: «Смрад от этой параши нестерпимый! И эти несчастные как будто стараются как можно более выказать отвратительную сторону своего человечества. Они, так сказать, закаливаются здесь во всех пороках. Между ними всегда шум, крик, карты, кости, ссоры или песни, пляска (Боже, какая пляска!). Одним словом, тут истинное подобие ада!».

Понятно, почему тобольская тюрьма тяготилась множеством больных острыми болезнями; понятно, что в таких случаях и самая смертность увеличивалась за недостатком фельдшеров и лекарств[20]. К чистоте и опрятности зданий приставники из солдат не приучены. Большая часть из них не живет при местах.

Солдаты присылаются женатыми, а потому на новом месте спешат поскорее обзавестись собственным домом и хозяйством. Заплатив 15, 18, 30 рублей за целую избу, солдат отдает ей все свободное время и потом маклачит около арестантов торговлею и продает им за 3 к. крынку молока, за три жареных рыбки берет 6 коп., за фунт хлеба — 1½ к. и копейку за небольшую чашку промозглого, с плесенью, квасу. В этом — все отношения приставников к проходящему люду, а затем все для себя и для собственного хозяйства. Семейным солдатам положено отводить земли под поля и сенокосы, но военный человек на мирные и кропотливые занятия не идет, предпочитая им крохоборливые, но настойчивые вымогательства и поборы с проходящих арестантов. Полей солдаты не

---

[20] Кроме больниц при больших тюрьмах в городах больницы устроены еще через каждые три этапа при четвертом. Вместо лекарей в этапных больницах фельдшера, которые, так же, как и больницы, носят только звание, не отличаясь надлежащими качествами. Благодаря этим заведениям и трудностям путешествия, бывают случаи, что вместо года некоторые арестанты попадали на место назначения года через четыре.

пашут, хлеба не сеют, сенокосные луга отдают в кортому (аренду). Припомним при этом, что каждый этапный солдат, исправляя казенную службу, должен пройти пешком 100 верст в неделю, в год (50 недель) больше 5 тысяч и во весь срок службы (от 15 до 20 лет) обязан обработать 75–100 тысяч верст! О правильном и прочном хозяйстве тут нечего думать: много-много, если хозяйка солдата сумеет обзавестись огородом, капусту с которого во щах продает она потом дорогою ценою тем же арестантам[21].

На одном полуэтапе встретил я двух солдат-сторожей. Полуэтап был пуст, хотя соседние этапы были битком набиты[22] Один из солдат был семейный, а так как вблизи не было селения, то он помещался с семьею на полуэтапе. В комнате его уютно и опрятно, на стене висит конская сбруя.

— Лошадку, — говорит, — держу. Двоих детей кормить надо, в работу лошадку пускаю, отдаю мужикам.

— А что же арестантов на ней не возишь?

— Никак нет! Я около арестантов не поживляюсь, — отвечал солдат на вопрос мой, и лгал, лгал сколько потому, что селение было далеко, столько и потому, что чем же детей кормить, чем же самому заниматься!

Усталые партии нуждаются в конных подводах и особенно на вторую половину пути, и именно от полуэтапа. Да и кто же от денег прочь?..

Не соврал солдат на этот раз в одном только, что и на этом полуэтапе бывает огромное стечение арестантов и что всю громадную

---

[21] Насколько выгодна торговля около арестантов, можно судить из того, что, напр., на Вилижанский этап торгующие бабы приносят съестные припасы из деревень верст за 6 и за 8.

[22] Устройство полуэтапов проще, но зато они и неудобнее. Здесь с фасу видим только стойком торчащие заостренные наверху бревна и середи них огромные ворота с низенькой, пробитою в них и непомерно захватанною калиткою. Из-за острия палей торчат трубы и крыши. Войдя туда, узнаем, что по правую руку от ворот караулка, по левую, также в углу, конюшня середи двора стоит казарма меньше этапной, но с поперечным коридором, на который глядят четыре двери: из них трое ведут в большие комнаты для поселенцев; четвертая выходит из задних узеньких сенец. Там дверь № 4, куда запирают кандальных и таким образом держат их ночью под двумя замками.

массу их поведут те же 20 конвойных (немного больше, немного меньше), наряжаемых обыкновенно от этапа. К этому числу прибавят четырех казаков конвойных и на взаимном доверии, на взаимных уступках и одолжениях пойдет огромная толпа преступников с таким ничтожным числом конвойных. Три дня слаживаются с одними конвойными; на четвертый, поступая в распоряжение новой команды, смотрит партия, как бы не потерять чего-нибудь своего и у этой.

Дальше мы знаем, что дневки или растахи (через два дня на третий) мало помогают делу, мало подкрепляют силы путешественника. Самый закон на крайние случаи, в. губернских городах, напр., дольше 6–7 дней держать не велит, за остановки же ссыльных на пути велит наказывать, как за укрывательство беглых. Арестанты, пришедшие в Тобольск (почти все до единого), обыкновенно жаловались на общую слабость во всем организме, на ломоту в ногах, на сильное удушье. Ревматизм, такой частый и неизбежный гость, что получил название этапной болезни. Сверх того, у мужчин открываются грыжи, у женщин — маточные болезни[23]. Понятно, отчего приказ о ссыльных вынужден бывал большее число приходящих преступников назначать в разряд так называемых *неспособных*. Неспособные эти, составляя в составе сибирского населения особый класс людей, не платящий податей, обременительны для обществ, на большую половину бродят и весь класс людей этих, действительно, *неспособный*.

Самое направление этапного пути, Бог весть когда и кем намеченного, в настоящее время, при современных требованиях, не выдерживает никакой критики.

Нам выставляют множество неудобств, высказывают примечательное количество справедливых сетований. Тратилось лишнее число государственных сумм, лишнее количество человеческих сил, излишнее число верст и пространств. В древние времена, когда

[23] Ежегодное среднее число больных в тобольском тюремном лазарете составляло ⅕ часть с лишком всего пересылаемого количества (из 11 тысяч — 2070 больных). Из этой ⅕ части умирало в год 163 человека. Весною каждая партия оставляла больных на пути между Тюменью и Тобольском человек 10 средним счетом.

ближайший сибирский путь шел в Тобольск на Вологду и через Верхотурье, крюк для ссыльных был, конечно, значительнее; но и теперь, когда повернули его на Пермь через Екатеринбург, путь для ссыльных не сделался настоящим. Арестанты идут далеко в сторону от тех сибирских трактов, которые проложила себе коммерция, всегда соблюдающая пространство и время, всегда намечающая короткие и прямые пути везде, где бы то ни было даже и в нашей беспредельной и дикой Сибири. Арестанты не идут там и почтовыми трактами, которые обыкновенно длиннее купеческих, но короче казенного этапного. Так, напр., с Тюмени партии преступников, вместо того чтобы через Барабинскую степь идти прямо на Томск, сворачивали на Тобольск по старому преданию и шли прямо на север, подвергаясь по зимам неблагоприятному, зловредному влиянию северных ветров и непогод. Если эти последние упорно стояли долгое время (что случается довольно часто), арестанты приносили в Тобольск все поголовно одышку, колотье в груди, отмороженные носы и щеки, отвалившиеся пальцы. Из Тобольска партии шли на Тару, совершая огромный новый излишек пространств, и шли в то же время по местам малонаселенным, климатически и экономически неблагоприятным. Один Иртыш партии переходили несколько раз, без всякой нужды и как будто для того только, чтобы своими посещениями поддержать быстро упадающую славу древнего и некогда очень большого города Тобольска. Теперь, с перенесением приказа в Тюмень, все это — слава Богу — уничтожилось[24]. Не говорим также о том излишке переходов,

[24] Некогда через Байкал перевозили ссыльных на судах сибирского флота, выстроенных на иркутской верфи — единственное облегчение в старые времена и единственно полезное применение флота. Иркутское адмиралтейство, как известно, существовало только 30 лет. Действия его выразились тем, по словам одного анонимного автора, оставившего рукопись, что бриг, вылетевший из Ангары на простор Байкала, по непостижимому невежеству штурмана, который был назначен командиром этого судна, с пустым трюмом, без баласта, тотчас же перевернуло порывом ветра. Сибиряки, видя такую неудачу европейских приемов мореплавания, убедились еще плотнее в том, что их Байкал, знать, не чета другим разным морям и океанам и что единственные мореходы, какие умеют валандаться в этом море, остаются все-таки, до скончания века, их любимые доморощенные

которые, напр., принуждены делать поселенцы, назначенные в округа Тюменский, Ялуторовский, Курганский и Туринский, и обязанные, таким образом, идти старым пройденным путем назад из Тобольска, куда они ходили только ради одного приказа о ссыльных и оттого сделали от 435 до 517 верст лишних. Не говорим уже о неудобствах этапных помещений, о той мучительной трудности, с какою сопряжен неблагоприятный во всех случаях образ пешего хождения, и проч., и проч. Не говорим мы обо всем этом потому, что, во-первых, много об этом говорено в недавнее время в наших периодических изданиях, а во-вторых, и потому, что мы видим теперь облегчение арестантам тяжести этапного пути. Когда выяснилось дело в дальнейших подробностях, нет сомнения в том, что значение Тобольска померкло перед значением другого города, Тюмени, того самого, из которого, по проекту графа Сперанского, перевели «по колодничьей части присутствие» в Тобольск и переименовали его там в «приказ о ссыльных». Веруем в одно, что способ препровождения ссыльных бесполезен и далеко не оправдывал тех ожиданий, которые клали на него в начале двадцатых годов настоящего столетия, когда совершалось, по проектам графа Сперанского, преобразование сибирских губерний.

Возвратимся опять назад к тем же этапам, каковых по одной Сибири считалось 60, да сверх того еще 64 полуэтапа.

аргонавты с сопцами. Адмиралтейство снабжалось не только браком вещей, но и чинов. Оно двигалось, суетилось, 30 лет вело обширную переписку, меняло своих владык и, наконец, пришел час — оно скончалось. Ссыльных продолжали водить пешком по непролазной Кругоморской дороге или перевозить на обыкновенных байкальских судах, у которых кузов вроде бочонка, представляющий, между тем, все неудобства неповоротливой речной барки. Единственная мачта позади судна, парус глуп до нельзя, вместо руля — ужасной величины весло, величаемое сопцом, которое ворочать мог бы разве один только Голиаф. Этот сопец с трудом ворочает своего левиафана, у которого передняя часть тела в два раза длиннее задней. Наконец, в довершение всего, румпель этого уродливо-громадного руля самый короткий, так что придуман как бы нарочно для того, чтобы и два Голиафа не могли управиться. Эти суда движутся только по ветру. Теперь к услугам ссыльных кое-какие пароходы, которые с трудом оправдывают здесь свою всесветную славу.

Этапную жизнь, собственно, арестанты любят, хотя она и представляет цепь стеснений и вымогательств, и любят они ее потому, может быть, что она как будто ближе к свободной жизни, дорогой для всякого человека. С этапами арестанты расстаются неохотно. Я видел их накануне каторги и могу свидетельствовать, что в лицах, в поступи, в тоне «Милосердной» и видится, и чуется гнетущая тоска и отчаяние. То и другое объясняется близостью места, при одном воспоминании о котором у всякого сжимается сердце; не всякий сумеет собрать силы и показаться наблюдателю сохранившим твердость духа, а тем более храбрым в поступках и поступи. Арестанты приходят на каторгу без денег, рваные, голые, без надежды и без родины...

Медленно подвигается партия к заводу, молчаливая, окруженная всяческою форменностью. Еще за несколько верст над арестантскими головами уже прогремела команда: «Приформиться!» — по которой все должны быть по местам, все в кандалах и при котомках. Все должны приготовиться как бы к какому-то великому таинству.

Вот партия на месте. Местное начальство принимает арестантов по списку.

— Надо кандалы расковать! — говорит оно на том основании, что дорожные кандалы возвращаются конвойным, а на каторге надевают новые.

— Да уж завтра сделаем это! Сегодня не успеем всех очистить и опять запаять, — замечает приемщик в простоте сердца.

— Расковать недолго! — объясняет этапный офицер, бывалый и много смекающий, и просит:

— Мне очень нужно спешить назад, позвольте сейчас!

И в радости сердца, что и еще одну партию сбыл с рук благополучно и не лишился, за отсутствием беглых, годового жалованья в награду (по положению), этапный офицер велит партии снимать кандалы и в два-три часа очищает все ноги.

Малоопытный горный офицер удивлялся, видя, что арестанты снимают кандалы, как сапоги, но бывалый и догадливый знал, что на всякие, замки существуют отмычки, и что чем больше стеснения и строгости, тем больше исканий противоборства, а редкое искание

у настойчивых и сильных людей не венчается успехом. К тому же арестантская партия действует огулом, артелью, в ней сто голов, сто умов.

Пришли рабочие люди слабыми, болезненными, отвыкшими от труда, а некоторые даже и вовсе к нему неспособными, но, что всего важнее, большая часть из них глубоко испорчена нравственно. Иные пришли сюда, за болезнями и остановками, на четвертый год по выходе из России, но пришли во всеоружии долгого опыта. Приспособляйте их к работе и доглядывайте: все это мастера, но на особую стать, все это такие рабочие, каких уже в других местах не встречается.

В тюрьме и на каторге преступники скажутся в иных находках и изобретениях. И там сумеют они перехитрить природным умом то, что прилаживается искусственно, поддерживается внешнею, грубою силою. На чьей стороне окажется победа, просим выслушать.

Глава II. На каторге

Моя поездка на строгую перворазрядную каторгу. — Нижний промысел на Каре. — Первые впечатления и встречи. — Иванушка-дурачок на каторге. — Немец-идиот. — Разбойник в водовозах. — Поэт на каторге. — Каторжное жилье. — Цинга. — Каторжные. — Каторжные работы. — Смотрители. — Раскомандировки. — Казенные порядки. — Тюремные песни. — Взаимные отношения тюремных сидельцев. — Община в тюрьме. — Арестантский староста. — Доносчики. — Товарищество. — Смотритель и арестант Сенька. — Майдан. — Тюремные карты и карточная игра. — Азартные игры. — Юлка. — Юрдовка. — Едно. — Бегунцы. — Тюремный язык (argot). — Откупные тюремные законы. — Правила майдана. — Великий скандал. — Кабаки в тюрьме. — Водка тюремная. — Хитрость. — Влазное. — Тюремный капитал. — Парашники. — Рогожка. — Тюремные артисты и художники. — Оборотни. — Тюремные герои и исторические лица. — Туманов и живая пирамида. — Искусственно размываемые арестантские болезни. — Притворщики. — Тюремная аристократия и чернь. — Утка. — Каторжные забавы

В начале декабря, темною ночью, подъезжал я к Нижнему Карийскому промыслу, одному из центральных мест, предназначенных для работ тех ссыльнокаторжных, которые, по судебным приговорам, назначаются в так называемые Нерчинские рудники.

Дорога шла в сторону от реки Шилки густым хвойным лесом. Вовсе не расчищенная, мало приспособленная к проезду, но в то же время (сколько можно судить по ныркам, т. е. ухабам) крепко подержанная, — дорога эта казалась торною. Ветви деревьев хлестали по лошадям, совались к нам в сани; надо было изловчаться, чтобы не потерять глаз, не исцарапать лица. К тому же дорога до того была узка, что мы принуждены были снять у саней отводы, хотя в то же время сани наши были приспособлены именно для таких окольных, мало наезженных дорог, и сани эти уже успели с достоинством выдержать испытание на тысяче с лишком верст. Темнота и густота леса усиливали наши несчастья: мы налезали на пни и с трудом с них снимались. Сани без отводов валились в первую глубокую и покатую выбоину. Провожатые мои ворчали и сердились.

— Уж воистину дорога каторжная, — замечал один.

— Оттого и каторжная, что ведет на каторгу! — острил другой.

— Так-то, парень, поглядишь, — толковал первый, — дорога на каторгу кабыть узенькая, а подумаешь, так она выходит больно широкая.

— Туда-то широкая, — мудрствовал второй, — а оттуда-то опять узенькая. Попасть легко, а не вырвешься.

— Сказано, милый человек, не отпирайся ни от сумы, ни от тюрьмы.

Разговор кончился обоюдным вздохом.

Тишина и темнота давали широкий простор воображению: рисуй, что хочешь, но не дальше заданной темы. Вот впереди то самое место, где соединяются вместе все тяжкие преступники, высланные из России все убийцы, разбойники и грабители. Работа на этих казенных золотых промыслах полагается самою высшею мерою наказания для всех подобного рода злодеев. С ослаблением в последние десятки лет серебряного промысла в Нерчинских горных заводах и за уничтожением разработки рудников руками ссыльных преступников, Карийские промыслы (Верхний, Средний, Нижний и Лунжанкинский) представляли единственный материал для изучения истинного значения так называемой каторги. Я поехал туда с удвоенным нетерпением, тем более что во всем Нерчинском крае только при этих четырех промыслах (да еще при Петровском железном заводе) остались тюрьмы собственно каторжные.

Ночь была до того темна, что мы с великим трудом могли распознать, где кончился лес и начался перелесок. Запах жилого места, несмотря на жгучий мороз, вскоре дал нам знать, что селение у нас уже на носу, а вот и самая каторга где-то тут же и очень близко. Откуда-то вырвался звонкий выкрик и раскатился в морозном воздухе длинною трелью, которой, казалось, и конца не было. Во всяком случае, вела эту ноту здоровая грудь с ненатруженными легкими. На оклик последовал ответ, который так же со звоном рассыпался в разреженном воздухе по горам и заглох только в перелеске. У третьего оборвалась нота без трелей: голос осекся от морозной струи, судорожно захватившей крикливое горло. Оклики посыпались один за другим. Кричащие, что петухи, играли вперегонку, кто кого лучше и чище споет, и таких очень много! Значит, мы на каторге, но распознать за темнотою ничего не можем.

Успеваем припомнить прошлогоднее событие, рассказ о том, как на этих самых промыслах, из какой-то тюрьмы вырвался один зверь и в одну ночь в разных домах зарезал пятерых и в том числе погубил мать с двумя младенцами, так, из любви к чужой крови, без всякого повода и причины. На душе становится не совсем покойно: воображение говорит, что впереди нас зверинец, наполненный кровожадными и голодными зверями. К тому же зверинец этот плохо сколочен, дурно и не крепко заперт, но рассудок старается уверить в том, что, вероятно, им здесь полагается недремлющий сторож, имеется укротитель. Теперь, в неопределенной темноте, всего этого распознать мы не можем, но завтра наверное увидим.

Тяжелые, гнетущие сердце мысли не покидают нас и в уютной, теплой квартире, до самого утра, до рассвета. Пойдем же смотреть, что день укажет. Вот мы и на улице.

Направо и налево сильно подержанные, покривившиеся утлые хаты; они идут в порядке, из порядков образуется улица одна, другая, пятая. Перед нами целое селение, которое только тем и отличается от шилкин-ских и других, что оно бедное, совсем не подновляемое. Некоторые дома, как мазанки, грязноваты снаружи, заборы полуобрушенные. Видно, что голь и бедность строились тут; видно, она же и теперь тут живет. Но селение это, как известно, ка-

зенное: вот неизменный хлебный и соляной амбар, с неизбежным часовым, товарищи которого, а может быть, и сам он — кричали так усиленно и настойчиво-громко целую прошлую ночь. Но где же тюрьма, частокол, острог — жилище главных хозяев селения? Смотрю кругом — и не вижу. Вижу опрятнее других чистенький домик — вероятно, начальника промысла, пристава; вижу другой, почти такой же, может быть, смотрителя тюремного. Но где же тюрьма, когда кругом обыкновенные обывательские дома, свободные от часовых и караула?

— Вон и тюрьма! — говорят мне, указывая на один из домов, наружною постройкою похожий на обыкновенные деревянные сибирские казармы. Дом и я принял за казарму, не разглядев только в окнах ее железных решеток, отсутствие которых в другом соседнем доме характеризовало настоящую, действительную казарму. Близость тюрьмы объяснилась отчасти соседством гауптвахты, несколькими физиономиями в папахах, принадлежащими сибирским казакам.

Но кто же эти люди, которые идут мне навстречу? Люди эти без кандалов, стало быть, не тюремные сидельцы, а, по всему вероятию, выслужившие свой срок ссыльно-каторжные. Вежливо предупреждают они поклон наш, снимая шапки и кланяясь. А вот и сами преступники, побрякивая кандалами, творят свое домашнее дело: сопровождаемые часовым, несут они вдвоем на палке ушат, накрытый тряпками. Из ушата этого валит пар и щекочет обоняние знакомым запахом национального «горячего», известного в казармах под названием купоросных щей. И эти преступники вежливо снимают пред нами шапку: смешно нам за вчерашние грезы и страхи, и готовы мы оправдаться только тем, что свет дневной всякие страхи гонит.

— Хотите вы видеть каторжного, вот вам первый из них! — говорит мне пристав промысла, обязательно вызвавшийся познакомить меня со всею подробностью своей службы.

— Иванушка, поди-ка сюда! — кричал он встречному.

Из ворот соседнего дома вышел человек в рваной шапчонке, с всклокоченною реденькою бороденкою. Шея его была голая, армячишко совсем слез с плеч, и даже рубаха у него была рваная. На ноги этого человека я уже и решимости не имел посмотреть. Иванушку

всего подергивало: голова нетвердо держалась на плечах, он то приклонит ее к правому плечу, то быстро отдернет к левому. Левое плечо ходуном ходит, и самого Иванушку как будто всего ведут судороги, как будто чувствует он, что все его конечности не на своих местах, и он употребляет теперь все усилия, чтобы вправить их кости в чашки, в надлежащие и пристойные места. Видно, тяжело Иванушке носить свою головушку, да и с остальным телом мудрено ему ладить. По-видимому, он тяготится этою работою; на дворе тридцать с лишком градусов мороза, а у него оба плеча буквально голые.

— Работа каторжная так его изуродовала? В серебряных фабриках наглотался он ртутных паров и качает теперь головою? Принял что-нибудь такого внутрь, по совету доброхота-злодея, чтобы умягчить для себя ядовитую болезнь или тяжесть каторги, и тем записать себя в разряд неспособных?

— Ни то, ни другое, ни третье, — отвечают нам. — Иванушку сюда именно таким и прислали, готовым.

Иванушка был перед нами.

— Где ты был? — ласково спрашивал его пристав.

— Снежку отгребал, покормили зато! — отвечал Иванушка и брызгал; голова как будто еще сильнее заходила на плечах, левое плечо так и приподнял он до самых ушей.

— А кто ты такой?— продолжал расспрашивать пристав.

— Я... Божий человек! — гнусливо растянул старичок.

— Как прозываешься-то?

— Поселенцом велят зваться.

— Откуда ты родом?

— С Вятки родом.

— За что прислан-то сюда?

— Я и сам не знаю. Мне бы уж домой идти надо. На родину пора... Там у меня тятька с маткой остались.

— Да ведь уже нельзя тебе возвращаться-то...

— Можно, говорят вон там.

Иванушка указал рукою на тюрьму.

— Надо, слышь, только бумагу этакую достать. Без бумаги-де не пропустят и назад вернут. Дай ты мне такую бумагу, чтобы мне в Рассею уйти, скольку прошу!! (и в последних словах послышался упрек).

— Всякий раз обращается он ко мне с этою просьбою! — объяснил мне пристав потом, когда мы оставили Иванушку.

Вот что мы слышали потом об Иванушке. В статейных списках (которые сопровождают всякого ссыльного, как паспорт и аттестат) он показан приговоренным в ссылку за скотоложство. Сам он рассказывает, что прислан сюда за раскол; знающие люди уверяли, что раскол усугубил только степень наказания. Но дело станет понятным и ясным, если представить себе, что Иванушка родился *божепиком* (и не только к какой-нибудь умственной, догматической работе, но и ни к какой валовой домашней был неспособен) и попал за то в пастухи. Обездоленный идиотизмом (не помешавшим, однако, развиться в нем грубым, извращенным животным инстинктам), он в скотском стаде впал в тот грех, который увел его в самое дальнее место поселения. Ближние судьи судили в нем отвлеченную идею, дальние вершители в глаза не видали подсудимого. Приговор был подписан и вот приведен в исполнение. Над Иванушкою в тюрьме смеются, посмешищем он был и во всю дорогу по этапам. Все его любят, все его учат, кто чему может, и хорошему и худому. Ходит он по чужим дворам просить милостыню. Об одежде он не заботится; наденут другие, он полагает, что это так и следует, и спасибо не скажет. На Каре Иванушка человек неспособный и совсем лишний.

— Дай мне такую бумагу, чтобы мне в Рассею можно уйти! — просил он меня, придя ко мне на квартиру.

— Дал бы я тебе такую бумагу, да дать не могу.

— А мне в тюрьме сказали, что можешь.

— Дал бы я тебе, Иванушка, такую бумагу, которая бы тебя в богадельню увела и там оставила, да не в силах я.

— В богадельню бы мне хорошо.

— Хорошо, Иванушка, так хорошо, что там тебе только и место! Лечить бы тебя — вылечили. Здоровый бы вышел, девку бы полюбил, полюбил бы ты девку, женился бы на ней.

— Нету! Я девок смерть не люблю, в девках-то черти-дьяволы сидят.

Иванушка мой заплевался, разворчался, сердит стал не в меру. Самые судороги его пошли приметно учащеннее и озлобленнее. Иванушка был просто идиот, и притом, по свойству многих больных

болезнями нервными, имел одно больное место (антипатию), прикосновение к которому вызывало ожесточенные припадки.

Иванушка, по общим сказам, не любил два-три слова и, смирный вообще, при напоминании слов этих выходил из себя, бросал чем ни попадя в равных себе и знакомых и бегал от неровней и от незнакомых, как это он сделал и со мною. Сделались ли слова эти ненавистными больному с самого того времени, когда он уразумел практический смысл их, или опротивели они ему до омерзения от частого напоминания в насмешках досужих и праздных товарищей — решить теперь трудно. Иванушка, во всяком случае, был верен антипатии к словам ненавистным и во все время на каторге не изменил себе ни одного раза. Бесконечно жалко Иванушку, который, вместо богадельни, попал на каторгу, и страшно за него, когда знаешь, что в соседстве с ним живут люди настоящие каторжные. Не прилипнет к нему злодейская грязь по причине крайней неподатливости его почвы, но и не вылечат его здесь от болезни, для которой в медицине нашлись бы кое-какие облегчающие снадобья[25].

---

[25] Петр I подобных безумцев велел отправлять в монастыри. Екатерина I этот указ подтвердила, велев отправлять по надлежащем в тайной канцелярии наказании в 1727 г. Анна Ивановна, в 1735 г., преступников, лишившихся рассудка, велела также отсылать в монастыри «к неисходному их тамо содержанию и крепкому за ними смотрению». В 1860 году, кроме моего знакомаго, известны были еще два дурачка, из которых один помешанный, немец из Риги, прислан был за поджог архива, жил в Горной (в 4 верстах от Благодатского рудника), все время был убежден в том, что живет в 4 милах от Риги. Очень часто тайком скрывался, принимая Нерчинский завод за Ригу, рвался и кричал, когда его брали для возвращения на место водворения. Здесь либо шатался по улицам, либо, погруженный в молчание, вперял свой неподвижный взор в даль, останавливая его на какой-либо точке. Из прошлого осталось одно воспоминание об отце во фраке, причем он всегда простодушно смеялся. Говорили, что он сошел с ума еще в Риге, вскоре после того, как его суженая вышла замуж за другого. Другой сумасшедший, также признанный неспособным к работам, шатался там же в рубахе, сшитой из лоскутьев, которые бились от ветру. Целые дни носился он с корзинкою, наполненною куклами, тряпками и другою ненужною дрянью, принимая все это за имущество, которое тщательно берег из боязни, чтобы не украли. Прислан был из Костромской губ. неизвестно за что. Ходил по окрестностям и искал работы и, не находя таковой,

— А вот и другой экземпляр ссыльно-каторжного! — говорил мне карийский пристав, указывая на высокого старика, седого как лунь, тщательно выбритого и чистенько одетого. Старик приковал мое внимание необыкновенно правильными чертами лица; в глазах его еще было много жизни, а во всех чертах лица много мягкости и ничего злодейского ни во взгляде, ни в улыбке; даже и верхняя челюсть не была развита в ущерб остальным частям лица. Глядел он бодро, честно и открыто; шел смело и уверенно. Сложен он был превосходно, и даже той сутулости, которая характеризирует- всякого ссыльного, битого кнутом, и даже той запутанности, которая заставляет прятать взор куда-нибудь в сторону и в угол, мы в нем не заметили. Наконец, той робости, которая велит скидывать шапку пред всяким встречным (что так любят и привыкли делать все, просидевшие долгое время в каторжной тюрьме), в старике нашем также заметно не было. Внешний вид расположил меня в его пользу, и я готов был усумниться в подлинности и вероятии рекомендации пристава, но последний настаивал на своем:

— Три года в Акатуе на цепи сидел.

Сам старик рассказывал потом:

— В Калуге, на родине, почту мы ограбили и почтальона с ямщиком убили.

И откуда он взял столько хладнокровия, чтобы совершенно спокойно выговорить эти последние слова из рассказа своего?

— А за что тебя на цепь посадили? — спрашивал за меня пристав.

— Сами знаете, ваше благородие! — отвечал старик, и мягкая, кроткая улыбка пробежала по лицу его. Улыбка эта, может быть, в то же время меня обманула, но я и теперь за нее. Далеко ходить в оправдание ее, но лицо старика, при дальнейших расспросах, оставалось невозмутимо спокойным. Думал ли он на этот раз, что перед прямым, непосредственным своим начальником скрываться нечего,

---

занимался покупкою тряпок, не покидая надежды найти работу; над немцем любил подсмеиваться и не удостоивал его разговором, называя его дураком. Немец почитал блаженством получить трубку табаку; костромич был доволен, когда накормят его. Костромич любил ходить без шапки, немец носил громадную шляпу, насквозь одежду его также сквозило голое тело.

тот все знает, или сообразил он, что нет греха сознаться в том преступлении, которому минула законная давность и тяжесть которого давно уже искуплена цепью и одиночным заключением, сосредоточивающим все помыслы в самом себе, — старик обо всем этом вслух не сознался. Он поведал другое:

— На цепи я сидел за то, что из тюрьмы бежал, на дороге бурятскую юрту ограбил и одного братского задушил.

Опять хладнокровный тон в показании, как будто во свидетельство того, что старик теперь не боится за себя. Знать, «укатали сивку крутые горки»,

— Взял я его к себе в водовозы и не нахвалюсь старанием и усердием; запивает иногда, но очень редко! — говорил мне пристав. — У нашего начальника жила в кормилицах женщина, сосланная сюда за убийство собственного ребенка, и исполняла свою обязанность с такою любовью, что иная мать не прилагает столько нежности и ласки к собственному детищу. Мы объяснили это порывами раскаявшейся натуры, жаждавшей искусственною, подогретою любовью замыть кровавый грех ужасного преступления, но баба эта нас обманула. Теперь она осталась нянькою при многих детях и вот уже четвертый год такая же неустанная, бессонная, честная и нежная работница.

Третий, Мокеев, и также случайно попавшийся нам на глаза, был именно из тех боязливых и робких, которые привыкли прятать свой взгляд, привыкли быть замкнутыми и не откровенными на любой из вызовов ваших. Сссыльный этот писал, напр., стихи, и одно время исполнял даже обязанность полкового пиита: написал по заказу начальства песню на отправление первой экспедиции, снаряженной для завоевания Амура. Он же сочинил целую тетрадку виршей, посвященных описанию всяческого быта ссыльного в тюрьме и за тюрьмою. Я долго упрашивал его поделиться плодами его досугов, в расчете встретить в нем одного из тех сочинителей песен, которые приготовляют на тюремный обиход казарменные новые песни взамен старых народных, но получил ответ, что стихи он забыл, а тетрадку зачитали товарищи. При дальнейших просьбах я добился только обещания принести на днях; ждал я неделю и тетрадки все-таки не получил. Мокеев пришел в Нерчинские заво-

ды по делу об ограблении и умерщвлении какого-то купца где-то в степных губерниях и принес с собою рекомендательные письма. По письмам этим он обвинялся только в том, что был при убийстве свидетелем, но не участником. Письма говорили, между прочим, и то, что он, нося веселое звание купеческого сына или брата, вел в то же время и жизнь, приличную этому званию, т. е. ничего не делал, кроме кутежей, ничего не видел, кроме трактиров и погребков. Он жил таким образом долго и весело, пока не истощились отцовские деньги. Недостаток денег вывел его из трактира в кабак, в кабаке он попал на развеселых товарищей, которые образовали шайку, имевшую намерением поправить свои обстоятельства и подсластить пропойную жизнь на чужие средства. Средством для этого друзья придумали грабеж на большой дороге. Желая ограничиться грабежом, они сгоряча и в противоборстве совершили убийство, но без участья Мокеева, хотя и в его присутствии. Как соучастник и друг убийц, не давший вовремя знать начальству о преступлении, он от товарищества судом выделен не был и вместе с ними попал на каторгу. Сюда, когда он освободился из тюрьмы, богатые родные присылали ему деньги. На деньги, при посредстве промыслового начальства, вознаградившего его тем снисхождением и участием, которых не получил он от судей, Мокеев успел затеять кое-какую торговлю. Торговал он удачно и деньги наживать начал, да вдруг вспомнил о своем бездолье и родине — и запил. Запой сокрушил все его средства; новые присылки денежной помощи шли в кабак. Сколько ни валили потом щебня в болото, гати не сделали; раз прососавшаяся вода по знакомому ложу смывала все преграды. На время (и только на время) приостановилась было вода на мельнице, не рвала гати и обещала по ней прямое и надежное русло туда, куда надо: Мокеев полюбил вольную казачку, полюбился и ей, и женился. Торговля опять пошла на лад, колеса на мельнице завертелись, мука была и покупателей было довольно, да вдруг загул, и опять прорвало плотину. Суетилась жена, хлопотали соседи, суетились и хлопотали много и долго, а добились одного только, что больной стал пить не загулами, а запоем, что, как известно, и безнадежно и неизлечимо. Стал Мокеев человеком убитым и потерянным; и скрежещет теперь зубами на свою шаль и дур, и жену

любит, и всеми соседями был бы любим за кроткий податливый нрав, да слабость свалила и не позволяет встать на ноги. Мокеев теперь на все рукою махнул.

— Ничего с ним не поделаешь, — говорила жена его, — самый беспутный человек! Песни писать пуще прежнего начал, станет тебе читать какую, слезой прошибет. Лучше бы уж в гроб скорее ложился да гробовой доской накрывался. Вот и вчера пьянехонек домой пришел и завтра такой же будет.

Отдельно взятые случайные личности мало значат. Живя на свободе, они могли утратить много того, чем отличается настоящий каторжный, да и жизнь на свободе, хотя и подле самых ворот каторги, далеко не каторга. Про людей, вышедших из тюрьмы, и самые соседи многого не скажут: многое забыли они, многое стараются забыть, зла не помня. И сами мы намерены не биографии писать, мы хотим видеть каторгу.

Каторги, однако, мы видеть не могли. Постоянные холода, стоявшие все время ниже 30°, и человеколюбие горных офицеров задержали работы на разрезе до благоприятного времени. Каторжных из тюрьмы не выпускали, кроме нарядов на легкие и недолговременные работы. Тем лучше, стало быть, мы увидим тюрьму в полном составе и сборе. Идем туда.

Вот эта тюрьма Нижнего Карийского промысла у нас перед глазами. На тюрьму, в том смысле, как бы хотело представлять наше воображение, она не похожа. Нет даже и того казенного вида, каким поражает всякий старый этап по сибирским дорогам. Нет этих заостренных сверху бревен, плотно приставленных один к другому, черных, погнивших, нет и этих огромных ворот посередине, с низенькою захватанною калиткою и двумя полуразвалившимися будками по обеим сторонам скрипучих, громадных, тяжелых ворот, которые отворяются только два раза в неделю, чтобы проглотить и потом выбросить проходящую партию. Карийская тюрьма глядит решительною казармою и много- много если она похожа на такую, где существует так называемая сибирка, кутузка — места для временного полицейского ареста. Снаружи казарма эта очень ветхая, и даже не видать, чтобы она была недавно починена. Решетки ржавые, крыльцо погнившее, крыша полинялая, но зато все остальное, обрядовое, в совершенном порядке и надлежащей форменности.

— Ефрейтора! — закричал над нашим ухом часовой солдат, стоявший у наружной двери.

Явилось требуемое лицо. Наряжены были еще двое конвойных с ружьями и пущены вперед.

— Старосту! — закричал сзади нас в свою очередь ефрейтор.

Явился и староста, с бритою наполовину головою, с угодливостью в лице, с судорожными движениями во всем теле, как будто готовый лететь, растянуться в воздухе по первому призыву и приказу начальника.

Перед нами отворилась дверь и, словно из погреба, в котором застоялась несколько лет вода и не было сделано отдушин, нас облила струя промозглого, спершегося, гнилого воздуха, теплого, правда, но едва выносимого для дыхания. Мы с трудом переводили последнее, с трудом могли опомниться и прийти в себя, чтобы видеть, как суетливо и торопливо соскочили с нар все закованные ноги и тотчас же, тут подле, вытянулись в струнку, руки по швам, по-солдатски. Многие были в заплатанных полушубках внакидку, на сколько успели; большая часть просто в рубашках, которые когда-то были белые, но теперь были грязны до невозможности. Мы все это видели, видели на этот раз большую казарму, в середине которой в два ряда положены были деревянные нары; те же нары обходили кругом, около стен казармы. Вид известный, неизбывный во всех местах, где держат людей для казенной надобности в артели, в ротах, в батальонах. На нарах валялись кое-какие лоскутья, рвань, тоненькие как блин матрацы, измызганные за долгий срок полушубки, и вся эта ничтожная, не имеющая никакой цены и достоинства собственность людей, лишенных доброго имени, лишенных той же собственности. Вопиющая, кричащая бедность и нагота кругом них, бедность и несчастье, которые вдобавок еще замкнуты в гнилое жилище, окружены гнилым воздухом, дышат отравою его до цинги, ступают босыми ногами с жестких нар на грязный, холодный и мокрый пол. Нечистота пола превзошла всякое вероятие: на нем пальца на два (буквально) накипело какой-то зловонной слизи, по которой скользили наши ноги, не раз ходило сильное властью и средствами начальство и не замечало, а если и замечало, — то наверняка забыло. Половина смрада в казарме копилась на полу и наполнила потом всю ее до самого потолка, который также

оказался неспособным отправлять свою трудную службу. Отворялись и форточки, но не помогали делу нимало; топятся и уродливые огромные печи и оказываются бессильными. Вся сила спасения не в планочках, которые мы, набалованные повадкою, охотно прибиваем ко всякому месту, которое сквозит, свистит и просвечивает, не в загрунтовке мест, которые проболели до того, что заразились гноем и сочатся гнилою, порченною кровью, вся сила — в коренной перетруске старого и в решительном создании нового. На прежнем месте, пожалуй, но свежая казарма должна быть во что бы то ни стало, и притом не по старому образцу и не старыми балованными руками сделанная, а по образцам новым, руками не запачканными, но чистыми, не выверченными из вертлюгов на бесполезных работах, но здоровыми и сильными, которые зла не творили, а за добром давно тянутся и всякому живому гуманному движению давно уже распростерли горячие объятия[26]. Еще долго проживут каторжные в своих вонючих и сырых норах, пока и до них добежит

[26] Летом 1857 года в тюрьмах карийских гнездилась повальная и смертная цинга. Люди заболевали от великих усиленных работ ради исторических ста пудов золота, когда все ссыльные каторжные сгруппированы были здесь и размещены в тесных и сырых помещениях. В результате было то, что свыше тысячи человек умерло, да в архивах есть свидетельство местного лекаря. Он писал, что причина тому «больше всего обветшалость острожных зданий, в особенности же зависящая от того сырость внутри оных». Мерою к исправлению лекарь полагал просушку зданий, а для того советовал на два летних месяца открывать окна или, лучше всего, вовсе выставить рамы до 20 числа августа. «Для осушения болотистого грунта полезно было бы провести по близости около оных тюрем канавы. Для будущего лета запасти нынешним солений чиремши (дикого чесноку)». Прошло десять лет и на Карийских промыслах те же порядки, те же тюрьмы, а с ними та же цинга с ранних весенних месяцев до глубоких осенних. Вот сравнительная таблица больных цингою по месяцам: к апрелю цинготных 37, заболевает вновь 2: к маю 39, вновь 4; к июню заболевает вновь 11, выздоравливают 7; к июлю заболевает вновь 26, выздоравливает 3, умирает 1; в августе выздоравливает 8. В октябре изо всего числа остается больных только 7 человек. Замечательно, что редкий из приезжих, хотя бы вел и регулярную жизнь, не заболевает цингою, много через год. За цингою и от нее нередки случаи гнилости во рту (водяного рака). Кислое молоко (простокваша), вино, настоенное березовыми почками, табак, дикий хрен — обыкновенные домашние средства.

луч света по казенным инстанциям, после множества бумажных справок и выправок.

— А дай-то Бог, чтобы поскорее время шло! — говорит каторжный, в ожидании тюремного срока содержания; старательно клеит он и терпеливо ладит себе балалайку сокращения досадного, бесполезного времени тяжелой, скучной каторжной жизни.

Снял он нам с гвоздочка скрипку свою, дал осмотреть, дернул смычком по струнам — ничего!

— Песни к этой скрипке голосом не подладишь, а плясать можно.

— За что ты попал сюда? — спросил я первого попавшегося мне на глаза арестанта.

— Лошадь своровал, много чужой лошадь своровал! — отвечал татарин.

— А ты за что?

— Заграницной материи наси евреи возили... — начал было выясняться перед нами обитатель западной русской границы, да перебил его другой досужий и знающий:

— А кто контрабанду через границу возил и в таможенную стражу из ружей стрелял, двух солдат положил на месте?

Смолчал еврей.

— А ты за что?

— А я, Ваше сиятельство, совсем понапрасну. Спрашивал я у начальства, ничего не сказали. Наказание получил, сюда привели. Ей-богу, лопни глаза мои! За-напрасно попал.

Арестант забожился, а в резком акценте его выяснился для нас цыган, пришедший сюда, по всему вероятию, за что-нибудь покрупнее конокрадства; может быть, за грабеж на большой дороге, подле которой стояли родичи его табором.

— Не хотите ли, — предлагают нам, — задаться задачей пройтись по губерниям? Спросите из любой представителя, из всякой можем представить. Выбирайте наугад!

Подвернулась первою на память Киевская — нашлось целых трое. Прошлись по Волге от вершины до устья, отозвались от каждой из девяти губерний по одному; на Симбирскую выкрикнули опять трое.

— Так и должно быть, — поясняют нам, — из густонаселенных губерний захлопнет наша западня всегда не меньше одной пары, и при этом всегда больше других отличаются юго-западные, а из приволжских — Симбирская. Впрочем, больше идут и погуще дают преступления губернии, ближние к Сибири: Оренбургская и особенно Пермская, из Вятской поменьше. Из Финляндии и инородцы чаще попадают на поселение и если являются к нам, то не прямо с родины, а уже с мест поселения.

Замечаем, что Тобольская губерния преступнее всех и сердитее.

— Можем утешить вас вот чем: из губерний глухих и лесных, каковы Архангельская, Вологодская и Олонецкая, мы настолько редко получаем к себе пациентов, что я вот в 12 лет ни одного не принял оттуда. Людей этих местностей не знаю и родов болезней их объяснить себе не могу. Из инородцев не видим вовсе лопарей, самоедов, остяков и тунгусов: в Березове даже и тюрьмы не существует. Татарин идет к нам зауряд со всеми, обвиненный по роду тех преступлений, которые водят на каторгу. Кавказские горцы идут за грабежи, а киргизы, кроме этого, ни в каком уже ином преступлении и не завиняются; баранта у них — племенная добродетель, как у голодных горцев набег. Еврей рекомендуется больше контрабандистом, цыган мы привыкли понимать за конокрада, и уж давно цыган проговорился, что краденая лошадь не в пример дешевле купленной обходится. Другие инородцы для нас безразличны.

Женщины приходят к нам за убийство детей, но чаще за поджоги. Поджог также преступление детей. Стариков мы знаем, как кровосмесителей и растлителей, получали их также за ересь и раскол.

— Разбирая преступников по возрастам, мы имеем таблицу, которая говорит нам, что сосланные до 40 лет составляют 0,65 % всего количества, от 40 до 50 лет 0,2; от 50 до 60 лет 0,8 и выше 60 лет 0,025.

— Соображая по состояниям и по отношению ссыльных к общей численности того и другого сословия, мы можем уверенно сказать и доказать, что преступления тяжкие, ведущие прямо к нам, всего чаще совершаются мещанами и солдатами — сословиями искусственно созданными. Они, вместе с другими, значительно облег-

чают тяжесть упрека, который привыкли валить на крестьян, и в сильной степени ослабляют в общей цифре обвинение их в черных и тяжких преступлениях. Вот, не угодно ли Вам будет проверить слова наши хоть на промыслах наших, хоть, пожалуй, и здесь в тюрьме?

Узнавать в коротких и скороспелых вопросах мы не решились, да к тому же и не имели этого в виду, а задавали вопросы по вызову со стороны пристава и для того, чтобы сделать что-нибудь в ответ на любезную предупредительность и иметь больше времени осмотреться и познакомиться с наружным видом каторжной тюрьмы. Спрашивать самих арестантов об их преступлениях нам казалось неловким и неделикатным (мы в этом и каемся теперь). Да притом же, давно и хорошо известно, что они никому и никогда не говорят истинной причины ссылки, стараясь затемнить ее окольным показанием или новым сочинением. К правде не приучили их прежние следствия наши и отбили всякую охоту тюремные обычаи и тюремная наука. Расспросы свои мы прекратили, в расчете и с надеждою серьезным изучением проверить наблюдения наших проводников (чего мы и достигли впоследствии). На этот же раз решились прекратить и самое пребывание в тюремной казарме, где уже оставаться становилось невмочь голове и легким (голова разболелась, грудь защемило), до того с непривычки удушливо-тяжела была тюремная атмосфера! Каким же образом живут в ней люди, что они успевают там делать и чем вознаграждают себя за эти лишения и мучения? Вот вопросы, разрешение которых мы принуждены были искать на стороне, узнавать от людей, близко стоящих к этому делу, и если не слишком заинтересованных им, то и не совсем чуждых. От них мы узнали многое. Все это многое мы проверили отчасти собственным наблюдением (насколько это позволяли обстоятельства), отчасти выяснили себе по архивным бумагам, по рассказам самих ссыльных, по свидетельствам их приставников. Все, что досталось нам в добычу, несем на общий суд и внимание. Всех ссыльнокаторжных, находившихся в то время на Карийских промыслах, насчитывалось около 1200 человек (во всем же Нерчинском округе до 4 тысяч). Все карийские содержались в четырех тюрьмах и размещены были почти в одинаковом числе в двух тюрьмах при Среднем и Нижнем промыслах, в меньшем числе в тюрьме Лунжанкинского промысла, а самое меньшее, сравнительно,

число помещено было в тюрьме Верхнего промысла. Эта последняя тюрьма находилась прежде в самом селении, но, по удалении промысловых работ (в 1850 году), она перенесена на новое место, вверх по течению золотоносной реки Кары, на одну версту от центра промысла, к подножию горы. В тюрьме этой 8 комнат, из которых каждая способна вмещать не более 50 человек. Средняя тюрьма, построенная в 1851 году, находится в самом селении (Средне-Карийском) и походит на первую: лицевая сторона ее также не забрана палями. Лунжанкинская тюрьма, по удалении промысловых работ, перенесена в 1856 году вверх по речке, давшей свое название промыслу, за три версты и поставлена на месте, называемом Коврижка. Это — самая маленькая изо всех тюрем (только с двумя комнатами), но зато прочнее прочих; при ней службы еще весьма удовлетворительны[27].

Вот официальное топографическое описание тюрем, которое потребует от нас дополнений.

Каждая тюрьма имеет при себе непосредственного начальника, должностное лицо государственной службы, смотрителя. Каждому смотрителю дается помощник, известный под именем тюремного надзирателя. Кроме того, каждая тюремная артель выбирает из своей среды старосту (на 40 человек арестантов полагается один такой выборный). Староста получает отдельный нумер от прочих, и он же вместе с тем и артельный эконом, обязанный заботиться о пище, и помощник надзирателя (субинспектор), обязанный быть комнатным соглядатаем и фискалом. Старост этих, таким образом, в каждой тюрьме, смотря по числу заключенных, находится 3, 4 и 5 человек. Над ними полагается еще один набольший, старший староста, который на тюремном языке называется общим.

Таковa должностная иерархия и тюремная бюрократия. А вот какова и вся процедура их обязанностей, в кратких и общих чертах, набросанных одним из смотрителей карийских тюрем. «Смотритель, — говорит он, — заведует как хозяйственною, так и письменною частью. Надзиратель заботится о пище и об одежде арестантов

---

[27] Нижний промысел от реки Шилки и устья реки Кары находится в расстоянии 15 верст, Нижний от Среднего в 5 верстах, Средний от Верхнего в 3-х.

и, кроме всего этого, ведет отчетность. Поутру, в назначенные часы для работ, он идет на *раскомандировку* в тюрьму. По приходе с караульным урядником строит арестантов в строй, делает перекличку по имеющейся у него табели, чтобы узнать, все ли арестанты налицо (точь-в-точь, как делалось это на этапах); кончив такую, сдает партии военному караулу, наряженному в конвой. По уходе арестантов на работу он выдает старостам провизию на день, следующую — по желанию, которая принимается заблаговременно им от комиссара промыслов[28]. Окончив все это, он идет в канцелярию тюремного смотрителя разводить арестантов по работам по имеющемуся у него журналу (*о выводе арестантов на работу*), и в оном

[28] Каждому арестанту полагается по фунту мяса летом и по ¾ ф. в прочее время, ¼ ф. крупы и 10 золоти, соли. Правда, что они едят и щи, и картофель и лук, но зато все это покупается на собственные арестантские деньги, зарабатываемые в праздничные дни. На это же идут и те деньги, которые получаются артелями за перевозку тяжестей на артельном рогатом скоте, и те проценты, которые накопляются с разных ссуд, выдаваемых частным лицам из артельной экономической суммы (в 1860 г. остатки ее простирались до 2781 р. 26 ¾ к.). Весь доход тюрьмы состоит из платы, зарабатываемой арестантами в праздничные дни. Каждый из них получает в месяц из окладов: рабочие по 75 к. и мастеровые третьей статьи — 1 р., второй — 1 р. 50 к., первой — 2 р. Казна дает от себя только кормовые деньги 5 к. в сутки и ф. печеного хлеба. Летом во время промыслов идет 5 ф. хлеба и по 1 ф. мяса. Больным выдается половинный оклад платы без кормовых и провианта; остальная часть удерживается в уплату лазаретной пищи. По выпуске из тюрьмы, следующая из приемных сумма выдается каждому на руки. Точно также и тем, которые хорошим поведением заслужили доверие, покупаются одежные вещи и припасы смотрителем. Одежда приготовляется при промысловом цехе и выдается на сроки. На два с половиною месяца: холщовая рубаха, суконные порты, три пары юфтевых чирков (вм. сапогов) и пара руковиц. На год поступают арестанту: шинель сермяжного сукна и поддевка сукменная». Рассчитано примерно, что содержание всякого арестанта на артельные деньги обходится в год в 33 р. 22 к. «Но редко случается (особенно в летнее время при разрезных работах), чтобы арестанты вынашивали одежду в срок, особенно чирки и рукавицы, которые от гальки и мокроты глины не служат и двух недель».

Сведения эти мы взяли из описания тюрем Шилкинского округа, сделанного одним из смотрителей этих тюрем.

отбирается расписка с военного караула относительно принятия арестантов на работы, а потом уже составляется корчая табель, в коей показывается число людей, ушедших на работу, и пища, употребленная для них. С нею идут на рапорт к смотрителю. Вечером, когда арестанты сойдут с работы, надзиратель делает счет, все ли приведены с работ, и по заверке кладет о принятии свою росписку в вышеупомянутом журнале».

Приводя эти строки, мы с намерением остановились на тех подробностях, какие дают они нам. По-видимому, не может быть ничего однообразнее жизни арестантов, и недаром у них существует поговорка: «каторжный — хлеб кончал, сухарь кончал, казенной службы не мог кончать». Но, тем не менее, заключенные всегда находят средства разнообразить свою жизнь, и первое утешение предоставляет им песня. Действительно, тюремный сиделец поет на каторге с великого горя кручинные песни и любит он в досужий час эти песни. С любовью бросается он и на деланные, сочиненные. Поет он и те, которые искренно вылились у какого-нибудь горемыки в крайнюю минуту искреннего, неподкупного вдохновения[29].

В какой бы форме ни привелось выливать свое тюремное горе, которое главным образом, сказывается в лишении свободы, испытывается в недостатке участия со стороны милых сердцу, как бы строго ни преследовалась песня, арестанты часто поют песни хором, а в одиночку всегда и каждый вечер:

Бывало у соколика времячко:
Летал-то сокол высокохонько.
Высокохонько летал по поднебесью.
Уж-то он бил-побивал гусей-лебедей,
Гусей-лебедей, уток серыих,
А ноне соколу время нету:
Сидит-то сокол во поимани,
Во той во золотой клеточке,
На серебряном сидит на шесточке,
Резвы его ноженьки во опуточках.

---

[29] По возможности полный сборник тюремных песен (на большую часть сибирских, на меньшую — русских) читатель найдет в приложении к этому сочинению.

Или:

Перекреп-то, перезяб я, добрый молодец,
Стоючи под стенкой белокаменной,
Глядючи на город на Катаевской.
У города воротцы крепко заперты,
Они крепко заперты воротцы — запечатаны.
Караульные солдатушки больно крепко спят.
Крепко больно спят солдатушки — не
пробудятся. Одна лишь не спит красна девица,
Красна девица — королевска дочь.
Брала она со престолику короночку,
Надевала ее на свою буйну головушку,
Еще брала со престолику златы ключи,
Отмыкала-отпирала каменну тюрьму,
Отпускала невольников-подтюремщиков.

Пока «красная девица — королевска дочь» в воображении только, а «златы ключи на престолике» в песне хороши отвлеченным смыслом своим и без всякого практического применения, ворота тюремные, действительно, крепко заперты и караульные солдаты всю ночь не спят. Бдительность дозора их, приправленного крепким и строгим наказом, до того сильна и закончена в мельчайших своих подробностях, что для арестантов нет другого исхода, кроме покорности, подчинения и надежды не на настоящее, а на будущее. Конечно, покорность эта только временная и подчинение условное, но арестанты все-таки видят строгость надзора, неумолимость наказания за проступки и ищут утешения, по свойству человеческой природы, в других путях и средствах. Средства эти они находят в собственной натуре, в натуре русского человека, и гнету и преследованиям сверху противопоставляют сильный оплот и противодействие снизу, в среде своей. Противоборство это заключается в так называемой артели тюремной, в арестантской общине. Община эта ладится плотно, очень скоро и просто. Правила для нее Бог весть когда и кем придуманы, но уже приняли определенную и законченную форму. Форма эта, по долгому опыту, состоятельна при практическом применении, а существование ее не подлежит сомнению. Арестанты этого не скрывают и, может быть, утаивая мелкие подробности, объявляют общие черты, по которым можно

составить приблизительное описание. Описание это мы основываем на рассказах самих преступников и проверяем сведениями, сообщенными нам тюремными приставниками на словах и в официальных бумагах.

Одна и та же участь, равная степень наказания, поразительное до мельчайших подробностей сходство житейской обстановки — все это естественным образом помогает сближению, делает это сближение не только возможным, но даже и совершенно необходимым, по силе закона: «дружно — не грузно, а врозь — хоть брось». Сближение это, при одинаковой степени нравственного развития и душевного настроения, совершается тем скорее, чем вероятнее усталость и уступка со стороны противодействия. Сближение становится прочным и действительным по мере того, как преследование делается озлобленнее, а стало быть, и бездарнее и недальновиднее. Пользуясь всяким благоприятным моментом, тюремная община, не ведающая усталости, не желающая отдыха, накопляет внутри себя силы и притом в таком количестве, что, при напоре их, поневоле должны уступить всякие внешние противоборства, хотя бы они и велись систематически. Кажется, сколько глаз следят за преступниками, сколько законов, правил и постановлений обрушилось на них в течение недолгого времени, и все-таки тюремная общинѣ живет своею самостоятельною особенною жизнью. Она цела и самобытна, несмотря даже на то, что тюрьма не вечная неизбывная квартира, что она скорее постоялый двор, где одни лица сменяются другими, новыми. Правила для тюремной общины как будто застывают в самом воздухе, как будто самые тюремные стены пересказывают их. Преемственная передача убеждений, жизнь старыми преданиями, на веру, едва ли сильнее в другой какой общине.

Законом для всякой арестантской артели полагается выборный из среды преступников — *староста.* Он прежде всего заботится о приготовлении пищи товарищам и в этом отношении может быть назван экономом. В его руках скопляется вся сумма денег, образуемая из доброхотных подаяний; вот и казначей. Староста — ответственное лицо за проступки всей артели перед начальством, которое обязывает себя глядеть на него, как бы на лицо официальное и должностное, а по уставу — даже и утверждает его в этом

звании. В случае, если бы он решился скрыть какое-нибудь преступление, затеенное недовольными и обиженными арестантами, задумал бы не сказать о проступке одного из них, за все про все отвечает он, староста. Отвечает он своею спиною, но не лишением места. Лишить его звания, отрешить от должности начальство без согласия всей артели не может, точно так же, как выборный в старосты, из уважения к общине, делающей ему такую честь и доверие, отказаться от должности не имеет права. Условия взаимного уважения, основанного, с одной стороны, на доверии и, с другой — на благодарности, одинаковую имеют силу и в обществе преступников, как и во всяком другом.

Таким образом, староста стоит между двух огней. Та и другая сторона заявляют на него свои права, та и другая требуют исполнения обязанностей. Обязанности эти, или, скорее, угождения, в сущности своей диаметрально противоположны друг другу. Как быть? Как выпутаться?

А на что же существует община? — ответим мы на эти два вопроса также вопросом. Тюремная община держит своего старосту в границах, положенных его обязанностями: позволяет ему принимать съестные припасы и подаяния, хранить артельные деньги — и только. Этим власть его и ограничивается; и тени нет влияния на нравственную сторону заключенных. Арестанты опасаются навязать себе агента своих блюстителей, а потому от старосты требуется чрезвычайная осторожность и глубокая осмотрительность. Всякий из них должен знать, что множество глаз заботливо следят за всеми его действиями и с особенным вниманием за сношениями его с тюремными властями. Малейшая ошибка (простая, преднамеренная), и староста сменяется.

— Я бывал свидетелем, — рассказывал мне один из заключенных, — как сменяемых старост прогоняли сквозь строй жгутов (наказание, по признанию самих виновных, могущее поспорить с таковым же официальным наказанием, послужившим первому образцом и примером). Смещенный староста подвергается затем общему презрению, самому тяжкому изо всех нравственных наказаний, какие только могут быть придуманы в местах заключения. В старостах, по избранию арестантов, чаще всего является тот из них, который и у свободных людей носит прозвание сквозного плута и

который прошел в тюрьму сквозь огонь и воду и медные трубы, а в тюрьме сумеет не остаться между двух наголе, напоит и вытрезвит, обует и разует.

Таким образом, ябеда, донос — самое нетерпимое изо всех тюремных преступлений! Хотя ябедник и доносчик там явление очень редкое, но, тем не менее, бывалое, и если больного этою трудноизлечимою болезнью не вылечат два испытанных средства (каковы жгуты и презрение), то его отравляют растительными ядами (обыкновенно дурманом). К исключительному средству этому прибегают примечательно редко и в таком только случае, когда начальство не имеет средств или не сдается на просьбы товарищей и не переместит виновного в отдельный покой или (если есть) в другую тюрьму.

Товарищество соблюдается свято и строго и в тюрьме, как соблюдается оно, напр., во всех закрытых заведениях, где также часто мелкий проступок возводится на степень преступления, где также излишняя строгость вызывает неизбежную скрытность, как единственное подручное оружие протеста. В этом отношении у корпусов, пансионов и институтов сходство в приемах с приемами тюремными поразительно. Грани сходятся и только в результатах они, естественным образом, должны расходиться и расходятся. Преступники идут дальше по пути преследования виновных, идут смелее и резче, как то и подобает людям крепкого житейского закала, сильных и крупных характеров и страстей.

Арестанты виноватого (но не уличенного) товарища ни за что и никогда не выдадут. Уличенный, но не пойманный с поличным, в преступлении своем никогда не сознается, и не было примера, чтобы пойманный в известном проступке выдал своих соучастников; он принимает все удары и всю тяжесть наказания на себя одного. Равным образом, если арестант и попался с поличным, оказался совершенно виновным и смотритель его наказывает, арестанты довольны и не препятствуют исполнению приговора, слепо веруя, что наказание научит их товарищей другой раз быть осторожнее, заставит их потом концы хоронить подальше и повернее. Стремясь к согласию и возможной дружбе, заботясь об единодушии, как главных основаниях всякого товарищества, тюремная артель не терпит строптивых, чересчур озлобленных, сутяг и всякого рода людей

беспокойных. Бывали примеры, что арестанты огулом жаловались начальству на таких озорников, прося об удалении их из своей среды. Не решаясь прибегнуть к средствам, приложимым к ябедникам (на том предположении, что наушничество — неисправимое зло), они оставались довольны, если беспокойного товарища запирали в отдельную камеру на одиночное заключение. Озлобленного и беспокойного человека арестанты, по долгому опыту, считают исправимым и — говорят — не ошибаются; удаленные на время «злыдни» очень часто возвращались потом в тюремную семью тихими, кроткими и примиренными. Одиночное заключение арестанты ненавидят и боятся его пуще всех других. Раз изведав его, всеми мерами они стараются избежать в другой раз. Для всякого арестанта дорога тюремная артель, мила жизнь в этой общине, оттого-то все они с таким старанием и так любовно следят за ее внутренним благосостоянием: удаляют беспокойных и злых, исключают наушников, обставляют непререкаемыми правилами, сурово наказывают своим судом виновных, а суд тюремный, как мы сказали, самый неумолимый и жестокий.

Насколько сильно и крепко товарищество — вот пример (первый, подвернувшийся на память из сотни других). Дело было на одном из заводов Восточной Сибири (на каком именно, не упомню).

Тюремный смотритель сердит был на арестанта за его дерзкие грубости, за непочтение к особе начальника, за что-то, одним словом, такое, чего никак не мог забыть и умягчить в своем сердце смотритель. Арестант был ловок, увертлив; смотритель, при всех стараниях, поймать его не мог, а между тем хотелось удалить неприятеля из завод, а и удалить так, чтобы он его помнил.

Смотритель призывает к себе другого арестанта и начинает уговаривать его допытаться: кто такой преследуемый и ненавистный ему преступник, и если переменил он свое имя и живет под чужим, то уйдет прямо на золотые Карийские промыслы, т. е. в самую каторгу.

— Я бы допытался, ваше благородие, да мне жизнь еще не надоела, сами знаете наши порядки. Тяжелы такие дела!

— Я тебе в них защитник и покровитель.

— Если так, то было бы из чего начать дело.

— Вот тебе три рубля.

— Так неужели я товарища-то своего продам так дешево? Да и на три рубля что я могу сделать?! ни обуви купить, ни одежды завести.

Стали толковать, торговаться — на десяти рублях сер. порешили дело. Берет арестант деньги, идет в тюрьму и прямо к товарищу:

— А я, брат, тебя смотрителю продал, сказал, что ты чужое имя носишь; вот и денег десять рублей получил. Разделим пополам, а ты меня выручи: нет ли здесь в селении на тебя кого похожего? Не осрами перед смотрителем!

— Шел один в пересыльной партии похожий на меня, да и живет-то он здесь на заводе, фамилия Клыгин.

— Клыгин! — рапортовал подговоренный смотрителю. Справился тот в статейных списках: приметы подходят (да и много ли таких примет в казенных паспортах, каковых нельзя было бы применить ко всякому в особенности и ко всем остальным разом).

Наскочил смотритель на врага своего, рад-радехонек. Тот отрекается, идти на дальнюю каторгу не хочет, следствия просит: «Мало ли чего на свете не бывает! я сам своего двойника в пересыльной партии видел, да он и теперь живет на заводе, здесь». Дают очную ставку, смотритель действует смело, в расчете на купленного доносчика. Очная ставка с мнимым двойником не удалась, смотритель остался в дураках; наскочил на своего доверенного:

— Зачем ты оболгал?

— Пошутить захотел над вашим благородием; что я стану таить теперь по-пустому?!

Долго и громко смеялась тюрьма над этою выходкою. Многие о ней и теперь не забыли и мне рассказали.

Насколько арестанты блюдут тайны своей артели и стерегут ее интересы, узнаем также из множества примеров. Вот один из них, более характерный и смелый.

— Был у нас, — рассказывал мне один из ссыльных, живший в последнее время в Иркутском солеваренном заводе, — был у нас при тюрьме унтер-офицер, сердитый, тяжелый и неподкупный. Такие люди несносны. Арестанты решились его удалить во что бы

то ни стало, но как это сделать? Надо было найти смышленого человека. Ходили за ним недалеко. Содержался вместе с нами из бродяг Сенька, ловкий на все руки и калач тертый с солью, ни над чем он не задумывался и на жизнь легко смотрел. В России ходил по ярмаркам с Петрушкою — фокусы показывал; не посчастливилось там — в Москве жуликом долго был, ловко таскал платки из кармана, часы обрезывал. Ограбил там церковь — в Сибирь попал. К этому Сеньке и обратились арестанты:

— Помоги, — говорят: — смени ундера!

— Ладно! — говорит. — Сечь меня будут, так положите ли по две копейки за розгу с артели?

— Идет! — говорят. Сами смотрят, что будет?

Ходит Сенька по казарме, ходит, бурлит, ко всем привязывается, притворяется пьяным. Увидал это ундер, донес смотрителю. Пришел смотритель и спрашивает:

— Где взял водку, кто принес?

— Вот он! — говорит Сенька и показывает на ундера.

— Врешь, — говорит смотритель, — не верю, не таковский человек этот ундер.

Божится Сенька.

— Дохни!

Дохнул Сенька так, что как будто и в самом деле в соседнем кабаке двери отворили.

— Розог! — закричал смотритель.

Сенька мигнул товарищам: «Считайте, братцы, а я вас сам поверять буду, чтобы потом не отжилили».

Стали считать: пятьдесят розог насчитали.

Смотритель опять спросил: «Врешь-де, собачий сын!» Побожился Сенька, и снова драть его стали. Еще пятьдесят розог сосчитали: по счету на серебро два рубля приводилось с артели. Артельному кошелю тяжело стало, закричали арестанты Сеньке:

— Будет, Сенька! Проси, шельмец, прощения!

Не просит.

— Кто принес вина?

— Этот самый ундер.

Опять положили. Арестанты громче шум подняли:

— Сказывай, Сенька, ну, тебя, к черту! (много-де артельских денег изводишь и сам-де того не стоишь).

Лежит себе Сенька под вторую сотню. Арестанты еще громче зашумели: «Тебе-де, дьяволу, ничего, шкура-то у тебя барабанная, стало, привычная, да артельным-то деньгам изъян большой».

Сенька стоит на своем: ундер принес. Получил двести и встал. Встал и говорит:

— Сказывал я Вам, что сказывал; не поверили Вы мне, Ваше благородие! Осмотрите-ко ундера, может, он и четушку-то (косушку) еще не успел спрятать.

Послушался смотритель совета его, осмотрел ундера и в ранце у него нашел ту посудину (успел-таки ловко подложить свою вещь Сенька, умевший таскать из тех же карманов и всяких ручных мешков чужие вещи).

Артель достигла цели: ундера убрали, Сенька получил свои четыре рубля серебром. Смеялись все долго и еще пуще полюбили все Сеньку.

Вообще, не скупясь ни на какие средства, не задумываясь ни перед какими препонами, тюремная артель строго блюдет свою тайну, старательно прячется за завесою ее, у которой, если приподнять один только уголок, мы увидим вот что.

Во всякой тюрьме (русской и сибирской) существует так называемый *майдан.* Это, в тесном смысле, подостланная на нарах тряпка, полушубок или просто очищенное от этой ветоши место на нарах, на котором производится игра в карты, кости, в юлку и около которого группируются все игроки из арестантов. По тюремной примете-пословице: на всякого майданщика по семи олухов.

Игра, как известно, есть одна из самых прилипчивых и упорных страстей между преступниками. Беспрестанная боязнь быть открытыми (несмотря на существование сторожей у дверей) заставляет преступников играть торопливо и в волнениях душевных, разжигаемых игрою, находить самые любезные им наслаждения, самые приятные и дорогие им утехи. Существование азартных игр присуще тюрьмам всего земного шара. Вот что говорит Фрежьэ в своем сочинении «Des classes dangereuses»(«Опасные занятия». *—ред.) о* французских тюрьмах: «Арестанты, привыкшие в один момент те-

рять плоды недельной работы, доводят свою страсть к игре до того, что ставят на кон хлеб, которым должны кормиться месяц, два, три месяца. Но что всего удивительнее: между арестантами встречаются такие, которые, во время раздачи порций, оказываются нетерпеливыми, даже жадными, те, которые рвут хлеб из рук и потом легко примиряются с лишением пищи, проигранной в карты. Прибавлю последнюю черту, показывающую до какой степени помешательства может доводить разумное существо страсть к игре. Врачи центрального дома Mont-Saint-Michel наблюдали за одним преступником, который играл с таким увлечением, что, лежа в больнице, ставил на кон порцию бульона и вина, когда тот и другое были крайне необходимы для восстановления его растраченных сил. Этот несчастный умер от истощения сил».

Право содержать майдан в наших тюрьмах отдается с торгов, независимо от содержания других оброчных статей (о чем мы будем говорить ниже). Откупщик майдана бывает, большею частью, самый бережливый из арестантов, скопидом и, во всяком случае, обладающий известным капиталом. Он называется *майданщик и* если не пользуется уважением и любовью арестантов, то, во всяком случае, находится под покровительством артели. В среде ее он всегда найдет таких голышей, которые за несколько копеек становятся на стражу и оповещают играющих о приближении опасности (играют обыкновенно по ночам). Для этого существуют в тюрьмах условные выражения, особенные слова.

— Стрёма! — кричит сторож в нерчинских тюрьмах.

— *Вода идет*! — оповещает сторож в тобольском и других попутных острогах.

Майдан исчез: свеча погашена, карты спрятаны, так что самый опытный смотритель не найдет их. А уйдет дозорник (стрёма, вода), и опять пошли переходить с рук на руки и *курыпча* (медные деньги, по тюремному названию) и *сары* (т. е. бумажки и серебро, которое водится во всех видах, даже иностранные талеры, пятифранковики, старинные целковые и проч.).

— Талан на майдан! — желает арестант играющему в карты товарищу.

— Шайтан на гайтан! — шутливо отвечает тот.

— Давай в святцы смотреть, — говорит другой арестант третьему, желая натравить его на игру. «Быков гонять» на условном тюремном языке значит в кости играть, бросать пару обыкновенных игральных квадратных костей (со значками в точках до 6-ти). «Светом вертеть», «головой крутить» — в юлку[30] играть.

«Хамло пить» зовет арестант товарища, когда он достал водки и желает угостить ею. *Дыму* желает купить арестант, когда табак захочет курить — и курит его теперь в папиросах или, лучше сказать, в тюриках, свернутых из самой толстой бумаги, ибо чем толще бумага, тем мягче махорка. Бумага краденая, табак купленный (у майданщика); иногда и бумагою торгуют, но чаще добывают ее из тех книг, которые раздают для чтения члены попечительных о тюрьмах комитетов (всякий другой сорт бумаги — плод, законом воспрещенный в тюрьмах). Папиросы еще тем хороши, что прячутся ловко, да и налетишь с нею на дозорщика, не жаль расставаться, а трубок — ненапасная пропасть переводится. Трубки держат только там, где дозор посходнее и пристава попроще.

Арестант мастерит сам или у других покупает змейку, когда намерен перепилить тюремную решетку в окне или дужку замка на кандалах, ради побега. Кандалы называются *ножные бруъилоты* (браслеты); кнут — *лыко*, или с добавлением *адамово лыко. Заводская собака лает* — острил ссыльный рабочий, когда звонил колокол, призывавший на работу.

Беглый идет на тюремном языке под названием *горбача* (за ношу, которая всегда имеется у него сзади, на спине). — Гляди в *маршлут*: долго ли нам идти? — говорит горбач своему товарищу, когда не желает заходить в попутную деревню за милостынею и надеется найти в этом *маршлуте* (т. е. бураке или, по-сибирски, туезе) достаточное количество запаса для прокормления себя.

Бежит арестант из тюрьмы «к генералу Кукушкину на вести» или просто «кукушку слушать»; но нередко сходит только «просто-

[30] Юлку делают из говяжьих костей, которые распиливают крученою суровою ниткою, постоянно смачивая ее в растворе золы и березового угля. Один пилит, другой подливает щелок. Счет у юлки особенный: 9 — *лебедь*, 11 — *лебедь с пудом*, 5 — *петушки*, 4 — *чеква* и пр., — как у клубных игроков в лото и у бостонистов (6 — *филадельфия*, 8 — *индепаданс* и проч.).

кишки (т. е. простокваши) поесть», т. е. дойдет до Верхнеудинска и, возвращенный оттуда опять на Кару, осмеивается в этом последнем выражении товарищами. Бежит арестант, не думая о последствиях, и сам острит и смекает, что «лиха беда нагнуться (под плети), а не лиха беда отдуться».

В тюрьме арестант умоляет строгих по виду, на самом деле податливых сторожей «привести мазиху» (т. е. женщину) и не щадит никаких денег, а на воле старается «красного петуха пустить» в отмщение той деревне, в которой покусились схватить его, беглого, и представить по начальству, т. е. спешит «пожар в ней сделать». «Берись за жулик» (т. е. за нож), кричали арестанты, когда поднимали бунт против приставников.

Вот почти все те слова, которые находятся в тюрьмах в обороте; едва ли есть больше, потому что некоторые из приведенных нами крайне случайные, мало употребительные, другие отзываются легкою насмешкою, третьи легко и просто заменяются самими сторожами, как было принято, напр., в тобольском остроге, где сторожа, по уверению ссыльных, особенно дешевы. Там, если кричали со двора «унтер-офицер!» значило «вода», начальник идет, берегись! Кричат «ефрейтора», — продолжай майдан, идут люди не опасные, свои, купленные. Часть условных тюремных слов, судя по внешним знакомым признакам, введена московскими жуликами или петербургскими мазуриками; другая часть, по всему вероятию, оставлена арестантам в завещание волжскими и другими разбойниками, не так давно наполнявшими тюрьмы Сибири и Забайкалья[31].

Майдан в сибирских тюрьмах принимает более обширные размеры, а потому и откупная цена на него, по торгам, значительно выше, чем та же во время путешествия арестантов по этапам. Во время этапного пути майдан, как мы уже выше сказали, снимался за Тобольском на время, необходимое арестантской партии для того, чтобы дойти до Томска. В Томске опять торги до Красноярска, в Красноярске до Иркутска (самая меньшая цена майдана) и в Иркутске до Нерчинских заводов (самая большая цена майдана). Принимая в расчет большее или меньшее количество верст (а стало

---

[31] О тюремном словаре см. статью в приложении к этому сочин. (Приложение II).

быть, и время), необходимое для путешествия, арестантская община, при сдаче майдана, имеет также в виду и большее или меньшее число желающих и могущих вести игру. Потому за продажу карт полагается откупная плата от 15 до 30 руб. Майданщик обязуется при этом поставлять игрокам и освещение в виде сальных свечей. Деньги эти вносятся в общую артельную кассу и сдаются на руки выборному старосте (он иногда бывает и майданщиком, но редко, хотя в старосты арестанты иногда стараются выбирать денежного, следовательно, и влиятельного до некоторой степени). Чаще всего сдают карточный откуп в те же руки, в которых находится откуп съестных припасов, как тому лицу, которое в тюремной общине носит название харчевника. Условия откупа и выгоды, гарантирующие майданщика карт, полагаются следующие:

1) За карты, требуемые в круговую игру, платится играющими в первый раз 30 коп., во второй — 20 коп., в третий — 10 коп.; затем обыгранные карты отдаются для игры даром, бесплатно, грошовым игрокам, для которых на тюремном саркастическом языке имеется прозвание *жиганов.*

2) С тех игр, которые идут рука на руку, взыскивается всякий раз 10 коп. с выигранного рубля, за вычетом возвращенных проигравшему.

В тюрьмах городских карты, через сторожей, покупаются у торговцев, иногда новые, иногда играные. Наружных достоинств не требуется, были бы только очки приметны, а самые карты до невозможности засалены и обмочалены. Но в тюрьмах, помещенных не в городах (каковы, напр., все каторжные и заводские тюрьмы), карты делаются самими арестантами. При этой операции самую серьезную трудность — приготовление фигур — обходят условным приемом в размещении очков и достигают цели тем, что валета делают из двойки, даму из четверки, короля из тройки — словом, изо всех тех карт, которые выкидываются при игре в три листика. К двойке приделывают два очка, по одному наверху слева и внизу справа, рядом с существующими; в четверках прибавляют по одному очку наверху и внизу, в середине готового ряда. Своеобразная четверка служит, таким образом, валетом, а оригинальная, условная шестерка — дамой. Короля рисуют вновь из тройки: стирают старые очки и намечают новые, располагая значки ромбом по че-

тыре наверху и по четыре внизу. Я приобрел один экземпляр этих *чалдонок* (так называются самодельные карты), но они сделаны все до одной заново из простой серой писчей бумаги, проклеенной простым столярным клеем. Исподки выкрашены под один цвет (красный); черные очки наведены краскою из сажи с клеем (иногда чернильными орехами с купоросом); красные из мелкого кирпича с тем же клеем. Формат карт для удобства почти вдвое мельче обыкновенных. Но мой экземпляр великолепный: очки наведены как бы какою-то печатною формою. Я видел другие несравненно грубейшей работы. По-видимому, карты деланы наспех, под множеством зорких глаз и притом в самой строгой тюрьме, может быть именно в военной омской (крепостной) тюрьме. Красные очки выведены кровью и даже сажа для черных очков растворена в той же крови. Такими жертвами покупается право игры!

И сколько еще у арестантов выходов, если конфискуются, по несчастью, все карты. Удобоскрываемые кости, на случай конфискации, заменяются юлкою. Отнимут юлку — в тюрьмах есть дешевая и простая игра в шашки, доска для которых всегда готова на нарах; но в особенности подручна игра в так называемые *бегунцы* — игра, известная во всей России. Бегунцы родятся в волосах, выпускаются на стекло, смазанное салом, в круг или на бумагу с двумя концентрическими кругами. Разом всех бегунцов выпускают в меньший круг. Чья осилит круг прежде другой, тот и выигрывает. Побежденную казнят тут же на месте преступления, победительницу сажают опять в старое убежище, в перышко Две переползут в одно время — кон или ставка пополам.

Игроки нарочно составляют такие зверинцы, тщательно сберегают и держат при себе всегда на голове. Также всегда наготове и во всякое время к услугам простейший способ игры в *петлю*: заложивший банк берет в руки веревку или нитку и делает из них несколько петель. Желающие сорвать ставку стараются попасть в петли пальцем так, чтобы одна из них защемила палец (или палочку) и сделался узел. Но и здесь бывает подтасовка: в ловких руках фокусника все петли срываются и никогда узла не схлестывают,

Из игр карточных самая употребительная в России подкаретная или в *трилистика* с фальками и бардадымами, но самая любимая — едно, в Сибири составляет некоторый род видоизменения

первой, с разницею в счете очков по уговору: туз считается либо за 14, либо за один очок, король всегда 13, дама 12 и валет 11. Существует еще игра юрдовка, иначе *зернь*, основанная на игре в оставшиеся от выброски карты: двойки, тройки, четверки и пятерки. Именем этой игры называлась отдельная слобода на Нижнем Карийском промысле по дороге в Средний. Назвалась она так потому, что при начале промысла на Каре на этом месте собирались записные картежники из каторжных и вели сильнейшую зерню (игру). Господствует она в нерчинских тюрьмах, где, как известно, арестанты проигрывают все: одежду казенную, от полушубка до онучки, паек до последней крошки и зерна, хлеб, соль, по пословице: «рубль и тулуп и шапка в гору».

Тобольский острог, по поводу преследования карт, сохранил рассказ о следующем весьма характерном случае (передам его по возможности так, как он записан в тюремной хронике): «27 июня (1849 г.), по окончании вечерней поверки и запора во всех казармах и секретных камерах арестантов, смотритель, чувствуя себя после дневных трудов ослабевшим в силах намерен был успокоиться сном и потому, в 11 часов ночи, пригласив к себе на ужин караульного офицера прапорщика Спб. лин. бат. № 1 Тидемана и, по окончании оного, пожелав доброй ночи, осторожного и благополучного наблюдения за постовыми караулами, расстался с ним в начале 12 часов и после того, раздевшись, лег в постель и в ту же минуту уснул. В продолжение какового сна смотрителя, самого кратчайшего (т. е. сна), упомянутый офицер, подойдя к окну кухни смотрительской, в коей тогда после ужина случилось еще быть его жене, требовал сказать смотрителю о замеченной часовым картежной игре в казарме кандальных арестантов. Жена смотрителя, пожалев разбудить мужа, распорядилась отдать ключ от упомянутой казармы г. Тидеману с покорнейшею просьбою поостеречься входить в сказанную казарму без надзирателей или приставников комнатных, да и замеченных им арестантов, играющих в карты, не брать или шуму с ними в ночное время не заводить, сказав притом, что с виновными утром поступит, как должно, сам смотритель. Г-н Тидеман, уважая, хотя и неуместный женский, но предупредительный для него же совет, приказал своим караульным позвать дежурных надзирателей. Сам решился стремглав броситься в казарму, чтобы

врасплох захватить игравших. Случилось, однако же, не так. Это распоряжение в ту же минуту встревожило всех бывших в казарме арестантов, в коей находилось их 126 человек, с криками и ужасным стоном лежавших голыми у самых дверей вследствие непомерной духоты; бросившиеся караульные должны были, вследствие крайней тесноты, топтать их, по чем приходилось сапогами и, без сомнения, падая через них, причиняли им с досады побои и кулаками, отчего еще более увеличился крик, сколько от лежавших перед дверьми на полу, по причине чувствуемой ими боли, столько и от находившихся под нарами и на нарах из жалости к своим товарищам, безвинно переносившим от солдат побои. При увеличившемся же крике г. Тидеман принужден был из казармы бежать, а за ним и солдаты, которыми был выпихнут один каторжный (Муханов), которого стоявшие на дворе солдаты с ружьями избили при г. Тидемане прикладами до такой степени, что он был брошен в казарму почти без памяти, что еще больше взволновало каторжных до такой степени, что караульные, боясь дальнейших происшествий, поспешили припереть дверь. Разбудили смотрителя, прибежал: солдаты жердями приперли двери и идти не советуют, убьют-де. Смотритель не послушался: избитого отправил в больницу, где ему пустили кровь, каторжных уговорил быть покойными и не шуметь. Потом делал осмотр: в двух секретных камерах, заметив потушенный огонь, велел зажечь свечи. Затем начал ссору с офицером, когда последний потребовал его к себе и обозвал бабою при тех же нижних чинах, на что смотритель, хотя и с вежливостью, но рекомендовал ему себя не бабою, а старшим ему службою».

3) *На майдане никто сразу всего не проигрывает*. Так, напр., один пускает в игру на кон три рубля и все проиграл; выигравший обязан возвратить ему третью часть (т. е. рубль), по правилу, Бог весть когда и кем постановленному и свято соблюдаемому во все времена и всеми арестантами. Точно так же выигравший казенные вещи (платье, рубашку, сапоги и проч.) обязан их возвратить проигравшему бесплатно по истечении некоторого времени, достаточного, по соображениям арестантов, для того, чтобы охолодить горяченького и удержать его от опасного азарта. Не исполнивший этого правила во многих тюрьмах лишался права на всякий выигрыш,

т. е. принужден был сам запереть себе двери к игре. Правила эти столько же предупредительны на случай могущих быть ссор, споров, драки и, может быть, убийства, сколько придуманы они в видах круговой поруки на случай, если бы все игрецкие деньги перешли в одни руки к счастливому и, таким образом, остановили бы игру. На другой день вчера проигравшийся и получивший на руки свою третью часть, пускает ее опять на кон и если проигрывает, то снова получает свою третью часть из рубля (33 коп.) и играть в тот день больше не имеет права (да с ним уже и не станут). На третий день он опять при деньгах и при праве на игру, т. е. на четвертый день обеспечен 11-ю коп. и т. д. Перестанет он играть, разорившись в пух, если он не почетное лицо в среде арестантов, и играет в бесконечность, если он аристократ острога, т. е. бродяга — человек бывалый и тертый, а потому находящийся у всех в почете.

4) Бродягам майданщик обязан верить всегда на 1½ руб. сер., хотя бы они ничего за душою своею не имели. Эта фантастическая сумма, никогда не облекаемая в существенный материал денежный, имеет все-таки наглядное значение в виде порции вина для пьяниц и в виду возможности участвовать в игре в кредит. Достаточно бродяге поставить на майдан кирпич или просто собственный кулак, чтобы под видом этих вещественных знаков шел в круге и в круговой игре и его отвлеченный, кредитованный майданщиком капитал в 1½руб. сер. Играющий должен верить бродяге, хотя бы он и проиграл свои полтора целковых; в отвлеченном понятии они не пропадают и все-таки остаются в кредите. Не захочет верить банкомет — все проигранные деньги отдавай, таково уж тюремное правило; станет упираться, его повалят огулом и все деньги отнимут. На это арестанты просты и к тому же слепо верят бродяге на его *честное варнацкое слово*, а за словом этим (но не за делом) ни один бродяга не постоит. Кончается срок откупа обыкновенно раз в месяц. Остаются за бродягами долги, долги эти пропадают, прощаются должникам по закону, хотя бы их было и 50 человек. Весело шумят бродяги в казарме, и самые порывистые и малодушные из них прыгают на одной ноге и приговаривают на своем тюремном условном языке: «Лахман долгам, долгам лахман!» При новом откупщике для бродяг опять идет кредит в 1½ руб., и, таким образом, идет он в бесконечность, а потому майданщики, снимая подряд и

сходясь в откупной плате, при установлении цены принимают в соображение и эти беспроигрышные бродяжьи права. Не бывает *лахману,* исключаются эти статьи права и закона, только в таком случае, когда садится на майдан бродяга — человек такой же почетный и так же уважаемый всею тюремною общиною.

5) Если играет бродяга с бродягою, то проигравшийся получает не треть проигранного, а уже целую половину. Из этой половины, по окончании игры, бродяга спешит заплатить все свои долги по крайнему своему разумению и без всяких обязательств; может, однако, и не заплатить (что, впрочем, редко бывает), ибо все- таки имеет право играть в другой раз на свои вечные полтора целковых. Бродяга может и украсть у майданщика деньги, хотя это и почитается несколько предосудительным; иной товарищ обзовет при случае, выкорит. Но смело может бродяга воровать вино у майданщика. В этом до сих пор ни один преступник ничего не находит позорного, столько же и потому, что откупщик питейного майдана не пользуется ничьим расположением и даже презирается, как мытарь и стяжатель неправильно приобретаемых каторжных варнацких грошей. Впрочем, воровство — не тюремный, не арестантский порок, напротив даже, тюрьма против этого неприятеля объявлена в вечном осадном положении. Оба стана всегда наготове: когда одна половина смотрит, где у другой слабое место и у каждого из нападающих чешутся руки на все без разбора (на деньги, на рухлядь,- на съестное, на всякую безделушку от осколка стекла до клочка бумаги, пригодного на папироску), в то же время другая сторона высматривает каждую щель и, пользуясь оплошностью нападающего, заручается всякою замысловатою и секретною хоронушкою, чтобы отвести чужие глаза от соблазна и уберечь от них свою наживную, несчастную собственность. В особенности тщательно уберегают деньги, подвязывая их под мышками, закладывая в выдолбленные каблуки сапог (причем последние и не снимают на ночь), зашивают деньги в канты, в белье и проч., и проч. Впрочем, и тут не всегда достигается цель, и вор у вора дубинку крадет, вор вору терпит. Украденные вещи сначала спрячут таким удивительным способом, что не найдется тех человеческих сил, которые могли бы их отыскать, а потом тем же самым способом пускаются они по этапной дороге и, напр., киевские вещи надо уже искать не ближе

Иркутска. Воровство в тюрьмах не делается повальным, потому что арестанты умеют наблюдать друг за другом; лишенные по суду права на недвижимую и стесненные в правах на движимую собственность, они поколебались только в разумении истинного значения их и спутались, но понятия о собственности не совсем утратили.

6) Содержание питейного майдана существует, обыкновенно, как отдельное тюремное откупное учреждение; питейный майданщик редко принимает на себя содержание карт, но старается иногда захватить в свои руки содержание съестных припасов. За право продажи вина берет община в артельный капитал обыкновенно от 30 до 60 руб., имея в виду то, что майданщик будет продавать водку чайными чашками (120 штук в ведре), за каждую чашку будет брать или 30 или 50 к. серебром, а средний расход вина — по давним соображениям и расчету — простирается в большом остроге до оного ведра в сутки.

Всякий более или менее значительный выигрыш сопровождается попойкою, ни один праздничный день без нее не обходится. Существуют во множестве такие аматеры, которые кроме водки уже ни в чем не находят для себя утехи.

Сколько в то же время ни существует постановлений, чтобы арестанты не имели при себе денег и инструментов, не употребляли водки, не играли в карты и не имели сношений с женщинами — все эти постановления остаются без действия, все меры ничтожны против ухищрений арестантской общины, и откупа продолжают существовать и процветать. Появление в тюрьмах водки и других запретных вещей обеспечивается подкупностью сторожей-приставников.

Сплошь и рядом тюремные смотрители, в своих рапортах по начальству, со всею откровенностью рассказывают о подобных событиях. «У часового, стоявшего у ворот замка, нашли завернутый в “постовой” тулуп или в броню сермяжную, по выражению одного юмористического стихотворения (туез, т. е. бурак) с вином, которого было более ¼ ведра». «Принесла вино арестантка, бывшая в прачках, выпущенная из острога ефрейтором за рубль серебром». В другом случае арестант из чиновников, вечно пьяный и во хмелю беспокойный, выявил унтер-офицера, который закупал вино зара-

нее, хранил на вышке кордегардии и вечерами передавал покупку во второй этаж и секретный коридор, приставляя к окну лестницу. В третьем случае был куплен сторож, ходивший с ящиком за лекарствами для больных арестантов в аптеку. Раз он споткнулся, упал, уронил ящик, разбил склянки и распустил такой винный запах, как будто спиртную бочку откупорил. Следствие обнаружило, что сигнатурки были поддельные, прилаживал это дело на стороне (на воле) один подкупленный лоточник, и что сторож носит в лазарет вместо лекарств водку уже не первый месяц, и проч., и проч. Туезами пользуются как посудою объемистою и общеупотребительною, а где уже, как в аду строго, прибегают солдаты к ружейным стволам для сокрытия водки.

7) За продажу припасов (куда входят также и табак[32] и сласти) платится от 5 до 10 руб. в месяц, смотря по числу потребителей. При продаже этой статьи назначается обязательная такса для всех жизненных припасов, употребляемых в остроге. Дивиденду назначается не более 20 %. Майданщик и этой статьи, как и двух остальных (игорной и водочной), обязан верить бродягам на заветные и неизменные 1½ рубля. И у этого майданщика бывает долгам *лахман*, когда откуп переходит в руки другого. Но существуют и исключения: если майданщик понесет какие-нибудь случайные, не предвиденные артелью убытки, тогда долги становятся для всех обязательными. Они вычитаются потом при общем дележе каких-либо случайных доходов (каковыми бывают обыкновенно подаяния) или долги эти переходят к следующему майданщику, а этот выплачивает уже их своему предшественнику.

Всякий новичок, поступая в острог и в тюремную общину, обязан внести известное количество денег, так называемого *влазного*. Крестьянин и всякого свободного состояния человек вносит единовременно 3 руб. сер.; поселенец (т. е. идущий на поселение) — 50 коп.;

---

[32] Табак, впрочем, идет иногда, при большой массе арестантов, отдельным майданом на откуп. За право продажи нюхательного и курительного табаку откупщик платит в артель от 2 до 3 руб. Обязательная такса очень умеренная; покупка из осторожности и в виду конфискации производится по мелочам: берут на одну трубку (или, что то же, папиросу), много на три разом. Вся торговля майданщиков самая дробная.

бродяга — 3 коп.[33]. Вообще же, всякий неопытный и не искусившийся новичок, поступая в тюрьму, делается предметом насмешек и притеснений. Если у него заметят деньги, то стараются их возможно больше выманить; если он доверчив и простосердечен, его спешат запугать всякими страхами, уничтожить в нем личное самолюбие и самосознание. Доведя его до желаемой грани, помещают обыкновенно в разряд чернорабочих, т. е. станут употреблять на побегушки, в сторожа майданов карточного и винного, заставят выносить ночное ведро, так называемую *парашу*, или чистить отхожие места (что, как известно, лежит на обязанностях арестантов[34]). Слабые сдаются, твердые начинают вдумываться и задумываться, а кончают тем, что обращаются за советом к бывальцам. У этих за деньги и водку нет ничего заветного и запретного: милости просим! Правил немного, но все приперты крепко, стоят твердо, незыблемо и нерушимо. Вот они: «за товарищей горою; свято хранить тайны, и если нет выходу, подопрут рогатиною в угол, старайся впутывать в вину свою и свое дело побольше таких арестантов, у которых денег много, которые богаты; и путай их больше, сколько возможно больше: начальники деньги любят; начальников за деньги всегда можно купить. Твоих, голыш, денег не хватит, а богатые начальника купят непременно и примеров таких не было, чтобы арестанты начальников своих не подкупали. А купят, так тебя и на цепь не посадят и в

[33] Взнос влазного — остаток весьма древнего обычая, перешедший, из рук властей к арестантам и уничтоженный еще в конце XVII века, когда воспрещен был этот побор с «колодников, приводимых на тюремный двор и за решетку, чтобы в том бедным людям тяготства и мучительства не было». В тобольском остроге и эта статья сбора влазного от вновь поступающих отдавалась иногда на откуп. Взявший ее вносил от 2 до 3 рублей в месяц и обязывался на свой счет нанимать профосов, но пользовался за себя и за своих помощников двойною против других дележкою.

[34] Эта часть также иногда отдавалась на отдельный откуп, как и право собирать влазное. Новичок, чтобы откупиться от параши, платил в артель обыкновенно от 3 до 5 руб. сер.; опытные и тут попадали на 50 коп.; но бродяги вносили только 3 коп. Право топить баню артель также продавала одному лицу, называемому банщиком. Стоило право 2–3 р., а гарантия этих денег заключалась в устройстве за условную (и довольно высокую) плату любовных свиданий.

кучумку не запрут; самое большое, что на розгах дело сойдется; а любят тебя богатые товарищи, так и того не будет».

Второе дело для новичка: заставь себя полюбить! Полюбят, не выдадут, да еще уму-разуму научат. Научат, как врать на показаниях, если живешь в тюрьме подсудимых; научат, как оговаривать и куда, в какие дальние места отправлять за справками, чтобы, таким образом, отдалить время наказания или ослабить меру его, и проч. На этот предмет, как известно, существует в тюрьмах особая самостоятельная наука, имеются профессора-законники, которым позавидовали бы московские стряпчие, имевшие притоны свои около Иверской часовни. Около законников своих новичок- арестант, в весьма непродолжительное время, становится тем, чем он должен быть, т. е. арестантом. Его трудно было ловить на следствиях, его мудрено было спутать на очных ставках, его не устрашить тюрьмою, и в самой каторге он уже не видит того страха, каким преисполнялось его тревожное воображение с самого раннего возраста.

Потом вновь поступивший, без руководства и объяснений, понимает уже весь внутренний смысл тюремного быта на практике, в самом течении дел, и через неделю он — полноправный член этой общины, у которой существуют свои тенденции, свои правила, как много-могущий рычаг и двигатель.

Артельный капитал, образуемый, таким образом, из оброчных статей, простирается от 50 до 100 руб., которые обыкновенно и делятся поровну между всеми арестантами.

При этом выдается двойная дележка старосте и *парашникам.* Новички при этом обделяются: сидящим недели две — ничего не дают. Утроенная часть (за троих) полагается палачу. Ему, сверх того, выдается на рогожу из общей кассы (образуемой добровольными подаяниями и неприкосновенной до конца тюремных сроков); выдается *на рогожку* всегда, когда отправляют к наказанию бродягу. Кроме того, палач считает «рогожкою» и все те подаяния, которые сходятся к преступнику за то время, когда ведут последнего из тюрьмы на эшафот, к месту торговой казни.

Деньги, уходящие из острога вон, на покупку вина, карт и съестных припасов, пополняются преимущественно вновь поступающими арестантами. Мы не говорим уже о тех деньгах, которые попадают с воли в острог и в руки искусников, владеющих каким-либо мастерством

или досужеством, на изделия, нужные или ненужные там, за острожными стенами. Водятся в тюрьмах такие искусники, которые отлично приготовляют игрушки, безделушки: из лучинок или тоненьких планочек мастерят таких голубков, которых ни один купец средней руки не задумается для украшения подвесить в средине потолка гостиной или залы. Детские игрушки, в особенности, отличаются замысловатостью и тщательною отделкою из хлеба, из вываренной говяжьей кости. Мудрено вообразить себе какое-либо местечко или городок, соседние с каторжною тюрьмою, где бы не показывали каких-либо мастерских изделий арестантов, преимущественно столярных и токарных. В Сибири пользовался сильною известностью повсюду Цезик, успевший побывать и пожить во многих тюрьмах. В этом человеке тюремное досужество дошло до своего апогея и выразилось уже в замечательном искусстве лепных работ. Работа Цезика для сибиряка предмет серьезного значения и высокой цены в нравственном и материальном значении слова; в особенности редки и ценны стали его работы со смертью мастера, самого старика, сосланного сюда в 1830 году из Литвы во время польского мятежа. За недостатком его работ, которыми кичились и хвастались самые богатые и изысканные кабинеты золотопромышленников и сибирских начальников, стали охотливо удовлетворяться работами его сына, но уже почти ничего не имеющими общего с художественными работами отца. И за эти работы продолжали платить хорошие деньги. Старик передал сыну секрет составлять глину различных сортов и цветов, завещал несколько образчиков лепных фигур, силуэтов и проч., но унес с собою в могилу тот секрет, который оживлял все его работы, прыскал на них живою водою смысла и значения. В истинном широком значении слова Цезик-отец художником не был, но искусство делать миниатюрные работы, действительно, достойно всякого изумления, особенно если верить преданию, уверяющему в том, что некоторые работы производил он в тюрьме, не имея ничего острого (по общему тюремному положению), — осколком стакана, обломком гвоздя и проч. Приняв меры против возможно кругового и постоянного перелива денег из рук в руки в тюремных стенах, арестанты бессильны против неизбежного выхода их за тюремные стены или в руки приставников. В сибирских же тюрьмах прибылых денег от подавате-

лей бывает очень мало по той причине, что сибирские купцы дают больше натурою: молоком кислым, булками, калачами, солониною и прочими припасами, большею частью порчеными, каковые арестанты либо бросают, когда подарок обзавелся червями, либо съедят, когда приношение только дух дает.

Арестанты, в видах усиления денежного обращения в общине своей, принуждены бывают искать побочных средств и путей. Путей этих очень много и за ними следить трудно, но известно, напр., что тобольский острог искони славился мастерством приготовлять фальшивую монету серебряную (из олова)[35]. Рубль продавался обыкновенно за 30 копеек, и караульные солдаты охотно брали эти деньги за таковую плату для сбыта темным киргизам, остякам и татарам. Вторую статью дохода и в том же тобольском остроге составляла продажа фальшивых печатей и видов; печать стояла в цене между полтинником и рублем, а вид продавался от одного до трех рублей серебром. Продается между собою все, что продать можно, и в этих случаях расходуются больше других прихотливые; так, напр., продаются на нарах места с краю, как самые удобные, а потому и соблазнительные среди общей и всегдашней тюремной тесноты. Цена за место стоит между 2 коп. и 1 рублем. Продавший место спит уже на полу. Иркутский острог придумал новую статью откупа, воспользовавшись тем обстоятельством, что за водою для арестантов надо было ходить чуть не за версту — на реку Ушаковку. Воду эту арестанты сдали на откуп водоносам, а в водоносы записались те два компаньона, которые исключительно стали заниматься этою работою и затем неустанно таскали воду целый день с утра до вечера (воды на большой острог требуется много). Во время этих прогулок оба возмещали с большим избытком те два-три рубля, которые внесены ими в артель за право, — подаяниями, полученными на переходах до реки и тюрьмы, от всяких благотворителей, клавших в руки гроши и копейки добровольно или по вызову, по просьбе самих арестантов[36]. Для мастеровых и ремесленников в

---

[35] Чтобы дольше и прочнее держалась ртуть на олове, приготовленный для монеты оловянный кружок арестанты кладут в рот на целую ночь, чтобы, таким образом, отделять с него окись.

[36] Во время Святой недели откуп воды отдавался рублей за семь.

сибирских тюрьмах, за приметным недостатком в Сибири таких людей, всегда находится работа и лишние деньги в тюремные капиталы, про домашний обиход. Арестанты работают дурно, наспех, казенными испорченными инструментами, но хорошо и то, когда нет ничего, а тем более что и плата арестанту зависит от властей и начальства: ближайшему даром, дальнейшему за полцены. Все-таки это игры не останавливает; приобретению вина и иных сластей благоприятно даже и в том случае, если мастеровых мало, но подрядчикам настает нужда в поденных работниках. Если арестанту и гривенник один дадут за день — он поворчит и на другой день охотливо лезет в казенную шинель или полушубок, чтобы и этот гривенник из рук не выскочил и можно было подышать вольным воздухом, в кабак забежать, а, пожалуй, на риск и совсем убежать в леса темные, дебри дремучие.

Всех этих удобств почти не ведают, и измыслить что-нибудь подходящее собствен-но каторжные тюрьмы не могут. Эти тюрьмы, напр. карийские, самые бедные своими домашними внутренними средствами и здесь проигрывается и пропивается все казенное: и одежда, и даже пища. Тюремные деньги свободно выплывают на волю. На карийских промыслах деньги на вино и вещи на чужой обиход сбываются тем бывалым тюремщикам, которые вышли из тюрьмы на так называемое пропитание и на краю селения, в особой слободке, обзавелись домком-лачужкою, а в ней и *юрдовкою,* т. е. заведением, удовлетворяющим всем арестантским нуждам и аппетиту на вино и харчи, на игру и мазих. Вещи, сбываемые сюда всегда в наличности, уходили, хотя и на наличные деньги или на обмен, ухо на ухо, уходили, разумеется, далеко ниже своей стоимости; напр., шинель, стоившая казне 2 руб. 17 коп., отдавалась в юрдовках за 75 коп. и, самое большее, за полтора рубля. Передача вещей вольным людям производится там во время работ на разрезе, но часто и непосредственно и в самых торговых и промышленных заведениях.

В каторжных тюрьмах сходство приемов и правил с тюрьмами русскими и сибирскими пересыльными поразительно: и в них бродяга — почетный человек, любимое и нежное детище всей тюремной общины, хотя в каторжной он уже и носит название оборотня — не в смысле зверя мифического, но по тому обстоя-

тельству, что бродяга, попавший на нерчинскую каторгу, был уже когда-то здесь, жил в одной из здешних тюрем и теперь *оборочен* (обращен), возвращен назад после полученного им наказания где-нибудь в России или в той же Сибири.

В бродяге товарищи видят человека, много испытавшего на своем веку, много видавшего и потому опытного; за многочисленные страдания ему уважение от сердца, за его опытность почтение из практического расчета самим поучиться. Возводя бродягу в идеал тюремного быта, тюремные сидельцы любуются в нем образом мученика, страдальца (и притом многострадального). Арестанты убеждены, что одна часть совершенных им преступлений невольная, сделанная от простоты, другая часть ему приписана судьями, о чем он узнал только тогда, когда уже очутился в тюрьме. Знают арестанты, что для товарища их и в будущем нет ничего отрадного и живого. В силу этих положений идеал бродяги для всех любезен и все относятся к нему с любовью и простосердечием, сколько по преданию и предрассудкам тюремным, столько же и потому, что в участи бродяги провидят свою будущую. Тип этот, в свою очередь, вырабатывается так кругло и определенно, что, с какой стороны ни подходи к нему, арестант везде встретит черты, ему любезные и понятные. Бездольная жизнь по тюрьмам, тасканье по этапам — породили в бродяге непонимание, отчуждение, даже отвращение ко всякого рода собственности. Он не ценит и ворует чужую, не питает никакой привязанности, не понимает и своей личной собственности (арестанты давно уже выговорили про себя: «едим прошенное, носим брошенное, живем краденым»). Бродяга сделался простосердечен и добр до того, что, если у него завелись деньги, ступай к нему смело всякий — отказа не получит. Бродяге ничего не нужно, бродяга потерял к себе всякое уважение и себя не ценит ни в грош, ни в денежку. Вот за это-то и ценят его другие, такие же, как он, бездольные и скорбные люди, которые сами через год, много через два, бегут с каторги, сделаются такими же бездомными бобылями, бродягами. У бродяг нет никогда денег (и это новый повод к сочувствию к ним), но зато они богаты сердцем и, в сущности, люди не злые, хотя иногда и озлобленные. Тюремные сидельцы, впрочем, и не требуют этой мягкости и, по особому складу ума своего и понятий, готовы полюбить в бродяге и противоположный образ — злодея,

лишь бы только злодей этот удовлетворял главным требованиям: был человеком твердого нрава и несокрушимого характера, был предан товариществу, общине, был ловок на проступки и умел концы хоронить, никого не задевая и не путая; не делал бы никаких уступок начальству, преследовал бы его на каждом шагу, насколько это в его тюремных средствах, и вымогал от него всякими средствами льготы (не себе, а товарищам), а главное, умел бы смотреть легко на жизнь и на себя самого. Во имя этих доблестей, о его старых грехах никто не помнит, никто не знает да и знать не хочет; довольно, если он теперь добрый молодец удалой, хотя бы вроде Коренева (который обязывает нас отдельным рассказом).

Арестанты, по свидетельству всех стоявших к ним близко, неохотно и очень редко рассказывают о своих похождениях, о злодействах же никогда. Когда бывали попытки, то вся община строго приказывала смельчаку молчать. Бывали случаи, что арестанты рассказывал о своих похождениях легковерным, всегда с крайностями и циническим преувеличением мнимых подвигов, но делали это в надежде большого вознаграждения за рассказы. Возвратясь к своим, рассказчики эти вслух глумились над легковерием любопытных.

Арестанты, окруженные и вещественною, и нравственною грязью, сами делаются циниками и затем уже озлобленно питают отвращение к тем людям и тем постановлениям, которые, доведя их до преступления, лишили свободы. Вырабатывая свои правила, часто смешные, редко несправедливые, они в правилах этих бывают жестоки и всегда оригинальны. Так, например: не привыкая хвастаться своими преступлениями и видеть в них какое-нибудь удальство, арестанты все-таки с большим уважением относятся к тому из бродяг, который испробовал уже кнут и плети, стало быть, повинен в сильном уголовном преступлении. Такие бродяги почетнее кротких. Имена их делаются именами историческими, как бы имена героев, на манер Суворова, Кутузова, Паскевича. Таким образом, тобольская тюрьма помнит имена бродяг: Жуковского, Туманова, Островского (просидевшего на стенной цепи в Тобольске десять лет), Коренева; нерчинские тюрьмы: Горкина, Апрелкова, Смолкина, Дубровина, Невзорова и др. Память о них переходит из артели в артель с приличными рассказами и легендами, а так как легенды

эти имеют много жизненного смысла и силы, то они в то же время служат поучительным образцом и руководством.

Чтобы судить о степени влияния на артель тюремную этих бродяг из злодеев, мы приводим одну из множества легенд, сказывающую в то же время, до какой степени плотно и прочно тюремное товарищество. Дело — говорят — происходи-ло в тобольском остроге, в старом, стоявшем на обрыве над оврагом (нынешний новый замок построен на берегу Иртыша).

Живет в тюрьме, в ожидании судебного приговора, один из бродяг — Туманов. Много преступлений скопилось на его голове, от многих он отвертывался, впутывал разных лиц, затягивал следствия на целый год и под шумок судопроизводства жил себе в тюрьме припеваючи, пользуясь всякими ее благодатями. К концу года Туманов сообразил, что время его близко, раскинул, умом и вышло, что быть решению скоро и решение выйдет немилостивое, от военного суда. Ему ли, старому бродяге-законнику, не знать того, что шпицрутенов изломанной спине его не миновать. Он и число палок сосчитал вперед, не хуже любого законника. Рассказал он об этом соузникам и попечалился им. Не шутя и чуть не через слезы, высказал он им, что все это надоело ему крепко. Он говорил им: «Братцы, для меня кнут бы еще ничего, не люблю я солдатских палок, да и нерчинская каторга дело бывалое. Вся беда в том, что каторга эта стоит далеко, скоро ли с каторги этой выберешься? А уж мне это надоело, два раза уходил оттуда. Не надоела мне мать-Россия: в ней дураков больно много, а народ в ней прост и нашему брату лучше там жить, способнее. Как-никак, а мне уходить от каторги надо дальше, ближе к России. Пособите, братцы! Вся моя просьба: больше молчите теперь, а смекайте дело после. Так или этак, а бежать мне надо! Так это дело я порешил в себе и средства придумал: вы только не мешайте, об одном прошу».

Было за этим Тумановым художество: умел он фокусы показывать; дело, собственно, внимания не стоящее и в тюрьме пригодное в досужий час, как праздничная забава. Поиграй оловянными рублевиками — товарищи посмотрят, глотай горячую смолу — они подивятся, привесь смешливому товарищу замок к щеке — посмеются. Да и не учащай этого дела, не налегай на него: дураком

почтут, уважение всякое потеряешь; в тюрьме живет народ угрюмый, серьезный, формалист и большой рутинер.

Туманов так и поступал до сих пор. Но с некоторого времени арестанты стали замечать, что Туманов начал старые штуки припоминать, новые выдумывать и даром их не показывает. Кто смотреть желает — давай деньги! Смекнули это арестанты и, памятуя наказ и просьбу, помогать ему стали. Отгородили ему место на нарах, занавеску приделали изо всякой рвани, солдат повестили, что у них теперь «киятры» будет Туманов показывать. Театр в Тобольске дело редкостное, любопытное, охотников нашлось. Со своих товарищей Туманов брал грош, с солдат пятак. Копились у него деньги, но росла и слава, лучи которой сначала достигали до караулки, а потом хватили и до квартиры смотрителя. Приходил и он, старичок, с семейством, похвалил Туманова и заплатил ему четвертак за посмотренье. Не великое дело четвертак, больше четушки водки его не вытянешь, но велика сила, что смотритель его дал. Теперь можно вести себя посмелее, бить наверняка. Туманов и начал бить.

Ни с того, ни с сего началась в казармах возня и ломка; Туманов командует всеми, ставит одного к стене, другого к нему на плечи, поставит двух рядом и опять к ним одного на плечи. Целое утро возится Туманов с арестантскими ногами: и на одной оставляет многих, и чуть у других из вертлюгов не выворачивает. В казарме пыль столбом, смех и шум. Сторожа смотрят на все это, ничего не подозревают, думая: «Казенного добра арестанты не портят, стекол не бьют, штукатурку не обламывают, пусть себе ломаются Туманов с арестантами, стало быть, потешное что-нибудь надумали. Дело же подходит к празднику, нам же арестанты забаву готовят, нас хотят тешить. Придет к ним и начальство смотреть, благо раз уже удостоило». Молчали солдаты.

Подошли тем временем праздники. Пошел по казармам слух, что Туманов намерен дать «чрезвычайное и небывалое представление», пройдет он с шестом и изобразит живую пирамиду, но так как дело это в казармах сделать неспособно — потолок помешает, то и не худо бы представить все это на тюремном дворе, на просторе, позволит ли только начальство, т. е. смотритель?

— Пусть, — говорит, — представляют! Я сам приду посмотреть.

— А нельзя ли (просят) на том дворе, который к задам идет, земля там глаже и делать способнее?

— Можно (велит передать), можно и на задах сделать.

Назначен день представления. На выбранном месте арестанты скамеечку для начальства приладили, обещалось начальство прибыть не одно, а с гостями. Сбежался на представление чуть ли не весь острог: прибежали солдаты из караулки, хотя одним глазком посмотреть, дежурный офицер явился в кивере и чешуйки расстегнул, ждали гостей начальника и его самого — дождались!

Шли сначала мелкие фокусы, из таких, которые уже видели; были такие, которых не видывали. Дошло дело до пирамиды. Стали ее ладить: стала пирамида, что один человек, словно из меди вылитая. Взгромоздился на самый верх Туманов, шест в руки взял. Пошла пирамида неразрывною стеною... Туманов шестом заиграл. Шла пирамида тихо, торжественно. Туманову снизу полушубок бросили, подхватил и не оборвался, новую штуку показал: на ногах устоял. Арестанты закричали, гул подняли. Дежурный офицер, из выгнанных кадетов, захлопал в ладоши, чтобы показать свое столичное происхождение перед дураками из смотрительских гостей. Все, одним словом, остались довольны.

А пирамида шла себе дальше, не шелохнувшись, а Туманов стоит себе выше всех, выше стены тюремной. Держится пирамида ближе к стене, подошла к углу, остановилась. Глянули зрители наверх: нет Туманова, только пятки сверкнули. Пока опомнились (а опомнился первым смотритель), пока побежали через двор (а двор очень длинный), сбили команду, побежала команда кругом острога, а острожная стена еще длиннее, — прошло времени битых полчаса. Стали искать — и следов не нашли! Шла битая тропинка круто под гору, ускоряя шаг и подталкивая, и вились цепкие, густые кусты, которым не было конца. А там овраги, глубокие овраги пошли в пустые места, чуть ли не до самой Тюмени. Черт в этих оврагах заблудится, дьявол в этих кустах увидит! И зачем тропа и зачем овраги, когда, может быть, лежит Туманов под стеною с изломанною ногою, с отшибленным легким? Оглядели то место по приметам: и трава отошла и ничьего и никакого следу не видно. Полезли на стену и увидели, что стену арестанты ловко и предусмотрительно

обдумали: стена была ординарная в этом углу, тогда как во всех других и на всем дальнем пространстве она была двойная. И на стене нет Туманова. Нашли только на гвозде его большую кудельную бороду. Для смеху ее Туманов привязывал. Взяли это отребье, принесли к смотрителю. Смотритель рапорт написал по форме, бороду к рапорту приложил и припечатал, а сам поехал с докладом к губернатору.

Генерал рассердился, раскричался на смотрителя. Вырвал у него из рук не рапорт, а куделю, приложил кудельную бороду к бритому подбородку смотрителя, да и вымолвил:

— Вот велю привязать тебе, дураку, эту бороду, и станешь ты ходить с нею до гробовой доски. Ну, зачем ты мне принес ее, а не привел беглого? Зачем? Отчего? Почему?..

Кричал начальник долго, а Туманов тем временем был уже далеко.

— Пошехонцы в трех соснах заблудились, как сказывают, а нашему брату, бродяге, два дерева, только два дерева дай: мы так спрячемся, что десять человек не найдут. Дело это для нас плевое, потому как мы на том стоим, все в лесах живем, все около деревьев этих водимся, одно слово — лесные бродяги.

Вот что рассказывают сами бродяги, которые знали Туманова лично, но что с ним сталось дальше — рассказать не могли, не знали. Знали только то, что генерал простил смотрителя и дал арестантам возможность еще не один раз над ним посмеяться.

— Смешной был человек, смотритель этот! — рассказывали мне. — Дурак не дурак, а сроду так. Бежал у нас один арестант через трубу из нужного места, бежал и тоже след простыл. Сказали смотрителю. Пришел он в тюрьму, зашел к нам, в казарму подсудимых, зашел и головкою седенькой помахивает.

— Этакая (говорит) скотина, в какое место полез!.. И как ему в голову это пришло? И как, ребята, лез он туда, окаянный?

— Головой, думаем, ногами не способно.

— Перепачкался, поди, весь!

— И что за охота, что за охота собачьему сыну лезть?! Черт, дьявол толкал его, распроклятого. Что за охота!!

Головушкой трясет старичок и все одно слово повторяет. Мы глядели, гдядели на него да так и фыркнули всей казармой. Сам,

мол, ты дурак, седой черт! Не знаешь, что и крепка твоя тюрьма, да черт ли ей рад? Воля, мол, лучше боли; коли отвага кандалы трет, так она ведь и мед пьет...

Но как ни сильна эта отвага, побеги собственно из казематов совершаются реже и притом, как замечено, на побег решается удалый и бывалый и притом из тюрем так называемых пересыльных. Правда, что арестант не упустит ни одного случая малейшей оплошности конвойных, особенно за стенами острога на работах, и бежит, но все-таки побег не единственный выход из бездолья каторжного. Существуют и другие пути, которыми идут арестанты к призрачной свободе, и подкопом под тюрьму завоевывают временное облегчение участи. Случаями этими особенно богаты собственно каторжные тюрьмы.

Казенная работа изо дня в день одна и та же, до возмутительно однообразных и мелких подробностей, помимо физического истомления, истощает все нравственные силы и, как вампир, высасывает запас терпения даже и у тех, которых мягкость нрава, нерешительность характера и слабодушие — прирожденные черты характера. Таким людям до побега далеко.

Малодушные выбирают другие средства и, не богатые вымыслом и смелостью, кидаются на ближайшее.

Летом арестант надрезывает (во время работ) чем-нибудь острым (осколком стекла, кусочком железа, кремнем) кожу какой-нибудь части своего тела (больше на половых органах) и в свежую рану пропускает свой или конский волос. Добившись местного воспаления, нагноения, он идет к лекарю, фельдшеру и попадает в госпиталь за сифилитика. Туда же идут арестанты с распухшими щеками по зимам, когда, по их опыту, стоит только наколоть внутри щеки булавкою и выставить эту щеку на мороз. На Карийских промыслах очень часто, во время утренних раскомандировок по работам, попадаются арестанты с ознобленными пальцами на руках. Наблюдения и розыскания убеждают в том, что арестанты, обыкновенно ночью, смачивают какой-нибудь палец подручною жидкостью и достаточно нагретый и теплый палец мгновенно спешат высунуть в форточку окна на мороз. Опыты подобного рода

арестанты любят учащать на том основании, что, вовремя не захваченный, озноб скоро ведет за собою поражение отмороженного члена антоновым огнем, а отрезанный лекарем палец спасает несчастного от исполнения полного числа уроков. Вот почему в числе запретных вещей арестанты любят добывать всякие едкие, разъедающие жидкости. Сюда доктор Кашин («Московская Медицинская Газета» 1860 года) относит известь и колчедан, а также и шерсть. «Другие арестанты, — говорит он, — производят язвы приложением к телу листьев прострела (Anemone pulsatilla)». Для распознавания язвы такого рода доктор советует перевязывать их самому врачу, под бинт подкладывать вощеную бумагу и всю повязку припечатывать. Употребление вощеной бумаги необходимо для того, чтобы арестант не раздражал язвы иглою, которую он пропускает в таком случае через наложенную повязку. Сделанные иглою отверстия сейчас можно видеть на бумаге. «К притворным болезням арестантов и ссыльных, — говорит далее г. Кашин, — относятся также слепота, сведение конечностей и падучая болезнь; но во всем этом весьма легко удостовериться при некотором внимании и ловкости. При слепоте я подносил к глазу свечу или иглу, сказав, что хочу делать операцию, и обман открывался скоро. В притворных сведениях стоит только сделать значительный удар ладонью по верхнему плечу или по ляжке — и больной от боли выпрямлял конечности. Отсутствие пены и сведение большого пальца внутрь ладони служит верным распознавателем притворной падучей болезни; также внезапные впрыскиванья холодною водою и чувствительность при уколе иглою какой-нибудь части тела. Но зато чесотка (scabies) — непременная принадлежность тюрем; язвы от скорбутного худосочия и ревматической боли от трения кандалами, также сифилис в страшных формах и часто первичные язвы не на тех местах, где показано, а circa anum или же in recto, как следствия педерастии. Называют эту болезнь хомутом (насадили хомут — заболел). Скорбут, дизентерии и тиф — болезни очень обыкновенные. Ознобления и отморожения от недостатка обуви и вследствие побегов и бродяжничества — явления столь частые, что их можно считать обыкновенными не только на этапах, но и в

тюрьмах. Замечено неоднократно воспаление глаз (ophtalmia carceralis), зависящее от сероводородного газа, как домашнего продукта собственного арестантского изделия».

Вытяжкою сонной одури они делают искусственную слепоту: пуская жидкость в глаз, увеличивают (расширяют) зрачки и, выставляя глаз кверху при осмотре, кажутся как бы действительно слепыми. При помощи жженой извести с мушкою или купоросной кислоты вытравляли клейма, но не совсем удачно: оставалась белизна и большие шрамы. Это — старый способ. Так же стар и нерчинский способ вызывать на месте клейма местное воспаление, а потом нагноение посредством травы пострела (на щеках) и прижигания трутом (на лбу). Трут, обычное народное средство при заволоках, в особого вида фонтанелях (едно) и проч. заменен был новым средством — ляписом (lapis infernalis), на покупку которого не щадили больших денег. Новейший, самый последний способ уничтожать клейма, теперь уже отмененный, вернее достигал цели: помогала высокая трава с желтыми цветочками (Ranunculus acris), растущая тут же перед глазами, на острожных дворах.

Обварив клейменые места кипятком, бьющим ключом, немедленно прикладывали эту траву и, вынеся жестокую пытку от боли, достигали цели тем, что траву эту держали на обваренном месте недолго (не более получаса). Рука краснела, а если припухала при этом, то творог прекращал страдания и воспаление: выходило ровно и гладко, словно во младенчестве мать ошпарила[37].

Принимая натощак столовую ложку прошки (нюхательного табаку), арестанты достигали того, что их клали в больницу, принимая за начальные припадки серьезной болезни происходившее от того отравление, сопровождаемое тошнотою, бледностью кожи, биением жил и общею слабостью. Принимавшие целую деревянную ложку толченого стручкового перцу с сахаром добивались грыжи и пили потом натощак по таковой же ложке соку из репчатого луку, когда грыжа надоедала и делалась ненужною. Той же грыжи добивались те, у которых достаточно было смелости на то, чтобы проглотить серебро, и столько терпения в надсаде и прыганьях, чтобы,

[37] См. «Описание Енисейской губернии» доктора Кривошапкина.

долго натуживаясь, добиться-таки желаемой гостьи. В расчете на глухоту, клали в ухо смесь, вроде кашицы, из травяного соку, меду и гнилого сыра; последний, разлагаясь, вытекал наружу жидкостью, по дурному запаху и белому цвету весьма удовлетворительного характера. Порошком, наточенным в древесных дуплах червяком, дуют в глаза желающему спекулировать бельмом, которое, однако, скоро проходит.

Хороший флюс для арестантской практики также немудреное дело: стоит наделать внутри щеки уколы иглою, пока не хрустнет (но не прокалывать насквозь), а затем, зажав нос и рот, надувать щеку до флюса: щека раздуется, покраснеет, и на рожистое воспаление это очень похоже. Чтобы вылечить — стоит проколоть щеку снаружи насквозь и выпустить воздух.

Стягивая под коленом кожу в складки (с захватом жил) и продевая сквозь морщины свиную щетину на иголке, добивались искусственного сведения ноги; щетина оставалась в жилах. Распарив ногу в бане и вынув щетину, можно и в бега уйти[38]. Сушат ногу от колена до ступни тем, что под самым коленом перетягивают саржевым или шелковым платком и поманивают водою, и пр., и пр.

Впрочем, некоторые арестанты наивны, как школьники, и идут на смотр к доктору, наколов булавкою десну и ноздри, и, приняв кровь на рубашку, уверяют в кровохаркании; другие (геморроидалисты) подвязывают живот и жалуются на спазмы. Однако в тех и других случаях легко достигают цели, доктора уступают их настоятельным заявлениям на отдых и, обманутые и не обманутые, застаивают у ссыльных рабочих несколько времени, давая им перевести дух и расправить натруженные члены на больничных койках. Зато и арестанты считают их своими первыми благодетелями и на поселении всегда с любовью вспоминают о них.

Замечательно, что подобного рода притворщики (по личному признанию самих арестантов) в тюремной иерархии не занимают видного места. Это — плебс, черный народ, который возбуждает в

---

[38] Вместо щетины для этой же цели берут нитку из дерева, называемого волчье лыко. Кончик нитки оставляют торчать наружу, чтобы после вытянуть, ибо лыко не щетина, держать долго нельзя; делается краснота и приключается большой жар.

товарищах малое сострадание в таком только исключительном случае, когда подлог их обличится, не достигнув цели. Сами они, по большей части, не заботятся о возвышении своего нравственного уровня, мало блюдут за своими падениями и довольны бывают тем унижением, в какое сумеют поставить их товарищи-аристократы из бродяг. Их обыкновенно называют «жиганами». Роль их тогда бывает незавидна и была бы тяжела для них, если бы они в то же время не были (за недостатком практической изобретательности) крайними бедняками, голышами. Конечно, в тюрьме найдутся средства кое-как добыть кое-какие деньги, но для того требуется унижение, а раз униженному далеко до уважения, даже и до такого, каким, напр., пользуются бродяги. Бродяга скорее вытерпит всякую невзгоду, вынесет на обтертых и привычных плечах всякую каторжную работу, раз десять обманет сторожей и пристава и смотрителя, но до крайнего унижения своей личности не дойдет. Бродяга не унизится перед богатым, не пойдет он по заказу его *уткою*[39], не

---

[39] В числе игр, выдуманных арестантами в тюрьмах для общего и частного (по заказу богачей) развлечения, чаще других употребляется эта утка. Желающему быть общим посмешищем и получить за то, смотря по обоюдному договору, пятачок серебра или гривенник, арестанты связывают на спине обе руки веревкою и, таким образом, чтобы между ладонями можно было укрепить сальную свечку. Свечка эта зажигается. Нанятый шут обязан, не погасив огарка, ползти на брюхе с одного края казармы до другого и по тому грязно-скользкому полу, каков, напр., в тюрьме Нижне-Карийского промысла, где эта игра в большом употреблении. Прополз потешник на брюхе, не погасив свечки, он получает договоренную монету; погасил на дороге — даром все труды пропадают.

— Да еще и попадает сверх того! — прибавляли мне рассказчики.

— Бьют?

— Бить не бьют, а поднимут на глум, да так, что в этот раз битье-то, пожалуй, лучше бы...

Замечательно, что все тюремные забавы — как и быть, впрочем, следует — грубого дела и большею частью основаны на испытании крепости зубов, волос, кожи и пр., на манер семинарских бурс. Таковы, между прочим, и те игры, которые известны, напр., в петербургском остроге: масло ковырять, покойника отпевать, пальто шить, колокола лить, на оленях катать, присяга на верноподданство по замку, Киршин портрет, жгуты, голоса слушать и

согласится, когда заломается арестант-богач, чувствуя в кармане деньги, и велит подать ему воды, принести какую-нибудь вещь, чтобы за такую услугу, за удовлетворение праздного каприза, выдать прислужившемуся грош или пятак.

Настоящий бродяга настолько практик, чтобы не быть трусом и побежденным, и настолько свободен он и не побежден, что готов попасть опять на старое каторжное пепелище, но предварительно побывав в бегах. В бега, одним словом, идут только те люди, которые одарены волею и характером, точно так же как в госпиталь ложится только живой мертвец, побежденный и безнадежный.

Из нерчинских тюрем (да и, вообще, из тюрем Восточной Сибири) побеги совершаются замечательно часто и в огромном числе. Какие обстоятельства предшествуют и какими случайностями обставляются побеги — этим всего более обрисовывается каторжный быт.

Глава III. В бегах

Нерчинские горы и богатство их. — Серебро. — Зерентуйский рудник. — Внутренность рудника. — Рудниковая каторга. — Штольня. — Шахта. — Лихтлог. — Несчастья на каторге этого вида. — Рудниковый хозяин. — Заводские служители. — Что такое каторга? — Каторга золотых промыслов. — Заводская каторга: солеваренная и винокуренная. — Улучшения на каторге. — Побеги с каторги во всем разнообразии способов. — Побеги из каторжных тюрем. — Беглый на балу. — Побег цепного. — Голый беглец. — Пособники. — Побеги с каторги. — Варнак и чалдон. — Лиса. — Побег на уру. — Самый крупный побег. — Хоронушки. — Приготовления к побегу. — Время побегов. — Первые шаги в бегах. — Неудачи. — Помощь караульных. — Часовые в бегах. — Обилие побегов. — Варнацкая дорога. — Зверское мщение. — Сыщики. — Буряты. — Похождения и злодейство бродяг. — Медведи. — Приставодержательство. — Заимки. — Старовер Гурий Васильевич. — Преследования. — Кандалы. — Лесная пища во всем разнообразии. — Саранча. — Горбачи. — Избиение целой шайки бродяг. — Губернатор Руперт. — Сыщик Карым. — Убиенные горы. — Коурый. — Безопасные бродяги. — Левицкий на Лене и в нерчинской каторге. — Кяхтинский мещанин. — Бродяги на Байкале, на Антаре, под Казанью, в Петербурге. — Бродяжья судьба в дороге. — Сибирские притоны в

проч. В сибирских тюрьмах любимая забава прилепить спящему к подошве голой ноги смазанную салом бумагу и зажечь ее.

обычаи. — Пределы бродяжничества. — Вооруженные черкесы в бегах. — Черкесы в степи. — Бродяги в Астрахани

Отъезжайте от так называемого Большого Нерчинского завода верст на десять (хотя, напр., по направлению к Зерентую, на север), выберите возвышенное место на попутной горе и оглянитесь назад! Полный, широкий кругозор неба, к которому так привыкает глаз на безбрежных степях и пустынях, на этот раз уменьшился больше, чем наполовину, и отливает вверху неопределенным, примечательно тусклым светом. Живые и резкие вечные краски его потускнели, истощив свою силу перед тем, что уменьшает округлость и широту небесного горизонта, что заслоняет от нас больше, чем половину его и что распласталось внизу. Непрерывною грядою и цепью тянется там сплошная стена гор, подтянувшихся одна с другой и сплотившихся вместе. Форма этих гор и этой цепи, на первый взгляд, поражает чем-то оригинальным, своеобразным и незнакомым, но, всмотревшись, узнаешь, однако, кое-какие черты знакомые, выясняешь кое-где определенные образы. Море, казалось нам, свободное и беспредельное море всколебалось до самого дна в то время, когда внутри его скопилась громадная сила и поверхность его, не выдержав напора внутренней силы, широким и порывистым взмахом разбилась на густые и широкие волны. Волны эти разметались в прихотливо-разнообразных группах, где простому глазу и издалека приметны даже и брызги, густые и мелкие, сбившиеся на хребтах волн, и самая волна, во всю длину ее, вздувшаяся до того состояния, когда ей предстоит одна возможность уничтожиться от собственной тяжести и исчезнуть во вновь набежавшей. И вот, в это самое время, когда внутренняя сила, управляющая волнами, готова была на новый напор снизу и на ту же работу наверху, — взволнованное и рассерженное море вдруг онемело и застыло. Черты и краски, которые могли исчезнуть без следа, чтобы уступить место иным и свежим, стали теперь вечными и неизменными. Мало таких картин на всем широком просторе России, хотя и много там гор, холмов и пригорков! Мало таких гор и по внутреннему достоинству, по подземному богатству их, как горы Нерчинского края, хотя и есть в России Урал, Колыванские и Кузнецкие горы. Серебром наполнены их горные недра; по золотому песку текут выходящие из гор этих реки и увалами, своеобразным видом, отливают все эти

горы потому именно, что обладают они таким особенным даром, что стоит за ними громадное, до сих пор еще вполне не оцененное преимущество. Некрасивы они, когда подойдешь к ним слишком близко. Сумрачны издалека эти каменные горы, голые, скудные растительностью, силу которой как будто взобрали в себя, обездолив поверхность, внутренние богатства, подспудные и подземные сокровища этих гор. Но вид на группу, на всю сплошную массу Нерчинских гор издали, не теряет всего обаяния и всей своей прелести, подкупаемой, сверх того, тем представлением, какое дают практические наблюдения. К ним-то мы и подходим теперь, опираясь на те данные, которые добыты горною наукою.

Нерчинский горный округ, наполовину обследованный, но далеко еще не вполне разработанный, представляет одно из сильных и богатых мест в свете по разнообразию всякого рода горных пород металлов и минералов. Окрестности Петровского завода и Тункинские горы, в западной половине Забайкалья, богаты магнитным железняком. Тот же железняк находится на восточной стороне Яблонового хребта, разделяющего Забайкальскую область на две половины: по рекам Урову (впадающему в реку Аргунь) и по Тайне (притоку реки Газимура). Горы между Нижнею и Среднею Ворзею столь богаты тем же магнитным железняком, что тамошние жители называют их не иначе, как «железною цепью». Системы рек Витима и Никоя (в западной половине Забайкалья) и Карийская и Шахтаминская системы (в восточной половине) давно уже известны разработками золота. В этой последней части везде, где господствуют гранито-сиениты, почти сплошная золотоносная система; таковы россыпи: Лунжанка, Казакова, Култума, Солкокон, Тайна, Быстрая и другие. В 1855 году поисковая казенная партия нашла золото и в западной части Нерчинского округа, в глухом, необитаемом юго-западном углу, ограниченном китайскою границею и Яблоновым хребтом, разделяющим округ на две почти равные половины. По реке Прямой-Бальдже, при шурфовке, найдены благонадежные признаки, а по рекам: Елатую, Каролу, Долтонде, Цагано, Иорухану и также Бираю, также богатые россыпи, послужившие к быстрым и серьезным обогащениям, когда дозволена была добыча частным людям в начале 60-х годов нынешнего столетия и когда золото найдено на реке Нерче, почти под самым

городом Нерчинском. Золото — одним словом — оказалось везде там, где господствуют сланцы. Как только эти последние уступают место гранитам, там, вместе с этим, исчезает и самая золотоносность. Шахтама и Култума, сверх содержания золота, обещают добычу ртути, обладая большим количеством киновари; в Нерчинском горном округе — единственное в России место нахождения олова. Все горные покатости к югу от системы притоков реки Шилки, по системам притоков Аргуни, с давних времен дают в замечательном избытке серебро, которое прославило Нерчинский округ. Это — самый главный продукт земных сокровищ Нерчинских гор, и Нерчинские заводы обязаны главною добычею его с той самой поры, когда край этот, один из богатых серебром в целом свете, сделался собственностью России. Серебряные рудники открыты здесь давно и в примечательном обилии. В 1722 году император Петр I именным указом своим велел всех освобожденных от каторжных работ в России и назначенных к ссылке в Сибирь в дальние города посылать в Дауры на серебряные заводы. В 50-х годах нынешнего столетия разработка серебряных руд приостановлена и на нынешнее время значительно против прежнего ослаблена. Нерчинский же горный округ с его россыпями и промыслами золотыми и с его заводами еще до сих пор представляет для нас интерес ссыльного места, а потому мы и останавливаемся на нем, как на месте работ, предназначенных для ссыльно-каторжных.

Вот один из таких серебряных рудников (Зерентуйский) у нас перед глазами. Он открыт в 1825 году, вместе с Благодатским. Толщина его не более 2 сажен, месторождение заключается в известняке, падает почти вертикально и наполнено преимущественно тальком, в котором железисто-свинцовые охры со свинцовым блеском и белою свинцовою рудою попадаются небольшими гнездами. В пуде руды ½ золотника серебра и 1 фунт свинцу, но, через промывку, руды обогащаются серебром до 1½ золотника и свинцом до 4 фунтов. Работа начата шахтою и продолжалась гезенгами и дворами в 34-саженной глубине. Для движения воздуха углублена шахта в висячем боку месторождения[40].

---

[40] Дворы — обыкновенные горизонтальные работы (орты и форшлаги), проводимые непосредственно одни над другими. Они всегда идут по рудам

Мы у подошвы горы, которая отлого (тянигусом — по-сибирски) взбирается ввысь и там, где-то не на виду у нас, сливается с другими горами, а может быть, и с целою грядою гор. Гора наша, по наружному виду, ничем не отличается от окрестных: те же голыши и камни, обещающие скудную растительность в живое время, то же обилие моху и по местам примечательно-ничтожное количество снегу, когда все кругом завалено им. Разница одна: у нашей горы, позади нас и не в дальнем расстоянии, раскинулось довольно большое селение со старыми, гнилыми домами, разбросанными в беспорядке и доказывающими наружным видом своим, что хозяева их самые бедные и несчастные люди во всем свете: нет ни одного дома, который говорил бы даже о кое-каком достатке. Селение это казенное и приписано к руднику. В горе нашей находятся самый рудник серебряный, давно уже существующий, как сказано выше.

Прямо перед нами бревенчатый сарайчик, по местам обшитый досками и одним краем своим вплотную прим- кнутый к горе, у самой подошвы ее. Дощатая дверь вводит нас в этот теплый и натапливаемый домик. Здесь предлагают нам снять шубу на том основании, что без нее будет свободнее ходить по руднику, где, говорят, теплее, чем в этом домике, тепло, как в бане. Но помня, что на дворе 30° с лишком мороза, мы не решаемся расстаться с шубою (в чем, однако, пришлось нам потом раскаяться). Нам надевают на шею, на длинной, веревке, плоский фонарь с зажженною свечою, и мы направляемся в то чистилище, о котором с самого детства слыхали так много страшного. Вот за этою-то новою дверью (и опять дощатою) — думалось нам на тот раз — те каторжные норы, где мучилось столько «несчастных» и погибло в них без следа и воспоминаний. За нею-то, за дверью этою, один из тех рудников, о которых ходят по всей России такие мрачные и страшные рассказы. И теперь мы с трудом отделываемся от неприятного чувства боязни, бессознательного страха и тоски, до такой степени неодолимых, что были моменты, когда мы готовы были оставить наше намере-

---

и употребляются более для выемки их на очистку, также и для преследования их по падению. Сначала ведут по руде обыкновенный горизонтальный ход, укрепляемый временною или фальшивою крепью из двух стоек и переклада на 1–2 сажени; потом эту крепь заменяют настоящею.

ние и вернуться назад из опасения не подвергать себя крупным и тяжелым впечатлениям. Потребовалось энергическое усилие воли, чтобы направиться дальше за эту таинственную дверь, и, раз решившись идти вперед, мы принудили себя безропотно подчиниться провожатым; но неприятное чувство душевной тяжести и безотчетного сердечного трепета нас не покидает. Отворилась дверь, словно в ад, и истинное подобие его представилось нам тотчас же, как только глаза наши встретили за дверью непроглядный, мертвенный сумрак. К тому же по нескольким ступеням мы опустились вниз, на несколько аршин ниже подошвы горы. Высокая гора, всею массою, всею своею громадою стояла теперь над нами, усиливая тяжесть наших впечатлений. Мы в горе и под землею, словом — мы в руднике.

Слишком резкий, крайний переход от дневного света прирудниковой светлицы-передней во мрак самого подземелья не позволяет глазам нашим что-либо видеть, что-либо понять изо всего того, что творится перед нами, сзади нас и по бокам. Мы слышим голоса, но они кажутся нам такими глухими и робкими, что как будто и они, как и наш голос, выходят из сдавленной и натруженной груди. Где-то впереди, как волчьи глаза, мелькают огоньки, но свет их, поглощаемый густотою окрестного мрака, до того слаб, что кажется особенным, рудниковым. Висящий на груди у нас фонарь наш делает не больше того: свет его чуть брезжится, ударяет в спину проводников, освещая две-три заплаты на полушубках. При поворотах в сторону, свет сальной свечки успевает обнаружить в себе присутствие силы настолько, что мы различаем дощатые стены, мокрые, сырые, и такие же доски наверху, на потолке. Когда глаз успел приноровиться, мы — что называется — огляделись: перед нами и позади нас, оказался несомненный коридор, такой же точно, как и те, до которых такие охотники петербургские домовла-дельцы и архитекторы, доказывающие этим бессилие своей изобретательности и несостоятельность своей науки; этот коридор намеревался доказать противное. Он был такой же узкий и теплый и в таком же прямом направлении тянется куда- то вдаль. Мы идем не ниже, не выше, идем так же свободно и теперь, как шли сначала, и идем как будто уже много сажен, не один десяток сажен — и останавливаемся. Перед нами третья дверь, и обитый досками коридор кончился.

— Что это значит?

— Коридор, — отвечают нам, — туннель этот называется *штольнею.* Та часть штольни, которую мы прошли и которая сверху, снизу и с боков забрана досками, уже выработана и к делу не годится. Рабочие в ней только для того, чтобы положить дощатые заплаты там, где старые доски прогнили до слез. Разрабатывается вот эта...

Отворили дверь — мы снова погрузились во мрак, который кажется нам еще гуще и непрогляднее. Мы с трудом передвигаем ноги, которые на каждом шагу встречают какие-то рытвины, какие-то камни, а между ними, по самой середине дороги нашей, тянется целый желоб. По бокам, в стенах — каменные глыбы; наверху, на потолке такие же голые, неправильной формы обитые камни; и те и другие на ощупь холодны, сыры, слизисты. Фонарная свеча на большей части из них освещает ржавчину окиси. Ощущения становятся еще тяжелее: каменные груды начинают давить нас нравственно всею тягостью внешнего вида своего, и мы снова с трудом владеем собою при объяснениях.

— Это известняк и глинистый сланец — подпороды, а вот и самая порода — наше богатство. Из нее-то мы добываем достославное серебро, которое и в наших руках стало в редкость, как говорят, редко оно и у вас, в России.

Через груды этих подпород и между глыбами породы пробираемся мы дальше. Начинаем приметно уставать: нам становится не только жарко, но даже душно (напрасно мы не оставили шубы в прихожей светлице). Духота, наполняющая на этот раз штольню, напомнила нам ту насыщенную влагою атмосферу бани, когда разрядился пар, в обилии сорвавшийся с каменки. В духоте этой (думалось и выговорилось нами) один из видов каторги и духота эта, между прочим, полагалась одною из мер наказания некогда работавшим здесь преступникам; духота эта едва выносима.

— Отворите дверь! — закричал один из проводников в ответ на замечание наше.

Крепкая струя морозного воздуха мгновенно и с неудержимою силою ворвалась в штольню и выхватила и унесла вперед в широкое отверстие шахты весь тот удушливый и гнилой воздух, который

до этой поры тяготил нас. Пока задняя входная дверь стояла открытою, мы с трудом удерживали на головах шапки: до того была сильна тяга воздуха, которая, имея для нас значение сквозного ветра, становилась уже излишнею и делалась опасною для здоровья. Пока мы подвигались дальше, в штольне опять накопилось достаточно теплоты, чтобы снова жаловаться на шубу.

В одном месте, влево от нас, из штольни потянулся глухой и тупой, без пролета, коридор, никуда не выводящий, и, в отличие от штольни, на горном языке известный под именем *лихтлога.* Свет фонаря осветил нам его начало и пропал в той густоте мрака, которую не разрежал ни разу луч солнечного света и с которою ведет по временам борьбу свет шестериковых сальных свеч в фонарях рабочих.

Войти в лихтлог мы не решились и не пошли туда по той простой причине, что лихтлог — тоже штольня, только поперечная, боковая, без выхода; боковая оттого, что увела ее туда серебряная жила, ударившаяся в бок от основной, давшей направление штольне. Без выхода лихтлог потому, что на тупом конце его оборвалась надежда на добычу: серебра стало меньше и дальнейшая работа не обещала возврата затраченных сил и капитала. Штольня повела нас дальше и прямо, один лихтлог остался в стороне направо, другой — налево.

Каменные груды с боков и над ними, не укрепленные искусством и сдерживаемые только силою взаимного тяготения и упора, — грозят опасностью. Вода, в избытке просачивающаяся между камнями, усиливает представление этой опасности для нас, непривычных, бессильных схватить все подробности дела и на тот раз понять всю систему предосторожностей. Мы радуемся за каждый шаг, который завоевываем при выходе из штольни и небессознательно вздрагиваем в боязни за себя, когда слышим предостережение провожатых спрятаться набок, где-нибудь около стенки, в первое попавшееся углубление в ней. Пример тому видим на всех наших спутниках, и, спрятавшись как умели и успели, мы вздрагиваем во второй раз от сильного удара, который глухим и тупым раскатом потряс всю штольню и исчез без отголоска.

— Что это такое?

— Забой делали, взрыв произведен.

Ощущаем пороховой запах, видим впереди себя новую вспышку и тотчас новый глухой стук взрыва, причем снова ощущаем

запах пороха. Идем к тому месту и видим или, лучше, слепо различаем на полу какие-то дыры, видим буравы в руках рабочих; нам объясняют:

— Бурав вертит на земле скважину и оттого скважине этой даем название буровой. Она заряжается порохом, порох рвет часть грунта, выхватывает те камни, которые мешают нам прокладывать желоб. Желоб этот посередине пола штольни надобен нам для стока воды.

Вода одолевает наши работы безгранично; оставить ее на собственный произвол и не выводить вон, значит поступиться всем рудником: вода зальет его, как залила уже все разработанные и покинутые или по воле начальства, или по тому, что они уже сами по себе перестали служить свою полезную службу.

— Желоба для стока воды мы закрываем досками, чтобы легче ходить и работать, желоб облегчит работы в забоях. Пол облегчит перевозку руды в тачках по штольне до шахты.

— Но где же каторга, где те работы, которые мы привыкли считать самыми тяжелыми, называть каторжными?

— Таких работ нет в рудниках. Здесь мы даем молоток и лом. Молотком рабочий обивает породу, освобождает ее от сопровождающих ненужных нам подпород; ломом вынимаем ту глыбу, которую нам нужно и которую указывает и объясняет знающий дело распорядитель работ. Глыба эта подается на лом, когда молот сумел хорошо распорядиться около нее. Вынутая из своего места, она кладется на носилки или в тачку и рабочий везет один или несет с товарищем к бадье, спущенной на дно широчайшей трубы, идущей от вершины горы до самой подошвы ее и называемой шахтою. Когда рабочий опростает свою ношу, то кричит наверх. Бадью верхние рабочие поднимают воротом на самый верх горы. Там опоражнивают бадью, складывая руду на носилки. Тачек рабочие не любят и предпочитают им носилки, всегда предполагающие товарища, когда и труд разделен и есть с кем перекинуться разговором. Добытую породу сносят верхние рабочие в указанное место в кучу, из которой она уже поступает для сортировки в так называемую рудораздельную светлицу. Выйдем через шахту наверх, я вам и это все покажу.

Вот до нас начинают добираться лучи дневного света, падающие сверху. Свет нашего фонаря блекнет, мы стоим под крутою деревянною лестницею. Мы взбираемся по этой отвесно поставленной лестнице с широко расставленными приступками, с обязательно неизбежными перилами. Лестница плотно приделана железными закрепами к каменной стене шахты. С трудом и надсаживая грудь, при помощи перил, поднимаемся мы наверх и с трудом переводим дыхание, очутившись на первой площадке. Площадка эта одним краем опять уходит в сырой и непроглядно мрачный лихтлог, идущий параллельно нижней штольне и составляющий в руднике как бы второй этаж его. Другой конец площадки обрывается в ту огромную яму, которая прорыта до самой подошвы горы и до дна той штольни, в которой мы были, и освещается такою же широкою, как нижняя яма, трубою, составляющею ее продолжение и выходящею на верхушку горы. Отдохнув, осиливаем вторую лестницу, такую же отвесную и крутую, такую же неподатливую, с такими же крепко захватанными перилами, снова устаем до изнеможения и с радостью узнаем на второй площадке, что конец мучениям близок. Узнаем здесь, что зерентуйская шахта, которая кажется нам теперь глубоким и широким колодцем, имеет глубины 24 сажени: первая лестница 11 сажен, вторая 13; что бревенчатый сарай над шахтою колодцем сооружен уже на крайней вершине горы, что вся зерентуйская штольня длиною в 160 сажен, но что делают новую, «Надежду», которая будет еще больше, еще длиннее, но в другом месте.

Отрадно было, по выходе из шахты, взглянуть на свет Божий. Весело было вдохнуть свежий, хотя на этот раз и крепко морозный воздух, и еще краше и веселее глядели теперь на нас со всех сторон окрестные валуны, эти застывшие морские волны. Еще сумрачнее, тяжелее и каторжнее показалась нам вся темная мгла подземелий — штолен, лихтлогов и тяжелый полумрак шахты.

Целыми десятками лет не одною тысячью преступных и непреступных рук рылись эти каторжные подземелья, и рудник, оцененный десятками тысяч рублей, неизмеримо высоко поднимается в цене от того множества слез и стонов, которые вызваны были среди сумрачных каменных стен на тяжелой опасной работе, и которые вверены были тем же бездушным стенам и тем же безгласным и

холодным камням. Через чистую и свежую ключевую воду проходит все то золото, которым покупается целый свет, и только в немногих местах к ключевой воде этой примешиваются и мутят и темнят эту воду горькие слезы несчастных. Все серебро, накипевшее в недрах земных, добытое в сибирских рудниках, прошло через горькие и также ключом бьющие слезы несчастных.

Сколько смертей, нежданных и негаданных, накидывалось там, в этих темных и сырых подземельях, на терпеливую, замечательно выносливую и крепкую натуру русского человека, хотя на этот раз и обездоленную крутым житейским переломом и крутым, большею частью непредвиденным несчастьем. Известен, между прочим, следующий трагический случай в руднике «Тайна», около Газимурского завода, в одном из наибольших за Байкалом. В одной из штолен этого рудника работали трое: два поляка и русский. Разложенный на дне шахты огонь, при запертых дверях, наполнил весь коридор убийственным серным газом. Дым, валивший из этого отделения, достиг и того, где эти трое кирками обивали оловянно-серебряную руду, соединенную с серою. Будучи не в состоянии дольше оставаться в атмосфере, насыщенной газами, поляки по лестнице поднялись на свежий воздух. Один из поляков, видя, что товарищ (русский) остался внизу и долго не выходит, крикнул ему сверху, чтобы поспешил выбираться, иначе непременно погибнет. Не получив ответа, поляк Рожанский сошел по лестнице вниз и едва успел ступить на дно штольни, как упал без чувств, отравленный серными газами. Товарищ его (Вржос) в беспокойстве и с боязнью выжидал земляка и, не дождавшись, поспешил спуститься в рудник и нашел обоих товарищей в беспамятстве лежащими на полу. Он схватил прежде всего земляка своего и понес по лестнице. Чувствуя приступы отравы, он собирал последние силы, дошел уже до половины лестницы, но здесь силы его оставили, он опрокинулся с крутизны навзничь и размозжил свою и товарища голову о камни. Через несколько дней потом лазившие на дно штольни нашли три трупа. Один из них обхватил рукою другого; оставалось одно: похоронить обоих в одном гробу.

Отпустят работника в полусвет шахты, проведут его в непроглядный мрак штольни, — везде одно: та же сосредоточенная, кропотливая, тяжелая работа, с которою и самая песня, плохо

прилаживаясь, недружно живет. Дружно живет один вымысел, сильно работает одно только воображение, досужее рисовать по готовым образцам все, что угодно. Ему ли оставлять свою работу и поступаться свободою в то время, когда все является на помощь и содействие: мрак кругом и только тусклый мерцающий полусвет около, да неожиданный блеск, яркая вспышка где-то вдалеке и в том подземелье, где всякий звук, всякий стук молотов возвращается назад усиленным, но не разбросанным тупым эхом, подчас извращенным, смотря по тем условиям, в коих находится в то время слух и воображение. Падение водяных струй и капель со стен и потолка, треск осколков пород и шлепанье глиняных глыб, шум забоев, грохот от взрывов, каждый легкий шорох — все это дает пищу одиноко поставленному и предоставленному самому себе воображению. Раздражается оно неизбежно и при этом с такою быстротою и силою, на которые способно суеверное воображение всякого русского рабочего, и будет преисполняться каждый из них суеверным страхом и неестественными представлениями, потому что всякое движение, всякий шаг в подземелье представляется в ином виде, отшибается неправильным и извращенным отголоском. Работы в забоях, мрак лихтлогов, полусвет шахты, при слабом освещении фонарем, удлиняющим и укорачивающим тени людей и окружающих предметов по прихотливому произволу, существование больших и крупных крыс, которые любят возиться, пищать, грызть, шуметь и больше всего поживляться около сальных огарков в фонарях и называются хозяином. Все это нам объясняет существование множества рассказов и о домовом — рудниковом хозяине, и о лешем — враге человека и здесь, в этих каторжных норах. С бесчисленным множеством рассказов о нежити — нечистой силе — выходят оттуда рудниковые рабочие, суеверие которых, вообще, сильнее здесь, чем где-либо в другом месте. Так, напр., на этом же Зерентуйском руднике, подле самой шахты две горы, из которых одну прозвали Шумихою, а другую Звонухою (за какие-то непонятные и хорошо не исследованные шум и звон, происходящие около них и в них при известных ветрах), ссыльные и вольные рабочие считают страшными. Они указывают на них, как на несомненное гнездилище вражьей нечистой силы. Ночные страхи здесь деятельнее, чем в других местах, потому что в рудниковых подземельях вечная ночь,

как питательное начало, и действительнее уже потому, что рабочие на целый день, со своею пищею, уходят сюда в густой мрак. Они кончают работу и выходят на вольный воздух, когда уже точно такой же мрак покрывает землю и облекает собою все живущее на ней некаторжною жизнью.

Каторжная жизнь рудникового рабочего и потому, что она бесплатная, обязательная, казенная и потому еще, что подвергается случайностям, недалека от несчастий и граничит с нечаянною, скоропостижною смертью.

«Дыркой бьет» — кладет насмерть и увечит рабочего при быстром нечаянном взрыве буровой скважины, сопровождаемом неизбежными камнями, осколки которых брызжут по сторонам с быстротою и силою. Эта опасность для неопытных рабочих на каждом шагу, потому что на каждом шагу буровые скважины и потому, что при спешных работах на каждый шаг не напасешь осторожности и оглядки, если и та и другая не обратились в привычку.

«Горой давит» рудникового рабочего та же оплошность, то же неуменье, а часто и невозможность спохватиться вовремя, — именно в то время, когда он *сделал подработку* своим молотком под породу и отломятся от нее плохо слипшиеся или хорошо отбитые груды известняка или глинистого сланца. «Горой» этою и увечит и давит до смерти.

— Хорош первый конец, когда изувечит, потому что начальство уменьшит уроки или совсем избавит от них, а лучше всего — последний конец. С ним все гладко, и душа твоя уже потом не томится. А худая смерть лучше каторжной жизни, — говорили рудниковые рабочие в то время, когда они не были освобождены от заводских работ и работали рядом с каторжными; разница была одна: у каторжных за содеенные преступления положены были сроки, у заводских служителей работа была бессрочная и то только потому, что они родились от таких же заводских служителей и подзаводских крестьян. Бывали случаи, что последние нарочно делали преступления, чтобы сделаться каторжными, а стало быть, попасть в срочные рабочие.

Говорили нам и другие, но другое:

— Мы, когда за молоток да за лопату, то и молитва у нас одна на уме: авось, мол, и над нашими воротами взойдет солнышко. Старики наши, помираючи, наказывали нам: «Кривых нет во святых, дети милые; мы каторжные, да и вы такие же, потому что наше отродье.

Не работать нельзя — работайте! Тяжела работа — не бегите! Известна пословица: “не зовут вола пиво пить, зовут вола воду возить”. Возите воду, потому что и ваши дети возить ее так же станут, с тем и живите!..».

Внуки дожились, однако, до того времени, когда сняли с них несправедливое обязательство, а самые рудники каторжными покинуты: работа последних направлена была на казенные золотые промыслы и казенные винокуренные, солеваренные и железоделательные заводы. Каторжные в Восточной Сибири жили при заводах: Александровском винокуренном и Иркутском солеваренном (в Иркутск, губ.), и в Забайкалье: при заводе железном Петровском, на приисках Верхнем, Среднем и Нижнем Карийских, на Шахтаминском и Казаковском, на заводах Лужакинском и Акатуевском. Все остальные работы на рудниках находились в руках вольнонаемных рабочих. Еще весьма не так давно они работали на три смены: две недели по 12-ти часов в день, третью неделю получали на отдых. За то, что имевшие достаток горные служителя брались на собственных лошадях возить руду с рудников в Кутомарский рудник, при котором плавильная печь, и в Александровский завод, где устроена лаборатория, они получали льготный час. Работавшие на рудниках ходили на работу иногда верст за десять, прихватив с собою хлеба и овощей, и ели всухомятку; на ночь опять плелись домой к горяченькому кирпичному карымскому чаю, ко щам и печке. За работу вознаграждались одинаковым с поселенцами содержанием (по 50 коп. в месяц, на золотых промыслах по 2 р., на Кудее — самом богатом и надежном, позднее открытом, плата в месяц доходила до 5 руб.). К этой плате, сверх того, казна прибавляла еще по два пуда муки. Разница у заводского служителя с каторжным состояла еще в том, что первый мог обрабатывать землю, иметь кое-какое хозяйство. Но вернемся к ссыльным и к тем каторжным, которые работают на Карийских золотых промыслах и на заводах, и посмотрим, как выносит всякую каторгу русский человек на своих могучих плечах и как примиряется со всею тяжестью ее, со всеми невзгодами и злополучием.

Новичок-арестант, приходящий на крайнюю каторжную работу — на Карийские золотые промыслы, — назначается обыкновенно «хвосты убирать». Хвостами называются те пустые, ненужные пески, которые остаются на разрезе после промывки золота и от которых золото уже отделено: вода, унеся пески, как вещество легчайшее, и не сладив с крупинками золота — веществом тяжелейшим, оставила их осевшими на дно промывного желоба. Уборка хвостов или пустых песков — работа каторжная и потому, что требует усиленных уроков и некоторой поспешности, чтобы принять с дороги старую ненужную дрянь и дать место драгоценности, — и потому хвостовая работа тяжела, главным образом, тем, что не заключает в себе и не дает того, чем красна всякая работа. Она мало питает сознание, что в труде этом заключаются те же животворные, осязательные и наглядные результаты, как и во всяком другом труде рук существа разумного и мыслящего. Этот труд на хвостах как будто даже бесполезно истрачивает физические силы, и без того значительно истощенные и, во всяком случае, нисколько не укрепляет духа, не поддерживает жизни его. Носить целые дни с раннего утра до позднего вечера пустые пески, носить их по заказу, на урок, в виде наказания за неисполнение полной задачи и без всякого существенного и нравственного вознаграждения на случай честного исполнения долга и обязанности — дело равносильное и равноправное древнему монастырскому наказанию толочь в ступе воду. Сверх того, сознание, что вся эта работа направлена ни ближе, ни дальше, как к бесцельному сооружению на крутых речных берегах новых берегов, целых песчаных гор, так называемых *отвалов*, сознание это беспредельно мучит и терзает несчастных арестантов, твердо и сознательно убеждаемых в том, что исполняют они те самые работы, которые по всем правам принадлежат волам, лошадям, животным.

Во всяком случае, в уборке хвостов промысловые рабочие полагают настоящую, воловью, тяжелую каторгу. Замечено там, что новички, поступившие на работу для уборки хвостов, — первый день выдерживают ее, с большим трудом исполняя полный урок; на второй день — за ними всегда остается недоимка и право наказания за неуспех дела. Но если непредусмотрительный, малоопытный или мстительный и горячий пристав, в наказание за упущение, ре-

шится назначить новичка на хвосты в третий раз, то на четвертый день он смело может вычеркивать всех тех арестантов из промысловых списков. К таким заключениям пришли сами пристава после долгих наблюдений и многочисленных опытов Наблюдения эти и опыты слагают одно заключение, дают один общий вывод, что уборка хвостов на золотых промыслах — самое сильное и действительное наказание для провинившихся и, повторенное один раз, оно уже имеет характер истинной каторги.

Солеваренная каторга была вся тяжела. Тяжела была больше всего для организма, которому представлялись многотрудные задачи, особенно в сибирских заводах, построенных на старый образец: черно и грязно, старо и грубо. Прежде, когда гнали человеческою силою рассол из соляных источников по желобам и поднимали бадьями в бунфы посредством насосов — солеваренная каторга была настоящая, тяжелее и мрачнее всех. Ссыльные качали насосы на высоких каланчах иногда при 30° мороза, одетые в казенную рвань. Насосы были первобытной формы, как на простых барках, однако требовали, при каждом движении, силы и поклона всем телом почти до земли. Рассол должен был пробегать по желобам беспрерывно; платье на рабочих сначала мокло от брызг, потом замерзало. Рабочий, отбыв свою смену, все стоя на ногах, действительно побывал на каторге. Тяжелая качалка так утомляла троих людей, обязанных уроком свыше ста раскачиваний, что они часто падали на месте в беспамятстве от крайнего истощения сил. Журавцы были заменены ручными насосами в 1836 г. К насосам для большего облегчения работы приделаны маятники, — стало легче: балансир маятника стали поталкивать от себя уже меньшее количество рук с наименьшими усилиями; люди могли это делать, сидя в особо прилаженных крытых беседках. Затем постарались (1838 г.) к насосам приспособить лошадиную силу, и две лошади стали делать то, что прежде производили двенадцать человек. Но и после таких приспособлений для каторжных осталось довольно места, чтобы видеть ясно, что сил их не щадят и их тело почитают не выше лесной гнилушки. Жар, который скопляется в том сарае, где варится соль в громадном чрене или сковороде, становится, во время горячих и спешных работ, до того тяжелым и невыносимым, что арестанты принуждены скидывать с себя все платье и работать

голыми до обильного пота. Но и при этих условиях духота и жар до того неодолимы, что каждый рабочий обязан выбегать из варницы в бревенчатую холодную пристройку, плохо мшоную и без печки, где, таким образом, ожидает мокрое и потное тело рабочего свежий, морозный, уличной температуры воздух. Многие варницы от неправильного устройства пролетов накопляли такой дым, что рабочие, для направления огня, не могли и по земле ползать. В ветреное время они задыхались, на лучший конец добивались безвременного страдания и боли глаз, до потери аппетита. Малейший порез какого-нибудь члена, при разъедающих соляных парах варницы, производил опасные жгучие раны. Присоединяя к ним неизбежную простуду, при быстрой и крайней перемене температур, мы встречаем тот положительный факт, что редкий рабочий выдерживал больше двух месяцев: многие уходили в госпиталь, всегда наполненный больными ревматизмом, тифом, потерею аппетита. Но еще большее число рабочих, не успевших заболеть или поправившихся от болезни, уходило в лес и в бега при первом благоприятном случае, на какие особенно был щедр и богат иркутский солеваренный завод или так называемое иркутское Усолье. На нем и по другим статьям каторжной жизни — примечательная неустойка. Казенный срок, назначенный для арестантской одежды, был крайне несостоятелен: таская сырую соль в важню (весовую. — *Прим. ред.)* на плечах, арестанты скоро изнашивали платье, так что за 80 к. сер., полагаемых в месяц, и признаков нет возможности обезопасить себя даже заплатами на прогнившие дыры. Без воровства в таких случаях не проживешь и без пособия чужой и преимущественно казенной собственности (какова на этот раз продажная соль) никак уже не обойдешься. В конце концов, все-таки нет возможности видеть пущей нищеты и рвани, как на каторжных рабочих заводов.

На винокуренных заводах степень каторжной тяжести видоизменялась, значение каторги своеобразнее. Там круглый год тяжело было жиганам, обязанным подкладывать дрова в печь и, стало быть, целые сутки стоять у огня в тесном подвале, среди нестерпимой духоты, около удушливого печного жара. Здесь значение каторги сходствовало с тем, которое давала соляная варница и получала разительное подобие, когда припомним то обстоятель-

ство, что каторжный рабочий — не вольнонаемный. По отношению к нему нет уже никаких уступок, ни вынужденных, ни естественных: возвышенной платы он не требовал, от тяжелой работы не отказывался и не посмел заявлять открыто и гласно все те права, о которых всегда готов напомнить свободный человек, вольный рабочий, старожилый сибиряк-крестьянин. Зимою, во время холодов, заводская винокуренная каторга всею своею тяжестью налегала на *заторщиков*, обязанных чистить квашни, промывать в них прилипшее к стенкам этого огромного ящика тесто, когда намоченные руки знобило едким, невыносимым ознобом, когда рабочий, от пребывания в пару, постепенно охлаждаемом, успевал даже *закуржаветь*, т. е. покрыться инеем до подобия пушистой птицы. Последствия известны врачам и даже дознаны на практике: это постоянная дрожь во всем теле, отсутствие аппетита и лихорадка, которую сначала больные презирают, а оттого вгоняют ее в тело глубоко и близят последнее к гробовой доске. Нередко последняя накрывала рабочих, опущенных в лари, где бродила брага, прежде чем выходил оттуда весь углеродный газ, накопившийся во время брожения браги; рабочие эти там задыхались и их на другой день выносили оттуда уже мертвыми и холодными трупами.

— В теплую погоду, — говорят нам, — заторщикам лучше, но зато тяжело бывает *ледоколам и ледорезам* (первые мельчат льдины, для охлаждения чанов с дрожжами и суслом, на реке, вторые — на заводе). Постоянная сырость, всегдашняя мокрота, гноя платье и давая в результате почти те же болезненные припадки, портила и ослабляла самый крепкий организм. В историческом очерке каторжных заведений читатель увидит и другие тяжести каторжного сверла во всех подробностях (см. III часть).

Винокуренные заводы также были богаты побегами и не меньше всех других родов и видов каторги. Вся же каторга, мрачная по тому значению и смыслу, что она подневольная и трудная, потому что не сулит никаких вознаграждений, становится невыносимою, когда рабочий, придя не домой, а в казенную казарму, видит только одну наготу и босоту, видит беспредельное количество таких же точно дней и ночей впереди, без просвета и радостей. Рваные казенные тряпки от черных и сырых, трудных и тяжелых работ ветшают еще скорее, чем от надлежащего употребления, вопреки

назначениям и срокам урочных положений. Починяя их насколько хватит терпения, уменья и сил, каторжный рабочий знает одно, что новое платье обяжет его новыми неоплатными казенными долгами, которые потянет заводское и промысловое начальство из ничтожных заработанных денег и, во всяком случае, возьмет свое из артельного капитала. В силу этого артельный капитал от таких вычетов всегда находится в том положении, что представляет собою полное ничтожество. Между тем, ни это платье, неспособное даже прикрывать наготу, ни ремесло или мастерство, приобретенные на родине и не приложимые здесь за казенными работами, рабочего не спасают и ему не помогают.

— Пощупаю ноги, посоветуюсь с бывалыми, улучу минуту да и прощай каторга! Может быть навсегда, но, во всяком случае, на долгое время.

Бегут арестанты с каторги не десятками, а сотнями.

Прислушавшись к рассказам арестантов, присмотревшись в заводских архивах к официальным делам и бумагам, мы приходим к следующим общим и частным чертам всех вообще побегов из тюрем и с каторги. При этом считаем не лишним заметить, что, рассказывая о своих похождениях, бродяги обыкновенно старались обойти молчанием начальную и основную причину несчастья, приведшего их в Сибирь, уверяя обыкновенно, что они сосланы за бродяжничество, хотя бы и числились в ссыльно-каторжных. В самом тоне нас поражало всегда изумительное хладнокровие, не допускавшее увлечений; мучениям своим на походе не придают, по- видимому, никакой цены и значения.

Из тюрем бегут очень редко (сравнительно) и стараются убежать только такие арестанты, которые посажены на много лет и притом в одинокую, тесную и душную темницу. «До чего доходило их отчаяние, стремление добиться свободы, выйти на вольный воздух! — замечает один из наблюдавших за этим делом и продолжает: — Нет конца россказням об этом: кто перепилил толстую железную решетку перочинным ножом и спустился на изорванной в полосы простыне; кто подрылся под пол, выбрасывая землю щепотками в оконцо, чтобы скрыть свою работу; кто ушел переодетым; кто в неволе открыл на досуге назначение египетских пирамид; кто составил себе чернила из ржавчины от железных за-

поров и из крепкого чая и на измятом лоскутке бумажки, в которой завернут был этот чай, написал трагедию в 5-ти действиях. Опять иной, услыхав отдаленный стук в тюрьме своей, заключил из этого, что у него есть соседи, отделенные от него толстыми каменными стенами, и, полагая, что один из близких ему товарищей, может быть, содержится тут же, вздумал подать ему о себе весть счетными ударами половой щетки в каменный пол. Через несколько времени он вызвал ответ. Товарищи поняли друг друга и разговаривали таким образом, означая каждую букву таким числом ударов, сколько ей принадлежит счетом по занимаемому ею месту. Но вскоре и третий, незваный собеседник, вмешался в этот разговор и испортил все дело... Словом — конца нет этим крайне занимательным похождениям!» — замечает В. И. Даль (Казак Луганский) в одном из своих рассказов.

Чернила из ржавчины с чаем делали те из государственных преступников, которые в 1825 году содержались в двух крепостях: Петропавловской и Шлиссельбургской. Сидевшие в первой измыслили писать к родным историю впечатлений недели, двух и даже месяца и приловчились писать это в такой сжатой форме и таким мелко-бисерным почерком, что на это потребовалось особое искусство и долгая подготовка.

Все впечатления надо было писать и можно было уписать единственно только на тех маленьких лоскутках бумаги, в которые завертывались содовые порошки, выписываемые доктором для освежения (иной бумаги в казематы не допускали). Сидевшие во второй крепости (Шлиссельбургской) получали, с дозволения начальства, апельсины, а в них, вместо сладкой мякоти, тщательно завернутые кучки писем, свежей и чистой бумаги, бумажные деньги, чернила, перья и проч. В Петропавловской стуком в пол щеткою один заключенный узнал, что в соседях у него находится автор «Горе от ума», сам, в свою очередь, живущий в ближнем соседстве (только за дощатою перегородкою) с евреем, содержателем почты между Северным и Южным тайными обществами.

Переодетым уходил из иркутского острога арестант в франтовском костюме для того, чтобы нашутить в Благородном собрании. Он побыл там, вынул из кармана прокурора сто рублей, столько же у председателя губернского правления, у начальника края часы, но

в дверях, уходя, столкнулся с другим, угрожавшим выдать его, если не поделится добычею. Поделившись чем успел, арестант направился на улицу, а тот, который остался в собрании, был обыскан, когда спохватились обворованные, и указал на виновника.

Полицейские бросились в острог и в тот секретный номер, из которого ловкий вор ушел в собрание и в котором вместо себя он положил охотника из арестантов. Видя номер занятым и поверив обманному ответу допрошенного, полиция в тюремных воротах встретила настоящего жильца секретного каземата, подъехавшего на извозчике. Арестант оттого не умел схоронить концов, что из собрания заехал в кабак кутнуть, обменяв опасные вещи на безопасные деньги. Столкнувшись с полициею в воротах, он поспешил выбрасывать вещи и деньги.

О применении египетских пирамид мы уже раньше рассказали, о всех же других приемах, приспособляемых к побегам из тюрем, в сибирских летописях имеются следующие несомненные данные.

Как всем известно и как мы сказали сейчас, в сибирских тюрьмах существует одиночное заключение, которое понимается там обыкновенно, как временная мера наказания и только для закоренелых и неисправимых злодеев. Заточение это, к несчастью, до сих пор сопровождалось приковываньем на цепь.

Один из таких «цепных» лежал с цепью в госпитале большого Нерчинского завода, когда еще содержались при этом заводе ссыльные. «При осмотре утром одного дня» на койке больного нашли одну цепь и замок; «внутри замка, за пружину, зацеплена была петля, ссученная из холщовых ниток, надерганных из простыни». Беглый, как видно по делу, не найден, но сторожа-солдаты получили каждый по 50 ударов палками.

В томском остроге содержались два арестанта в секретных казематах. Под окном, у наружной стены, по обыкновению, находился часовой. Однажды один из этих часовых заметил, что над головою его пролетело что-то тяжелое и белое. Едва он успел опомниться, как опять пролетело что-то другое, но также белое и тяжелое. Это что-то на этот раз показалось ему человеком. Часовой смекнул и выстрелил, но сделал это второпях, наугад, однако, произвел шум, вызвал тревогу. Прибежал караул, сбежались люди, охотники до всяких скандалов, сделали облаву, обыскали все окрестные места.

Подле тюремной стены нашли голого человека с переломленною ногою. Голый человек оказался одним из секретных арестантов: тело его было намазано салом, чтобы ловчее могло оно выскользнуть из рук преследователей. То же сделал, по его словам, и товарищ его; и оба они вместе изрезали казенное платье на ленты, из суконных лент скрутили веревки, веревки приладили к решетке, а решетка была подпилена. Спускаясь вниз, арестанты в это время предварительно раскачивались для того, чтобы усиленный размах дал им возможность перелететь через стену, которая приходилась вблизи каземата. Пойманному не посчастливилось прыжком на землю по ту сторону стены, он получил опасный вывих; товарищ его успел-таки бежать, но вскоре был пойман, узнан и приведен на допрос. Спрашивали:

— Где ты был в то время, когда сделана облава и вся окольность острога оцеплена? — дальше бежать было нельзя и некуда.

Отвечал:

— Я сидел все время в колодце. Идут солдаты около, я окунусь в воду, голову спрячу; они отойдут, я голову высуну и надышусь. Одежду бросил мне с возу проезжий крестьянин.

Вопроса о том, каким образом была перепилена решетка, и быть не могло: один из бежавших арестантов был портной и, по занятию своему и с дозволения начальства, имел приличные своему ремеслу инструменты. При осмотре покинутого им наперстка нашли тут пилу, сделанную из часовой пружины и тщательно мастерски сложенную и уложенную.

В омском остроге одна арестантка решилась бежать из секретного каземата, улучив ту минуту, когда под тюремным окном ее проходила корова. Баба рассчитала прыжок свой так ловко, что угодила животному прямо на спину. Испуганное животное понесло беглую от сторожей и преследователей, но не унесло далеко.

В омском же остроге мы видели арестанта — сухого как жимолость, цепкого и ловкого как обезьяна, который сумел пролезть из ретирадного места в узкую щель, оставленную между соседними стенами и не заделанную в том предположении, что щель эта не представляла опасности. Водосточная труба помогла ему из второго этажа спуститься на двор, со двора подняться на крышку стены,

окружающей все острожные строения, и взобраться на нее по водосточной трубе сарая. Всеми своими маневрами арестант привел следователей и свидетелей в изумление и возбудил в первых недоверие. Чтобы убедить их в истине хитросплетенных показаний, бродяга не затруднился повторить эту операцию во второй раз и, на глазах чиновников, проделал свой фокус с прежним блеском, со всею ловкостью акробата, опытного и бывалого. Между тем, этот беглый был не старше 15 лет от роду и принадлежал по роду жизни и сословию к местным мещанам.

Все эти случаи указывают на смелость в сочинении замыслов, иногда доходящую даже до дерзости. В одиночку бегут весьма редко. Побеги из тюрем задумываются обыкновенно несколькими арестантами, приводятся в исполнение маленькою артелью, которая, так же как и всякая другая артель, атаманом крепка, т. е. предполагает зачинщика и руководителя. В большей части случаев, это — бывалый и опытный, т. е. бродяга. Успех побега обыкновенно обеспечивают сторонние пособники, участники замысла или по подкупу, или потворству, нередко по глупости и тупости сторожей, между которыми особенным ротозейством отличаются казаки из бурят.

Мудрено найти бежавшего арестанта, знающего все ходы и выходы, но не мудрено различить во всей этой сумятице тюремного дела главных виновников, подкупных и привычных, глуповатых и тертых, умелых и на путаные показания, готовых и на наказание розгами, тем более что редкий из этих сторожей сам не бит уже шпицрутенами где-нибудь в России. Тюремная история также обильно наполняется побегами, и мы надеемся впоследствии доказать и то, что если имеются в России такие местности и города, где правительство признало излишним содержать тюрьмы (как, напр., в Березове Тобольской губернии), но зато везде, где постоянно содержатся в тюрьмах арестанты — из тюрем этих бегут. Скажем больше: можно смело биться об заклад, что нет в России ни одной тюрьмы, из которой не сделано бы было побегов.

Как ни крепка та или другая тюрьма, как ни слабо значение всех сибирских трактовых пересыльных тюрем, как мест временного за-

ключения (на небольшое число подсудимых и на большое пересыльных арестантов), побеги из этих тюрем относительно реже. Побеги отсюда не представляют такого интереса и не встречают такой трудности, какими живут и дышат настоящие каторжные нерчинские тюрьмы.

С каторги бегут несравненно в большем числе, хотя отчасти при тех же условиях, т. е. не столько из самых казематов, сколько с работ, не столько в одиночку, сколько в товариществе. Здесь уже не выжидание первого благоприятного, подвернувшегося под руку случая, а систематическое знание, направленное давнишнею подготовкою и уменьем. На этот раз уже и причины другие.

Из пересыльной тюрьмы бежит арестант, как малый ребенок, куда — и сам не всегда хорошо знает. Бежит оттого, что в заточении жить не хорошо, не нравится ему, авось в лесу будет лучше, авось оттуда и удастся куда-нибудь выбраться. Он бы и не бежал, если бы не сманивали товарищи, не улыбались поощрительно на побег сторожа и приставники. Говорят, что за тюрьмою все лучше. За беглым не гоняются, а еще хлебом кормят, да и не Бог весть что сделают, когда из бегов поймают. Можно тогда сказаться непомнящим, поступить в это хваленое и достопочтенное звание, которое у нас имеет такое широкое приспособление. Беглого из пересыльной тюрьмы скоро ловят, его слабее наказывают; самое большое преступление его в бегах — мелкое воровство, пьянство. Он нередко сам является на суд и кается. Один такой и в том же Тобольске, весною 1863 года, не пришел в острог с работы с двумя другими. Поздно вечером он стучался в острожные ворота и был впущен на общий смех арестантам и для показания на допросе о том, что двое товарищей его бежали, что сам он напился вместе с ними, но покрепче их, пьяным выспался в кустах, утром опохмелился, денек погулял, а теперь вот и пришел домой, не зная, куда идти и чего искать ему в бегах. Других ловят и уличают: в 1851 г. в тобольской тюремной книге записано: «Расходчик по экономической части Петр Андреев 9 декабря, в 11 часов пополуночи, идя в острог, увидел впереди идущего арестанта без конвоя, но что нес, не приметно. Войдя во двор, спросил: куда он ходил? Тот сознался, что только сходил в питейный дом и выпил вина У4 штофа с позволения часового, стоящего у ворот, который его, как вперед, так и обратно,

пропустил». Арестант был татарин. Часовой показывал, что к будке его приступило много арестантов, и он не мог усмотреть, когда прошел один из них, но «почему он допустил большое скопище арестантов к посту своему, об этом доказать не мог». Арестанты такой категории даже не отвыкли еще путать других, не выучились скрывать своих пристаней; они еще оговаривают своих благодетелей, официально называемых пристанодержателями. Они еще не умеют прятаться так, чтобы удивлять находчивостью судебных следователей и тюремных дозорщиков.

Не таков беглый с каторги: тертый калач, мятые бока, *варнак* — по-сибирски, *чалдон* — по-каторжному. У этого другая цель и другая сноровка, иные пути, которые намечены верно и ладно и твердо изучены. Он на них не заблудится, его не спутает никакой законник, не запутают никакие трущобы, ни географические, ни юридические. Варнак берется за дело побега, как за важное и политическое; он, как артист, смело постоит за свое искусство: и в лесу он, как рыба в воде, а в ремесле своем, как виртуоз и мастер. Беглеца тюремного поищут два-три человека только для виду, ради службы и начальства, да и само начальство на таких невинных гуляк одною рукою машет, а другою вычеркивает их имена из списков содержавшихся и помечает в числе бежавших. Но бежит варнак, беглец с каторги, за ним для поимки сбивается и посылается целая облава конных и пеших, отправляются вперед и назад, во все стороны, кучи повесток и извещений. Бежал из карийской тюрьмы Иван Петрович Дубровин, и через час об этом знали все обитатели всех четырех промысловых селений; на всех, без изъятия, напал панический страх: тревогу били, по ночам не спали, все словно ждали какого-то дива и чуда. На четвертый день Дубровин не замедлил выказаться: он убил в одной из крайних изб одного из промысловых селений женщину с двумя малютками ни за что ни про что, из одного желания потешить свою злодейскую душу. Приходил он втроем и далеко не ушел от каторги, а грабил потом с шайкою своею всех живущих, проезжавших и проходивших по реке Шилке. Когда поймали Дубровина, то мало того, что приковали на цепь, ему надели еще на руки *лису*[41], чтобы и подниматься с места ему

[41] *Лиса* — железная полоса в полтора или два пуда весом.

было трудно. А таких, как Дубровин, на истинной каторге немало. Но о них потом, о других — теперь.

За Байкалом живет в народе предание, что Петровский завод преимущественно богат побегами, что там у тюремных сидельцев ведется особенный обычай бегать из тюрьмы *на уру,* не в одиночку, а целым огулом. Насколько справедлив первый слух, доказывают нам архивные бумаги, которые зачастую говорят одно и то же, что из «всех здешних мест гораздо более чинятся побеги в летнее время из Петровского завода». Насколько справедлив второй слух, архивные дела не дают для того определенных давных, но народные рассказы настойчиво уверяют в том, что побеги «на уру» производились оттуда довольно часто. Арестанты при этом, чтобы устранить наблюдение и привести в смятение конвойных, кричат всею казармою «ура», как на сражении: надо цепь пробить, а там уже легко станет, там либо пан, либо пал. Решившиеся бежать, по знаку того, который подпилил рететку и мигнул соузникам, хватаются за собственные рубашки, рвут их на клочки, обматывают этими тряпками кандалы (чтобы не стучали) и бегут через окно, предполагая, что товарищи их, решившиеся остаться, криками «ура» отвлекут на себя внимание стражи. Сами беглецы в то же время производят тот же крик вслед за другими. Подобные попытки — прибавляют народные рассказы — всегда венчались полным успехом, и конвойные не могли хватать беглецов также по тому обстоятельству, что голые арестанты успевали предварительно намазывать все тело свое салом или маслом. Архив Петровского завода, при тщательном просмотре, не подтвердил народных слухов, которые обыкновенно складываются в предание и в цельный рассказ из множества частных случаев, но, вероятно, слухи эти имеют основание в былом, не занесенном в официальную бумагу из личных расчетов и соображений начальства (чего не бывает на каторге!). Тем не менее архивные дела Дучарского завода (теперь упраздненного) представляют один подобный случай, доказывающий, что побеги огулом, во многолюдстве беглецов — не миф, который, во всяком случае, мог служить поводом и лечь в основание народной легенды. Дело случилось 8 июня 1815 года. Из тюрьмы сделан был капитальный и серьезный побег: из *двадцати* заключенных бежало *четырнадцать* человек. Событие это обставлялось такими подробностями.

При дучарской тюрьме, на всякие потребы и нужды, находилось восемь человек караульных солдат. Перед тем как посадить всех этих арестантов на цепь, четверо солдат отворили решетчатую дверь, а за нею и тюремную, ведущую в каземат. Не успели солдаты опомниться, как арестанты накинулись на них всею массою. Сначала захватили четырех передних, а вслед затем и остальных четырех, задних. У тех и других цепные арестанты отняли тесаки, вырвали штыки из ружей, связали всех крепкими веревками и заперли за решетку. Четырех передних, сверх того, избили поленьями; унтер-офицера связанным бросили в угол казармы. Четырнадцать арестантов, выйдя из каземата, взломали в сенях чулан, взяли там ружья, патроны и порох. По мере того как проходившие обходом солдаты являлись в тюрьму, их также вязали и сажали к прочим за решетку. Сигналы подавал и приказания кричал один из них. Затем, когда все караульные были перевязаны, все четырнадцать скрылись. Пришли урочные часы смены. К дверям тюрьмы явился свежий часовой, ничего не смекавший, ничего не подозревавший. Расположившись у дверей, часовой слышит разговоры, прислушивается: голоса выходят глухие, из подполья. Часовой спрашивает:

— Кто в подполье?

— Унтер-офицер Плотников.

С трудом открывают наглухо заколоченную западню подполья, выпускают оттуда 13 человек солдат, а затем бьют тревогу в заводский колокол. На набат сбегается народ; сбивают облаву, делают окольный обыск, но безуспешно. В Уровское правление скачет нарочный оповестить о принятии должной осторожности и с приказанием «немедленно отправить людей, сколько можно для поисков». Правление снаряжает также облаву: 12 человек вооруженных крестьян идут на охоту и, соединившись с заводскою командою, преследуют беглых варнаков к пади (горной долине), называемой Широкою, устьем своим выходящей к реке Урову. В пади этой сделались приметны следы: измятая трава, пепел от свежих теплин, на следах видят и самих беглецов. Завязывается перестрелка: у одного крестьянина, на первых выстрелах, подстрелена лошадь и убит наповал один беглый. Тем и кончилась вся эта встреча, не имевшая, по неудобству местности, большого успеха. Между тем наступила

ночь: ссыльные рассыпались по непроходимым чащам. На другой день искали их опять, но не нашли, а только через три дня поручик Рик напал на следы. Шесть человек беглых скрыты были в сене уровского зимовья крестьянином, взявшим с беглых за печеный хлеб 10 рублей. У деревни Подозерной, в колке[42], поручик Рик завязал с беглецами перепалку; четырех из них положил на месте, троих захватил живыми. Остальных на этот раз найти не могли и уже через пять дней поймали их на воровстве, на мельнице. Когда беглые вырвались и побежали, снарядили за ними погоню и в пади Каменке опять завязали с ними перестрелку. Еще двое беглых были убиты, третий скрылся в густой чаще леса и его ни убить, ни схватить не могли...

Таковы подробности едва ли не самого большого побега изо всех нерчинских тюрем. На нем как будто оборвались, запнувшись, все другие попытки подобного рода. Отчаяние каторги искало других путей, заключенные производят другие вылазки, скромные и подспудные.

Задумав побег, арестанты нерчинских тюрем прежде всего хлопочут о запасе, предварительно смотрят на конец, не заботясь особенно о начале. Оно в свое время объявится само и по большей части удачно обставленным готовыми средствами, редко нежданными и случайными. Заручаясь новою, свежею, не рваною одеждою, арестанты в то же время затягиваются в неоплатные казенные долги, которые в круговом расчете делают через то побег неизбежным и единственным средством очистить свою чалдонскую совесть и покончить расчеты с тяжелою каторгою. Обыкновенно эта хлопотливая заботливость о запасе теплой и новой одежды принимается союзниками за сигнал на молчок.

Вторым ясным признаком твердо выясненного решения признается то, когда задумавший побег начинает заводить особенную приязнь с теми товарищами, которые заведуют съестными припасами, и с теми каторжными бабами, которые заведуют кухнею: близкие интимные отношения, наскоро слаживаемые и на время

---

[42] Колок — сырое место в пади с густою растительностью, среди слабой растительности в окрестностях.

устанавливаемые при помощи водки, считаются в особых случаях достаточно обеспечивающими средствами. Сношения эти в тюрьмах, где рука руку моет и оттого обе бывают чисты не трудны и перед законами дружбы неизменно святы и состоятельны. Дело сласлаживается очень скоро, без задержки даже и на таком тормозе, который, по смыслу казенных учреждений, поставляется в лице арестантского старосты. Староста — свой брат, сам не раз уже вкусивший сладость побега и не раз уже отведавший бродяжьего брашна. Он это дело понимает и делу этому никогда не противник; таких уже людей и выбирают арестанты в это звание. К тому же опытный беглец сумеет сам ловко повести дело и никого не затянет в тину допросов и следствий, сам все примет на себя и концы запрячет. Имеющий намерение бежать готов сократить свой паек, ест очень мало, порции свои копит, не берет из кухни ни хлеба, ни мяса. Приспеет час, он выпросит то и другое гуртом: хлеба ковригу фунтов в 25, мяса полоть со свою голову; возьмет все это и спрячет. Спрячет он добро свое в хоронушку, без которой ни одна тюрьма не живет, да и жить не может. Хоронушка затем и потайное место, чтобы ни один дозорщик не осквернил ее своим нелегким черным глазом. Хоронушек этих в каторжных (да и во всяких) тюрьмах больше, чем в окольных лесах лисьих и собольих нор. Деревянная тюрьма, каковыми бывают все собственно каторжные тюрьмы, удобнее для такого рода тайников тюрьмы каменной.

Хоронушки эти обыкновенно устраиваются в подполье, по большей части около печей или за печками, под половицами, с ловко прилаженными и замаскированными покрышками. В каменных острогах (каковы губернские и уездные пересыльные) хоронушки делаются в самых стенах. В томском, напр., в одном месте, около нар, стоило только вынуть кирпич, чтобы увидеть огромную пустоту, некогда (при постройке), вместо щебенки и кирпичей, наполненную щепами. Щепы от времени и сырости сгнили и образовали огромную хоронушку, в которую могла свободно поместиться вся громадная острожная собственность. На этот раз в ней сберегались инструменты всякого рода, посуда с водкою в стеклянных сосудах всех общепринятых величин, ножи, карты, табак и проч. Тайник этот закрывался ловко прилаженною доскою, по-

крашенною тою же краскою, какая желтела на стенах. В тобольском остроге у одного из прикованных на цепь нашли такой же тайник в стене напротив печи, и в нем три ножа, два подпилка, зубило, шило, 5 оловянных и медных печатей и кипы всякого рода бумаги. В тюменской тюрьме, в кухне под квашнею, нашли несколько вынутых кирпичей для пустоты, в которой пряталась водка, и так далее — до бесконечности...

Заручаясь, таким образом, съестным на первые, самые трудные дни побега, арестанты скопляют в неопределенные сроки и деньги. Для таковых хоронушки устраиваются около себя и деньги зашиваются в вороте рубашки, в вороте казенной куртки, где-нибудь в полушубке, под стельками, в подошве сапога и в выдолбленных каблуках его. Тогда весь секрет состоит только в том, чтобы уберечь накопленное от воровского глаза, ибо, как известно, тюрьма собственности не признает и ворует на обе руки и всякими способами. Чтобы вернее увеличить копилку новым приращением, арестант ложится в госпиталь, не берет денег на пищу, наполняет ее в заработанных грошах за предыдущие месяцы на текущие, и, во всяком случае, на больничной койке он в лучших условиях, чем был на казарменных нарах, где, как известно, раскладывают карточный майдан, соблазняют вином и иными сластями.

Так или иначе, бывалый арестант без денег и провизии с каторжного места не снимается. Самый опытный и не один раз бывалый уходит из тюрьмы один: все остальные, и в большей части случаев, подговаривают товарищей-спутников, а новичок нуждается в вожаке: «без запевалы-де и песня не поется». Для побега выбирают всегда теплую пору и бегут обыкновенно весною, когда закукует кукушка (отсюда и выражения: «идти на вести к Кукушкину генералу» или «кукушку слушать, как поет»). Бегут во множестве летом, реже к осени и холодному времени, и только отчаяние и дерзкая решимость уводят арестантов холодами на зимние палящие морозы[43]. Во всяком

[43] Вот что, между прочим, рассказывает в подтверждение нашего сведения хроника Петровского завода о числе бежавших, средним счетом по месяцам: в январе из ссыльно-каторжных 2, в феврале 10, в марте 4, в апреле 65, в мае 35, в июне 32, в июле 21, в августе 10, в сентябре 28, в октябре 11, в ноябре 12 в декабре ни одного. Числовые данные побегов по другим тюрьмам идут почти в той

случае, весеннее время и летняя пора всего больше красны на каторге побегами даже и из таких тюрем, оттуда бегут всего меньше, каковы Карийские.

Самый побег для каторжных, когда готовы все путевые запасы, немудрен.

— Была бы охота, — говорят сами бродяги, — а на что — так надо спрашивать — человеку и голова в плечи ввинчивается?

— А на что и солдаты такие к нам приставлены, что либо плут хуже нашего, либо такой, что только сваи им вбивать? Слушайте!

Года два тому назад (т. е. в 1859 году) на одном из карийских промыслов послано было несколько человек арестантов на работу. При них, по уставу и обычаю, находились конвойные: один из штрафных солдат, назначенных на Амур, но перевернутых в забайкальские казаки, а другой — молодой парень из тех старожилых заводских крестьян, которых в 40-х годах переименовали в казаки по имени только, но не на самом деле.

Пришли арестанты с конвойными на работу. Солдат из штрафных говорит товарищу, конвойному из казаков:

— Поди-ко, земляк, зачерпни водицы, что-то от щей нутро жжет, а я посмотрю за арестантами. Да шинель-то сними, а не то на офицера наткнешься: обругает и изобьет; в ответе будем оба.

Тот так и сделал: сходил на Кару за водой, вернулся назад. Сидит на старом месте один арестант.

— А другие где?

— Да гулять ушли, тебя не спросились.

— Как так?

— Да этак! И я бы с ними ушел, крепко звали, да отдумал. Им-то было вдоль по каторге (т. е. без сроку), а мне вот года два до конца осталось, не стоит!

— А шинель моя где?

же прогрессии, на изменение которой, конечно, имеют влияние климатические условия. До некоторой степени эти цифры можно считать барометрическим указателем, что такой-то зимний месяц в таком-то году был крепко морозен и такой-то весенний был также холоден, как в данном примере март и декабрь. Устоял декабрь с оттепелями — цифра побегов подцветилась; бежало много в январе — значит, теплый стоял, и тому подобное.

— Затем-то тебе ее и оставить велели, что шинель твоя на одного арестантика поступить должна, на рыжего-то. На него она и поступила, поверь мне!

Вскоре прошли на промыслах слухи, что идет-де по почтовому торному тракту, днем и ночью, по направлению к городу Чите, один солдат с сумою и с ружьем и ведет с собою трех арестантов.

— Куда-де, земляк? — спрашивал купец, поставлявший на арестантов муку.

— Вот в Читу на допрос арестантов веду.

Через две недели пал новый слух от другого торговца, вернувшегося с верхнеудинской ярмарки: идет-де солдат под Верхнеудинском и ведет с собою только одного арестанта. Ведет он его также на допрос, как сам сказывал, в Верхнеудинск, из бегов-де поймал.

— Так и уведет (думали на Каре), уведет и сам уйдет беглый солдатик с беглым арестантом прямо в Россию или куда им надо, где им лучше понравится, если не попадут на какой-нибудь рожон. Да едва ли-де: в Сибири дороги тоже торные живут, да и глухи бывают, кроме купцов и проезду почти никому нет; кроме бродяг да беглых с заводов и прохожих других не видать, да раз в неделю арестантская партия кандалами прозвонит; обозы чайные тоже не во всякое время ходят. По дороге простору много.

Случай в Чите сделался известным даже в Петербурге.

Тамошние гарнизонные солдаты не только выпускали на ночь арестантов, но и сами ходили с ними на грабеж в городе и соседних селениях. Перед светом аккуратно возвращались: один на часы, другой в заточение. Виновных велено было строго наказать, но наказание не остановило преступления. Солдаты снова произвели несколько краж и украденные вещи спрятали на гауптвахте; офицеры оказались по следствию потворщиками. Еще в 1836 году генерал-губернатор Броневский свидетельствовал, что нравственность у тех казаков, которые вращались при полиции и находились в частом прикосновении с ссыльными, была невысокого достоинства.

Бывают на каторге другие дела и другого рода и вида побеги, когда один старается перехитрить другого, не разбирая (как в данном случае) того, что валит этого другого себе под ноги, в яму. Так как борьба эта ведется на взгляд и на счастье, почти втемную, то и

ходы ее разнообразны и мудрены до того, что понять их и уследить за всеми ставками нет почти никакой возможности. Сами бродяги таятся, следы свои тщательно прячут, редкие рассказывают кое-какие подробности, но всегда, конечно, оставляют про себя и для товарищей всю суть и всю подноготную. Самое вероятное и неоспоримое одно только, что каторга дает обильное количество побегов.

Всех беглых по всему Нерчинскому округу за 10 лет (с 1847 по 1857 год) считалось 2841 человек таких только, которые за побеги наказаны были на заводах. Сверх того, бежало еще 22 женщины, которые были пойманы и также наказаны на заводах. К 1 января 1859 года, т. е. за 11 лет, во всех Нерчинских заводах считалось в бегах невозвращенными: 508 человек горных служителей и 3104 ссыльных и ссыльно-каторжных, так что, до сравнению с количеством всего сосланного населения, в бегах ровно 24 %. Таков учет общего горного управления в валовых цифрах. Частные исчисления также красноречивы, хотя мы и придерживаемся цифры собственно ссыльно-каторжных и не принимаем в расчет поселенцев (об этом дальше, в своем месте). Знаменитый Петровский железоделательный завод, единое из детищ того же Нерчинского горного округа, тоже считал свою усышку и утечку. К 1-му сентября 1851 года у него нашлось в бегах, тоже в десятилетней сложности, всех беглых 740 мужчин и 5 женщин. К 1-му января 1852 г. (т. е. в два осенних и один зимний месяц) успело бежать еще 26 человек, стало всего в неустойке 771 вольная душа. Из этого числа поймано только 19 человек, исключено за десятилетнею давностью 31, осталось — стало быть — в бегах 716 мужчин и 5 женщин. Некоторое число таковых завод имеет получить назад под названием оборотней, возвращенными из России в той цифре, которая выясняется в тобольском приказе о ссыльных. Там, между прочим, наверное утверждают и несомненно доказывают, что число пригнанных обратно в Сибирь на каторгу и поселение, с 1833 по 1845 г., двенадцать тысяч шестьсот пятьдесят два человека (в том числе 345 женщин) и что одних каторжных в течение десяти лет (с 1838 по 1847) прянято из России с возвращенными через Тобольск 2446 мужчин и 27 женщин. Конечно, между ними не всякий укажет на то, с какой он

бежал каторги. Бродягами давно уже приспособлен способ сочинения псевдонимов, венчающихся общим местом «не помнящих родства»[44].

---

[44] Обязуясь подробным исследованием вопроса о бродягах во всем его многостороннем и широком развитии, мы на этот раз продолжим наблюдения наши над цифрами беглых с сибирских заводов и берем намеренно года на выдержку, не подчиняя их системе и при этом указывая первые попавшиеся нам на глаза. Так, напр., на Александровском винокуренном заводе с 1 января 1846 г. по 1 ноября 1859 бежало с работ 1013 мужч. и 19 женщ. Из этого числа домашними средствами поймано (а в том числе, конечно, и добровольно пришла в зимнее холодное время) только 277 мужч. и 4 женщ. В 1833 году бежало из этого завода 633 чел., в 1834–770, в 1835–754, в 1836–591, в 1837–293, в 1838–32, в 1839–76, в 1840–40, в 1841–71, в 1842–82, в 1843–93. Уменьшилась в последние года цифра побегов оттого, что в завод стали меньше присылать рабочих и заметно ослабел тюремный надзор с уменьшением команд, обращенных на другие заводы. В 1843 году из 98 человек возвращено было только 8. Из Успенского винокуренного завода (Тобол. губ.) в 1860 г. бежало каторжных 160 человек, да весною следующего года успело удрать еще новых 22. Беглые по другим заводам Восточной Сибири стояли в таком количестве:

В	1837	году	из	Иркутск.	солевар.	363
-"-	1838	-"-	-"-	-"-	-"-	238
-"-	1839	-"-	-"-	-"-	-"-	248
-"-	1840	-"-	-"-	-"-	-"-	359
-"-	1841	-"-	-"-	-"-	-"-	136
В	1837	году	из	Троицк.	винокур.	181
-"-	1838	-"-	-"-	-"-	-"-	164
-"-	1839	-"-	-"-	-"-	-"-	206
-"-	1840	-"-	-"-	-"-	-"-	171
-"-	1841	-"-	-"-	-"-	-"-	79
В	1837	году	из	Селенгин.	солевар.	38
-"-	1838	-"-	-"-	-"-	-"-	74
-"-	1839	-"-	-"-	-"-	-"-	36
-"-	1840	-"-	-"-	-"-	-"-	28
-"-	1841	-"-	-"-	-"-	-"-	27

Чем и как обставляются побеги с каторги, мы объясним несколькими очерками, сообщенными частью интересовавшимися этим делом, частью самими заинтересованными в нем. Разряд последних разбивается для нас на две категории. К первой и главной мы относим тех бывалых бродяг, которые снимаются с места для пути дальнего елико возможно и не спуста. Они отлично знают дорогу, и эта издавна пробитая тропа называется *варнацкою* дорогою, имеет определенное направление по лесам, жилым и нежилым местам и опытного бродягу уводит далеко, уводит в Россию. Истинный варнак снимается с места для того, чтобы, по возможности, подольше пожить на своей воле, старается по мере сил не возвращаться на каторгу, искусно заметая следы или, если уже для него оборвется счастье, то запишется в оборотни, но нескоро. К другой категории бродяг мы относим тех ссыльно-каторжных, которые бегут на авось, иногда просто прогуляться, побродить в лесу и на воле, «единственно для отбывательства от казенных работ», как привыкли выражаться официальные бумаги. Такого рода беглые — жиганы, мелкота — зачастую не уходят дальше Байкала. Наступающие холода на измызганную за лето в ходьбе по лесам казенную одежду, незнание дороги, приемов и правил бродяжьего дела — все это таких мелких бродяг, без всякого участия и усердия со стороны полицейских начальств, сгоняет на каторгу. Такие бродяги с первыми осенними морозами являются в ближайший город и на суд с повинною головою и с покорными руками и ногами. Похождения таковых немногосложны.

Бегут они, при первой открывшейся возможности, наугад, куда глаза глядят, бегут обыкновенно шайкою в том предположении, что на людях и смерть красна. Если бегут без вожака, то, стало быть, путаются, наталкиваются на множество случайностей и, в большей части случаев, не выдерживают, т. е. попадаются. Вот что рассказывал один из таковых:

«Бежали мы втроем с “хвостов” на Среднем промысле. Ходили целую ночь и прошли кабыть много.

Все это, конечно, в десятилетней сложности с увеличением цифры от новых побегов и с уменьшением ее за вычетом по закону десятилетней давности.

— Верст, мол, братцы, десятка два будет?

— Будет, слышь.

Стало светать, а мы в пади какой-то.

— Идем, мол, товарищи, куда нас эта падь поведет.

— Валяй! — говорят, — перекрестившись!

Шли, шли падью, селение какое-то перед собой увидали, испужалися.

— Не назад ли, товарищи?

— Чего назад? Гляди вперед, затем ведь и ушли. Разбирай, какое жилье!

Поднялся я на гору, глядел, глядел...

— Леший, мол, нас, ребята, водит да и леший-то не наш, а казенный, промысловой.

— Чего-де так?

— Поглядите-тко, никак к Верхнему промыслу пришли.

Стали разглядывать, приметы распознавать, так и есть: Верхний промысел, и тюрьма ихняя, и разрез тутошной, и пристава дом увидали.

— Пойдем, мол, ребята, туда, спокаемся, а там поживем, повыспросим, дороги узнаем. А что-то, мол, мы и бродяжить-то не умеем: не рука знать!

Стали мы толковать, стали промеж себя спорить. И ночи-то жаль терять занапрасно, и тюрьму-то мы видим впереди под горой и разрез; желоба по речке-то, по Каре-то этой, обозначались. Черт, мол, с вами, а теперь у нас день, пойдем лесом. Бери левей! Ворочать не станем.

Так и решили, а пошли опять наугад, пошли левей да и взяли прямо. И шли мы еще день. Ночью спали. На пятые сутки живот тосковать начал. Сказал я об этом товарищам.

— И у нас, слышь, тоскует.

— Да по ком?

— Не по артельном же, слышь, хлебе, а надо полагать, захотело брюхо получше чего, надо быть, горячего.

— Ягоды бы ему дать хорошо, не спесиво оно! — шутим это.

А где ее возьмешь, ягоду-то эту? Леса стоят все какие-то не такие. Кочки между деревьями-то да трясины и густым прегустым

мохом затянуло все; идешь словно по перине, а ягод нету. А брюхо-то с голодухи так и выворачивает, словно рукавицу.

Станем себя утешать, разговаривать, а оно, брюхо-то, нет-нет да и завоет, ровно в нем на колесах ездят. Тошно ему стало, голос подает.

Идем вперед. Забор увидали. Стали оглядываться, нет ли жилья какого? Слышим, один товарищ заревел, словно с него живого лыки драли. Мы кинулись, смотрим: в яму какую-то провалился и зевает по-медвежьему. Вынули мы его.

Другой товарищ смекнул:

— Это-де, братцы, для козуль настораживают. Вон, в воротах-то, бревно на волосках повесили. Чуть упадает, то и раздавит. Много, слышь, нашего брата, не ведая, этак свою жизнь кончали. Хорошо еще, что товарищ в яму подал, а не в ворота прошел.

Перелезли мы через заплот (ограду) дальше, а в ворота не пошли. Стал нам товарищ рассказывать, как бревно так ловко прилажено, что козуля пролезет в ворота да дотронется только до бревнушка, тут и смерть ее. Вышли мы в поле. В поле стадо баранов ходит, а при них пастух мальчишко. Увидал он нас, бросился опрометью прочь от нас. Мы его звать, не слушает, мы божиться, стал подходить. Кричит нам:

— Не убьете?

— Нечем, мол, дурак экой! Смотри, пустые идем. Дашь нам есть, еще денег тебе дадим.

— Я не дам, боюся вас! А подойдите-де, сами возьмите, вот под кустом хлеб лежит.

Я пошел. Нашел тряпичку, развернул, хлеб увидал, схватил его в обе руки. Хотел сожрать его в три раза, так уж и глазами наметил, как надо и зубы наложил, да вспомнил товарищей. Так у меня словно хлеб-от кто оторвал ото рта. А умом-то мекаю: не стану, мол, есть, делиться велят; зачем и идем-то мы вместе и другой кто не сделает так. Думаю это, а есть еще пуще мне тот хлеб захотелось. Запах от его слышу, так живот-от мой и заворчит и заворочается в нутре-то. Стало мне на ум всходить, что не донести мне хлеба, съем я его, а там пущай они приколотят меня за то. Тут товарищи-то и закричали. А я стою на том же месте, где хлеб взял. Закричали то-

варищи-то, стало мне на ум другое приходить: съем один — сыт буду, с товарищами поделю — никто сыт не будет, коврига-то малая. Сдумал я так-то, стиснул краюху зубами, зажал глаза, дух забрал в себя, да уж и не помню, как припустил бежать. Бежал я что было силы, во все лопатки.

Разделили хлеб поровну. Дальше пошли. Опять бредем целый день. К вечеру деревенька помеледилась.

— Пойдем, товарищи, в крайнюю избу, будет маяться-то нам.

— Стучись, товарищъ!

Постучались мы, впустили. Мужичок не старый сидит и таково ласково смотрит на нас

— С Кары, ребята?

— С Кары, мол, дядюшка.

— Которые сутки не ели?

— Пятые сутки крохи не видали.

— Садись, — говорит, — ребята, за стол!

«Сели. Вынул он щей из печки. Налил их в чашку, хлеба туда накрошил, дал постоять, ложку взял: "Вы-де сами ребята, не притрагивайтесь, меня слушайте". Зачерпнул он щей с хлебом, мне дал, опять зачерпнул ложку, товарищу поднес, и так всех оделил по одной и по другой. Мы еще попросили, не дал. Отошел от стола и чашку со щами спрятал. Спрашивает:

— Вы, ребята, однако, впервые надо быть?

— Что, мол, такое впервые?

— Бежите-то?

— Не случалось, мол, ни разу о сю пору, впервые бежим.

Усмехнулся.

— Однако ложитесь, говорит, спать теперь. Дам я вам еще этих щей, то разорвет брюхо, помрете. Много-де ко мне заходило вашего брата, я это дело знаю, как поступать.

Уложил он нас спать в подъизбице. Спали мы крепко; как легли, так и заснули, и на ум не пришло поопастися. Да и то думать надо: нам на ту пору все равно было, что стариковы щи хлебать, что заводскую березовую кашу. Черт побери все! Однако проснулись на воле. Старик опять щей вынес: по три ложки нам дал и те не вдруг, а в очередь. Опять нас спать уложил. Поднялись мы опять, он нас накормил досыта и на дорогу дал нам хлеба и совет:

— Ступайте вот теперь прямо! На пути вам будет распадок. Дорога пойдет прямо в него — не ходите, тут казаки ловят. Берите лучше в правую падь. Там далеко есть заимка, в ней казак живет; хлеба не сеет, хлеб не растет. Белкует: ходит с ружьем за белкой, за козулей ходит, пасти поедные и огородные ставит. Казак этот охотно нанимает вашего брата-варнака в работу да платится за послугу свинцом. Так вы это помните и на носу зарубите!

Послушались мы приказу, в левую падь не ходили, пошли в правую и в заимку постучались, силушки нашей не хватило. Есть стало нечего, весь хлеб вышел, а днем спали, по ночам шли. Да, может, мол, старик по насерду на этого казака сказывал. Зашли. Казак ласковый такой, встретил, угощает, суетится:

— Сейчас же, на ваше счастье, я косулю убил, ешьте!

Покормил он нас. Сговаривать стал:

— Оставайтесь, кормить вас буду, вы только работайте, и работа легкая. А спрячу-де вас так, что никакой сыщик не доберется. Бывало дело!

Говорит, улещает, все норовит, как бы за самое сердце наше ухватить, да мы помним стариковъ наказ — на соблазн сдаваться не хотели. Проспали мы ночь. Поутру рано ушли так, что он и не приметил, спал еще. Под вечер смотрим, догоняет он нас верхом на лошади и винтовка у него за спиной торчит. Стал подъезжать, винтовку на руку взял, стрелять захотел, прицеливается. Бросились мы со всех ног на него все трое. Один сгреб его сзади, оборвал ремень и винтовку отнял. Поднял он коня на дыбы, ускакал. В сумерки опять нагоняет и винтовка в руках у него другая. Кричит нам издали:

— Отдайте винтовку мою!

— Не подходи, — отвечаем, — мы сами в тебя палить станем, убьем.

Толковал он с нами долго, а винтовки мы ему все-таки не отдали. Он повернул коня назад, а нам вслед пригрозил:

— Так ли, не так ли, а вашу-де вину и свою обиду на других варнаках вымещу.

С тем он и уехал. В одной пади мы на народ наткнулись, опознались: беглыми с Петровского завода сказались. Сговорились мы идти все вместе; стало нас 12 человек, веселей кабыть стало и страху

не в пример меньше. Разложили мы огонь, теплину сделали. Товарищи ушли в лес поискать ягоды либо кедровых орехов. А то есть курчаватая такая сарана, корень ее больно сладок, едим мы ее и сыты бываем. На нее нам в тюрьме бывальцы указывали: ищите-де ее и ешьте, не бойтесь! Я остался у огня, а на огонь медведь вышел. И ружье есть, да пороху нема. Целился я в него, не испужал, а на меня же полез. Начал я бегать кругом огня, на огонь он не полез; тоже и сам стал ходить за мной и все норовил лапой сгрести меня. Однако устал медведь, в лес ушел. Товарищи вернулись, пошли мы дальше. Опять огонь разложили. Смотрим, опять, надо быть, тот же медведь к нам из лесу вышел и целое дерево в охапке несет. Мы за большое дерево тут подле спрятались, а кто и на самое дерево влез. Подошел он к огню, хватил изо всей медвежьей силы: погасить хотел, да только искры по сторонам полетели, да головешка больно высоко подпрыгнула. Осердился он, стал огонь загребать лапами и так-то старался! Тут один товарищ догадался: подошел к нему сзади, да так-то хватил его по задним ногам толстой палкой, что он аж показал нам, как салазки умеет делать, даром что был неученый и с татарами в Рассее на цепи не хаживал. Полежал это он, перевел да и надумал хорошее дело через голову кувыркаться; ушел, значит. На третьи сутки опять он брел за нами следом, на четвертые — опять пужал, на пятые как отстал, так уж больше и не показывался[45].

---

[45] На тему встречи с медведем вот еще один рассказ беглого:

«Идем, отдавшись на волю Божию. Иной раз, кроме зайцев, редко кто из живых встречается, а ингодь наш брат и на медведя напарывается. Мне раз встретился; было ружье у меня, надо бы его поставить на сошку да стрелять ему в сердце, так заряд-от у меня был беличий. Выстрел рассердил только. Да дерево мне на боку подвернулось — спрятался. Стал он меня ловить, а я успел из-за пояса топор выхватить; хотел рубить по лапам, да он всякой раз сдогадается и отобьет топор. Попятился раз, сгреб в лапы пень, положил его к дереву, притащил другую корягу, третью, четвертую и опять полез на меня. Рассудило лесное чудовище, что пни помешают мне бегать, да и я не у него учился: через пни прыгал, да успевал и отталкивать временем тем изпод ног своих. Свечерело; медведь уходился, да и я весь в мыле. Стали мы отдыхать оба. Он отошел и лег на землю, голову положил на пень, глаза навел на меня. Он лежит, да и я стою, не шевелюсь. Думаю: шевельнись я — и он вскочит. Легонечко, приемов надо быть в 20, так и этак крадучись от

На шестые сутки попали мы на казаков.

— Это вы-де, — сказывают, — в нашей деревне казака убили?!

Схватили нас казаки — и представили!»

В рассказе этом, имеющем поразительное сходство со всеми другими, для нас яснее других, важнее прочих одна подробность: это именно готовность сибирских крестьян принимать и обогревать ссыльных. В этом случае действует столько же и чувство сострадания к голому и голодному искателю приключений — чувство, завещанное отцами, закрепленное их примером и поваженное долгим опытом, сколько и экономические причины и условия сибирского быта, перед которыми бессильны и ничтожны всякие угрозы и страхи быть на суде и в ответе за укрывательство беглых, за *пристанодержательство, передержательство.* Сибирский хозяин из крестьян и казаков всегда затруднен и всегда сильно нуждается в работниках, которых особенно мало в Забайкалье, обездоленном тремя тягами: привлечением большого числа рабочих на Амур на казенные работы, наймами их на частные (витимские и чикойские) золотые промыслы, а в то же время и в извоз под чаи, ходившие в огромном количестве из Кяхты. Между тем беглый, с самых давних времен, очень дешевый рабочий; за одни харчи, из-за одного хлеба, он готов работать все лето и на страде в лугах, и на пожнях. Входя в экономические сделки, становясь в условия кругового обязательства, оба (и наемщик и батрак) остаются в одинаковой ответственности и перед судом и законом, перед личною собственностью. Обычай этот так прост и долговечен, что держатся его с самого начала заселения Сибири ссыльными и не только обыватели

зверя, успел я зарядить ружье. Наступила ночь и темно стало. Зарядил я ружье. Восток закраснел, а там и рассвело и медвежьи глаза не так стали страшны. Успел я поставить ружье на сошку и не снимался с места, чтобы не огорчить его. Тихим манером, ему не в приметку, стал я наклоняться к прикладу, а глаз с него не свожу, так вот поедом и едим друг дружку бурлаками-то своими. Обманул я его, выстрелил; он словно угорелый, метнулся на меня, хватился о дерево так, что то застонало даже. Растянулся. Я опять зарядил всем зарядом что было его у меня, смекаю то, что опять, хитрый человек, обманывать меня выдумал, мертвым прикинулся. Я резнул по нем полным зарядом в другой раз да он уж и не сказывался. А я дальше пошел».

ближних к каторгам мест, но и дальние жители Западной Сибири, Урала и проч. Случаи мести, затеваемой бродягами по временам и вынуждаемой отказом в гостеприимстве, в виде подпуска красного петуха (т. е. пожара), держат этот обычай настороже и во всегдашней готовности облекаться в факт. Факты же эти до такой степени общи и часты, что ими преисполнены рассказы самих беглых и все официальные бумаги архивов. Отрабатывая у наемщиков урочное время, бродяги идут себе дальше пытать счастья, искать новых приключений. Большинство из них с голодухи скорее ограбят какой-нибудь казенный транспорт (почту, напр.), чем вскинутся на чемодан проезжего. Сибирские дороги славятся безопасностью в сравнении со всеми русскими дорогами, хотя могли бы и имеют право отличаться противоположным свойством. Отбиваются бродяги и совершают убийства только в таком крайнем случае, когда встречают вооруженное нападение, озлобленность и жестокость со стороны нападающих. Предательство вызывает месть, и месть эта является тем жесточе и немилостивее, чем преступнее и испорченнее сердца бродяг. Случаи такого рода, повторяем, редки. Голод тут играет немаловажную роль, и бродяга собственно в сибирских странах — мирный путник, не решающийся никого обидеть, из боязни самому быть обиженным.

У некоторих страсть к бродяжничеству принимает форму какого-то особого рода помешательства, со всеми признаками настоящей серьезной болезни, которая требует радикальных средств, мучит и преследует больного, как какая-нибудь перемежающаяся лихорадка, имея форму болезни периодической. В Петровском заводе имелся один из таких, известный всем содержавшимся там декабристам и, по исключительности своей, памятный многим из встреченных мною. Привычка шататься развилась в нем в такую болезнь, что с каждою весною он начинал непременно испытывать ее тяжелые, упорные припадки. Он начинал всех бояться, делался задумчивым, молчаливым, равнодушным ко всему, его окружающему; старался уходить куда-нибудь в угол, прятался в укромные и темные места. На работах он испытывал тоску, которая доводила его до истерических слез. Слезы эти и тоска разрешались обыкновенно тем, что он улучал-таки время и убегал. Больной пропадал обыкновенно все лето, к осени же появлялся в завод оборванным,

исхудалым, но веселым. Лицо его было исцарапано, руки и ноги в синяках и в занозах; знак, что больной гулял не просто, не жил в наймах по заимкам (иначе принес бы мозоли), но, совершая свои экскурсии, прятался от людского глаза в лесных чащах. В последних он даже подсмотрен был товарищами, верившими, что все его удовольствие и самое главное наслаждение состояло в том, чтобы во все лето не видеть никого, и вся забота хлопотливо направлена была к тому, чтобы хоронить свои следы от всякого. Отшельник этот на все летнее время отвыкал от хлеба и легко примирялся с дикою пищею, употреблял ягоды (бруснику, малину и боярку), и разные коренья и травы (черемшу, сарану, мангирь и белый корень, называемый козьим зверобоем). Приходя от трав в крайнее бессилие, он изредка приближался к селениям или на страды и воровал хлеб, но очень редко выпрашивал его и довольствовался им только, как лакомством. Возвращаясь с прогулок в завод по доброй воле, принужденный лишь наступающими крепкими осенними холодами, против которых не могла устаивать его оборванная и измызганная одежда — отшельник все-таки по положению получал наказание розгами. Наказание это он не вменял ни во что и для болезни своей не считал его ни за хирургическое, ни за терапевтическое средство. Затем он всю осень и зиму весело жил на работах, работал за двоих послушливо и беспрекословно, так что всех приводил в удивление, но трудился таким образом только до весны, до кукушки. А лишь только снова начинала она свою заветную, немудреную песню, арестант начинал испытывать прежние припадки, столь же мучительные и невыносимые. Шесть лет ходил он таким образом в лес и приучил тюремное начальство смотреть на его дела сквозь пальцы, снисходительно. На седьмую весну пришел отшельник к смотрителю, упал ему в ноги и просит:

— Ваше благородье! Кукушка кукует — уйду, слышать не могу, соблазняет, уйду. Либо прикажите связать, либо на цепь к стене приковать и лису наложить, либо сделайте, что хотите. Невтерпеж мне это дело стало, я что-нибудь сам над собой сделаю.

Сердобольный смотритель послушался, посадил его на цепь, предварительно, уже для личного удовольствия, задав ему вперед все то количество розог, которое ежегодно следовало ему осенью, по возвращении из отшельничества после созерцательной жизни.

Просидел арестант время припадков на цепи; осень и зиму прожил на свободе и не бегал, а также вместе со всеми работал. На следующую весну он опять пришел к смотрителю с тою же мольбою, а на третий год уж не являлся к нему и в лес не бегал.

Но вот пример особого вида.

В 1808 году в Удинский округ прислан был на поселение, за бродяжничество, из Екатеринбурга старообрядец Гурий Васильев. Весною 1815 года он, с двумя товарищами старообрядцами, бежал на Амур с намерением основать скит, и для этого поселился близ Албазина в пещере около устья р. Урсы. Зиму с 1815 на 1816 год они провели здесь, но весною их схватили маньчжуры и привели к начальству в Айгун. Здесь маньчжуры предлагали им обрить бороду и принять подданство, как-де сделали это многие из беглых русских, проживающих в Китае[46]. Староверы не согласились. Маньчжуры, во исполнение трактата, через Цицикар и Хайлар представили их на нашу границу в Цурутухайт. Отсюда пригнали их на старое место жительства в Удинский округ. Гурий Васильев не выдержал и, по привычке к уединенной жизни, в 1818 году бежал снова на Амур и, пойманный летом следующего года, теми же путями и средствами, выдан был там же. Его на этот раз наказали плетьми и назначили на каторжные работы в Нерчинском Большом заводе. В 1882 году Гурий Васильев снова получил возможность бежать и пробрался опять на Амур и снова в ту же пещеру на

---

[46] Бродяжьи пути не имеют конца. Дороги их не пересекают никакие препятствия: кяхтанский мещанин Карп Патюков, наказанный кнутом и сосланный, пришел на родину из Охотского порта, несмотря на то, что путь ему лежал уже по настоящим строгим пустыням. Путь на Амур в бродяжьей практике издавна был делом обычным, и Гурий Васильев с товарищами — не первый и не последний странник на восток, совсем в противоположную сторону от обычной российской дороги бродяг. Якобию, собиравшему сведения об Амуре в начале нынешнего столетия, беглые могли дать самые точные сведения: «Плыли на Амур от Горбины 15 летних ночей, а днем лежали в закрытых местах. Пойманы китайцами в виду от устья, по поимке ведены были многими селениями до городов Цицигара и Мергеня, лежащих в сторону от Амура; а от оного поворотяся к востоку между полуденным кочевьем мунгал до Кала; а ровными и гладкими местами; из Калара же выданы на Цурутухайте. В дороге были 10 дней, по ночам спали», и проч.

р. Урсе. Здесь, питаясь кореньями, дичью и рыбою, жил до следующей весны (1823 г.), но, боясь старой истории, на маленькой лодке из бересты решился спуститься вниз по Амуру. Не прошел он и ста верст по течению, как был схвачен маньчжурами и увезен в Айгун. На этот раз маньчжурские власти в Россию его не отправили, но, отдав под присмотр, отпустили жить в городе на воле, вменив ему в обязанность обучение маньчжурских мальчиков русскому языку. За это кормили его и одевали и, вообще, содержали в довольстве. В 1826 г. он, по распоряжению айгунских властей, отправлен был, вместе с другими, вниз по течению Амура на рыбную ловлю. Жестокое обращение с ним приставников заставило его бежать на маленькой лодке (ветке) вниз по Амуру. «Пройдя слияние реки Сунгари с Амуром (показывал Гурий), я был вне всякой опасности, ибо народ янты (гольды), обитающий по Амуру, ужо не зависит от маньчжур и китайцев. Продолжая путь свой далее по Амуру, с помощью туземцев, к осени достиг земли гиляков, где остановился на зимовку». От гиляков Гурий узнал, что к северу от Амура живут тунгусы, а потому, весною 1827 года, вышел он из реки, на гиляцкой лодке, в Охотское море. Следуя вдоль берега и не доходя 30 верст до устья реки Тугура, остановился у тунгусов на зимовку и вместе с ними, к весне 1828 года, прибыл в Удской острог. На этих показаниях Гурия Васильева генерал-губернатор Восточной Сибири Лавинский, как известно, основал свои виды на приобретение реки Амура еще в 1822 году, т. е. за 20 лет до гр. Муравьева. На проект и представление его разрешения из Петербурга не последовало. Министр финансов, в 1833 году, отвечал: «Мне кажется, что всякое предприятие плавать по р. Амуру бесполезно и в отношении подозрительности китайцев опасно, поелику мы не имеем ни силы, ни намерения обладать тем краем, а без обладания им нельзя думать о судоходстве и о торговле, а потому без этого и не следует что-либо затевать». Вообще, показания беглых, побывавших за китайскою границею, во многом послужили к объяснению Амура и других стран, соседних Забайкалью. Так, в 1805 г. д'Овре из посольства Головнина пользовался на Кличкинском руднике сведениями от бродяг Дунаевского и Прусакова, бывших за границею.

Таковы мирные пути и короткие дороги бродяг. Такова краткая сторона их замыслов, направленных к освобождению себя от работ

ради отдыха и в виду мало выясненных целей[47]. Но не такова другая, к которой мы, в свою очередь, должны подойти, памятуя, что в бродягах для нас ясно видится особый вид, первая и главная категория бывалых: тех, которых прозвал сибирский народ варнаками и чалдонами. За такими бродягами существуют поиски, имелись когда-то особые команды. Против них сильно озлоблен народ, живущий на Харинской степи и около, известный у сибиряков под именем братских, а вообще — под названием бурят. Народ этот еще не перешел от степной жизни к мирным оседлым занятиям, еще не выработал в себе кротких нравов землепашцев.

Во имя этих и других причин подробности побегов с каторги принимают иной характер, в котором нет уже светлых сторон, а краски и картины становятся резче и ярче. Роли изменяются: с одной стороны, видим ожесточенных преследователей, с другой — кровавых мстителей за обиду и преследования. Бурят становится олицетворенною карою, как бы орудием неведомого ему карающего закона. Бродяга становится варнаком, чалдоном.

Почти сто лет прошло с тех пор, как буряты перешли из монгольских степей на русскую сторону и переменили им только название (из бурят в братских), но, в сущности, они сами остались теми же, какими были. Дикая жизнь в степи сумела задержать в них в первобытном нетронутом виде все то, чем пахнула на их отцов дичь Гоби или Шамо. Харинская и другие степи не выгнали этого вон, а еще, может быть, подбавили им звериного духа. Во всяком случае, это верно по отношению к предмету, нас занимающему: бродяги шатаньем, воровством и грабежами своими бурят раздражают; к тому же побеги бродяг обязали бурят новым родом службы, требующей труда и ответа.

С мест своей родины буряты принесли, между многими характерными племенными чертами, два зорких маленьких глаза, которые,

---

[47] Некоторым охотникам пошататься на воле без дальних целей удавалось сходить в бега (судя по официальным бумагам) раз по восьми. Другом счастливило одиннадцатью разами, а за некоторыми, но в крайних исключительных случаях, заводское начальство считало (самое, впрочем, большое) восемнадцать прогулок. Служители больше шести раз не бегали и дольше двух месяцев в бегах не отдыхали.

хотя не глубоко поместились под узеньким бритым лбом и спрятались в одутлово-толстых и скуластых щеках, но видят так далеко и хорошо, что ни один заряд из винтовки не бьет мимо и не пропадает даром. На винтовке теперь, как на луках некогда (и не так еще давно), у бурят все мастерство и досужество; на выстрелах из нее вся надежда насущного пропитания. Степняк гол да и привык брать добычу там, где она подвертывается, не разбирая средств и не загадывая о последствиях. Для замысловатых измышлений и мудреных отвлечений в кочевьях плохая наука, да и степь — не городское поприще. Чтобы жить, надо есть, чтобы кормить себя и своих, надо промышлять, и если нет ничего в запасе, как и бывает у бурят некоторых родов, кроме зоркого глаза, то винтовка и пуля — самые лучшие и важные друзья и пособники. Чтобы жить и кормиться, надо бить косулю и птицу. Чтобы одеться в пестрый халат и прикрыть бритую голову китайскою шапкою с красной кистью, надо стрелять соболей, белок и лисиц, а если доведется случай, с глазу на глаз, в глухом месте, без свидетелей русских, встретить беглого, то можно и его подстрелить. «Худенький беглый лучше доброй козы», — давно уже выговорил братский человек. Эта поговорка его отшибает в переводе таким дико практическим смыслом: «с косули снимешь одну шкуру, а с беглого две или три» (т. е. полушубок, азям и рубаху).

Все это в Сибири, в Забайкалье, давно, известно, а самим бродягам еще и с подробностями. Густые бурятские кочевья бродяги стараются обходить, а за Байкалом потому и спешат запастись провизиею, что общая варнацкая дорога идет сначала по необитаемым местам. Такими-то местами, вблизи карийских промыслов, идет она гораздо севернее почтового тракта прямо на село Торгинское (Торгу) и от него хребтами на Читу. Из окрестностей Читы беглые идут на Витим и Баргузин, но чаще на юг в окрестности Петровского завода. Окрестности Петровского завода и даже самый завод считался у бродяг любимым местом отдохновения. Архивные дела завода дают много доказательств тому, что в кабаках и притонах его попадались беглые с Нерчинских заводов и из тюрем карийских. В окрестностях его беглецы находили друзей в бурятских ламах, в семейских раскольниках. Около последних селений изве-

стен был даже, на Мукырте, кедровник (кедровый лес) — любимый притон всех беглых из Петровского и других Нерчинских заводов. Этот Мукырт в показаниях ссыльных играет видную роль. Река Хилок выводит беглых к устью своему, т. е. на реку Никой, которая, в свою очередь, направляет глухую бродяжью дорогу на собственное устье или на так называемую стрелку, т. е. на реку Селенгу[48]. Делая такой крюк, ради бурят и собственной безопасности, бродяги попадают, таким образом, к тому же Байкалу и направляются на Тунку, чтобы обойти его. Иногда они рискуют переплывать на краденых, забытых рыбаками лодках через Байкал и входят в исток Ангары. К Иркутску они подтягиваются довольно близко и дальние за ним, по тай-говым лесам Иркутской губернии, придерживаются вблизи почтоваго тракта. На нем мы их пока и оставим.

Опытный бывалец еще раньше освобождал свои ноги от «ножных браслет»,предварительно разбивая камнем или железным заводским ломом, а чтобы скрыть от надзирателей разбитыя места, заливал их на время свинцом. Особенно наичаще поступали так варнаки на Петровском железоделательном заводе, где все нужное под руками (и огонь и заливка). Еандалы бросались в первом же лесу под кустом, в первом же сопутном селении бродяга являлся уже правым и чистым. Опытный приходил, по большей части, к знакомым крестьянам, с которыми раньше успел свести дружбу, или шел по рекомендации и указанию более опытного бывальца. До Харинской степи он почти безопасен и не боялся за себя, если «маршлут» его полон, т. е. в бураке (или, по-сибирски, в туезе) имелась провизия, заготовленная его личною предусмотрительностью.

---

[48] Беглые каторжные из Кутомарского завода обыкновенно ходили привычным путем на р. Унду и брели по Онону на тот же Никой, где отдыхали или направлялись дальше на семейских, Тарабагатайскую волость, сказываясь у раскольников то поселенцами, то пропитанными. Вообще, у беглых всегда имеется одно безопасное место — притон для отдыха. Таковым, кроме Мукырта с кедровником, считалась некогда река Хилок. При этом рассказывали, что когда раз бежало с завода двое и для поимки их отправили туда бурят, — буряты забрали там 15 человек разных варнаков и. приведя их связанными, говорили: «Вот, батька-начальник, пятнадцать голова за два голова».

На крайний случай и лес предлагает свои благодати: кроме пастей с косулями и силков с птицами, каковые могут быть только случайным приобретением, лесная растительность все лето к их бродяжьим услугам; из грибов: рыжики, белые грибы, боровики, маслята, которые так удобно печь и так приятно есть с солью. Сухие грузди (по-сибирски) или сыроежки (по-русски) растут, большею частью, в березняках, едят их охотно сырыми, по сибирскому обыкновению. В низких местах умелый глаз всегда различит в другой траве малинового цвета перо, длиною около полуаршина, с половины расширяющееся в зеленый полосатый лист, шириною в вершок; это — достославная по всей Азии черемша (дикий чеснок — Allium ursinum). Сибиряки ее солят и квасят и в избытке заготовляют впрок, как лекарство, излечивающее цингу и предохраняющее от дальнейшего заражения. Бродяги едят ее в сыром виде с тем же очень приятным ощущением в собственном вкусе, но с отвратительным впечатлением на обоняние тех, кто не вкусил ее[49].

Кроме черемши, сибирские леса предлагают бродягам и другие съедобные благодати, для отыскания которых выучиваются приемам еще в тюрьмах, где таковые сведения сообщаются охотливо и даром; и каторжные нужные им ботанические сведения приобрели долгим путем опыта и после многих злоключений. Был такой случай: один ссыльный, работавший в лесу, накопал кореньев и принес в тюрьму Большого Нерчинского завода полакомиться, подспорить лесным злаком тюремное варево. Товарищи стали есть, но неведомый корень показался пряным, возбудил сомнение; задумались. Один надоумил:

— Не ешьте, братцы, не тот ли это корень, от которого уже и на Благодатском руднике были худые последствия?

Бросили. В видах предостережения прибегли к обычному тюремному рвотному: стали пить воду с табаком. Товарищи, вновь

---

[49] Ягоды черемши (Prunus padus) темные с большими косточками и терпкие — специальное средство для сибирских приправ. Черемша дозревает в августе, но вообще в сентябре набирается сласти. Сласть эта утрачивается во время приготовления для пирогов, когда ягоды толкут вместе с косточками; на зиму сушат. Сбор черемши — одна из самых оживленных и любимых прогулок сибирячек; ходят за нею всегда большими толпами.

пришедшие с работы и не слыхавшие предостережения, наелись, и двое из них умерли. Общеупотребительная и любимая пища бродяг в лесах, так называемая мунтала (монг. слово), т. е. монгольская жимолость (Lonicera mongolica), растущая обыкновенно кустарником при речках, в падях (долинах) и по берегам, с черными длинными ягодами, у которых мясистый белок и стенка плодника скорлуповатая; листья имеют неприятный запах, кора обладает вяжущим свойством. Из ягод оказывают услугу, чаще других, брусника и боярка-ягода (Crataegus oxyacahtha)[50], терн, имеющий красные вкусные и сладкие ягоды. Из сладких кореньев ищут мангирь — род дикого чеснока (Allium), и белый корень, называемый также козьим зверобоем (hipericum?), растущий на холмах и сухих местах. В особенности же и по преимуществу ищут беглые растения крупных форм курчавой пурпурового цвета сараны, предполагающего всегда сладкую луковицу мучнистого свойства, очень приятную на вкус и весьма питательную. Померанцево-красноватое растение это устилает горы от подошвы до вершины. Шесть листочков ее венчика выгибаются, как поля китайской шляпы, а шесть прутиков, сидящих кругом красивого стебелька, раскидавшись по земле, придают ей красивый колер. Другие сорта лилии, как букеты по ковру, усеявшие мураву, в июне и июле украшают все более открытые долины и горы, взбираясь даже на значительные высоты и скалы. Таковы: стелющаяся стройная лилия обыкновенной породы Lil. spestabile (по-туземному «погодайка»), с нарядными чашевидными цветами, Lil. Hemerocalis — волчья сарана, лимонного цвета, которая во множестве растет на покатостях. Все эти лилии здесь цветистее

[50] Боярка — кустовое ягодное дерево, горный кустарник из рода терновых. Еще Juniperus sabinea, или казачья мозжуха, казачий можжевельник. Пользованию подобными растительными кореньями русские люди в Сибири выучились у туземцев-инородцев, в особенности у бурят. От свободных русских людей знание перешло и в тюрьмы. Беглые от бурят часто пользуются их национальными кушаньями, из которых чаще указывают пойманные беглые на арцу. Арца эта есть не что иное, как национальное кушанье бурят, всегда имеющееся в любой юрте в котелке над огнем: гуща, оставшаяся от того молока, из которого выгнали водку, гуща эта в виде арцы пряжена с мукою. Коровье молоко, раз пропущенное сквозь куб, дает водку слабую и терпкую; пропущенная два раза похожа бывает вкусом на картофельную водку.

и плодовитее, чем где-либо в Европе (а на Алтае они еще пышнее). Сарана или собственно луковица диких лилий (Lilium martagon) составляет предмет постоянных исканий и заботливости полевой мыши-эконома — очень маленького животного, роющего под лугами ходы с большими камерами. Мышь-эконом (Avricola oeconomus) — трех видов: красноватые или бурые и серые. Одни побольше, другие маленькие, разбиваясь на зиму парами, вдвоем успевают нарыть из твердой земли такое количество клубней сараны, что нередко в трех камерах гнезда находят юкагирские, якутские и братские женщины фунтов 24–30. Составляя приятную приправу к ужину инородцев, поспевают эти клубни на обед и завтрак к варнакам, находящимся в бегах с запасом знаний ловко отыскивать подземные постройки запасливой мыши, чтобы воспользоваться добром, собранным ее трудами. У этого сорта сараны — желтоватая луковица. Инородцы ее сушат, истирают в мучной порошок и либо пекут в золе в виде лепешек, либо варят с просом; сибирские же старожилы из русских людей приготовляют сарану в форме киселей, каши и соуса. Есть еще два вида сараны: один Lil. avriacum с белою луковицею ¾ вершка длины и ½ вершка в диаметре, сладкого мучнистого вкуса, растет на сухих полянах. Второй род Lil. tenuifolium, с луковицею помельче первой, растет на скатах и у подошвы гор; обе съедобны, но L. hemerocalis flava — волчья сарана — ядовитая. Узнают, где мышиные норы, стукая по земле ногами; часть найденного оставляют самим хозяевам, большую отбирают обыкновенно осенью. В норах горностаев также находят коренья эти, но горностаи не сами их запасают, а отнимают их у мышей. У горностаев камчадалы вынимают сараны также по несколько десятков фунтов. Этот корень совершенно безопасен и если к услугам беглых предлагает лес и корни Carbinoe acaulis и кедровые орехи, то зато соблазняет и персиками (собственно диким миндалем, Amygdalus nana, и полевым маком, Papaver hroeas), излишнее употребление которых производит либо головную боль со рвотою, либо тошноту с поносом. Из ягод — голубица слегка пьянит, а моховка[51] при неумеренности влечет те же последствия тош-

[51] Моховка (Rubes procumbens) растет посреди негодной травы на местах высоких и мокрых, в колках, низенькими кустиками со сладкими яго-

ноты, поноса и рвоты. Беглые все-таки тянутся к селениям за привычным хлебом, каковой и находят — по заветному сибирскому обычаю, известному целой России — на подоконниках изб, с молитвою выложенным на ночь опасливою и запасливою хозяйкою.

Зная все это, а также и то, главным образом, что у братских ждет либо пуля, либо петля, опытные бродяги идут осторожно, только по ночам; днем они спят в опасных местах и идут днями лишь по лесным трущобам. Приготовляясь к путешествию по последним, опытные обыкновенно (и непременно) постараются стащить топор; топор — первый бродяжий друг и покровитель, топор поможет и огонь развести, топором можно положить и зарубку на деревьях, по которым задние, как по пробитой тропе и по вехам, пройдут вперед и не заблудятся. Грамотные остряки вырезывают даже имена, год, месяц и число своего прохода. Бывалый бродяга, не обтесав дерева известным способом, не пройдет ни за что, а по затесам и этим зарубкам только и можно ходить и выходить из трущоб сибирских громадных лесов. В степи бродягам ночью звезда Стожар светит и путь указывает, а вечерняя заря с утреннею ни на восток не направит, ни в китайскую сторону не собьет; на востоке можно с голоду умереть от безлюдья (да и такой путь никуда не выводит), на юге китайцы привыкли возвращать ссыльных обратно, передавать их в руки начальства. Оттого-то опытные бродяги никогда со своей варнацкой дороги не сбиваются; оттого-то, по своим путям, бывалые из них с Кары в Читу попадают пешком в семь дней, тогда как и почта по всей дороге раньше четырех суток редко когда поспевает. Только в случае крайнего голода и недостатка провизии бывалый бродяга решится в Забайкалье зайти в незнакомое селение. Жилые места он обходит, как волк, но пуще всего боится и с особенною осторожностью крадется около Братской степи, боясь

дами, похожими на крыжовник. Около речек и в колках, в мокрых же местах, растет на небольших кустиках смородина черная и красная; около ключей и речек на высоких кустах жимолостка, поспевающая к Петрову дню, шипшика — крупная ягода, красноватая, длинная, с большою косточкою внутри, приятная на вкус, сладкая и мучнистая; малина, клюква, брусника, костяника, рябина, черемуха, княженика, морошка — обыкновенные сибирские ягоды.

встречи с бурятами. Один такой шел в стороне от улуса, прикрываясь кустами, но не укрылся от зоркого степняка. Рысьи глаза бродягу заметили, бурят с ружьем наготове приблизился на несколько шагов. Бродяга упал на колени и, сложив на груди руки, молил о пощаде, обещая все, что имел на себе. Бурят склонился на просьбу, а когда условились они о цене, бродяга пополз к врагу на коленях, не переставая ублажать его плаксивым голосом, ласковыми словами, и вдруг, схватив камень, угодил им в голову всадника. Оглушенный бурят выпустил из рук ружье, бродяга схватил его, стащил врага с коня, убил и на лошади уже проехал вперед остальную часть степи.

Другой раз кандальная партия, идучи трактом к Нерчинску, разбила конвой, забрала ружья, порох и патроны и несколько месяцев держала почтовый тракт в осадном положении. Соседних бурят пригласили на помощь дли поимки, сделали облаву, но трусливый народ этот не посмел прямо напасть на вооруженных людей. Из целой большой облавы нашлось только двое отважных. Согнувшись на лошадях степным обычаем так, что справа заслонены были головами лошадей, два смельчака, вооруженные один ружьем и пистолетом, другой луком и стрелами, маневрировали по степи, пригнувшись к одному боку лошади, и стреляли один за другим в ретировавшихся бродяг. Первый выстрел попал в атамана шайки, другими уложены были некоторые из беглецов. Остальные отстреливались, и бурят с луком был убит. Однако смерть предводителя и некоторых товарищей ослабила смелость остальных и охоту отбиваться. Облава тем временем сблизилась в круг и забрала всех оставшихся бродяг без бою.

Между бурятами водятся такие молодцы, которые иногда целью своей жизни поставляют охоту за горбачами (а горбач — тот же бродяга с неизменною котомкою на спине). Эти звери из монгольского племени отыскивают жертву по огоньку, по костру, который разводят бродяги по сибирской привычке, чаще для того, чтобы обогреться или сварить себе грибов, кашицу или обогреть и дать отойти деревенеющим от ходьбы членам.

Засветился этот огонек в стороне, далеко от жилого места, в диком лесу, и идет по этому месту варнацкая дорога, — бурят налета-

ет, выстрелом кладет одного, на всем лошадином скаку заряжает свою винтовку во второй раз, кладет другого и затем третьего, если этот не успел бежать. Лопатина (носильное платье бродяги) — награда буряту за выстрелы, а мертвые тела уберет начальство земское (если натолкнется) или съедят волки (если нанюхают).

В то время, когда производилось заселение Забайкалья назначенными из России переселенцами с зачетом за рекрута (и производилось весьма неудачно), промысел на горбачей был делом привычным и недиковинным.

— Где мужчины? — спрашивал один проезжий бабу, случайно остановившись в одной избе по красноярскому тракту.

— На горбачей пошли, — отвечала хозяйка тем тоном, как будто они пошли «губы ломать» (т. е. грибы собирать), и объяснила затем:

— Вчера ходили, промыслили только одного, да бедного: поживились лопатинкой одной. В прошлом году у одного нашли под стельками в сапогах 50 рублей.

Иркутский губернатор Руперт велел, говорят, загонять 13 человек таких охотников насмерть, и с той поры грабежи и разбои, систематически веденные, прекратились надолго, но не совсем. В 1805 году бродяги ночью, за 50 верст до Иркутска, напали на одного из свиты посольства в Китай гр. Головкина (на камер-юнкера Гурьева), ограбив которого, оставили и его самого и людей его привязанными к деревьям. По донесению Головкина, ссыльные бродили тогда по Сибири тысячами без приюта и средств к существованию. Не так давно в Ачинске судился крестьянин за 14 убийств, произведенных над горбачами. По сознанию его, он изо всех 14 только у одного нашел 25 рублей; с остальных поживился только носильным платьем, или лопатиною.

Попался он в убийстве родного дяди, убийстве, обставленном ужасными подробностями. Из спины убитого убийца вырезал ремни, а внутренности его, как веревки, вытаскивал и наматывал себе на руку.

Другой из таких ловцов проходивших по воле варнаков считал на своей совести до ста человек, из которых меньшая половина была им перевязана и представлена живыми (в чаянии получить за то назначенную награду в 3 руб. сер.); остальная большая половина

была перебита и ограблена. Сыщик, какой-то Грудинкин, по представлению начальства (говорит забайкальское предание) имел за поимку ста беглых золотую медаль на шее.

— И теперь бурят, увидев на беглом порядочную одежду, сократить его жизнь на задумается, — уверяют старожилы.

— На рваную лопать теперь братские мало прозираются, — добавляют сами ссыльные, но те и другие, старожилы и ссыльные, держат в памяти следующее событие из быта бродяг, по рассказу одного из них.

«Шли мы втроем. Верст тридцать отошли от завода (Петровского). В одном распадке увидали сыщика из карымов[52], по лицу признали его. Этот, надо быть, самый, про которого товарищи в тюрьме сказывали и велели бояться: "А увидите-де его, прячьтесь скорее, человек этот сердца не имеет и пощады не ведает". Да и либо мы знаем повадку бурят, коли встретит нашего брата без ружей, а сам сидит на коне: либо захочет живым взять и таких представит, тогда велит перевязать друг дружку, третьего спутает сам; либо велит сесть на колоду рядом, отъедет в сторону да пулей из винтовки пронижет всех троих разом и трупы на волков покинет в поле. В его это воле. Там у нас в тюрьме все об этом сказывают.

Вспомнили про это про самое, как встретились с ним с глазу на глаз; успели только друг на дружку взглянуть да перемигнуться. Все одно разом надумали: удирать-де надо, нечего тут артель плотить. Всяк сам по себе ищи спасенья. И прыснули мы в разные стороны, сколько силы хватило. Бежим.

Я бегу без оглядки, кажись пуще всех; зол я был бегать-то и на каторге за то большие похвалы получал. Вижу я это и чувствую, бегу. Слышу: выстрел щелкнул, одного, мол, товарища порешил окаянный, да которого?.. Сдумал я это, а сам все бегу и не распознал сгоряча-то, что лес пошел. Опять выстрел слышу: последнего,

---

[52] Карымы — забайкальские креолы, образовавшиеся от помеси русских с бурятами, монголами и тунгусами. Таковы почти все жители Приаргунскаго края. На р. Никое некоторые карымы успели уже сделаться оседлыми. На р. Аргуни они почти исключительно занимаются контрабандою, отчего во всем Забайкалье кирпичный чай носит еще придаточное название карымского.

мол, товарища съел проклятый бурят (даром этот народ ни одного выстрела не теряет, к тому напо-важен). За мной теперь, значит, черед состоит.

Глянул я в сторону, а тут буря, надо быть, дерево вырвала с корнем и яма обозначилась. Шмыгнул я туда и стал прятаться, ноги подбирать, всего себя в комок укладывать так, чтобы и на месте меня не знать было. Разное думаю, а уши держу на самой макушке и, кажись, весь живот-от свой в себя забрал, чуть не замер я тут на этом деле. Опомнюсь — топот лошадиный слышу, словно вот в самое-то ухо лошадь едет. У меня и свет помутится и дрожь проберет, я опять приду в себя и опять думаю: вот-вот ухватит он меня на аркан и в торока вскинет, а вскинет он меня, надо быть, потому, что на товарищах-де кровяную пасть свою натешил. Вспомню я все это, опять у меня подопрет в груди, опять не переведу духу. Глаза не видят, в ушах зазвенит, так что тошнить даже стало. Приду в себя, сгребусь за шею, нет веревки, стану опять прислушиваться, уши надрывать — опять топот слышу. Ишь, думаю, разлакомился чертов сын! Ищет! Мало, мол, тебе двух-то, и моя Лопатина понадобилась. Глянул я на себя, смех подступать стал: лопатина-то рваная, заплата заплатину ищет, дыра на дыре. Смех меня взял; и чего смешно стало — сам не знаю. От смеху-то этого, что ли, кабыть легче стало, и страх прошел. Стал озираться, в какое, мол, такое место угодил: корешки висят и яма способная. Медведь, мол, тут беспременно жил всю зиму и лапу сосал.

Сдумал я это, и опять смех меня пробрал!.. Прислушался опять — замер топот. Вздохнул я тут от самого донушка и крест на себя положил. Теперь, мол, я полежу тут, пущай уедет, разденусь... Так я и сделал.

Дождался я в яме ночи, переспал. Проснулся на утре, светло уж было; есть захотел, так есть захотел, что в яме лежать кабыть стыдно стало, вылез. Пойду, мол, дальше — что будет! Поднялся на хребет, все лесом иду. Первая мне на глаза метнулась березка молоденькая, стоит передо мной с очей на очи. Дай-ко, попробую на ней свою силу, сколь отощал? Вздумал — рванул, с корнями вырвал, обрадовался. Значит, во мне еще есть сила и идти могу и подраться могу, коли доведется мне такой случай.

Иду я дальше, обламываю на ходу с березки ветки, корни у ней оборвал — стала палка с комлем, здоровая такая. Стал упираться на эту палку, идти легко и приятно. Дорога вывела меня на самый хребет, на вершину. Озираюсь кругом: лес вижу, деревья реденько растут, а внизу все голый камень и березник там совсем изныл, так все и видно через него. Вижу, в одной пади дымок закурился, винтом таким стоит далеко от меня. И как увидел я этот дымок, словно меня в спину-то толкнул кто и по ногам урезал. Присел я на корточки, ползти начал, за деревьями прятаться, выпел из-за деревьев, камни пошли; меж камнями на брюхо лег и пополз ближе к дымочку, под гору. Поглядеть мне захотелось, кто там. Долго ползу, тихо ползу. Стал подползать — различаю: огонь развел бурят, а не варнаки наши. На огне бурят пищу себе варит, коня на аркане привязал, винтовку прислонил к огню. Я припал за камень, думал завалиться тут и не ползти дальше, ну их к черту! Да глянул я из-за камка-то, а бурят-от повернулся на тот раз рожею, — я так и сел назад. Вздрогнуло сердце и застучало, в ушах опять зазвенело, в руках и ногах дрожь забила: тот самый карым, которого надо, и лошадь его! Радость так и разлилась по всему по мне и в косточках мозг заныл; я глаза как упер в него, так и не сводил с него. Он самый! Теперь ты в моих руках, только бы вот спрятаться-то мне поладнее, постой ужо! Знаю я вашу бурятскую повадку: теперь вот ты нажрешься падали- то своей, спать ляжешь беспременно и седло себе под голову подложишь. Все вы таковы!

Вздумал я так-то, прилег за камень, большой такой камень выбрал; подожду, мол, когда ты спать ляжешь. Пустил я на него глазом: так точно, поел, свернулся; под голову, может, и одежду-то моих товарищей подложил, мягко ему; зуб даже у меня на тот раз скрипнул. Лег братской и винтовку положил себе к боку, меня вспомнил. Помни!..

Раза три порывался я к нему, да все на ум приходило: не крепко заснул, пробудиться. Пусть заберет сна побольше, распластает суставы-то, захрапит. Рванулся я в четвертые и лез на него недолго: тут он весь передо мной, как на блюде, обозначился. Оторвал я винтовку к себе, схватился сам я на ноги, резнул его, что было силы во мне, палкой по голове, да за аркан его. Попробовал аркан, не крепок что-то показался мне; снял свой кушак, закрутил назад руки,

ноги связал, подтащил его к дереву, привязал его поперек. Отошел от него — и любуюсь!

«Братской в себя пришел, заговорил, просит, обещает:

— Отпусти, сделай милость! Хлеб возьми, винтовку возьми, лошадь!

— Я, мол, и без твоего спросу возьму все это.

— Денег возьми с меня!

— И это возьму (думаю), если есть у тебя, а нет, так и денег твоих не надо.

Он говорит, а я не слушаю.

— Отпусти, слышь, меня, ловить вас не стану и зарок такой на себя наложу.

— Не шути, мол, чертов сын, не обманешь. Где тут хлеб у тебя? Показывай, бурятская рожа.

На торока показал.

— Крупа где?

И крупу показал,

Стал я кашицу себе варить. Он меня молит, а и слушать его не хочу, радуюсь. Сварил я каши, есть ее стал, а он все воет. Поел я, котелок выпростал до суха, взял да еще полой его вытер сухо насухо. Наломал хворосту, огонь подживил, затрещало, дым такой пошел. Дал я этому дыму прочиститься. Пустой котелок подвесил на огонь, стал его калить. А товарищи с ума не идут, а братская противная рожа смотрит тут.

Раскалился мой котелок до красного цвета. Снял я его с огня, как он был, красный-прекрасный, да и надел я его братскому за место шапки на голову, по самые плечи пришлося...»

По другому варианту рассказа дело было так. Беглого поймали трое бурят (он хотя и спрятался, но его приметили), привязали к дереву. Сами стали есть и разговаривать по своему. Из разговора их беглый хорошо понял, что они хотят поживиться его лопатью, а его убить. Затем поели, напились араки (рисовой китайской водки), спать легли. Привязанный ссыльный, заметив нож, забытый ими, стал измышлять, как бы высвободиться, достать нож. Ловкими поворотами и напряжениями мышц ему удалось высвободить одну ногу, дотянуться ею до ножа и после мучительных усилий придвинуть нож к себе, ногою поднять его с земли и перерезать им веревки так,

чтобы освободилась рука одна, а там, стало быть, и весь он встал на ноги, развязался. Первым делом, его было зарезать этим ножом одного спавшего бурята, затем второго. Над третьим, решившим его смерть, вознамерился потешиться: в свою очередь, привязал его к дереву и проделал все то, что рассказано выше и с теми же самыми подробностями в основной легенде.

Таковы забайкальские легенды, рассказываемые везде, с некоторыми мелкими добавлениями. Но вот и официальное дело, до сих пор памятное всем старожилам и взятое нами целиком из архива Нерчинского завода:

«Крестьянин Бурцов жнет в Козловской пади рожь.

В десятом часу вечера к нему скачут на лошади трое ссыльных из Кутомарского завода и строго приказывают Бурцову варить им есть.

— При мне котла не имеется, — отвечал Бурцов, — он в юрте[53], где ночую.

— Вот тебе конь, скачи!

Бурцов сел и ускакал. Не проехал десятины, он увидел соседа, боронившего пашню, подозвал его к себе и успел вымолвить:

— Ко мне приехали три человека гостей из злодеев. Как бы с ними поправиться?

Сосед советовал:

— Ты поезжай назад к ним и как можно, мешкай, я поеду повещу наших.

Бурцов возвратился «к оным вояжирам» с котлом и начал варить им картофель. Один из ссыльных поспешил спросить его:

— А кто к тебе подходил?

— Ко мне подходил крестьянин Чирков и спрашивает: "Кто к тебе приехали трое на конях"? И я сказал, как Вы приказали, что казенные люди у меня в гостях, просят есть.

Ссыльные поверили.

Потом Бурцов просил у них позволения идти молотить, с теми мыслями, когда гости увидят себе облаву от повестителей, не прекратили бы его, Бурцова, жизнь.

Через час времени прискакал Чирков с тремя крестьянами, которые и кричали бродягам:

---

[53] Собственно не юрта, а обыкновенный балаган или шалаш.

— Вставайте и раздевайтесь донага! Ножи бросайте!

Но от такого внезапного нападения оные ссыльные, не оробевши, схватились за свое оружие: за топор, косу и за жердь, кинулись стремглав на оных, и при первом бое ссыльный Никифоров замахнулся косой на крестьянина Чиркова. Чирков, имевши в руках стяг, отвел поразительный замах косою оным стягом, и от пересечения косы на двое оный стяг переломился, и в горячности не помнит Чирков, кто ему проломил в то время голову и чем, не знает.

Увидя упавшего на землю Чиркова, двое крестьян ускакали в деревню. Ссыльные Никифоров и Коурый бросились на третьего крестьянина, Бурцова, один с топором, а другой с косою. Но в это время пришедший в себя Чирков схватился с земли, на которой лежал ошеломлен, осколком стяга ударил Коурого в голову так сильно, что тот сунулся лицом в землю и выронил из рук отнятое от крестьян оружие. Ружье это подхватил третий крестьянин (Обухов).

Пользуясь суматохой, третий ссыльный (известный Забайкалью разбойник и песенник), Горкин, скрылся, а Никифоров успел вскочить на лошадь в то время, когда Коурый пришел в себя, поднялся с земли, ухватился за полушубок сидевшего на лошади товарища и сажень пять тащился за ним. Стащивши таким способом Никифорова с лошади, Коурый, вместе с ним, повалился наземь. Первым опомнился Никифоров, вскочил на ноги, выронил косу и мгновенно выхватил нож. То же, в свою очередь, сделал и крестьянин Обухов. Лошадь очутилась между ними. Тот и другой, стараясь через нее достать друг друга ножами, наносили взаимные раны. Больнее других пришлось Никифорову, который в азарте закричал Коурому: "Не выдавай, руби топором!" В это время Коурый успел уже схватиться с Чирковым, который отбивал его удары. Тогда же Бурцов успел зарядить ружье, выхваченное у Чиркова, и пулей, попавшей в правый бок навылет, положил на месте Никифорова. Коурый, воспользовавшись минутой, "видя неустойку", сел на лошадь и ускакал.

Обухов остался при мертвом, а Чирков "пал на коня" и пустился в погоню за Коурым хребтами до так называемой горы Убиенной[54]. Потерявши след и истощивши свои силы, Чирков

[54] Убиенных гор и хребтов в Сибири не мало. За тем же Байкалом, подле Селенгинска, одна такая гора названа так потому, что у подошвы ее буряты

принужден был вернуться назад в деревню, которая находилась верстах в пяти от места побоища. Туда же Обухов привез убитого и "положил в яму в дабинной ветхой рубашке и портках". На поле битвы следственная комиссия нашла трофеи и записала дело так: "Белая доха, голубой конь, правое ухо провернуто трубкой; седло — некрашеная деревяга без стремян, потник ветхий, сивая кобыла вдовы Дружихи, уведенная из Кутомарского завода в ночное время, с худым седлом и потником, худой кушак с маленьким ножом". Все эти вещи принадлежали ссыльным. У крестьянина Чиркова, при осмотре, оказались три раны».

Если прибавить к этому еще три-четыре дела, сопровождавшихся также убийствами (не менее ожесточенными) и также грабежами (не менее смелыми), то на этом и завершатся все резкие злодейства бродяг в Забайкальском крае[55].

В остальной Сибири деяния беглых становились опасными во всех тех безлюдных и голодных местах, где имели неосторожность указывать каторжным какие-либо работы. Всем памятна разбойничья шайка, собравшая ее из тех каторжных, которые посланы были на закладку соляной варницы (теперь уже не действующей) на пустынном пространстве за Леною. Жестокое обращение, при всевозможных физических и материальных лишениях, вызвало частые побеги. Убийства и поджоги вскоре наполнили весь край тревогою и страхом. В лесах приленских беглые собрались в грозную шайку разбойников, хорошо вооруженную и потому имевшую возможность долгое время держаться на Лене. На лодках с двумя пушками бродяги гуляло по широкому раздолью реки, богатой извилинами и заливами, защищенными древесными корнями и

напали на конвой, сопровождавший посольство Головина, в 1689 году, ехавшего в Китай. Произошла сильная стычка. Головинских солдат буряты сильно теснили. На подкрепление им вышел из Селенгинска гарнизон под начальством ссыльного малороссийского гетмана Многогрешного, который и разбил бурят. С тех пор селенгинские братские — настоящие братские, мирные соседи города.

[55] Между прочими ссыльно-каторжными Егор Григорьевич разбойничал с шайкою из 7-ми человек; братских клали на огонь и жгли, допытываясь денег. В деле его были сильно замешаны семейные раскольники.

подручною непроходимою лесною трещею. Из этих притонов они нечаянно нападали на деревушки, не обеспеченные и не приготовленные к отпору, и на жителей, давно уже обменявших военные орудия на земледельческие.

Приленские деревни представляли для разбойников верную и безопасную добычу. Страх обуял весь приленский край. Разбойники начали нападать уже на остроги и города. В одном остроге успели даже выдержать отчаянную свалку с мещанами, но победили: дома сожгли, имущество разграбили. Начальство спохватилось, стало принимать возможные меры: выслали солдат, собрали облавы. Шайка была разбита и рассеяна, разбойники переловлены, отданы под суд и в 1801 году наказаны кнутом и посажены на цепь в тюрьмах нерчинских рудников. Между ними попался ссыльный (не за политическое, а за уголовное преступление) поляк Левицкий, доживший до 50-х годов нынешнего столетия. Человек этот в последующей жизни успел представить собою такой характерный тип неугомонного и непоседливого бродяги, что мы решаемся остановиться на нем и рассказать со слов знавших его и беседовавших с ним:

«Левицкий, посланный на работы в нерчинских рудниках, снова урвался в бега: независимый характер его недолго мог носить каторжное ярмо. После различных приключений, руководимый счастьем и удачами, то пресмыкаясь, как дикий зверь, в лесу, то снова прокрадываясь, как разбойник, на дорогу, Левицкий добрался до Каспия, здесь был схвачен, снова бит кнутом и прислан в рудники. Из рудников он учинил третий побег, на этот раз в Китай, через Монголию, где несколько грабежей его вызвали облаву. Облава замкнула его в подвижную колонну и, измученного и проголодавшегося, взяла без сопротивления и представила в пограничный караул. Так как побеги за китайскую границу сильно отягощали наших властей большими хлопотами и длинною перепискою, а еще больше за покраденное вдесятеро (согласно мирному трактату), то и раздражение начальства на таковых беглых выражалось наибольшею строгостью наказания. Левицкий не посмотрел и на это: в четвертый раз он убежал из рудников и бегал до тех пор, пока от кнута и палок не согнулась его маленькая фигурка, а изодранное тело не представлялось сшитым из различных лоскутков кожи. В 1832 г. польские изгнанники 1831 года узнали своего оригинального

земляка уже седым стариком, уволенным от работ, но продолжавшим непоседливо таскаться по всему Забайкалью за куском хлеба, зарабатываемым различными способами. Вечный бродяга таскался по горам и лесам с мешком за плечами и бубном. В мешок он складывал куски руды, либо шерлы, которые потом продавал. Бубном подыгрывал песни и песнями подспорял работу, пронзительно-тонким голосом вызывая воспоминания о родине в полузабытых польских песнях. Мешок и бубен были с ним неразлучны. Раз натолкнувшись на земляков своих, на вопрос их о том, чем содержит себя, отвечал: милостынею людей, о которой не просит. На предложенную милостыню согласился, получил хорошее обеспечение, но благодеяниями не воспользовался. Через несколько недель пребывания в доме изгнанников, Левицкий выскочил, как обваренный кипятком, собрал рвань свою, взял мешок с рудою и бубен, и сказавши: "Badzie mi tu zdrowi, serce ojczyzno!"— пустился на старую дорогу бродяжества. Остановившись в какой-нибудь деревне, заводил школку и несколько недель учил крестьянских ребят, но, рассердившись и поворчавши на ребятишек, брал мешок с рудою, разгонял свою школу и, ударяя в бубен марш на погребение, покидал деревню. Крестьяне, по звуку в бубен, узнавали, что учитель опять почуял в себе волка. Ходя, таким образом, от деревни до деревни, везде учил, везде жил недолго. Однажды в Култуминский завод приехал горный начальник Татаринов. Все селение торжественно настроилось к приему его, и когда он спал самым приятным образом, раздался стук в бубен: Левицкий выбивал генеральный марш. Беспокойство, причиненное им, привело его к ответу. Ему грозили разбить бубен. Левицкий отвечал: "Вы начальники людей, а не бубнов. Меня накажите и расшибите, но бубна не трогайте.

Ежели хватит совести бить старика, бейте, но берегитесь моего бубна". Левицкого рекомендовали чудаком и гнев начальства смягчили: начальник дал ему рубль и отпустил без наказания. Получив деньги, бродяга спешил напиться пьяным. Раз, не имея на себе ничего, кроме своих рваных тряпок, свалился на морозе в 25°, но не замерз, а отморозил только пальцы, которые, придя домой, сам же и поспешил отрубить топором. Добравшись из Шилкинского завода до Акатуя, познакомился там с арестантом из Московской гу-

бернии, богатырем по росту и силе и к тому же хвастливым. Богатырь приглашал на поединок, обещая полштофа тому, кто поборет, но никто не являлся. Левицкий, остановясь в это время на площади, принял вызов и, как Давид, пошел на Голиафа. Молодой арестант сбросил с себя армяк и, засучив рукава рубахи, гордо ожидал противника. Левицкий тем временем, смеясь и подшучивая, неожиданно перевернулся и встал на руках, подняв ноги кверху. Перевернувшись во второй раз, он стрелой бросился на противника, ударил его каблуком в переносье, потом схватился на ноги и быстро повалил под себя озадаченного и испуганного силача. Такова-то была старость этого человека, истаскавшего свою жизнь в бродяжничестве! К прочим свойствам его должно отнести резко бросавшееся в глаза безверие, религиозный индифферентизм. Он любил спорить со священниками и показывал глубоко испорченную душу. Прекословил всякому, священников и церковников хватал за рясы и говорил: "Нет Бога!" Кто готов был войти с ним в спор, тех охотно потчевал и ублажал чем мог этот Вольтер в лохмотьях. При таком падении он, однако, сумел уберечь с давних времен неуступчивость, гордость и уважение к собственному достоинству. На свои лохмотья он смотрел, как король на пурпур. Злодейств своих совсем не стыдился. В начале 60-х годов о нем уже не было слышно, наверное, он умер где-нибудь в лесу, либо на пути к какому-нибудь новому Ханаану, которые во всю жизнь казались ему не теми, все не по нем, все без соблазнов на оседлость. Неволя не сломала и не переиначила характера, но сделала то, что в зловонной атмосфере человек потерял внутренние достоинства, пал до совершенного уничижения и только на лучший конец стал чудаком и не разучился петь песни отчизны».

За Байкалом, большею частью, деяния беглых оканчиваются мелким воровством, на которое идут они, по силе обстоятельств, вынуждаемые голодом первопутья и предусмотрительностью для успеха и облегчения дальнейших странствий. Впрочем, на этот случай в тюрьмах сложилась и выговорилась такая притча:

— Что же, батька, — спрашивает сын у отца, — ты меня посылал на добычу: вон я мужика зарезал и всего-то луковицу нашел.

— Дурак! Луковица, ан копейка. Сто душ, сто луковиц, вот-те и рубль!

Кстати: в Сибири бродяжничество до того за обычай, что даже в сказках (разумеется, заимствованных из России) похождения сказочных героев переведены на бродяг, и в этом отношении сибирские сказки являются со значительными вариантами. Вот почему архивные дела с примечательною подробностью повествуют о похищениях беглыми лошадей. Похищение крестьянских лошадей — самое обыкновенное и частое преступление бродяг, идущих мелкими партиями, свидетельствующих о том, что они не на шутку собрались в дальнюю дорогу, а вовсе не для легкой потехи пошалить, покататься и развлечь скуку одиночного тоскливого сидения взаперти. Сибирь переполнена рассказами проезжих, которые сводятся почти все на одно: на проселках, в угрюмой окрестности, натолкнулись на шайку бродяг. Разбойничьи лица, осанки, наружность показывали смелость и отвагу. Здесь они у себя, в лесу, на воле, оборванные, с топорами и ножами за поясом, нападут, ограбят и убьют. Бродяги робкими голосами попросили подаяния. Так делают зашедшие далеко. Не так поступают начинающие свой путь. Хорошо обдумавшая побег, бывалая партия с того начинает первые шаги на пути, что подстережет какого-нибудь ротозея или просто одинокого человека и ограбит. То и дело заводские следователи записывают такие показания:

«Находились мы при шурфовке в Акатуевском руднике, в зимовье бежали оттуда. Пошли лесами к Алгачинскому руднику, ночью скрывались в чащах. Не доходя рудника, увидели в колке человека, собирающаго таловое лыко для приготовления в казну ужищев; отняли у него ружье с порохом и пулями. Зашли в падь, называемую Талмак. Тут, при жжении угля, находился отставной служитель; подождали мы, приехал товарищ на лошади, мы лошадь украли. Когда оба заснули, украли мы хлеба 4 ковриги, картуз, шинель, кушак и юфтевые чирки (род сапог). Пошли на пашню, выпрягли двух лошадей из сох; на одной пади “Янки” отняли у крестьянина седло. В лесу встретились с 4 человеками, бежавшими из Кутомарского завода. От него пошли в Донинской хребет и у деревни того же имени остановились. Я с другим товарищем отправлен был в деревню для воровства коровы, но, увидев едущих с рудой конвойщиков, мы ударились в другую сторону хребта, где у встретившегося крестьянина выпросили хлеба. Он нам дал хлеба и мы его не трогали», и проч.

А то и так (по архиву Петровского завода): «Беглые с Кары на р. Шилке выстроили избу и зимовали в ней. Весной согласились бежать дальше; в ближней деревне украли лошадей, одну лошадь отняли у встретившегося им на дороге братского. В одной пади жили с неделю; товарищи по-знати сходили в Петровский завод и привели оттуда, для пропитания своего, корову», и проч.

С другою партиею встретились конные буряты. Беглые бросились на них и всех с лошадей поснимали, а сами сели и ускакали. Спешенные братские пришли в заводскую петровскую контору жаловаться и, между прочим, рассказывали о том, что бродяги, взмостившись на братских коней, кричали им вслед: «Можно вас, братских, легко нам убить, так как мы-де уже каторжного звания люди».

— Без воровства и не пройдешь, — толкуют сами беглые, — что украдешь, тем и поживешь; ешь прошенное, носишь брошенное, живешь краденым. Каким бы способом наш брат мог такие большие дороги делать и такие подвиги совершать? От Нерчинска до Москвы дойти — не мутовку облизать.

Показания эти находят себе оправдание и в архивных кладовых, в формальных делах. Вот, между прочим, из множества других случаев, один образчик (найденный нами в Кяхте), образчик признания, сделанного беглым, задавшимся одною из труднейших задач бродяжничества: из Охотского порта в Кяхту.

Являет признание мещанин кяхтинского общества, наказанный за преступление кнутом и сосланный в ссылку в Охотский порт, а в чем, тому следуют пункты:

«По конфирмации главной команды в 1800 г. сослан я был в ссылку и препровожден под караулом, через земские правительства, и по приводе в город Якутск сдан был дворянскому заседателю и со оным был отправлен, в числе прочих преступников 350 человек, для чищения дороги к реке Мае, за присмотром казаков без всяких крепей. Следуя к реке Мае, в июне месяце украв у якутов ружье и пять котиков, из партии бежал один и в хребтах сошелся с таковыми же ссыльными, всего шестью человеками, и с ними шел хребтами и лесами 45 дней, питаясь украденным в разных местах у промышленных тунгусов звериным мясом. Вверх по р. Алдану нашли мы на 4 человек беглых тунгусов. Здесь товарищи

от меня отстали, а с тунгусами согласясь, которые и вели меня на Амур-реку к устью, впадавшему в море, называемому разливом, где жительствуют орочены, и сами остались в том месте, а я оттоль пошел один по жилью, а где есть орочены, то, зайдя ко оным, вытребуя пищи, называл себя промышленным и заблудшим человеком, которые мне показывали путь, каким образом можно выйти к р. Горбице. По словам их вышел к оной, покрал тут со степи лошадь; доехал на оной до г. Нерчинска ночью, переночевал у отставного солдата Семена (а чьих прозыва-ется — не знаю). А оттоль ехал братскими улусами и мелкими деревнями, и, отъехав от Нерчинска верст с 200, переехал за границу; променял там мунгалам имевшиеся при мне 5 котиков и винтовку, покраденные у якутов, за которые выменял серебра с 16 лан и чунчу (дешевую шелковую китайскую материю). По вымене оных вещей следовал до здешней крепости (Селенгинска) известными мне местами, а укрывался в доме матери. Сверх того воровства чинил: в-1-х, толмача Анжинка быка шерстью бурого и бесхвостого; во-2-х, четырех лошадей; в-3-х, две лошади; в-4-х, две же лошади, и все оные, также и прежнюю лошадь, на которой ехал, провел я за границу потаенными местами и продал за наличные деньги мунгалам (монголам) за сто руб., с которыми прежде до ссылки имел дело. Вчерашнего числа примерно пополудни, часу в 8-м, пришед в здешную крепость и в стоящем за выезжею рогаткою кабаке под окном выпил вина за три раза по 10 коп., а узнал ли сиделец, знать не могу. И оттоль, мимо рогатки и гобвахты, прошел к дому тетки под окно и просил у нее хлеба. На вызов мой вышел из избы какой-то служивый и от оного я бежал, а где служивый остался, я уже не знаю. Потом уже, в другой или третий раз пришед к дому тетки, вызвал ее на двор и в то время выбежали из двора, а сколько человек, не упомню, втащили меня в избу, а оттоль взят на гобвахт. А имевший на мне лабашек (полушубок), камзол и котомку с деньгами, кто с меня снял или я сам сбросил, того за пьянством не упомню». Признание это Карп Патюков учинил «чрез посажение в деревянную колодку и устращивали посажением же в большую колодку и железа» (добавил к делу писарь).

Рассчитывающие на дальнюю дорогу бывалые бродяги весьма нередко запасаются фальшивыми паспортами. Мастерят их сами в тюрьмах, покупают и на стороне у знающих это мастерство людей,

крадут по ночам и у тех счастливых товарищей, которые успели запастись ими. Попадаются иногда на том, что полуграмотный писарь выставит очень крупный номер, длинную цифру, но чаще пропускают их без паспорта везде там, где бродяжье дело почитают за великий обычай. С паспортом бродяга, разумеется, всеми мерами уклоняется от того, чтобы не встретиться с опасными и гибельными случайностями, которые могли бы повернуть заработанный путь на обратную. Выгоднее для бродяги пробраться без задержек на широкий простор матушки-Сибири и там уже подвергнуться всем неожиданностям и случайностям бродячей жизни. Полезнее совершить мелкое воровство, вынужденное голодом и крайностью, чем прежде времени лишить себя тех удобств, которые так легко достаются в пределах Восточной и Западной Сибири. Нет сомнения в том, что многие беглые, не доходя еще до Байкала, погибают: кто заблудится в глухих тайговых местах и умрет там с голоду, кто, дерзко доверившись утлой лодке, потонет на бурливом Байкале-море, «отправится на дно омулей ловить».

Кроме известной песни, сочиненной каким-то опытным стихотворцем, существуют целые рассказы неподдельные, из которых нам кажется искреннее и характернее других нижеследующий, а потому мы и приводим его со всеми подробностями.

Бегут трое и доходят до р. Селенги, на берегу которой видят готовый плот, приспособленный для кяхтинского хлебного транспорта. Плот этот беглые спускают в воду и плывут на нем рекою в устье, т. е. в озеро Байкал. На Байкале их встретил попутный ветер, направлявший их прямо на Николаевское селение и Лиственичную станцию. На середине озера ветер переменился и плот поволокло в противоположную сторону к баргузину и грозило затащить в мертвый и безлюдный угол Байкала, к Душкачану. Для бродяг наступили третьи сутки голода и холода: ветер знобил их тела, истощенные постом, и с успехом боролся с их оборванною и измызганною одеждою. Пловцы пришли в крайнее изнеможение. Один изныл совсем, мучился, крепился и, не выдержав напора бедствий, на глазах товарищей опустился в воду и потонул.

«Мы перекрестились оба. К вечеру и другой мой товарищ опустился следом за ним. Я опять перекрестился. И мне туда же лежала

дорога, да знать здоров и крепок был, да на родине, в деревне, может, старуха мать за меня Богу помолилась. Прибило мой плот к берегу. Я вышел мокрым и пошел брести наудачу. Увидал дымок зверовщика-русского; подошел к нему, спокаялся; накормил. "Живи-де у меня в работниках". Ладно! Жил я у него в сторожах, в его промысловой избе. Да скучно мне стало: он уйдет в лес белковать, а мне и говорить не с кем, слова перекинуть не с кем, хозяин и собак всех уводил с собой. Ушел я от него: пойду-ка, мол, к своим старым товарищам на заводы. На дороге мне буряты попались, связали меня и привели на Кару. Там мне, дело известное, розог надавали, сколько влезло, и указали жить не по своей, а по ихней воле».

Иного беглого изломает медведь в лесу, отощавшего и измученного, тем более что горы и отроги Яблонового хребта так многочисленны, перевиты и перепутаны, так много в них фальшивых падей, обманчивых колков, что и самый опытный бродяга имеет полное право растеряться, прийти в отчаяние, потерять решимость и твердость духа и заблудиться или провалиться. Некоторые бродяги, счастливо одолевшие лабиринт лесов и гор, сейчас же за ними попадают в новые опасные места с правом умереть с голоду на обширной Братской степи, где сам бурят ест плохо, живет разбросанно и все стремится встать жильем по окраинам степи, поближе к жильям русским и к лесам, а стало быть, и к воде. Не лучше и дальше, если попадет он на так называемую кругобайкальскую дорогу или «кругоморский путь», идущий безлюдными местами, с которыми вот уже сколько лет не может сладить искусство сибирских инженеров и старания подрядчиков. О многих бродягах высылаются только глухие рапорты многих уездных полицейских властей, что вот найден в таком-то «зимовье неизвестный бродяга замерзшим», на такой-то «заимке, в бане, столько-то умерших, вероятно от угара». Великое множество бродяг представляется в завод и на суд в санях и телегах с отмороженными руками и ногами, окоченевшими на морозе до смертельной агонии. Серьезных ушибов и разных вывихов бродяги уже в счет не ставят, дело обыкновенное, каждому набежать приводится. Редкий из вернувшихся не вывихнул либо руки либо ноги, не зашиб спины либо боков и груди.

Как ни значительно число погибших в Забайкалье, все-таки еще очень много их является за Байкалом на бесконечные хлопоты зем-

ских властей, на беспокойство мирных и честных обитателей из сибирских старожилов по деревням и селам, по городам уездным и губернским. Трудно одолевать беглым забайкальские пустыни. Бродяги по сю сторону Байкала, в местах, погуще населенных, считают себя почти вне всякой опасности: уже на юге Иркутской губернии и даже вблизи губернского города они становятся смелее и развязнее. В окрестностях города Иркутска у них как бы первая станция с продолжительным отдыхом; здесь они набираются и новыми силами и новыми сведениями и паспортами, а смелы и развязны становятся настолько, что даже пошаливают. У самого города Иркутска, на так называемом «Острове Любви» (против московского перевоза через Ангару), найдены были делатели фальшивых видов, материалами для которых служили аттестаты и прочие документы, выкраденные из присутственных мест. У пойманных отобраны были паспортные бланки, указы об отставке нижних чинов и печать конторы иркутского военного госпиталя. У подгородных крестьян то и дело случается такого рода горе. Приходят к ним наниматься в работу неизвестные люди. Рабочий дорог, крепко нужен так, что уже и такой обычай установился, чтобы приручить его к себе крупным задатком (без задатку в Сибири никто шагу не делает). Дают задатки большие, пойдут предъявлять виды в полиции, а виды там, сплошь и рядом, оказываются фальшивыми, но при этом зачастую только опытный полицейский глаз различает подделку от настоящего. Получившие задатки, само собою разумеется, богаты. Мы помним два случая, из которых в одном поплатился поселенец 26 руб. задатка, в другом крестьянин 10 р., представивший в полицию оставленные им в обеспечение документы, написанные одною рукою и заверенные одинаковыми печатями. Бросились по горячим следам и, на 19-й версте от Иркутска (на Московском тракте), настигли виновных, сознавшихся в составлении фальшивых видов, в подделке печатей, в перемене имен, побеге с золотых промыслов и в совершении различных краж в Иркутске. Кражи в Иркутске — явление обычное, и притом совершаются они с поразительною ловкостью и изобретательностью.

Прибрежные жители Ангары каждою весною, тотчас же по проходе льда в реке, видали плывущие мимо маленькие, наскоро сплоченные плотики, шириною бревна в три-четыре, связанные

ветлами и на них груду ветоши (прошлогодней травы), какую-нибудь носильную рвань и по два по три человека рабочих. Это — бродяги, пустившиеся искать себе счастья на бойкой воде этой замечательно быстрой и оригинальной реки; пороги они обходят пешком и ниже их делают новые плоты. Быстрота течения, усиленная еще, сверх того, весеннею водою, позволяет бродягам доходить до такой смелости, чтобы плыть под самыми окнами каторги (каков был иркутский солеваренный завод) и даже отдыхать на заимках в самой ближней окольности ее.

Начальство заводов, обремененное опекою и надзором за собственными каторжными, равнодушно смотрело на проезжих с чужой каторги и, страдая недостатком людей в собственных заводских командах, находилось даже в невозможности преследовать прибылых и новых. В тех только случаях, когда губернское начальство, напр., казенная палата, задаст большой заказ на вино или соль, а рабочих рук недостает (своих заводских рабочих много в бегах), заводское начальство командировало солдат для осмотра соседних заимок и от этого маневра было всегда в барышах. Солдаты в один раз приводили человек по 12–15 беглых, из которых обыкновенно целая половина просила одной только милости: задержать их на заводе и не пересылать на нерчинскую каторгу, откуда сбежали они и куда не хотели бы возвращаться.

Немалая часть беглых уходит дальше и, добравшись до золотых приисков частных людей, живут там лет по 8–10, получая денежную плату, хотя и ничтожную.

В глухое время бродяг обыкновенно ловят не часто, а потому редкий проезжий по сибирскому тракту, в любом месте до Урала, не встретит артелей бродяг человек 5–6 (а иногда и до 30-ти вместе), скромно пробирающихся по направлению к России, с котомками за плечами, с сапогами про запас. Таковыми рекомендовали нам понимать тех наших встречных, которые пять раз перерезали нам дорогу от Екатеринбурга до Иркутска и которые, по туземным приметам, тем отличаются от невинных путников, что имеют про всякий случай, на дневную пору, робкий, запутанный вид и редко находчивы для того, чтобы снять пред проезжим шапку, как делают это поголовно все сибиряки не из беглых. Туез (бурак) у пояса, да топор за поясом, нищенское одеяние (старые измызганные сермя-

ги), за плечами мешки, да бледные, изнуренные лица с синими кругами под глазами — считаются также в числе обычных бродяжьих признаков. Нет сомнения и в том, если они попадаются вблизи Уральского хребта; эти прохожие все-таки на большую половину бродяги, беглые с заводов, которым смиренство и кротость помогли одолеть все соблазны: Красноярск и Томск. «Красноярск, — говорят беглые, — строгий город и не мастер ютить у себя вольных охотников, свободных путешественников; Томск — такой город, где некогда был для вольного житья бродяг широкий простор при помощи разных случайно сложившихся обстоятельств». Томск, и в самом деле, один из таких городов, где деятельность полиции больше всех сибирских городов находится в затруднениях и где меньше всего частная собственность находилась в безопасности. Хроника полицейской практики по поводу убийств, краж, грабежей и мошенничеств всякого рода в городе Томске обильно испещрена весьма крупными и яркими чертами. Судя по хронике этой, Томск как будто центральное место для отдохновения ссыльных, вроде огромного постоялого двора, а городские задворья нечто даже вроде базара или даже ярмарки[56]. Зашалившись, наигравшись и отдохнув здесь, счастливые из беглых идут дальше с тем же смущенным видом и кротким сердцем, мало обращая внимания на едущих навстречу, не поднимая даже глаз на них, как бы появлению их от давней привычки не придают в этих местах никакого значения. В крайних случаях они приближаются к кошеве, просят милостыни и только в самых крайних и очень редких случаях решаются грабить и убивать. Да к этому и большой нужды не предвидится: бродяга в этих местах уже сыт, да и весьма близок к цели странствий. Бараба живет домовито, и по ней на каждых 20 верстах вытянулись людные деревни, которые и сытно едят и в рабочем, при богатстве угодий, нуждаются. К тому же нынешние жильцы этого коммерческого тракта сами либо дети, либо внуки и правнуки таких же несчастных

[56] Но и для Томска бывали строгие времена, и бродяги, говорят, подходя к городу, стали осведомляться, «кто правит полицией, и если-де все еще Петька Любимов — то, ну его к черту! — и ходить нечего, не рука»!... Однако после него в 1863 году, в первые три дня Святой недели полиция нашла семь трупов, из которых некоторая часть лежала подле разграбленных лавок.

и ссыльных людей. В таких местах бродяги не задумываются безбоязненно входить в самые деревни и под видом нищих и богомольцев выпрашивать под окнами плаксивым голосом, на напев «Милосердной»: «Милостивые наши отцы и матушки, не оставьте несчастных прохожих! Христа ради, подайте милостынку». Если прежние крестьяне не ловили бродяг из сострадания к ним: «пущай-де идут себе с Богом, зачем мы станем обижать несчастненьких, на что у них свое начальство есть», то барабинские жители и те, которые живут благодушно и богато по Иртышу и дальше, умеют издавна обращать слово в дело. В этих деревнях и селах милостынею несчастненькому обязывает себя всякая домовитая и сердобольная хозяйка, выставляя за окно на улицу на особой полочке первый подвернувшийся под руку харч и хлеб в достатке. Пропадет этот хлеб и харч с окна и полочки — хозяйка сотворит благодарственную молитву, крест на себя положит и опять поищет остатков и выставит за окно новую и свежую провизию. Так ведется дело искони и по всем попутным для бродяг деревням не только в Сибири, но даже и кое-где в России. Прежде обычай этот был повсеместен, теперь он ослабел от преследований и внушения, и полочку с хлебом велят искать теперь прямо и без церемонии в самой избе на красном столе, а ночлежное ложе в подызбице. Во всяком случае, не подлежит сомнению то, что, поселившись в лесных землянках, бродяги зачастую выходят в деревни просить милостыню на правах нищих либо погорельцев. Сбившиеся в большие артели беглые решались даже затевать по деревням пение песни «Милосердная», по образцу этапных партий. Давно практикуемый в России обычай сеять горох и репу около дороги на помощь и лакомство для прохожих, в Сибири стал обязательным в такой степени, что продукты эти уже не сеют иначе, как у самого полотна проезжей дороги, у самых пешеходных троп про нужду бродяг и в отвращение вероятных бед от голодных. Сибирская репа вкусна и крупна, а потому у дороги всегда выщипана, во имя закона соединять приятное с полезным.

Оправдание этому явлению можно искать в такой же живой симпатии простолюдинов средней и южной Италии к бандитам — этим изгнанникам, поставленным вне закона и ушедшим в горы разбойничать, в недоверии к правосудию судебной власти, во многом не

согласной с юридическими понятиями и обычаями самого народа. Находите ее в чувстве народного самосохранения, желающего предупредительною дачею отвратить вероятный факт сердитого и смелого нападения голодающего и, в случае отпора, мести его за неудачу; находите причину таковой благотворительности в христианском чувстве сердолюбия к несчастной братии, которую незлопамятный народ наш перестает считать преступною, коль скоро преступление выкуплено карою и очищено возмездием, хотя и заслуженным, но все-таки обращающим вора и душегубца в жертву, возбуждающую сострадание. Может быть, и вернее всего, главная причина покровительства и защиты бродяг в путешествии — во всех этих чувствах вместе взятых, но не в нынешней любви к удалым добрым молодцам, а именно в той тоске о памяти времен «шатанья», тоске, которая до сих пор громко сказывается и сильно заявляется в бесчисленном множестве видов бродяжничества. Значительная часть их обусловлена даже коренным законным дозволением, и самая большая половина обессилила закон и живет помимо его прочно и крепко. Бродяжничеством жила Русь далеко после тех времен, когда сплотили ее в государство; бродягами расширила она свои пределы и ими же отстояла свою независимость, от диких кочевых орд, напиравших на нее с востока и юга. Бродяги колонизировали север, завоевали Сибирь, населили Дон и Урал, когда еще это слово не получило настоящего своего значения и нынешние бродяги носили название «гулящих, пришлых, вольных людей». Не умалило этого народного коренного свойства искать способных и выгодных мест на свободном и широком раздолье земли своей и Московское государство, когда ослаблено было экономическое и государственное значение Филиппова заговенья и уничтожен крестьянский выход на Юрьев день. Бродяжничество, как вольный переход с одних земель на другие, и теперь живет в народе, как одно из коренных начал его быта, и движет народом на всех путях, хотя и под другими именами, с иными оттенками. Проявилось в нем и святое религиозное чувство; почувствовали в элементах его нужду для себя и торговля, и ремёсла, и промыслы, и самая общественная жизнь успела уже выродить настоящих бродяг, в европейском смысле этого слова, и на них пока затворилась. Бродяжничеству еще долго придется жить на Руси и в народе.

Замечено, что большая часть беглых не заходит дальше пределов Западной Сибири. Чаще других посылают иркутский, нижнеудинский, канский и каинский земские суды, но всех чаще ялуторовский (Тобольской губернии), хотя сюда-то по преимуществу и направляются бродяги, желающие попадать на Волгу и в южную Россию. Беглые из Успенского винокуренного завода (Тобольской губернии) наладили и завоевали себе путь в Россию по направлению на гор. Челябу, а оттуда уже на Уфу и дальше, куда кому вздумается. Этапной дороги по России боятся, ходят дорогами малоторенными, но по Сибири зачастую, говорят, ночуют на этапах, в самых полуэтапных зданиях, пользуясь прежним знакомством и побратимством с солдатами.

Весною 1866 г., по поводу одного убийства, сделали тщательные розыски около Омска и в неделю наловили 180 бродяг. Замечено, что особенным усердием и настойчивостью на побеги отличаются мусульмане (татары и горцы), с тупым равнодушием выживающие каторжные сроки, но бегущие тотчас на родину, лишь только выпустят их на пропитание или на поселение. Такое явление подмечено было начальством и вызвало сенатский указ, который установил: вследствие беспрестаныых побегов из Сибири сосланных на каторгу магометан, таких преступников из губерний Казанской, Симбирской, Пермской и Оренбургской отправлять на будущее время в финляндские крепости. Впрочем, судя по цифрам сосланных мусульман после издания этого указа, последний не применялся в полной силе: мусульмане ближайших к Сибири губерний бегали назад, пользуясь близостью места и удобством прикрытий. Бегали и черкесы, бессильные совладать с острыми припадками опасной болезни «тоски по родине». Известный путешественник по Сибири Аткинсон в непроходимых окрестностях Алтын-Куля и долины Бии встретил партию в 40 человек таких беглых черкесов:

«Занимаясь в россыпях промывкою золота, черкесы сумели тайно припрятать небольшое количество золота, на которое добыли себе необходимое оружие и снаряды к нему. То и другое было спрятано ими в одной отдаленной пещере, находящейся в дикой недоступной местности. В условленный день они бежали все разом из разных рудников, где были распределены по работам, и довольно удачно соединились в пещере. Потом они успели захватить кир-

гизский табун, из которого выбрали себе хороших скакунов, принудив пастухов быть их проводниками через Саянский хребет. Лес служил им палаткою, лесная дичь — пищею. Конечно, голод и нужду приходилось им терпеть очень часто, но надежда поддерживала смелых горцев. Наконец, все-таки они достигли таких мест, где проводники сказали им, что дальше не знают, куда вести их. Черкесы отпустили проводников и пустились далее наугад. Ужасные, крутые пропасти Алтая и дикие горные потоки принуждали их к бесконечным обходам и переходам и до того сбили с толку, что они, наконец, попали в трущобы Алтын-Куля. Тут-то у них и произошла стычка с обитавшими там калмыками. Хотели ли последние захватить их в плен и потом выдать русским, или черкесы, вынуждаемые крайностью, прибегли к насилию, этого нельзя было узнать: результат был, однако, тот, что несколько калмыков было убито, и аул их был предан пламени. Обстоятельство это послужило сигналом к заключительному акту трагедии. Быстро разнеслась весть о появлении вооруженных людей и, переходя из аула в аул, достигла, наконец, с подобающим преувеличением до казачьего поста Сандинского. Случилось, что командовавший в форпосте офицер был тогда немного более обыкновенного весел, по случаю праздника». Долго не размышляя и не теряя времени на бесполезные думы, он тотчас же отправил в Барнаул нарочного с тревожным известием. Известие пришло в то время, когда развеселый Барнаул приготовлялся к предстоящим балам и святочным увеселениям; сказали, что три тысячи азиатов идут мешать этим удовольствиям и, вместо паркетного вальса, могут заставить кружиться в песке на аркане. Весь город пришел в страшное смущение. Новые вестники из долины Бии говорили, что войска состоят из семи тысяч человек, а другие даже уверяли, что всего десять тысяч, снабженных ружьями и проч. Между тем, дело кончилось, по словам Аткинсона, следующим образом:

«Все общества калмыков, населявших долину реки Бии и окрестности Алтын-Куля, соединились и, зная отлично все ущелия и тропинки, сначала преградили черкесам пути ко спасению, а потом загнали их в такую трущобу, откуда не было никакого выхода. Когда, наконец, черкесы приблизились на расстояние ружейного выстрела, между ними и калмыками завязалась отчаянная

перестрелка. Скрываясь в засаде, калмыки были в очевидных выгодах перед черкесами и могли стрелять в них почти в упор. Черкесы так и падали один за другим от метких выстрелов своих озлобленных врагов. К вечеру того дня число черкесов с 40 уменьшилось до 15, которые, побросав своих лошадей, пытались было по острым камням и утесам выползти из ущелья. Не перекусив за целый день ни крошки и совершенно выбившись из сил, они принуждены были провести ночь на голых камнях, под открытым небом. Когда рассвело, черкесы пустились карабкаться дальше и уже доползали до маленького лесочка, как вдруг навстречу им раздался ружейный залп засевших в лесу калмыков: трое черкесов пали мгновенно, а еще пятеро были подстрелены на бегах. Отчаянная погоня возобновилась опять. Через несколько времени осталось в живых только четверо черкесов, которые успели скрыться в лесу. Наконец, кажется, сама стихия решилась принять участье в борьбе. Небывалая по страшной ярости буря разразилась громом, молниею, снежною вьюгою и всяческими невзгодами. Калмыки принуждены были поспешно отступить, предоставив решению высших сил конец этого печального акта. Четыре дня длилась буря с бураном, и ни единая живая душа не слыхала потом ничего об остальных четырех черкесах. Нет сомнения, что они вскоре потом погибли от голода, холода и страшно мучившей их жажды».

Не лучше этой участь и всех других горцев, имеющих обыкновение, вопреки общим бродяжьим порядкам, направляться в киргизские степи, а между прочим, и тех, о которых существует в Сибири такая легенда.

Несколько беглых горцев брели, томимые голодом и жаждою, по необитаемой степи киргизов. Но судьба была настолько к ним милостива, что указала им в одном месте верблюда. Приблизившись к нему, они нашли его живым и привязанным к кургану. На кургане лежало все то, что им было надо: кусок жареного мяса, чашка вареного риса, чашка кумысу и еще кое-что из съедобного, а между прочим — кошма (войлок), халат, башмаки и еще что-то носильное. Все это свидетельствовало о том, что беглые пришли на могилу киргиза, здесь погребенного с любимыми вещами и ездовым верблюдом. Беглые потребили все съестное и, заметив во взгляде верблюда что-то умоляющее и печальное и почувствовав в сердце

участие к нему, без сомнения обреченному на голодную смерть, отвязали верблюда и пустили на волю, а сами, в свою очередь, отправились дальше. Верблюд пошел за ними. Прибавляя шагу и рассчитывая в верблюде найти предателя, беглые прятались за песчаные холмы, чтобы скрыться из глаз его, но не достигали цели. Припадая к рытвинам, они ложились и отдыхали — преследовавший их верблюд также ложился и отдыхал. Но лишь только они поднимались, пускались в путь дальше, рассчитывая, что верблюд спит и не видит, верблюд, вероятно, движимый чувствами признательности за спасение, также поднимался с места своего ночлега, вытягивал свою длинную шею и, пользуясь широким кругозором ровной степи, выглядывал своих спасителей и пускался следом за ними вдогонку. Раз даровав ему жизнь, беглые из личных расчетов не решались пресечь ее и, таким образом, сами попали на аркан киргизов, нашедших могилу соотчича святотатственно ограбленною и рокового верблюда отвязанным. Беглые были связаны и представлены в Омск для того, чтобы рассказать в тамошней пересыльной тюрьме эти свои приключения. В Нерчинских заводах начальники их из опыта и многолетних наблюдений вывели то замечание вдобавок ко всему, что беглые мусульмане довольствуются тем, что сходят подышать воздухом родных гор и долин и снова возвращаются на каторгу, как бы считая для себя постыдным и греховным делом обходить судьбу и бороться с нею собственными людскими средствами. Недаром же они покорялись ей во все время, назначенное для каторжных работ, и пустились в бега только потому, что сняли с ног путы и дали достаточно свободы, чтобы ею воспользоваться и полечиться от неизбежной тоски по родине.

Конечно, не делают так беглые из русских преступников. У этих свободного, произвольного возвращения не замечено. Напротив, беглые русские в большинстве своем стараются не только добраться до родного пепелища, но и забежать дальше и, если возможно, пожить повеселее и почуднее. По Сибири, в пятидесятых годах, двое ссыльных, под видом ревизора-генерала, ездили по городам с фальшивыми паспортами и наводили на всех чиновников страх и ужас. Поссорившись между собою, пошли опять в каторжные тенета. По Тобольску долгое время ходил юродивый, бывший у тамошних дам в великом почете: его кормили, ублажали, считали святым

человеком. Мужья, справившись с карманами, стали подозревать его и следить за ним, особенно за длинными, грязными волосами, которые безобразно закрывали все лицо юродивого. Навели справки, сделали легонький осмотр: на лице святоши оказались невытравленные каторжные клейма, а юродивый — бегло-каторжным из тюменских купеческих сыновей. В 1863 году беглый солдат пермского батальона Софронов, под видом и званием капитана турецкого флота и полковника де-Северина, шалил по Сибири: в Тобольске не совсем удачно, в Таре с приобретением значительных сумм взаймы, в Томске с приглашением на балы и обеды. В Красноярске в нем усомнились, заковали в кандалы, посадили в секретную чилсовку и пригрозили плетьми. С одного из этапов за Красноярском Софронов опять бежал, опять надел гусарский мундир и снова мошенничал направо и налево до Иркутска. В Иркутске опять его заковали и сослали дальше, преградив ему путь к дальнейшим обманам и самозванству. Ни с приглашением, ни без приглашения он уже никогда и ни к кому не ездил, не брал взаймы денег и не измышлял ловких и неловких надувательств. Словом, проказ бродяг по Сибири не оберешься.

На этом для опытных и терпеливых беглых не конец. Некоторым удается пошалить и проказничать и в самой России, которая в этом отношении не строже Сибири. В России пути каторжных беспредельно широки и длинны. Как некогда в них находили для себя много питательных и готовых начал все те систематические разбои (особенно волжские), которые еще в начале нынешнего столетия были сильны, так и теперь в этом элементе заключено еще немало опасности и он сам в себе представляет еще много живучей силы и деятельности.

Когда, во время разбоев Быкова под Казанью и после ареста его в тамошнем тюремном замке, потребовалось поискать и найти бежавшего его товарища и самого главного злодея Чайкина, городская полиция сделала повальный по городу обыск. Обыска этого не сумели сделать внезапным; значительно огласило его само общество, принявшее живое участье в розысках товарищей из шайки разбойников, и сама полиция рылась по кабакам и тайникам долгое время, но все-таки успела в самом городе Казани (с 10 августа по 15 сентября) найти 17 человек беглых и беспаспортных. Одни

оказались бродягами, не помнящими родства, другие отлучившимися без дозволения начальств и шатавшимися по городу без определенной цели. Между ними *третья часть, девять человек*, оказалась бежавшими из Сибири с *каторжных работ.* Таковыми же были и сами Дмитрий Иванов Быков и Севастьян Васильев Чайкин, бежавшие в 1845 году вместе из Иркутского солеваренного завода, а Федоров из Нерчинского.

В 1849 году, 23 июня, дано им было по тысяче пятисот ударов шпицрутенами, с намерением отправить в каторжную работу без срока, но, быв отправлены в лазарет, оба 25 числа умерли от воспаления легких.

Известный Гусев, несколько раз бегавший из Сибири, разбойничал под Саратовом и в самом городе святотатственно ограбил собор. Такой же веселый песенник и несомненный поэт Кармелюк разбойничал на Волыни и только измене и подкупу обязан был тем, что его убили в хате его возлюбленной.

Когда в Астрахани, на волжских рыбных промыслах, велено было привести в известность количество рыбаков, не имеющих паспортов, и земскими властями произведен был учет всем людям на всех ватагах, число беглых выяснилось в громадную цифру — пятнадцать тысяч. Близ той же цифры полагают число беспаспортных на рыбных ловлях Азовского и Черного морей. Полиция городов приморских находится во всегдашних затруднительных обстоятельствах при стремлениях охранять частную собственность граждан среди такого наплыва всякого сброда людей, где часто кто с борка, кто с сосенки, кто прямо-таки с нерчинской каторги. Всегда подобный факт становится явным, лишь только полиция, по какому-либо возбуждению, усилит свою деятельность, напряжет свое внимание и старательнее осмотрится кругом себя. В Астрахани до сих пор памятен человек, несколько недель свободно ходивший по тамошним исадам (рынкам) с подвязанными щеками, которые потом оказались клеймеными штемпелевыми точеными знаками, и видимо мирный обыватель был бегло-каторжным. И едва ли где частная собственность наименее находится вне опасности, как именно в тех городах, где безрыбье в известное время обусловливает возрастание многолюдия в известных местах. Некоторые города в этом отношении получили даже крупную общественную известность у

читателей наших газет, обращающих внимание на более характерные иногородние корреспонденции. Не мудрено такие города распознать и выделить.

Вообще, путь сибирских беглых до России замечательно велик, бесконечно разнообразен подробностями и обстановкою и в разнообразии своем и тягучести как будто даже и конца не имеет. Обрываясь для одних менее счастливых и смелых, он идет для других, взысканных слепым счастьем. Для ссыльно-каторжного Быкова он был через кабак, два года тянулся по деревням оренбургского тракта, оборвался на разбоях в Спасском и Лаишевском уездах Казанской губернии и под городом Казанью, и повернул было снова туда же, назад, на каторгу, но вдруг пересекся по причинам, от самого Быкова не зависящим. Для бегло-каторжного Попова путь этот вышел на ветлужские поместья, вывел этого смелого искателя приключений в Петербург в честь и славу, где то же счастье дало ему во владение чин большой, два дома больших и большие кучи денег; оборвался этот путь на сенате и опять повернул с ним же, невоздержным и зарвавшимся на удачах счастливцем, на каторгу, снова туда же, откуда приходил он за этими предательскими подачками слепого счастья.

Глава IV. На пропитании

Испытующиеся. — Воздержные. — Невоздержные. — Казенные порядки и степени облегчения. — Прикованные к тачкам. — Прикованные на стенную цепь. — Колокол. — Сумасшествия. — Акатуй. — Тамошние цепные. — Секретные. — Каторжные селения и жители. — Юрдовки. — Теребиловки. — Фабрика фальшивых паспортов. — Горные служители. — Торговля крадеными металлами. — Желтая пшеничка. — Карымы. — Фабрикант червонцев. — Соколов. — Успенская фабрика. — Бумажные фальшивые деньги. — Каторжные болезни. — Пропитанные. — Исправившийся каторжный. — Шатание и воровство. — Увольнение от работ. — Каторжные дети. — Песня

Прежде чем ссыльный приобретает себе право выйти на *пропитание*, поступить в разряд так называемых *пропитанных*, ему предстоит еще много степеней и разрядов. Вот этот порядок по официальным бумагам, правилам и предписаниям. Начинаем с каторги на заводах.

Все ссыльно-рабочие, по пребытии на завод, поступают в разряд *испытующихся.* Они живут в казармах, свободные от оков, под ближайшим надзором надзирателя и непосредственным наблюдением смотрителя; довольствуются пищею в артели; летом лучшие увольняются для обрабатыванья огородов; правом отдыха *пользуются* только в табельные дни. Поступившим из партий дозволяется жить в квартирах *воздержных.*

Эти воздержные пользуются следующими правами и преимуществами: могут строить для себя дома, могут пользоваться землею для хлебопашества, сенокосов, огородов, заниматься скотоводством. Не имеющие собственных домов могут пускать их в казенные работы, за установленную плату. Для отдыха и поправления своего быта пользуются всеми воскресными и табельными днями. «Но если бы кто из употребляемых по мастерствам в цехах принадлежащие ему дни отдыха посвятил, по назначению начальства, казенной работе, таковой за эти дни имеет право на двойной плакат и в обоих случаях пользуется отпуском провианта сполна определенным пайком». Из этого разряда воздержных назначаются надзиратели по разным цехам. Ссыльно-рабочие этого разряда, как приобретшие право на снисходительное внимание начальства к лучшему устройству их быта, увольняются в страдное (рабочее) время для полевых работ, смотря по мере надобности, для заготовления корма скоту и уборки леса. Сверх того, дабы более исправить их нравственность и укоренить благонравие тех из этого разряда, которые отличаются своим поведением, будут подавать пример своим сотоварищам, предоставляется управляющему право (на основании утвержденной для него инструкции и высочайшего указа, данного правительствующему сенату в 10-й день октября 1821 г.) исключать из ссыльных и помещать в мастеровые, производя в подмастерья и мастера, если искусством своим сделаются того достойными, с распространением на них и на детей их всех прав, мастеровым присвоенных. И чтобы отличить этот разряд самым наружным видом, то немолодым из них дозволяют носить бороды. «За прожитие на заводе совершенно беспорочно, с должным прилежанием к работе и покорностью к начальству, ссыльно-рабочим прибавляется, сверх положеннаго плаката, по роду работ, ежемесячно: проведшим 5 лет — по 50 к., проведшим 10 лет — по 1 руб. и за 15 лет выпущать

их на собственное пропитание. Воздержные получают плакат на руки, другая же половина поступает в сохранный артельный капитал, которому ведется отчетная книга».

Те рабочие, которые в разряде испытующихся окажутся «нравственности неблагонадежной, поведения недобропоря-дочного и сомнительного, склонны к побегу и замечены в нерадении к устройству своего быта», образуют третий разряд, которому официальное предписание дает название *невоздержных*. Невоздержными называются все те рабочие, которые выпущены после наказания за побеги, воровство, драки и прочие не уголовные преступления, оканчиваемые наказанием по полицейскому разбирательству. В разряд невоздержных поступают и те, которые исключены из разряда воздержных за проступки, «замеченные неоднократно в невоздержности от пьянства, ссор, драк и грабежей», и те ссыльно-каторжные, которые присылаются в заводы впредь до получения справок, и те, наконец, ссыльные, которые сделали в Сибири преступления, как из поселенцев, так и из рабочих, находящихся в других заводах. Невоздержные содержатся в казармах скованными и также получают содержание в артели. Право отдыха имеют они только в высокоторжественые табельные дни. Те из них, которые «совершенно погасили последнюю искру совести, истребили не только желание, но даже и намерение к исправлению, делали вторичные из заводов побеги, замечены неоднократно в воровствах, мошенничестве, обманах, в подговариваньи других к побегам и подобных пакостях, — словом, по распутству своему не подающие никакой надежды к обузданию», образуют четвертый разряд заводских ссыльно-рабочих, разряд *неисправимых*.

Неисправимые содержатся также в казарме и в особой артели и также, наравне с невоздержными, скованы, но с тою разницею, что, для предупреждения побегов, их обязали запирать на ночь. Головы этих ссыльных наполовину должны быть выбритыми; на работу выводятся они не иначе, как с военным караулом. Мерою исправления для них полагаются кандалы, которые они должны носить полгода (тогда как невоздержные носят их только два месяца).

Оба эти разряда, невоздержных и неисправимых, не получают в собственное распоряжение из плаката ни одной копейки; заработки их записываются в особую шнуровую книгу и истрачиваются

смотрителем на одежду для них. Неисправимые только через год, при хорошем поведении, имеют право поступать в разряд испытующихся; в противном случае, управляющие заводами имеют право (не спрашивая даже позволения губернского начальства) отсылать неисправимых в нерчинские горные заводы.

Время содержания в нерчинских рудниках (а стало быть, и в тамошних заводах) постановлено сводом законов в следующей подробности. Бессрочные арестанты (первого разряда) должны пробыть в тюрьме 8 лет; присужденные к работам на срок от 15 до 20 лет (1-го разряда) живут в тюрьме четыре года; назначенные на срок от 12 до 15 лет (2-го разряда) — в тюрьме два года; каторжные третьего разряда (от 6 до 8 лет) живут в тюрьме полтора года; осужденные на срок от 4 до 6 лет — в тюрьме живут год. Подающие в течение этого времени надежду на исправление поведением своим и трудолюбием перемещаются в разряд *исправляющихся* и находятся уже под полицейским присмотром. Ссыльно-каторжные первого разряда через три года, а третьего разряда — через год после поступления в разряд исправляющихся могут, с разрешения горного начальства или казенной палаты, получать дозволение жить не в остроге, а в комнате заводских мастеровых. Могут дать построить для себя дом на земле, принадлежащей заводу, и вступить в брак (но оба эти дозволения красивы только на бумаге, но не на самом деле, как увидим впоследствии).

Тюремный надзор обусловлен также особыми правилами и предписаниями, которые, в главных своих чертах, сопровождаются следующими подробностями на бумаге и отчасти на деле:

«По прибытии на завод ссыльные, долженствующие поступить в известные разряды и содержаться в острожных казармах, принимаются во всякое время, как днем, так и ночью, не исключая воскресных, праздничных и торжественных дней». То же самое, разумеется, и о тех ссыльных, которые, проживая на заводе, вне острога, по распоряжению заводского начальства должны поступить в острог. Прием производится при караульном офицере или унтер-офицере смотрителем острога, который записывает в шнуровую книгу число и время поступления, имя и прозвание ссыльного, разряд его, от кого прислан и по какому преступлению или из партии, приметы его, собственные вещи и деньги, отбирая их от

ссыльного, буде находятся. По приеме врач свидетельствует тогда же или непременно на другой день. В случае болезни ссыльный отсылается в больницу. Свидетельства врача записываются в книгу. «Число находящихся в остроге людей, как закованных, так и без оков, должно быть вполне известно караульному офицеру. Деньги, отобранные у арестантов, записываются в книгу; ссыльные, хозяин их, если грамотный, подписывается. Принятые деньги запечатываются в пакет, который, вместе с другими, хранится в заводской кладовой, а прочие вещи — в кладовой при остроге, в общем ларе или сундуке». Ключи от всего этого, а также припасы и прочее, приготовляемое на счет артельной суммы (как обувь и одежда) и на счет сохранного капитала, хранятся у смотрителя острога. «Когда ссыльный должен выбыть вовсе из острога, по переводе в высший разряд или, по заслуженному доверию, для житья на квартире, следующие ему по расчету деньги выдаются на руки. Ссыльные в остроге размещаются сколько возможно без тесноты, а подсудимые или присужденные по какому-либо наказанию отсылаются из острога на заводскую гауптвахту. Часовые в остроге не должны стоять внутри комнат, но в дверях, коридорах и других местах, где кажется удобным, и чтобы они всегда имели в виду ссыльных».

В остроге «не дозволяется иметь бумагу, чернила, карандаши и т. п. и писем от них не принимать, не дозволяя и получать таковые. Не дозволять игры в карты, в шашки, кости и никакие другие; также не дозволять играть ни на каких инструментах. Строго запрещается курить табак. Всегда запрещаются всякого рода резвости, произношение проклятий, божбы, укоров друг другу, своевольства, ссор, разговоров, соблазнительных песен, хохота и т. п. Виновного смотритель отделяет от других в особое помещение (карцер), определяя самую умеренную и меньше других пищу, от одного до шести дней включительно, на хлеб и воду».

Рисуя этими подробностями отчасти бытовую сторону тюремной жизни, предписания и предначертания начальства дальше идут в сторону от предписаний, смысл которых истекает из законоположений. Выходя на собственную дорогу, предполагающую практическую подготовку, предначертания их являются уже самостоятельными, заключают в себе интерес практический. При внимательном исследовании мы видим совсем другое. Как бы отыскав

в своих воспоминаниях, нащупав в своих представлениях знакомые образцы, начальство тюремное не задумалось, по милым образцам корпусного детства, рисовать дальше наивные картины тех же порядков, какие введены во всех закрытых учебных заведениях. Насколько правила эти ушли от практического применения, мы знаем из второй главы этого тома. Насколько они не замысловаты и красиво приглажены на бумаге, но безжизненны и недействительны, увидим сейчас.

Предписывая «ссыльным брить бороды через инвалидного цирюльника, также волос длинных не запускать, а стричь их, по обыкновению, пристойно, по-солдатски, а подозрительным и склонным к побегам брить половину головы», местное начальство в дальнейшем течении предначертаний впадает в идиллию и пишет такие картины: «Ссыльные в остроге встают поутру, летом и зимою, за час до пробития звонка, призывающаго на работу. Караульный офицер, вместе с острожным смотрителем и нарядчиком, идут по камерам и делают перекличку. Вставший ссыльный, умывшийся и спрятавший койку под нары, чешется; комнаты метутся. Когда последние будут выметены и вычищены, читается внятно, во всеуслышание, утренняя молитва, и все ссыльные должны стоять смирно, не разговаривать и ни под каким предлогом не лежать при этом. По совершении молитвы дается завтрак, исключая воскресных и праздничных дней, на первой и на Страстной неделе и, вообще, в продолжение Великого поста по средам и пятницам. Как колокол возвестит время работ, нарядчик объявляет наряд по работам, кто чем должен заниматься во время дня, для чего ссыльные выводятся во двор острога, где вновь производится перекличка при военном карауле. Скованные отдаются конвойным, нескованные сдаются на руки десятским и потом отправляются на работы мерным шагом, по три в ряд: караульные впереди, позади и по сторонам, в приличном расстоянии; военные с заряженными ружьями, а десятники с палками».

Таково начало этой тюремной эпопеи во вкусе всяческих плацев и всяких корпусов и пансионов. Отступлений почти нет. Нить повествования порвалась два раза: в первый раз для того только, чтобы сказать, что «на дворе нельзя терпеть сору, а нужно выметать оный, выносить и сваливать на отведенное нарочно для сего место».

Во второй раз оборвалась повествовательная нить ради следующего: «часто ссыльные, пользуясь ночным временем, употребляют оное для злых замыслов. Дабы воспрепятствовать сему, осторожный смотритель почасту обязан, в ночное время, по нескольку раз осматривать комнаты ссыльных».

Затем снова идет поток порядков в таких выражениях: «Когда звон колокола известит обеденное время, каждый должен сдать приставникам инструменты счетом и тем же порядком (т. е. по три в ряд) отправляются в острог, где строго делается перекличка, и, после молитвы, все садятся за стол обедать, благопристойно и не разговаривая между собою. После обеда читается благодарственная молитва и допускается отдохновение. Когда пройдет час отдохновения, тогда оповещается колоколом». Для вечера тот же порядок: «По окончании ужина, спустя полчаса и когда со столов уберется посуда и прочее, караульный офицер делает перекличку. В камерах огонь должен быть до тех пор, пока не запрут всех по вечерней перекличке, и после зари и по выходе из комнат надзирающих за ссыльными ни под каким видом огня в комнатах не оставлять».

После всего, уже сказанного нами прежде, мы считаем излишним для себя и читателей наших говорить о том, насколько не похожа картина, нарисованная на бумаге, на ту, которая невозможна при существующих порядках тюремных на деле. Сильно ошибется тот, кто найдет в прописанных порядках какое-нибудь сходство с теми, которыми хвалятся и славятся тюрьмы улучшенных систем (пенитенциарной — с обетом молчания, и пенсильванской — одиночного заключения). Призрачное сходство вначале может привести на этот раз разве только к тому заключению, что и мы не прочь похвастаться там, где этого желают и требуют. На самом же деле, на всех затеях лежит печать худо скрытой непрактичности во всех делах, явная бесплодность начинаний, способная довести до отчаяния, но доводящая только до равнодушия. От него-то и проистекает целый ряд бесплодных мер и целая цепь недоразумений, крупных ошибок и повсеместных неудач. Последуем за рассказчиком далее.

«Конвойные обязаны наблюдать, чтобы ссыльные не учинили утечки, не просили по улицам милостыни, не останавливались для сего против домов, не заходили ни в какие публичные места, не позволять им в пути пить вино, не дозволять принимать ни от кого

из проходящих какие бы то ни было вещи или оружие. В праздничные дни и в воскресные если не все, то, по крайней мере, несколько человек, по очереди, должны собираться в церковь, под присмотром караула. Ворота острога во всякое время бывают заперты, но когда приходят в острог чиновники и другие, имеющие на то дозволение, или же когда приводятся ссыльные, то обо всяком приходящем дается знать караульному унтер-офицеру, который потом отпирает ворота и впускает пришедшего; если посторонний, то осматривает, не имеет ли при себе каких вредных орудий. Впрочем, после зари отнюдь ворота не отпираются ни для кого, кроме острожного надзирателя. Посещение посторонними ссыльных в казармах дозволяется не иначе, как при острожном смотрителе и воинском карауле, которые должны наблюдать, чтобы, под видом свидания, не было приносимо вина, пищи, платья, писем, оружия и т. п.».

Настоящая тюремная жизнь ведет свои порядки и выработала особые законы.

Счастливые и умелые ссыльные искали утешения и воли в бегах; несчастные и менее опытные оставались в руках начальства, подчиняясь различным опытам исправления. Нерчинские тюрьмы для неисправимых предлагали крутые, решительные меры. Меры эти оставлены были там во время нашего посещения, а потому, пользуясь случаем, скажем о них несколько слов. Приковка к тачке и к стенной цепи — вот пока те средства исправления, которые придуманы были в самых строгих и самых крайних местах ссылки и заточения. Второе наказание обусловлено, сверх того, необходимостью одиночного заключения, столь ненавидимого русскими преступниками, по замечаниям всех, близко стоящих к этому делу. Когда пронесся об этой мере слух по Сибири, все ссыльные пришли в ужас.

Приковывают на цепь обыкновенно на пять лет, но бывали случаи и десятилетнего заточения.

Так, например, по отчетам Петровского завода, видно, что в 1851 году там было четверо прикованных на *десять* лет, хотя приковывали обыкновенно по положению на *пять* лет.

Всех прикованных там было: в сентябре 1851 года 15 человек таких, которые успели уже просидеть на цепи в Минусинске, Енисейске и Красноярске. 30-го ноября 1851 года цепных было 12 человек и

между ними муж с женою за смертоубийство. Жене, не имевшей одежды, выдали рубаху и юбку (холщовые), чириш и платье, хотя забайкальское областное правление и решило выдать им только нижнее платье, «ибо-де оно одно только и необходимо». У них в Газимурском селении жила дочь. Прикованные супруги просили милости перевести их из Петровского завода ближе к дочери, именно в Акатуй; дозволили. На время пути (9 дней) положили выдать по 63 копейки (3½ копейки в сутки) на каждого. Акатуй специально предназначался впоследствии для таковых несчастных. В утешение сострадающим участи их сохранил он предание о первом приставе этого рудника.

Пристав, говорят, спускал своих цепных с цепи погулять недели на три, на четыре, и они, возвратившись, аккуратно вносили половину добычи. Кто не исполнял заказа, того пристав сажал в подземелье собственной квартиры (и подземелье показывали).

Люди эти в работу не употребляются. Как великой милости, просят они, во время заточения, в виде награды разрешить им подышать свежим воздухом, хотя бы и с приправою самой трудной и тяжелой работы. Освобожденные, по истечении положенного срока от содержания на цепи (приколачиваемой к стене) или от тачки на всю жизнь, затем содержатся в остроге в вечных ножных *кандалах*. Заключенные в ножные железа, они также не употребляются в работы. Как милость, позволяют им копаться в огородах каземата или делать что-нибудь вне камеры, и притом в то время, когда все другие уведены на работы. Иногда содержание на цепи пробовали заменять заключением в темной комнате, но арестованные просились на цепь. Статейные списки людей этих обыкновенно наполнены всякого рода преступлениями, где убийства по несколько раз перемешаны с побегами, разбоями, кражами, переменою имени и тому подобным. Содержание таковых казне обходилось дешевле, чем содержание всех других арестантов, сколько и потому, что им выдавали только нижнее платье, столько же и потому, что пища полагалась им скуднее, в уменьшенной пропорции. Так, напр., в Акатуе положено было выдавать в сутки каждому по 2½ фунта печенаго хлеба, разделяя его на части: к завтраку, обеду и ужину. Целой порции давать вдруг не велено. Вместо приварка и для питья выдавали только одну воду. По расчету, сделанному в 1847 г., каждый такой

арестант обходился казне в год 43 руб. 68 коп. сер.[57], считая в том числе цепь, освещение, мыло, мытье белья, дрова, кроме расходов на военную команду. Содержание это производилось, большею частью на счет губернской, а не заводской казны, а заводы принимали их к себе только в таком случае, когда имелся свободный каземат. Часто, впрочем, отказывали, а потому редкая из сибирских тюрем (и в особенности тобольская) не имела при стенах своих подобного рода несчастных. Акатуй-ская тюрьма (из нерчинских), при руднике этого имени, долго имела своею исключительною специальностью помеще-ние арестантов подобного рода. Там замеченных в дурных поступках сажали в отдельную комнату. Для исполнения церковного обряда исповеди и св. причастия иногда их отковывали, иногда нет; а иногда, что весьма нередко, арестантам в этом отказывали. Цепь обыкновенно делалась в три аршина длиною, из звеньев одинаковой величины с ножными кандалами, весом вся 5½ фунтов. В Петровском заводе арестанты обыкновенно отходили на всю длину цепи, которая давала им возможность класть шею на порог двери и выставлять голову в коридор. А так как цепные помещены были в то время в опустелых казематах, выстроенных для декабристов, где несколько комнат выходило в коридор, то эти цепные придумали на безделье развлечение. Один рассказывал сказки, остальные его слушали; затем начинал другой, третий и т. д., по очереди. Лишенные этого права, особенно содержавшиеся в акатуйской и других нерчинских тюрьмах, в тоске одиночества устремляли обыкновенно главное внимание свое на каземат. Комнаты их поражали необыкновенною опрятностью и поразительною чистотою: нары, стены, полы, самая цепь были вычищены, вымыты, выскоблены, нередко разрисованы. Один арестант всю одежду свою расшил кантиками и шнурками чрезвычайно прихотливо и замысловато, на манер гусарских мундиров. Некоторые просили себе петуха, кошку и считали для себя самым жестоким и сильным наказанием, когда за какую-нибудь провинность отнимали у них этих пернатых и мохнатых товарищей-благодетелей. Вообще, заме-

[57] Им полагалось два чирка (обуви), 2 аршина холста на онучи, шинель сермяжная, две холщовых рубашки, двое порток и провианту по 1½пуда в месяц.

чено было при этом, что тоска одиночества и безвыходность заточения порождали в заключенных небывалые до того способности: многие выучивались шить, делались сапожниками, резчиками. Один из прикованных к тачке сумел так ее раскрасить и разукрасить разными фигурами, что приводил многих в изумление, но затем, при всяком появлении главного заводского начальства, с горькими мольбами, с непритворными слезами на глазах, неотступно и отчаянно просил отковать от красивой тачки, приговаривая:

— До того надоела, напротивела она мне, что глаза бы мои на нее не глядели! Тошнит даже!

Случаи конечных помешательств были, судя по отчетам, редки, а случаев самоубийств хотя и насчитывается за все время двадцати лет немного, но зато в архиве Нерчинского большого завода сохранилось много указаний на покушения: цепные доставали острое оружие, ножи и проч. и порывались зарезаться. Между прочим, сохранился следующий акт.

Прикованным в Акатуевском руднике на стенную цепь давали положенные в сутки 2½ ф. печеного хлеба и воду вместо приварка и для питья. При этом велели наблюдать, какое влияние заточение это «будет иметь на умственное состояние (душевные силы) и на физическое состояние (телесные силы»). Вскоре донесено было, что ссыльные, прикованные к стене, в силах и духом замечательно ослабевают. «Не имея движения, у них на лице сделалась бледность; по временам чувствуют во внутренностях одув и давление, а потом колотье; произносят слабый орган голоса (?) и при проходе, сколько цепь позволяет, делается головокружение». Опыт подобного рода производим был в течение двух лет, 1847 и 1848, и в показаниях врачей слышался все один и тот же отзыв, т. е. что прикованные сильно слабеют.

Лиса — железная полоса в 1½пуда весом, надеваемая к рукам для того, чтобы цепной не мог ходить по своей конуре, полагается самою высшею, конечною и последнею мерою наказания, равносильного европейской виселице. Люди, подвергшиеся наказаниям этого рода, весьма редко выходили на свободу впоследствии, и

только некоторым удавалось, через долгую и длинную градацию смягчений, доходить до вожделенного звания испытующихся.

Акатуй для цепных и секретных выбран был недаром, сосредоточивали их здесь не без задней мысли: мрачнее этой местности нет уже другой во всем Забайкалье. На Аленуе кончается долина Газимура, начинается другая, принадлежащая какой-то речке, которой даже и имени не дано. Горы заслоняют эту долину с обеих сторон, но горы эти безжизненны и однообразны до тоски. На дороге деревушка Кукуй. При выезде из нее дорога в гору, с которой чернеется с юга и востока целый лабиринт черных и синих гор, с накинутым на их могучие плечи черным плащом, представляемым густыми лесами, покрывающими покати и подошвы. В долинах господствует гробовая тишь и мрак; на горах то и дело глаз встречает мертвые голыши, охотливо являющиеся на смену лесной растительности. Горы то одиноко водружены в дно долин, то цепляются друг за друга рядами, очень редко пересекаемыми новыми долинами. Вдали ряды гор кажутся бесконечными и видимые глазу представляются уже белым облаком. Не мелькает птица, не слыхать звериного голоса, не видать нигде ни креста, ни избы. С горы опять спуск в долину, похожую на все остальные, затем в третью, также не оживленную ни встречным человеком, ни случайною избушкою. Опять подъем на гору и только уже с этой горы глаз примечает селение, но не видит ни труб, ни дыму. Новая гора заслоняет вид, начинающий веселить и радовать, только с этой третьей попутной горы становится видным в глубокой, мрачной и тесной долине кладбище с деревянными крестами на пригорке-подушечке. За кладбищем вытягиваются две длинные улицы с почернелыми и погнившими избенками и клетями. За селением одиноко стоит знаменитая, страшная даже в Сибири — тюрьма Акатуй.

Акатуйский рудник, первый, открыт в 1815 г. при кряже, разделяющем реки Газимур, Унду и Онон-Борзю в отроге гор, отделившемся от него и проходящем на юго-восток, между источниками Акатуем и Кунгужею. Гора, заключающая месторож-дение, довольно крута и покрыта лесом. В ней, в известняке, заключена серебряная жила, весьма убогая свинцом. Руды акатуевские настолько сухи, что для извлечений металла подспаривались богатыми култуминскими. Впоследствии открыты были поверхностные

руды, и в руднике (первом) углублена Златоустовская шахта на 7 сажен и Благодатская на 9½ саж. Во втором акатуевском руднике, открытом в 1822 г., углублена была третья шахта — Тимофеевская. При выломке мягких и сплошных руд употребляли кайла, во всех же приисках добыча с жильною породою была кайловая же, но производилась с помощью пороха. В зимнее время сюда присылались ссыльно-рабочие люди из заводов Александровского и Газимурского: Акатуй некогда подавал большие надежды. Он лежит на той возвышенности, которая составляет высочайшую точку рудоносной части Нерчинского округа и дает начало трем рекам: Унде, Газимуру и Онон-Борзе.

При этом руднике в последнее время выстроена новая каторжная тюрьма. Она начата постройкою в 1882 г., но вскоре работа была приостановлена, в 1886 возобновлена и к 1889 г. была готова на 250 преступников. Общая стоимость постройки, произведенной хозяйственным способом, трудом арестантов, обошлась в 39 тыс. руб. (по смете исчислено было 89500 руб.). До серебро-свинцового рудника около версты.

Такая же новая тюрьма построена на устье Кары, начатая около 12 лет тому назад, но приведенная в настоящий вид лишь в 1882 г. на 240 человек (иногда содержится и более). Точно так же восстановлены работы и выстроены каторжные тюрьмы при рудниках: Горном Зерентуе, Савинском, Кадаинском, Алгачинском, Мальцевско-Кильгинском, Кличкинском, Трехсвятительском и при Кутомарском сереброплавильном заводе. В Горном Зерентуе тюрьма — самая обширная (более 300 чел.). Строилась она трудом арестантов с 1877 по 1889 г. Урок им рассчитывался в ⅔ урочного положения. За выполнение его мастеровым назначается 10 % вольнонаемной платы и сверх того, в 4-летние месяца, выдается усиленное пищевое довольствие. При тюрьме лазарет на 40 кроватей.

Кроме цепных, бывали еще так называемые секретные арестанты. Этих содержали в особых чуланах. Надзор за ними был необыкновенно строг; ежели случалось кому заболеть и пристава отправляли их из сострадания в госпиталь, высшее начальство давало приставам сильнейший выговор с припискою в формуляры и приказывало больных возвращать в чулан и лечить их там. Один

секретный попробовал выйти из госпиталя и побродить в цепях по улицам, за это велено было приковать его к стене на цепь. Другого выпустили за пропуск из каземата в казарму служителей поиграть в кости, виновного часового солдата били плетьми и велели написать вечно в работу, хотя солдат и клятвенно свидетельствовал, что «выпустил с простоты, взятки не брал и между игравшими никаких беспорядков не происходило». Солдат был наказан, несмотря на то, что ближайшее начальство оправдало его тем, что солдату-де «усмотреть за ними хитро, ибо он бывает больше в посылках, нежели при заводе, отчего ему и невозможно помнить все тюремные положения».

Существование кругового кредита и взаимного доверия, закрепленных такими же неразрывными связями узничества и обусловленных одинаковостью положения, какие понятны только в тюрьмах и ссылке, а также дешевизна и обилие строительных матерьялов и, главное, бережливость, умеющая и в заточении копить деньги, помогают иногда, хотя и в редких случаях, ссыльному, выпущенному из тюрьмы, обзаводиться собственным хозяйством. Без всякого сомнения, хозяйство это почти только призрачное и возможность житейского обеспечения далека от существенности. Тем не менее, все селения ссыльных приметно застроены, все тюрьмы каторжные окружены большим количеством домов, множеством улиц. Большой Нерчинский завод — целый город, перед которым город Нерчинск уступает в величине и населенности. Хорошего и сильного соперника этому городу мы встречаем даже в Петровском, Александровском и Усольском заводах. Город Селенгинск гораздо меньше любого из промыслов карийских. Каждый из нерчинских заводов (Кутомарский, Зерентуйский, Благодатский и друг.) представляет людное селение, с которым мудрено спорить любой из больших казачьих станиц. Правда, что селения эти непрочны, жильцы их ненадежны и искусственно вызванные селения эти все-таки не прибавляют цвета сибирской колонизации и не увеличивают местного населения в желаемой степени, как увидим впоследствии. Но правда, что строения этих казенных мест ссылки ветхи и печальны наружным видом своим и, как полузабытые птичьи гнезда, полураскрытые и покинутые звериные норы, приводят всякого свежего человека в уныние и наводят тоску. Тем не менее

строений этих очень много. Настойчиво лепятся они по окольным горам, устойчиво застраиваются в падях, распадках и оврагах этих каменных, богатых рудами гор. Нет между ними пустых; редкий из них не набит до возможной тесноты жильцами из несчастных. Несчастье и круглая бедность — неизбежные соседи этих жилищ и непременные гости каждого из них. В редком из домов не живут эти обычные и тяжелые гости и, во всяком случае, в ближайшем соседстве и, по преимуществу, с теми из ссыльных, которые успели обсемеиться, сделаться окончательно оседлыми, ради детей и собственности. Для людей этих окончательно заросла дорога к побегам вдаль; но к преступлениям мелким и проступкам невольным остаются на этом пути проходы и обходы и бывают иногда лазейки и выходы. «Безнадежная бедность, — сказал один французский криминалист, — так же способна ненавидеть закон, как чрезмерное богатство презирать его». Применяя этот вывод к тем из ссыльных, которые прошли через тюрьмы, этапы и каторгу и которые выселяются в дома около заводских и промысловых мест заточения, мы не удивляемся, если встречаем везде особые кварталы, носящие название теребиловок, юрдовок, слободок, кукуев и проч.

Кварталы эти или слободки так же неизбежны и так же необходимы для всякого заводского и промыслового селения, как для каждого большого города слободы солдатские, архиерейские, стрелецкие и проч. Здесь селится крайняя бедность в дешевых и старых домах; сюда идет жильцом всякий и всякая, кому незнаком прямой и честный труд, для которых легкие, хотя и рискованные работы — самое любимое и знакомое средство для пропитания. Здесь помещается явный разврат и темный промысел, направленный на приобретение чужой собственности. Бродяги и мелкие мошенники — обитатели этих подгорных слобод в России; арестанты, выпущенные на пропитание, — жильцы этих, наполовину врытых в землю и обмазанных глиною лачуг, какие во множестве группируются на выездах из казенных заводских селений. *Юрдовками* называются эти притоны (для игр в юрдовку и др.) в селениях Карийских золотых промыслов и в Петровском железодела-тельном заводе. *Теребиловкою* называется такая же слободка в Александровском винокуренном заводе.

— Существует и у нас такое место, — уверяли меня в иркутском Усолье, — сюда всякий житель подбирается уж такой...

Такой житель, обыкновенно, женится при первой возможности, порывисто и безрасчетно, долго над этим не задумываясь. Если неохотно и почти никогда не пойдет за ссыльного дочь вольного человека, т. е. казака или крестьянина-старожила, то ссыльно-каторжная женщина, пришедшая в завод, охотно бросается на шею первому, предложившему ей руку и сердце. Она с большою охотою выходит замуж за того, который живет не в тюрьме, а на пропитании или поселении. Становясь женою, ссыльная делает двойную услугу: с одной стороны, приковывая мужа к обогретому месту, она, насколько может и умеет, заметает ему путь к побегу и крупному преступлению. С другой стороны, сама освобождается от оков и, поселившись в теплой до духоты избе, забывает о побеге и бродяжничестве по морозам, дождям и грязи[58]. Верность супружескому ложу не составляет для ссыльной женщины добродетели, не входит в круг ее заветных обязанностей, не вынесена ею из прошлой жизни и, в особенности, из недавней на этапах и не вошла в ее убеждение, как незыблемое и неподкупное начало. Мужу до дел жены нет нужды, у мужа свои дела, радиусы которых все сходятся на одном пункте — приобретении средств к жизни. Если жена стремится к той же практической цели, то она и права и свободна, и бита бывает только под пьяную руку, по одному капризу, из одного желания напомнить ей о подчиненности. Понятие об этой подчиненности безразлично, бессознательно и лишнее бремя там, где существуют иные законы, выработались иные нравы, непонятные для жителей правильно организованных мест.

---

[58] В отчетах о беглых чрезвычайно мало видно женщин и нет ни одного показания на то, чтобы они возвращались обратно. Рассказывают, что те из бродяг, с которыми увяжется какая-нибудь ссыльно-каторжная женщина, непременно когда-нибудь и где-нибудь убивают ее, чтобы, таким образом, уничтожить неизбежного, слабого, склонного на соблазн доносчика и доказчика темных и нечистых дел и преступлений бродяжничества. Впрочем, это только слухи; на самом деле мало в бегах женщин потому, что их разбирают замуж нарасхват.

Теребиловский житель, которого счастье и случай вывели из тюрьмы на свое пропитание, не задумывается искать средств к этому там, где ему легче это сделать, где все пути ему привычны и известны до подноготной. В теребиловку идет всякий, кому хочется попытать счастья в большой игре. Карточная игра, очутившись на большом просторе и совершенной свободе, идет крупнее, смелее и безрасчетнее. Игра в юрдовках и теребиловках обставляется всяким доступным комфортом. Содержатели игорных домов держат водку в большом обилии, способны доставить и средства к исполнению чувственных удовольствий. Все, что под сильным страхом и за крепким надзором творится в темных и грязных тюрьмах, здесь, в не менее темных и грязных домах, совершается нараспашку и в обширных размерах.

В теребиловки идет, для всяческих наслаждений, тюремный сиделец, подкупивший сторожей или за их глазами ускользнувший с работы. В теребиловках группируются в шайки все те из тюремных сидельцев, которые выпущены на пропитание. Находят они его в своих небольших артелях, для которых то и занятие, которое легче, вернее дает деньги, хотя бы это занятие и требовало непрямых путей риска, смелости и дерзости. Смелость города берет, она же в заводских юрдовках собирает деньги на дневное пропитание.

В теребиловки идет всякий из тех тюремных, которому надоела каторга и соблазняет вольная жизнь в бегах и бродяжничестве. В этих притонах всегда найдется такой мастер, когорый шел из резчиков какой-либо столицы, или из Екатеринбурга, где был гранильщиком, или из нижегородских сел Павлова и Ворсмы, где выучился слесарному мастерству и искусству резьбы на камнях и металлах. Люди на безделье, при нужде и соблазнах, не прочь от всякого предложения, лишь бы только оно обеспечивало им насущный день. Мастера эти от аляповатых печатей и темных гербов доходят до Цезика, который осколком перочинного ножичка вырезал на камнях замечательно красивые миниатюрные ландшафты, делал фальшивые бумажки, которые с трудом отличали от настоящих, и мастерил вазы, усыпанные мелкими мушками и другими насекомыми, за которые любители платили большие деньги.

Приобретая вновь и совершенствуясь в тюрьмах, на досуге и при руководстве, в разных знаниях и мастерствах, эти люди за

тюрьмою, вне стен ее, дают художествам своим практическое применение, на свободе пускают в оборот и на пользу тех, которые жаждут, ищут и просят этих знаний. Бродяга, задумавший совершить дальний побег, по возможности в Россию, и желающий обеспечить его большим успехом, идет в теребиловку и здесь за рубль, за два рубля серебром получает такой вид, который ведет его свободно по забайкальским селениям и уводит далеко, если набалованные руки не стащат чужого, где-нибудь в селении на воровстве и где-нибудь за селением на грабеже.

В фальшивых билетах ссыльные обыкновенно прописывались посельщиками или крестьянами, а потому и плата, вследствие того, была переменная (за посельщика 3 руб., за крестьянина 5 руб. сер.). Нередко билеты эти мастерились на целую артель вдруг, в нескольких экземплярах.

Бродяга, привыкший бродить летом по заводским окрестностям ради страсти к приключениям, ради неодолимого желания подышать волею, в тех же теребиловках и юрдовках, если пожелает на всякий случай обезопасить прогулку, может получить билет с пометкою ему, как поселенцу или как бы отпущенному на пропитание. Малоопытных, не бывалых в теребиловках, сумеют зазвать, сумеют выучить и направить.

— Не нужно ли тебе вида на свободное прожитие? — спрашивает один такой мастер ссыльно-каторжного Денежкина (в одном из следственных дел, попавших нам в руки в Петровском заводе).

— Как бы не надо! — отвечает на это ссыльный. — Да где возьмешь?

— Есть ли у тебя деньги?

— Есть, да немного.

— А если два рубля найдется, то и довольно.

В заводском кабаке совершена была передача вида и учинены литки, на которые ссыльный истратил еще 50 копеек серебром.

Счастливый и новый бродяга сумеет потом вовремя изловчиться с этим видом, предусмотрительно показать его тому, кто мало видит, спрятать от опытного глаза и ограбить того, кто за собою не смотрит. Такой бродяга и пограбленное нигде не прячет, нигде его не сбывает иначе, как в тех же заводских юрдовках и теребиловках,

и вырученные деньги нигде не пропивает, как в тех же утлых мазанках. Водку нигде он не берет, как в том же заводском кабаке, и пьет ее со своим же братом, покровителем и руководителем.

Так говорят архивные дела, настоящие житейские живые факты. Следствия и обыски сказывают потом, что делатели употребляют печати чаще свинцовые, реже медные (приготовляемые на медном пятаке, у которого вытирается одна сторона подпилком), что печати, вследствие того, часто бывают больше надлежащей величины, что оттиск такого рода печатей прочнее, потому что коптят их на жженой бересте. Один мастер подобных изделий, чтобы вернее скрыть преступления, бумагу для видов покупал не в лавках у торговцев, а у школьников, и покупал дешево — за волосяные колечки, приготовляемые женою этого ссыльного. Другой приготовил и выдал билет, но проставил крупный, длинный номер и таким образом (и может быть, без всякого злого умысла) сгубил приятеля. Повальный обыск у третьего из теребиловских открыл в углу между полом и стеною, под половицею, фунт олова, два небольших подпилка, малое зубило, пять готовых печатей и шестую, начатую, на медной двухкопеечной монете, у которой вытерты были обе стороны; на одной уже красовалась надпись «Козмодемьянской градской думы». Четвертый попался на пути в мастера фальшивых бумажек, а именно с двумя небольшими деревянными циркулями, с железными проволочными шпильками, с двумя долотцами из иголок, с бумажною печатью, срезанною с конверта, «с роговою костью» и пр. и др. Рассматривая подобные дела в достаточном количестве, выносишь такое убеждение, что не одни теребиловки занимались мастерством приготовления фальшивых паспортов. Ссыльные во множестве делают указания на Тарбагатай и другие селения так называемых семейских, где были мастера, конкурировавшие с заводскими, но слабо: билеты, там приготовленные, часто предавали ссыльных в руки земских, потому что были плохо сделаны. Между тем, билет, написанный и выданный в Петровском заводе, выкраден был у беглого из рукавицы ссыльным в Успенском заводе (Тобольской губ.) и отнят у последнего и задержан вместе с ним уже в Лаишеве (Казанской губ.).

Казенные бумаги, выводя наружу эти грехи, в то же время дают нам свидетельства и указания, что не одни только пропитанные по-

селенцы, своею семьею или своею шайкою, бывают участниками прегрешений. Не ушло бы их дело далеко и немного выиграло бы оно само по себе, если бы они не находились под непосредственным покровительством тех людей, которые пользуются свободою и ее выгодами.

Вот какой случай (более других характерный) рассказывает нам одно архивное дело.

Два шмельцера играют с одним ссыльным в карты. Ссыльный выигрывает, требует деньги.

— Я тебе деньги заплатил, и ты поди вон из моего дома! — отвечал один из шмельцеров и гонит выигравшего в шею.

Ссыльный закидался по избе, схватил нож, бросился с ним в сени, но не нашел там проигравшихся и убежавших партнеров.

По поводу покушения на убийство завязалось дело. Следствие обнаружило, что у этих шмельцеров был в квартире открытый и гласный игорный дом, не известный только одному начальству, что вольные заводские служители эти держали настоящие печатные, а не сделанные карты, что при этой роковой игре водка была обычным угощением.

Когда между шмельцером и ссыльным завязалась драка, другой шмельцер уговаривал товарища:

— Ежели бы ты добрый служитель был, то ты бы Исаева, как ссыльно-каторжного, бил бы и давно выгнал вон, коему и закон, если он пойдет в суд, не велит верить.

Суд приговорил ссыльного Исаева, заде-того за самую щекотливую струну сердца, хорошо известную по чувствительности ее всем горным, наказать 50-ю ударами плетей, а служителей суд оставил без всякого нака-зания. Участь горного служителя, облегчен-ная современным нам положением, прежде далеко не обеспечивала его быта. 12-летний сын служителя поступал уже на работы, хотя бы и легкие, хотя бы и в летнее время; в 18 лет его уже впрягали, наравне с каторжными, в настоящую службу, каковую он обязан был продолжать 25 лет, если поступал из рекрут, и 35, если был сыном заводского служителя или родился от ссыльно-каторжного, во время нахождения отца в работах, или же солдата прежде бывшего батальона. Таким образом, служитель, получая одинаковое жалованье

и содержание с ссыльно-рабочим, разнился тем, что работа для него была почти бессрочною, тогда как ссыльно-каторжный имел в перспективе самый долгий срок — двадцатилетний. Те же дела и тех же архивов переполнены рассказами о случаях побегов с работ горных служителей. Пойманные на допросах показывали единогласно, что «побег учинили в единое отбывательство казенных работ с тем предприятием, сколько возможность позволит, пробыть от оных праздным». Они совершали в бегах преступления для того, чтобы получить наказание плетьми или шпицрутенами и быть записанными в разряд ссыльно-каторжных, т. е. срочных горных работников. Правда, что мелкие преступления в бегах оценивались, по поимке, уменьшением жалованья, назначением на усиленные работы и розгами, но некоторым сразу удавалось прямо попадать на каторгу, на срок.

Возвращаясь к теребиловкам и юрдовкам, а с ними вместе и к тем родам и видам промышленности, которая должна обеспечивать существование жителей этих слободок, мы встречаем новые виды торговли и промысла. Промысел этот ведется в мелких размерах и слишком исключителен по своей специальности, но, тем не менее, находится в руках пропитанных поселенцев и самих ссыльно-каторжных. Опять-таки промысел этот не имел бы приложения и выхода, если бы не встречал на стороне людей покровительствующих, рук поддерживаю-щих. Мы говорим о контрабанде казенных золота и серебра. Украсть то и другое ссыльному не мудрено, в особенности золото; спрятать еще легче: самые тщательные обыски тут ничего не помогают. Крадут всего чаще при разработке россыпи, да тогда и легче: усмотреть за рабочими, растянутыми на большом пространстве или спущенными во мрак шахты, нет никакой возможноси. Труднее красть при промывке, где и глаза пристава смотрят зорче и он весь на виду. Здесь крадут уже сами надзиратели, а потому арестант, лишний человек, должен воспользоваться добычею при первоначальных работах: не попадется ли самородок? Самородки же попадаются редко и достаются только самым счастливым; но и в этом случае счастье нашедшего дальше кабака в теребиловке не простирается. Не несет он находки в контору, хотя и знает, что конторам велено платить по рублю за золотник, но знает

также и то, что вешают там на весах, ему не понятных, и обсчитывают. С купцом сходнее дело: с ним и поторговаться можно, и выбить с него магарыч на его же счет, и пропить, проиграть полученные деньги тотчас же. Куда их беречь и прятать? В казарме товарищи украдут. Большие деньги в тюрьме беда: иной злодей убьет, пожалуй, измученный соблазном и завистью.

Украденные серебро и золото обыкновенным путем ссыльно-рабочие, за ничтожную плату, сдают на надежные руки в теребиловки. Здесь знакомым путем найдет его заводской служитель и передаст в руки казака, выбирая при этом (чтобы скрыть следы) казака такого, который был в заводе при промысле проездом и который знаком уже с этим делом и привык к нему. Для передачи краденого ссыльные редко казакам предпочитают кого другого; часто употребляют на это дело солдат и всегда прибегают к более верному посредству, т. е. служителям. Попадая, таким образом, через третьи в четвертые руки, покраденное «хищническое» золото в порошке и серебро в слитках[59] отвозилось казаком из завода. Никогда сам казак не пускал его дальше в ход; передачею краденого занимались исключительно их жены и дочери, для которых передача контрабанды — привилегированный промысел и притом такой, который женщины (по долгим опытам, с незапамятных времен) производили с большим успехом, с большею чистотою отделки. Процесс этот, по рассказам, совершался весь таким образом:

Контрабандное золото везет баба обыкновенно завязанным тщательно в бумажку и тряпочку и зарытым в крупу или муку. Доезжая до условленного, приметного места в лесу, близ дороги, контрабанда прячется под кустом, под деревом. Куст и дерево должны отличаться условными, известными всем контрабандистам приметами. Сама баба с возом отправляется к главному покровителю-капиталисту, к купцу или торгующему крестьянину.

— *Желтую пшеничку* привезла: не купишь ли?

---

[59] Не только казакам, но и бурятам за Байкалом и киргизам за Алтаем хорошо известен способ плавки, в особенности серебра. Те и другие инородцы украшаются сами и украшают жен кольцами, запястьями, сергами. На седлах, на ганзах (трубках), на огнивах серебряные оправы — их собственного изделия.

Купец понимает дело, но притворяется, старается замаскировать себя и отправляет продавщицу к другому.

— Тот не возьмет ли? На него указывают слухи, а я таким делом не занимаюсь! Мне не надо.

Этот «тот» всегда агент этого главного купца, обязанный сбивать с золота цену, но также еще не покупщик, и он отсылает бабу к третьему.

— У меня денег нет, а тот охотился.

Третий обыкновенно платит деньги после многих проволочек и притеснений, платит большею частью такую цену, какую захочет, и всегда выговаривает:

— Мои деньги малые, да мне *благодетель* поможет, а я ему зароблю.

Сказывая при слове «благодетель» его имя, третий агент дает тем знать, чтобы все-таки и на будущий раз баба относилась к нему и шла этим рядом мытарств, истощая терпение, ослабляя цену, и доходила опять до него, до этого третьего.

Этот третий идет обыкновенно за бабою вон из селения, к показанному месту, приметы которого общи и общеприняты (некоторые даже открыты и начальством). Берет он золото и отвозит его к своему благодетелю. Дело последнего держать около себя таких верных, надежных и опытных казаков, у которых имеются бойкие, приспособленные к провозу контрабанды лошади. Лошади эти бегают без дороги, не затрудняются в лесах, не задумываются над реками. Вплавь через реку Аргунь лучшие забайкальские контрабандисты, аргунские казаки (русские и карымы), отвозят покраденное золото, «желтую пшеничку», к монголам. Здесь, в степи, в условном месте, золото приятелями-монголами охотно променивается на кирпичный и всякий чай. Тем же путем риска, с торопливостью, ночью ввозится чай в большие селения и сбывается на руки купца-благодетеля. В крупных выгодах были те и другие. Контрабанда процветала и усиливалась по мере обременения кяхтинской торговли высокими, стеснительными пошлинами[60]. На местах сбы-

[60] Золотник золота продавался купцам за $1\frac{1}{2}$руб., иногда за 2 руб. (в казне он стоил 3 руб. $57\frac{3}{4}$коп.). Монголы давали за этот золотник десять

та золота монголам совершались обыкновенно шумные попойки на китайской водке (араки); на местах приобретения и добычи золота — бывали неудачи и крупные несчастья.

Один торговец выгодно поставлял в казну мясо, с некоторым даже убытком для себя. Начальство смекало дело, но, имея в виду казенную пользу, молчало до времени. В один год торговца этого заведения контрабандисты обманули, подсунув ему второпях медный слиток, гальванически позолоченный, как самородок. Купец купил его, отдал наличные деньги, выехал из промыслового селения; продавец показал на него. На дороге купец был схвачен, обыскан, заплатил штраф и на следующий год на торги не явился и контрабанду бросил.

Не бросили контрабанду другие. На молодую, вновь открытую золотую россыпь Кудею прежде всего потащились ловкие продавцы с платочками, ситцами и другими красивыми товарами для «желтой пшенички». Это не так давно; а очень давно Шилкинский завод был центром операций, производимых над карийским золотом (очень высокой пробы). Сюда по временам приезжали покупатели из окрестных селений; местные купцы таким делом не занимались, довольные тем, что, оберегая нравственность ссыльных в Каре, — по обычаю всех золотых промыслов и по закону, — не дозволили торговли. Вся она для карийских сосредоточилась в Шилкинском заводе, где купцы, на первых порах, наживали на товарах своих рубль на рубль. Дел о золоте и серебре в архивах много. Уличали, подозревали и ловили торговцев из ссыльных евреев, подозревали и (в 1848 году) приезжавших на заводы венгерцев и других иностранцев для мелочной разносной торговли, с заграничными товарами, без положенных клейм или с поддельными пломбами и штемпелями. Торговали они и лекарствами и, приобретая исклю-

---

кирпичей чая (по 70 коп. за кирпич), т. е. 7 руб. сер. В Нерчинском заводе за тот же кирпич чая давали купцы в лавках, смотря по величине кирпича, 90 коп. и 1 руб. Стало быть, на каждом золотнике главный контрабандист выигрывал до 8 руб. сер., не считая расходов на перевозчиков. С перенесением таможни в последнее время в Иркутск, сцена действий переменилась, но способы действия — едва ли. Во всяком случае, на китайской границе стало теперь посвободнее и поспособнее.

чительно одно серебро в монете и слитках, пускали в оборот фальшивые кредитные билеты. Этим заграничным гостям, не без основания, приписывают правильную организацию всего дела по части сбыта золотой и серебряной контрабанды. В 1850 году существовала в Кяхте следственная комиссия «для раскрытия вкоренившейся беззаконной торговли с китайцами золотом»[61]. И в наш приезд указывали на одного из контрабандистов, который вел сильную карточную игру, и на другого, о котором у нас имелось следственное дело.

Контрабандист этот, некто Соколов, в 1850 году уличен был в том, что приобретенное золото не сбывал за китайскую границу монголам, а превращал его в червонцы и червонцы эти пускал в обращение за Байкалом, через жену свою. В кабаке Дучарского завода, у целовальника, найдены были четыре такие золотые монеты, которые отправлены были в Петербург на монетный двор для испытания. Эксперты двора нашли, что золотые не фальшивые, ибо-де, будучи сделаны без лигатуры, стоят выше существующего курса, — и писали в Нерчинский завод, что представленные им золотые сделаны из серебристого золота, а потому цветом желтее настоящих; в окружности, также «в надписи букв овальнее и менее явственны, зубчики крайнего ободка толще, вместо звездочек точки», и проч.

В деле этом участвовали: ссыльно-каторжный Соколов при участии поляка Брановского и подсудимого бродяги Андреева. Соколов с женою, которая передавала монету, объявлен был под подозрением и переведен для жительства в другой завод, Шахтаминский. Брановский, раз уже наказанный кнутом за делание в тех же нерчинских заводах фальшивых ассигнаций, был наказан. Бродяга Андреев, раз уже осужденный за продажу поселенцу Чернову золота около 1½ фунта и наказанный за то шпицрутенами через 500 человек один раз, наказан 30-ю ударами плетьми за участье в деле Соколова.

---

[61] Сенаторская ревизия, назначенная потом, так же как и кяхтинская комиссия, в исследовании контрабанды золотом не имела успехов, хотя первая и подпускала под перекупщиков ловких парней. Попадались в сети мелкая рыба с долями или с золотниками и прогуливалась за то по зеленой улице (ходила сквозь строй); крупная рыба выскакивала.

Занятие контрабандою золотом и фальшивою монетою (фальшивыми кредитными билетами) успело многих обогатить, малую и почти ничтожную только часть обездолить.

Указывали на многих обывателей в городах, ближайших к местам производств и добычи серебра и золота, как на людей, основавших свои дела на торговле краденым с разных золотых промыслов золотом или через распространение в народе фальшивых ассигнаций. Указания шли на многие города в Западной и Восточной Сибири. В Тобольской губернии также нередко попадалась золотая монета пробою выше казенной монеты, для которой существовал открытый путь на Омскую линию, а оттуда с караванами в Бухару, Хиву и Ташкент.

Помимо приготовления из контрабандного золота червонцев, ссыльные нерчинских заводов не отставали перед множеством других мест в России и Сибири в пригоговлении других денег — бумажных. Фабрикация фальшивых ассигнаций была до того сильно распространена в Нерчинском и вообще в Забайкальском краю, что горное нерчинское правление пробовало было считать сорта их и записывать, да и счет потеряло. Насчитало оно сортов до 25-ти и, видя бесполезность работы, вело дальнейший счет только для формы по заказу и по привычке. Венгерцы, приходившие с товарами, и другие иностранцы, появлявшиеся в крае, распускали фальшивые деньги заграничного дела и вывозили краденое русское серебро. К тому же и товары развозили без таможенных клейм и пломб, а деньги за них брали все-таки выше сибирских цен. Ездили большими партиями. Не всегда подобное приготовление имеет безрасчетные и безразличные цели; были случаи, имевшие политический характер. Таким отзывается имеющееся у нас в руках дело (1839 года) польских ссыльных 1830 года, затеянное для освобождения всего множества сосланных туда поляков из уз неволи и тюремного заточения. Делу этому мы даем место в следующих томах этого сочинения.

В Западной Сибири указывали на Успенский винокуренный завод (Тобольской губернии, Тюменского округа, в 326 верстах от Тобольска и в 52 от Тюмени), как на главную фабрику приготовления ссыльными фальшивых бумажек. Рассказывают, что наряженное по этому случаю следствие кончилось тем, что одному из депутатов

какая-то старуха подсунула толстую пачку самодельных ассигнаций. Следователь начал с того времени богатеть, оставил службу, а дело было, по обыкновению, замято и спрятано. Следственные дела обнаруживают при этом, что передатчики часто рискуют, попадают впросак, ссыльные часто их надувают, отчего при таком риске выигрывают скорее последние, а теряют первые. Случай противоположного свойства — большая редкость, их знают наперечет и рассказывают в похвалу изобретательности ссыльных, основанной, главным образом, на том, что операция производится впотьмах и впопыхах, торопливо и на веру.

Так, одному удалось сунуть пачку скверной и мягкой бумаги, обложенную настоящими ассигнациями только сверху и снизу и связанную веревочкою. Счастливому плуту удалось эту пачку сунуть второпях и получить 250 руб. только за 45 руб., образовавшихся из синеньких и красненьких, лежавших наверху и внизу. Этот пересыльный арестант возбудил в передатчике полную доверенность к искусству своему в приготовлении «блинов» тем, что данную им на пробу (настоящую вместо фальшивой) бумажку разменяли в кабаке; 250 руб. покупщик охотно дал за 500 фальшивых и вместо них нарвался на газетную бумагу.

Выпускаются на пропитание или, лучше, на отдых те из ссыльных, которым не посчастливилось: казенная работа отняла у них последние, растраченные по дорогам и тюрьмам физические силы. Тяжкие страдания, исключительность работ делают таких рабочих совершенно бесполезными, и притом большую часть из них. В рудниках — отравление свинцом (свинцовая колика и удушье, asthma metalurgica), падучая болезнь (epilepsia) — как следствие свинцового отравления у мужчин, так и у женщин; грыжи, вследствие тяжести работ; узлы (varices), как последствия работ, производимых стоя, и питья воды, застоявшейся в рудниках; воспаление глаз от плохого освещения, мерцающего полусвета и чада от плохих сальных свеч; переломы и вывихи такие же частые гости, как удушье. Удушье постигает тех неосторожных рабочих, которые, после 12-часовой напряженной работы, вызывающей испарину, выходят на холодный воздух, пьют и едят потом без осторожности и притом очень плохо. В тюрьмах, как сказано выше, неизбежно посещает арестантов также воспаление глаз (ophtalmia cancellaris), зависящее

от сероводородного газа как продукта собственных испарений и выделений. Замечательны обыкновенно скорбут, дизентерия и тиф, очень часто язвы от худосочий скорбутного и ревматического (часты наружные язвы и от трения кандалами), ознобление и отмороженье членов от недостатка обуви и одежды и как следствие побегов, сифилис в страшных формах от неправильного и бесчеловечного лечения своим же братом-знахарем; чесотка (scabies), как неизбежная, непременная и вечная принадлежность всяких тесных, сырых и грязных артельных помещений[62]. Чесотка между горнозаводскими жителями, особенно между детьми, распространена так, как едва ли где-либо в другом месте. Только, работающие на фабриках (в серных парах) освобождены от нее.

Выпускают также ссыльных на пропитание в видах экономической меры, напр., по случаю неурожаев хлеба, когда казна затрудняется снабжением этими припасами, и в виде награды, неизбежной и обусловленной законом и обычаем для тех ссыльных, которые покойно выжили тюремный срок, но не заслужили еще вожделенного звания поселенцев или, по-сибирски, посельщиков. Уходя на пропитание, семейные ссыльные уводили с собою и детей, но заводское начальство считало их виновными вместе с отцами, возвращало назад, назначало в работы, хоть потом само же уверяло в форменных бумагах, что «водворить сброд людей этих, сделать из пропитанных постоянных работников и домохозяев нет никакой возможности». Ссыльные, не семейные, выходя на пропитание, бегут из заводов при первой открывшейся возможности к побегу, к которому нередко представляются случаи при употреблении на работу вне крепости, где дровосек и проч.

Поступая для житья к семейным хозяевам, которые охотно принимают к себе ссыльных, пропитанные (т. е. вышедшие на про-

---

[62] В Кутомарском заводе вредное влияние мышьяковистых паров оказывало свое действие на телят, а потому заводские бабы отправляли стельных коров в соседние деревни. На людей эти пары имели даже благоприятное влияние; в чесночном запахе мышьяковистой кислоты работали ссыльные и в Александровском заводь (Нерчинского края). Заболевшие лихорадкою (упорною) ходили на заводские фабрики работать и здесь излечивались мышьяковистыми парами во время самых параксизмов.

питание), за крайнею ограниченностью казенного содержания, поневоле принуждены бывали изыскивать меры к приобретению денег. На винокуренных заводах они, провертывая дыры в тех трубах, по которым идет вино, воровали спирт и полугар; на солеваренных — соль; на золотых промыслах — золотой песок; на железоделательных заводах — железо, преимущественно во время работ в кричной фабрике и т. п. Мелкие воровства и кражи по заводам до того обыкновенны, что после многих опытов перестали употреблять какие-либо определенные и верные меры; подвернется какой-нибудь случай, не предусмотренный, не основанный на расчете и поразительный по крайней случайности. О нем рассказывают как о чуде, и рассказ превращается в легенду, которая, однако, изживает в памяти народа целые десятки лет. Так, напр., через тридцать лет мы получили в Петровском заводе из вторых рук такую повесть, рассказанную самим автором казуса.

«Был я вор отпетый и каковы ни мастера все наши, а я был лучше всех. Иного выпорют, он и отстанет, а мне и розги, что с гуся вода. Сидел во мне вороватый черт самый сильный и такой притом, что никакого мне сладу с ним не было. Увижу что чужое, сейчас у меня заболит брюхо и такой таскун в нем нападет, что глаз не сомкну, куска не съем, покуль чужая вещь перестанет есть глаза и руки отстанут чесаться. А таскал я все, что под руку подвернется, и не надобна иная вещь, да силен черт внутри сидит: что ни видит из чужого, все подавай! Сидишь, бывало, задумаешься о своей судьбе, перебираешь мысли: дай-ка пойду да стащу что-нибудь, что плохо лежит. Раз пошел погулять за заводом, поднялся на горку, погулял. Свернул с тропинки в завод, к домне (доменной фабрике). У домны увидел казенку, где складывают всякие казенные вещи, у казенки ребят увидал: наши под амбар этот подкапываются. Мне бы и пройти мимо, уж будет с меня, да черт-от во мне завозился и мои мысли рассеял, стал толкать меня да подговаривать: “иди, помоги, вдвоем им не сладить”. Пошел я к ним: что делаете? Да так-де и так, казенные вещи считать и проверять пришли.

Стал я им пособлять, а тропинка за спиной у меня осталась. Копался я вдвоем с чертом втрое сильнее товарищей: моя яма глубже всех и краем одним совсем уж в амбаре. Сдумал я так, вски-

нул глаза на товарищей, нету их — убежали. Я оглянулся назад, а сзади меня стоит наш начальник; тоже погулять вышел. Стоит и молчит и во все глаза на меня смотрит, а луна на ту пору так и обошла его всего светом, даже страшен он стал. Увидал я Нестерова, да так и обмер: человек он был суровый, засекал нашего брата до смерти (за то его и сменило начальство). Меня порол столько, что я и счет потерял. Вижу его и смекаю: такое, мол, наказание придумает мне теперь, о каком в заводе наши каторжные еще не слыхивали. Слышу, заговорил: "Нуде, я тебя наказывать не стану, палки не донимают, а пусть-де тебя теперь сам Бог накажет!" Словом этим он так и пригвоздил меня к тому месту. Как я встал столбняком, так и простоял я куда как долго. Он ушел, а я все наказания себе выжидал; думаю: так вот и разразит меня на месте. С той поры как рукой с меня сняло: убил он моего черта. С места я сошел, как из бани вышел, легко таково».

Ссыльный этот перестал воровать и сделался одним из лучших и честных рабочих. Другая арестантская гроза, громившая ссыльных на Каре в первое время по открытии там золотого промысла, напугала палача. Карийский палач торговал вином и поживлялся около каторжных. За вином он ездил в Шилкинский завод и привозил его тайком на Кару. Раз он наскочил со своею контрабандою на самого. Приведен был к нему и до того был напуган свиданием, что затрясся весь как в лихорадке и не знал, что с собою делать. Начальник был доволен собою и ограничился короткою сценою. «Боишься ты меня?» — спросил он палача. «Боюсь очень!» — отвечал тот. «А как очень?» «Больше Бога!» — отрезал палач — и выиграл: взыскания не последовало.

Как бы то ни было, но это шатание по чужим дворам в ближних к заводу селениях, этот мнимый отдых от каторги посреди ежечасной заботы о насущном хлебе, этот хлеб, горький и черствый, — делают житье на пропитании немногим лучше самой каторги. Выходов из него немного и все неблагоприятные. Уйти за границу назначенного округа в чужой, не найдя в своем средств к пропитанию, значит включить себя в отдел бродяг, строго преследуемых законом. Где-нибудь и когда-нибудь поймают, посадят в острог, станут судить, накажут и отправят туда же или дальше того самого места, откуда вышел. Бродить по домам заводских рабочих,

таких же голышей и таких же несчастных, значит не идти дальше мелкой кражи и крупного за то наказания. Чем дольше длится срок, назначенный для этого среднего, неопределенного переходного состояния, тем невыносимее становится нравственная пытка, тем запутаннее житейские обстоятельства, и печальное житейское положение свободного поселенца кажется уже каким-то раем и эльдорадо. Большая часть уходит в бега, меньшая хитрит, скрипит и ждет своего срока и желанного дня. Самая малая часть запутывает себя женитьбою и за нею кое-как привязывается к семье, дому и хозяйству. На заводах пропитанный крадет чужую лошадь, чтобы поступить в разряд так называемых конных рабочих. Лошадь даст ему лишний заработок, лишнюю кроху на семью, лишний грош на себя, всегда почти верный и неизменный. Начальство догадывается о краже, пути ее узнает, но молчит об этом зле, как неизбежном, давно укоренившемся и имеющем, в большей части случаев, вечный успех.

У некоторых пропитанных страсть к воровству доходит до ужасающих пределов, граничит с серьезным помешательством и имеет форму положительной настоящей болезни. Один, напр., воспитал в себе страсть раскапывать могилы, вскрывать гробы и сдирать с мертвых тел одежду. Другие пропитанные на досуге делали порох и отправляли за китайскую границу (нашли у многих порох в плитках). Иные покупали порох у китайцев, которые-де «продают его не таясь, а чтобы нашим пороху у них не покупать, такого-де запрещения не слыхали». Мудренее вести дело тем ссыльным, которых забросила судьба в Нерчинский край и о которых люди, близко их наблюдавшие, пишут такие строки: «Ссыльные, пробыв большею частью двадцать, а с добавлением срока работ за побеги тридцать и более лет, по истечении этого времени освобождаются от работ и водворяются на поселение. Но люди эти — или воры, или пьяницы; благонадежнее из них оказываются те, которые просидели на цепи или пробыли прикованными к тачкам. Иногда бывают добропорядочные люди между женатыми, но пьянство — общий порок всякого рода арестантов, а бедность — удел каждого из них до той поры, пока не изменится к лучшему настоящая плохая, отжившая свой век, тюремная система. По численности преступников, по огромному развитию и разнообразию работ

заводских, улучшение быта ссыльных, исправление нравов преступников в Сибири — дело трудное, на месте его почти невозможное. Инициатива этого великого дела, по всем правам, принадлежит России, должна начаться и совершаться в русских тюрьмах. В Сибири людей нет свободных и способных для такого человеколюбивейшего подвига, и ссыльный в Сибири только обязательный казенный работник, механическая сила, рабочая машина, которая постольку и ценится, поскольку она больше зарабатывает». Таковым, по крайней мере, это дело стояло во время наших наблюдений; не знаем, каким оно будет впоследствии.

Что такое, в самом деле, пропитанный, даже и тот, у которого отпала охота к бродяжеству и лени, которого называют лучшим и исправным? И получив право на 15 десятин удобной земли в наделе, равном с крестьянами, он все-таки воспитался на специальных работах так, что отбиться от них для него нет расчета, и едва ли не происходит оттого все его несчастье. Потому-то, выпущенный на пропитание, наприм., на винокуренном заводе, продолжал рубить дрова для печей, топил эти самые печи, чистил винничную посуду, приготовлял заторы из муки, солод на гонку вина, качал машиною воду в сосуды, спускал брагу из одного ящика в другой, качал машиною раку из нижней десятни в верхнюю, приготовлял лес и делал бочки, и проч. и проч. Попадая в руки контрагентов, пропитанные несли еще большую тяжесть. На одном заводе мы нашли, что положение их в руках казны было гораздо лучше: пропитанные занимали полицейские должности. У контрагента они поступали в конные рабочие, получали лошадь или деньги, которые потом вычитались у них из плаката, а затем уже наваливалась на них всякая подходящая тяжесть: вези все, что ни наложат, а за то ему лишнее количество барды для скота, да и только. Эти и дома строили и всякие починки исправляли, а хлеб получали солодовый, тот самый, который для винокурен так пригоден и который, само собою, контрагент покупал дешевле обыкновенного. Но так как всякое дело тесно связано с сознанием труда чернорабочими, а на сибирских заводах был принят труд обязательный, то понятно, что и неудовлетворительность действий казенных заводов явилась неизбежным последствием. «В самом деле, 60 коп. месячного плаката на Нерчинских заводах и 80 на некоторых солеваренных и 40–20 на ви-

нокуренных не удовлетворяют простым животным, не только человеческим потребностям и вынуждают рабочих прибегать к кражам и другим проступкам и преступлениям. Они воруют порученные им материалы, воруют производительные предметы заводов, крадут время и труд, принадлежащие заводам, и все это считают позволительным, тогда как кражи и обманы между собою (у тех, которые вышли на волю) и редки, и самими рабочими сильно преследуются».

На Троицком солеваренном заводе (Енис. губ., Канского округа, в 193 вер. от Канска) на пропитание увольнялись от работ только неспособные, за старостью лет и увечьем, и приписывались вместо богадельни к селениям. На Селенгинском солеваренном же заводе (в 40 вер. от города и 96 от Верхнеудинска), по свидетельству одной официальной записки, эти уволенные от работ на пропитание, переходя в места нового жительства, пере- продавали дома свои другим рабочим, которые, в свою очередь, делали то же самое. «От этого каждый, зная неокоренелость и шаткость жизни своей на заводе и существования самого завода (который и был-таки уничтожен), не радел ни о расширении усадеб, ни о расчистке земель для пашен. А пашни, как вообще в краю Забайкальском, требуют еще устройства водопроводных каналов для весенней и летней поливок, чему также подвергаются и сенокосы, если только они не на лугах, поливаемых водой».

Когда, в 1838 г., ссыльных разделили на разряды, время пребывания в работе было ограничено, а детей рабочих велено приписать к крестьянам — все молодые руки поспешили воспользоваться свободою. Все дети ссыльных изъявили желание выбыть из заводов. Казенные палаты ходатайствовали оставить их на прежних местах, но просьба их не была уважена и только кое-где, «по усиленным убеждениям», некоторые пропитанные согласились жить на заводах по билетам от волости, а малолетки остались при отцах на воспитании. Переворот 1838 года подал только надежды, облегчил участь рабочего, но быта его не улучшил. Правда, заведены были артели для улучшения продовольствия и установлен экономический капитал на помощь при домообзаводстве, а между прочим, и при женитьбе; но капитал до половины наличного количества тратился, вместо главной цели, на поимку беглых, на различные и частные иллюминации,

на сложение казенных долгов с умерших и в награду ссыльных обувью. Артели удержались только при тюрьмах, но и те были так непрочны, искусственны и легки в замысле, что опытом своим не умудрили ссыльных и не выучили их придерживаться артельного начала на воле, на пропитании. Каждый вышедший на волю действовал уже сам по себе, а все вместе, действиями своими, сложили то убеждение в умах заводского начальства, что таковое переходное состояние — самое обильное побегами, и время это самое удобное для бродяжничества.

Нельзя не прибавить к тому весьма частого исчезновения многих сибирских заводов, которые как бы намеренно начинали быстро возрастать в одном месте, вопреки всяких экономических законов, как произошло в Западной Сибири (с винокуренными заводами), или быстро упраздняться, когда экономические условия края доводили до сознания их вреда, как случилось в Восточной Сибири, где пали два завода винокуренных в Иркутской губ. (Николаевский и Ильгинский), два в Забайкальской области (Михайловский винокуренный и Селенгинский солеварен-ный), один в Енис. губ. (Каменский) и Тельминская суконная фабрика (в Иркутской губ.). История у всех одна: либо быстрое возрастание цен на хлеб порождает сильные и повсюдные жалобы, либо дурное хозяйство превращает заводы эти в ветошь. История Тельминской фабрики служит прототипом. Вызванная искусственно для приготовления солдатских сукон, она щелкала челноками до тех пор, пока не стала требовать исправлений. Прорвалась дыра в одном месте, надо бы положить заплату; пишут, но ответа нет, а в это время готова уже другая дыра; опять пишут или получают разрешение, но пока на починку первой. В конце концов, пробоин и промоин накопилось от времени так много, что ремонт стал дороже капитальной перестройки заново. Надо новую одежду шить. Так и сказано о том, кому следует. Но те подумали было поворотить сукно наизнанку, стали считать, и оказалось, что выгоднее было продать ветошь старьевщику и отступиться. Позвали покупщиков. Те осмотрели, одумались и нашли, что ветошь никуда не годится и покупать ее не стоит. А между тем, фабрика приселила и прикормила много рабочих, много народу скопилось. Куда его девать? Смотришь — земли забрали старожилы-крестьяне, разу-

меющие сибирские дела по-настоящему, а завод из ссыльных приготовил техников, тот знаменитый фабричный народ, который для поселенческой жизни никуда не годится. Ткачи так и остались со вдавленною грудью от постоянного нажимания ее у станка, сухие как жимолость, кашляющие и притом гордые сознанием своего достоинства, не позволяющего им смешиваться с вахлаками поселенцами- земледельцами.

Ссыльные, если сами и уходили на пропитание, то детьми своими поступались на пользу заводов. Хотя до совершеннолетия их не велено принимать в работу, но начальство, соображая то, что их все-таки в это время кормило казенным хлебом, брало для работ где с 14, где с 12, а нередко и с 10 лет. Потом хвасталось: «сыновья ссыльно-рабочих составляли класс людей самых способных и употребительных при технических работах». По 8-й ревизии (1834 года) всех их велено было приписать в крестьяне ближайших селений, и заводы попали на новую беду. Они стали жаловаться: «Несмотря на старания приохотить ссыльных к месту, заводские селения не распрост-ранялись; по миновении срока работ все, выходящие на собственное пропитание, отчислялись от заводского ведомства». Уволенным уже не производилось ни определенной по заводу платы, ни хлеба, даже и в тех случаях, если рабочие отпускались на временное пропитание, когда приостанавливались заводские работы (на винокуренных, напр., глухое время бездей-ствия тянулось с 1-го ноября по 1-е марта). А потому отцы, уходившие на пропитание, брали с собою и детей побираться вместе с ними по миру. Заводское начальство требовало их возвращения, но пропитанные старались уходить так далеко, что все меры оказывались недейственными, и заводы оставались при работах из вновь присланных ссыльных и кое-каких вольнонаемных. Результаты известны: вольнонаемных нет, конных рабочих очень мало, дрова приходят в истощение, ссыльные бегут целыми толпами и завод висит на волоске, пока не примут усиленных мер. Затем все-таки ответ один: «Водворить из сброда этих людей постоянными работниками, сделать их домохозяевами и, наконец, коннорабочими не представляется никакой возможности».

Во всяком случае, приготовление поселенцев из каторжных, через переходное и странное состояние пропитанных, еще до сих пор

не достигло желаемой цели и не привело к тем результатам, которых ожидали и которые казались такими красивыми на бумаге. На самом деле, эта мера усилила количество бродяг, увеличила число нищих в Сибири, организовала в том краю целый класс людей опасных, о котором давно пора подумать и позаботиться. Не всегда на пропитание уходят люди дряхлые и изувеченные, но и в этих живуча та язва, которая в силах влиять заразительно на здоровые организмы. Сами ссыльные, долгим путем страданий, успевают выработать себе кое-какие надежды, заручаются посильным терпением и, при безысходности тяжелой жизни, умеют еще складывать песни и выливать в них свое горе. В горе этом проглядывает и надежда, и терпение, и вера в будущее. В тюрьмах каторжных поется, между прочим, такая песня:

Седина ль моя, сединушка,
Седина ль моя молодецкая!
Ты к чему рано появилася,
Во черны кудри вселилася?
Ах ты, молодость, моя молодость!
Ах ты, молодость молодецкая!
Я не чаял тебя измыкати.
Ах, измыкал я свою молодость
Не в житье-бытье, богачестве,
Во проклятом одиночестве!
Изошел-то я, добрый молодец,
С устья до вершинушки
Всю сибирскую сторонушку:
Не нашел-то я, добрый молодец,
Ни батюшки, ни матушки,
Ни братцев-то — ясных соколов,
Ни сестриц-то — белых лебедушек;
А нашел-то я, добрый молодец,
Полоняночку — красну девицу.

Песня эта, собственно, должна принадлежать поселенцам, к житью-бытью которых и переходим теперь.

Глава V. На поселении

Сибирское население из поселенцев. — Худая слава. — Безвыходное положение. — Отношения к старожилам. — Бродяжество и шатание.—Песня. — Испорченность поселенцев и причины этого явления. — Прочного водворения ссыльных не существует. — Бесплодность мер. — Первые шаги ссыльного. — Вражда туземцев. — Богадельни. — Посельщики. — Неспособные. — Смотрит ли поселенцев. — Воровство. — Свободные самовольные поселения. — Киржаки. — Каменщики. — Ссыльные колонии неведомые и ведомые. — Задичалые поселенцы. — Золотые промыслы. — Поселенцы на приисках в тайге. — Олганджи и миряки. — Евреи в Сибири. — Инородцы в ссылке. — Русские раскольники за Байкалом. — Цветущие хозяйства. — Духоборы. — Уральские казаки. — Невинно сосланные и возвращенные. — Поручик Козлинский — Монахиня. — Странник Иван Захаров Спасов. — Перемена имен. — Неправильность распределения ссыльных по Сибири. — Палачи. — Презрение к ним и результаты его. — Кнут. — Богачи из каторжных. — Чужеземцы в ссылке

«Поселенец, что младенец, что видит, то и тащит», — говорит сибирская поговорка, явившаяся результатом двухсотлетних наблюдений сибиряков-старожилов (потом-ков промышленных людей, доброю волею пришедших в Сибирь на жительство) над теми русскими людьми, которых увела из России чужая воля и преступления и для которых придумано новое название поселенцев.

«Хоть того лучше посельщик (будь самый лучший поселенец), не верь ему!» — выговорилось сибиряком другое изречение, имеющее смысл пословицы, как руководящего житейского правила, с тем оттенком в смысле, что поселенец, названный так, в отличие от переселенца (доброю волею покидающего родину для новых и счастливых мест), превратился уже в *посельщика.* Слово «посельщик» на языке сибиряков-старожилов сделалось бранным, и поселенец, слыша его обращенным к себе, глубоко оскорбляется им в равной степени с другим обидным, бьющим прямо в сердце и бранным сибирским прозвищем — *варнак.* Сибиряк, готовый называть бродягу, беглого с каторги, человеком *гульным,* прохожим, и даже признавать его на самом деле таковым, сибиряк, называющий всякого ссыльного, идущего в партии по этапам, не иначе, как

несчастным и даже болезненьким, — того же самого несчастного, умудренный опытом и коротким знакомством с ним, обзывает уже посельщиком, бранит варнаком. Слово «варнак» он приурочивает именно к поселенцу, потому что собственно для ссыльно-каторжных у сибиряка придуманы другия бранные слова: храп, храп-майор, каторжан, чалдон.

Слову отвечает и дело. Хорошо известен всем тот факт, что только такой старожил-сибиряк не задумается выдать свою дочь за пришельца из России, за человека из поселенческого сибирского люда, только тот, который сумел осилить в себе природное предубеждение и успел стать вне общего народного понятия. Становится поселенец зятем старожила разве лишь в том случае, когда действительно честным житьем сумел смыть с себя без следа пятно и клеймо, принесенные из России, или, на крайний случай, так заполонил сердце красной девицы, что она решилась выйти из воли родительской и отдалась доброму молодцу обычным сибирским свадебным способом *убега*. В этом отношении положение поселенца, действительно, безвыходное, и сваты из местных властей, с казенным способом принуждения, до сих пор еще явление нередкое, когда им вздумается считать его политически-обязательным или экономически выгодным. Взамен того мы видим совершенно противоположное явление: благодаря предубеждению сибиряков против поселенцев, оказывается множество помесей с инородцами, метисов. На р. Оби русские обостячились, на Енисее — отунгузились, на реках Лене, Алдане и Мае объякутились, а за Байкалом явилось целое племя карымов от матерей буряток и монголок и отцов из сибирских казаков и русских поселенцев. Во втором поколении, во внуках, во всех этих четырех-пяти случаях превращение полное, при недостатке освежающих русских начал, за безлюдием и удалением в тайговой и пустынной глуши людей славянской расы и русской кости. Всяких диковинок в Сибири немало, но отчуждение сибирского старожила от русского пришельца там не диковинка. В этом отношении сибиряк последователен и злопамятен. Не простил он ишимцам старого греха — фабрикации фальшивых кредитных билетов, и до сих пор зовет их блинниками (выражаясь их же условным термином, называя фальшивые бумажки блинами). Не забыл сибиряк, что таровцев (жителей г. Тары) когда-то Петр

Великий, за упорство в расколе и за бунт 1721 года, велел сажать на кол, и до сих пор зовет их коловичами, как туринцев — само- садошниками (за тайную сидку вина) и курганцев — конокрадами. До сих пор енисейцев зовут сквозниками (за грехи, объяснение которых не укладывается в печать) и гроболазами. По поводу последнего охотливо рассказывают про них такой случай: плыла-де по Енисею барка, остановилась у города. На барке этой гроб стоял и лежал в том гробу покойник. Енисейцы приняли гроб за ящик, покойника — за какие-нибудь продажные приисковые товары, и когда заснул ночной караульный, они этот гроб с покойником украли с барки. Про соседей их, красноярцев, у сибиряков для укора придуман даже целый стих, известный в сибирских странах малому ребенку:

Краснояры Сердцем яры,
Любят очень они честь,
Хоть на них козлина шерсть.
Оттого они не сильны,
Что отцы их были ссыльны.

Насколько сильно отвращение коренного сибиряка от пришельца — ярко свидетельствуют те факты, что старожилы не только гнушаются принимать и вводить их, посредством браков, в собственные семейства, но редкий из сибирских крестьян охотно соглашается взять к себе поселенца даже на простых обязательствах работника-казака. Хотя закон[63]! и назначает полплаката арестантского содержания старожилу, принявшему к себе поселенца, но закон этот более 15 лет к делу не применяется. Старожил гнушается поселенцем и делает для него исключение разве лишь в том случае, когда теребит нужда и поселенец стучится к нему в летнее время. Тогда на уборку хлеба не хватает хозяйских средств, а всю траву скосить ни у одного еще сибиряка-хозяина недоставало собственных, а не наемных сил. Летом сибиряк поселенца берет, зимою гонит, но, и приняв его в рабочую страдную пору, стесняет во всем и обижает чем ни попадя. Старожил-сибиряк за грех этого не

[63] Ст. 676 уст. о ссыл., изд. 1857 г.

считает, зная и тот коренной закон, что «посельщику нет веры и давать ему ее не велено». Условную заработанную плату хозяин охотнее дает поселенцу перед праздником и на кабак, и притом с тем условием, чтобы и водку-то наймит выпил вместе с хозяином. На необходимое и полезное для работника хозяин давать не любит, но у него достает соображения, что если задавать деньги хорошему работнику из поселенцев исключительно на выпивку и задавать вперед этих денег больше, поселенец запутается в тенетах неоплатных долгов. Он долго удержится на одном месте при тех условиях, которые ему, разумеется, весьма не по вкусу, но для сибирского сельского хозяина весьма на руку.

В притеснениях подобного рода сибиряки-старожилы последовательны, и форма эксплуатации чужого труда, посредством чрезмерных и неправильных задатков, является в Сибири своего рода законом даже и у золотопромышленников. Доказательства тому мы увидим ниже при последовательном разборе обоюдных отношений новых людей со старыми, рабочего с нанимателем. У самих же поселенцев высказалось это в целой песне, которую, несмотря на ее искусственность, охотно распевают в Сибири повсюду:

Воля грозного монарха —
Мы спешим в восточный край.
Мы ко речке приходили
И садились на песок.
Там увидели, увидели
Слепого старичка на бережке.
Неподалеку в песочке
Посошок его стоял,
Хлеба черного кусочек
В сумке положен лежал.
— Уж ты, старичок любезный! —
Тут один из нас спросил.
— Отчего ты такой бедный,
Или свет тебе не мил?
— Ты дитя ли мое милое! —
Отвечал ему старик:
— Уж я тридцать лет в Сибири

И спокою не имел:
Винокурные заводы
Все состарили меня,
Солеварные заводы
Скрыли белый свет из глаз.
От крестьянских савотеек[64]
Все мозоли на плечах;
От пузастого начальства
Все здоровье растерял[65]

Эта песня — едва ли не единственный гласный ответ самих поселенцев на все обвинения, взводимые на них, но, во всяком случае, она прямее и непосредственнее силится стать только за тот разряд ссыльных, которые вышли на поселение через чистилище, нами уже описанное и для нас оставшееся теперь позади. Впереди и прямо перед нами тот разряд ссыльно-поселенцев, которого не озлобляла каторга и не портила вконец бестолковая и бездельная бродяжья жизнь. На поселение, как известно, идут из России непосредственно осужденные на этот род наказания ссыльные, по судебным приговорам русских судов. На таких-то, по преимуществу, «несчастных», на их-то житейской судьбе и бытовой обстановке мы намерены теперь сосредоточить внимание, в расчете на частные видоизменения и кое-какие отличия, хотя в общем все наши данные не дают нам никакой возможности рисовать картину самостоятельную и другую. Сами ближайшие оценщики такого деления не признают и на тот и другой вид поселенцев кладут одинаковое подозрение и взводят валовое обвинение безразлично. Так поступают старожилы, которые из практики выводят даже такое заклю-

---

[64] Савотейки в Сибири — небольшие круглые булки, серенькие на вид и дурные на вкус. Их выкладывают на окна для прохожих бродяг, их подают в окна прохожим и ими же кормят тех из бродяг, которые поступают на работу. Оттого стрелять савотеек, выпрашивать их, на арестантском языке значит — бродяжить; оттого-то и мозоли на плечах, что только ими в умеют расплачиваться сибиряки с бродягами за тяжелые работы на заимках.

[65] Песня эта, говорят, сочинена одним ссыльным в 20-х годах настоящего столетия, вскоре после учреждения этапов по проектам и указаниям графа Сперанского.

чение, что поселенец из каторжных, уходившийся, достаточно пошаливший, «надуровавшийся» на своем веку, — сходнее и сподручнее для работ, чем поселенец, прямо пришедший из России и предназначенный для тех же целей свободного труда и вольнонаемных работ. Первый трудолюбивее, добросовестнее второго и требует только кое-каких решительных уступок и особенных приемов в отношениях с ним. Второй, как необъезженный конь, настолько еще дик и своеобычен, что общепринятых приемов и способов действия никак к нему не приладишь. Как в первом замечаются задатки к непременному исправлению, так во втором — наклонность в противную сторону: нельзя ли и в Сибири походить по той стезе, с которою свыкся, но, по несчастью, сорвался в России.

Общественное мнение единогласно остановилось на том, что поселенцы, приходящие из России и поступающие на жительство, люди испорченные, никуда и ни к чему не годные. Мало того, они — язва молодой страны, жаждущей свежих сил и честного труда. Испорченность, безнравственность их до такой степени сильны, что вредно и гибельно действуют на коренное население, заражая его своим тлетворным ядом. Как в северозападном крае России невозможно найти такого старожила, который не был бы глубоко убежден в настоятельной необходимости, ради пользы края, в разрешении евреям селиться в каких угодно центральных городах, так редкий из коренных сибиряков не желает прекращения высылки из России ссыльных, в тех же расчетах на несомненное и даже близкое преуспеяние своей родины во всех отношениях. С общественным мнением не идут в противоречие и убеждения начальственных лиц, в отзывах которых по этому делу замечается изумительное постоянство и сходство. Еще в 1835 году один из сибирских губернаторов печатал в своем сочинении[66] о ссыльных, между прочим, следующее: «Редко случается, в особенности летом, чтобы ссыльный исполнял в точности обязанность свою против хозяина и против начальства. Он берет задаток, получает одежду и, несмотря на билет, уходит в горы и леса, ворует, мошенничает и живет или едва живет. Иногда

[66] А. П. Степанов, енисейский гражданский губернатор, в известном сочинении своем — «Енисейская губерния», Спб. 1835, ч. II.

застигает его глубокая зима, и он, голодный, замерзает в пустыне. Иногда сталкиваются они вместе и составляют шайки разбойников, от 8 до 10 человек; отбивают винтовки у промышленников, лошадей у поселян и, под начальством атамана, грабят крестьян, редко проезжающих и никогда ничего казенного. Таких шаек бывает иной год две, три. Они жгут дома, пытают на огне хозяев и обирают все, что можно обобрать. Для них-то учреждены ведеты от Ачинска до Красноярска. Большая дорога совершенно спокойна, но глухие места подвержены опасности. Казаки, с помощью крестьян, преследуют их, уничтожают, ловят. Более трех лет не появлялись они в Енисейской губернии и решительно с тех пор, когда Высочайшей воле угодно было за поимку их наградить одного храброго крестьянина медалью. Иногда большими толпами бегут ссыльные к России, но Сибирь есть тюрьма колоссальная, с бесчисленными полисадами, в которых-нибудь из них беглецов ловят. Это случается, по большей части, к зиме и вот, пока идет следствие, пока собирают справки, ибо они беспрестанно обманывают, их зимняя квартира есть тюрьма».

Тридцать лет (уже в 1861 г.) печаталось в одном из московских ученых изданий[67] уже про всех сибирских поселенцев то же самое, но в таком виде: «Следуя общепринятому порядку, ссыльные, по достижении Тобольска, распределяются по губерниям; в губерниях они расписываются по волостям и отправляются на места в сопровождении казаков, которые, по малочисленности своей, служат им более провожатыми, нежели конвоем. В волостях ссыльные распределяются по деревням и отправляются туда уже поодиночке или нестройными толпами, без всякого полицейского надзора. Получив, таким образом, полную свободу, которою не умеют пользоваться, они предаются порочным своим наклонностям: пускаются в воровство, мошенничество и нередко в грабительства. Те из них, которые по необходимости отыскивают работу, по большей части не исполняют своих обязанностей ни в отношении к хозяевам, у которых нанимаются, ни в отношении к начальству. Берут задатки, получают одежду и, обокрав часто своего хозяина, бегут от него и

[67] Чтения в Имп. моек, общест. ист. и древ, российских.

делаются бродягами. Обширность и малонаселенность края, лишая местное управление всякой возможности преследовать их в свое время, дают им все средства к укрывательству до тех пор, пока наступление зимы не заставит их сблизиться с селениями и искать в них убежища от холода и голода. В этом-то положении многие из них погибают в пустынях, а остальные попадаются в руки местных властей. К зиме все тюрьмы наполнены бродягами, начинаются розыски об их происхождении, а между тем они, обеспеченные человеколюбивым правительством во всех естественных нуждах своих, ведут праздную жизнь и, передавая один другому свои преступные похождения, еще более укореняются в безнравственности. К весне оканчиваются дела о бродягах. Они, ежели не откроется уголовных преступлений, после легкого полицейского наказания, отправляются прежним порядком в волости и деревни, к которым положительно никогда не присоединяются, и возобновляют прежние беспорядки».

«Крайне трудно, — свидетельствует А. П. Степанов, — изобрести средства, со стороны казны, удерживать ссыльных от побегов». «В 1827 г. сентября 15-го, — говорит он дальше, — утвержден проект поселения 5,955 ссыльных в Енисейской губернии, имеющий в предмете, через сосредоточенный надзор и занятие в хлебопашестве, удержать преступников от побегов и праздности. Поселения сии должны заключаться в 25 деревнях: отведена 15-десятинная пропорция прекраснейшей земли; из сих поселений 6 на большой дороге, остальные в стороне. В каждом дворе назначено помещение четырем посельщикам, трем, как работникам, и четвертому, как хозяину или кашевару. Он приготовляет все нужное для своих товарищей по тогдашнему хозяйству. Каждый ссыльный получил топор — и леса пали под руками работников поселений или будущих хозяев домов. Я видел уже на большой дороге прекрасных пять селений оконченными и не мог ими налюбоваться. Я видел семь достигающих своего конца; я видел четыре, как чертежи, лежали на зеленеющихся долинах по берегам Кана...».

«На это дело, — говорит другой автор, — употреблено до 270 тыс. руб. асс. безвозвратно и, сверх того, на продовольствие поселенцев до урожаев, роздано им около 211 тыс. руб. асс., которые они обязаны были возвратить впоследствии по частям. Но благоде-

тельная сия мера не достигала цели. Посельщики, едва водворенные, оставили, по большей части, свои домы и устремились к глупой воле, бродяжничеству и преступлениям. Это служит неоспоримым доказательством, что без действительного хозяйственного быта, т. е. без семейства, любви к собственности и надежды на будущее, никакое свободное поселение существовать не может. Но как достигнуть этого, где взять женщин для брачных союзов, тогда как число их в Сибири вообще составляет только около ⅘ против числа мужчин, а в числе ссыльных бывает их обыкновенно не более ⅒ части?»

Между тем, «большинство поселенцев не имеет прочного домохозяйства и благосостояния», говорит одна из поздней-ших не напечатанных, но замечательных записок о поселенцах Томской губернии. «К причинам этим можно отнести: 1) нравст-венную порчу поселенцев и приобретенную ими до поступления в Сибирь, привычку жить не своим трудом; 2) бедное и беспомощное положение поселенцев при первоначальном их водворении в Сибирь, и 3) общее нерасположение к ним сибиряков-старожилов, выражаемое в бранном слове: *варнак, посельщик!*» Прислушайтесь к рассказам туземцев, проверьте их личным внимательным наблюдением, обращайтесь с запросом к прошедшему и в официальных и неофициальных сказаниях ищите ответа, — везде и неизбежно встречается один непреложный вывод, что положение ссыльного поселенца в Сибири далеко не удовлетворяет всем, даже самым снисходительным, требованиям человеко-любия и цивилизации.

Замечательная правда объяснений этого факта, приведенных в записке, обязывает нас к подробному разбору всех трех высказанных ею положений.

На вопрос, где происходит окончательная нравственная порча ссыльных и приобретается ими привычка жить чужим трудом, давно уже готов ответ положительный, прочно вкоренившийся в общественное положение и — должно сказать правду — ответ, не подлежащий сомнению. Спрашивайте официальных наблюдателей, спрашивайте самих ссыльных о том, где больше и чаще наталкивались они на случаи совращения своих помыслов и убеждений с прямого пути чести и долга, — вам единогласно ответят: *в тюрьме!*

Вникните в подробности и глубину смысла этого слова, следите за историческою жизнью этого вида государственных учреждений

(по всем немногим данным, которые кое-где разбросаны), везде и всегда вы встретите одно, что тюрьма или, попросту, острог, была складочным местом всех тех нравственных нечистот, которые порожда-ются разложением кое-каких частей общественного организма. Складчики и носильщики — это те преступные и порочные люди, которых выделяют из общественной среды, для ее же безопасности, и которые тем с большею охотою и рвением исполняют свою обязанность, что находят себе слушателей и последователей. В этом смысле тюрьмы, после воровских притонов и домов разврата, были самыми благонадежными и прочными резервуарами, куда способнее входить и где легче скопляться всем гнилым и заразительным миазмам, характеризующим в известный момент болезнь человеческого организма.

Чего прежде всего недоставало русским тюрьмам? в чем главнее всего нуждались русские тюремные сидельцы? — ответ теперь отыскан: нашим тюрьмам недоставало правильного рационального устройства и сосредоточенного надзора и внимания, а заключенные в них, прежде и главнее всего, нуждались в занятиях, в работе. Труд — этот основной закон и главный деятель нашего существования, и притом такой деятель, участие которого в судьбе человека настолько сильно и важно, что труд возвышен в достоинство добродетели, — в наших местах заключения преступников возымел только теперь достаточно практическое применение, в чем могли наглядно убедиться посетители международной выставки минувшего 1890 г. Труд, как самая добродетель, предохраняющий волю человека от дурных наклонностей, в тюрьмах был забыт, как забыто было и то, что если можно что-нибудь поставить выше самой добродетели, выше встанет труд, как утешитель в наших печалях и как всемогущее услаждение в наших несчастьях. Теми и другими в избытке преисполнилась жизнь большей части тех людей, которые сели в тюрьму; на большую половину таких людей эти неудачи и несчастья сложились в таком обилии, что до- вёли их до преступления, а затем лишили свободы.

С уверенностью, основанною на фактах, можно сказать, что большая часть тюремных сидельцев, а в особенности тех, которые приговорены на поселение — не что иное, как именно жертвы

праздности, бродяги. Презрение к труду выработало из этих людей особый класс, организовало их в самостоятельное целое, обрекло на иной быт, не имеющий ничего сходного с обыкновенным законным и естественным течением настоящей жизни. Постоянная жизнь в праздности привела их к тому, что они лишились всякой предусмотрительности, основанной на заботах и запасах на будущее, и всякой энергии, за отсутствием которой явилось тупое равнодушие, отнявшее у них даже тень самостоятельного характера. В бродяге неизбежно выяснился первообраз всех классов злодеев. На почве бродяжничества свободно улеглось и возросло всякое злое семя, вредное и враждебное обществу. Бродяга, в виде дерзкого вора, смелого мошенника, конокрада, контрабандиста, сел в тюрьму, чтобы оставить в ней следы своей науки и своего опыта, и потом уже ушел в ссылку на поселение, еще более изуродованный и испорченный. Бродягами, людьми легкого промысла, не требующего честного труда, переполнены наши тюрьмы. У бродяги либо совсем нет приюта и он (говоря метким выражением из их же искусственного языка, ими на досуге придуманного) — либо «куклиш четырехугольной губернии», либо он житель каменного мешка, студент палочной академии или попросту обыватель острога. Острог достаточно убедил нас (даже в Сибири) в том, что бродяжий дух повсюду веет и целостно живет во всем составе наших тюрем. Внутренний порядок общежития устроен по уставу, принесенному непосредственно из мошеннических ассоциаций, бродяжьих товариществ. В условном тюремном языке ясны следы того языка, который известен у столичных жуликов и мазуриков под именем *музыки*.

Какое же понятие о труде и какие средства к полезному взаимодействию могли внести в сибирские тюрьмы эти люди без правил, беспечные и ленивые до самых крайних пределов возможности! Могли ли они не влиять вредно, не развивать на досуге своих правил, когда и в тюрьме встречали они безграничный досуг в длинные сроки при казенном обеспечении во всем том, для чего он прежде ходил, будучи на воле, с легкими орудиями праздного и порочного человека? Тюрьмы стремились только к одной цели — удержать заключенных в своих стенах (а потому и строились предпочтительно каменными и обставлялись вооруженными часовыми), а смотрите-

ли старались не уморить сидельцев голодом (а потому и руководствовались кое-какими подаяниями и жертвами благотворителей). О том, чтобы занять сидельцев делом и помешать испорченной воле развивать себя на безделье и праздности, в тюрьмах не думали.

Как и следует быть жилищам бродяг, людей, подчиняющих себя только собственной воле, но теперь заключенных, сибирские тюрьмы ведут нескончаемую летопись о различных способах к побегам, т. е. достижению того самого состояния бродяжничества, которое на этот раз делает уже из бродяги искателя приключений и сильных ощущений в самом широком значении этих слов. До тюрьмы бродяга — человек еще очень терпимый и не всегда опасный; бежавший же из тюрьмы бродяга — одно из звеньев в цепи опасных и вредных классов населения. Между тем, положительно известно, что ни одна из русских внутренних тюрем не может похвалиться тем, что в ней не было сделано подкопов и не учинено побегов. В самых счастливых из них только что не каждый год случались эти несчастья. Но для обеспечения бродяжничества надобятся на крайний случай паспорт, какой-нибудь вид и, хотя на первое время, какая-нибудь денежная сумма. И вот, опять редкая тюрьма не писала в своих ежегодных дневниках случаев находок, при обысках, поддельных штемпелей и печатей и ясных следов работы фальшивых бумажек. В этой круговой подчиненности и взаимной зависимости одного преступного дела от другого уже счастливым результатом должно полагать то явление в наших тюрьмах, когда арестанты начнут выпускать на охотников и любителей плоды своих работ в виде голубков, искусно сделанных из лучинок, в виде разных безделушек точильного мастерства, поразительных тщательною и терпеливою отделкою. Но в тех и других, с одной стороны, нельзя не видеть большого избытка во времени, истрачиваемом на такие непроизводительные пустяки, а с другой стороны, нельзя не видеть и того, что заключенные совсем не против труда, что они все-таки трудятся, хотя труд их и не направлен в полезную сторону; кроме того, нельзя не видеть также и того, что руководство и наблюдения приставников слишком вялы, бесцельны и непроизводительны, и собственно сибирские тюрьмы, в этом отношении, стоят по своему уровню очень низко.

Если же дело стоит за случаями, на которые наталкивают осмотры, то мы можем указать на одну такую тюрьму, где арестанты на досуге и ради шалостей устроили в острожной казарме малое подобие питейному откупу со всеми его департаментами. В разных местах обширной казармы найдены были застигнутыми врасплох различные питейные выставки: в одном углу питейный майдан назывался ведерною, в другом углу носил прозвание штофной лавочки, в третьем — распивочной. Конечно, в ведерной продавали не более косушки, в штофной производили торговлю стаканами, в распивочной рюмками. Такое устройство существовало в этой тюрьме — по сознанию самих арестантов — не одну неделю, до того «недостаточна была заботливость о том заведующих тюрьмами» и до того не «тесно помещение»! Водку доставлял в острог тот же самый сторож, который ходил с ящиком в аптеку за лекарствами для больных арестантов. На открытие такого *подвального* натолкнул также случай. Раз он, проходя мимо начальства, споткнулся и разбил склянки. Начальство, ошеломленное спиртным запахом, не менее удивлено было тем, что и сигнатурки были поддельные, а подделывал их, как показал на допросе сторож, один из тюремных фельдшеров. Вот когда догадался смотритель, отчего от многих арестантов припахивало, а другие попадались ему и совсем пьяными.

«Духовные назидания совершаются в немногих тюрьмах и весьма редко (свидетельствует статья «Сев. Почты», составленная по официальным данным). Даже там, где есть церкви и священники, эти последние всю свою деятельность ограничивают обыкновенно совершением службы в праздничные дни и вовсе не заботятся об исправлении арестантов, не говоря им ни проповедей, ни поучений, и вообще далеко не выполняют той обязанности, которая лежит на них в отношении порученных попечению их арестантов. Директоры тюремных комитетов, хотя и принимают в некоторых тюрьмах на себя обязанность пещись о нравственном совершенствовании арестантов, но деятельность их, как одиночная и совершаемая по преимуществу без системы, мало плодотворна. Большинство между ними остается совершенно равнодушным к делу исправления преступников. Обучения арестантов не было до последнего времени, и лишь только в недавние годы заведены в не-

многих тюрьмах школы или, вернее, введено обучение частными лицами из благотворительности, без всякого вознаграждения, но и тут встречаются затруднения в отводе помещения. Книги духовно-нравственного содержания находятся в немногих тюрьмах, но их арестанты не читают и не хотят читать; других же общеполезных книг нет и, по правилам, они не допускаются».

Не только безграмотность заключенных, не только недостаток книг и отсутствие духовных назиданий, но, вместе с тем, и равнодушие тюремных попечителей должно полагать в числе коренных причин тюремного несовершенства. Причины эти только косвенным образом оправдывают существование зла, корень которого, несомненно, лежит в дурном устройстве всего дела, в неправильности и бестолковщине отношений между дозорщиками и дозираемыми и, конечно, главным образом, не в одном ленивом отправлении своих обязанностей первыми, но и в том, что обязанностям этим не придано надлежащего направления, духа единства и духа жизни. Живые на бумаге, правила эти мертвы в жизни и на практике произвели на противоположной стороне сильный противовес, выразившийся в существовании тюремной общины. Острог, воспользо-вавшись тем, что враждебная ему сила, вяло действуя вообще, вооружалась на него урывками, кое-как и кое-когда, вел свою работу систематически и добрался-таки до того, что организовал из себя отдельный мир, мало похожий на тот, который кишит за стенами его. В тюремной общине выдержанность общего тона поразительна: «он составлен из какого-то особенного собственного достоинства, как будто звание каторжного доставляло какой-нибудь чин, да еще и почетный»[68]. Хотя состав этого мира и немногочислен (бывает, впрочем, в нередких случаях не меньше 400 душ населения), хотя он, по-видимому, и изолирован, как отдельная община, но для людей, обреченных в ссылку, в одной общине первого острога он только начинается. На пути (в этапах) он только несколько видоизменился, но в основных чертах остался тем же, а в сибирских тюрьмах достиг конечного своего развития; «недаром, — говорят острожные, — черт износил трое лаптей, чтоб сбить нас в кучу». Всем своим составом мир этот противодействует всяким начинаниям, направленным к благой цели исправления, и в нем-то,

[68] Ф. М. Достоевский («Мертвый дом»).

главным образом, надо видеть основную причину всем неудачам, испытываемым и тюремными смотрителями, и попечительными комитетами. «Замечательно то, что в продолжение нескольких лет, — говорит наблюдатель, сидевший с арестантами, — я не видел ни малейшего признака раскаяния, большая часть из них внутренно считали себя правыми. Это факт. Конечно, тщеславие, дурные примеры молодечества, ложный стыд во многом тому причиной». Замечательно при этом также и то, что руководящие жизненные начала до того выработаны и деятельны, что по всем тюрьмам они поражают сходством и в русских правила тюремной жизни преподаются только новичкам. В русских тюрьмах, одним словом, начинается та нравственная порча ссыльных, от которой в Сибири не знают, чем защищаться. Вот почему там в общее сознание прошло то убеждение и желание, чтобы исправление ссыльных начинать во время содержания в острогах при суде, т. е. в русских тюрьмах. По численности преступников, по огромному развитию и разнообразию требований молодой страны, при недостатке свободных и способных людей на такое дело — в Сибири исправление преступников весьма трудно, даже невозможно.

Мы отчасти видели прежде, до какой степени бесполезно посылать в Сибирь преступников, присужденных к работам собственно-каторжным; впоследствии мы увидим это еще яснее. Теперь остановимся по поводу занимающего нас разряда ссыльных — на поселенцах. Вопрос о каторжных, по гораздо меньшей численности их в сравнении с количеством поселенцев, нам кажется несколько менее важным, чем вопрос о поселенцах. Исключительное назначение первых на казенные работы на промыслах и в рудникак, самый способ применения труда их, подробности содержания за труд ясно показывают, что ссылка этих людей имеет исключительное значение карательной меры. Ссылкою хотят их наказывать, работами бесплатными и принудительными имеют намерение привести в чувство и раскаяние, да кстати и выместить тем на них неудовольствие и презрение общества. Совсем противоположное предполагается в судьбе ссыльного поселенца: его ссылают, чтобы очистить испорченное им место и не дать ему возможности больше вредить обществу. В разлуке с родиной ему полагается мера взыскания и наказания, но в акте поселения его в новой стране видится уже же-

лание иметь в нем для новой страны жителя, деятеля, со временем гражданина, впоследствии на честном труде селянина и семьянина, т. е. честного человека. Может ли он быть таким, выйдя из русской тюрьмы, пройдя сквозь мытарства этапов и сибирских тюрем, наглотавшись их смрадного и заразительного духа?

Русская тюрьма (да и всякая), прежде всего, отрицает всякую собственность: денег держать при себе нельзя, а также ни табаку, ни водки; платье казенное, пища казенная и ремесло и искусство — также чужое достояние. Тюремная община, сложенная, как мы сказали, бродягами, людьми ничего не имущими, и руководимая и направляемая ими же, — так как из них состоит большинство тюремных сидельцев, — в этом отрицании собственности ушла еще дальше. Воровство вина у собственников его, табаку у товарищей, заручившихся им, не считается за грех и не вменяется в преступление. Да и всякое воровство каких бы то ни было вещей у зазевавшегося соузника до такой степени обычное дело, что тюрьма ворует поголовно. Безделье породило игру, внезапные обыски денег развили пьянство: надо тратить, а то отнимут. На пьянство нужны деньги, взять негде — надо красть либо эти деньги, либо такую вещь, которая стоит денег и которую охотно покупает свой же брат арестант, умеющий выпустить ее за тюремные стены. Обворованный имеет право сам выследить зазевавшегося товарища и на его собственности выместить свою беду; в совместном житье такая круговая порука — дело понятное. «Я и сам бы сделал так», — думает арестант и только слегка ругается для очистки совести. Вот почему тюремное воровство бесконечно. Эта болезнь так заразительна, что раз попавший на эту стезю с нее не срывается; по пословице: «вор беду избудет, опять на воровстве будет». Если существуют в тюрьмах замысловатые и остроумные хоронушки и дозволяются собственные сундучки, воровство там одна из сильных и прилипчивых болезней, как у людей, не имеющих никакой движимой и недвижимой собственности и у которых всякая тряпка в цене. Исключения в добрую сторону до такой степени редки, что брать их в соображение мы совершенно не можем. Тюрьма есть и школа воровства и первый пробный камень этого незамысловатого искусства. Воровство в тюрьмах доходит до изуми-

тельной степени совершенства, которому не посвященные в дело с трудом могут верить[69]. От легкого способа приобретения немного шагов до страсти к расточительности после удачи, а потому в тюрьмах собственник пропивает все, потому что одновременно развиваются в нем и два других недостатка: непредусмотрительность и вера в случай. Последняя очень пригодна для картежной игры, значительно распространен-ной в тюрьмах и любимой этими людьми сильных страстей и живых темпераментов.

В такую-то сферу, под влияние таких-то начал и правил поступает тот, кому судьба сулит потом сделаться гражданином Сибири, эксплуататором ее богатств и сокровищ! Поступающий из бродяг, разумеется, не теряет присутствия духа. Тюрьма его не пугает. Время, которое он в ней проведет, бродяга сочтет за неудачный случай в его бродяжьей жизни, но вскоре и в том успокоится, встречая в тюремных правилах и житейских приемах много знакомого, много того, чем он и сам руководился до сих пор. Но трудно овладеть тюрьмою человеку, оторванному от честного крестьянского труда каким-нибудь несчастным случаем, часто невольным и не во всем от него зависевшим. Положение этих людей в таких тюрьмах должно, преимущественно, возбуждать сострадание и больше всего требует защиты и участия, каковые к тому же и дать им легче. Насколько не затрудняют тюремные обычаи преступников, порождаемых городами, настолько они исключительно и непременно действуют вредно на ссыльных, вышедших из деревень и преимущественно попадающих на поселение (мы это докажем впоследствии фактами и цифрами). Остановимся на них.

Пока человек упорно и крепко держался за семейное и общественное право, пока первое обуздывало его примерами, а второе — своими учреждениями, догматами и законами, пока, наконец, труд увлекал его, человек был крепок обществу и связывался с ним прочно. Но лишь только какое-нибудь внешнее враждебное возбуждение, каковы, напр., крайняя и безнадежная нищета, чужие примеры, ис-

---

[69] Напр., в одной из сибирских тюрем арестанты украли лошадь, на которой приехал подрядчик-поставщик съестных припасов. Арестанты на подрядчика были сердиты и украденную лошадь спрятали под полом бани, так что искать ее там и в голову придти никому не могло.

порченная и безнравственная общественная среда, успели зародить в сердце порочную наклонность и ее воспитать — падение недалеко. Кто-то давно сказал, что в праздном человеке уже зародился опасный порок, уже он гнездится в сердце, и преступление ждет только удобного часа и поводов. Та же общественная среда, которая умела до сих пор обуздывать человека, сумеет разнуздать страсти, давая из себя избытки зла едва ли не в большем количестве, чем сколько давала она добрых примеров и хороших руководств. И, терпя в среде своей только порочного человека, общество уже не терпит преступного. Преступление обязывает общество выбросить из себя виновного, и, выбрасывая его вон, оно уже отрекается от него. С этой поры перестают действовать законы общественные, более уступчивые, мягкие и терпеливые. Настает время деятельности и проявления силы других законов, для которых уступка, смягчение и кротость не составляют уже обязательного и неизбежного качества. Карающая сила, ищущая возмездия, заступает место силы, много прощавшей и уступчивой.

Преступник, взятый не только из среды общества, но из собственного семейства, становится в новое положение, зависимое и несвободное. Лишенный прав располагать своею волею, он уже заключенный, тюремный сиделец. На первых порах эта огромная разница, крутой жизненный переворот для неопытных людей не проходит даром. Они прежде всего теряют всякую волю и обязывают себя на исключительное подчинение всем новым порядкам чужого монастыря. Их даже намеренно и застращивают взятием особой суммы денег, так называемого «влазного», поступающего в обширный тюремный капитал. От них настойчиво требуют подчинения обрядам и обычаям общины и серьезно преследуют и наказывают за всякое уклонение жгутами, молчанием, лишением дорогих и заветных вещей посредством кражи и проч. Старание убить волю до такой степени искусно ведется и приспособляется в тюрьмах, что редкие из новичков выстаивают, не подчиняясь боевым и бывалым, каковы бродяги и другие, не раз посидевшие в тюрьмах, преступники. Угождение товарищам, желание подслужиться им и подчиниться им — единственный выход и в тюремных общинах, как действителен он же и во всяких других товариществах, хотя бы даже и в корпусных, гимназических и семинарских при

прежних положениях. Человек с воли и с широкого деревенского раздолья всегда в этом случае играет страдательную роль. Замечают, что люди подобного закала на первых порах безропотно покоряются своей участи, покорны и почтительны к своим начальникам и спокойны в своем несчастье до тех только пор, пока пагубные советы старых кадет, их опасные примеры и отчаянность не сделают их столько же развратными, как и те. Каким образом совершается такая перемена — это тюремная тайна, но факт превращения происходит замечательно скоро. Посидевший в тюрьме несколько месяцев (что сплошь и рядом случалось при старых судах) превращался уже из простоплетного, добродушного человека в скрытного, уклончивого, ловкого и опасного плута. Эта опасность может исчезнуть только тогда, когда правительство, обязанное заботиться о благосостоянии и свободе своего народа, удалит этого преступника вместе с его товарищами и учителями в другую и отдаленную страну. Там, имея меньше возможности вредить кому-либо, они должны будут заняться работою, отказаться от своих порочных наклонностей и принять убеждения более общественные и правила более нравственные, подходящие к назначению человека.

Общество в таком удалении порочных людей нашло для себя залог собственного спокойствия и некоторой безопасности. Нравственность много выиграла, потому что ссылка предупредила преступления больше, чем всевозможные наказания, внушив страх остальным людям, находящимся на пути к преступлению. Пусть вообразят они себе то отчаяние, которое причинила ушедшим разлука с родиною, друзьями и ближними навсегда. Между ними мог попасться муж и отец, разлученный с женою и детьми, не пожелавшими следовать в ссылку. Без сомнения, было бы лучше и полезнее для человечества найти основу преступлений и предупредить их, истребив причину в корне, чем наказывать преступников; но как бесполезно стараться уничтожить зло, пока человеческое сердце служит местом для страстей, то усилие отвращать зло — пока единственное к тому средство, а самый удобный способ — это ссылка.

Человек может перенести самую тягостную жизнь, потому что, несмотря на все страдания и несчастья, он видит возможность избавиться от них в будущем и эта надежда его утешает. Мысль поте-

рять навсегда то, что ему дорого, уже свыше его сил. И какой неоцененный случай застать его в этих размышлениях, развить в нем сознание преступления, если бы наши ссыльные находились в руках людей, разумеющих и оценивающих в них человеческое достоинство! То ли бывает на самом деле у нас, в России, которой сознательно и справедливо завидуют европейские государства, не имеющие под руками таких удобных и счастливых мест для колонизации? Наши ссыльные на пути к раскаянию попадают в руки, еще сильнее увлекающие их к пороку, а на дороге в ссылку наталкиваются на новые искушения и соблазны, еще более резкие, грозные и гибельные. Не будем уже удивляться теперь, после знакомства со всею предшествующею ссылке обстановкою, тому, что опытные старожилы сибирские встречают их недоверием и даже презрением. Поговорки сибиряков потому и сильны своим смыслом, что характеризуют одну из главных черт поселенцев, благоприобретенную в тюрьмах и развиваемую в Сибири, на самых местах поселения. Действительно, редкий поселенец свободен от страсти к воровству, потому что он утратил в тюрьмах уважение к чужой собственности и потерял в дороге по этапам, от бесчисленных вымогательств, последнюю надежду на личную собственность. Поселенец не отстает от тюремной привычки и на месте водворения, потому что, как известно, он в Сибири, по прибытии из партии на «место причисления», пособия не получает и сам ничего не имеет, кроме ветхого рубища и измызганной обуви, прослуживших ему на сотнях верст. Насколько он сохранил в себе самоуважение, насколько принес он с собою сознания человеческого достоинства — это еще вопрос, подлежащий большому сомнению, после того, как привели ссыльных гуртом, в стаде, которое и гонят к тому же так, как будто это не люди, а что-то подобное скотам, нечто отличное от обычных людей. На этапах и в тюрьмах нет особых протестов против унижения человеческого достоинства. Арестанты одеты так, что одежду их, не обинуясь, можно назвать лохмотьями, хотя лохмотья, на всех ступенях человеческих состояний, больше всего унижают и бесчестят того, кто покрыт ими. Пища, которою кормят ссыльных, завершая полноту унижения, в то же время качеством и количеством своим немного дает задатков к тому, чтобы

ссыльный мог достаточно сберечь в себе силы для предстоящих работ в Сибири. Вся обстановка подготовительного быта как бы намеренно стремится к тому, чтобы *унизить,* а по возможности и *уничтожить* в человеке человека.

Этапное путешествие производит наклонность к бродячей жизни даже и в тех поселенцах, которые не были до сих пор бродягами, и подрывает охоту к более порядочной, оседлой жизни и, во всяком случае, сделало его неспособным к постоянному усидчивому труду, какого требует и вправе требовать от него новая страна, девственная земля и новая и незнакомая бытовая обстановка. Отчуждение от семейной и лишение правильно размеренной и устроенной жизни вконец довершили удар и произвели окончательную порчу над этими людьми, которым судьба указывает быть колонизаторами богатой страны.

Внушает ли кто до ссылки и во время путешествия арестантов в ссылку о тех обязанностях, которые ожидают их на новом месте? Знакомят ли их с теми требованиями, которые тотчас же заявит новая страна, и дают ли даже какое-либо понятие о Сибири? Вместо того чтобы каждый день и каждую минуту внушить о предстоящем счастье для тех, которые честно исполняют свой долг, основанный на труде и предусмотрительности, ссыльные остаются в том же убеждении, что их гонят в такую темную беспросветную даль, где, судя по началу, и ждать лучшего нечего, и надеяться на какие-либо льготы и уступки никак невозможно. По прибытии их на места ссылки принимают ли их лица, специально назначенные для попечения о них, долго жившие между преступниками, хорошо изучившие, посредством долгого и пристального наблюдения, их характер, нравы и привычки и, наконец, лица, хорошо знакомые с требованиями страны, с сельским хозяйством, с условиями торговли, с ходом ремесл и с нуждами окольного люда? Напротив, деятельность и значение смотрителей поселенцев ослаблены. Люди, косвенным и прямым образом ведающие ссыльных, — это люди случайные, весьма часто новые и, во всяком случае, не имеющие никакого понятия о том, что требуется положением поселенцев. Внимательное изучение и наблюдение приведет даже к тому заключению, что быт поселенцев оставлен на произвол судьбы. Люди, которым они вверены, слишком равнодушны к ним, даже до того,

что в отношениях к ссыльным показывают, при постоянном равнодушии, в моменты внимания, больше раздражительности и несправедливости, чем правды и сердечного участия. Как будто ссыльные — лишнее бремя и посторонняя инстанция, которая отвлекает от прямых обязанностей по должности, без вознаграждения за труды, без ежемесячного жалованья и без надежды на награду и отличия. Скажем настоящую правду: на всех делах, по отношению к ссыльным, лежит печать слишком явного равнодушия и распущенности. Предупредительных мер никаких, карательных очень много, и все дело поселенцев так запутанно и в таком заколдованном круге, как будто из него и никакого выхода нет. Покажем все это на фактах.

На первых шагах в Сибири, после освобождения пришельца от тюрем и этапов, к довершению беды испорченного ими человека, его встречает обязательство податей, наравне с крестьянами-старожилами, но от повинностей поселенцы освобождаются. Так установил устав о ссыльных 1822 года: «Поселенцы должны были по уставу платить подати, по прибытии в волость, с первого января; не уплативших вовремя устав велел отдавать за приличную плату и содержание в работу старожилам. Вообще, они состоят под строгим надзором, пока не обзаведутся. Для обзаведения положен пятилетний срок. Если ссыльный в это время устроится, то причисляется в крестьяне и поступает под обыкновенный земский надзор; причем с первого по водворении года пользуется трехлетнею от податей и 20-летнею от рекрутства льготою и получает собственные деньги, которые имел он до отправления в Сибирь. Если же в течение пяти лет не обзаведется, то платит положенную подать, оставаясь в прежнем положении». Вот чего желал гр. Сперанский и вот что оказалось в применении на практике через два-три года, судя по словам генерал-губернатора Восточной Сибири, написавшего 20 марта 1825 года: «С 1823 по февраль 1825 поступило в Енисейскую губернию на поселение 5306 и неспособных 476, всего 5782. При этом найдено, что в губернии немного уже остается селений, к которым можно приселять ссыльных, да и те вскоре могут наполниться и, в таком случае, должно будет приступить к поселениям на счет казны. Приселенные ссыльные, быв обложены податями, оказываются несостоятельными к платежу,

потому что немногие из старожилов могут принимать их в работу, и оттого ссыльные, не имея ни занятий, ни средств к пропитанию, самовольно переходят в другие селения и волости, в которых или работают из-за одного хлеба, или проживают праздно, со вредом для старожилов, меры же обыкновенной полиции не сильны сему поставить преграду». Нельзя ожидать скорого водворения ссыльных, ибо «сверх невозможности выдавать им деньги вскоре по прибытии в волости, они поступают в места своего назначения в ноябре и декабре и, не успев осмотреться, находятся в обязанности платить подать, к приобретению которой удобно в Сибири только летнее время, прочее же затрудняет их даже и в пропитании. Почему и остаются они у казны в долгу и едва ли в продолжительнейшее время будут в состоянии водвориться». То же самое происходило и в Западной Сибири. Представления губернатора разрешены были тем, что ссыльных, поступающих на поселение с сентября до мая, велено облагать податями и 50-копеечным сбором с 1 июля; поступающих же с мая по сентябрь облагать с 1 января, «дабы они могли воспользоваться рабочим временем для приобретения денег на подати». Тогда же разрешено выдавать ссыльным собственные их деньги при начале поселения. В ответ на это двести человек ссыльных, поступивших на приселение к одной из волостей Каинского округа, жаловались (и жалоба их дошла до Петербурга) на то, что с них, едва лишь они начинают промышлять об обзаведении домами и скотом для хлебопашества, уже требуют подати со всею настойчивостью и, при невозможности уплачивать, продают скудное их достояние за бесценок, а сами они отдаются за малую плату (по 25 и 30 руб.) в год в работники в тех же самых селениях, к которым причислены, тогда как и в других селениях могли бы они получать гораздо большую плату. Сенаторы, ревизовавшие Западную Сибирь, удостоверились на месте в крайней и величайшей трудности посельщикам, по освобождении их из тюремного заключения безо всего, кроме полуизношенного, оставляемого им казенного одеяния, вдруг найти средства к пропитанию домоводством и к платежу податей, и что «собственно от сего многие из них впадают в уныние и даже отчаяние, а некоторые дерзостнейшие, с того самого времени, как освобождаются из тюремного заключения, ищут случая к побегу назад в Россию или начинают в Сибири новые преступле-

ния, покушения на воровство, грабежи и разбои». Эта жалоба вызвала льготные годы, и 9 ноября 1832 года постановлено: тех из ссыльно-поселенцев, которые обзаведутся в течение льготных трех лет хозяйством, записывать в крестьяне и освобождать от податей и повинностей еще на три года. Не умевших обзавестись велено облагать поселенческою податью, отдавать за неплатеж в работники и продолжать за ними строгий надзор; по совершенном же водворении записывать в крестьяне, но без вторичной льготы.

Неопределенность положения ссыльно-поселенцев этими мерами все-таки не исправлена; нам приходится убедиться в том, что прочного водворения ссыльных не достигнуто. Сибирь до сих пор представляет страну, где бродячие народы мало-помалу становятся оседлыми, но оседлые люди сделались бродячими. Ссыльное население этой страны представляет движущуюся массу, постоянно переменяющую свое место, где ни один индивидуум не сидит спокойно на месте. Если у кочующих народов замечается определенный закон, по которому они совершают свои передвижения, то у кочевников из оседлого племени людей вместо закона встал произвол и передвижениями их управляет какой-то незримый и непонятный рок. Только некоторая часть этих людей обнаруживает определенное стремление на запад, в Россию, на родину. Остальная часть безразлично и непоседливо бродит по всем сторонам Сибири, наполняя ее тюрьмы снизу доверху и затрудняя местные власти до крайней степени. Вот что говорят правдивые цифры в подкрепление нашей первой мысли. В 1833 году принято Сибирью посланных на поселение и на житье 5011 мужч., 970 женщ. В 1838 году возвращено из России бежавших с мест поселения 995 мужч., 41 женщина (слишком пятая часть всего количества)[70].

Въ	1834	г.	принято	посел.	4919	м.	1291	ж.
»	1835	»	»	»	5455	»	1538	»

[70] Года берем на выдержку, но в сопоставлении их предполагаем, что год поселенцы жили на новом месте, год добирались до старого пепелища, год удалось им прожить под угревою и защитою родных, два года посидеть в тюрьме за справками и, после долговременных справок и старого суда, через пять лет снова явиться на осмотр и учет в Тюмени.

»	1836	»	»	»	7251	»	1357	»
»	1837	»	»	»	6550	»	1260	»
»	1838	»	»	»	5221	»	1117	»
»	1839	»	»	»	6057	»	1135	»
»	1840	»	»	»	6284	»	1256	»
»	1841	»	»	»	6203	»	1129	»
»	1839	»	возвр.	бежав.	727	»	14	»
»	1840	»	»	»	813	»	20	»
»	1841	»	»	»	1067	»	41	»
»	1342	»	»	»	826	»	23	»
»	1843	»	»	»	564	»	15	»
»	1844	»	»	»	574	»	10	»
»	1845	»	»	»	506	»	28	»
»	1846	»	»	»	328	»	16	»

Таким образом, из 52651 мужч. и 11123 женщ., сосланных на житье и на поселение, бегали в Россию 5800 мужч., 208 женщ., или слишком 10-я часть всего поселенческого населения, вновь собранного в Сибири за те же девять случайно нами взятых лет.

Некогда, в тридцатых годах, подобное яркое явление объяснили просто тем, что «ссыльным не нужно поселений, их желание стремиться к бродяжеству, глупой воле и преступлениям», что «побеги повторяются несколько раз сряду, пока беглецы, узнав по опыту невозможность побега в Россию, не сделаются домоседами». Теперь нам нет нужды прибегать к таким голословным выводам, мы достаточно видели и причину постоянного скитания поселенцев по чужим дворам, и доказательства, слишком яркие для того, чтобы считать побеги в Россию не только возможными, но и весьма легкими[71]. Конечно, всему бывает конец: ссыльные поселенцы действительно делаются, после бесчисленных шалостей, преступлений

[71] Рассказывают за достоверное люди, лично знавшие арестанта, бегавшего в Ярославскую губ., для свидания с семейством. Три раза он уходил из Сибири и все три раз дальше Пермской губернии путь его не простирался. Его ловили, били кнутом, отсылали в рудники; он бежал в четвертый раз и уже достиг до цели, сговорил жену, явился с нею к тамошнему начальству, попал в ярославскую тюрьму, получил 60 плетей и снова сослан на долгий срок каторги, но пошел в Сибирь уже с женою.

и бродяжества, оседлыми. Бывают и такие случаи, что поселенец с первого раза садится на место и сидит на нем, не срываясь и не сбегая. Но это все частные, отдельные случаи; общая картина показывает другое. Так, например, в течение тридцати пяти лет[72] сослано в Сибирь на поселение и на житье 214583 человека (181822 муж. и 32761 жен.), а между тем, сибирский край не заселяется в такой мере, как это необходимо для его собственного блага и пользы государства вообще. С отменою, в 1753 году, смертной казни в России, из русских губерний отправляется в Сибирь ежегодно около 10 тысяч человек, из которых до 8 тысяч назначается на поселение. Казалось бы, что народонаселение Сибири должно значительно увеличиться, но факты не оправдывают этого предположения. Несмотря на естественное умножение русских старожилов, общее народонаселение Сибири давно уже остается в одном и том же положении. К числу многих причин относят также и безнравственность поселенцев, их распутную жизнь, а вследствие того, и ту порчу от них, которая пускает глубокие корни даже между старожилами. Один из старожилов выражает такое сетование: «Исчезло прежнее простодушие сибиряков, которым они так славились. Обилие страны и легкость приобретения всех жизненных потребностей породили леность, беспечность, а затем плутовства всякого рода сделались главными основаниями их действий». Отсюда произошло непомерное возвышение цен на хлеб и другие продукты. Все это произошло в такой стране, где «необыкновенное плодородие почвы, без всякого удобрения, даже обработанной, дает неред-

[72] С 1823 по 1852 и с 1854 по 1859 год. За два года промежуточных и за все последующие мы не имеем цифр под руками. В этом числе мы, разумеется, не считаем сосланных на каторжные работы. Число каторжных за известные нам года возросло до 44503 человек (40,357 мужчин и 4.146 женщин). Таким образом, число всех пришедших в Сибирь ссыльных (поселенцев и каторжных) равняется 209086 чел. Считая средним счетом на недостающие нам года только по 8-ми тысяч на год, мы получим приблизительную цифру с 1854 по 1868 год всего количества ссыльного населения, которое дала Сибири Россия, около девятисот тысяч душ обоего пола. А так как число каторжных, по отношению к поселенцам, составляет ⅙ часть, то на одно поселение во все 113 лет поступило в Сибирь больше 750 тысяч человек.

ко урожаи ржи сам-15 к более и где необъятные пространства тучных пастбищ покрывались прежде многочисленными стадами разного рода скота! Леность и нерадение — вот главные виновники всего зла, и нужны сильные меры, чтобы остановить эту нравственную болезнь. Для этого необходимо: 1) изменить в некоторой степени образ ссылки и водворения преступников в Сибири; 2) изыскать средства к их занятиям, которые принесли бы большую пользу как им самим, так и обществу и государству; 3) принять меры к устранению, по возможности, безбрачной жизни ссыльных; 4) прекратить бродяжничество между ссыльными, ныне в Сибири находящимися, и 5) устроить все возможные меры к прекращению плутовства при всех сделках и по всем отраслям промышленности».

Такова картина, представляемая в настоящее время бытом поселенцев, когда взглянем на нее попристальнее и вникнем в частности.

Ни один еще поселенец не уходил в Россию тотчас по прибытии на место; во всяком из них довольно еще энергии; чтобы попытаться, не будет ли здесь лучше, нельзя ли пожить на себя и на семью. Даже в поселенцах, пришедших одиночками, достаточно убереглось покорности судьбе и желания подчиниться своей участи. Надо весьма пожить в тюрьмах и там поучиться, надо много и сильно осмотреться и в самой Сибири, кругом себя, чтобы дерзнуть предпринять такое смелое и трудное дело, каково обратное путешествие на дальнюю родину. Если, с одной стороны, чрезвычайно сильно развита и весьма знаменательна в русском человеке любовь к родным местам и, при разлуке с ними, желание побывать и увидеть их снова, то, с другой стороны, понадобится много сильных причин, чтобы привести в исполнение такое дело, которое на глазах самих же поселенцев не всегда удается. В редком селении нет таких, которые были за то наказаны и, возвращенные опять, водворены с новыми стеснениями при кое-каких правах и льготах (отданы в работники, записаны в крестьяне без вторичной льготы, с хороших мест водворены на худшие, побывали в заводских работах и проч.). Между тем, не редкость такие случаи, что бегали в Россию семейные поселенцы и уводили с собою жен, детей и родственников, пришедших за ссыльными по собственной воле. Конечно, в большинстве случаев прочнее сидит на месте семейный поселенец,

но опять не диковинка тот факт, что неудачи и несчастья разбивают семью, и члены ее расходятся в разные стороны искать пищи и заработка. Отец-большак делается кукушкою в истинном и переносном значении слова: либо покидает детей в чужом гнезде, либо бродит по лесам и дебрям, на вестях у генерала Кукушкина. Про одиночек из поселенцев и говорить много нечего. Для них, разумеется, уже нет крепких пут, привязывающих к месту, даже и таких, не совсем надежных пут, какими, по-видимому, пользуются семейные их товарищи. Одиночку, а в особенности вновь прибылого, старожил всегда встречает недружелюбно. Сколько бывало таких случаев, что поселенец, получивший надел земельного участка, отдавал его первому охотнику из крестьян в кортому (в аренду), а сам брел искать счастья в чужих и дальних людях.

Против одиночек из поселенцев ставят преграду, как мы выше сказали, сибиряки-старожилы, неохотно отдающие дочерей своих за поселенцев. Правительство издавна хлопотало об истреблении этого предрассудка льготами, острастками, наставлениями и внушениями Синода. В 1825 г. женский вопрос все-таки остановился на приобретении «покупкою или выменом» от сопредельных Сибири кочующих народов детей женского пола для вознаграждения недоимки в Западной Сибири женского пола. «Приобретение детей, — говорит сенатский указ от 11 февраля 1825 г., — удобнее рослых и на будущее время средство сие упрочиться могло бы с лучшею удобностью. Довольно употребить для лучшего успеха нужную денежную награду тем, кои таковых женского пола детей приобретать будут». Малолетних девочек, окрестив в православную веру, велено размещать по семействам, в женском поле наиболее нуждающимся, а чтобы содержание их не было тягостным, определить для каждой потребное денежное и хлебное содержание до 15-летнего возраста. При выдаче замуж никогда не принуждать выходить в те семейства, где они воспитывались, а предоставлять каждой в том полную свободу. Расходы по этому предмету дозволено употреблять, по принадлежности, из остатков сбора на земскую повинность, «яко издержки для общественной пользы потребные». В 1831 году положено было выдавать 150 руб. казенных денег каждому старожилу из казенных крестьян и мещан, который отдаст за ссыльно-поселенца свою дочь или родственницу и примет зятя для

житья и работ в собственном доме; в 1840 году принуждены были придумать новую меру, вызванную неудачею первой. Женщине свободного состояния, вышедшей замуж за поселенца, вступающего в Сибири в первый брак, велено выдавать 50 руб. Поселенцу, вступающему в первый же брак с ссыльною, выдается от казны 15 руб. сер. безвозвратно и 15 руб. сер. в десятилетнюю ссуду заимообразно. Пробовали заинтересовать и семейства, предоставляя им наградные деньги, если невеста выходит из дома, и невесте самой, если она живет отдельным хозяйством (указ 3 мая 1843 г., разъясняющий положение 5 апреля 1837 г.). Но предначертания не обессилили предубеж-дений. Брак — этот легкий и верный способ для смягчения сердца, даже у людей жестких, злых и сильно огрубевших в пороках, не способствует ни перемене испорченных нравов у поселенцев, ни служит и основанием надежды, что эти несчастные могут воспользоваться благотворными последстви-ями священного союза. Браки поселенцев в Сибири до того большая редкость, что многим туземцам приходила в голову мысль исправить это зло посредством переселения в Сибирь публичных женщин из обеих столиц и других больших городов Империи, по примерам, неоднократно повторенным в царствование Екатерины II.

Замечательно, что предки нынешних сибиряков, первые пришельцы русские, казаки, воровали себе жен в России, оправдывались дозволением царя Грозного, выраженным в грамоте атаману Кольцу, подписанной дьяком Андреевым. На эту грамоту ссылались сибиряки в 1622 г., когда патриарх Филарет вознамерился прекратить зло и послал тобольскому архиерею Киприану обличительную грамоту. Филарет приказал выслать в Москву эту грамоту, как несовместную с уставами православной церкви, и поставляет на вид: 1) «что в Сибири не носят крестов, не хранят постов, живут с некрещеными женами, кумами и свояченицами, при отъезде закладывают их на срок и, не имея чем выкупить, женятся на других; 2) что духовные венчают без оглашения и потворствуют воеводам, которые краденых в России девиц продают в замужество и заставляют при себе их венчать. Монахини уходят из обители и живут в мире». В 1637 году прислано было в Тобольск 500 семей и 150 девиц, для женитьбы казаков, из Вологды, Тотьмы, Устюга и Сольвычегодска. В 1728 году сибиряки начали жен уже покупать: так, в

этом году делается известным, что русские березовцы покупали у остяков девочек и платили за семилетнюю остячку 20 коп. медью. Покупали они и мальчиков, которые, того же возраста, стоили 25 копеек.

Пособия, выдаваемые поселенцам и их женам (по 766 ст. уст. о ссыл.) для поощрения к семейной жизни и «для улучшения домообзаводства», не достигают своего назначения. Деньги иногда выдаются совершенно бездомным, живущим на золотых приисках или в чужих домах. Надзора за правильным употреблением денег никакого нет. Деньги выдают исправники, которым нет физической возможности наблюдать за тем, куда истрачены они, даже и волостные правления не поставлены ими в подобные обязательства надзора. Волостные правления знают от экспедиции о ссыльных, что деньги назначены к выдаче такому-то, а когда и сколько получит он их — правлениям неизвестно. Смотрители поселенцев не знали даже и того, кому, когда, сколько назначено пособия, и сами губернские правления, сообщая в казенные палаты о выдаче денег, не имели сведений ни о времени, ни о количестве выданного. Само собою разумеется, что и деньги эти, переходя из рук в руки, значительно сокращаются, мельчают и доходят по принадлежности в уменьшенном размере (волостные писари в Сибири наживают большие капиталы). Мы знаем случай в Томской губ. (Каинского округа), где, вместо 50 р. сер., получено тремя поселенцами только по 112 р. ассигнациями, т. е. всего 32 р. сер.; 54 р. завязли в карманах передатчиков. Вот какова процедура выдачи денежного пособия на вступление в брак: назначает деньги губернское правление и сообщает казенной налате; эта предписывает казначейству, казначейство выдает исправнику, исправник, если не может выдать поселенцу сам, отправляет деньги в волость. Не лучше ли было бы поступать так (во избежание бесполезной переписки и излишней проволочки времени): ассигновать на этот предмет ежегодно известную сумму, и тогда назначенные губернским правлением деньги из экспедиции отсылать прямо в волостное правление, возложив на обязанность последнего наблюдение, а на смотрителей поселенцев поверку на месте, что именно сделано на выданные деньги, и доносить о том экспедиции? К чему был припутан исправник, ко-

гда специально для ссыльных учреждены экспедиции, а смотрители поселенцев были не что иное, как писцы экспедиции?

Более действенными мерами по усилению женского населения в Сибири оказались следующие: 1) жены крепостных людей, пересылаемых в Сибирь по воле помещиков, обязаны были следовать за мужьями, хотя бы по рождению своему они принадлежали к состоянию свободному с детьми (указ 22 марта 1832); 2) воспрещено евреям следовать в Сибирь за женами их, ссылаемыми туда на поселение (указ 1 окт. 1827); 3) дозволено еврейкам следовать за мужьями только с детьми женского пола (указ 1836 г.); 4) позволен брак поселянок с каторжанами. Если, таким образом, уход поселенцев с мест водворения в русскую сторону вызывается, в одно время, и тоскою по родине и негостеприимством нового места и новых соседей, то вообще тасканье по чужим людям и в соседстве вынуждаются другими причинами, в которых поселенцы также мало повинны и являются страдательными участниками. В число бродяг и в это звание, поставляемое в укор поселенцам, попадают в Сибири сплошь и рядом даже те из них, которых, собственно, этим именем и называть несправедливо. Так, напр., губернские остроги и остроги тех городов, в которых бывают торговые и промышленные съезды (в виде ярмарок, базаров и съездов для найма на золотые промыслы), часто переполняются, под видом бродяг, теми из поселенцев, которые перешли за пределы района, дозволенного законом. Как известно, по распоряжению высшего начальства, поселенцы, по прибытии на место, не имеют права отлучаться из своей волости в продолжение двух лет, полагаемых достаточными для обзаведения хозяйством. Мера эта, благодетельная по принципу, когда сопровождается правильным надзором, без материального пособия в неблагоприятном положении поселенцев, не приносит пользы даже и наполовину. Для хозяйства нужны деньги и упорный труд; у большей части поселенцев нет гроша медного, а новоприбывшим и собственных денег их не выдают до окончательного их водворения; к тому же этапы и тюрьмы выучили враждебным труду началам. Ссыльный идет в другую волость, где сильнее требование на работника, идет в город, где всегда вернее заработок — и попадает в тюрьму. В тюрьму попадает без разбора даже и такой, который шел по приглашению и с намерением непременно заработать

деньги для платежа податей и собственной надобности. В томском остроге в конце июля 1858 г. сидело таких поселенцев 20 человек; и такие мнимые бродяги содержатся нередко от 6 месяцев до 1 года и более, все — из водворенных в ближайших к Томску волостях, все — приехавшие на базар и взятые «за бесписьменность». Эти люди, просидевшие в тюрьме летние месяцы, необходимые для крестьянина, нередко приходят в крайнее разорение, особенно если таковой поселенец одинокий человек. Пока он сидит в тюрьме, у него растащат и последнее достояние, и только лишь вышел из нее — он уже пролетарий насквозь и не плательщик никаких податей. В том же томском остроге пишущий эти строки в числе этого сорта бродяг видел и такого, который при нашем появлении, вслед за другими, сполз было с нар, хотел встать на ноги и тотчас же, против собственной воли, опрокинулся снова на нары. Этот несчастный был дряхлый старик, сугорбый, с одышкою, весь искалеченный и до невозможности слабый, как может быть слаб сибирский поселенец в 76 лет и уже давно записанный в разряд неспособных. Сидел этот безногий старик, этот живой мертвец, также за бродяжничество и ответ его о причине ареста, сказанный громко и с кашлем, вызвал неудержимый хохот всей серьезной казармы. Несчастный, вместо богадельни, попал в тюрьму.

Из богаделен, назначенных для ссыльных поселенцев, нам известны две, обе в Томской губернии. Выстроенная в г. Мариинске (недавнем селе Кие — бойком и достославном некогда пункте найма рабочих на золотые промыслы) содержалась опрятно и даже щеголевато, но в ней помещалось только 20 чел. На 20 же человек устроена и другая нам известная богадельня в Боготоле (селении Мариинского округа). Про третью (и последнюю для всей Томской губернии) богадельню в селе Покровском (Каинского округа) мы знаем то, что она занимала два ветхих дома, наделенных огромным двором, который обнесен полуразвалившимся плетнем. Но в этой помещались избранные счастливцы, тогда как сотни других «неспособных» терпели холод и голод в полнейшем значении этих слов. В тех селениях, где находятся волостные правления, существуют так называемые частные богадельни или, вернее сказать, «полуразвалившиеся лачужки, где лежат на клочках соломы полунагие, в изо-

рванных рубищах, дряхлые и совершенно бесприютные поселенцы без всякого призрения. Кто из них может передвигать ноги и бродить по миру, тот собирает малые куски для своих товарищей, лишенных сил просить даже милостыню. Здесь, таким образом, бедность и нищета являются в самом грозном и отвратительном виде»[73]. Между тем обе губернии, Тобольская и Томская, по силе указа сената (15 июля 1853 г.), предписывающего отсылать всех поселенцев в Восточную Сибирь, оставались преимущественно при прежних поселенцах, дряхлых и слабых стариках, которые не только не могли обзавестись домами, но и прокормить себя трудом рук своих.

Разряд «неспособных», как известно, определяется тюменским приказом о ссыльных, который распределяет всех ссыльных поселенцев по четырем губерниям и по пяти категориям (во временные заводские рабочие, в ремесленники, в цех слуг, на поселение и на житье и в неспособные). При этом, судя по табели тобольского приказа за 29 лет (1823 по 1852 г.), замечательно то, что во временные заводские рабочие из всего числа поступило всего больше в бывшую Омскую область; ремесленниками обильнее заручилась Тобольская губерния, слугами она же (своя рука — владыка). На поселение и житье больше ушло в Еврейскую губернию, а на Томскую, в утешение, всего больше досталось неспособного люда. При этом особенно замечательно, что на Томскую губернию во все 29

[73] Сострадание и участие благородного человека, написавшего эти строки, вызвали до некоторой степени облегчение их участи: 18 поселенцев, проживавших в частных избушках, получили одежду обувь, белье и дневное пропитание. Хлопотами того же лица составлены были проекты о постройке в волостях домов для призрения поселенцев. По данным главного тюремного управления, представленным международному тюремному конгрессу, видно, что в 1890 г. существовали: богадельня для ссыльно-каторжных при Александровском заводе; детский приют при Нижне-Карийском промысле; в 55 верстах от последнего промысла устроено, в виде опыта, в 1884 г. селение из ссыльно-каторжных, освобожденных на житье вне тюрьмы и имеющих семьи; в нем теперь 14 домохозяев, занятых преимущественно земледелием. В 1883 г. такое же поселение организовано в 7 верстах от Покровского рудника, где живет 10 домохозяев.

лет попало только четыре ремесленника. Пределы статьи не позволяют нам уходить в дробные частности, представляемые табелями приказа (смысл которых мы разъясняем в отдельном трактате). Возвращаемся снова к поселенцам, которые уводят нас снова в сторону и опять на торную дорогу их бездомовного скитания и бесконечного бродяжничества. На этот раз, вместе с самими поселенцами, мы радуемся тому счастливому случаю, что некоторым удается сразиться со всеми трудностями и препятствиями первого обзаведения, и они заводятся хозяйством и попадают в число бродяг только по ошибке, вследствие недоразумений. Другие, достаточно пошатавшись, находят приют, но там, где их не ожидают, и так, что в Сибири их за то не одобряют. Но первым хуже, вторые счастливее; докончим о первых, нам остается сказать немногое.

Если благоразумному и предусмотритель-ному поселенцу удается каким-нибудь образом выстроить себе дом и обзавестись маленьким хозяйством, он и тогда не избегает разных притеснений. Между прочим, ему не дают в достаточном количестве ни земли, ни лугов. Поселенцы единогласно и повсюду жалуются, что лучшие земли и покосы остаются в пользовании старожилов, что старожилы постоянно их окашивают и опахивают. Во многих местах на притеснения, делаемые в земляных угодьях, жалуются не только поселенцы, но и бедные крестьяне-старожилы. На это зло в Сибири давно сложился крупный тип мироеда-богатея. Ерофей Хабаров, знаменитый герой Амура, был одним из первых, положивших начало и корень таким алчным приобретателям и обидчикам. Знаменитый богач Кандинский, ворочавший в недавние (уже в наши) времена всеми торговыми и промышленными делами целой половины Забайкалья, т. е. всего Нерчинского края, был не последним. Простодушие сибирского люда привыкло видеть в таких ловких капиталистах не только первых и коренных ценовщиков их труда, но и советников во всех житейских делах и политических вопросах. Если время и ослабило их деспотическую деятельность и грозный образ Хабарова, — отнявшего у поселенца жену и поколотившего и искалечившего якутских поселенцев, присланных в Кипренск на его заимку для поселения, — значительно побледнел теперь, он из-

мельчал, — но все-таки идея его живуча и способы эксплуатации чужого труда все те же. Не так крупны, грубы и жестоки сделались припадки, но болезнь все еще гнездится в организме. Больных таким числом стало еще больше, и нет в Сибири околотка, где бы какой-нибудь мироед не путал в своих крепких тенетах и простодушных старожилов и беззащитных поселенцев. В России такие люди уже не так сильны, в Сибири они еще поражают силою своего влияния, прочностью положения, несмотря на то, что со стороны власти делались на них энергичные вылазки и наскакивала коса на камень, но не везде. Западной Сибири в этом отношении посчастливилось меньше Восточной. Мироеды эти, известные каждый в своем околотке под шутливым прозвищем «губернаторов», во многих местах поражают до сих пор крупными дикими чертами, как почти все в этой сильной и дикой стране, называемой Сибирью. Обидчики, вроде купцов Л..., П... и других, и для Западной Сибири настолько сильны, что быт поселенцев, успевших водвориться, значительно утеснен и обездолен.

Присяжные защитники поселенцев, так называемые смотрители, настолько слабы значением своим перед богатыми тузами, умеющими хорошо кормить и угощать, и настолько ничтожны влиянием, парализованным вмешательством более крупных властей, что на них даже и крестьяне смотрят с пренебрежением, только за то, что они хотя и чиновники, но все-таки предстатели *посельщиков*. Общее, вкоренившееся недоброжелательство к поселенцам до того сильно в сибирских крестьянах, что они, всегда считая их чуждыми своего общества, в делах интереса смотрят на них, как на парий. Отсюда — перед крестьянином поселенец всегда виноват. Смотрители, вместо того чтобы быть адвокатами и посредниками в делах поселенцев, иметь строгое наблюдение за сбором у них податей, принимать должные меры к устройству их быта, — на самом деле остаются без прав (которых им не дано). В своих действиях они постоянно встречали оппозицию со стороны земского и волостного начальства. Оттого положение смотрителей было пассивным. Сибирский крестьянин, привыкший перед всяким новым человеком снимать шапку, перед поселенческими смотрителями этого не делал, смело оправдываясь тем, что он-де крестьянин, а не поселенец. Волостные правления не исполняли никаких смотри-

тельских требований, как бы желая, чтобы права смотрителей были более укреплены, чтобы административные и хозяйственные дела поселенцев, для пользы и блага последних исключительно были переданы в их ведение и проч. Сюда находили необходимым отнести следующие обязанности: увольнение поселенцев на работы и золотые промыслы, выдача билетов, сбор податей, всю отчетность в денежных суммах, заботы о бытовых нуждах в качестве депутата при исковых делах между поселенцем и крестьянами. И тогда на смотрителей возлагали обязанности, подобные заведению алфавитов, приведению в порядок всегда сильно запущенных дел по поселенческой части, но все это в форме временных правил и частных распоряжений. Права и обязанности смотрителей законом совершенно не были определены, а с 1841 года поселенцы и все дела о них переданы были земской полиции. Между тем, уже в 1852 году замечено было, что незаконный побор за выдачу билетов на золотые промыслы начал в особенности возвышаться с тех пор, как выдача билетов перешла из ведения смотрителей в ведение волостных правлений. До 1841 года злоупотреблений было менее, сбор податей шел успешнее, и недоимка на поселенцах начала значительно накопляться с 1842 года.

Когда, под ведением земской полиции, поселенческие недоимки стали значительно возрастать и возбудили серьезную заботу и когда исследованы были ближайшие причины (не во многом от самих поселенцев зависевшие), то замечена была одна любопытная. Подати с поселенцев, как известно, собирают особые сборщики из крестьян, отличающиеся добросовестным исполнением обязанностей относительно земляков- односельцев. По отношению же к поселенческим деньгам, в силу общественного положения поселенцев и обыкновенного взгляда на них, сборщики податей нередко взысканные деньги совсем не представляли, или сдавали в уменьшенном количестве, или, наконец, делали таким образом, что взысканные с поселенцев подати вносили за крестьян — своих родственников или приятелей. Если крестьяне уплачивали, то сборщики вносили за поселенцев, в противном случае оставляли так, как было дело, и на плательщиках считалась недоимка увеличенною. К тому же волостное начальство, по укоренившемуся с давних времен обычаю, собирало подать с одних наличных поселенцев,

нанимающихся на прииски, при выдаче им билетов, и то не всегда, за целый год, а только за половину следующего. Недоимка росла не бесчестье поселенцев и на валовое обвинение их, а между тем, волостные правления сами не исключали из списков умерших, бежавших и выбывших разными случаями или оказавшихся, по медицинскому свидетельству, неспособными к работам (причем крупнее цифра недоимки за умершими, потом за неспособными и, наконец, за бежавшими). Казначейства считали недоимки также неправильно, насчитывали большие цифры. Исправный платеж податей падал не на общество, а на личную ответственность каждого поселенца. Между тем поселенцы, уличенные в новых преступлениях, до решения дела сидели в тюрьмах иногда по нескольку лет, податей в это время не платили, а недоимка росла. Между тем экономический капитал ссыльных, нарастающий от взносов поселенцев и не идущий на них, — значительный. Из этого капитала весьма малая часть тратилась на лечение ссыльных в больницах, а добрая доля его прилаживалась обыкновенно к какому-нибудь крупному предприятию, совершенно стороннему и ничего общего с делом ссыльных не имеющему (вроде, напр., приобретения Амура, яму которого долгое время хорошенько завалить не могли). Каторжных уволят от обязанностей, причислят к какой-нибудь волости, на том все и заботы покончат, а там хоть трава не расти. Стяни что-нибудь, иди в кабак и опять ступай на прежнюю дорогу, в каторгу или на заводы, смотря по преступлению или проступку, обличившему тебя, горемыка!

Преступления, за которые судятся поселенцы в Сибири, группируются более крупною цифрою около так называемого преступления «побега из Сибири», затем следует воровство со взломом, — преступление, которое служит обыкновенно коренною причиною ссылки поселенца, а в Сибири является следствием безвыходности положения. Затем поселенцы делаются убийцами, потом виновными в развратном поведении (в особенности поселянки), в побегах из-под стражи, во взломе тюрем и в деланье[74]. Число других посе-

[74] В течение 9 лет (с 1838 по 1847 год) всех поселенцев присуждено в Сибирь 629 мужчин, 301 женщина, — цифра уступающая, однако, преступникам из бродяг, которых за те же годы присуждено 14861 мужчин, 375 женщин, и

ленческих преступлений, по количеству и сравнительно с предыдущими, довольно незначительно, чтобы делать какие-либо серьезные выводы. Во всяком случае, они не так многочисленны, как можно бы было ожидать при условиях бродяжьей жизни, при сильно развитом в людях этих пьянстве и по тому поголовному обвинению, которое взводят на них люди, судящие не по цифре и скрытому в ней смыслу, а из своекорыстного расчета оправдать свою неправильную деятельность или совершенное бездействие. Искание одной дикой воли и совершенного бездействия, в которых эти люди находят оправдание себе и обвинение поселенцам, — аргументы крупные и сильные на бумаге, но на деле не выдерживают критики. Всякий человек ищет для себя лучшего — таково свойство людской природы. Вообще, всеми давно признано, что человек остается охотно там, где ему хорошо, охотно работает и трудится, когда его положение кажется ему сносным и когда постоянные неудачи и препятствия не доводят его до утраты веры в себя и не уничтожают его бодрости. Не забудем, что поселенцы довольно часто приходят с семействами: в 29 лет двести тысяч сосланных на поселение лиц обоего пола увлекли за собою семнадцать тысяч пришедших по собственной воле жен, детей и родственников. В той же Сибири имеются доказательства противного, слишком определенные, но достаточно не исследованные. В Сибири нет того места, где бы не жили староверы или, по-тамошнему, киржаки и где бы не рассказывали за верное, что редкий из этих богачей не имеет собственной деревушки, куда он едет, как помещик, и встречается, как архиерей. Сюда, по завету отцов, богатые киржаки за удовольствие полагают для своей души принять всякого странника и тщательно уберечь его от грядущих напастей и зол. Говорят, что некоторым приходилось прятать и беглых каторжных, и шатающихся поселенцев. При обысках они умели откупаться по древнему способу, которого не чуждался и сам де Геннинг — основатель города Екатеринбурга, умевший не брезговать беглым ссыльным и за крепкие

преступникам из каторжных: по числовому отношению общего количества тех и других, число каторжных в 6 раз меньше общего числа поселенцев, но всех каторжных, за те же годы, осуждено 2689 мужчин, 30 женщин.

подкупы приселявший к новому городу даже беглых с каторги. Около Екатеринбурга и около Тюмени испокон веку бывали притоны для бродяг из раскольников.

В Сибири повсюду рассказывается недавний случай находки одним из земских чиновников целого селения, нигде в книгах не записанного, нигде на картах не нанесенного, о котором ближайший становой пристав (по-сибирски заседатель) ничего не знал и ни от кого не слыхал.

Для кого же теперь тайна организации свободных или, как привыкли выражаться, самовольных поселений, не говоря о ежемесячных приселениях каторжных к поселенцам — и наоборот? Кому не ясно, что более счастливые плодородием и более защищенные природою и безопасные места в Сибири охотнее избираются самовольными поселенцами для свободных поселений и что между ними Алтай, по преимуществу, облюбованное место? В том обширном клине благодатной земли, который врезался между реками Биею и Катунью, стремящимися слиться в Обь, давно уже велась эта опасная игра в ставки новых деревень по народным образцам допетровских времен, еще очень живучим и хорошо прилаживаемым в Сибири. Для Сибири вопрос о свободной народной колонизации не кончился, хотя, правда, и в России он совершенно убит только в середине нынешнего столетия. В Сибири мы сами видели, в 1861 году, десяток малороссов, пришедших из Киевской губернии в нахваленную им Сибирь поискать хороших земель, под Омском схваченных как бродяг и в Омской тюрьме откровенно и простосердечно высказавших нам то же самое показание, какое дали они и по начальству. А сколько сибирские экспедиции о ссыльных записали под именем поселенцев — также в недавние и наши времена — дворовых людей (преимущественно губерний Московской и Пензенской), бежавших от господ, и крепостных крестьян, пришедших из густонаселенных губерний на золотые прииски, полюбивших Сибирь больше родины и пожелавших в ней остаться. Схваченные как бродяги, посаженные в тюрьму и выученные там по дешевому способу показать себя *не помнящими родства* — они достигали цели: наказанные при полиции, они записывались в звание поселенцев. Некоторые, для вящего удостоверения в показаниях

своих, делывали на лицах искусственные шрамы, чтобы походить на поселенца, освобожденного от каторжных работ. Таким же способом показания *не помнящими родства* остались в Сибири жены, приходившие повидаться с мужьями и также запертые в остроги. Званием *непомнящих* прикрываются бродяги и ссылаются без наказания; но только сделавших ложное показание секут при этом. Требовалось много искусства для того, чтобы звание это оставить за собою: надо хорошо знать увертки и крючки в уголовных законах и, сверх того, запастись духом упорства, упрямства, устойчивости и скрытности. Бродяги бывают одарены этими качествами в высокой степени совершенства: они легко и храбро отказываются на очных ставках (если таковые дают им) от родных, родителей, жены и детей. Неопытные приобретали эти способности в тюрьмах. Сделавшись арестантом, непомнящий бродяга стоит вне опасности в том смысле, что это уже никто ни наказать, ни допрашивать в тюрьме не имеет права, кроме его непосредственного начальства, каковы на этот раз судебные власти. Грубости и дерзости он, кроме этих лиц, может говорить всем: оттого-то многие из бродяг пользуются этим правом охотно и отводят на" том свою греховную душу. Большое количество беглых дворовых людей в поселенцах служило также одною из причин, задерживавших в Сибири развитие земледелия и ремесел: бывшая дворня гнушалась сохи и согласна скорее идти в ямщики, ходить в лес на косуль и сохатых. Некоторым ямщикам счастливилось: за Байкалом были такие, у которых водилось троек до 15-ти.

Внутри Алтая, близ китайской границы на правом берегу Катуни, при устье реки Аколу и на верхней Бухтарме до сих пор живут инородцы, составляющие Ойманскую упраку. Это — ойманцы беглопоповской секты, русского происхождения; предки их — беглые солдаты и заводские рабочие люди. Придя в Алтай, они бродили с места на место, отбивались от военных отрядов, посланных для поимки, и хотели уйти за границу. Но им было объявлено в 1791 году, по ходатайству губернатора, человека великодушного, прощение императрицы Екатерины Второй и дозволено приписаться в какое-либо податное состояние. Они избрали инородческое, и коренные русские люди славянской крови поселились здесь под видом и именем дикарей-инородцев! Люди эти, известные под именем ка-

менщиков, живут вблизи рудовозного тракта между Зыряновским рудником и пристанью Иртыша, на пространстве 70 верст, не имеющем никаких жилых мест. В прошлом столетии доступ сюда был затруднителен, и они довольно долгое время могли поддерживать свое существование охотою и разбоями. Бежали рабочие с женами и детьми, но к ним успели присоединиться разные молодцы — охотники до чужого добра. Сами заводские не были людьми с мирными наклонностями: тяжести работ, соединенных с лишениями, голодовками и частыми и суровыми мерами взыскания, успели их озлобить так, что еще до побегов они делали частые проступки. Заводские селения разделили на кварталы, учредили непременные денные и ночные караулы, построили будки и при въездах в селения расставили рогатки; предполагали со временем окружить все селения рвами и обставить теми же рогатками. Разные «злоумышленные развратники» продолжали склонять заводских к преступлениям и побегам. Устройства и безопасности в селениях не было. Начальство, через сторожей-стариков, сидевших у ворот, стало знать о всяком новоприезжем в селение, но о прихожих соблазнителях все-таки не получало точных и желаемых знаний. Религиозная пропаганда, с соблазнами на вольную жизнь в темных лесах и в безопасных горах, приготовила вполне независимые селения, род маленьких республик. Екатерина, прощая их, принуждена была освободить их сначала от всех налогов и только, как с инородцев, указала брать небольшой ясак шкурами пушных зверей. Такая первоначальная осторожность позволила впоследствии обложить их податями наравне с прочими крестьянами. К селениям «каменщиков» мало-помалу добровольно присоединялись другие крестьяне и выселялись из своих деревень правительством те, которых оно считало благонамеренными и способными благотворно влиять на независимый дух коренных поселенцев реки Катуни и соседних диких мест, бесплодностью и безлесием живо напоминающих степь.

Раскольники сибирские унесли с собою русский обычай «брести врозь», чтобы сбиваться в подворища, отдельные поселения на новых местах, отдаленных от церквей. Для этого Алтай и Чернь представляются им самыми удобными. В Бийском округе то и дело заводятся новые выселки и созываются новые вольные люди «копи-

ти слободы, рыбу ловити и пахоты заводити». «Сюда привлекают их, — пишет один сибирский священник, — как выгоды нашего места и соседство с кочевыми инородцами, так и пустынная дикая местность, представляющая удобства к своевольной жизни». Селятся пришельцы между аулами диких инородцев, но, заселившись, все-таки состоят причисленными к другим деревням. По левую сторону р. Бии уже готовы три селения, выродившиеся из семи селений раскольничьих, находящихся в Бийском округе. В одном из новых селений (Тайне) было тогда уже 20 дворов. Сибирь представляет два сильных контраста, именно в том отношении, насколько разнится свободное поселение от принужденного, руководимое наемными и неопытными руками казенных людей, от поселения, организованного самими поселенцами вне всяких сторонних вмешательств и независимо от теоретических кабинетных соображений. В 1872 г. утвержден был проект поселения 5955 ссыльных в Енисейской губернии, имевший целью, через сосредоточенный надзор и занятие их в хлебопашестве, удержать преступников от праздности и побегов. В пособие от казны назначено было 479927 руб., сумма, имевшая две цели: первое — обзаведение и продовольствие с засевом; 268091 руб. истрачены были на покупку хозяйственных и земледельческих орудий, лошадей, коров и овец, — сумма, не подлежащая возврату. 210835 руб. назначены были на пособие ссыльным для двухгодичного продовольствия и закупа семян и подлежали возврату. В марте 1829 г. назначены поблизости усадеб леса, указаны сборные пункты для своза провианта, определены лица для надзора, отчислено количество ссыльных, нужное для водворения (за исключением обзаведшихся хозяйством или принятых старостами). Вся масса отобранных новых хозяев разбита была на отделения для каждой деревни. Деревни были уже готовы: большая часть на большой дороге, меньшая в стороне; двум поселениям на р. Удуе в Ачинском округе, шести в Минусинском, 10-ти в Каинском (на р. Бирюсе) по р. Кану, Ое, Рибинской (на ключе Медведенском). Все 22 импровизи-рованные деревни наделены 15-десятинною пропорциею лучших земель. На каждом дворе назначено помещение четырем поселенцам; трое определены были в работники, четвертому выговорилось прозвание кашевара и предназначалась обязанность хозяина. Товарищи

его должны работать, кашевар заготовлять для них все нужное. Аракчеевские планы осуществлялись в Сибири: военные поселения воскресали в новых средствах приспособления в отдаленных странах Сибири. «В марте 1829 года, — говорит свидетель этого дела, енисейский губернатор А. П. Степанов (в своем известном сочинении "Енисейская губерния"), — всем отделениям ссыльных сообщено движение к местам, для их деревень определенным. Каждый ссыльный получил топор — и леса пали под руками работников поселений или будущих хозяев домов. От сего времени каждое поселение должно было через два года кончиться и через четыре наполниться». В 1833 году А. П. Степанов писал следующее: «Я видел уже на большой дороге прекрасных пять селений оконченными и не мог ими налюбоваться. Я видел семь, достигающих своего конца; я видел четыре, которые, как чертежи, лежали на зеленеющих долинах по берегам Кана».

В 1835 году видел эти селения начавшими свою жизнь генерал-губернатор С. Б. Броневский и писал нижеследующее: «Жители разбежались за неимением силы расчищать лес под пашни. Много домов в жалком запустении от водворения малосильных семейств, а снаружи дома, крытые досками или драницами с бревенчатыми или дощатыми заборами. Избы обширные в 5 окон на улицу на четыре семьи, разделенные коридором с обширным двором; с амбарами и сараями с навесами, но впущены холостяки; содержание одной чистоты в таких обширных заведениях и ремонтированье повреждений в овнах, печах и проч. не под силу беднякам, ничего не имеющим, обезохочивает к прочному водворению в слишком затейных для них жилищах, и постояльцы бегут, заменяясь новыми таковыми же, почему трудно ожидать чего-нибудь без новых пожертвований. Я посещал многие из этих домов, находя там невыразимую скудость в первейших потребностях жизни. Странно было видеть в доме одну женщину и четырех мужчин. При вопросе: которого она жена? — указывала на одного из четырех, добавляя, что они, однако же, не венчаны, а только по своему желанию обречены один другому начальством, ибо ссыльных прежде двух лет нахождения в Сибири, по закону, венчать нельзя. Меня крайне удивил такой предварительный союз!» Не удивительно то, что большая

часть таких поселенцев бросила новые дома и разбежалась до старым лесам.

За Байкалом «семейские» староверы с охотою рассказывают всем такое предание, завещанное отцами, о временах и способах их водворения после Ветки и Стародубских слобод. «Казна дедам нашим не помогала. Привел их на место (на р. Иро) чиновник[75]. Стали его спрашивать: где жить? — указал в горах (действительно, все три волости словно провалились сквозь землю: кругом высокие лесистые горы). Стали пытать: чем жить? Чиновник сказал: "А вот станете лес рубить, полетят щепки, щепы эти и ешьте!" Поблагодарили его, стали лес рубить. На другой год исподволь друг около друга начинали кое-чем займоваться, запасаться нужным. На восемь дворов одна лошадь приводилась. Поселились. Земля оказалась благодатной. Ожили и повеселели. Приехал знакомый чиновник и руками развел: "Вы-де еще не подохли? Жаль, очень жаль, а вас — чу! затем и послали, чтобы вы все переколели". О подробностях переселения рассказывают следующее: народ собирали в Калуге, где на берегу Оки за городом стояли нарочно выстроенные амбары (бараки). В бараках этих много перемерло народу. По Оке в Волгу везли на судах до Казани. В Казани много взяли в рекруты: целый полк потом был сформирован из семейских в Тобольске.

За Байкал пришли уже малыми частями. Первая партия шла на Чикой в 1755 г.; вторая, вышедшая с марта 1756, пришла на Иро в 1758 и оттуда, за негодностью места, на Бичуру в 1780 г. Третья ушла за хребты, где теперь две волости: Тарбагатай и Мухор-Шибирь. На Иро прошло только 26 семей: Пересычины (6 душ),

Разуваевы (3), Афанасьевы (6), Савичевы (3), Просвирняковы (2), Терюхановы (4), Петровы (4), Павловы (2), Нестеровы (4), Куприяновы (3), Ивановы (4), Пантелеевы (1), Гаврилов (1), Юдин (1), Олейников (1), Авдеевы (2), Турковы (1), Ткачовы (2,) Гладких (2), Белых (2), Головановы (2), Кочнев (1), Родионов (1), Утенковы (4), Хохловы (2), Алексеевы (4) — всего 70 душ. Теперь из 70 душ стало 1600, от которых слышатся уже жалобы на тесноту житья в одном селении,

[75] По иркутскому летописцу, подполковник Иван Иванов.

хотя Бичура протянулась на 4 версты в длину (старожилы, т. е. первые пришедшие, живут на горе).

В 1830 году декабристы, шедшие из Читы в Петровский завод, получили такие впечатления: «Помещали нас в крестьянские избы. Избы имели по несколько комнат с обоями, большими окнами и дощатыми крышами. С одной стороны сеней была просторная комната для работников с могущественной русской печкой, по другую сторону от 2 до 5 комнат с голландскими печами; полы были устланы коврами туземного изделия. Стены и стулья были чисто выструганы и даже не было недостатка в зеркалах, купленных на Ирбитской ярмарке. Хозяйки гостеприимно угощали нас ветчиной, осетриной и разными пирогами. На дворах мы видели окованные железом телеги, хорошую сбрую, сильных и сытых лошадей и здоровых осанистых людей, производивших на нас удивительно хорошее впечатление. Было воскресенье: все шли в молельную, мужчины в длинных армяках синего сукна и в хороших собольих шапках, женщины в шелковых с собольим воротником душегрейках, на головах шелковые платки, вышитые золотом и серебром. Многие из них капиталисты: у некоторых — тысяч до ста». С 1857 года, в течение девяти лет, семейские неустанно, беспрекословно и без особых ущербов для себя, своим хлебом кормили Амур и не только отдавали зерно или муку даром, но приплачивали еще 10–20 коп. на пуд за доставку хлеба до Читы вольным возчикам (казна давала за пуд 60 коп., доставка из Тарабагатая, напр., стоила 70–80 коп.).

— Отчего ваши соседи так бедны? — спрашивал один из декабристов.

— Как же им не быть бедными, — отвечал наш хозяин: мы идем на работу в поле с петухами, а сибиряк варит себе кирпичный чай и, пока соберется на работу, солнце уже успеет высоко подняться. Мы уже первую работу сделаем и отдыхаем, а сибиряк в самую жару мучит и лошадь и себя. Кроме того, поселенцы предаются пьянству, они тратят каждую копейку и не могут скопить капитала.

В нашей дорожной книжке по горячим словам записаны следующие строки (16 янв. 1861 года): «Сибирским народом недовольны как бичурские семейские, так и мухор-шибирские. Встанет

сибиряк — чай пьет, в поле идет — глядишь, опять домой тащится есть; к вечеру опять дома чай пьет. Хозяйство для них второе дело. Опять же у нас молодяк до 20-ти лет водки не смеет пить, а у тех ему и в этом воля. Казаки же народ совсем гиблый и недомовитый, ни в чем они на нас не похожи».

Декабристы видели старика 110 лет, помнившего первые времена поселения, когда стремились не к водворению их, а имели в виду наказание. Старик жил в доме четвертого младшего сына, которому было 70 лет. Хотя сам дед и не работал, но, по привычке, постоянно носил топор за поясом. Рано поутру он будил своих сыновей и внучат на работу. Каждый из сыновей имел по отдельной избе с двором и амбаром и по отдельной водяной мельнице. «Зачем тебе, дедушка, так много мельниц?» — спросили его. Отвечал: «Видите, какие у нас поля!» — и указал на окрестные горы, повсюду засеянные. По богатству и довольству этих крестьян нам казалось, что перед нами русские в Америке, а не в Сибири. В этой области Сибирь никак не хуже Америки. Те же старообрядцы, живущие на основах общинного труда (прибавим мы от себя), счастливы результатами обеспеченной и сытой жизни именно потому, что во многом сходствуют с заатлантическими сектантами: квакерами, мормонами и др. Семейские имеют собственное общественное управление, при помощи которого поставили себя, до известной степени, в независимое положение. Они поняли секрет обходиться с чиновниками, готовые всегда к платежу податей и способные платить сверхкомплектные в виде поставок хлеба на полуголодный и ненастный Амур. Когда Амур лег на семейских неожиданною тяжестью, долговременные урожаи облегчили возможность борьбы с невзгодою; общинная справедливая раскладка по семействам довершила удачу борьбы и доставила им полную победу, несмотря на то, что на хозяев средней руки приводилось ежегодно взноса до 40 пудов (на богатых больше, на бедных меньше). Бедным, сверх того, предоставлено было право воспользоваться платою за доставку в Читу на сплавные лодки и баржи. Богачами сумели сделаться тарабагатайские, бичурские и мухор-шибирские староверы от торговли с китайцами, от казенных подрядов и доставок, в силу той находчивости и изворотливости великорусского человека, которые в равной степени и неизменно сохранены как этими выселенцами из Бело-

руссии в конце прошлого века, так и живущими там же в наши дни. Такими же живыми, трудолюбивыми и предприимчивыми людьми староверы являются и за Байкалом между ненаходчивыми сибиряками, какими представляются их единомышленники и родичи между забитыми и полудикими белорусами гомельские, ветковские и стародубские староверы[76].

В томском остроге мы видели арестанта, весьма почтенного, начитанного и солидного старика, очень богатого раскольника — томского мещанина, который судился за образование селения из беглых в Томском округе на собственный счет и за совращение этих беглых в старую веру. Сходцы завели было отличное хозяйство, жили, не навлекая на себя преследований преступлениями и никого не обижая. Заседатель знал, брал поклонное и покорное — и не трогал. Кто-то сделал донос: вольных людей схватили, рассажали по тюрьмам, завели суд и дело. А селение было совсем готово: большое-пребольшое в привольном и диком месте, и лес — глушь, по требованиям людей древнего благочестия и староотеческих преданий. Стремление ссыльных старообрядцев к организации отдельных хозяйств в виде скитов восходит до первых времен их ссылки. Еще при Алексее Михайловиче сосланные в Якутский край устроили скиты даже на речных островах. Но суровость климата и невозможность доставать жизненные припасы послужили причиною скорого исчезновения этих колоний. Скит, образовавшийся около Анадырска и уже значительно увеличившийся, уничтожили сидячие коряки, напав на скит и перерезав всех жителей.

К числу очень распространенных сибирских народных преданий принадлежат повсюдные рассказы о том, что там заблудив-

---

[76] Замечательно, что, превращаясь в сибиряков, семейские постарались забыть, между прочим, великорусские песни. При всех наших стараниях мы не могли записать у них ни одной былины, на каковые рассчитывали. Нам говорили в оправдание: «Старики напевали еще кое-какие старины и былины, разговаривая о родине: нам не завещали никаких. Из наших молодых их и не слыхивали. Поем только те стихи, которые записаны в цветниках». Устояла песня свадебная обрядовая, ибо-де обряды завещали блюсти крепко. Класса нищих не выработалось среди достатков и при общинной взаимной помощи, а потому бродячих певцов нет и в помине, а с ними и песен.

шийся зверовщик, заслышав звон колокола и соблазнившись им, нашел никому не ведомое селение. В другом месте таковое же обрел заседатель, который, не догадавшись скрыть своего звания, был убит жителями никому неизвестного и вполне независимого селения. Подобные рассказы слышали мы и в Западной и в Восточной Сибири (за исключением одного Забайкалья). «В Якутске мне передали, — говорит г. Сельский в статье "Ссылка в Восточную Сибирь замечательных лиц", — что на Колыме и Индигирке тамошние жители до сих пор рассказывают о существовании сыздавна каких-то жителей, прежде сосланных, потом бежавших и поселившихся на неизвестных островах Ледовитого моря. В давние годы какой-то промышленник около колымского устья осматривал на островах звероловные снасти. Там застигла его пурга и он заблудился. Долго блуждал он по окрестным пустыням, и, наконец, собаки привезли его в незнакомое селение, состоящее из нескольких домов, которые все были срублены в угол. Заблудившегося приняла женщина, но она ничего с ним не говорила. Поздно вечером пришли с промыслов мужики и стали расспрашивать прибывшего к ним: кто он, откуда, по какому случаю и зачем заехал к ним, не слыхал ли он о них чего прежде и, наконец, не подослан ли кем? Промышленника этого они содержали под присмотром шесть недель, поместили его в отдельном доме и не дозволяли отлучаться ни на шаг и ни с кем не разговаривать. Заключенный во время пребывания своего там часто слышал звон колокола и обитатели этого заповеданного селения собирались в молельню, из чего он и заключил, что это был раскольничий скит. Наконец, жители этого дикого селения согласились отпустить промышленника, но взяли с него при этом клятву молчать обо всем, им виденном и слышанном. Затем они завязали ему глаза, вывели из селения и проводили очень далеко. При расставании подарили ему большое количество белых песцов, красных лисиц и сиводушек».

К таким вольным селениям, на выгодных и соблазнительных условиях свободного выбора, охотно льнут и бежавшие с каторги и оставившие места поселения; деньги, подкуп и волостные писари тут играют существенную и главную роль. Лет десять тому назад волостное начальство открыло в Иркутском округе поселенца, жившего в селении более 20-ти лет. Знавшие его думали, что он

приписан начальством, а потому и не преследовали, да на беду, через двадцать лет мирного его жития, узнали, что в соседнем селе живет другой поселенец под тем же псевдонимом, с одинаковым именем и прозвищем (что случается между поселенцами сплошь и рядом). Этому второму несчастному вздумалось бежать. Побег его открыл и первого счастливого. Стали допрашивать: он показал фамилию бежавшего и всю его подсудность, а когда сличили приметы его с бежавшим, не то вышло. Сколько ни бились, настоящей фамилии своей поселенец не показал; так и оставили его, благо что раньше наказан был за бродяжничество. Поблагодеял ему сельский писарь, признавшийся в такой штуке: этого поселенца 20 лет тому назад поймали в Минусе (Минусинске), где он сказал, что бежал из-под Иркутска. Земский суд и послал его в волость показать крестьянам, тот ли или этот; оказалось, что не тот. Старшина обратил его в волость с пакетом. Поселенец, смекнув, что дело недоброе, бежал от ямщика с дороги, прихватив с собою и пакет. С пакетом он явился в другом селе к писарю; писарь пакет изорвал, а поселенцу велел жить тут и соседям так рассказал, что прислан-де с пакетом. А сколько подобных дел не наслеженных, а сколько селений, выросших и окрепших не по законным предписаниям и обычным программам!..

Насколько ссыльные готовы сами вести оседлую жизнь, свидетельствует, между прочим, следующий недавний случай. К осени 1862 года по бродяжьим притонам прошел глухой слух о манифесте, в котором будто бы сказано, чтобы всех бродяг каторжных приписывать на поселение, если только они добровольно явятся к начальству. Слух этот расшевелил и поднял бродяг, многие из них и в разных местах объявились и, конечно, попали в хлопушку, т. е. получили плети и опять каторгу. Особенно много, говорят, явилось таких охотников по Томской губернии.

Идя следом за поселенцами по всем их мытарствам, мы приходим, наконец, к той важной отрасли государственного хозяйства которая доставила столько денег России и причинила столько горя и бед Сибири. Мы говорим о золотых промыслах, которые некогда разрабатывались исключительно руками ссыльно-поселенцев.

Мещане из амбиции, а крестьяне от домоседливости на эти работы не ходили[77].

Старые времена миновали. Золотопро-мышленность кончила свою безобразную историю и начала, по новым образцам, другую, но следы старого еще не совсем остыли и от прошлого еще кое-что осталось на беду поселенцев. Нет теперь той сильной борьбы между партиями золотоискателей, которая некогда принимала и грозную, и бесчестную, а временами и до нелепости смешную форму. Давно не поливают шампанским дорогу гостям от города до заимки сами хозяева, не ездят их доверенные по улицам на бабах из враждебного промыслового лагеря. Приутихли хозяева, присмирели рабочие. Не ходят последние по улицам города в парчовых куртках и парчовых шароварах, не ступают по грязи на кредитные бумажки, подбрасываемые под сапоги, испробовавшие тальковой грязи на разрезах, чтобы, при переходе через улицу из кабака, не загрязниться. Кончилось поголовное безобразие, ужасавшее своими капризными и неожиданными формами. Кончилось, однако, не все.

Неурожаи и развитие золотопромыш-ленности, подняв цены на жизненные припасы, обращают на этот промысел и мещан, и крестьян, и даже пришельцев из России[78]. Осталась еще вербовка рабочих, перебой, необходимость выдачи задатков, тяжелые, на первобытных приемах основанные работы; осталось, словом, то, от чего и прежде поселенцу бывало скверно и теперь не сделалось лучше. От дурной неэкономической разработки россыпей золотой промысел упадает; открытий новых стало меньше по невозможности отыскать богатые. Самая охота к поискам оттого заметно ослабела, прежние же прииски постепенно вырабатываются.

[77] В 1810 году изо всего наличного числа ссыльных 184680 человек (64340 в Западной и 70290 в Восточной Сибири) работало на золотых промыслах одиннадцать тысяч, т.е. почти двенадцатая часть всего наличного ссыльного населения Сибири.

[78] Нижегородские рабочие, да и все русские, приходят артелями (что и закон требует). Но артельные правила с силою общего голоса за каждого члена и собственной расправы некоторым доверенным не нравятся; их стараются стеснить и ослабить. Между тем, артели работают отлично и требуют только хорошей пищи и побольше.

Содержание золотоносных песков видимо уменьшается, и добыча по частным промыслам Сибири, особенно Западной, ощутительно упала. На поселенцев надвигается гроза и с этой стороны. К тому же, надо сказать правду, безусловный наем поселенцев в работы на золотые прииски мало приносит им пользы.

До работ ожидал поселенца наем с задатком. Задаток (рублей в 40, 50, 60 вместо дозволенного законом не свыше 7 руб. 50 коп.) находил его после долгого поста и безденежья, а на глазах торчат кабаки со всяким соблазном и господствует старый прием вербовщиков нанимать рабочих с подтасовкою пьяными, умягченными и сговорчивыми. А там дело известное: обольстить, обмануть, подсунуть гнилой товар — московскую залежь, ценою повыше, добротностью хуже всякой возможности; придумать вычет из заработка помудренее и позапутаннее, подвернуть условие, на которое трезвый человек не ходит, но голодный и пьяный идет. Тут является и обязательство, вопреки законному смыслу всяческих контрактов, считать рабочие дни не со дня сделки, а по приходе на прииск. Тут и обязательств об одежде нет, и орудия записаны в расчетной книжке, каковых не дано, и самая работа не приведена в условную ясность — словом, целая цепь стеснений всякого рода. По этой причине рабочий, обязанный иногда идти месяца полтора и два до прииска, даром тратит время и идет рваный и голодный, питаясь милостынею, а при случае и воровством. На прииске, сверх обязательной, рабочий получает работу всякую, какая придет в голову доверителю и приказчикам. Жаловаться некому, жаловался тот, кто не знал, в каких отношениях состояли заседатели с доверенным.

Известно, что сами золотопромыш-ленники редко в Сибири живут, действуют откупщики по старым образцам и науке: изводят много хозяйских денег на карты, на пиры, на вечера, на смазку сложных колес золотопромышленной машины, чтобы она не скрипела. Траты большие — надо их возместить. Другой крепко зарвется, а выходу нет; но отчет и у них спрашивают.

Тут и волостной писарь немалая подмога, чтобы показать хозяину выдачу задатков большему числу людей, чем сколько принято на самом деле. Писарь бумагу такую и казенною печатью припеча-

тать может, а хозяину один ответ: взяли рабочие задатки, на прииск не пришли, известное дело, посельщики, варнаки. Кто заглядывал в сибирские остроги, тот знает, что иного рабочего схватили с домашней печи и по этапам высылали на прииск для отработки старого долга; что другие бежали с самых работ, на дороге пойманы, спрятаны в тюрьму, потому что подлежат отправке назад на счет нанимателя, да ждут от него присылки казачьего конвоя для путешествия по таежным дорогам. Последние существуют только по имени, но не в самом деле, хотя на них истрачено столько, что можно бы иметь теперь уже железную дорогу.

На самых работах, т. е. на приисках, поселенцы-рабочие живут в дрянных избушках, помогающих развитию цинги. Здесь они уже кабальные в самом широком значении этого слова. Плети не утратили своего внушительного значения, и, вообще, телесное наказание всегда наготове. Напускать страх, вымогая исполнение всяких требований, считалось там педагогическим приемом. Сверх того, на приисках для рабочих — большие уроки, которых они никогда не вырабатывают по невозможности, а задается на авось: ведь и расход по прииску не маленький: рабочий просит рукавицы, чирки, табак курит, к кирпичному чаю привык, да к тому же и задаток взял большой. Надо наверстать и то и другое и себя не обидеть. И вот в праздничные и торжественные дни вводятся так называемые старательские работы, которые, вместе с усиленными уроками, крайне истощают силы поселенцев. Между тем, «старания» с платежом с золотника золота, самая справедливая форма вознаграждения, теперь вывелись, и «старания» теперь не что иное, как спекуляция на отдых, на истребление праздничных дней у рабочих. Урок становится не под силу, и благо еще, что хозяев обязывают лекарями и лазаретами, хотя и туда иногда не принимают. Вместо лекарства — казачья команда с известными военными медикаментами, потому что болезнь можно иногда по ошибке принять и за лень[79]. Впереди рабочему предстоит дней сто кипеть как в котле; урок не под силу, а между тем, магазинный долг нарастает. Что де-

[79] Поселенцев, сделавших на частных золотых промыслах преступление, велено было судить военным судом.

лать? Уступчивые и смирные махнут рукою и в работе валят через пень в колоду; решительные и бывалые бегут с промыслов, бегут в таком множестве, что хозяева сильно на это жалуются и просят в свою пользу кое-каких уступок и новых привилегий.

В самом деле, летом каждый рабочий дорог. Другой наймется и придет на прииск, поработает немного, заберется в магазине, да и объявит, что он неспособен. Станет доктор свидетельствовать: либо грыжу найдет, либо рука вывихнута, либо другая хворь, законом предусмотренная. Сгоряча нанимают и совсем старых людей, в расчете на их совесть, авось поработают и не скажутся. Надо таких рассчитать, долг их, разумеется, списать со счетов. Таким образом, большие задатки, наперебой совестников, и хозяину невыгодны и рабочему идут на баловство и порчу. Одно хорошо — кормят недурно, но на южной системе лучше, чем на северной.

Порчи для рабочих немало и в примерах приказчиков; воровство золота — укоренившийся обычай. Для этого в окрестности промысловых «резиденций» и купцы наезжают из достославных городов Каинска, Томска, Красноярска, Баргузина и других. Не много правды и в расчетах: либо за добровольное старанье выдают тем, которые не старались, либо старавшихся обсчитывают. За выданные вещи всегда берется двойная цена. Против воровства самородков, с давних времен, употребляется система взаимного шпионства. Некоторые хозяева нечестными расчетами возбуждают против себя всех рабочих до того, что никто к ним не идет: надо употребить хитрость, пробивать нечистые тропы, а для такого дела опять употребляют тех же поселенцев половчее и посмышленее. Теперь уже не редкость такие случаи, что после восьмимесячного тяжелого труда рабочие выходят с промыслов только с долгом. Некоторые ходят в отрепьях, чтобы выгадать на одежде. Тут, если не поворуешь, не поплутуешь по образцу приказчиков, то и не поживешь. Теперь уже рабочие едут домой с промыслов (после 12 сентября, когда кончается расчет, производимый с 8-го числа) человек по двенадцати на одной тройке и в кабаках не скупают целой полки полуштофов и шкаликов для того, чтобы разбить их вдребезги со всем содержимым. Выход рабочих все еще, однако, нажива кабакам и мелким торговцам.

Вообще, современное устройство промыслов и обстановка их дела не производит такой громады вредного влияния на поселенцев, как это было некогда, в те времена, когда промысловая работа считалась бесчестною и позорною. Но многое еще продолжает развращать нравы и вредить краю. Во многом золотые промыслы послужили тому несчастному явлению, что ссыльные не имеют прочного домашнего хозяйства и верному труду предпочитают легкую наживу, являющуюся и до сих пор с наружным обманом и соблазном в начале и горьким разочарованием в конце. И теперь, по окончании работ, обсчитанные и задолжавшие, праздно скитаются они в ближайших к промыслам селениях, в надежде на то призрачно-счастливое время, когда вновь получат новый задаток и вновь обманутся. Золотые прииски, в этом смысле, немало виноваты в том, что поселенцы забывают о доме, еще больше укрепляются в бродячей жизни, тянутся к местам вербовок и держатся около них всегда наготове: голодные и оборванные, а потому и дешевые, избаловавшиеся на безделье и плутнях всякого рода, а потому и не годные для всякого дела. Если и худ поселенец в делах золотых промыслов, то на этот раз по пословице: «сама себя раба бьет, коль нечисто жнет». Какие были ремесла — золотопромышленность почти совсем убила; земледелие и скотоводство уменьшилось; «народ развратился и пошел в кабак», говорят многие из тех, кто любит говорить правду. В Сибири тайга сумела из лучших людей, из образованного и более устойчивого класса создать тот несимпатичный тип, который известен под именем «таежного волка». Золотая лихорадка успевала искалечить их до того, что весь мир переставал для них существовать, золото делалось у них богом и отыскивать новый прииск было задачею всей жизни. Таежный волк ни минуты не задумывался завладеть чужим прииском. Пустить по миру благодетеля у таких людей за грех не считалось. Сибирские суды были переполнены тяжебными делами по таким вопиющей несправедливости захватам. Штука делалась просто. Доверенные, действующие на деньги капиталистов и сами имеющие право на разыскание золота, найдя прииск, заявляли его на свое имя. Они брали хозяйское жалованье, но в то же время захват считали собственностью и творили зло в расчете на то, что закон преследовать их не в силах. Презренный металл отнял совесть у многих людей недюжинных,

подававших большие надежды. Что мудреного, если под влиянием его уродуется менее стойкая натура рабочих из простого люда, и тем более поселенцев. Сам себя рабочий прозвал «окаянным таежником» и уже мало обижался, получая в глаза это бранное прозвище от других.

На прииске рабочий смирен, перенослив в труде, терпелив донельзя везде, где труду его умеют дать надлежащее направление. Не тот рабочий в деревне после расчета, когда он прогуливает все, что так тяжело ему досталось. Две недели он совсем другой человек и находится в каком-то бешенстве, как будто белая горячка постигла его. Он, с твердым намерением и убеждением в законности своих поступков, старается истребить все, что есть у него, и как будто намеренно заботится о том, чтобы изломать и изуродовать свою крепкую природу. Если это ему не удастся, он опять отправляется в тайгу «быгать», как говорят они сами. В первой же деревне по дороге он снова такой же безответный труженик-горемыка, каким был до расчета. В январе и феврале опять время наемки, опять пьяному дают деньги вперед за «окаянную» работу в поте лица, в течение пяти месяцев, в золотоносной слякоти и болотах. Некоторым удается принести рублей 200–300, которые пропиваются либо проигрываются заседательским же казакам и волостным чинам. Существующий порядок выдачи билетов поселенцам требовал коренной перемены, и на этой мысли, не без основания, остановились сибирские власти.

Между тем, промышленные богатые люди обижают и таких поселенцев, каковы, напр., якутские, заброшенные в более негостеприимные страны Сибири. Живут они в юртах или, лучше, в ямах и роют их по возможности в сухой земле; но и тогда им необходимо поддерживать беспрестанный огонь, чтобы просушивать юрту и просушиваться самим. Жилища этих оседлых людей все-таки похожи на звериные логовища. Устройство немудрое и очень незавидное: на вертикально утвержденных столбах (вилообразных кверху) кладется в распорки или в эти вилы поперечный брус, от которого до боков ямы положены мелкие бревна. Последние покрыты ветками ельника, а сверх его обложены дерном. Среди юрты — очаг из тонких жердей конусом, выходящим из ямы,

обмазанной глиною внутри и снаружи. Тут и телята и ребята. Летом юрты берестяные. Скот стоит на ветру, хлевов по всей Лене нет и в заводе.

В якутских странах, при неблагоприятных условиях сырой местности и гигиенических правил, среди поселенцев существует особый вид оригинальной болезни, однородной кликушеству лесных губерний и икоте тундряных северных, обладающей признаками сильного нервного расстройства. Прокаженные и большею частью испуганные по Лене называются «миряками» и «мирячками». Припадки выражаются обезьяньим свойством безотчетного подражания тем действиям и явлениям, которые нечаянно попадаются на глаза больному во время болезненных кризисов. Стоит крикнуть несущему в руках вещь «бросай!» — он немедленно бросит. Одна мирячка встретила на мосту в Якутске спутника, поднявшего щепку и бросившего ее на ее глазах через перила в реку; больная в мгновение ока вскочила на перила, спрыгнула в воду и утонула. Такие же шутники, встреченные больным, заставляли поднимать подолы только тем, что перед глазами сбрасывали собственные шапки на землю и тотчас же их поднимали; те бросали хрупкие и ломкие вещи при виде другого, бросившего что-нибудь, причем предварительно вскрикивали, судорожно икали и рыдали. Одна мирячка, видя ямщика, гревшего над угольями руки, не задумалась положить свои руки на горячие уголья и наверное продержала бы до безвозвратного антонова огня, если бы вовремя их не сняли. Один поселенец ехал дорогою и, видя хворост, сложенный кучею, захотел воспользоваться готовым материалом, чтобы развести огонь. Хворост занялся огнем, но из-под него неожиданнно вылез человек, спавший и укрывшийся им от мороза и снега. Поселенец испугался, стал мирячить; припадки с годами усилились. Замечено, что лишь только завелась правильная доставка по Лене хлеба и уничтожился кредит сосновой коры — миряков стало меньше. Водятся они кое-где и за Байкалом и называются там *олганджи*. Это — те же великорусские дурачки, каженники, юродивые (с монгольского — пугливый, боязливый; а миряк с якутского, собственно имерех, имерях — вздрагивать, бесноваться). Кроме естественных причин и главной — испуга, болезнь появляется от

шалости, состоящей в подражании больным олганджам, а потом от злоупотребления половыми удовольствиями и онанизмом.

Живет поселенный народ так бедно, что вызывает слезы. Во всех других местах Сибири есть с кем слово перекинуть и, пожалуй, у своего же брата-поселенца найти на первый случай и пищу, и приют и сострадание; живут там поселенцы в селениях. В Якутской области совсем не то. Там поселенцев, в видах развития хлебопашества и распространения прочного хозяйства по обычаям оседлых людей, селят между инородцами. Якуты живут разбросанно и больше скотоводы. Против ссыльных они предубеждены еще сильнее, чем сибиряки русские. Приходящий сюда ссыльный живет, питаясь кислым молоком с тарою (древесною корою) и изредка рыбою; работы себе не находит и, дойдя до места назначения, берет билет, чтобы идти в город на заработок или на золотые прииски. Там он, если нажил плисовые шаровары, красную рубаху, кунгурские сапоги и суконный картуз — значит, богат стал. Если перекинул через плечо красную шаль и взял гармонику — значит весел и счастлив, а если пляшет около кабака — стало быть, денег нет, все пропил. Бежит он отсюда реже, но зато и якутов хозяйству не выучил и еще больше восстановил дикаря против себя и против будущих товарищей, потому что ленив и ничего делать не хочет: двора якуту-хозяину он не почистит, дров не нарубит, за скотом не присмотрит...

Впрочем, в Якутской области есть и богатые поселенцы и изворотливые люди. Это — переселенные из Туруханского края (с Енисея на Лену) скопцы, человек до 500, поселенные верстах в 15-ти от Якутска около Олекмы и по реке Алдану. Эти не погибнут, потому что принесли с собою деньги и потому что знают секрет и искусство торгашества. Зато они и бесполезны и ссылка относительно скопцов, стремясь к одной только цели — наказания, не достигала никакой. Эти зябкие и дряблые, слабодушные и хитрые люди — настолько отчаянные фаталисты, что с твердостью и стойкостью и без ропота покорялись своей участи и не сознавали разницы ни между Аландскими островами и Закавказьем, ни между Туруханским краем и Якутским. Ссылка в Сибирь для них имеет еще тот религиозно-мистический смысл, что Сибирь для них обетованная

земля, а Иркутск — Иерусалим, ибо сюда был сослан их живой бог, Кондратий Селиванов. Оттуда, с Иркутской горы, придет он, батюшка живой бог, чтобы соединиться со своими детками. «Они ждут его всяко времячко, по суду-глаголу небесному, обогреть сердца их внутренни». Пришествие это они вымаливают и выпрашивают на своих радениях, а между тем, в ожидании, наколачивают копейку в Туруханском крае на Енисее извозом, да и на реках Охотского края (Алдане и Мае), куда переселяли их с весны 1860 года, они гроша своего не теряли, но для края ничего не делали. Географическое перемещение могло только еще более ожесточить их против остальных людей. Известно, что они на помощь погибавшим в метелях и снежных пустынях Туруханского края никогда не являлись и тем известны были всем старожилам. Большая часть этих скопцов были из лютеран-чухонцев, сосланных из Петербургской губернии. Но в том же Туруханском крае, вдоль того же Енисея, двумя селениями (Мирный и Искун) поселены были духоборцы и жили богато. Эти в другом месте могли бы принести большую пользу, как это доказывают молокане, поселенные на Амуре.

Вообще, ссыльные, судя по природе и по благоприобретенному досужеству, кладут на картину поселенческого быта своеобразные и новые оттенки. Если в Якутской области высылаемые в административном порядке лица, исключенные из духовного звания, сумели сделать из Киренска и Якутска города, известные своими кляузами и ябедами в целой Сибири, и все-таки несут бедственную участь, зато другие кладут на ссылку не менее яркие краски и живут, не бедствуют. Места, где скучили татар, славятся конокрадством; где поселились евреи, там коммерческая суетня и толкотня. В Сибири также думали было превратить евреев в хлебопашцев, но и здесь, как и в западной России, народ этот сумел разбить всякие надежды и упрямо остался при своих качествах. Из города Каинска евреи успели сделать такой же город, каких неисчислимое множество во всем западном крае России. Каинск сибиряки справедливо прозвали «еврейским Иерусалимом» (евреи составляют ⅘ части всего городского населения). Из городка, не имеющего никакого промышленного и торгового движения и, как все города Сибири, вообще, углубленного в себя и мертвенно молчаливого, евреи сде-

лали крикливый, живой и торговый. На площадке приладился рынок, выросли как грибы лавчонки, в лавчонках засели еврейки. Евреи, сбиваясь в многообразные и многочисленные кучки, машут руками; бегая по улицам, машут фалдами длиннополых казинетовых сюртуков и пейсами, которые здесь, в Сибири, они таки отстояли. Словом, в Каинске все, как в любом из городов и местечек Белоруссии: удивляешься тому, с кем торгуют грудами тряпья и всякой рвани еврейки. Евреи же добились того, что в Каинске теперь одно из главных мест склада всего пушного товара (особенно беличьих хвостов), отправляемого за границу, на Лейпцигскую ярмарку. Потому-то на такой несчастный и убогий городок с семистами жителями насчитывается до 70 купцов; на десять русских мещан один еврей маклачит комиссионерством и факторством по закупке мехов, а в вознаграждение за хлопоты получает всякую разнокалиберную мелочь-галантерею. С нею он таскается потом, в уреченное время, по торжкам и ярмаркам, по селам, городам и деревням Западной Сибири. Так как в Каинске вместе с евреями поселены и цыгане, т. е. худшее из худших, то полиции бывает довольно работы доходить до правды в плутовской путанице этих народов.

В Восточной Сибири евреи устраивают такой же кипучий оборотливый городок в Баргузине, и там еврей не линяет и не затеривается. Придет он на каторгу нищ как Иов, бос, голоден и оборван; месяца через три-четыре, при своей юркости, втерся в урочные работники: дровосеки, рудовозы, взял годовой урок, нанял за себя охотников из заводских крестьян, кончил их руками и своею суетнею этот годовой урок в неделю; сделался по закону на весь год свободным. Смотрят, у еврея уже появился на руках из веков возлюбленный им инструмент-коробочка, на котором он и играет умелыми руками так, что коробочка превращается в коробку, коробка в лавчонку и лавку. Прежний, совсем истрепанный еврей преобразуется уже в торговца, умеющего ублаготворять мылом, табаком, железом, чаем и омулями. Мыло варит сам понемножку, льет свечи, папиросы крутит. На омулях он обсчитал, железо у него ворованное из казны, чай он держит только контрабандный; он и сам пришел сюда «за тайный ввоз заграничных товаров». Тем не менее, где заше-

велились евреи, там мелочная торговля процветает: еврей делается образцом и примером для неподвижного сибиряка-горожанина, которому есть чему у него поучиться. Для Сибири еврей пригоден и полезен. В Сибири для них — широкое поле вместо того, на котором они живут теперь и где так надоели всем туземцам. Если немало возни с ними в Сибири по поводу участья в перепродаже хищнического золота и в продаже заграничных европейских контрабандных товаров, то, по пословице, «на то и щука в море, чтобы карась не дремал».

Евреи сплачиваются в ассоциации, чтобы ссылка не могла нарушить единства, и, через живую и непрерывную сеть из ловких евреев через города сибирские, не обрывалась связь Нерчинска с Вержболовом, Радзивиловым и Лейпцигом, и, например, каинские евреи, принадлежащие к ассоциации «Нового Иерусалима», не утрачивали симпатий и связей с сотоварищами, живущими в Минске[80]. Впрочем, с евреем в Сибири, по делам золотым и чайным и по их тайному ввозу и торговле, с успехом соперничают туземные казаки и русские поселенцы. Зато, где бы ни открылась золотая россыпь и ни начались работы на ней — евреи торговцы не медлят отправиться туда на границу дозволенной законами дистанции с ситцами, плисом, платками, пуговками и иголками, с винами и водкою, чтобы с достоинством и выгодою принять на свое попечение «желтую пшеничку» или краденый золотой песок. Если попадаются евреи на каторгу, приходят туда за убийство, то злодеи эти бывают настоящие и на каторге остаются непримиримыми.

Относительно перевоспитания еврея в сибиряка замечено, что торговая изворотливость, давая возможность приобретения небольших капиталов и обеспечения доброго быта (который для сибиряков-евреев можно назвать поместным), торговля, требующая ежечасных сношений — значительно пособила евреям обезличить собственную национальность. Евреи в Сибири одеваются по-русски, женщины ни в чем не отличаются от сибирских мещанок;

[80] Недавно (тридцать лет назад) в Минск дано было знать каинскою полициею, что тамошние евреи послали слиток золота, но что этот слиток — краденый.

по костюму, в среде местного населения, они не представляют особенной группы. Только физиономия обособляет их. Старики говорят по-польски и по-русски; поколение, народившееся в Сибири, не знает польского и довольно сильно в русском. Третье поколение забывает и еврейский язык и даже дома со своими непременно говорит по-русски. Прежде, из боязни кнута и всегда из интересов денежных, евреи принимали православие, хотя и уберегали в сердце любовь к талмуду. Дети неофитов еще носили еврейские имена, но для света имели уже русские. Обычаями отцовской веры таковые охотно пренебрегают и зло подсмеиваются над ними. В четвертом, третьем поколении неофита все следы еврейства совершенно сглаживаются по тому же способу, как и в детях выкрестов-солдат. Меры, принятые законодательством для сибирских евреев, принявших христианство, и состоящие в ослаблении 8-летнего срока пребывания в цехе слуг до четырех лет, не произвели на евреев, поселившихся в городах, благотворного действия относительно их водворения, но произвели его в том отношении, что евреи спешили креститься. Крещеные не уживались у хозяев и вызвали новую меру, по силе которой все таковые названы виновными в развратном и непослушном поведении. Остававшиеся без пристанища должны быть отправляемы на поселение.

Судя по архивным делам и по наблюдениям старожилов и начальства, ссыльные из инородцев финского племени, отличающиеся угрюмым характером и крайнею неспособностью (в особенности сосланные из Финляндии), замечательны тем, что безропотно покоряются своей участи, как бы она ни была тяжела, и с мест водворения никогда не бегут. Зато инородцы более жгучей крови и более живого темперамента (каковы, напр., кавказские горцы) признают волю судьбы только до тех пор, пока не истек каторжный срок. Но лишь только сняли с них кандалы, прилив тоски по родине становится так силен, что южные инородцы бегут тотчас же. Насколько прочны и усидчивы на местах поселения рыжие и белокурые люди севера, настолько мало хотят стать поселенцами черноволосые и статные бегуны с южных гор[81]. Кочевники (вроде киргиз,

[81] Исключая армян, которые, подобно евреем, спешат укрепить себя в

калмыков и татар) никакие силы не удерживают на оседлых поселениях, и стремление в степь, на свою волю, у них едва ли не сильнее горской тоски. Поселенцы из поляков, по множеству крупных архивных дел, часто замешиваются в деланьи фальшивых ассигнаций, приготовление которых всегда оправдывают тем, что намеревались возвратиться на родину и помочь в той же цели остальным своим товарищам. В намерении к побегу шляхтичи и дворяне западных губерний и Царства Польского не останавливаются ни перед какими препятствиями: бегут, например, за китайскую границу, самую опасную и ненадежную, но убегают и в Европу по северным тундрам, через Швецию и Норвегию, а большая часть, наряду со всеми, попадает в опасное положение искателей приключений, во главе которых стоит знаменитый своими похождениями охотский герой Беньовский, убитый в Африке, на острове Мадагаскар.

Русские раскольники отличаются на местах поселений стремлением к пропаганде своего учения (и не без приметного успеха, блестящего в старые времена, замечательного и в новейшие). Даже и скопцы уловляли в свои сети (судя по архивным делам нерчинских заводов), и молокане и духоборцы находили себе слушателей и последователей даже между такими изверившимися и холодными людьми, каковы наши каторжные. Так, по одному архивному делу нам известно, что некоторые из каторжных «не шли к священнику, говоря, что они делам рук человеческих не поклоняются и присяги учинить не хотят; работы же, какие по службе с них требованы будут, исполнять не отрекаются, и что они присягу имеют внутреннюю, а делами рук человеческих называть св. Евангелие и животворящий крест, что они деланы руками». По другому делу видно, что некто Ярошенко совратил многих служителей и ссыльных, «пользуясь Библиею — книгою, дозволенною для чтения ссыльных». Один из уклонившихся служителей, Кухтин, когда тамошние духовные власти позвали его для увещания, простер свою дерзость до того, что, не уважая святости места, прошел по паперти

Сибири посредством коммерческих пут и разносную офеньскую торговлю предпочитают сидячей; но указ 1828 года (26 декабря) остановил их деятельность в пределах той губернии, в которой они поселены.

собора, не снимая с головы шапки и с рук рукавиц. В том же самом виде явился и в присутствие духовного правления перед зерцало. На вопрос священника: почему он так поступает? — отвечал: «Ведь это есть писанное руками человека, а потому и не хочу снять пред ним шапки и рукавиц». Этого Кухтина судили военным судом и велели прогнать два раза через 500 человек. В пользу молоканства и духоборчества заметна между вообще холодными к вере ссыльными большая симпатия. На этих примерах дело не остановилось, а шло дальше. Некто Кудрявцев подвел под суд еще восьмерых служителей. Суд обратил их всех в солдаты; служителя Суходолина сослали в Туруханск и велели поселить между некрещеными инородцами, как негодного к службе по летам (41 год). Один из обращенных в молоканство ссыльных (Неронов) оторвал иконы «в небытность никого в церкви» и бросил их на пол; вошедшему дьякону говорил: «Вот ваши боги-идолы, которых я побросал; поди, молись, и если они святые, то пусть встанут». На суде показал, что все это говорил в здравом рассудке. Наказание не вразумило. Нерчинскому начальству удалось уличить еще новых совращенных, из которых один расколотую надвое икону носил в сапогах под пятою. И снова судили одного, уверявшего, что «в церкви нет надобности». Духоборцев начали ссылать в Сибирь вскоре после того, как эта секта сделалась известною властям. В 1799 г. состоялся указ, повелевающий ссылать в вечную каторжную работу изобличенных в духоборческой ереси, «отвергающих высшую власть на земле». В 1805 г. участь сосланных была облегчена, в одно время с облегчением такой же участи духоборцев, находившихся в России. Духоборцам, сосланным в Сибирь, предоставлены были те же права, которые даны поселенным на Молочных Водах (Мелитопольского уезда, Таврической губ.), но не возвращая их из Сибири в Россию. До 1847 г. всех сектантов ссылали, между прочим, и в Минусинский округ, но, по донесении сенатора Толстого о том, что этот округ лучший во всей Восточной Сибири и притом пограничный с китайским государством, постановили (указом 18 апреля) ссылать скопцов в Туруханский край, а последователей всех прочих сект в Якутскую область.

Рьяные из старообрядцев, приверженцев до- никоновских книг и обычаев, подцветили историю ссылки весьма нередкими случая-

ми крайнего отшельничества, начинавшегося исканием одиночества и сосредоточенного созерцания где-нибудь в лесной пещере и кончавшегося в нередких случаях собиранием маленькой слободки. Указанный нами пример Гурия Васильева — в Сибири не последний. Политических и религиозных убеждений ссылка не меняет; образ поселения и приемы, при этом употребляемые, не мешают оставаться при том же, что принесено в запасах из России. Каторга на время тушит огонь, но пепел скопляется. Впоследствии, на поселении, огонь опять разгорается, а тушить его там не умеют.

В архиве Нерчинского Большого завода сохранился рассказ о приключении 20-ти старообрядцев из уральских казаков, сосланных в 1809 году на Нерчинские заводы. Казаки упорно не соглашались получать казенное довольствие и находиться на казенных работах. Некоторые из них довели себя, таким образом, до крайней нищеты и, отказываясь от казенного пайка, предпочитали питаться милостынею. Принятые против этого строгие меры были не действительны. Сибирский губернатор велел, при всяком случае упорства, давать им по десяти ударов кнутом, но казаки все-таки продолжали говорить свое: «Мы требуем Государя Императора именного повеления, почему мы безвинно посланы, но оное нам не показывают; ваша воля, что хотите над нашими телами, то и делайте, однако же работать не будем до конца жизни». Один, истощенный голодом и «принеся с собою малое количество хлеба», приговаривал: «Будучи сослан невинно, непременное имею намерение, хотя и лишиться жизни, но в работе не быть». Одного из казаков (Якова Краснятова) за такое упорство успели уже раз наказать плетьми и два раза выбить кнутом; последний раз с вырезанием ноздрей[82] и постановлением знаков. Точно так же четыре раза наказан был другой казак (Данило Лифанов), а пятеро по два раза. Некоторые подчинились, другие упорствовали. Не зная, что с ними делать, остановились на той мере, чтобы выдавать им провиант в ограниченной даче, достаточной только для поддержания жизни, и

[82] Рвали ноздри до костей особыми щипцами. На Нерчинском заводе раз щипцы эти оказались узки и коротки; палач только с трех приемов мог окончить операцию. Старые щипцы велено заменить новыми и указано кое-как не бросать, а прятать.

учрежден был строжайший надзор за тем, чтобы казаки ни от кого со стороны не получали. Успеха не было: казаки продолжали стоять на своем (как доносила нерчинская горная экспедиция иркутскому гражданскому губернатору). Чем кончилось все это дело, по делам архива не видно.

Случаи невинно сосланных и гласно признаваемых таковыми, конечно, большая редкость в сравнении со всею массой осужденных, и мы не входим в разбор этого темного вопроса за неимением данных. Данные же тщательно скрываются, как особенный и величайший секрет. Кое-что, однако, известно. Сперанский нашел в Томске поручика Козлинского, который, лечась от ран или болезни в Перми, вдруг был схвачен и препровожден в ссылку. Другого сослал подьячий из какой-то Шенгурской губернии; некую Кристину Яковлеву гнали уже в ссылку за рижскую урожденку Редоко-Ян. Н. О. Лаба, ревизовавший забайкальские поселения в начале нынешнего столетия, нашел, между прочим, такой беспорядок: иркутский нижний земский суд заслал назначенных на поселение в Нерчинские заводы на каторгу. Между прочими из таковых показана «женка Настасья Фалеева в 1802 году из дворянок, в замужестве была за поручиком Измайловского полка Кашниковым и, по смерти мужа, принята была Новагорода в Духов монастырь белицею и за самовольную отлучку из оного на ночь в гости, по гневу игуменьи того монастыря, отправлена в здешние заводы без наказания». Лет 20 тому назад совершено было какое-то важное преступление. Виновных не нашли: по одним слухам, они задобрили следователя, по другим — не отысканы по бездарности следователей. Виновных велено было разыскать во что бы то ни стало. Усердие, возбужденное приказанием, выразилось в том, что схватили, судили, выбили кнутом и сослали в Сибирь первых встречных. Впоследствии обнаружились настоящие преступники, а невинно сосланных возвратили. Тем, которые остались в живых, выдали за каждый удар кнута по скольку-то рублей; умершие же так и отошли не рассчитанными. Известен лейтенант Борисов, сосланный за разбитие датского корвета якорем и за мужеложство, по протекции прощенный потом; однако не возвратился, говоря: «Закон прислал в Иркутск меня, зачем стану возвращаться в другой какой-либо город?» В Красноярске в кабаке убит был сиделец; его подносчик мальчик в ту ночь не

ночевал дома. Его заподозрили, он указал на дом дяди, как на место своего ночлега; справка не подтвердила показания, его били кнутом и переплавляли чрез Енисей; он обернулся к городу и выкричал клятву, что ни в чем не повинен. Прошло довольно времени; в Красноярске поймали бродяг-поджигателей, и двое показали на себя убийство целовальника. Подносчика простили, вернули, стали спрашивать, после расчета по пяти руб. асс. за каждый напрасный удар кнутом, и узнали, что подносчик не указывал ночлега потому, что ночлег этот был в доме купеческой дочки, на которую не указывал он, не желая ее срамить. В Оренбурге известен был такой случай противоположного характера. Всем известен был и у всех на почете богатый купец, приговоренный в каторгу и пославший туда вместо себя другого. В Онеге мы лично знали другого, считавшегося умершим. В Тобольске жив в памяти случай въезда в тюремные ворота, за партиею ссыльных, кареты и в статейных списках указание на княгиню, ссылаемую за детоубийство; из кареты вышла на перекличку самая отчаянная неуклюжая баба. Княгиня, говорят, стала жить в изгнании, но в Швейцарии.

Довольно известна история одного так называемого «Странника». 28 августа 1835 года в Твери взят был полициею неизвестный человек, имевший вид богомольца. На вопросы он не отвечал ни слова, а только после многих настояний решился объявить, что три года назад получил благословение от родителей на странническую жизнь, и вот с тех пор он ходит по разным местам на богомолье. Когда потребовали от него рукоприкладства, он такого дать не согласился и заявил, что дал обет Богу никому не открывать своей родины, имени и отчества, и потому отвечать будет только Богу, а не присутствию полиции и уездного суда. Сенат, признав странника бродягою, умышленно скрывающим свое имя, происхождение и ведомство, определил наказать его, на точном основании 242, 243 и 399 ст. XV т. Св. Угол. Зак., при полиции плетьми 30-ю ударами и потом сослать в Сибирь на поселение. Приговор этот приведен в исполнение 12 марта 1836 года. Странник безмолвный безропотно и безответно перенес наказание и был водворен на жительство в Енисейской губернии, Ачинского уезда.

Восемнадцать лет прожил он там забытым, хладнокровно перенося не заслуженное им наказание и именуя себя странствующим в

мире, ищущим не зде предлежащего града, но взыскующим грядущего, во всяком случае, не ближе горного Иерусалима. Теперь ему, изгнанному правды ради, и царство небесное не далече отстоит, как будто и дорога стала легче и приятнее, по крайней мере, вместо тумана впереди, обозначился просвет, явилась надежда увидеть то, чего ищет. Он, по приходе на место поселения, так и назвал себя «Странником», не объявляя ни имени, ни отчества. Но так как, по понятию волостного правления, без имени и овца баран, то, поприслушавшись ко мнению соседей, назвали его так, как назвали его эти соседи: Иваном Захаровым Спасовым, во имя пророка Иоанна Крестителя, сына Захарии. Странник прозвищу такому не противоречил, жил, молясь этому угоднику и стараясь подражать его ораннической и постнической жизни. Некоторые искушения, однако, показались ему не под силу; он долго боролся, боролся семь лет, но дух не выдержал, терпение его истощилось, и он решился открыть место своего пребывания родной сестре своей, коллежской асессорше В., которая не замедлила подать прошение московскому гражданскому губернатору в феврале 1854. Из прошения этого видно, что странник — бывший подпоручик А. 2-го Егерского полка, где занимал должность квартирмейстера, казначея и адъютанта. Выйдя в отставку в 1824 г., двадцати лет, проживал при родителях в имениях Серпуховского и Мценского уездов. Он был довольно образован и знал хорошо языки немецкий и французский. Возымев твердое намерение оставить свет для странствий, пошел по монастырям и другим св. местам России. Странствуя в 1832 и 1833 г., он был уже на пути в Иерусалим, но, безмолвствуя, в г. Кишиневе навлек на себя подозрение и был задержан. Однако губернатору Аверину мог еще представить указ об отставке и согласился написать адрес родителей. Его препроводили во Мценск. Здешняя полиция немедленно освободила его, но почему-то сочла нужным удержать некоторые из его бумаг. Он вновь отправился странствовать уже без них. В 1835 г. зашел на моление в Твери в собор. Отсюда, как странник, был приглашен купцом Куддеровым в его дом пообедать. Придя туда, продолжал безмолвствовать, чем рассердил купца, и Куд-леров не замедлил представить его в полицию. Отсюда начались те преследования, о прекращении которых просила сестра. Московский губернатор отнесся к тверскому; тверское гу-

бернское правление, в ноябре 1855 г., через ужурское волостное правление отобрало показание от Ивана Захарьина Спасова, вытребовало документы из мценского земского суда, копию с формуляра из инспекторского департамента военного министерства, от губернских предводителей дворянства Московской и Орловской губерний сведения о роде дворян А., от сестры его через серпуховского городничего подробные сведения о брате. 17 опытных чиновников сличили почерк А. по письмам от 1822 г. с почерком на показании, данном в Ужурской волости в 1854 г. Получены были вполне удовлетворительные сведения изо всех этих мест и от всех затронутых лиц. Дело в апреле

1856 года поступило в сенат; в феврале 1859 г. сенат решил: отставному подпоручику А., находившемуся под именем Ивана Захарова Спасова в Енисейской губернии, предоставить возвратиться из Сибири. Но — по выражению законодатель-ницы Екатерины — лучше десять виновных простить, чем одного невинного наказать. При современных гласных и открытых судах таких крупных несчастий случиться не может и нет сомнения в том, что и сами ссыльные перестанут прибегать к известным проповедям о том, что они совершенно понапрасну сосланы[83].

В Сибири ссыльные еще продолжали производить такого рода операции: осужденные на поселение менялись именами с каторжными за какое-нибудь ничтожное вознаграждение. Настоящий каторжный оставался на поселении, настоящий поселенец, по прибытии на чужое место, открывал свое звание. Точно так же и поселенцы менялись именами и прозвищами между собою, когда одному приходилось идти не туда, куда было сподручнее, а другому, беззаветному бродяге, куда ни идти было все равно. Постановили: всякого ссыльного, давшего напрокат свое имя каторжному, оставлять в каторжной работе пять лет, а каторжному, по наказании на месте ста ударами лоз, прибавлять еще пять лет сверх срочных. Обменявшихся между собою именами поселенцев указано назначать на два года в каторжные заводские работы. Относительно перемены имен и происходящей оттого путаницы рассказы сибир-

[83] Между тем, тобольский приказ в партиях, приходящих из России на поселение, находил очень нередко решительных дураков, идиотов.

ские бесчисленны. Что же касается до того, что весьма многие поселенцы и каторжные и без перемены имен в былую недавнюю пору попадали туда, куда было им сподручнее и желательнее, то это тоже не секрет. Прежде в приказ тобольский (в особенности в первое время его существования) откомандировывали для занятий тех же грамотных каторжных и за целый месяц усидчивого писания отделывались гривною-двумя. За ту же гривну этот писарь с удовольствием отчислял собратиев туда, куда они просятся: какого-нибудь тюменского купца, угодившего в каторгу, писал на Успенский винокуренный завод, находящийся в Тюменском округе, и проч. В 1861 г. шел на заводы Енисейской губ. каторжный из бродяг Черников. Дорогою переговорил он с поселенцем Федоровым, шедшим на золотые прииски Рязановых; сталось так, что Черников очутился на приис ках, а Федоров на каторге. Каторжник в поселенческом звании на работе не был; очень тяжело стало, сказался своим званием. Подобного рода слухами полнится сибирская земля.

Сумели ли размещать ссыльных поселенцев так, чтобы лесной житель не попадал в степь (и наоборот) и, спутанный такою не зависящею от него ошибкою, уходил в лес с волчьим паспортом по чужой вине? Изучил ли приказ вверенную его дозору и попечению Сибирь, чтобы знать, где ей надобятся больше всего люди таких-то знаний, такого-то ремесла? Сомнения нет в том, что цель распоряжений приказа меньше всего карательная и значение поселений, столь существенно важных для Сибири в других случаях, должно пониматься так, как желает Сибирь и указывают различными способами сами ссыльные поселенцы. Сколько ушло в Сибирь всякого рода ремесленников и нередко мастеров замечательных. Приказ знает, по фальшивым монетам, бумажкам и печатям, какие искусные граверы попадают в число ссыльных и часто в те места, где и без них этому промыслу дано некоторое развитие. Мы видели в цифре, составляемой самим приказом, как много поставлено им ремесленников в Тобольскую губ., находящуюся в этом отношении гораздо в лучших условиях, чем, напр., Томская. Тобольская ближе к России и ее захватывает огромная дуга отхожих промыслов, издавна и до нашего времени направляющих сюда свою деятельность из лесной России (напр., губ. Костромской, Ярославской, Вятской и даже Тверской). Если ссыльный боится объявить при опросах за

собою ремесло и художество, то из собственных расчетов; если сам приказ недостаточно опытен, чтобы самому открывать секреты знаний каждого из ссыльных, если он удовлетворялся такими глухими показаниями в статейных списках, что такой-то к такому-то сословию принадлежал (и только) и имеет такие-то приметы (по которым ни одного не отличишь от другого) — то кто виноват во всех этих неясностях, неверностях, неточностях и путаницах? Сибирь ощущает сильнейший недостаток в опытных рабочих, и, напр., в деле плотничества руководится мастерами из солдат и приходящими из далекой России (какова, между прочими, Костромская губ.). Ремесленников вовсе нет, и крестьяне самые необходимые вещи в хозяйстве, не выучившись приготовлять дома, покупают готовыми. Из Кунгура привозят сапоги; с Нижегородской и Ирбитской ярмарок — готовое платье в виде армяков и тех же сибирок; модное платье — из Москвы; сибирские меха, выделанные в Москве, везут обратно в Сибирь на продажу. Даже железные, медные и стеклянные товары — преимущественный сибирский продукт — привозятся с заводов около Нижнего и отчасти с уральских. Голландскою сажею, скипидаром, серною и соляною кислотами Сибирь, богатая лесом и ископаемыми химическими материалами, довольствуется из России, и проч. и проч. При этих условиях ссыльный ремесленник и русский промышленник бесследно глохнут и исчезают в Сибири, со всем своим досужеством и знаниями, только потому, что их распределяют зря, одиночками, не группируя в артели в необходимых местах и утешаясь только каким-то призрачным цехом каких-то слуг, который только и оставался на бумаге. Между тем, сибирские старожилы видят одесского матроса в Кургане, а не на Байкале, повара в Березове, а не в Томске, Красноярске, Енисейске или Барнауле, где испокон веку задавались роскошные лукулловские пиры. Херсонский степняк ума не приложит в дремучей туринской тайге. Вятский отличный хозяин, всю жизнь отбивавший у леса поля и луга, сидит на Барабинской степи, где так хорошо было исконным ямщикам и извозчикам. Лакей бродил без дела по Пелыму, пока после долгих исканий не выучился торговать и обманывать остяков, вогулов и самоедов. Те самые ссыльные, которых сам приказ назначал в цех слуг, бродили из месяца в месяц, от одного хозяина к

другому, и при этом искусственно создаваемые слуги — самые неверные, самые неспособные и самые несчастные люди.

От всей этой путаницы возрастает, постепенно увеличиваясь, та громадная масса движущегося вдоль и поперек всей Сибири кочевого населения бродяг, которая, как саранча, временами поедает, временами глушит свежие всходы молодой страны, достойной лучшей участи. Ведь в Сибирь недаром тянутся и до сих пор вольные переселенцы и поселенцы с дозволительными свидетельствами. Недаром люди, обязанные распечатывать и читать поселенческие письма, говорят про бесконечные похвалы этой стране, расточаемые на соблазн и на уговор родных, оставшихся в России, чтобы шли сюда, в эту страну, где редко урожаи не бывают сам-15 и поля не отдыхают года по 3–4 даже в Енисейском округе (не говоря о странах прииртышских, минусинских, забайкальских и иркутских, где даже коренные инородцы стали превращаться в земледельцев). Недаром же старожилы, питающие зло против беглых и каторжных, на вопрос бродяги: «Нет ли работы?» — отвечают коротко и ясно: «Иди в кладовую — и выбирай по руке либо серп, либо литовку». Таким образом, беглые, смело укрывшиеся и ловко спрятанные, пилят лес в городах и селах, правят всякую поденщину на заимках, окашивают роскошные сибирские степи, помогают сибирским крестьянам убираться с пашнями и сенокосом. За одно только укрывательство, за парную баньку, кирпичный чай, за объедки от стола и обноски из старого платья работает не только поселенец, но и каторжный. Между тем, страна все-таки от поселенцев несчастна. Несчастны в ней и сами поселенцы, но несчастнее всех из них тот небольшой разряд, который пользуется у всех сибиряков и даже у самих поселенцев полнейшим презрением и отвращением, это — палачи. Преступники, которым суд и судьба сулили поселение, но которые по доброй воле и по вызову решились на известное мастерство, в расчете на лучшую участь. Согласие их избавило от плетей, служба освободила от телесного наказания; особая школа выучила владеть орудием наказания. Таковое искусство у некоторых мастеров доведено было некогда до такого совершенства, что они могли по произволу и разрезать, как острою бритвою, лист бумаги и так подхватить кнут, пущенный со всего размаха, что подставленный лист бумаги оставался невредим. По закону, если кто из поселенцев

не соглашался идти в палачи, то губернским правлениям предоставлено право определять в эту должность: или людей, присужденных к отдаче в арестантские роты, по их на то согласию, или вольнонаемных. Впрочем, последние случаи представляют замечательную редкость и в законах можно считать это дозволение остатком старинного законодательства, внесенным в новое лишь про всякий случай. В Уложении велено в палачи на Москве прибирать из вольных людей за поруками, а жалованье обещали давать из государевой казны; в городах выбирать палачей указано с посадов и с уездов с сох, с дворцовых и черных волостей и со всяких сошных людей. Избиратели давали подписки (но неохотно). Палачи присягать должны; сошные люди от выборов отказались; их принуждали штрафами. Охотников явилось мало. Царь Федор (в 1680 г.) соблазнял жалованьем по 4 руб. человеку, но в следующем же году принуждены были бояре приговорить: послать грамоты к воеводам, чтобы они в заплечные мастера брали из посадских людей (не насильно), а тех, которые «волею своею в тое службу быть похотят». Сетовали посадских и сошных людей заставить выбрать из самых молодчих или из гулящих людей, чтобы во всяком городе без палачей не были. Воеводы то и дело жаловались, что в палачи охочих людей не находится или выбранные принуждением убегают. В прошлом веке жалобы эти затихли. Сенатские указы (вроде указа 10 июня 1749 г.) стали настолько требовательны, что на каждую губернскую канцелярию потребовали уже по два палача. С 1738 года им уже и жалованья не полагалось, а потом давалось солдатское (за платье и за хлеб по 9 руб. 95 к. в год). В этот век на них объявилось большое требование и крупный запрос. В первую половину его заплечные мастера имели большие заработки и получали крупные заказы, когда — по народному, сильно распространенному преданию — и воду секли кнутом, если дерзала она от ветров затевать возмущение. По свидетельству знаменитого адмирала Мордвинова, когда «для 20 ударов кнута потребен был целый час, а при многочисленности ударов наказание продолжалось от восходящего до заходящего солнца, — платили по десяти тысяч рублей, чтобы не изувечить или менее мучительным сделать наказание». (См. «Чтение Общ. Ист. и Древн. Росс. 1859 г.», книга четвертая.) Становился в заплечные мастера какой-нибудь забулдыга, бесшабашная голова,

зашалившийся либо до казни, либо до ссылки. Ведомому вору оставался один выход — «встать в палачи за свои вины». Звание это пятнало позором перед лицом народа, но оправдывало перед властями.

Палач, находящийся на службе и живущий обыкновенно в остроге при гауптвахте (в особом помещении), пользуется полнейшим уважением всех арестантов. При встрече с ним схватываются с бритых голов шапки; его зовут не иначе, как по имени и по отчеству. Их фамилии, как исторические имена, уходят в потомство. В честь московского палача Бархатова все последующие заплечные мастера, поступившие в это звание из не помнящих родства, предпочитают выбирать себе эту фамилию (по Сибири большая часть палачей Бархатовы, некогда все палачи были Бархатовы). Если про себя позволяют еще себе арестанты обзывать мастеров полуименем (Кирюшка, известный петербургский палач, отсюда и кирюшкина кобыла, место казни на языке современных мазуриков, Изоська — сибирский, Криворотый и проч.), то в глаза палачу оказывается такое почтение от всех арестантов, что люди эти успевают забаловываться до высокого мнения о себе, на манер господских кучеров и столичных швейцаров. Палач перед начальством всегда чем-то недоволен, всегда на что-нибудь жалуется и чего-нибудь просит, как обязательной льготы. Между тем, на палача уделяет арестантская артель из пожертвованного и благоприобретенного все: булки, чай, сахар, вино и проч. Сверх того, в хорошо организованных тюрьмах на палача от арестантской общины полагается по полтиннику в месяц за каждого наказуемого. Часть тех денег, которые бросает народ на одежду наказуемому, уделяется также палачу под особым именем «рогожки, полурогожки» и проч. Сердитый сердцем палач (каковыми, по опыту ссыльных, бывают солдаты и поповичи: «крошат и ломят без зазрения совести»), сверх обусловленного обычаем, старается вымогать.

Вообще, палачам деньги доставались легко; палачу стоило пройтись по базару, например, на пути к месту наказания, чтобы всякий крестьянин дал ему грош или пятак, как бы в виде задатка и по приказу пословицы, повелевающей от тюрьмы и от сумы не от-

казываться, и по требованию самого палача, сказывавшего у каждого воза: «Давайте кату плату».

Если приходится наказывать кого-либо из почетных тюремных сидельцев, из артельных любимцев, тот же староста или сам приговоренный шел по казармам с «именинною кружкою» (первою подвернувшеюся под руку посудиною) и собирал. Сбор такой называется «подарком почетных старожилов». Вообще, от этих подарков палачам жилось хорошо: люди эти на большую половину свою хорошо откормленные, сытые, жирные, толсторожие; хорошо высыпаются, хорошо отгуливаются, хотя и под конвоем, и вообще пользуются хорошим здоровьем. Единственная болезнь, на которую они чаще всего жалуются, — полнокровие, прилив крови; единственный недуг, который они испытывают — тоска и скука. Многие серьезно жалуются на то, что им не дают работы. Бережливые успевают даже накопить достаточное количество денег. Во всяком случае, по окончании срока службы, если палачей, вообще, очень наклонных к побегу, успели удержать и не выпустить на волю, они выходят на волю и деньгами могли бы начинать там более обеспеченную жизнь; но дело в том, что отливаются волку овечьи слезы.

Поселенные в волостях на правах государственных крестьян, палачи — самые несчастные люди не только в местах Тобольской губернии, где выдумали было селить их кучкою, но и повсюду. Из волости не дозволяют им выходить. Взрослые соседи-крестьяне гнушались разделить с ними кусок хлеба, посадить их за стол; женщины боялись поделиться с ними хозяйственным запасом, считая прикосновение их руки осквернением, взгляд, брошенный на них, — нечистым, требующим особого очищения и молитвы Ивану Воину[84]. Мальчишки не упускали на улицах случая, чтобы не потравить проходящего приселенца из палачей. Ни купить, ни продать бывшие палачи ничего не могли, и самая жизнь их на воле являлась хуже каторжной. Некоторые сознательно бежали и в бегах делали преступления исключительно и намеренно для того, чтобы

[84] Св. Ивана Воина, как известно, чтут в арестанты, и изображение этого угодника в редкой сибирской тюрьме не висит в почетном, правом от входа, углу.

попасть именно на каторгу. Только там они могли еще избегать крайней степени позора[85] Устаивали немногие, но ни один еще из палачей не женился на сибирячке. Члены экспедиции, в конце 60-х годов снаряженной сибирским отделом географическаго общества в Туруханский край, нашли там русских поселенцев отунгузившимися. Отцы этих метисов были русские люди, матери — тунгузки. Большая часть потомков носят фамилию Бархатовых; все это потомки палачей, приходящих из бегов с волчьим именем и называющихся фамилией знаменитого московского ката.

Случаются, впрочем, в Сибири и другого рода явления. В Сибири указывают на множество ссыльных, которые успели сделаться крупными богачами[86]. Самый резкий образец тому представляет Петр Кандинский, крестьянин, сосланный в каторжную работу на Нерчинские рудники, успевший жениться и там, выйдя на пропитание, начать маленькую торговлю офеньским способом коробейника. Поселился он на Шилке в страшных трущобах и близ больших гор, наз. Борщовским хребтом. Семейство его очень размножилось: в 50 лет детьми и внуками его, до 60-ти человек, населилась целая слобода Бянкина, с церковью каменною и благолепно украшенною. Петр Кандинский начал наживать значительное состояние, после офеньства, хлебною торговлею в этом в то время скудном крае, жители которого постоянно зверовали и полей не пахали; хлеб имел постоянную цену. Вымен его у крестьян на звериные шкуры позволил Кандинскому заняться торговлею пушным товаром и завести дела в гор. Нерчинске по 2-й гильдии, а потом записаться и в Кяхте по первой. Соляные казенные подряды увеличили еще более состояние его; хлебопашество производилось на добрых лошадях хорошими работниками и плугами, давало сильные и верные урожаи, когда у других были постоянные неудачи. Кандинские с успехом развели посевы гималайского ячменя, имели непосред-

---

[85] Тобольский палач, напр., убил собственную жену и тогда сделался ссыльно-каторжным. В Нерчинском заводе, в квартире должностного палача нашли три трупа, им приготовленных.

[86] Между тем, поселенцам не дозволено производить разведок золотых приисков, и люди эти теперь пока участвуют в делах на чужое имя.

ственное влияние на ценность хлеба во всем заводском округе и, принадлежа к сословию заводских крестьян, отбывали легко и свободно повинности по купечеству и крестьянству. Губернаторов они умели встречать на реке Шилке, на противоположном берегу против Бянкина на огромных лодках, украшенных коврами, сами убеленные сединами, в длинных кафтанах и с медалями. Принимали в доме вроде старинных боярских палат, прилепленных к щекам отвесной горы, с балконом или террасою, утвержденною на столбах и висящею над водою реки Шилки. Лет 50 тому назад не было хозяина, который не был бы должен Кандинским; не было товара, который не выходил бы из их складов. Когда заводских крестьян переименовали в казаков и, для воспособления их новому быту, разрешили им не платить старых долгов, дом Кандинских был сильно потрясен и быстро пошел к падению на месте. Однако они совершенно не обанкротились. Правнуки Петра продолжают вести торговлю не только за Байкалом и на Амуре, но и в России (в Москве), и продолжают пользоваться честным именем и коммерческим доверием. Конечно, теперь далеко не то, потому что и сыновьям Петра, Хрисанфу и Алексею, досталось до 5-ти миллионов оборотного капитала, приобретение, которое ждет своего историка и прольет много характерного света на состояние всего Забайкальского края. В первой половине XIX столетия Кандинские были царями всего обширного края.

Образец подобного рода не последний: почти на каждом руднике, почти при каждом заводе найдется не один каторжный, торгующий с порядочным капиталом. Дети их пользуются уже всеми правами людей свободного состояния. Не возвращаясь в Россию, они служат прочным фундаментом для основания местного купеческого сословия, у которого впереди такая блестящая будущность и от которого страна вправе ожидать большого подспорья и деятельной помощи на поступательное шествие вперед. Этим людям грехи отцов и дедов давно отпущены и соседями не вспоминаются. Свободным и прямым путем полезных деятелей они становятся безразличными в массе и во втором поколении уже являются звеньями в той цепи, которую образуют коренные жители, так называемые сибирские старожилы.

Из европейских путешественников Симпсон посетил около Канска ссыльного, которого сын, приехавший из Петербурга, нашел владельцем богатого имения и обширного хозяйства, для ведения которого он употреблял 140 работников. Эрманн знал другого, из Новгородской губернии, дом и хозяйство которого с одиннадцатью работниками и работницами представляли нечто образцовое и заслуживающее изучения: рогатый скот и лошади помещались в крытых сараях и ели сено, которое привозилось за 20 верст с низменных, обильных травою островов Лены. Этот ссыльный получал превосходные урожаи ржи, ячменя, капусты и репы. Превосходный птичник находился в людской. Ссыльный жил богатым помещиком.

Политические изгнанники и ссыльные нередко бывали благодетелями тех стран, в которые приводила их судьба. Французские изгнанники при Людовике XIV основали в Англии фабрики шелковых изделий; другая партия научила саксонцев выделывать сукна и шляпы, составлявшие до того времени монополию Франции; третьи на мысе Доброй Надежды развели виноград. У нас князь В. В. Голицын, любимец царевны Софьи Алексеевны, сосланный в Пинегу, развел там лошадей, до сих пор известных под именем «мезенок». Меншиковы устроили в Березове богадельню, первую в Сибири; барон Менгден, сосланный в 1742 г., с 4 членами своего семейства, завел в диком Новоколымске коров и лошадей, снабжал чукчей различными товарами, приобретаемыми им в Якутске. Тогда же сосланный Ивашкин обучал детей в Камчатке, и проч.

Сибирь, от ссылки государственных людей, политических преступников и другого грамотного люда, выиграла в том, что в ней все классы народонаселения гораздо развитее, свободнее, способнее и образованнее соответствующих им классов во многих других частях России. Политические ссыльные пользовались всеми, возможными облегчениями; старожилы не встречали их с недоверием, а ссылаемые на житье пользовались значительною долею свободы для применения к делу своих знаний, способностей и плодов образования. Они имели право селиться обществами, из которых и распространялась образованность. Начало этому делу положено еще во времена Петра Великого. Барон Страленберг, один из шведских офицеров, взятых Петром в сражении под Полтавою, вместе с то-

варищами своими, принес в Восточную Сибирь ремесла Европы. Ими основаны там первые училища. Фридрих фон Врех (из секты пиэтистов), адъютант Михаэлис Шлегель и пастор Габерман основали, в 1715 году, в Тобольске школу для единоверцев, а потом и для детей русских (в 1719 году в школе обучалось 96 мальчиков). Предприятие вызвало сочувствие в Европе, и знаменитый профессор Франке собрал за границею по подписке, в пользу этой школы, до 5000 рублей на тогдашние русские деньги. Когда Ништадтский мир возвратил всех пленных в отечество, школа прекратилась, но в это время существовала уже другая школа, основанная раньше немецкой (в 1707 году) митрополитом Филофеем Лещинским, которая впоследствии превратилась в семинарию. Из нее до сих пор выходят не только духовные лица, но и чиновники.

Пример шведов был для Сибири только первым по счету, но громадную услугу привелось оказать стране позднейшим деятелям, труды которых и в наши дни продолжают быть благотворными. Сибирь знает и благословляет имена своих учителей, особенно много подвинувших страну на пути образования во второй четверти текущего столетия. По Сибири слишком живы и ясны следы этих деятелей, и они настолько значительны, что не может быть в том и тени сомнения.

Возвращаемся назад для нескольких заключительных слов.

Быт сибирских поселенцев не обеспечен в достаточной и надлежащей степени: поселенцы, неправильно и непрочно водворяемые, оставляют места и бродят. В бродяжничестве, увлекаемые нуждою и случайностями, зачастую добиваются тягчайших прав: делаются каторжнымя. В то же время каторжные, прикрываясь оригинальным званием не помнящих родства, становятся поселенцами. Когда, таким образом, уловки доставляют случаи к честной и полезной жизни, истинное право остается таковым только на бумаге, на самом же деле является в форме самого грустного и очевидного обмана. Действительные, живые силы ссыльного люда в надежной мере не вызваны и значение карательных мер не определено в той степени, чтобы взыскание уже не мешало другой задаче ссылки, существенной для молодой и малоразвитой страны, именно — колонизации ее. Экономический капитал настолько велик,

что мог бы залечить многие раны, а теперь, представляя только крупное казенное сбережение коренной переработке тюремного и ссыльного дела, становится далеко недостаточным. Способ надзора не приведен в правильную систему и при постоянной апатии деятельность возбуждается только порывами и строгостями, а потому и не произошло желаемых плодов. Выросшие плевелы продолжают расти под защитою равнодушия. Словом, исправления производятся на поверхности, тогда как середина и корень продолжают гнить и болеть серьезными болезнями. Между тем, наука ушла вперед и даже теперь, когда еще не произведено внимательного и надлежащего диагноза, новые приемы лекарств успели показать их состоятельность и некоторую близость к настоящим специфическим средствам. Заботы об улучшении тюрем, вызванные изменением судопроизводства, получили фактическое начало, выразившееся в устройстве тюрем по европейским образцам, в изменении способов препровождения ссыльных в Сибирь. Теперь на очереди вопрос о самой ссылке и способах ее применения.

В Сибири условия хозяйственного быта находятся именно в тех отношениях, которые наиболее всего благоприятствуют коренной и прочной оседлости, сильно способствуют наилучшему водворению. Оно ничем не отстало бы от образцов, представляемых Америкою, если бы давались уступки народным требованиям и не затрудняли бюрократические тонкости и многочисленные формальности, излишняя подозрительность и боязнь присутствия опасностей там, где они всего наименее имеют место.

Уроки прошлого не проходят даром, раз затеянные — преобразования не могли остаться на полпути. Этапный способ препровождения ссыльных, возбудивший справедливое негодование и вызвавший стремления к отмене и улучшениям, не перестает поддерживать самое сосредоточенное внимание со стороны министерства, которому вверено попечение о ссыльных. С каждым годом мы наталкиваемся на изменения и улучшения, сумма которых накопила за нами обязательства добавить в заключение еще следующие строки.

Десяток лет, которые в эпоху преобразований не проходят даром, на этот раз в специальном вопросе, нас занимающем, не остались без приметного следа. Гуманные стремления, вызываемые

сознанием собственных недостатков, успели на практике отразиться крупными задатками надежд на дальнейшие усовершенствования впереди и объявиться в крупных чертах благоприятных результатов. Расчеты, вытекшие из чистого и верного источника и подчиненные строгой поверке, оправдались с таким успехом, что заявление о них мы считаем для себя прямым и приятным долгом.

Сети железных дорог, прорезающие Россию в различных направлениях, успели облегчить движение пересыльных и ссыльных партий внутри империи. Южными дорогами министерство внутренних дел успело уже обеспечиться, чтобы доставлять ссыльных в Одессу на пароходах Добровольного флота для доставки их на остров Сахалин.

От Нижнего до Ачинска еще в 1865 году установлена была перевозка зимою на подводах, а весною и летом на пароходах по Волге и Каме до Перми, по железной дороге от Перми до Тюмени, а далее опять на пароходах по рекам сибирским до Томска и снова на подводах до Ачинска. Когда опыт показал дороговизну перевозки подводами и огромные расходы при заготовке зимней одежды — зимний способ был оставлен. Осужденных стали оставлять до летнего времени в тех губерниях, где они приговорены в ссылку, или сгруппировывали в более центральных местностях по главному ссыльному тракту. Пунктами этими назначены: Орел, Москва, Нижний, Казань, Пермь, Тюмень, Томск и проч. Здесь устроены были центральные тюрьмы экономическим способом из готовых зданий, за исключением Томска, где возведено было новое тюремное здание. В остальных городах послужили для этой цели здания арестантских рот. В Москве и Тюмени построены новые тюрьмы. Сбережения от различных денежных сокращений обеспечили возможность для министерства постройку этих зданий круговым возвратом сумм, истрачивавшихся прежде на ненужные излишки. Сократилось путевое довольствие, прекратилась выдача прогонов на пространстве между Нижним и Пермью, уменьшились издержки на заготовку зимней одежды[87] от сокращения конвойных команд с 40 до 8 на

[87] Выдавали мужчинам рукавицы с варежками, полушубки, шаровары и теплую шапку; женщинам — суконные юбки, шубы, те же рукавицы с варежками и теплый картуз на голову. Тем и другим, взамен котов и пор-

пространстве от Нижнего до Томска и от упразднения этапных зданий на этом пространстве[88] Солидная цифра 300 тысяч рублей сбережения первого года предупредила и отвратила, сверх того, издержки целого миллиона на этапы, если бы они существовали здесь в том же числе и в таком же разрушенном виде.

В настоящее время эти гуманные цели преследуются среди такой обстановки: передвижение по рекам на баржах обеспечено обязательством пароходовла-дельцев.

Устройство этих барж вызвало справедливую похвалу как по соблюдению условий гигиены, так и по способу безопасного препровождения.

В Тюмени арестантские партии садятся на баржи, буксируемые пароходами, по рекам Туре, Тоболу, Иртышу, Оби и Томи обыкновенно в течение 20 дней.

В настоящее время опыт указал на удобство внутреннего устройства при тех условиях, которые и в настоящее время строго соблюдаются. Внутри барж устроены три отделения с нарами в два яруса, на которых свободно помещается человек высокого роста. Для каждого назначено от 5¼ –2½ аршин в длину и не менее одного аршина в ширину. Свет и воздух проникают в отверстия, в ненастную погоду закрываемые стеклянными рамами. Вентиляция производится через деревянные трубы, выведенные на палубу. На палубе — каюты для офицера, гражданского чиновника и врача, сопутствующих партиям. Там же каюты для конвоя, больных и для кухонь, а внутри баржи — два отдельных карцера для одиночного заключения. По бортам сделаны прочные решетчатые перила, высокие, равные верхним каютам.

Заботы министерства внутренних дел на этом не кончились. Прежде все ссыльные тракты соединялись в Казани, откуда начинался один общий сибирский тракт; теперь железные дороги сосредоточили ссыльные пути в Москве и кончились в Нижнем, составляющем, таким образом, крайний восточный пункт. Поэтому уничтожены все этапы, где идут железнодорожные линии. С упад-

---

тянок; валенки и суконные онучи.

[88] Оставлены только те части этапных зданий, которые оказались удобными для помещения арестантов; прочие проданы с торгов.

ком значения Казани уничтожена в этом городе экспедиция о ссыльных. Пермская экспедиция образована на новых началах с увеличением и изменением ее работ; тобольский приказ о ссыльных переведен в Тюмень. Все эти крупные перестройки, при значительном удешевлении этапного пути, сдают в архив истории часть из того, на что приходилось печалиться нам при личном обозрении сибирских этапов. Крупные шаги увенчались успехом, и если остановились они на Томске и тянутся этапы еще дальше Кары, до окончания перевозки всего доставленного количества ссыльных, то, во всяком случае, добрая половина пути пройдена. Путники не истомлены, сохранив свежие силы; этапная атмосфера их не заражала. В Томск они являются не с прежним запахом, но с Томска они могут не попадать на старые правила и стародревнюю порчу, если благодетельные меры не будут медлить: или приблизят каторгу, сократив дороги хотя бы до Алтая (что желательнее), или, уводя на дальние, не поведут их под надзором таких конвоиров, о злых замыслах и преступных поползновениях которых в последние годы сами арестанты неоднократно принуждены были доводить до сведения начальств. За Ачинском, до которого конная перевозка существует круглый год, пешеэтапный путь еще во всей своей силе.

Пусть же наш рассказ об этапах поскорее уходит в предание, в качестве и значении исторического материала, как ушел в предание рассказ исторического страдальца Аввакума. В виду исчезновения большей половины утлых этапных зданий и ослабления несостоятельной системы медленного и дорогого пешего порядка передвижений (на каковое щедро, удачно и счастливо искусились мероприятия последних лет), надежды недалеки и ожидания сбыточны. Надеждами этими заключаем нашу первую главу и с ними готовы встретить на счастливый час и в доброе время фактические доказательства исчезновения и отмены того, что нами сказано в последующих главах этого первого тома нашей работы.

Часть II. Виноватые и обвиненные

Злодеи. Убийцы. Самоубийцы. Бродяги и беглые. Воры и мошенники. Грабители и разбойники. Поджигатели. Преступники против веры. Старовер Папулин.

Глава I. Злодеи

Злобная сила судьбы и слепая народная вера в нее. — Знаменитый Коренев — прототип злодеев. — Его похождения и злодейства; разбойная сторонка; нищая братия; Верзило; артель слепцов-нищих; варнаки; каторга; Коренев — сезонный герой; палачи; проблески совести в злодее. — Забайкальская знаменитость: разбойник и песенник Горкин и его превращение. — Наш знакомец Дубровин. — Понятие варнаков о чести. — Ссыльные убийцы. — Злодеи из еврейского племени: Горбун и Хаим Вульев. — Злодей Филиппов. — Минусинский злодей. — Разбойники сибирские. — Судьба убийц в Сибири

Русская народная пословица говорит: «от тюрьмы да от сумы не зарекайся». Этою пословицею вековая народная практическая наблюдательность сумела объяснить в своей жизни существование двух сильных врагов. Оба признаны ею неодолимыми; оба, в народном представлении, являются теми могучими силами, борьба с которыми вне человеческой возможности и всегда неизбежно кончается победою противной стороны. Один враг, и именно тот, который умеет надевать на людские плечи суму и зовется голодом, успел достаточно ясно заявить себя не только в предшествовавшие века народной жизни, но и в наши времена с теми же самыми подробностями, какие занесены в древние летописи. Другого врага, также наталкивающего на несчастья и также запирающего в тюрьмы, народ не успел распознать в лицо и дать ему определенное и характерное имя. Видит он в нем какого-то злого духа, которого называет и судьбою, и несчастьем: судьбою — от которой не уйдешь и не отчураешься, несчастьем, которого не обойдешь и не объедешь (даже и на кривых оглоблях — по меткому выражению одной из пословиц). Эта безнадежность, отчаяние от неуверенности в собственных силах, как существа разумного и независимого, до такой степени окрепли в народном сознании, что самая форма уклонения испорченной воли в преступление признается и зовется несчастьем,

приписывается влиянию злобной силы судьбы. Везде они, оба вида увлекающих и губительных сил, являются впереди и прежде всех других причин, порождающих тот или другой вид преступления. В некоторых случаях искание иных причин преступлений увело народ в противоречия и увлекло в среду понятий еще более определенных, какова, между прочим, сила влияния на волю человека наследственности («благословляет отец деток до чужих клеток» и проч.). В других случаях это искание причин, по-видимому, останавливается вблизи настоящих основ, каково, между прочим, влияние посторонней порчи, участье соблазна («не родится вор, а умирает») и проч. Иногда отыскивается новое противоречие, но несомненно выясняется более верная и близкая причина («нужда лиха и голод не тетка, а голодный и архиерей украдет»). В общем же итоге преступление есть несчастье, преступник — несчастный; вот конечный вывод, какой сделал наш народ по личной практике и дознал из собственных наблюдений. Воры не родом ведутся, а кого черт свяжет: от беды и от греха не уйдешь, их и на коне не объедешь. А потому: что на словах, то и на деле, преследуемый законом находит приют; к совершившим преступление — столько долготерпения, сколько позволяет крайняя степень возможности и пока не принуждают требования и указания начальства. Бежавший от наказания с каторги получает готовый притон и готовую хлеб-соль и совершенно свободен от всяких преследований. По тем же причинам и палач, на пути следования к месту казни попавший на базар, с каждого воза непременно брал грош, на дешевое приглашение свое: «давайте кату плату», и потому же, наконец, одни из самых тяжких преступников, каковы разбойники, облечены в народных песнях в симпатичные формы и воспроизведены в образе удалых добрых молодцов. А сколько раз арестующим, по поимке преступника (впервые натолкнув-шегося на злодеяние), доводилось слышать во время прощанья его со своими, посреди горьких слез разлуки, такое утешение (вырвавшееся непосредственно с самого сердца): «Батюшка наш царь простит нас, слепых людей, и помилует».

Намереваясь познакомить читателей с нашими наблюдениями над преступлениями, ведущими в ссылку, и преступниками, колонизирующими Сибирь, мы в течение нашей работы будем иметь случай не один десяток раз объяснять то, насколько народная

«судьба» осуществима в прирожденных физиологических и физических свойствах природы человека и насколько то, что народ признает и называет «несчастьем», есть не что иное, как политические и экономические условия нашего народного быта и нашей родины. Вникая в те и другие по вызову и указаниям различного сорта людей и разного рода преступлений, обязавших нас изучением того и другого во время знакомства с Сибирью, — мы, в настоящем случае, поставлены лицом к лицу с одним из тех героев каторги, над которым в особенности подшутила эта же самая «судьба», а около настоящей судьбы этого человека в таком множестве скопились всякого рода «несчастия». Герой этот служит прототипом всех подобного рода несчастных или, собственно, ссыльных людей. В нем счастливо сочетались все те подлинные несчастья жизни, которые, в одно и то же время, успели сделать его и закоснелым злодеем и любимым идеалом, возлюбленным образцом для всех современных ему и последовавших за ним сибирских ссыльных. Дела его громки по Сибири, рассказами о нем живут каторжные тюрьмы, память его — с похвалами, даже в те времена, когда он сошел в могилу. Имя ему — Коренев. По роду занятий и образу жизни он принадлежит к тому многочисленному сословию сибирского населения, к тому классу людей свободного звания, которых сибирские старожилы называют и варнаками, и чалдонами, и которые самих себя признают и называют бродягами. Коренев, однако, представляет такой тип, в котором все свойства сибирских бродяг совместились в достаточной полноте, и своеобразные краски бродяжьего ремесла на нем слились так густо и в таком избытке, что местами перелились даже через край. Из бродяги — непоседливого и неугомонного искателя воли и доли, надежнее обеспечивающих жизнь, чем неволя и бездолье каторжные, и уже не по своей вине превращающегося вместо того в небезопасного искателя приключений, — из бродяги, еще отчасти симпатичного и, во всяком случае, исправимого типа, — в Кореневе выразился настоящий «варнак», подлинный злодей и убийца. Характер его представляет ту особенность, что весь он сложился под влиянием тюремных обычаев и каторжных порядков. Он — воспитанник Сибири и целиком принадлежит ей; он — сибиряк даже по месту рождения, в одной из соседних к Сибири губерний (Пермской), которую до сих пор великорусский

народ признает и называет Сибирью (не по новым грамотам, но по старым памятям, до сих пор не утратившим своего правдивого смысла и значения).

Вот какую игру затеяла с ним «судьба», какие давала ему ходы и, ни разу не сделав ему уступки, на всякую карту требовала рискованных ответов и смелых выходов, потому что ставка была отчаянная. В банк поставил Коренев свое человеческое право: жизнь и свободу.

Бытие свое Коренев получил в маленьком, наибеднейшем уездном городишке, обыватели которого влачили свое утлое житейское, плохо сколоченное суденко между многими опасными подводными рифами: одни крали и давили крестьянских кошек и собак, а ободранные шкуры перепродавали на кожевенные заводы богатого сибирского города Тюмени; другие воровали и перекрашивали крестьянских лошадей и сбывали их в другую сторону на темных людей по конным торжкам и на конной ярмарке бедного вятского города Котель-нича. К таким же занятиям приучали они и детей, тех ребятишек, в общество которых поступил Коренев — сын уездного чиновника. Конечно, ни кошкодавом, ни конокрадом, по званию своего отца, ему стать не приводилось. Узнать эти порядки он мог по праву товарищества, но судьба, помимо его воли, могла натоптать ему только ту дорогу, которую проторила она для его отца. Коренев непременно сделался бы приказным и — если при рождении получил он, по Галлю, головной мозг с более развитыми передними частями, и, по Штурцгейму, приобрел бугорок «приобретения богатств» увеличенным на счет других и, в то же время, снабженным также развитым бугорком, вместилищем «преступных желаний и стремлений», — будущность его не заволоклась бы туманом неизвестности. Коренев, в незавидном звании уездного подъячего, мог сделаться преступником, а пожалуй, ссыльным субъектом на три статьи: неизбежно болел бы он мздоимством — этою крайне застарелою и спорадически распрост-раненною болезнью. Но за этот первородный грех служилого сословия ссылают в Сибирь мало и неохотно (около 5–6 человек в год; 48 человек в десять лет, с 1838 до 1847). Грешил бы он «подлогами по службе», но и за этот грех имел бы за собою самую ничтожную степень вероятия угодить в ссылку (в те же десять лет за такие грехи сослан в Сибирь

один только подобный мастер из чиновного люда). Затем Кореневу, в звании и при обязанностях чиновника, оставался достаточный простор развить в себе наклонности к служебным преступлениям и, следом за другими ссыльными подъячими, уйти в Сибирь за кляузничество или за подделку документов. На прегрешения последнего рода он обладал замечательным количеством способностей, выяснившихся в ссылке мастерством его приготовлять фальшивые ассигнации и монеты и вероятнее обеспечивался правом на ссылку именно за этот род преступных деяний по подделкам, как таких, за которые преимущественно ссылались в Сибирь русские чиновники. Но, как мы сказали, судьба для азартной игры с Кореневым не так стасовала карты и употребила необычные рутинные приемы.

«Раз я играл в лапту с ребятами на улице, — рассказывал сам Коренев тюремным товарищам и всем желавшим слушать его, — ребята не поладили, стали считаться кулаками. Один, посердитей других — Глыздой мы его за то звали — со мной снялся. Досадил он мне крепко. Я ему: "отстань, отвяжись", а он пуще ко мне. Невтерпеж мне это стало: взял я да лаптой его свистнул. Скользнула лапта с шапки на висок — он так и сел, словно сноп, и захрапел, кабыть пьяный. Ребятишки все в брызги, кто куда. Я над ним, да и вздумал: сгреб в охапку, стащил в закоулок, сложил между бревнами, а сам и бежал — не домой, а в лес. Дома отец сердитый, пьяный, со своей лаптой сидел и со мной беспременно то же бы самое сделал. А про лес мы и в сказках слыхали все такое хорошее. Сказывали хорошее про леса наши- мещанские ребятишки: не гинет-де в наших пермских лесах душа человечья, а кишат эти леса, что мошкой, всяким сбродным, вольным и гуляющим людом. Там-де очень хорошо.

Вот с чего я свою жизнь почал. Грамоте меня батько успел выучить в уездном училище, стало быть, в лес я грамотным пошел. Ходил я в лесу, неученым, недолго; после приловчился так, что живал в лесах по целым годам. В лесу ягодами питался, да они-то меня и проняли; вышел я на поляну хлебушка поискать, пошел к деревушке. Из молодых да ранний, в деревню иду — потрухиваю: не зазнали бы меня за сбеглого. Спасибо, баба какая-то выручила. "Ты, говорит, паренек, не коня ли своего ищешь?" — "Коня, мол, ищу". — "Так у нас, слышь не такие места, чтобы краденых лошадей

находить; не ты первый ищешь". Зазвала меня в избу, не стала расспрашивать, стала сама рассказывать:

— У нас подзаводский народ такой злой, такой злой: попадет к ним чужая лошадь — за ночь одну перекрасят так, что сам хозяин, с какой стороны ни зайдет, не признает живота своего. Развели баловство такое, что удержу нет никакого. Становым, слышь, ста по два рублей на год кладут.

Вынула из печки горшки, стала кормить меня, а языком болтает без удержу. Слышу, рассказывает:

— Жить стало не можно, разбойства завелись. В Суксунских заводах мастеровой пропал. Жена плачет и ночи не спит. Раз в самую полночь, на первых петухах, стучатся к ней в окно. Она прислушалась. Кто-то там помолитвовался и закричал: "Ищите-де Алексея Воробьева на заводском пруду в прорубях, около огорода Михайла Козлова". Сыновья бросились на двор, а темень такая, хоть глаз коли, никого не нашли. Пошли на пруд, нашли мертвое тело — он самый. Капот был на нем черного, слышь, сукна, снят капот с рук, им оберчена голова и завязана на шее лычной веревкой, в палец толщиной. Руки по кистям тоже веревкой связаны. Синяки на спине и на боках...

Она сказывает, а я уж смекнул, что места тут и впрямь такие, что уходить мне надо. Пока я кашу съел, баба уж мне и еще рассказала, что там убили да спрятались, тут ограбили середь белого дня и опять никого не нашли. По сибирскому большому тракту деревни горят, поджигают. Значит, во всех делах этих прохожий виноват. Сдумал я домой вернуться, во всем спокаяться. В ту сторону я и лыжи направил. Село большое высыпалось на дороге. На погосте кресты торчат и народ стоит кучкой. Дай погляжу, что такое? Все старцы и все слепые и у всех котомочки за плечами, в руках палки; значит, нищая братия. Я спросил. "Да вот, говорят, паренек у нас был, поводарь наш, зачах и помер, хороним теперь". Попробую я к ним пристать, что выйдет. Да как это сделать? Начали они и меня расспрашивать. "Не тутошный ли?" — "Нету". — "Может, с воли какой?" — "А вам что за дело?" — "Мы-де не сотские, в становую квартиру тебя не вести нам; к тому же теперь и без ног стали и сделать нам этого не можно". Я молчу, а они говорят таково смирно: "Самые мы теперь несчастные люди и с погоста сойти, пожалуй,

дороги не найдем, проводил бы ты нас на дорогу". Сделал я так-то, вывел. "Мы, говорят, не из таких, чтобы чужих ребят стали воровать в деревнях, а кто-де охотой пойдет с нами, тому мы, коли золото ему нужно, и золота дадим. Вот теперь по заводским праздникам пойдем, на осень пирогами кормить нас станут, меду надают сотами, вином поить будут. А как-де настанет зима, то в Ирбите ярмарка такая, что больше ее другой на свете нету; тогда пойдут к нам деньги, а с деньгами по здешним местам отца родного можно купить и ото всяких бед откупиться". Пуще всех приставал ко мне низенький, горбатенький старичонка, Матвеем звали. Я шел с ними и где лужа, где мост — предостерегаю, сказываю. Иду и слушаю: "Кто-де бы пошел с ними, того бы человека мы харчем довольствовали и давали бы по рублю деньгами на четыре недели. После Ирбита по пяти давать станем. Если-де кто и с волчьим паспортом ходит, мы и того можем оправить: есть у нас на всякую руку и бумаги такие". Думать тут мне было нечего, я так и не отставал уж от них; стал я поводарем нищей братии.

На отдыхе в кустах слажено было мое дело так: парнишку-де похоронили, а паспорт его на руках остался, будто он и не помирал. Тут меня во второй раз крестили, дали другое имя и велели сказываться Григорьем Семеновым, а был я Иван Петров Коренев.

Ходил я с нищей братией долго и всяких див видывал много. Больше доводилось смеху видеть, а кое- когда и кое-какие горя перепадали. Как собрали денег, так и пить и плясать, а напились — ссориться да кориться. Этакого злющего народа я и на каторге мало видывал. Ходили они промеж себя так-то: кто больше стихов знал и пеньем заводил, что всякое слово знать было — всех больше тот денег медных огребал себе. У одного к тому же горло широкое было, что у бурлака на Чусовой, — тот всех богаче был. Беспамятного старичонку Матвея всегда обижали. У него и голос куриный и человек он самый злющий. Как дуван дуванить и его оделят, так он и драться: "Я-де нонече шибче всех вас пел и меня-де сегодня купец приласкал; в мою чашку больше денег наклали!" Задирает их, значит. Артель у них была, артелью они звались. Дуван в лесу делали, а в кабаке разменивали; подгоняли только это дело всегда к ночи. В кабаках это знали, а я не знал, да как-то после такой-то первой дележки уселись они на базаре, меня такой смех пробрал, что чуть

всю грудь не разломило. Села моя нищая братья, как на иконах святых пишут: слепенькие да хворенькие, всяк их обидит. Вы ли, мол, это, братцы, что вчера в кабаке-то были? Святее всех старец Иван — Верзилою дразнили, — выше всех он был и зрячий. Как на базар выходит, так ему и надо какое-никакое темное место. Там он сядет, подхватит под себя правую ногу, поднимет левой рукой с глазу кожицу да по красному месту и начнет стрекать иглой. Ему и сведет оба глаза, слепее всех кажет. К вечеру, когда плясать либо деньги считать надо — отпускало, он опять видел. А был он зато и старостою артельным и плутом большим. Как старцы ни щупают руками деньги (а щупанье у них как бы глаз здоровый), как ни ощупывают, а у старосты всегда денег больше.

Ласкал он меня пуще всех. Был он для меня и заступой, когда другие старцы за что-нибудь вскидывались щипать, а не то и драться. В первый раз били меня за то, что на базаре смеялся; бивали и еще не один раз. За тычками и пинками я не гонялся, в этом промысле привычку к тому возымел. За большую драку раз припугнул, однако: “убегу-де”, — так за эту угрозу кинулись на меня все до одного: “Этим, мол, нас не пужай, а вон в мошне у Верзилы наших денег с полсотни будет; все за тебя отдадим становому, чтобы на козле выпорол”. Я испугался.

Не отставал я от старцев до самой Ирбити. Прибрело туда нищей братии артелей шесть. Сшиблись так, что либо всем в одну слаживаться, либо которые уходи вон: всем будет тесно. Одну артель так и выдавили — ушла. Наша на волоску висела, потому сильнее нас деньгами была одна ближняя, тутошняя, сибирская. Пришла она раньше, дала больше, стала ярмаркой заправлять на манер старосты. Наш Верзила сладился с ней на ведре вина, и чтобы петь не вместе и сидеть дальше, им обедни, нам заутрени очищать. К вечерням третьих и четвертых припускали; пятая на сибирском выезде пела. Мы в самой-то гуще и уселись представления наши делать. Однако, выпели мы не густо! Старцы считали ста на три, а и одного ста не вышло. Собирались назад такие сердитые, а к тому одного нашего за то, что в кабаке раму высадил, в кучумке держали. Надо было его выкупать. Шли мои старцы назад, что мухи к осени, закусались очень больно. Я из синяков не выхожу и бока спрыщивали; где кольнет, а где и заноет. К тому же надоели мне

эти злющие люди, не лучше злых собак. Все грызут да ворчат, а денег дали мне немного, да и дали какие, так и те с покором да со рванью. Черт ли, мол, мне за эти корысти в ваши слепые очи глядеть. И глаза-то мне ихние за год-от надоели пуще горькой редьки. Взгляну в них — тошнит. Думал я об этом раз целую ночь напролет, поутру встал таким, словно оправдали меня и всякую мне вину начальство отпустило.

Идти надо было в село на базар, а уж весна и мы под Шадринском. Они прирядились в полный наряд: Верзила и глаза свои наколол, стал словно слепой от рождения. Уговор такой был у нас: коли вскричу “вода” — всем раздеваться: значит, вброд идти. Привел я их к забору. Крапивищи тут — лес непролазный. Ухватился передний за порог, а остальные друг за дружку, что гуси, вброд идти приспособились. Я их, вместо реки, завел в эту самую крапиву жечься, а сам палку из руки выпустил и убежал. На этом я с ними и покончил. И что плохо лежит — прибирать и кур воровать они меня, святые старцы, выучили. Науку эту я с ними прошел. После них мне и в бегах стало жить легче. Бояться стал я меньше и *невдогад* мне в том сомневаться. Когда жил я со слепыми и правил их делом, все казалось, что сам ослепну, а кинул их да одумался — непременно прозрел я так, что вверх ногами ничего уж с той норы не видал. Теперь пойду, мол, по ветру, куда ветер тянет; все равно оно потому, что я к шатанью-то этому попривык так, что и оно мне работой казалось. С нищей братией только ни за что таскаться не стану, разве когда отдохну.

Думал я так и делал этак не долго.

Разве как-то на опушке лесной мне новая находка. Лежат пятеро молодцев чудных каких-то: у всех бороды не то подстрижены, не то расти после бритья в одно время начали, а волоса у всех, как у новопоставленных попов бывают, У двух и рожи пятнаные. Таких я не видывал, а таким потом и сам стал. Вот как это дело случилось.

Подошел я к ним — сгребли меня сзади, связали конскими путами, на землю кинули, а за что про что — не сказывают. Я оробел и струсил, да на этот раз в последний раз. С их тяжелой руки я уж никого не робел.

Спутали меня так-то крепко, что хоть кричать. Стали разговаривать: “Наломайте веников, станем палить его, — все скажет”.

Сказал я им и без веников. Поверили. Повел их знакомой дорогой — полюбили, я не отставал, они пуще ластились. Делал я с ними путь в обратную, надо быть, дней десять, до того самого утра, как мы наткнулись на облаву: народу много, кто на лошадях с веревками, кто пешком с ружьями. “Стой! — кричат нам, — это вы у нас бабу с ребятами задушили и избу подожгли?” Бабу задушила и избу сожгла не наша партия, а видно наш ответ. Мужики так и сказывают. Дело понятное, разбирать не станут, а станут бить: по кулакам и по палкам это видно. Тут либо сквозь землю уходи, либо полезай на стену. Земля каменная, а люди жильные, мы и кинулись на людей. Плоха та бродяжья партия, где хоть одного ружья нет, а палки всегда при себе. Стали мы отбиваться. У кого ружье было, тот выстрелил. Выбьют из рук твою палку, вырвешь и бьешь теми, что мужики принесли с собой. Однако не отбились. Посадили нас в клеть, а спать никак не можно, всего ломит.

Веревками так закрутили, что словно боялись, чтобы мы не расклеились. Мы в клети лежим, а они галдят. Погалдят да в стену палкой постукают: сторожим, мол, вас! Поутру стали своим миром разбирать, кто чего заслужил. Сказали нам, что кто-де с ружьем был, тот парня убил. Приехал заседатель, взял нас. Квартиру нам переменили. Стали мы в городе жить на казенной квартире. Занятие легкое и работа не мудреная: все больше спали. Когда винца выпьешь, когда в карты сыграешь. Раз за что-то выпороли. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается, а рассказывали-то нам сказку про белого быка. Сказка эта длинная. Однако кончили. Меня за убийство на каторгу решили. Подводили мне дело к кнуту, я так и заныл. Когда еще с нищей братией таскался, видел я это в селе, на базаре, так что как будто с самого лыки драли. Затосковал я. Тоску мою арестанты переняли. Стал я им всю свою подноготную рассказывать, они так и захохотали. “Кому, говорят, бежать от этого хорошо, а тебе и того делать не надо. Скажешься тем, что ты и впрямь есть, кнута по закону минуешь”. Приходил прокурор, я ему и объявился чиновничьим сыном. Навели справки: так точно. Объявил мне это самое прокурор да и обругал притом. Которого я зашиб на родине товарища, тот отошел, живет-де теперь, и надо быть, слепых лошадей крадет. Не оживал только последний убитый. За него меня кнутом не били, а погнали на каторгу несвященным.

Попал я на Кару, на каторгу настоящую. Там нашего брата и на работу иначе не зовут: “Эй-де вы, кони!., подавайте коней!., берите кони сбрую!..” Стал я думать: воля, мол, лучше боли, а спина стала казенная, каждый день зуботычина. Розог меньше трехсот не дают. Уходят в бега товарищи, хвастают: в бегах-де царство небесное. А уж если и попадешься, за все семь бед один ответ. Тоска такая подступила, что все стали казаться чертями и злее всех черти-начальники. Вспоминал я слепых своих так и этак, одно и то же. Бежал я оттуда. Лес да степи, да своя воля, страхи кругом, облавы про тебя, что про зверя, все в таких местах, где не ждешь, не чаешь. Стал понимать себя выше всех, давно бы мне так-то; всякий о тебе заботится, всякому до тебя дело, словно ты и велик человек. Кое-где знают уж: Коренев-де! Соблазнила жизнь такая! Пуще всего то тебя занимает, что вот хлопушку наставили, пасти налаживали, человек сто у этого дела стояли и умом ворочали, а ты взял да и обошел, только след оставил: место обогретое, еще тепленькое и траву примял, а сам сквозь землю ушел. Смешно даже. Меня ни разу не словили.

Поймали меня, когда стал ходить не один. С товарищами связался, а промеж них что ни трус, то ротозей: сейчас подведут и окажешься дома. Раз сгребли, другой раз сгребли; однова с бабой черт меня веревочкой связал; эта свой подол защемила и меня уволокла.

Дальше тюрьмы не сажали, да так ни одна тюрьма в те времена меня не держала, что проклятого человека могила. Стал занимать меня не побег самый: мудрено ли бежать? — Оглядишься, прислушаешься — сейчас слабое место засвистит: в прореху-то эту и выскочишь. Надо бежать так, чтобы товарищи не знали и чтобы за штуку твою они тебя похвалили, удивлялись бы тебе. Об этом надо было думать; мудреней это было. Однако доводилось. Так-то я раз до пяти бегал.

Пущай мне печенку отобьют совсем, я опять побегу, пущай мне ноги изломают, я на руках побегу. Лес по мне стонать станет, пташки не запоют. Кореневу быть на воле!» — уверял он, сидя на стенной цепи прикованным навсегда, в секретном номере тобольского острога.

Сюда попал он после всех житейских превратностей на каторге, пойманный на убийстве в Тобольской губернии. Содержался он в губернском остроге сначала как подсудимый. Здесь запутывал следствия, посылал в разные дальние места за справками с указанием на различные совершенные им и вымышленные преступления. Прежде чем уголовный суд успел выяснить для себя всю запутанную совокупность его злодеяний и, между прочим, убедиться в совершенных им убийствах, его посадили на цепь и записали в разряд «заключенных навсегда». В 1850 году он был один из 13-ти, прикованных к стене на цепь; и, по случайному значению цифры, на самом деле не смешивался, но выдавался из остальной цепной дюжины. На него ходили смотреть, как на дикого зверя. Слава об его злодействах наполняла Тобольск. Он был долгое время сезонным героем, во всех классах общества говорили о нем. Мнения были различны, взгляды расходились.

Начальство смотрело на Коренева, как на чудовище, на феномен из ряду вон, на злодея, которому хороша одна только петля и, на крайний случай, ружейная пуля. Глубоко убежденное еженедельно применяемыми опытами законных телесных наказаний в том, что настоящие преступники от частого употребления плетей и розог стали привычны к ним до отупелости, начальство знало также и то, что в редких случаях наказуемые и истязуемые обнаруживают признаки какой-либо робости или боязни. Известно было, что для новичков и робких придуманы тюремными общинами различные облегчающие способы, предотвратить которые не было никакой возможности. Сила товарищеского участия и сострадания была настолько велика, что выражалась в многочисленных видах, из которых одна половина поражала своею неожиданностью и мудреным измышлением, другая отзывалась общим местом. К числу последних относился известный прием арестантов избивать решенного товарища простым способом, устройством ему побега. При этом для общего любимца замысел приводился в исполнение всеми членами тюремной общины, вообще, хорошо слаженной на законах круговой поруки и взаимных, самых сложных одолжений, а также вооруженной опытом долговременных приспособлений. Большая часть арестантов, «взломавших» тюрьмы и скрывшихся во мрак лесов и темноту ночей, были те, которым выходило скорое

решение. В случае неудачи арестанты прибегали к другому способу, также весьма обыкновенному и верно облегчающему боль истязания. Способ этот выражается подкупом палача. В хорошо организованных тюрьмах (как, например, в тобольской, где число подсудимых ежегодно доходило свыше 200 человек и редко бывало меньше 150), палачи пользовались львиною долею из купеческих праздничных пожертвований на арестантов. Сверх того, получили они, вроде приватного жалованья, некоторую сумму из складчины денежной, поголовно собираемой со всех тюремных седельцев. Обыкновенный преступник, всегда снабжаемый по пути к месту казни обычною денежною дачею от проходящих, имел право отдать ему собственность свою, известную под именем «рогожки», именно тому палачу, на очередь и под руку которого попал он. Для острожного любимца находилось у товарищей настолько душевного участия и сердечного сострадания, чтобы сверх того делать в его пользу новую денежную складчину, обряжаемую в тюремных стенах. Поступая так, арестанты убеждены на опыте (как начальство на многочисленных рассказах и несомненных сведениях), что чародейская сила руки палача получает в школе и на практике известную ловкость. При видимом сильном взмахе ослабляет он силу удара в такой мере, чтобы пускать кровь только для виду и для защиты собственной спины, и на самом деле преступник испускает неистовые крики для той же цели. Рассказов о ловкости рук палачей так много ходит по сибирскому миру народному и чиновному, что вероятие их не подлежит сомнению, как по отношению к рядовым заплечным мастерам, изучающим искусство на листе бумаги, так включительно и до того палача, который на спине собственного сына хвастался искусством и резал кнутом лист бумаги, не касаясь тела и кожи.

Злодеяния Коренева вращали чиновный мир около мысли измыслить такое наказание, которое послужило бы в страх и поучение всем сибирским бродягам и злодеям, чтобы опыт над ним, хотя бы даже и в форме смертной казни, имел облегчающее значение для самого начальства и произвел бы устрашающее влияние на массы беглого и преступного люда. В таком тоне заготовлялись, говорят, представления, а один из сильно ревновавших делу, менее других уверенный в том, что Коренев побегом не избегнет

наказания, предлагал испытать старое средство: надрезать ему пятки и насыпать в раны мелко настриженного конского волоса. Словом, против Коренева были возбуждены сильно. Это время для него было одним из тех, когда он вызывал преимущественную заботливость и внимание, каковых лишен был в прежнее, более дорогое для него, время и каковые в настоящее поразительны были крайнею своею непоследовательностью. Не принося никому и никакой пользы, они выгодны были для самого Коренева только потому, что сам он их сделал таковыми. Коренев поспешил взмоститься на пьедестал необыкновенного передового человека и извлекал из этого материальную пользу, хорошо зная, что деньгами ему воспользоваться удастся, что, вместо петли или ямы, ему наверное придется нести греховное тело свое опять-таки на каторгу, по этапам. В положении спекулятора, умевшего воспользоваться своим исключительным положением, Коренев остался во все время содержания на цепи и в одиночном заключении. Он не вышел из своей роли даже и при тех условиях, когда высшее тобольское общество (в то время увеличенное приливом новых людей — декабристов, присланных на поселение и помещенных на житье в самом городе), было сильно возбуждено чтением Сведенборга и наэлектризировано мистицизмом. Общественное настроение, не дошедшее только до верчения столов, выражалось верою в кликуш, покровительством идиотам, юродивым, вызвало пророков. Между юродивыми оказался даже такой, у которого под нависшими на глаза волосами обнаружились потом три хорошо известные в сибирской азбуке буквы К. А. Т. (каторжный), а под засаленною и грязною ряскою на спине знаки кнута. Этим глубоко убежденным мистикам, обманутым крутыми житейскими неудачами и потрясенным неожиданными и многочисленными ударами судьбы, Коренев казался каким-то роковым вырождением, лицом, избранным, с одной стороны, для того, чтобы изобразить собою испорченность и негодность человеческой природы, а с другой — дать поучение греховному человечеству к собственному его исправлению. В испорченной природе Коренева почитатели Сведенборга видели злого духа и в изречениях убийцы и бродяги, вызванных непосредственностью его натуры, желали получать и слышать вдохновение этого духа лукавства и злобы.

Коренев, в силу таких увлечений, сделался предметом расспросов и долговременных бесед. К нему, как к Ивану Яковлевичу в Москве, как к Феклуше на Бердовом заводе в Петербурге, ходили тобольские дамы за советами. Коренев ощутил перемену своего положения и в этом новом также в грязь лицом не ударил. Свою циническую откровенность он сменил на такие признания, в которых старался выражать в себе игралище судьбы, и, конечно, был отчасти справедлив и в настоящем случае счастлив только тем, что получил указание для выхода на дорогу. Знавшие его близко соузники замечали даже, что в последнее время заточения в Тобольске он сам стал колебаться в истинном значении своего звания. Он стал временами толковать о себе, как о каком-то исключении из человеческой породы, стал верить в сверхъестественную силу свою, начал завираться, оправдываться. Кончилось все это на конце срока его заточения, за которым последовала высылка его на нерчинские рудники.

Прежде чем совершили над ним такое чародейство и сделали в нем превращение, Коренев успел в тобольском остроге показать себя в настоящем виде, с одной стороны, как злодея, с другой — как бродяги.

Когда суеверные дамы, с замиранием сердца, дрожащими, несмелыми тонами в голосах спрашивали сидевшего на цепи Коренева:

— Не случалось ли тебе видать, правда ли это, что из раны убитого начинала сочиться кровь, когда к трупу подходил сам убийца?

— Нет! — ответил Коренев.

И отрубил:

— Однажды я нарочно для этого убил еврея в Каинске и через полчаса был тут, подле. Собрались все евреи. Гвалт они подняли на целый город. Я сам с ними по бедрам хлопал и головой качал; давал советы, как ловить убийцу. На убитого смотрел, как на свою ладонь, крови не показалось.

— Может быть, оттого, — заключил Коренев с усмешкою на лице, которую он не счел даже нужным скрывать, — оттого, может быть, что убитый-то был некрещеный.

В другой раз одно духовное лицо, увлеченное общим примером посетителей Коренева и на правах председателя тюремного комитета, возымело желание вступить с ним в беседу и дать ему

кое-какие духовно-нравственные наставления. В виде вступления лицо это спрашивало злодея:

— Чувствуешь ли ты когда угрызение совести?

— Никогда! — грубил Коренев.

— Столько ты злодеяний совершил, столько ты убийств содеял!!..

— Говорят, восемнадцать, — подтвердил Коренев.

— Неужели у тебя хотя раз не вострепетало сердце, не дрогнула рука, рука Каинова, проливающая кровь своего брата по Христе?

— Мне тогда о родстве не доводилось спрашивать.

— А для чего ты столько невинных душ загубил, для какой цели?

— Цель, я полагаю, у нас с вами одна, батюшка. Ведь и по Писанию все убитые мною души в царстве небесном. А нас еще с вами никто не вешал, кто больше тянет: Вы ли молитвой больше отправили туда, али я ножом...

Пробовали другие подходить к нему с другой стороны и спрашивали его таким способом:

— Понимаем мы, Коренев, что встретиться с тобою в дороге один на один невыгодно. Встреча с тобой — твое счастье. Ты голодный, я на станции поел и с собою везу съестные запасы; тут они у меня под боком, захотел поесть, вынул. На тебе рваный полушубок, измызганный кафтанишко, а я — в лисьей либо енотовой шубе и за пазухою у меня деньги, на которые, говорят, весь свет покупается.

— Это так точно.

— Тебе завидно мое счастье. Возьми шубу, возьми деньги, возьми кулечек со съестными припасами.

— Да ведь вы не дадите, стрелять, поди, станете, нет ружья — драться. Начнете прилаживаться, чтобы забить меня до смерти. Все же радостно хоть одного варнака истребить с корнем. А ведь и у меня душа та же самая, а к тому целым рублем для меня дороже вашей. Вы свою душу на конях возите, на подушки кладете, а я свою, грешную, протащил сквозь огонь, меж ножами. Прилаживал ее на сучья, на камни. Вот и здесь ее прилаживаю на досках. Вон откуда вынес ее, голову-то свою, из самого Нерчинска. Делать мы станем оба одно: вы свою, я свою оборонять.

— Положим, я обороняться не стану, мне нечем. Ружья у меня нет, саблею не запасся, еду я беспечно, как большая часть ездит, и встречи с тобою не ожидал. Эта встреча — мое несчастье, моя неудача. Ты и накажи меня за то, что я так неосторожен: возьми то, чего у тебя нет и чего у меня много.

— Я возьму это и без вашего спросу.

— За что же убивать меня, два раза наказывать за промах?

— А за то — не ходи пузато, не носи брюхо в пазухе. Убивая, я себя берегу. Опять же голова у меня своя, не покупная. Порешился с ней, другой головы не купишь на базарах ее не продают. Я и сам сначала так же думал, по-вашему: за что, мол, я ограбленного убивать стану?! Молодым человеком я был тогда, несмышленым, первоуком. Расскажу я вам про этакий случай.

Шел я с Нерчинской каторги. Шел не один, а с товарищами, из Иркутска к Красноярску. Жилья тут мало, все лес стоит. Затощали мы, хоть в землю зарывайся, — надо грабить. Заслышали колокольчик. Завалились в канаву, кто направо, кто налево. Ждем, по-заячьи насторожили уши. Едет пара: ямщик носом клюет, рыбу удит, и оттого рыбу удит, что сам проезжий спит. Так, мол, нам и надо. Словно мы, мол, сами им заказали этак-то. Вышли мы на дорогу, лошадей за уздцы придержали, сняли ямщика с козел, связали по рукам и рот ему завязали, чтоб не кричал. Проезжего мы разбудили. Поступили с ними так, как и все сказывают, как бы и малый ребенок сделал. Стали с проезжим разговаривать накоротке, чтобы поскорее кончить. Вынимай деньги, снимай платье — разговор известный. Чемодан его сами вынули и его вынули. Стоит он на ногах, трясется весь; известно, дело такое ему непривычное, в первый раз доводится. Со страху он стал рассказывать: чиновник, едет в Россию, казенные деньги получил, мать у него есть и жениться хочет. Деньги отдал все, повалился на коленочки, заревел. Слезы так горохом и катятся, крупные такие. Взяла тут меня жалость за самое сердце и так-то щемит и теребит! «Отпустите», слышь. Клянется, божится: «никому не скажу». Стал я товарищей своих уговаривать, они долго не соглашались, уломал-таки я их. Сказали: «на тебе весь ответ». Ладно. Отпустили мы его живым и пошли своей дорогой. Идем-идем да и думаем: «А, ну, братцы, божбу не исполнит! пойдем по-

шибче, высмотрим». Пошли мы вперед, стали подходить к деревне, а та — вся на ногах. Крику развели полон лес, и сказывает тем, чтоб облаву сделали. Пронеслись мимо нас верховые с кольями: за нами, значит. А мы тут, под деревней, в лесу выждали. Ночь, мол, теперь наша, пуганый чивовник непременно переночует. Ночью мы обошли деревню, перетянулись на ту дорогу, по которой нам идти, а проезжему ехать. Зашли на конец станка. На первом свету выбрали место такое способное: мост. Опять завалились в канаву под мост, стали чиновника выжидать. Выспится, поедет дальше, а на ночь ни за сто рублев не пустится.

Выждали мы его на другом станке, остановили, да и содрали с живого лыки...

Вообще, угрюмый и неразговорчивый, Коренев на умелые расспросы любил отвечать. Иногда хвастал, лгал, но, пойманный с поличным, не медлил выходить на путь правды и откровенности.

Раз удалось услышать у него такую формулу идеи бродяжничества :

— Для бродяг один закон и все тот же. На дорогу в заводе за нас возьмешь, без того не пускаешься, разве когда в соседях обзавелся знакомым человеком. Запас съешь, а брюхо-злодей никогда старого добра не помнит: опять слюну сушит, есть просит. К жильям подтягиваешься. У знакомого человека милостыню просишь — дает, а то на уру и у встречного клянчишь, тоже дают. В незнакомых деревнях, где бродяги шалили, сердятся; на ласку те мужики не даются, надо самому брать, значит — грабить. Ограбил кого, следы хорони, кошка тому делу пример дает. Не оставляй своего хвоста на дороге, заметай след: ограбленного убивай. Не убьешь, язык за собой оставишь. По нем дойдут до тебя. Примеру не было такого, чтобы грабленный не мстил и по следам зверя не натравливали. Такой уж закон. Я как один раз оступился, так с той поры другу и недругу заказал щадить ограбленного. Так вот и всем товарищам рассказываю, учу их. Что раз потеряешь, того долго не найдешь. На божбу людям не верь, и честное ихнее слово они для плутовства себе придумали, чтобы лучше обманывать. Вор слезлив, а плут богомолен — давно это сказано. И я скажу: у бродяги только два клина, поле и лес, больше ему никаких нет ворот и ходить не стоит, чтобы отыскивать лазы.

Коренев был настоящий бродяга, и сколько слова и показания его имели значения неотразимой правды, столько бродяжьи свойства выступали в нем резче всех других. За ними товарищи его не видели (или не хотели видеть) настоящего злодея. Тобольский простой люд видел в нем колдуна, и тамошние торговые бабы рассказывали на базаре, что стоит Кореневу только начертить вокруг себя мелом или углем круг, чтобы сделалась лодка. И «не давай ему при этом только воды, только воды не давай ему ни в рот, ни в руки», чтобы лодка, сделавшаяся из круга, не вынесла его из тюрьмы на вольную волю. Каплю воды особым, ему одному ведомым наговором он умеет превращать в реку и выплывает по ней на свободу с песнями и любимыми товарищами. Не делает он так потому, что не хочет. Он и разрыв-траву умеет отыскивать по крупным росам, по ярким звездам. С нею ему никакие кандалы не страшны; перед ним ни один замок не стоит, всякие двери и ворота отпираются. Знает Коренев, как в холодной бане из черной кошки выварить и из множества других перед зеркалом выбрать косточку-невидимку, перед которою не выстаивают тюремные стены. Подставишь против зеркала перед собою — и исчезнешь.

Товарищи понимали Коренева иначе, видели дело другою стороною. В тюрьме Коренева любили, ему угождали наперерыв друг перед другом. Арестанты считали его рыцарем чести и благородства, видели в нем прямую открытую душу, у которой не было ничего заветного и запретного. Они забывали, что сердце он давно истаскал, что в нем сидел самый страшный черт изо всех, от каких только ни приходилось отчуровываться русскому человеку. Черт у него это сердце совсем вынул и только пустое место оставил. Всего виднее была в нем крупная опытность, около которой всегда так тепло несмышленым. Замечательная даровитость его доходила до изобретательности, всегда основанной на одолжениях заточенному люду и направленной на возможное преуспеяние быта среди всяческих стеснений в неволе. От него шли и юридические и практические советы. Подсудимый учился у него судебной практике, молодые бродяги — географии и этнографии. Когда один из совопросников выразил, между прочим, сомнение в возможности бродягам враждовать с зимними палящими морозами, среди лесной

трещи, когда и олень уходит в самую глушь лесов и, уткнувши морду в снег, стоит окаменелым, Коренев отвечал:

— Кто промахнулся и попал на дорогу, где кроме зайцев никого не встречает, тому на зиму такое правило: разгрести снег до самой земли, выложить логовище еловыми либо сосновыми лапками. Такая изба не обманет. Мне из сотни раз ни одного не доводилось худого. Спать тут лучше, чем в каменном доме. Самый первый закон: раздеться до рубашки, все снять, а ее оставить. Я снимал и в яму кидался; в ногах огонь разводил и закрывался наглухо полушубком; лежишь, что купец в кошеве. А если приладить над ямой из тех же лапок шалашик, то и умирать не надо. С запасом можно пересидеть и перехвастать всю пору лютых морозов. Отсиживались мы. Днем я ходил, а ночью спал опять этак. Спишь как убитый, словно дома. Поутру только вставать очень скверно: лучше бы, кажется, не ложиться, а встанешь, оденешься — и забудешь. Холодно вставать, а здорово. Тунгусы меня этому выучили.

Собственным опытом из общеупотре-бительной тюремной игры в петлю, где надобится снять веревку с двух пальцев, связанных ею, Коренев дошел до практических результатов, пригодных и благодетельных для кандальных арестантов. На тюремном досуге, сидя на цепи, он изобрел секрет снимать с себя в бане нижнее платье, имея на ногах кандалы, при которых эта операция являлась невозможною. Досужеству своему, не требующему особенной сноровки, но вызывающему некоторую долю терпения, он охотливо даром, из одного участия и сострадания, выучил тех ссыльных петербургских дворян, которых через Тобольск провезли на каторгу, в 1849 году, осужденными по делу Петрашев-ского.

В числе прочих знаний Коренев обладал в совершенстве искусством приготовлять фальшивую (из олова) серебряную монету. Живя в тобольском остроге и без цепи и на цепи, этому мастерству он отдавал все свободное время, под руками в острожных стенах передатчиков (из солдат), плативших за рубль фальшивый 30 копеек серебром настоящих. За острожными стенами он полагался на слепое царство темных остяков, татар и киргизов, охотно принимавших фальшивую монету по настоящей цене. Говорят, что около этого самого времени прошел по сибирским тюрьмам слух об указе омскому казначейству, которому предписывалось (из политических

видов привлечения в нашу сторону кочевников) принимать от киргизов фальшивые бумажки и монеты и разменивать их на настоящие. Фабрикация фальшивого серебра по всем сибирским тюрьмам значительно усилилась. Коренев, в числе первых, признал это и первым, как купец, воспользовался; он с одинаковым искусством умел делать и старинные екатерининские и нынешние целковые и полтинники. Мелкой монеты он не делал, ассигнаций не любил, имея в этом искусстве соперника в Цезике, за которым полуграмотному Кореневу нельзя было гоняться. Коренев предпочитал придерживаться зубила, подпилков, деревянных маленьких циркулей с ножками из иголок и долотцев из тех же иголок. Он доставал олово, покупал ртуть, алебастр, добывал солдатское сукно; алебастр разбивал и просеивал на формы, ртуть смешивал с «чем-то» (sic!). Натиснутый деревянный кружок, чтобы удалить излишек окиси, клал на ночь в рот и на другой день наводил амальгаму так плотно и искусно, что ртуть держалась на его изделиях дольше, чем на изделиях его товарищей. Последних ловили и хоронушки находили, — его никогда. Все знали об этом, делали обыски — нечаянные и повальные — и ничего не находили. У Коренева были и золотые руки, и глубокие секретные карманы, и какие-то как бы и впрямь заколдованные и зачурованные хоронушки.

Один смотритель возгорел желанием поймать его и уличить еще в то время, когда Коренев не сидел на цепи, а жил с другими в общей казарме. Выискался и унтер-офицер, который решился помогать смотрителю и хвастливо обещал поймать Коренева с поличным. Пришел он к нему и сделал заказ на киргизов. Коренев заказ принял и выпросил задатку двадцать пять рублей серебром, обязавшись поставить за это сто целковых. Унтер сходил к начальнику, задаток принес и вручил, а через два дня получил от Коренева сто целковых, новеньких, чистеньких, светлых. Монеты эти должны были рекомендовать мастера, как образчики его искусства. Целковые унтер одобрил и не мог иначе сделать, потому что они были настоящей работы петербургского монетного двора. На этот раз все искусство мастера состояло лишь в дешевом терпении, с которым он их высветлял и охорашивал. По окончании условленного срока заказчик является к монетчику за получением работы.

Коренев удивлен; спрашивает, что надо, приглашает унтера говорить пошибче. Искусно поднимает тон его голоса, сам начинает говорить громко и достигает желаемой цели, т. е. возбуждает внимание всей казармы. Делает он из товарищей свидетелей, рассчитывая за ними и спинами их на несомненное вмешательство и защиту прокурора. Когда показалось ему, что зрители все собрались и насторожили глаза и уши, он неожиданно поразил слух затрещиною, отпущенною унтеру, и доставил товарищам несказанное удовольствие видеть и любоваться, как он потом, поддавая киселя и пинками в шею и спину выталкивал унтера за дверь. Все хорошо помнят его обиженное лицо, его жалобы на несправедливые подозрения и обвинение. Если он и играл на этот раз роль, то играл ее с таким искусством, что все арестанты обиде его поверили и за оскорбление товарища решились постоять горою. Начали арестанты шуметь, требовать смотрителя.

— В чем дело? — приходит тот.

— Просит у меня унтер фальшивого серебра, — отвечал за всех сам Коренев еще дрожащим от волнения голосом, в оскорбленном и глубоко-обиженном тоне. — Что у меня для него, монетный двор, что ли?

— Запишите это в журнал, — требовали арестанты: — Доложите губернатору. За что нас обижать?

— Значит, унтер переводчик денег, — подкреплял и пояснял Коренев. — Он знает дворы такие, дело уголовное! А мы в старых грехах точно что повинны, а на новые никак не согласны.

Смотритель покачал головою, усмехнулся:

— Дурак, дурак, солдат! Где уж такому дураку браться за такое мудреное дело, а еще хвастался!

Коренев, и на нарах лежа, все ворчал и сетовал, но на законном преследовании унтера не настаивал. Однако на своем он устоял и подмастерства этого не покидал даже и на стенной цепи вплоть до того времени, когда выкричали его за сверхъестественного человека и едва не признали в злодействах его святого юродства. Товарищи, впрочем, и в это время знали одно (и убеждены в этом до сих пор), что, попадись он в хорошие, опытные руки — он бы исправился. «Не толкай его судьба в опасности бродяжьей жизни, он был бы другим человеком и, может быть, очень хорошим». Какая-то беззаветная

доброта, исключительно, впрочем, направленная в пользу обиженных и обездоленных товарищей; всегдашнее желание поделиться с ними всем, что он имел, до последней полушки, и готовность постоять за их право с риском для себя и не принимая в расчет и для соображений никаких опасностей (и все это в таких ярких чертах, в таких крупных формах!), — вот те основы симпатий, которыми пользовался Коренев от товарищей в большей мере, чем все ему предшествовавшие и за ним последовавшие тобольские заключенные.

Когда на его глазах один из ссыльных московских дворян (известный Москве Зыков — убийца княгини Голицыной) злоупотребил доверием и воспользовался увлечением ханжившей девушки для того, чтобы довести ее до падения, Коренев первый поднял недовольный голос. Он пригласил своих товарищей к гласному и фактическому протесту и, вызвав необходимость самосуда, явился в звании исполнителя приговора, первым жестоко бил растлителя, бил в кровь при свидетелях, каковыми была вся общинная казарма. (См. след. главу.)

Свернулась его жизнь на одно и, без опекунов и руководителей, пошла тою кривою колеею, которая и сильно тянет и безвозвратно затягивает. В тюремном болоте, на каторжной трясине не устоял и он, вслед за другими, как ни сильна была его натура, как ни крепки были его нервы. Валилось на него сверху, давило с боков, да и свой брат, спутанный с ним по рукам и по ногам, тянул его туда же — в этот омут, где нет ни дна, ни покрышки. Коренев оказался тяжелее других, а поэтому и загряз глубже и крепче всех. Полез ли он дальше в тину и трясину — это не подлежит никакому сомнению, да и доставать до самого дна ему уже недалеко.

Вот он, спущенный с цепи, идет из Тобольска по знакомой дорожке, опять на дальнюю и темную каторгу. Идет он в партии, вместе с другими. На дороге под Иркутском попадаются ему две каторги и обе хорошие, обе знакомые: одна при винокуренном заводе, другая при солеваренном. Но не те судила ему судьба- злодейка. Эти для простых, а для него, важного человека, за Байкалом-морем жестокая и самая дальняя — нерчинская.

На большой почтовой дороге к Иркутску, на одном перекрестке, «росстани», вышла на столбовую дорогу слева маленькая, но

также каторжная. Ведет она в Иркутское-Усолье и называется у народа *воровскою* дорогою с давних времен. С недавнего времени, а в особенности с тех пор, как стали ссылать в это Усолье преступников из азиатов и мусульман, всех в одно место: татар, киргизов, персиян и кавказских горцев (в том числе, между прочим, поместили и шамилевых мюридов), за перекрестком дорог оставили право растаха, места отдыха. Не показан он в законных расписаниях, ибо находится между двумя близкими этапами, но завоевано это место остановки обычаем, который могущие не давят и оставляют в несокрушимой целости, потому что, кроме симпатичных сторон, обычай этот ничего уже в себе не заключает. Мусульмане, следуя завету пророка, имели обыкновение выходить на эту росстань дорог и искать не только родичей, но и всяких правоверных *чтителей* пророка, не отличая земляка от чужеземца, знакомого от незнакомого. Заводские мусульмане выносили сюда путешествующим все, что могли принести во славу имени Магомета: хлеб и табак, лук и черемшу, и даже русской выделки квас.

Остановилась на этой росстани и та партия, в которой шел Коренев. Остановились с целью послужить мусульманам, из которых кое-кого также сдавали сюда на каторгу. Коренев ходил по партиям, торопливо искал бумаги клочок, карандаша обгрызочек; находил то и другое.

На бумажке нацарапал он, как умел, скоро и коротко: «Навести, брат, Ипполит Васильевич, старого бродягу Коренева». Записку взялся доставить первый же попавшийся ему на глаза из заводских татар и доставил. Старый знакомый Коренева, соузник его по тобольской тюрьме, живший в Усолье на пропитании — Кашкадамов — получил эту записку и ни минуты не медлил.

Зная порядки, захватил он с собою что успел и что мог и побежал на рысях к месту росстани, которое делается на это время местом довольно продолжительного отдыха. Вскоре он был там.

«Видел я Коренева через несколько лет, — рассказывал мне Ипполит Васильевич, — узнал он меня, обрадовался, сколько мог я судить по веселой улыбке, которая долго не пропадала с его страдальческого старческого лица. Говорил он мне:

— Гол, брат, я как сокол.

Вижу: шапка как блин — свою ему отдал. Сапоги с ног сползли, свои сапоги стал я снимать. Придержал было он меня за плечо, да раздумал, взял мои сапоги. Я его ошметки надел на свои ноги.

— Денег, поди, нету? Все, чай, в карты проиграл либо, того хуже, пропил? — спросил я его.

— От самого Красноярска шальной копейки не видал, — отвечал он мне.

Нашелся у меня рубль горячий, самому крепко нужный, да в этих делах не считаться, зачем и пришел я сюда?! Говорю:

— Возьми себе рубль.

— Не надо бы брать, самому тебе нужно.

Подумал, поглядел в землю, протянул руку и говорит:

— Давай! Сочтемся мы с тобой на другом.

Рубль спрятал за щеку.

Стал я заговаривать с ним, отвечает неохотно, говорит тихо и вяло. Да и о чем беседовать, про что расспрашивать? Били его; вновь перековали; новую шинель получил; новые чирки получил; голицы выдали. Вот идет, по сторонам смотрит; опять пойдет, и еще пойдет, и еще пойдет до самой каторги...

Договорились мы, однако, до того, что и рубашка у Коренева с плеч сползла, совсем ее нету. Держит он казенную овчину, как тунгус, прямо на теле. На мне ситцевая рубашка была, да и дом недалеко, в сундуке нашлась бы другая-третья, да время заморозков, скидать неудобно, холодно.

— Возьми, Коренев, рубашку!

И руками замахал: не надо! Замотал головой. От рубахи отказывается.

— Балуешь ты меня, зазнаюсь, погордею, не сладят! — и усмехнулся.

Я тем временем рубашку успел снять и принять сюртучишко свой на голое тело. Свернул я рубашонку, сунул ему; отталкивает. Запихнул я ему за пазуху, а он все головой машет. Слышим, забил барабан поход; смотрим, все стали подбирать котомки, кряхтеть и подниматься с насиженных мест. Раздался грубый крик команды: “по местам!”

Зазвенели цепи, забрякали кандалы. Стали и мы с Кореневым прощаться.

— Прощай!

Положил он мне обе тяжелые руки свои на плечи. Долгим пристальным взглядом посмотрел мне в лицо. Думал о чем-то, тяжело вздохнул:

— Прощай, Ипполит Васильевич!

Смотрю и глазам не верю: из глаз слеза выкатилась, но поймал он ее, спрятал в кулак и кулак унес за спину. Еще раз посмотрел на меня, еще раз вздохнул, обнял меня, поцеловал крепко, выговорил:

— Прощай!.. Навсегда прощай!.. Теперь уж больше не увидимся.

— Так ли? Полно, не зарекайся, Коренев.

— И впрямь нету! Не навсегда прощай!..

Между тем, барабан ныл у нас под самыми ушами, отбивая последние трели. Нечего было больше прохлаждаться. Коренев снял с моих плеч свои руки.

Опустя голову, пошел он от меня своим тяжелым развалистым шагом, но шел недолго. Еще раз искоса, через плечо, поглядел на меня, остановился, опять подошел:

— Спасибо тебе за все. Резать приведется тебя — не зарежу!!..

Сильно и размашисто махнул он вслед затем правой рукой, порывисто и визгливо зазвенели на ногах его цепи и хорошо знакомый мне звук кандалов смешался с подобными же, производящими в гурте только один глухой гул. Звук этот исчез, а вскоре исчез с толпой и сам Коренев, но слова его и теперь еще, через много лет, живы в моей памяти, как бы сейчас выговоренные. Слова и слезы мне не попритчились, в этом я могу поручиться за Коренева. Знал я его хорошо, живал с ним в Тобольске под одной кровлей. Меня его характер не обманет. Сорвется с цепи — других убьет, для меня исключение сделает, слово дал. Впрочем, кажется, уходился, завязнет. Вероятнее, станет теперь на старости лет пробовать свой характер, а если не выдержит, убежит, то, во всяком случае, перестанет выгибаться на оглоблях, поднимать хвост кольцом и, по способу необъезженных лошадей, красоваться и хвастаться. Где-нибудь да должен быть конец. Горкин, впрочем, лошадей держит, на купца смахивает. Наши каторжные знаменитости хороши тем, что до тех пор и знаем, пока сами напоминают; замолчал — забыли и он сам сквозь землю провалился. Пропадай ты совсем, давайте нового!».

Героем на наш приезд был Иван Васильевич Дубровин, также злодей и убийца. Два раза он бегал из Карийских тюрем. После первого побега с шайкою грабил по Шилке, но был пойман. Убежал во второй раз — напустил на всех панический страх, все непокойно стали спать. Стражу усилили, в набат бьют, патрули ходят, все о нем говорят. Уши у всех на макушке. Он не объявляется, все успокоились, но сон в руку. В одну ночь Дубровин дал о себе знать, расписавшись кровью: на Нижнем промысле убил женщину с двумя малютками, с которою даже и знаком вовсе не был, убил, чтобы похвастаться: перестали ждать, вот и я. Приходил он втроем, но вскоре все были открыты, посажены в тюрьму. По оплошности стражи, Дубровин опять убежал и снова привел всех в ужас. По следам его погнались казаки, в разных падях и распадках заблудились, не нашли.

Голодный, истощенный разбойник найден был в лесу лежащим без сил и почти полумертвым. Пойманного приковали к стенной цепи и, чтобы обезопасить себя от его злодейства и побегов, на руки надели лису — железную полосу в полтора пуда весом. С лисою он и ходить не мог и начал с нею и на цепи сидя смиряться духом. На цепи скверно кормят: пища крутая, без приварка. В посте и в воздержании Дубровин умилился духом и начальству это доказал. Его отковали от стены, сняли лису, выпустили в общую арестантскую казарму, нарядили в кандалы. Стали все надеяться и рассчитывать на то, что Дубровин пообломался, уходился и стал неопасен. Выбрали его старостою. Вскоре после того понадобилось начальству новую каторгу заводить на Амуре под Николаевском на так называемом Чиниррахе. Свободных рук было мало. Везде и во всем чувствовался недостаток. Сколько ни было обер- и унтер-офицеров, всех послали на Амур с хлебными барками и лесными плотами. Попробовали рискованным, но довольно известным в Сибири способом: доверить отобранную на Каре партию каторжных надежному человеку из таковых же. Выбор пал на Дубровина. Дал он начальнику сплава честное варнацкое слово, с товарищами сел на баржу и поплыл по Шилке и Амуру посреди соблазнов к побегам на целых трех тысячах верст. С баржи зерна не пропало, соленой росинки не исчезло. Ехали каторжные веселее всех, с песнями. По

дороге, в Албазине, один из каторжных кукушки заслушался, убежал; Дубровин его разыскал, жестоко выпорол и никому не велел сказывать. На месте все сданы были Дубровиным в том же счете, как были приняты, и в том же числе, сколько их на Амуре пело. Поместили их в новых сырых казармах. Сам Дубровин, разумеется, сел вместе с ними, но сидел тут недолго. Через неделю он убежал и увел с собою еще трех товарищей. По Амуру предостерегали пишущего эти строки ехать осторожно, по всем станицам дали о Дубровине знать, но нигде его не видали.

Только с одной из них дошли до начальства вести, что приходили ночью трое, с ними Дубровин, увели с собою бродяги бабу из приселенных каторжных женщин. Дальше по Амуру Дубровин не пошел, а ударил через хребты, на Лену. Что с ним сталось — тоже неизвестно, может быть, также провалился сквозь землю.

Из этого мрака неизвестности выводит нас третье лицо, также знаменитое в истории злодейств и также известное целой Сибири. Он — современник обоих и всею деятельностью своею, как Дубровин, принадлежит краям нерчинским и, как Коренев, по воспитанию своему сибиряк. Все злодейства его совершились также в пределах Сибири. Вышел он также из бродяг и на этом пути безместного шатания полуголодным и рассерженным доработался до крайней степени озлобления, задичал в бегах до зверя и сделался разбойником и убийцею, некогда страшным для всего Забайкалья, а теперь известным в целой Сибири. Это — Горкин. Все, что в судьбе Коренева было скрыто, в судьбе Горкина отчасти проясняется, в особенности по отношению к тому периоду времени, которое легло между первоначальным побегом из каторжной тюрьмы и окончательным приговором к наказанию за все тяжкие и во все тяжкие. Коренев об убийствах своих не рассказывал, Горкин также старательно умалчивал о них, но за последнего говорят предания и официальные дела.

Этот с расчетом на всевозможные приключения и безрасчетно на преступления ушел из тюрьмы Кутомарского завода втроем с товарищами[89]. В Козловской пади (долине) встретили они на жниве

[89] См. Том I; В бегах, глава III.

крестьянина, велели варить себе есть. Крестьянин Бурцов отвечал, что у него котла не имеется. Ему дали лошадь. Он поехал за котлом, на пути оповестил другого крестьянина, что пришли к нему недобрые люди: «Съездил бы ты в деревню, дал там знать». Сам воротился, стал кормить беглых, оттягивать время. Прискакали крестьяне, кричали бродягам: «Вставайте и раздевайтесь донага, ножи бросайте». Беглые не послушались, стали отбиваться, схватившись за свое оружие: топор, косу и жердь. Свалка произошла отчаянная. Один беглый (Никифоров) был пронизан пулею навылет, другой (Коурый) был жестоко избит, во многих местах ранен, но успел вскочить на лошадь и ускакать. Третий беглый, Горкин, успел бежать раньше, выскользнув во время общей свалки так, что никто того не заметил.

Первый дебют был удачен. Горкин обстрелян, получил урок осторожности, видел кровь, потерял товарища, осознал на опыте, что прогулка каторжного небезопасна; стал известен по мере того, как слух о побоище начал расходиться. Отбившись от товарищей на одиночное скитанье и в полное отчаяние голодовки (с правом на самую тяжкую смерть), Горкин стал ходить хотя также окольными путями, но уже более верными.

Где-то поймали они слух о богатстве бурята, Горкин и отправился прямо на него. «Переночевавши на гриве (рассказывает другое архивное дело), он на дороге встречает проезжего бурята. Этот спрашивает:

— Кто ты таков?

— Беглый. А где стоит братский Кубухон? (намереваясь у него чем-нибудь поживиться).

— Нет, друг, у Кубухона шибко строго, к нему не попадешь; а поди вон, эта (указал на правую сторону) стоит крайняя юрта. Тут живет одна братская (бурятская) баба. У ней деньги есть, ищи в ошкуре у штанов.

И уехал.

Я пролежал в тот день в кустиках. Дождавшись ночи, примерно часу в одиннадцатом, пришел к юртам близ деревни Харауза. Зашел в крайнюю юрту, где огня не было. Я ощупал впотьмах сонного человека, схватил его за горло и по косам на голове узнал, что это женщина. Спрашивал ее:

— Где у тебя деньги?

Она по-русски отвечала:

— Нет, друг, денег нету.

Потом я, обыскав у нее в ошкуре у штанов, денег не нашел. Спрашивал опять: где деньги? — она говорила, что нету. Оборотись, чем-то задела меня в щеку. Я осердился и, взяв в руки тряпицу для того, чтобы не нанесть ногтями царапин, за горло ту братскую бабу задушил до смерти, оставя ее на постели. Потом разломал все ее ящики, но денег не нашел и из платья, по ненадобности, ничего не взял. Взял только четверку кирипичного чая».

Таково было первое признание Горкина в первом преступлении по поимке из бегов. После второго побега он уже является атаманом шайки и с нею грабит и разбойничает там и сям по Забайкалью. Является там, где его не ожидают, не боится «шалить» и в тех местах, где его стерегут. Удалые подвиги и ловкость успевают вызвать сочувствие. Он приобретает друзей между теми из ссыльных, которые успели выйти на поселение и живут своими домами. Чем сильнее опасность от преследователей, тем друзья эти находчивее. Чем меньше поживы, тем друзья эти деятельнее. Они наводят на проезжих, указывают на богатых; не задаются набеги — ловко прячут. Сочувствие от поселенцев переходит и на кое-кого из крестьян и отсюда получается помощь и содействие. Разбойники разгулялись, закружились в вихре приключений и похождений, и, чем больше осталось похождений позади, тем больший запас осторожности сделан на будущее время. Товарищу делают промахи, излавливаются и гибнут, сам атаман остается цел и невредим. Когда и он попадается прямо под кнут и на цепь, за ним уже целая эпопея похождений и злодеяний в таком случайном, бестолковом и бессвязном порядке.

«Бредут всемером; вот и большая шайка. По деревням про случай ходят, не разбиваясь. По ночам получают подаяние. В рабочую пору на пашнях собирают милостыню, ходя порознь. За деревнями встречаются, сходятся вместе. Раз двое товарищей не пришли, дальше пустились только впятером. Около Верхнеудинска, в так называемой Воровской пади (овраге), встретили три повозки купеческие и напали: приказчикам связали руки, возы ограбили, нашли

все бумажные товары, вино, тафту; в лесу вино выпили, товары спрятали в "удобное место". "Надобно скрыть слухи" — пошли к морю (Байкалу). Попадались речки, строили плоты и переправлялись. На Селенге в лесу наткнулись на верховых русских и братского. Встречные спрашивают:

— Что вы за люди и есть ли билеты? Если нет, идите к городничему.

— Какая тебе до того надобность? — спрашивают они с укором.

— Я городничего человек.

— А вот мы тебе дадим знать, что мы за люди?

Верховые испугались и бросились прочь. Опять надо следы хоронить, переправились за Селенгу на плоту. В следующей деревне снова разбрелись за милостыней, опять сошлись за околицей. Еще двое товарищей не вернулись, также отшиблись. Оставшиеся не долго таскались в горах, двое решились идти в Иркутск и ушли. Атаман не согласился и остался один. По дороге украл он у братского винтовку в денное время, а в ночное наткнулся на саврасую кобылу, сел на нее и поскакал прямо на каторгу, по направлению к заводу. Зачем? Покаяться, смириться?

— Нет, стало холодно (конец октября), одежа измызгалась. Надо потолкаться по юрдовкам (тайным притонам у живущих на пропитании), не выиграю ли? Погляжу кстати, где что плохо лежит».

На юрдовках встретил он двух товарищей; один пришел с женой повидаться. Атаман обогрелся, запасся теплой одеждой. Поспал в подпольях, поиграл в карты и опять пошел на вольный свет и опять с товарищами, из которых двое старых, три новых.

Под заводом в лесу услыхали они гнилой запах. Искали следы на досуге и увидели труп товарища (тоже погреться шел). Осмотрели — застрелен.

В ближнем селении от завода (в Хонхолое) у крестьянина пристань. С ним сведено знакомство еще в заводе на юрдовках: попить, поиграть приезжал и сам сиживал в тюрьме с каторжными, стреляный зверь.

— Идите, — говорит, — в падь. Там меня дожидайте!

Привез он хлеба. Живут две недели, а он все хлеб возит. Раз привез задок баранины, туез молока, полсотни яиц. Другой раз

притащил омулей соленых, киселю в мешке, пшеничных булок и такой же муки. На третий раз привез четверть вина и за вином, в разговорах, указал на богатого мужика в деревне Заган.

— Теперь время хорошее, способное, идите грабить того мужика.

«Лошадей привел сам доброхотный дате ль, сам он и дом указал, когда и как пройти, и скрылся. Поехали, лошадей привязали в лесу, сами влезли в баню, выжидая утра, когда хозяин уедет с работниками на покос. Он и уехал, да скоро вернулся, было большое ненастье.

День и ночь лежат беглые в бане, дожидаются. Хозяин отправился в поле; беглые вбежали в избу, трех баб — в чулан. Пришли с реки с бельем еще две девки и их туда же запрятали. Вошли в чулан к бабам и девкам пытать правды. Старшая баба дала 8 руб. и больше-де нет. Не поверили. Взяли ключи и нашли 60 р., разное платье и разный товар.

Баб перевели в другое место, заперли в казенке, сами ушли в лес, оттуда приехали на «стан». Вещи раздуванили на три пая. Друг прибыл, вина и шанег привез.

— Еду, — говорит: — в завод, что вам надо?

— Вина надо! Вот деньги за вино и хлопоты.

— Привезу вам за это ружье еще.

Вскоре друг все привез, что обещал, да сверх того новые вести:

— Едет приказчик-татарин с товаром, можно хорошо поживиться.

— А куда мы денем поживу?

— Отвезу вашим женам.

Ладно. Пошли на трактовую дорогу, купца не дождадись, а попали на сыщиков: кинулись в лес, переночевали, а когда пришли на свой стан, то увидели огнище разрытым: погоня, знать, близко, надо утекать. Зашли в деревню к другу. Этот сварил им ужин. Дали ему 10 руб., вина привез, а за хлопоты синей дабы (бумажную материю) подарили. Друг опять послал в лес, привозил к ним туда вино и разные известия. На богатого братского указал. Трех связали, четвертый не давался. Резали его ножами, конечно, отчего он обессилел. Обыскали, ничего не нашли. Стали спрашивать, не сказывают; начали палить огнем, добились 21 руб. 75 коп. серебряною монетою и разной рухляди. Попробовали сходить на завод, там

украли корову. У проходившей по дороге бабы отняли деньги, полученные ею за проданные ягоды и огородные овощи. В заводе достали фальшивые паспорты и опять ушли на старый стан, куда снова приходил старый друг навещать с вином и вестями.

Раз он известил, что одного из товарищей поймали; решились отбить от конвойных, вышли на дорогу, но, увидев сильный конвой, не решились. На пути украли трех лошадей и согласились ограбить крестьянина. Зажгли восковую свечу, поставили ее в туез, влезли на крышу, разобрали ее. Пришли в сени, вошли в избу, хозяин огонь погасил и закричал. «Если больше будешь кричать, то тут тебе и смерть». Детей прогнали в подызбицу, засветили лучину. Хозяин послал жену за деньгами. Стали делить. На каждого пришлось по 180 р. серебряною монетою и по 3 р. 15 коп. медными. Забрали рухлядь и к старому, испытанному другу похвастаться, да и поплакаться, а если не согласится, то и припугнуть.

— Стосковались по избе, как-никак, пусти ночевать, давно в тепле не сиживали. Просто невмоготу стало!

Ели в избе баранье стегно, брюшиную похлебку, пили из туеза вино, хвалили хозяина, дали ему 30 руб. и, как начало на дворе зориться, отправились к заводу, чтобы в соседстве приладить землянку, удобную к прожитию в зимнее время. Самому атаману этого не удалось сделать. Он так был пьян, что дорогою свалился с лошади (а такие же пьяные товарищи того не заметили). Около поскотины нашел атамана хараузский крестьянин крепко спавшим, узнал. На первых порах он испугался, подозвал товарищей, и общими силами связали его и представили с заводскому начальству. Из остальных товарищей его один попал на двух сыщиков, да и спрятался в засаду, в пустую избу. Сюда казаки ходить не любят, опасаются. Начали вытравливать по- своему: один засел за угол, другой кричал «выходи!». Его не послушались, он влез на крышу, в трубу просунул жердь: «выходи-де!» Вышел: «Я не здешний, я из-за Камня (нерчинский)» — и побежал в лес. Погнались за ним, не нашли».

Сам Горкин посажен был на цепь; валяясь на нарах, он смирялся.

Пока рассказы о нем росли в гору, зацепляли небывалое, мешали с былыми — Горкин пел песни, заученные в России, выдумывал, говорят, и свои. Когда спустили его с цепи в казарму, уменье петь песни и хватать ими прямо за сердце развилось в Горкине в неподдельный,

настоящий талант. С ним хорошо прожилось ему по окончании каторжного срока на пропитании, в разряде исправляющихся. Таким же мастером-песенником зазнали его мы в четвертом разряде ссыльных, куда перевела его судьба по окончании долгих мытарств.

Здесь объявилась в нем новая страсть, подвернувшаяся кстати на выручку. Полюбил удалой песенник бойких лошадок; холил и гладил их и выхолил такую лихую тройку, о которой стали ходить хвастливые слухи даже и в этой (восточной) стороне Забайкалья, где сартольская лошадка стоит в большой славе. Приманил к себе Горкин молодецкою ездою и придержал на своей тройке удалою песнею, острою присказкою и веселыми прибаутками слабого с этого боку сибирского купца. Горкин и другую тройку подобрал, и третьею обзавелся и возил в наш проезд по каторгам откупных поверенных, как подрядчик и как кровный любитель, прямо из села Кабанского через все озеро Байкал в Лиственичную[90]. О старых злодействах он забыл, но любил рассказывать в оправдание себя такой казус:

«Толковали про меня много всякаго вздору. С этим и по сю пору всякий лезет ко мне, чтобы я ему сознавался. Одно сказать могу: ни одной я души человеческой не тронул. А вот это раз было. Ушел я от сыщиков да и умаялся, спать захотел. Известное дело, всякий бродяга всякое место оглядывает. Хорошо просыпаться не в петле. Такое правило. Огляделся и я: понравилась мне яма, лег я в нее и заснул. Спал, надо быть, там как убитый: проснулся, стал в себя приходить, песню заслышал. Чудесно, мол, так-то поет кто-то. Знать, не сибиряк, потому народ этот петь, что рыба омуль, не умеет, а наш-де брат российский и, может, такой же бродяга. Однако посмотрю. Правило наше блюду, смотрю во все стороны, нет никого, а кто-то мурлычит. Глянул поближе, а тут на заплоте (огороде) мухортый казачишко сидит, ко мне спиною, и из стороны в сторону покачивается. Стал я прислушиваться: по-нашему, по-российски, ничего не выходит, по-сибирски, значит, песня; что ему на глаза

[90] По позднейшим полученным мною сведениям, Горкин сдал хозяйство сыну, а сам ударился в нищенство. Ходя по деревням и избам, любил забавлять малых ребят сказками и шутками. Умер любимцем всего окрестного молодого поколения, лет 40 тому назад.

попалось, то он и на голос поднимает, про корову, про собаку вытягивает. Мурлычит и этот казачишко. Я поближе, а у него в песне выходить стало, что ему-де на заплоте-то теперь очень хорошо и никого-де он теперь в целом свете не боится. Медведя, говорит, не боюсь; волк прибежит, — не боюсь и волка, и Горкин придет, и Горкина, слышь, не боюсь! Ах! и взяла же меня тут обида поперек самого живота! Подкрался я к нему сзади на цыпочках. Правой-то по спине бачиной (прутом) хлестнул, левой за плечо повернул его рожей к себе, да и спрашиваю: "Как, мол, так, и меня не боишься?!" Он на меня взглянул, взвизгнул, да как сноп и свалился на землю. Как я его ни трогал, как ни пихал, не шевелится, ухо приложил — не дышит. Помер он так, словно я ему всадил нож в самое сердце. Вот в этой душе каюсь. От нее и отрекаться не стану. Да разве я тут в чем причинен?» — любил вопрошать ямщик и песенник Горкин, кончая свой рассказ, который он успел рассказать чуть ли не всему Забайкалью.

Примеров довольно (за Горкиным ходить, повторять сказанное). Грабежи на каторге — болезнь хроническая, не подчиненная тем законам, до которых многосложными вычислениями дошел Гэрри, уверяющий, что убийства и грабежи на общественных дорогах производятся преимущественно в период времени с октября по январь. Для каторжных мест это время — время затишья.

Оголодавшие и иззябшие беглые, с приближением зимних морозов, начинают тем или другим способом добиваться угревы, искать тепла и обеспечения на зимние месяцы. Большею частью являются они на те же казенные заводы с каторжными работами, предпочитая легчайшие тяжким. Карийский беглый старается поместиться на железном заводе, беглый с солеваренного — на винокуренном, а беглый с последнего сорта работ ищет работ вольных либо на частных золотых промыслах, либо на купеческих и крестьянских фермах (заимках). Таких добровольно пришедших начальство, считая виновными, наказывает домашним негласным судом и в годовых отчетах своих хвастливо выставляет их пойманными и пишет наказанными в двух разрядах: «за побеги» и за «самовольные отлучки». Против общего числа ссыльных количество возвращенных беглых составляет немного больше половины; доб-

ровольно явившимся принадлежит значительно большая часть[91]. Весна, с соблазном тепла и вероятием вольных работ у хлебопашцев, увеличивает по всяческим казенным заводам количество побегов и число голодного люда — дешевых работников для крестьянских, по сибирскому обычаю, больших хозяйств. Весеннее время теряет значение (по Гэрри) времени, соответствующего, по количеству преступлений, осени. Сибирская осень представляется тою порою, когда число преступлений, направленных против собственности (кражи и грабежи), идет в соответствующей пропорции с теми, которые направлены покушениями против лиц (разбои и убийства). Август и сентябрь представляются теми месяцами, когда наиболыне сибирским судам доводится встречаться с виновными в разбоях, сопряженных с убийствами. При этом убийства, против всякого ожидания, не составляют вблизи каторжных мест такого явления, которое можно было бы назвать частым, и этот род преступных злодеяний является здесь с особенными характерными признаками и представляется, сравнительно с Россиею, в самостоятельной форме и совершенно в другой обстановке.

Всех убийц из России, в течение десяти лет, сослано 2179 человек на нерчинские заводы. Все убийцы, по характеру этих казенных учреждений и по экономическому значению таковых, поставлены в исключительное положение рабочей силы, «стали конями», по выражению каторжного бывальца и проходимца Коренева. Насколько велика, пригодна и применима их сила, настолько готовы расценивать их более самостоятельные и человеколюбивые руководители работ, но не блюстители нравственности. Последняя не входит в обязательства, для которых не оставлено места и решительно недостает времени. Ссыльные предоставлены самим себе и притом в совместном жительстве и ежедневно имеют все против себя. Оборванная «сбруя», в виде форменных одежных вещей, в одно и то же время и затягивает в бесконечные и неоплатные казенные долги и вернейшим образом унижает человеческое достоинство тех, кого

[91] С 1 янв 1847 по 1 янв. 1857 г. число всех ссыльных рабочих на Нерчинских заводах составляло 6213 человек; в тот же период наказано за побеги и самовольные отлучки 2923 (2741 за побеги, 182 за отлучки).

эти лохмотья прикрывают. Нигде, кроме каторги, все данные не складываются в таком обилии и согласном сочетании для того, чтобы оскорбить и унизить привилегированное и прирожденное человеку чувство собственной гордости и разумения личного достоинства. В способах обращения, распределения работ и их применения, в условиях быта и взаимных отношениях, — все направлено к тому, чтобы низвести людскую породу до крайней степени уничижения и презрения к самой себе. Зато нигде уже эта цель не достигается с таким успехом, как на этот раз.

У людей, лишенных всякой собственности, потерявших законное право на владение движимою и недвижимою, отрицание собственности является на первом месте в виде коренного каторжного закона. Ссыльные воровства за грех не считают и воруют все поголовно не только у сторонних, свободных и счастливых людей, но и в своей среде, у таких же голышей и оборвышей. Сюда, в эту сторону, направляются преступные покушения всякого сорта ссыльных под влиянием благоприятного ветра, по быстрому течению реки, которая на каторге торопливее течет и гуще пенится. На каторге не те только воры, которые совершили разбои и кражи или обвинены в святотатстве, но воруют и наталкиваемые голодом поджигатели и ищущие спасения в побеге убийцы. Нет на каторге разницы. В этом смысле она умеет уравнивать, под одну краску окрашивать и зарождать во всех одинаковые желания. Большинство последних сходится на глухом протесте против обязательных и бесплатных трудов и против всей каторжной тяжести, выражается стремлениями на волю, бесчисленными побегами. На каторге считают возвращенными только тех, которые, по малой опытности, были неосторожны и несчастливы, но и эти ходили в бега с дурными зачатками. От постоянного озлобления, от дурной пищи и сырых жилищ, развивающих брюшные болезни, цинготное худосочие и меланхолию, беглецы уносят с собою крайнюю раздражительность. Таковая болезненно возростает от пьянства и молчит только до времени. С набалованными на воровстве руками, они на воле являются посреди тысяч соблазнов и под безвыходным гнетом нужды и голода. Простое воровство, хорошо приспособляющее себя там, где плохо берегут себя и живут неосторожно-распущенно, но в среде населения, постоянно находящегося в осадном положении от бег-

лых и потому осторожного, воровство обязательно переходит в грабеж и разбой. Нерчинское горное начальство только потому мало судит за грабеж (в 10 лет 8 случаев) и за воровство (64 человека), что уходят его «клиенты» дальше, вон из пределов округа, и уходят с должными предосторожностями, на которые обязывает желание уйти от рудников дальше, по возможности в Россию или, по крайней мере, в места Сибири, более гостеприимные для беглых. Поблизости действуют только отчаянные и живут, подчиняясь всем случайностям судьбы, которая так характерно отразилась на судьбе Горкина, представляя в нем лицо, до очевидности страдательное, лишенное всякой изобретательности. Для того чтобы его преступной и испорченной воле действовать, надобно внешнее возбуждение; чтобы наделать преступлений, необходимо было умалиться до человека, не обладающего ни энергиею, ни изобретательностью. Весь результат похождений, все счастье удачи после многотрудных опасностей — ведро вина и право быть в том состоянии, в котором так легко забывается на время весь сумрак и тяжесть бесповоротно испорченной жизни. Забаловавшись удачами и закружившись во всех запутанных похождениях, он, таким образом, понес на себе всю тяжесть значения как разбойника, перепачкался в людской крови после того, как вышел только отдохнуть и погулять.

Конечно, такие субъекты — явление далеко не ежегодное, но, тем не менее, периодическое и поучительное тем, что в таких людях как бы совмещается все недовольство людей «каторжного звания, которым и закон не защитник» (как говорят они сами). Такие, временами показывающиеся злодеи, как бы избранные из среды своей мстители за товарищей, выходящие на поле деятельности тогда, когда мера каторжного терпения переполнилась и не зримые наблюдающим взорам внутренние причины сложились именно так, что появление злодея кажется неизбежным и законным. Он для того и не уходит далеко, а мстит, злодействуя тут же. Мстит он, поощряемый и поддерживаемый товарищами, испытавшими тяжесть ссылки, и злодействует на их имя, на свою спину. Верно, по крайней мере, одно, что периоды появления в Нерчинском крае злодеев довольно приметны и имена резче других выдающихся личностей хорошо известны. В начале нынешнего столетия заботил горные власти разбойник Егор Григорьев, наводил страх и обязывал

рассказами о своих похождениях местное забайкальское население долгое время. Слава его стала меркнуть и рассказы мельчать в 30-х годах нынешнего столетия, когда на смену ему выступил песенник Горкин, а вот в конце пятидесятых годов загорелась звезда третьего — Дубровина. Раз случилось так, что в то время, когда в этой половине Забайкалья злодействовал Григорьев, в восточной половине, в самом центре нерчинских рудников, разбойничал Морозов, под Иркутском — Гондюхин, в окрестностях Якутска на Лене — Левицкий с товарищами. Люди эти, поставляя главною своею целью грабеж на проезжих дорогах и устремляя свои нападения, преимущественно, на купеческие обозы и казенные транспорты, совершали убийства иногда в таком числе, которое поражало своею необычайностью; некоторые винились в 10, 18 душах. Этим людям доводилось быстро поднимать цифру совершенных злодейств в пределах каторжных мест. Без них злодейства не отличаются резко выдающимися особенностями и растут, подчиняясь уже, как мы сказали, другим вызовам и особым законам.

Так, из числа 2197 убийц, присланных из России в тот же период десяти лет, во всем Нерчинском крае (жившем все это время рассказами о недавних злодействах Горкина) осуждено за убийства (с 1847 по 1857 г.) всего одиннадцать человек. Стало быть, из 200 убийц только один (и то по-видимому) подтвердил народное поверие, что раз обагрившийся чужою кровью заражается жаждою ее и, по роковому влечению злобной судьбы, уже не останавливается перед новыми поводами к подобным злодействам. Только один на 565 ссыльных (из всего числа присланных на каторгу) нашелся такой, который поддержал укоренившееся в образованных классах русского общества убеждение в том, что в ссылке находятся те порочные люди, для которых нет ничего святого и заветного и, стало быть, пролить кровь ничего не значит.

В самом же деле из России являются сюда убийцами люди, отдавшиеся тому непосредственному чувству зверского раздражения по вдохновению кровной тяжелой обиды, которая ищет помощи на том же месте, где приспел час мщения, и содействия в тех орудиях, которые являются под руками и первыми являются на глаза: скалки, поленья, топоры и проч. Присутствие предварительной подготовки, преднамеренной решимости совершить преступление

убийства у большей части ссыльных из простого необразованного люда замечательно слабо и участье развращенной воли подозрительно. Каторга дает многочисленные доказательства тому, что эти люди, не умевшие совладать с приливом зверских чувств на момент решительного жизненного вопроса и строгого испытания, живущие под непосредственным влиянием природы, вовсе не те, которых нельзя было бы исправить в России, и именно те, для которых на каторге представляется масса поводов натолкнуться снова и на новые случаи, дозволяющие выразить присутствие злой воли. Из ближайших местных наблюдений оказывается, что поводы эти, становясь равнозначащими для всех живущих на каторге, успешнее обходятся ссыльными, врасплох застигнутыми несчастьем каторжной ссылки за убийство, и поддаются соблазну этого злодейства на местах ссылки безразлично все, сосланные за другие роды преступлений. Меньшинство убийц в этом случае уступает поле и место большинству других преступников, присланных на каторгу.

Здешние убийства начинают свою историю, вызываются новыми причинами и сказываются в другой обстановке. Убийства сибирские являются последствием неудавшегося грабежа в замечательном большинстве случаев. Убийцею становится тот, кто пошел в бега из места заточения, не успев примириться с каторжною системою возмездия за преступление. Он делается снова преступником на этот раз во время крайней опасности от голодной смерти и в тот момент, когда последние надежды его встречают сильный отпор и вооруженное противодействие. Орудиями злодейства, всего чаще, служат сами преступные руки, схватывающие за горло для задушения, и опять-таки нож — орудие для всякого беглого необходимое и всегда готовое к услугам на поясу или за пазухою. Случаев убийств из любви к искусству, подобно Дубровину (натолкнутому, впрочем, особым родом удальства и хвастовства перед ослабевшею бдительностью начальства и всеми испуганными его побегом из тюрьмы), случаев таких ссыльные места дают так мало, что они блекнут перед громадным большинством убийств, вызванных случайным моментом[92].

[92] Как в России, так и в Сибири, мусульмане отличаются наибольшею наклонностью к убийствам, и, несмотря на то, что над их наголо бритыми головами разразился удар тяжелаго молота каторги, Иркутское-Усолье

Человек, осужденный на каторгу, понес в ссылку уже с родного места зачатки той нравственной болезни, которая имеет основу в лишении всех прав состояния, развивается в нечто серьезное по мере того, как этапы начинают, а сибирские тюрьмы продолжают представлять и осуществлять на опыте, в тяжелых и настойчивых формах, практическое значение того несчастья, которое называется лишением всяких прав. На местах ссылки достаточно развившаяся болезнь, под впечатлениями общего презрения, выражаемого словами и делом, складывается в окончательные формы. Если ссыльный, в отчаянии от боли, не прекратит жизни самоубийством, то, во всяком случае, в нем готов внутренний, невещественный нарыв, который сказывается потом при всяком случае, при малейшем вызове, при ничтожном уколе. На этот раз только случайность, и в весьма редких случаях предупредительность, основанная на разумном опыте, способны не вызывать болезненного раздражения до опасных и злодейских применений, часто даже характеризующихся убийством. В ссыльных местах практические и умные люди, по опытам людей неосторожных и злых, хорошо знают, насколько опасно, в сношениях с этими больными, применение средств едких и раздражительных и до какой степени действительны, необходимы и способны творить чудеса успокоительные средства. В то время, когда неосторожные и неопытные платились жизнью, практические и осмотрительные достигали блестящих результатов, только умея доказать самим делом одно, что и в лишенном человеческих прав они видят и признают человека. Возвращением обратно некоторых прав, прибавкою этим больным даже самых незначительных льгот, достигаются те неожиданные результаты, которые свидетельствуют о живучести в самых тяжких преступниках чувства чести и сознания человеческого достоинства. Самый закоренелый злодей Дубровин доказал это тем, что довел доверенных ему каторжных с Кары до Николаевска, не упустив ни одного. Тем

представляло не совсем безопасное место. Ссылаемые сюда кавказские горцы (до шамилевых мюридов включительно) очень часто производили убийства: то резали, то душили. Зато и дорогу с этого завода старожилы прозвали «Боровскою».

же способом доверия сумел достичь более блестящих результатов тот этапный командир, которому поручено было перевезти из Нерчинского Большого завода (по уничтожении там тюрьмы) всех каторжных на Кару — в новые тюрьмы и новые работы на золотых промыслах. На этой системе до половины зиждется утлое здание всей этапной системы. Большую часть деревянных частных домов г. Томска выстроили рабочие артели из каторжных, под надзором рядчиков из своих же и пользовавшихся полною свободою, вне всякого начальничьего дозора. Лишь только успел замешаться посторонний наблюдатель (по поводу одного побега, о котором тосковала и кручинилась каторжная артель больше всех), дело было испорчено, рабочие начали бегать. Больное место получило укол и укол произвел раздражение. Оно на этот раз не сообразилось ни с временем, ни с местом. Во всех других случаях вызова раздражение не умеет уже различать и лиц. Оно высказывается мщением за обиду не только в тех случаях, где вызов производится со стороны могущего и сильного, но и там, где заявляется стороною более слабою, как горные рабочие, и совсем слабою, как свой брат-арестант. Убийства своих, убийства в тюремных стенах являются новым видом этих преступлений на самой каторге.

Два шмельцера играют в карты с каторжным Исаевым. Исаев выиграл, но выигрыша ему не отдают. Он спорит, решается в крайнем случае идти для разбирательства в полицию. При нем один шмельцер говорит другому:

— Ежели бы ты добрый служитель был, то ты бы Исаева, как ссыльно-каторжного, бил бы и давно выгнал вон, коему и закон, если он пойдет в суд, не велит верить.

Исаев закидался по избе, схватил нож, побежал за обидчиками и кого-нибудь из них непременно бы зарезал, но впотьмах не нашел ни одного.

В Петровском заводе был известен всем декабристам горбун, ходивший постоянно с палочкою — еврей, сосланный с австрийской границы за контрабанду в Енисейск. Оттуда горбун, за воровство со взломом, был прислан в Петровский завод. Здесь рассказывал он про себя, что сделал его горбатым кнут, и, между прочим, откровенно передавал такую повесть.

Дали ему за преступление 101 удар кнутом, стали налагать известные клейма: В. О. Р. Он неладно сел. Квартальный рассердился, выхватил у палача кнут, стал бить по голове сверх законных ударов.

«Постой же, думаю. Снесли меня в больницу. Здесь я притворился, что умираю, и сказываю: пусть-де возьмет у меня квартальный пояс, а в поясе, мол, деньги. Пришел он. Я свалился с койки на пол, начал стонать, рукой на пояс показываю. Наклонился квартальный за деньгами. Я изловчил руку, сгреб припасенный нож, распорол квартальному брюхо и грудь ему поднял».

На наших глазах в Верхнеудинске окончилось последнее действие драмы, которую затеял другой еврей, Хаим Аврумов Вульев. Кончилось оно тем, что его прогнали сквозь строй за побег с каторги Кутомарского завода, за нанесение по поимке из этого побега тюремному смотрителю Верхнекарийского промысла ножом раны и за убийство ссыльно-каторжного Николая Семенова[93]. Последнее убийство обставилось для Вульева такими подробностями.

Работал он с товарищами на тюремном арестантском огороде под наблюдением часовых, стоявших у тюремного помещения. Захотелось ему отдохнуть, и он вошел в кухню в то время, когда староста Семенов вынул из котла мясо и хотел резать его на пайки. Для этого получил и нож, сохраняющийся всегда у военного караула. Пока товарищ Семенова ходил за комнатным надзирателем, чтобы пригласить его размерять на пайки вареное мясо, Семенов лежал уже на нарах близ двери зарезанным. У Семенова с Вульевым были какие-то счеты, ничтожные до того, что слышавший спор их из соседней комнаты не счел за нужное войти и мирить. Но Семенов успел выговорить: «Ты злодей не только мне, но и всему миру».

Вульев, тотчас подскочив к Семенову, ударил его по лицу и с азартом требовал от него доказательства, почему он злодей, и при-

---

[93] Гоняли его сквозь строй через тысячу человек один раз и указали, сверх прежнего срока, приковать к тележке на два года, а восемь лет потом содержать в отряде испытуемых. Вульев всю тысячу сразу не прошел, упал в обморок. Когда фельдшер привел его в чувство, Вульев первым делом ударил благодетеля по щеке; вторым — пригрозил убить судью и стряпчего, лишь только удастся ему бежать из тюрьмы. То же самое настойчиво повторял он и на койке в лазарете, излечиваясь, чтобы доходить остальную тысячу.

том ткнул в левый бок Семенова тем ножом, который вырвал из его рук. Семенов застонал и лег на нары. Вульев — но собственному сознанию и по свидетельству очевидцев — видя Семенова в отчаянном положении, бросил нож и пошел в казарму казаков объявить, что он зарезал старосту. Рану убитого пробовали присыпать табаком и прикладывать тряпку «для удержания кровоизлияния», но Семенов через несколько минут умер, не объяснив причины ссоры.

Вульев растолковал ее таким образом: «18 дней не выходил я на работу и занимался шитьем одежных вещей: починкою штанов и шитьем сюртука. Пришел на кухню по просьбе товарища-арестанта портного же Янкеля Трусселя, от которого получил 1 руб. сер. для того, чтобы прибить Семенова, а Труссель был в ссоре с Семеновым "за непродажу ему сапогов"».

Из медицинского свидетельства видно, что Вульев «телосложения слабого, страдает хроническим расстройством сердца с сильным биением оного, имеет изломанную головную кость, на левое ухо глух и болен ломотою ног, из которых правая одеревенела и не чувствительна». По статейному списку узнаем, что ему 44 года, из мещан, что он прислан в каторжную работу на заводы за грабеж, наказан кнутом с постановлением знаков.

По самому делу и допросам подсудимых ясно, что драки и ссоры — обыкновенный тюремный способ препровождения времени, что затеваются они на этот раз не впервые, по вызову самых пустых и ничтожных поводов, и наверное на этих невинных занятиях многим удается срывать свое сердце и облегчать душу, не догрызаясь до ножа, не раздражаясь до убийства. Граница лежит там, где уколы бьют по соседству и не попадают в жгучую рану, снабженную наболевшими и раздраженными нервами. Таких, у которых разбереженная рана никогда не заживала и постоянно ныла, одним словом — таких, о которых любят повествовать французские писатели (как, напр., Appert), на наших галерах почти нет совсем. Сиживали они все когда-то в одном месте: в Акатуйской тюрьме на цепях, но перед французскими злодеями, вроде Бенуа, Жоффрена, Полишинеля, Режеса, Ласенера и Авриля наши убийцы — грубая мелкота, далеко не так тонко выделанная и замечательно простоватая. Попрочнее и поядовитее других выдался некто Филиппов. Придет припадок, он и когти припрячет, приладил оружие — когти

выпустил. Освобожденный от кандалов, он купил себе в Акатуе домик. Раз подступил к нему прилив злых мыслей: посадил он в печь именинный пирог и пошел к надзирателю рудника кланяться, просить осчастливить посеще-нием. Тем же упросил содержателя и смотрителя. Все любили выпить (он это знал). Напоил он их до бесчувствия водкою с дурманом, разорвал на них платье, подбил глаза, наломал бока, перебил собственные горшки и оконныя стекла, переломал мебель. Явясь к главному начальнику, он жаловался, что гости его крепко иззуботычили. Представил тому несомненные доказательства: вот валяются на полу. Успокоился он, когда гости заплатили ему большие деньги по приказанию главного начальника. Его несколько раз приковывали на цепь и увольняли.

Раз, когда он сидел на цепи, услышал стороною разговор о собственной жене, которая будто бы завязывала связь с выпущенным недавно на волю арестантом. Ревность заставила его притвориться больным и лечь в лазарет. В лазарете прикинулся он умирающим, просил жену навестить его перед смертью. Эта пришла с калачами. Филиппов притиснул ее к окну, схватил ее за горло и уже поднял на воздух, чтобы совсем задушить, но на выручку прибежали арестанты с солдатами. Сидел он в последний раз на цепи рядом с Безногим, убийцею и бродягою, лишившимся ног в лесу на морозе. Оба жили дружно и дожили до того, что у них могла сладиться игра в карты. Раз за игрою повздорили и подрались. Безногий схватил Филиппова за горло и так сильно ударил его головою о железную решетку, что раскололся череп, и Филиппов исчез из списка злодеев.

Восточная Сибирь, как преимущественное складочное место всех убийц и злодеев, сохраняет, между прочим, об одном такое предание (в Минусе). У мещанина живет беглый и ходит с ним на охоту. Раз в одну из таких прогулок заметил он зверовщика, достававшего с дерева подстреленную белку. Бродяга хладнокровно прицелился и ухлопал наповал этого незнакомого и первого встречного. Содрав одежду, он пошел домой. Натолкнувшись на другого, с ним поступил так же. Мещанин-спутник стал его упрекать. Бродяга скрутил ему руки и ноги, ограбил, потом начал отрезать ему члены один за другим с наслаждением, не торопясь. Жена мещанина, не дождавшись мужа, объявила о пропаже его. Поли-

ция нашла труп и поймала бродягу. На допросе он повинился еще в 15 убийствах и охотливо рассказал, что с убитыми не расставался разом, а находил большое удовольствие в том, чтобы полежать возле него и даже поспать целую ночь рядом с трупом.

При условиях возбуждений, подобных тем, которые натолкнули на убийство даже евреев, горбуна и Вульева (народа наиболее осторожного и наименее причастного смертному греху смертоубийства), не мудрено возрасти в десять лет цифре до 11 (представить по одному случаю на год) и затем оставить такое слабое вероятие для убийства всем ссыльным, так что собственно старым убийцам для новых убийств остается ничтожное место. Не потому это так, что злодейской руке мало простора в слабонаселенных забайкальских и сибирских краях, обладающих всеми средствами раздражения, но потому, что и здесь убийство — явление необычайное, будучи взято не во времена народных бедствий, когда усиливаются кражи, возрастают грабежи и появляются разбои, обливающие следы свои человеческою кровью.

Такие времена для Сибири миновали с теми тяжелыми для новой страны днями, когда неправильные, насильные заселения ее всяким сбродом вызывали разбои и убийства повременно: во времена Петра на Иртышской линии; в половине прошлого столетия в юго-западной Сибири, в алтайских странах (разбойник Афанасий Селезнев), в конце прошлого столетия между Красноярском и Иркутском (Гондюхин), в начале нынешнего за Байкалом (Григорьев и Горкин). Разбои и убийства перекочевывали туда, куда направляли и где сосредоточивали искусственные заселения. Не исчезло это явление и при более неблагоприятных географических и экономических обстоятельствах: разбойничал бывший князь Баратаев за Леною, когда прокладывали дорогу из Охотска на реку Алдан; нарождались разбои и производились убийства и тогда, когда заселяли пустынную Камчатку. Кемчугские горы и дремучие тайговые леса за Ачинском к Красноярску считались долгое время страшными для путешественников. Места придорожные окружены природными вертепами, обеспеченными непроницаемыми лесными трущобами. Разбои были сильны и прочны в силу принудительных поселений, устроенных так, что все жители разбежались за неимением силы расчищать леса под пашни.

Сибирские современные убийства совершаются отчасти под опасением возмездия каторгою, но в такой мере, что каторга действует оглушающим способом острастки и вовсе не владеет способами исправления. Свидетели злодейств, опираясь на предварительную порчу преступников в России, не имеют средств и времени определить свое место и устранить те благоприятные для преступлений причины, которыми обильно снабжены места, доверенные их надзору и попечениям. Как сам убийца, раскаиваясь на суде в собственном злодеянии, ссылается в оправдание на нравственное раздражение и исступление в следующих словах: «рассвирепев и как бы *окаменев*, я бросился на него, и проч.», так в тех же словах ищут оправдания себе приставники ссыльного люда, находящие это оправдание в предварительной и безвозвратной порче ссыльных. Между тем, на их же глазах происходят изумительные факты исправлений злых людей, конечно, помимо их участия и вовсе независимо от каторжного влияния. Превращение контрабандистов в убийц и исчезновение в убийцах убийц — слишком известные на каторге факты и слишком осязательные явления для того, чтобы можно было в них сомневаться.

У пристава одного из каторжных мест мы нашли разбойника, ограбившего почту и убившего ямщика с почтальоном, — в водовозах живущим и ночующим на кухне; у начальника промыслов — женщину, зарезавшую собственного ребенка, — в кормилицах, отличающуюся неусыпным надзором, необычайною любовью в воскормленнику и прочим детям, братьям и сестрам ее питомца. Известный всему Забайкалью, ловкий и весьма опасный разбойник и знаменитый песенник Горкин кончил тем, что в наше время возил, темными ночами, по пустынному и пятидесятиверстному перегону, через замерзший Байкал, откупных поверенных после того, как они успели обобрать во всех забайкальских кабаках все деньги, натасканные богателью торговою-казацкою и голытьбою каторжною-кабацкою, и совсем кончил уличным шутом-скоморохом с пляскою под веселый и шаловливый припевок на потеху деревенских ребятишек.

Таковы, на выдержку, первые попавшиеся под перо частные случаи из каторжной практики. Но и на этот раз частные случаи

предшествуют общим и пополняются ими. Миллионы возов с чаем из Кяхты в Москву, тысячи троек с серебром, предназначенным на вымен этих чаев, из Москвы в Кяхту прошли и пробежали то тому же Забайкалью, населяемому предпочтительно самыми опасными и испорченными людьми, выброшенными за негодностью из опасливой и трусливой России. Под самыми воротами и стенами каторжных жилищ казна провозит огромные суммы, назначаемые в два свои самые отдаленные казначейства. Трехмиллионная торговая компания провезла свои миллионы и, не истеряв в дороге, все бесследно и безвозвратно сама утопила в Амуре до последнего рубля и копейки. Ежегодно из самого нутра каторжного пекла в конце зимы, на почтовых тройках, та же казна возит на многие сотни тысяч золото и серебро в слитках под охраною самого ничтожного числа забайкальских казаков, носящих удалое звание только по преданию. Туземец-сибиряк вовсе не видит в этом рискованного дела, но даже ждет такого времени с нескрываемым нетерпением, суеверно веруя, что, когда «пробежит золотуха» (транспорт с золотом), в воздухе полегчает, морозы с этой поры станут сдавать и слабеть, а пробежит «серебрянка» — придорожный сибиряк набожно крестится и приговаривает: «Слава Богу и Иннокентию, чудотворцу иркутскому! увезли мирскую кровь и людские слезы! Надо телегу чинить, скоро кукушка закукует».

Во всю длину битой дороги, идущей через Сибирь, доброхотные люди из старожилов дают проезжим легкие советы быть осторожными на ночное время в двухтрех местах на всех четырех тысячах верст всего пути в самые дальние места самой строгой каторги. Там же, где сама каторга считает собственные сотни верст, предостережений таковых проезжий не получает. Затем уже нигде не испытывает он больших неприятностей от дорожной встречи с обозами, беззаботно растянувшимися по всему полотну битой зимней дороги. Словно и едят здесь эти извозчики круче и дохи их теплее, а потому и спят они на возах крепче.

Что на виду, то и на самом деле. Нескрываемою, насмешливо-хвастливою улыбкою встречают настоящие знатоки каторжных порядков и ближайшие приставники и блюстители ссыльных людей всякое сомнение в безопасности их положения среди испорченного

на родине и озлобляемого на чужбине ссыльного люда. Какою-нибудь сотнею казаков, где старый зачастую путается на службе с малым, — эти уверенные в себе люди защищаются сами и защищают казенное и свое имущество от огромного сброда настоящих порченых преступников, у которых утратилось все заветное и святое, у которых даже собственная одежда, в зимние холода, на плечах не держится и либо проигрывается в карты, либо обменивается на вино. Наблюдатели, официально обязавшиеся должностью и службою, уверяют, по личному опыту, что большая часть преступлений вверенных им людей родилась из нужды, доведенной до крайности, и сопряжена с захватом чужой собственности, что только незначительная часть совершена под влиянием страстей, что это так и должно быть, потому что большинство пришедшего на каторгу народа — люди простые, необразованные, либо крестьяне, либо мещане. Другие наблюдатели (не присяжные, но сторонние), которых судьба привела в каторжную жизнь из среды образованного и даже высшего круга, рядом опытов и долговременного изучения пришли к тому же основному выводу, что все эти каторжные люди пали под влиянием каких-нибудь случайных обстоятельств. В деле падения их всего меньше заметно участье сердца. Оно, это сердце, во всяком случае, не злое, а испорченным является уже потом и именно здесь, на каторге. Все это — именно несчастные люди, как совершенно верно и достаточно метко определил их сам же простой народ, выделивший из себя этих преступников. Вот почему (говорят нам) и среди этого народа, не вооруженная револьверами и ружьями, не защищенная заборами и стенами, красуется тихая сельская жизнь с тою же прелестью совершенно обеспеченного и защищенного труда на Шилке и на Аргуни, на Хилке и Газимуре, как бы и на матушке-Волге, и что едва ли даже не в большей распущенности проводится и не с большею беспечностью устраивается и семейная жизнь здесь, чем, например, в больших городах русских, оберегаемых полициею.

М. М. Сперанский, побыв генерал-губернатором Сибири, писал своей дочери (1819 г.): «Число ссыльных, как капля в море; их почти не видно, кроме некоторых публичных работ. Невероятно, как вообще число их маловажно. По самым достоверным сведениям, они

едва составляют до двух тысяч в год, и в том числе никогда нет и десятой части женщин. Со временем я издам таблицы, которые удивят просвещенную Европу! Они докажут, что у нас в 20 тысячах едва можно найти одного преступника, да и то воришку маловажного; важных нет и на сто тысяч одного. Я сам не поверил бы сему прежде и считаю это великим в моральном мире открытием».

Он же говорил генерал-губернатору Восточной Сибири, Сем. Богд. Броневскому: «Мнение, будто бы в Сибирь ссылают людей самых порочных, не точно. Объясню притчей. Многие переходили ров, один за другим, по узкой кладке. Осторожные все перешли, а один упал, заглядевшись на сторону, замарался и ушибся!» Затем этот же Броневский писал в посмертных записках: «Притча Сперанского объясняет некоторым образом, что, действительно, большая часть зевак туда попадает. Бедность, вино, любовь, солдатство и несносные господа либо управители влекут народ на заселение Сибири. Многие говорят, что преступники, перейдя границу европейскую, т. е. Уральский хребет, совершенно перерождаются к лучшему, — и не мудрено! — широкое раздолье угодьев, довольство в первых потребностях и свободное состояние, вымененное на рабство, при разных облегчениях, даруемых правительством ссыльнопоселенцам, хотя какого заблудшего образумит. Не должно впадать в заблуждение, считая и варнаков людьми опасными и безнадежными. Разбойник-тать, по внушению ловкого соблазнителя, при нужде и бедности, оглушенный вином, впав в преступление, вдруг видит пропасть, в которую себя вверг. Совесть начинает его со всею силою мучить, и он, чтоб освободиться от этого страдания, часто добровольно отдает себя на другое: в руки правосудия, и с сильным раскаянием терпеливо влачит свою жизнь в работе и изгнании. Есть много сосланных за политические и противорелигиозные преступления и по замешательствам, происходящим в городах, селениях и полках, увлеченных общим движением или поверивших, по невежеству своему, нелепым внушениям злокозненных лиц. Я знаю, что в заводах и рудниках многие каторжные исполняют, со всею верностью, интересные должности. Зародыш добра в таких до того силен, что худые примеры и разные рассказы в сонме закоренелых преступников не производят на них ни малейшего влияния. В Сибири почти у всех чиновников и купцов

прислуга из класса ссыльных. Однако примеры побегов с воровством, тем более злодеяниями, довольно редки».

Короче Сперанского и Броневского, но согласно а. ними, выразился Кетлэ (в своей «Physique sociale»), что преступление есть немой, в большей части случаев, бессознательный протест человеческой природы против несовершенств общественного устройства. «Chaque criminel est le martyr de l’ordre sociale». Крупные преступления — исключения в общественной жизни, они не нарушают обычного, заведенного порядка. Важность их заключается в их необычайности, преступления же мелкие совершаются ежедневно и всего более колют глаза заведенному порядку, хотя внимание публики к ним равнодушно. К тому же (как сказал Фурье) «безнадежная бедность так же способна ненавидеть закон, как чрезмерное богатство его презирать».

Нерчинское горное начальство приняло в течение одного десятка лет (с 1-го января 1847 г. по 1-е января 1857 г.) на свои каторжные работы изгнанных из России за негодностью и признанных опасными для нее шесть тысяч двести тринадцать человек самых тяжких преступников. В этом числе, в расчете на большее преуспеяние края и на пущую опасность для нессыльного и непреступного населения из старожилов, явилось из России одних убийц 2179 человек, более чем третья часть всего числа убийц, приговоренных на каторгу в России и высланных в Сибирь в предыдущий десяток лет (с 1837 по 1847 г.). Кроме того, с единственным, но призрачным выигрышем для себя, Россия выслала в нерчинские рудники, в тот же десяток лет (конечно, не для исправления), разбойников и грабителей (воров со взломом) 1136 человек; фальшивомонетчиков и покупщиков краденого 191, поджигателей 174, святотатцев — 72, произведших растление — 54, возмущение 12 и оскопление — 7, и 2256 человек, «обвиненных в неоднократных побегах», сопряженных с другими преступлениями и, вообще, недаром скрывших свои настоящие имена и объявлявшихся на суде «непомнящими родства»[94]. Если, может быть, и не все провинившиеся в этих преступ-

[94] Общее число ссыльных в нашу десятилетнюю сложность дополняется, сверх того, еще 2-мя сосланными за пристанодержательство (то есть притонщиков, державших притон для преступников), 77-ю сосланными за

лениях в России за период предшествовавшего десятка лет, а только пойманные и уличенные явились на нерчинскую каторгу, если даже и из обвиненных и приговоренных в ссылку некоторая часть (и довольно, впрочем, значительная) оставлена для работ по сю сторону Байкала (на сибирских казенных заводах и фабриках[95]), тем не менее, предлагаемая цифра сосчитана верно и закреплена поголовною перекличкою и поверкою. Не вся эта цифра налицо (это также верно): она не только в первые месяцы по приходе, но даже и в первые недели, изменилась побегами, однако в ней достаточно есть грязной, враждебной и опасной силы для туземного населения, имеющего несчастье жить в соседстве с каторгою, владеющего от труда нажитою собственностью, нередко именно в таком размере, чтобы порождать соблазн и возбуждать зависть в неимущем, потерявшем все, даже доброе имя.

Мы видели, насколько не крепки кандалы, как скованные в России, так и заменившие их в Сибири. Все знают, до какой степени негодны тюрьмы России, хотя они построены за дорогие деньги из каменного материала по системе подрядного соперничества. В Сибири даже и тюрьмы не все каменные, а те, в которых скопляется наибольшее число опасных людей (каковы тюрьмы каторжные), как бы намеренно деревянные, но с тем же ржавым железом в окнах и на дверях, с такими же подкупными сторожами и, вообще, с ненадежными затворами и запорами. К тому же на каторге ценится рабочая сила, которая возила бы руду и разгребала бы пески; для педагогического заведения на каторге нет ни места, ни времени. То чудо, что опасное для России население, без видимых внутренних причин и без всякого старания и попечения извне, становится безопасным для Сибири, — возбуждает недоверие и порождает

«дерзость против начальства», 19-ю за утрату казенных вещей и повреждение у себя членов (за членопредительство, как привыкли выражаться ваши законники по немецкому способу словоизмышлений) а 54-мя, присланными на Байкал за политические дела (то есть — поляками).

[95] Так, например, большая часть ссыльных женщин оставлялась, не доходя Иркутска, на Тельминской суконной фабрике, в силу указа 1798 г. (26 марта). Только на короткое время эта фабрика уступала ссыльных женщин для отправки на Александровскую фабрику в Тифлисе.

обязательство поверки такого знаменательного и замечательного факта. Мы старались произвести ее при содействии лиц, близко стоящих к делу, расспросами самих преступников и личными нашими наблюдениями над тою частью России, которая так грозно, своеобразно и самостоятельно оттенилась от всех других частей России, не имеющей с Забайкальем в этом отношении никакого сходства.

Мы останавливались на убийцах и на самом преступлении смертоубийства, как на таком, которое не есть следствие разбоя или грабежа и не вытекло из бродяжничества — этого богатого источника многих злодеяний, но то смертоубийство, которое и нерчинскою статистическою таблицею выделено в отдельную графу и на самом деле, в общественном значении этого слова, стоит отдельно и одиноко. Убийство, как болезненный нарост на общественном организме, не оправдываемое никакими законами, но тем не менее, подчиненное своим, служит, в одно и то же время, и мерилом для выяснения большей или меньшей степени развития нравственного состояния известных классов общества в данную эпоху и характеризует целый народ, объясняя ступень, на которой стоит его цивилизация. Это обязывает нас оглянуться назад, припоминая одну случайную встречу с убийством, наделавшим шум на всю Россию и до сих пор не забытым в Москве, и с убийцею, выходящим из ряда обыкновенных, на месте его изгнания.

Глава II. Убийцы

Причины смертоубийств и проявление этого преступления у нас. — Места, наиболее богатые убийствами. — Монгольские племена. — Прочие инородцы. — Урал. — Заводские люди. — Детоубийства. — Убийства жен и мужей. — Братоубийства. — Убийства родственников. — Убийства помещиков крестьянами и дворовыми. — Крестьянские бунты

В России ежегодная цифра убийств принадлежит по разрядам преступлений к одним из самых крупных. В среде их, по количеству преступников, она занимает третье место. Преступление этого рода уступает числом жертв лишь бродяжничеству и разного вида воровству (краже и мошенничеству). Разделяясь на смертоубийство умышленное и случайное («по неосторожности»), оно дает число

ссыльных по первому виду почти в семнадцать раз больше, чем по второму. В года, ближайшие к годам нерчинской таблицы, в течение девяти лет (с 1838 по 1847 г.), всякого рода убийц прошло в Сибирь 4952 мужчины и 1451 женщина[96] Из этого числа крупные цифры принадлежат тем губерниям, которые по преимуществу населены инородческими племенами, стоящими на самой низшей степени гражданского развития, не отставшими от кочевой жизни и тех привычек и верований, которые являются ее следствием. Монгольские племена, составляющие большинство населения восточных русских губерний, за долгое историческое существование в среде влияния славянской расы, оказали большое упорство и крайнюю устойчивость в коренных народных началах и неподатливость влиянию чуждых. Упрямо и медленно поддаваясь успехам и условиям гражданственности чужого племени, монгольские в большинстве сумели остаться при тех же первобытных грубых нравах, которые характеризовали их и в отдаленную эпоху их политического существования. Если заметна между некоторыми из них большая мягкость нравов, уступивших духу времени и некоторым правительственным настояниям, то зато другая, и большая, часть упорно отстаивает свои племенные особенности. Если лихой татарин успел измельчиться в бывшем Казанском царстве в торгаша-бухарца, и буряты начали мирно распахивать поля под Иркутском, то, с другой стороны, киргизы не отстают еще от грабежей и хищнических наездов, обливая следы баранты человеческою кровью, а татары и буряты берегут на крайний случай и на благоприятный вызов неудержимую дикую вспышку. Они не потеряли понятия о мести кровь за кровь, этой характерной черты азиатских народов, еще не оседлых и не гражданственных, — черты, выразившейся с большей определенностью и последовательностью в жизни кавказских и закавказских горцев. Вот почему и тобольская табель о ссыльных должна была выразиться в таком виде: убийц: татар 67, башкир

[96] В это число тобольские табели о ссыльных включили, вместе с самыми убийцами, и количество тех преступников, которые знали о преступлении и не объявили начальству, и тех, которые осуждены по подозрению и, наконец, тех, которые нанесли телесные повреждения другим лицам с намерением к убийству.

44, киргизов (только из Оренбургской губ.) 8, черкесов (только мирных) 7 (между прочим, грузин 62). Наклонность к убийствам в магометанах выразилась так, что составляет самую видную и крупную черту их нравов.

Точно так же и в тех инородческих племенах, происхождение которых этнографы и филологи приписывают чуди, коренные народные свойства крайне живучи и деятельны. Не так давно начали редеть слухи о так называемой «сухой беде» — особенном виде самоубийства, требующем от обиженного вотяка, чуваша и черемиса веревки и петли, чтобы повиснуть на ней над воротами обидчика. До сих еще пор на наших глазах воровство всякого рода не считают грехом ни вогулы, ни цыгане, ни дальнее сибирское племя якутов; зато у тунгусов оно — поразительная случайность, преследуемая и нетерпимая целым племенем. Нигде в Европе законодательство не стоит в такой крайней зависимости от требований разноплеменности, и нигде оно не находится в таких крайностях и трудностях и в большей ответственности перед законами человечества, как у нас в России. Нигде также нет большей трудности решать о степени нравственного развития народа по статистическим числам его преступлений; до сих пор мало изведаны и выяснены всякие пружины, руководящие духом известного племени, мало исследованы и изучены самые племена, населяющие Россию. Тем не менее в списке губерний, объявившихся с более крупною цифрою убийств, первое место заняли губернии, населенные инородческими племенами, преимущественно мусульман: Оренбургская, Тобольская, Пермская, Казанская, Вятская, Грузино-Имеретинская (нынешная Тифлисская), Симбирская и Кавказская область (нынешняя Ставропольская губерния). Хотя, в то же время, почти все эти губернии принадлежат к одним из самых населенных (в особенности Вятская) и, по-видимому, таковое отношение преступников к общему числу жителей должно уравновешиваться в одинаковой мере с другими столько же населенными губерниями, но этого нет на самом деле. Столько же и даже более населенные губернии (каковы все южные степные) уходят на второй и третий план, составляя вторую и третью количественную категорию. Только здесь, в этих губерниях, свободных от инородцев-мусульман, число убийц встало в соответственные отношения к числу жителей,

уравнивая, таким образом, преступность их населения[97] Разделение преступников по губерниям не представляет мерила, достаточно законного и определенного: нигде произвольное разделение России на губернии, без ясных и правильных оснований, не является с более поразительною очевидностью, как на этот раз, и не представляет большей запутанности и затруднений, как именно в стремлениях, подобных нашим[98]. Если принять в соображение, что, например, губерния Московская имеет большее число жителей, чем Казанская, а Пермская и Оренбургская вместе взятые меньше Вятской, то вопрос о тайных пружинах, руководящих народными инстинктами и наталкивающих на известный род преступления, не теряя своей важности, все-таки остается не разрешимым до тех пор, пока не

97

За 20 лет	Убийц	Число жителей
Курская………….	540	1900000
Харьковская…….	478	1600000
Черниговская…..	430	1500000
Полтавская……..	379	1900000
Пензенская……...	339	1900000

98 Будущая работа в этом роде потребует отделения преступников городских от сельских, ибо города везде греховнее селений. Также немалая трудность и большая осмотрительность понадобится в том случае, когда придется суметь и успеть отделить пришельцев от туземцев. В кочующем населении торгового и промыслового русского люда, меняющего свои места, как меняются цвета в калейдоскопе, и теперь лежит много причин тому, что разделение преступников по губерниям не имеет достаточного основания и права. Барышники из касимовских татар и из цыган, не имеющих определенного места, вернее попадутся в конокрадстве вблизи конных ярмарок и пойдут в Сибирь из Лебедяни и Котельнича за рязанца и вятского. Убийца-бурлак из тверских уйдет из Астраханской губ., где ему больше вероятия голода, грабежей и убийства, а пензенский крестьянин, обреченный на постоянное пьянство на каспийских рыбных ватагах, уйдет в Сибирь оттуда же за грабеж под призрачным именем астраханца и проч. и проч. Так, между прочим, Петербургская губ., со столичным городом по населению равная Костромской, по количеству убийц встала к ней в такие отношения: в 20 лет с 1827 по 1846 убийц Спб. 398 муж. и жен., Костромск. 254. Весь излишек дополнен с избытком г. С.-Петербургом.

будет существовать у нас уголовной хроники и юридической характеристики местностей. Теперь для них самое важное и необходимое время, но ни тех, ни других до сих пор литература наша не имеет; те и другие являются пока делом случайностей. Со временем определится, с цифровым подкреплением, та несомненная истина, что, например, губернии Оренбургская и Пермская (меньшие) преступнее более населенной губернии Вятской в грехах убийств и оттого, что в этих губерниях происходит наибольшее скопление беглых преступников из Сибири, и потому, что большинство населения их, помимо инородцев, принадлежит заводскому люду, истощенному до крайней бедности и отчаянной нужды недавними порядками посессионного и владельческого права. Теперь уже довольно ясно можно видеть из отчетов горных начальников о происшествиях на казенных и частных заводах, насколько убийства были там не редкость и сколько безнравственно рабочее население вдоль всего богатого и рудоносного Уральского хребта.

Из просмотра уголовных дел видно, что большое количество преступлений совершается по Уралу на частных заводах; на казенных сравнительно меньше. Грабежи отличаются удальством и смелостью и не обходят даже главного заводского города Екатеринбурга, который резко выдается в этом отношении из ряда других русских городов. По делам 1858, 59 и 60 годов наибольшее количество преступлений группируется около частных заводов: Кыштымских (9 убийств), Невьянских (6 случаев), Нижнетагильских (6 случаев), Алапаевских и Уфалейских (по 5). Из казенных преступнее других Богословские, причем на один город Екатеринбург и при этом на один только год (1859) выпало семь случаев убийств. Грабежи идут в соответствующей пропорции, и самоубийства также явления нередкие. Убивают довольно часто мужья любовников своих жен; убивает сын отца, с участием матери и товарищей, застав его на месте прелюбодеяния; свояк удавил свояка, по просьбе жены последнего, и вместе с нею вывез труп за селение, положив в сани с бандурою и полуштофом водки. Сестра зарезала ночью сестру за то, что та доносила матери о распутной жизни убийцы, и созналась в том, что сначала собиралась изрубить ее топором, потом хотела уступать пестом. Муж задушил беременную жену за то, что она не дала ему на свадьбу рубахи и обругала его варнаком, а чтобы

скрыть преступление, по совету бабки, ездил к священнику с просьбою растворить в церкви царские врата, а в доме отпер все замки: мучилась-де родами, от мук померла. Мертвый младенец плавает в озере; маленький мальчик, посланный за милостынею, лежит зарезанным в холостой избе. Один коновал в кабаке дал заводскому вместо молотого табаку пережженного купоросу; обиженный вышел было вон, да вернулся, и говоря про себя себе под нос: «Кто смел меня ударить?», пырнул, вместо коновала, ножом в бок заводского. Одного убитого сожгли в печи в бане; другой, услыхав ночью шум, выскочил на двор с дверным запором и не возвращался; он найден избитым, окровавленным и уже бездыханным. Третий заводской крестьянин едет по дороге и слышит, как впереди его кричит один голос: «Начинай!», а другой: «Не робейте!» Затем: «Караул!» раза четыре и просьба: «Васенька, заступись!» И опять: «Не шевелись, и тебе то же самое будет». И снова крик: «Ну, ребята, в которой крови я плаваю теперь, в той же крови будете плавать и вы». В итоге опять труп убитого и новые преступники — пастухи, которые выпросили убитого подвезти их на лошадке, и проч.

Конечно, и на этот раз большинство случаев убийств являются следствием грабежа, меньшинство вызвано ничтожными и пустыми поводами, драками и ссорами в пьяном виде. Орудия наполовину обычные: сверкает топор, бьет кулак в висок, силятся мускулистые руки сократить жизнь, сдавливая горло или причинное место. Зато уже в большом ходу яды, долговременная подготовка к преступлению. Между убийцами мало людей неизвестных, из бродяг, все свои — заводские и фабричные люди. Бродяги «шалят» отчасти в Екатеринбурге и вольнее хозяйничают за городом, в пределах, ближайших к Сибири и настоящих сибирских. Раздраженные каторгою, а затем всякими неудачами во время побега, сибирские беглые, вместе с поселенцами, успевают установить такое резкое явление, что Тобольская губерния соперничает с Пермскою и также на все роды преступлений умеет отвечать самыми крупными цифрами. Одних убийц в 9 лет, нам известных, губерния эта дала 176 муж., 23 жен.; Пермская 171 муж., 26 жен. В 20 лет Пермская успела дать уже 538 муж. и 144 жен. — 682 убийцы — и превзошла и Оренбургскую (617 убийц), и Курскую (540), и Вятскую (447), и С.-Петербургскую (398). Издавна Тобольская губерния населялась

преступным и дурно обеспеченным на поселении людом и притом в такой системе, которою не давалось правильной оседлости, не указывались работы и не направлялся труд — это самое верное исправительное нравственное начало. С давних времен Тобольская губерния представляет до сих пор такое место, где скучивается наибольшее количество бродяг — беглых с каторги и мест поселения, жаждущих проскользнуть в Россию. Как у дверей кассы, в ожидании очереди, они производят тесноту и на безделье и досуге пошаливают, а в грабежах наталкиваются на убийства.

К более вероятным и определенным заключениям ведут другие деления людей, пойманных на убийстве. Разбивая общее число убийц всякого рода на отдельные категории, мы приходим к тому выводу, что в этом числе большая цифра принадлежит матерям, убившим своих детей. В течение шести лет (с 1838 до 1844) ушло в Сибирь 317, тогда как мужчин за то же преступление осуждено было 23 человека. Чаще также убивают жены своих мужей и реже жен мужья, но зато, естественным образом, чаще брат брата, чем сестра брата, и примечательно реже умерщвляют своих родителей дочери, чем сыновья[99].

[99] Убийства этих видов находятся между собою в таких числовых отношениях (по годам, в общей сложности):

Преступления	1838	1839	1840	1841	1842	1843	Всего
Убийство:							
Мужей……………..	30	28	23	16	27	19	143
Жен…………………	26	20	9	11	21	36	133
Детоубийство:							
Матерями………….	39	53	67	43	59	56	317
Отцами…………….	3	5	3	5	3	4	23
Братоубийство:							
Братьями…………..	3	5	1	3	3	5	20
Сестрами………….	—	1	—	1	—	—	2

Убийство детей для женщины есть одно из тех преступлений, которое прежде других обрекает ее на несчастье ссылки и становится для нее обязательным в силу тяжелых бытовых условий, зависящих в одно время и от неправильных деспотических отношений мужей и семьи, и от того позора, каковым ее встречает общественная среда. Насильственные браки для увеличения тягот при крепостном состоянии, принудительные супружества в среде более свободных земледельцев (каковыми были прежде крестьяне государственные и удельные, а теперь все), супружества, основанные на

Убийство родителей:							
Сыновьями………..	3	3	3	7	6	5	28
Дочерями…………	2	2	—	1	3	—	8

Останавливаясь на этих жертвах столько же семейного деспотизма, самого мучительного и опасного из всевозможных деспотизмов на свете, сколько и личного животно-зверского проявления чувств в испытуемом, мы снова должны сожалеть о том, что по следующие табели тобольского приказа о ссыльных, по какому-то непонятному соображению, изменили план сортировки преступников и разнородных сбили в одну кучу, подчинив их общей таинственной рубрике, какова, например, «оскорбление родительской власти». Надо заметить, что приводимые цифры до того устойчивы, что еще в 1759 г. когда вознамерились всех преступных женщин выслать для брака к холостякам на Иртышскую линию, из 77 женщин, прошедших туда через Омок, 54 оказались сосланными за убийство мужей, 10 за детоубийство, 1 за отцеубийство, 1 за блуд с отцом, а прочие с тою же несокрушимою последовательностью, как и в наши дни: за поджоги в помещичьих имениях, за кражу, побег и порчу волшебными травами и словами.

Замечательно то, что Сибирь начинала свою историю нередкими случаями детоубийств. Это преступление до такой степени было усвоено женским населением молодой страны, что вызвало сильные сокрушения и жалобы, однообразные и взаимно-подкрепляющие друг друга с обеих сторон. Об огромном количестве часто повторявшихся случаев этого тяжкого преступления свидетельствуют: тобольский митрополит Филофей, находивший причину его в сильном разврате ссыльных женщин, и Иннокентий Неронович (епископ иркутский), говоривший, что убитых и вытравленных младенцев хоронили матери в ямах отхожих мест.

воле большаков семей для приобретения дешевой рабочей силы, а не на взаимной любви и согласии сговоренных, обилие разного рода отхожих промыслов, требующих продолжительных отлучек, а также и ранних браков для замены себя женою в семье; при этом зимние стоянки громадного количества солдат, холостых и одиноких, из которых значительная часть, в свою очередь, покидает на местах родины и в постойных городах, на правах вдов, собственных жен-солдаток, — вот где находит себе оправдание этот вид убийства, убийство детей. Оно для женщин является тотчас роковым, как только вступает она в период деторождения; встает на первое место в возрасте свыше двадцати и затем до 40 лет не уступает его ни одному из других родов женских преступлений. В период ранний (от 15 до 20 лет) женщина производит еще расчеты с мужем, пробует силы собственного терпения и покорности и, при недостатке таковых и при бессилии, выставляет на первое место убийство мужей, каковое преступление в последующие два десятка лет женского возраста (до 40) отходит на задний план и уступает виновности женщин в поджогах и в убийстве чужих. По сравнению процентных отношений, с этой стороны у женщин замечается даже особенная наклонность к убийству мужей. При этом жены большею частью прибегают к помощи ядов. В 4 года (1843 по 1847) из 128 убийц собственных жен было только 5 отравителей, из 190 женщин, за тот же период времени, 66 отравительниц. В период улаженного семейного быта ненависть к мужу женщина продолжает вымещать убийством детей даже до конца своих дней, даже за 60-е годы жизни. Для солдаток убийство детей вероятнее, чем для крестьянок, а преступность детоубийства у мещанок слабее обоих видов этих русских сословий, наиболее других виновных в отнятии жизни у собственных созданий. По различным местностям России преступление этого вида распределилось в соответствии с количественностью населения: с большим числом случаев исключений (в 9 лет) в губерниях малороссийских и с меньшею цифрою на те губернии, где преобладает мужское население в силу еще продолжающегося заселения их бродягами- одиночками (губ. Астраханская, например, не дала ни одного случая убийства детей во все десять лет).

Убийство родителей (без разделения в тобольских табелях отцов от матерей), по приметной исключительности, вовсе не свой-

ственно обитателям большей части степных губерний, организующихся при участии оббившихся от семей молодых пар или бобылей, и губерний северных, где патриархальная чистота нравов сохранилась во всей целости так же, как и во всех пяти белорусских губерниях. В большей виновности по убийству родителей оказываются две губернии заводские (Пермская и Оренбургская) — готовые участники во всех родах злодейств и преступлений. В них, как и во всех других, перевес убийств обращается на сторону сыновей; соответствуют у них и у дочерей в большей степени возрасту зрелому (у сыновей от 20-ти до 40 лет, у дочерей от 16-ти до 30-ти). Разбирая убийц родителей по сословиям, увидим, что процентное отношение сильнее в дворянстве и у казаков. В купечестве, духовенстве и у дворовых преступления этого не существует вовсе[100]. Убийство родственников, а также сестер и братьев, не представляет никаких характерных особенностей, оставаясь в незначительных цифрах даже и для густонаселенных губерний. Мужчины, естественно, в этом отношении виновнее женщин, не по праву исключительности отношений в общественном (не семейном) смысле, а в силу того закона, что, вообще, мужская натура несравненно грубее и преступнее женской. И жертвы вслед за жертвами обязывают нас перейти к тем из них, которые пали, как очистительные, за тяжкий грех, некогда исповедуемый всем населяющим земной шар человечеством и не так давно присущий всему нашему государству. У нас, в России, эта упорная и застарелая болезнь государственного организма в

---

[100] С Сибири убийцы отцов и матерей никогда не переводились в разряд испытующихся и не освобождались от заключения в тюрьмах даже за дряхлостью. В Восточной Сибири, именно в Минусинском округе, в 30 годах нынешнего столетия известна была одна замечательная убийца из женщин. Она памятна всем страстью к щегольству, которую не покинула и в остроге, сохраняя при этом все признаки душевного спокойствия. Сидела она в остроге за то, что удушила четырех евреев вместе с каторжным своим супругом. Супруг этот был у нее последний, третий. Первого она зарезала в России и за это попала на каторгу; второго, приобретенного в Сибири она задавила пьяным. Несколько раз была бита кнутом; суд обличил, да и сама она призналась в убийстве евреев, за что получила 35 ударов кнутом и сослана в нерчинские рудники. Женщина эта была пригожая лицом, румяная, полная собою, с заманчиво-кокетливыми глазами.

наши времена разрешилась под влиянием хирургического ножа. Мы говорим о крепостном праве и, по плану нашего рассказа, переходим к тем преступникам, которые совершили убийство помещиков. Возвращаемся к прошлому злу, чтобы быть последовательными при дальнейшем объяснении цифры убийц, присланных вообще в Сибирь и в частности на нерчинскую каторгу. Эти преступники на меньшую половину крестьяне, отбывавшие на помещиков повинности деньгами и задельем, на большую — дворовые люди, т. е. тот непроизводительный класс русского населения, который в последние сто лет возрос до громадного количества, способного привести всякое другое государство, заключенное в тесных географических границах и не богатое свободными землями, до отчаяния и на край погибели. Усиленными побегами в разные стороны (и преимущественно в Сибирь) и усиленными стремлениями откупаться на волю посредством чрезвычайных услуг и денег дворовое сословие отчасти предотвратило опасность само собою, отчасти земельными наделами по силе узаконений. Во всяком случае, оно сумело, за долгое время существования, образоваться в особую касту, совершенно отличную от того сословия, которое легло в его основу, а равно не превратилось и в то, которое его вызвало и приблизило к себе. Тяжесть своего положения оно выразило в тех преступлениях, которые последовательно истекали из ложных бытовых отношений и направлялись к сознательным целям выхода из принужденных обязательств. Обезземеленные и обделенные собственностью, они воровали до такой степени неисправимости, что, помимо всех систем наказания, употребляемых в России и после них, в большом числе уходили в Сибирь. Они выражали личную месть в поджогах в лице женской половины своего сословия, поднимали и участвовали в возмущениях, на счастливые случаи прибегали к подделкам документов с целью денежных приобретений или для побега и — на крайние и несчастные случаи — производили убийства, направляя их против своих господ. Как поджигатель и как вор, дворовый преступнее всех; как подделыватель фальшивых актов, он слабее только дворян, как убийца, дворовый уступал одному только солдату. Дворовые женщины, в виде поджигательниц, преступнее всех мужчин, из какого бы сословия эти последние ни были нами взяты.

Вглядываясь в цифру убийц помещиков, мы видим то поразительное и важное явление, что не было губернии в Великой России, населенной крепостными людьми, которая не дала бы нескольких преступников, осужденных уголовными законами на ссылку в Сибирь если не ежегодно, то по несколько раз в течение наших восьми лет. Большинство убийств принадлежит мужчинам в зрелом возрасте. Сопровождалось преступление истязаниями. В женщинах общее число убийц помещиков в четыре раза меньше против количества мужчин. Убийцы-женщины выходили на преступление с ядом и при этом в самую нежную пору жизни (от 10 до 20 лет). При этом охотливее поднимали они руку на владельцев, чем на своих родственников и мужей (больше убивали крепостные женщины только детей и посторонних). Всего чаще убивали помещиков в губерниях: Сарат. (34 м., 3 ж.), Симбир. (33 м.), Владим. (22 м., 3 ж.), Полтавск. (14 м., 11 ж.), Костром. (18 м., 4 ж.), Витебск. (9 м., 10 ж.), Екатер. (10 м., 8 ж.), Курск. (13 м., 4 ж.), Воронежск. (15 м., 2 ж.), Пенз. (9 мм 7 ж.), Харьк. (3 м., 12 ж.), Донск. зем. (6 м., 8 ж.), Тульск. (9 м., 4 ж.), Херс. (8 м., 4 ж.), Рязан. (8 м., 4 ж.), Казанск. (11 м.), Псковск. (5 м., 6 ж.). Реже убийства в губ.: Могил. (10 м.), Нижег. (9 м.), Тверск. (4 м., 4 ж.), Подол. (8 м.), Орлов. (6 м., 1 ж.), Смол. (2 м., 5 ж.), Оренб. (4 м., 2 ж.), Яросл. (3 м., 2 ж.), СПб. (3 м., 2 ж.), Тамб. (2 м.. 2 ж.), Гродн. (4 м.), в Вятской, Виленской, Грузино-Имеретинской, Минской и Московской (по 3 м.), в Новгородской, Вологодской и Черниговской (по 2 м.), в Оренбургской, Пермской и Таврической (по 1 м.), Не было выслано, само собою, убийц помещиков только из тех губерний, которые расположены по окраинам Империи (в упомянутых таковых же самое наименьшее число) и, волею исторических судеб, освобождены были от влияний крепостного права, каковы: Арханг., Астрах., Олонецк. (отчасти Волог. и Вятск.)[101].

Не видим также убийц из трех губерний остзейских; также не выслано из Киевской ни одного во все восемь лет. Тобольские табели секретов этих объяснить не могли, потому что на этот раз списки

---

[101] Впрочем, из Архангельской выслан был один завезенный дворовый, убивший своего господина.

составлялись по какому-то неизвестному плану. Между тем, известно, что в 1845 г. убийств помещиков было произведено 12, в 1848 г. — 18[102].

Убийство, по процентному отношению и по разным родам сословий, выясняется на первом плане из дворян: для служащих и служивших в военной службе. В равной же степени ссыльные солдаты за убийство идут чаще дворовых и заводских крестьян с фабричными. Дворовые количеством убийств превосходят владельческих крестьян; не уступают этим последним и заводские, потому что самые условия их жизни складывались неблагоприятнее условий крепостного быта собственно помещичьих крестьян (приписных к земле, а не к заводам и фабрикам). По сравнению крестьян с мещанами, у первых случаи убийств чаще, а по сравнению

[102] По годам, нам известным, количество этих преступлений расположилось в таком порядке:

	1838	1839	1840	1841	1842	1843	1859	1860
Муж.	43	49	78	14	16	4	14	10
Жен.	14	10	6	8	5	12	неизвестно	

Конечно, по тобольским табелям, ссыльные известного года не всегда преступники прошлого года. Вот тому доказательства: из Владимирской губ. сосланы в 1859 год два таких, которые совершили преступление еще в 1811 году, два из Саратовской, убившие господ своих в 1842 году и т. д. Точно так же в 1860 году из 30 убийц 9 считались таковыми с 1842 г., а остальной один с 1843 года. В 1859 году сосланы было две женщины, учинившие убийство в 1858 году (1 Саратовской губ. и 1 по решению правительствующего сената, не указавшего тобольскому приказу губернии), обе «за приготовление яда на отравление помещиков», в 1860 из Тамбовской губ. 1 женщина 1858 года за «отравление госпожи ядом». Из разбора преступления, названного «нарушением пределов повиновения в крепостном состоянии», мы увидим, что там, где это неповиновение обнаружилось массами — участие женщин почти равносильно участию мужчин. Это обстоятельство заметно приближает цифру преступлений этого рода, совершенных женщинами, к таковой же цифре мужчин. В тех местах работы нашей, где того или другого рода преступления увеличиваются или уменьшаются в количестве, мы будем объяснять соответственно причинам, вызывающим эти явления: будут ли они экономические или произойдут как следствие изменения или отмены некоторых существующих у нас узаконений.

крестьян двух видов (владельческих и государственных), за исключением из владельческих дворовых и заводских, степень вероятия и убийство усиливается в крестьянах государственных (вместе с удельными и однодворцами). Однодворцы по убийствам сейчас следовали за заводскими, как за однодворцами шли непосредственно военные поселяне. С самою слабою степенью виновности в убийстве, как и во всех родах преступлений, является сословие купеческое. Из внутренних губерний России, кроме пермской, наибольший процент убийц принадлежал (тотчас же) Симбирской, затем Казанской, Харьковской и Курской губ. Самым слабым процентом отличались Курляндская и Астраханская губ.

К сожалению, должно сказать, что тобольские табели не представляли собою такого источника, который давал бы возможный простор для более любопытных и поучительных выводов. Временами облегчая работу более или менее искусным распределением ссыльных и объяснением родов преступлений в дробных категориях, в течение первых десяти лет со времени своего основания, приказ на последующие времена изменил систему к худшему, Не владея задачами, истекающими из требований науки, он сумел усложнить работу до того, что теперь невозможно вести ее далеко. Приказ сначала выделял, потом сумел сбить безразлично крестьян всех родов и наименований, не расценив тех существенных и весьма серьезных различий, каковые лежали между владельческими и удельными, государственными и заводскими. Не отделялись войсковые обитатели, пахотные солдаты, мучившиеся в военных поселениях, как в свою очередь, перестали потом эти табели отличать помещичьих крестьян от дворовых людей. Мы не говорим уже о более дробном делении, имеющем весьма серьезное значение при оценке убийств и других тяжких и необычайных преступлений. Приказ не владел, например, средствами отделять из общей массы владельческих крестьян тех, которые принадлежали мелкопоместным, от крестьян крупных собственников. Не умел также выделить приказ крестьян, пользовавшихся в России различными льготами (лоцманов, вольных матросов, половников, белопашцев). Льготы эти, как показало время и опыт, не улучшили крестьян этих в нравственном отношении

настолько, чтобы не подозревать в них значительной доли участия во многих и весьма важных преступлениях[103].

Все эти обстоятельства несомненно должны облегчить степень виновности в одном из самых тяжких преступлений крестьян, сидящих на земле без всяких льгот и преимуществ и платящих подати. Даже и теперь крестьяне, по проценту тяжких преступлений, стоят в задних рядах других сословий и званий, или искусственно созданных, или неудачно вызванных на русскую почву (солдаты, дворовые, фабричные, беглые, бывшие тюремные сидельцы или освобожденные и поселенцы). В этих последних те же крестьяне, но поставленные в другие бытовые условия, сделались преступнее во всех родах преступлений и многие, из признаваемых тяжкими, целиком взяли на себя, облегчив тем тяжесть упрека, лежащего на так называемых простых русских людях. Мещане и солдаты — эти два чужеземных растения, пересаженных с немецкой почвы в том виде, как они росли там, — повинуясь естественным законам, на нашей почве, в полтораста лет, успели прорасти глубоко, но в то же время приняли иной вид и оттенок. Новые свойства почвы и климата из возлюбленного всем немецким народом цветка на новом и неприготовленном месте выродили волчцы, у которых внешние признаки однородны, но внутри оказалась гниль и червоточина.

Одно из этих растений начинает в наше время принимать иной вид и оживляться, но зато другое все еще ждет, когда и у него начнут подрезать сухие ветки, срезать дикие наросты и дадут растению иную поливку, свет и теплоту. Тут и там со временем перетрясут и проветрят землю, комом накипевшую около корней и задержавшую, таким образом, правильный рост. Солдаты и мещане, отсаженные от корневого растения и не привитые к другому живому телу, продолжали существование, в котором приметны были и зачатки агонии; с одной стороны, и избыток заразительного яда — с другой. Мещанин без земли, солдат без собственности; один — обманувшийся на искусственной почве города, другой — обманутый жизнью в казарме — оба стояли на покатой дороге к

[103] Сусанинские белопашцы, например, поступились в недавнее время многими из своих, высланными за воровство (конокрадство), корчемство и содержание пристаней для беглых.

пороку. Причина известна: труд есть одно из начал морализации, работа и занятия — сильное испытанное противоядие дурным стремлениям и привычкам, редко порок остается один; он соединяется, обыкновенно, с безнравственностью, за которою неизбежно следует преступление. Крестьяне — люди труда земледельческого, промыслового и торгового, оттого и преступность их не такая тяжкая, какова она у солдат, мещан и тех людей, которые, сумев раз впасть в преступление, успели пожить совместно с другими преступниками по тюрьмам, рабочим домам и арестантским ротам. Учреждения же эти или существовали на старых, суровых и озлобляющих порядках, или — и вновь основанные — не руководились настоящими образцами и человеколюбивыми правилами.

Зато, с другой стороны, владельческие крестьяне отличаются от многих других сословий наибольшею пропорцией) ссыльных за тот род убийства, который называется *самоубийством*.

Глава III. Самоубийцы

Причины и проявление самоубийств в России и Сибири. — Самоубийства в городах и деревнях. — Орудия и способы этого преступления. — Утопление. — Петли. — Яды. — Огнестрельные орудия. — Неволя. — Роковые места. — Сухая беда. — Ямки. — Самосжигатели. — Морельщики. — Огромное количество жертв. — Причины этого явления. — Особый вид сибирского раскола

От судей, как и от общества, обыкновенно скрыты те тайные пружины, какие направляют человека на стезю преступных деяний. Им неизвестны те благородные усилия, какие делает человек перед преступлением, против наплыва черных мыслей и для смягчения раздраженных чувств. Они не знают внутренней борьбы, которую выдерживает бедняк для того, чтобы сохранить твердость против слепых внушений судьбы. Кроме его самого, нет других свидетелей этой скрытой и великой драмы, где виновный является главным актером. Сила нравственного чувства у некоторых субъектов направляет эту борьбу на тот путь, на котором они предпочитают скорее расквитаться с жизнью, чем покинуть стезю долга. Причина этого самоотвержения, как последней жертвы, на которую идет человек от гнета нужды, также скрыта от судей и общества; они также

не знают, что вера в действительную силу чести, чувство собственного достоинства успокаивают актера незримой драмы, и он отдается в руки смерти, не желая, может быть, расстаться с жизнью, но довольный и счастливый тем, что провел ее без пятна. Вот причина большей части самоубийств.

Покушения на этот вид самоубийств возрастают по мере разных случайностей, каковы более или менее продолжительные кризисы, которым подчинена и подвержена всякая промышленность, и которые неблагоприятно действуют не только на существование самого работника, но и на существование его семейства. В той же мере сильно действуют и гражданские беспорядки (к счастью, очень редкие), которые сопровождаются тем же исходом, вредящим общественному спокойствию мирно налаженной жизни и ослабляющим даже источники заработков. Остановка, крупные затруднения в работах — те бедствия, которые равно тягостны для всех, но тяготеющие преимущественно над рабочим людом. Неурожаи и зараза одинаково страшны, но они, большею частью, не так опасны для работников, как сильные промышленные и политические кризисы. Эти-то времена, по преимуществу, пора самоубийств.

Неурожаи и народные бедствия в начале сороковых годов настоящего столетия выработали более значительную цифру сосланных в Сибирь за покушение на самоубийство. На все другие годы она выразилась в более ровной цифре, подчиненной влиянию на самоубийство того тяжелого ярма безвыходного положения, которое усложнилось от гнета рабства. Наиболее покушались на самоубийство (предпочтительно перед всеми другими сословиями) крестьяне владельческие (в 12 лет 63 случая), а также дворовые люди (в 9 лет 41). Слабее заметна эта наклонность (по процентному отношению) у государственных крестьян (в 12 лет 36), в военном сословии (12), у мещан (4). В сословиях, материально обеспеченных в жизни, имеющих в руках несравненно большее количество способов для противодействия, — покушений на самоубийство в тобольских табелях вовсе не заметно (у духовенства, купечества, у военных и гражданских чиновников, у неслужащих и отставных). Обладали ли они большим искусством довести свои намерения до конца, ко-

торому не удалось выразиться покушением; избежали ли они ссылки при помощи средств, им более доступных, подвергшись, например, церковному покаянию и тюремному заключению в пределах своей родины — по Сибири судить о том невозможно. Тобольские табели и те случаи, о каких дано им ведение, сумели их запутать так, что во весь период лет ведения табелей также нельзя составить об этом определенного понятия. За ними скрыты те остроумные выводы, к которым пришел, например, Кетлэ в своей книге «Sur l'homme».

Тобольские табели, в отношении к различным местностям России, с некоторою ясностью указывают на большее число покушений на самоубийство в губерниях Западного края, где, таким образом, этот вид убийств стал на место тех преступлений, которые в других губерниях с крепостным правом высказались в отчаянной форме убийств помещиков. Губернии эти с большим постоянством ежегодно преследовали этот вид преступлений, выражавшихся в великорусских губерниях порывами. Так, в один 1843 год крупнее других дали цифры губернии: Орловская (14 мужчин и 2 женщины), Саратовская (9), С.-Петербург-ская (6–3), Харьковская (4 мужчины и 5 женщин), Рязанская (6 мужчин и 2 женщины), Московская (4–3), Полтавская (6 мужчин и 1 женщина), Черниговская (7 мужч.), Могилевская (6 мужч.). В тот же год по 5 самоубийц выпало на губернии: Виленскую, Витебскую, Подольскую и Минскую[104]. Порывы женщин (особенно в сословии дворовых людей) к прекращению собственной жизни тем или другим способом выражаются в одинаковой пропорции по отношению к мужчинам; вообще же наклонность к самоубийствам, по отношению ко всем

[104] Все число покушавшихся на самоубийство (за 9 лет) равняется 347 м. и 134 ж. По годам распределялись так: в 1838 — 6 м., 8 ж; 1839 — 6 м, 4 ж.; 1840 — 9 м., 1 ж; 1841 — 64 м., 85 ж.; 1842 — 78 м., 27 ж; 1843 — 154 м., 40 ж.; 1844 — 14 м., 8 ж; 1845 — 7 м., 9 ж; 1846 — 9 м., 2 ж Самое меньшее число выпало на губ.: Пермск., Спб., Тобольск., Смоленск., Симбирск, и Казанскую. Заводские с фабричными примечательно редко прибегают к этому способу освобождения себя из-под гнета тяжелой жизни, но зато финские инородцы долгое время практиковали сухую беду, вещаясь на воротах обидчика.

родам других преступлений, слаба до исключительности. В меньшем количестве совершаются уже немногие преступления. Самоубийству, в большинстве случаев, предшествует долговременное злоупотребление спиртными напитками, и покушение на себя является последствием страшной тоски, происходящей от пьянства. Так — в России.

Полнее и разнообразнее представляются самоубийства в больших городах, преимущественно в столицах. Это — по учению церкви — тройное преступление выражается тем, что трус-мужчина и робкая женщина так же убивают себя, как и человек, привыкший пренебрегать всевозможными опасностями. Как для мужчин самоубийство является бредом самолюбия, заставляющим забывать самые священные обязанности, даже чувство самосохранения, так и для женщин преступление этого вида не представляется исключением, несмотря на слабость физического темперамента, на мягкость характера и на прирожденную боязливость. В столицах покушения на собственную жизнь проявляют стремление к ежегодному возрастанию, как бы в подтверждение повсюду распространенного мнения, что самоубийства всего чаще встречаются в тех странах и породах, где наиболее распространено образование.

В больших городах самоубийства случаются чаще во время молодости и зрелого возраста (от 25 до 40 лет), когда люди больше всего подвергаются борьбе честолюбивых и эротических страстей. Старость менее всего подвержена отчаянию, а во время сильного наплыва всяких страстей самоубийства являются лишь тогда, когда случается какой-либо непредвиденный и неожиданный вызов. Побудительными вызовами считаются: злоупотребление спиртными напитками, породившими болезнь ипохондрию, обманутая любовь, вызванная изменою которой-либо из двух любящих сторон. Чрезмерная ревность, неразделенная любовь сводят в преждевременную могилу нерелигиозных людей прежде всех других; подобная наклонность сильнее развита у безбрачных, чем у семейных, как более привязанных к жизни.

Обращаясь к способам, к которым прибегают самоубийцы, нельзя не заметить, что наиболее употребителен и у нас, в России, как и во всем свете, способ самоутопления. Бросаются в воду чаще, чем испытывают другие способы. За водою следуют петли: веша-

ются и давятся в столицах и больших городах с тою же охотою, как и в деревнях и селах. Затем режутся острыми орудиями, причем теми, которыми сподручнее: цирюльники бритвою, сапожники ножами; прачки вернее поспешат отравить себя угаром, прусскою синькою и проч. Отравление ядами охотнее и чаще производят с собою женщины, чем мужчины, и первые в наши времена из ядов предпочитают фосфор. Женщины же бросаются в окна. Зато военные мужчины вернее спешат достигать цели расчета с жизнью при помощи огнестрельных снарядов. Этот способ наиболее достигает цели в противоположном смысле: из всех прибегающих к нему значительная часть оказалась виновною лишь в покушении. Из таковых наибольшая часть и попала в ссылку. Вообще, должно сказать, что это общественное преступление равно присуще людям всякого рода занятий и общественных положений от высших до низших. Русские не подтверждают собою того наблюдения, которое сделано в Европе, что зажиточные классы наиболее склонны к самоубийству. Оно всего вернее зависит от ослабления религиозных верований или, как сказал один из наблюдателей, «когда общественная нравственность и страх Божий не обуздывают страстей, то в самоубийстве находят верное прибежище от страданий нравственных и физических».

Сибирь представляется тою страною, где самоубийства и покушения на такое преступление — теперь явление не только нередкое, но и бросающееся в глаза. Распространено самоубийство преимущест-венно между ссыльным людом (в большей степени между поселенцами, чем между каторжными), как будто для пришедшего из России (со скрытыми наклонностями к тому) недоставало еще одного лишения, еще лишней тяжести, одной только капли, чтобы сосуд перелился через край. Человек в неволе не имеет глубокой веры, чувствует тяжесть жизни, неволя отняла надежду и счастье. С надеждою утратилась и свежесть чувствований, и сила воли, и готовность на борьбу с препятствиями. Отняв счастье, неволя отняла охоту к жизни и поставила на ее место отвращение ко всему. Присоединяя к этому какое-либо несчастье, даже просто обычный материальный недостаток, неволя погружает своего пациента в отчаянную глухоту равнодушия. В таком состоянии, при том же обычном недостатке веры и религиозной холодности,

раскаяние и жалобы на себя, или страх наказания, или лишняя капля водки прямо вызывают покушение на собственную жизнь. Самоубийство так и выражается в самой простой форме. Убийца долго не думает, кончает с собою там же, где час приспел. Дальше надворных строений (обыкновенно клетей и хлевов) и подволок (то есть чердаков) самоубийцы редко ходят. Способов и орудий других, кроме веревки с петлею, они мало знают. В 1866 г. за Байкалом в девяти случаях самоубийств только двое зарезались, но семь человек задавились. За Байкалом, между Малкинским заводом и Екатерининским рудником, указывают на гору Павловку, как на роковую. В России, даже под Петербургом, имеются таковые же облюбленные самоубийцами места. Тут повесился некто Соколов, измученный за связь с любовницею офицера всякими преследованиями со стороны последнего. В том же году и тут же повесился писарь Смагин, говорят — от запоев. В Иркутской губернии в 1867 году семнадцать человек, подвергнувших себя насильственной смерти, были большей частью поселенцы. В основном избрали они местом для расчета с неудавшеюся жизнью хлевы и все задавились, надев на шею петлю из собственной опояски и закинув шнурок за брус или стропила хлевов.

В первые времена сибирской истории самоубийства составляли как бы исключительное свойство молодой страны. Едва ли где можно встретить роковую силу, наибольшую той, которая вынуждала людей так не дорожить жизнью и с такою готовностью и легкостью расставаться с него. Если этот род самоубийств, выразившийся самосожжением и убиением себя посредством голода, в силу мистических увлечений, перешел сюда непосредственно из России в форме как бы особого религиозного толка, то, во всяком случае, в Сибири выразился он наибольшим фанатизмом и погубил гораздо большее количество жертв. Молодая страна, богатая силами и сильная восприимчивостью, сумела и увлечения свои показать в более грандиозных формах. Все в ней развивалось быстрее, все применялось в самых широких размерах под впечатлением экономического простора и географической шири. С 1679 по 1823 год сожглось в разное время и в разных местах, по свидетельству летописей, народных преданий и официальных документов, в одной Тобольской губ. до двух тысяч человек. В некоторых случаях

самоубийцы увлекались учением, обязывавшим для душевного спасения умерщвлять себя голодом и огнем. Этот фанатизм сильнее заражал филипонов, учение которых велит бежать из своей страны, от родных и своего племени, удаляться в пустыню, в особенности от ревизии и платежа податей. Секта эта, выродившаяся в позднейшие времена в секту странников или скитальцев, грядущего взыскующих, до того времени возбуждала самоубийства, позволявшие предполагать даже существование особой секты самосожигателей. В Сибири следование этому толку выражалось термином «уходить в ямки» и, действительно, в нередких случаях обнаруживалось тем, что ревнующие душевному спасению и предавшие себя «Тебе ради Господи» выкапывали глубокую яму так, чтобы можно было в ней свободно двигаться, и помещались тут на постоянную молитву. К таким являлись фанатики-учителя (приходившие в Сибирь большею частью с уральских заводов), нередко закладывали яму хворостом, и подвижники умирали с голоду. Во многих случаях самоубийства выражались самосожжением и вызывали крутые меры у правительства, руководившегося желанием истребления сект и отдавшего дело в жестокие и неумелые руки. Как в России сумели сгореть староверы в избах и раз даже сожгли вместе с собою целые монастыри (Палеостровский, Олонец, губ., и Зеленецкий, Новгород, губ., Тихв. уезда), так и в Сибири сгорали в одиночку, сгорали семьями, большими толпами, целыми деревнями. Сжигали себя по причине записи в двойной оклад. Сожглось много народу тотчас, как объявлен был указ исетской провинциальной канцелярии (в январе 1751 года), предписывавший ловить волочащихся с паспортами и без паспортов раскольников и доставлять под крепким караулом в консисторию. В ответ на запись в двойной оклад сожглось 189 человек, осенью и зимою 1751 г. (в разных деревнях 61 чел., близ Челябинской крепости 12, в деревне Смолиной Буткинского прихода, Окуневскаго дистрикта 64, в Туголымском приходе 25, в дерев. Бурмистровой, прихода Орлова-городища Ишимского округа). На январский указ исетской канцелярии, в марте 1757 г. (12,13 и 14 числа) сгорело немалое число в дер. Окуневой (Куртоминской слободы) и в то же время того же марта и года сгорело 72 человека в дер. Коноваловой. Из присланных в консисторию некоторые обратились, другие бежали в Исет и там в

пашенных избушках (на заимках) сгорели муж. и жен. 64 человек 15, 16, 17 и 22 марта того же года сожглись из деревни Гусевой (Тюм. окр.) 39, в деревне Кулижной (Каминского прихода) 6, в деревне Гилевой (Кармецкого прихода) 25 (всего 70). В апреле того же года в Буткинской слободе собравшиеся в дома и готовые сгореть объявили дозорщикам, что, если не будет притеснений, гореть не станут и будут платить подати бездоимочно. В апреле 1751 г. в пашенной избушке дер. Березовой (ведомство рафайновского духовного правления) сгорели 33 чел. В дер. Дворцах (Шатровского прихода) собрались гореть многие, но увещатели успели уговорить их, и сгорел только дом крестьянина Чикишова с ним, его семейством и с кое-кем из посторонних; еще сгорела крестьянка Епанчинцова с двумя детьми. Из деревни Журавлевой и Барсукиной неизвестно куда бежали крестьяне с семьями, всего 29 человек. В Куртамышском приходе в пашенной избушке сжег себя крестьянин Жерновников с двумя малолетками (жена с сыном успели выскочить из пламени). В феврале и марте все того же несчастного (1751) года воскресенский заказчик Протасов потребовал раскольников на увещание, но Окуневская управительская канцелярия отказала, боясь самосожжений. Однако от притеснений дьячка и пономаря села Кислянского крестьянская жена Кудрявцева (в апреле 1752 г.) утопила в деревне Курьей 7 человек своих детей и восьмою сама бросилась в прорубь. Донесли Синоду и Сенату, но оттуда получили строгие указы ловить подговорщиков и совратителей. В 1756 г. в Чаусском приходе, в деревне Мальцевой, сгорело 175 человек. Долго они не решались, выжидали. Явились, прознав про то, увещатели; сидевшие в ямках предложили ультиматум: уговорить попа не брать поборов, начальство сменить, ибо отбивало от земли, мучило на работах, разоряло; чиновникам не верят. Увещания не подействовали — они подожглись. Однако выхватили из огня обгорелых, вылечили, посадили в острог в кандалах и отдали светской власти. В 1759 году сгорело несколько человек в с. Шатровском, на 14 февраля 1761 г. несколько крестьян в дер. Самсоновой (Кузиной) нынешней Соломатовской волости. Императрица Екатерина II простила вернувшихся из бегов, сняла срамное платье и велела указом оставить раскольников в покое и прекратить преследования в 1762 г. Страсть к самоубийству ослабе-

ла, но, раз возбужденная, продолжала обнаруживаться кое-где. Екатерининские меры были полумерами, давая много крючков приказным. Начались поборы, хотя Екатериною и назначены были места поселения. В 1763 на 13 февраля сгорело 35 человек в избе крестьянина Агапитова, в деревне Кулаковой Линчинского (теперь Луговского) прихода. Бывали случаи самосожжений в смежных волостях Ишимск., Курган, и Ялутор. округов. Лет 80 тому назад сгорело около 30 человек в деревне Шушаринской (Ермолиной) подле Уваровского (единоверческого) села. Бывали случаи единичные в дер. Бабаковой (Утечьей волости Курганского округа) по убеждению крестьянина Мензелина, в деревне Куртане (той же волости) и в Ингалинской волости в деревне Лепехиной. Последний случай самосожжения замечен в Утечьей волости после 1823 года. Крестьянин Тихон Мятлев (поморского толка), отправивший многих на тот свет огнем, наконец, и сам решился на самоубийство в погребе своего дома. Сюда завел он всех своих детей и внуков обманом и подпустил огонь. На детский крик и на дым собрались соседи и спасли погибавших. Народ до сих пор зовет потомков этого семейства Горелкиными; некоторые из них приняли (в 1846 г.) единоверие. Надо заметить, что поповцы (по-сибирски — стариковщина) этих самоубийц оправдывают, но за упокой их не молятся и имен их не упоминают, несмотря на то, что молятся и поминают всех, замученных на пытках или казненных, и вообще всех пострадавших от суда в острогах и ссылке[105].

---

[105] До вызовов самоубийств указами, самосожжение по фанатическому увлечению религиозными принципами произошло впервые, по свидетельству тобольского летописца, в 1679 году: «270 душ из разных мест Сибири собрались на Березовке при Тоболе и сожглись». В 1682 г. сгорело в избах 400 чел. в деревне Утятской слободы Кург. округа, за то и др сих пор слывущей в народе под именем Погорелки; в 1687 сгорело 323 души в трех деревнях около Тюмени; в 1688 с женами и детьми 150 человек на р. Пышневке Куяровской слободы дер. Боровиковой; в том же году в дер. на Юрмыче 50 чел. (также с женами и детьми). По Дмитрию Ростовскому в это же время сжигались в Енисейске и Томске. В 1722 г. близ слободы Коркиной (на Ишиме) — неизвестное число в пустыне Смирнова: также близ Абатска в дер. Выровское и Зырянское; в 1724 за Пышмою 145 душ: в 1743 и 1745 неизвестное число из записанных в росписях священников православными; на

Приходившие с уральских заводов приносили также и другие способы душевного спасения. По всему Ялуторовскому округу в 1782 году, по предложению губернатора Осипова, разыскивали крестьянина Мензелина (по-народному Мензелинца), который *утопил* 10 душ крестьян муж. и жен. пола из дер. Шадриной (Суерской вол.) в озере Сазыкуле. Но и этот род смерти был не принудительный, а добровольный, как в этом случае, так и в других многих. Подговорщиками, кроме Мензелинца, явились: Грамотеев, Матвеев, Калиныч (Фоминцов), Зайцев, Плюснин. Они опускали в яму ревнителей и через 12 дней приходили и вынимали; если находили в живых, то вывозили на середину озера (Сазыкула, Осетрового, Сладкого, Сухменя и друг.) и бросали в воду. Выплывшие трупы хоронили под лабзы. Все совратители не избегли наказания, кроме Фоминцова, который, будучи пойман, распорол себе живот ножом и через три дня умер (в 1828 г.). Некоторые уходили из ямок и умерли в православии. Остался нераскаянным один только Грамотеев; выйдя из ямы, он принялся с неистовством умерщвлять товарищей. Пойманный — зарезался. Эти случаи 1828 года были последними уходами в ямки. С тех пор о подобных способах самоистязания и самоубийства не слышно. В Тюмени теперь спорят и расходятся только в догматах о крещении и браке.

Прямым противоядием злу самоубийства на каторгах и на местах поселения служат, как известно, побеги. В бегах ссыльные умеют, с приметным успехом, изнашивать накипевшую на сердце тоску. Бродяжничество, таким образом, является новым видом болезней ссыльных и включается в число преступлений, наиболее господствующих между ними.

В эту-то массу искателей приключений мы и углубимся теперь, придержавшись сначала лесной опушки, каковою на этот раз представляется Россия.

Сибирь, как ссыльное место, обреченная прикрывать грехи России, достаточно приглядевшаяся к ним и проверяющая себя с по-

---

1 августа 1750 близ Тюмени 14 чел. в дер. Зайковой; в Песчаном зимовье, в дер Шумаришой, в селе Уваровском (где и место показывают), в дер. Крепость, Межеумной, Потаниной, Тетерьей, Большом Песьяном, дер. Утечьей, Беляковке, Орловской и друг.

хвальною точностью и откровенностью, обладает в настоящее время возможностью определить господствующие болезни, указать больные места и некоторые другие признаки, характеризующие страдания организма своей метрополии. Само собою разумеется, что средств врачевания она сама, зараженная приносным ядом и страдающая от собственных эпидемий, представить не может. Зато, с другой стороны, с тою точностью, каковой, к несчастью, не может похвалиться Россия, Сибирь указывает на постоянные и временные недуги, подтверждает цифрами количество заболевших, объясняет пол и возраст, сословие и место жительства их. Не может Сибирь поручиться за то, что все заболевшие присланы в ее госпитали; это уже не ее ответ, но, с некоторою уверенностью в собственном авторитете, заслуживающем уважения при ее долговременной практике, Сибирь свидетельствует о том, что определение многих болезней произведено неправильно, что в других присутствие заразительного и опасного яда слишком ничтожно, в третьих последний не выразился вовсе, и здоровый ошибочно признан за больного, и проч.

Прислушавшись к общим сибирским наблюдениям и приглядевшись к частным ее выводам, требовавшим проверки, приходим к следующим выводам:

Самая обыкновенная болезнь, господствующая в России и поставляющая наибольшее число страдальцев в сибирские госпитали, носит название *бродяжничества.* По этому виду цифра самая крупная. Ей уступает даже такая значительная цифра, которая принадлежит присланным за воровство (третье место, по цифровой величине, занято сосланными за убийство). Величина этих трех цифр, ежегодно выражающихся крупными сотнями (по первому виду) и большими десятками (по двум другим), настолько поразительна и настойчива, что у Сибири есть достаточно оснований умозаключать, что метрополия ее, судя по количеству бродяг, далеко еще не представляет собою такого государства, в котором исчезли неблагоприятные причины, заставляющие население руководиться старыми историческими приемами «брести врозь». С одной стороны — в России замечаются те наклонности к перемене старых пепелищ на новые, какие проявляются сильнее всего в германских немцах, а с другой — приметны очевидные признаки сходства со вновь организующеюся страною по ту сторону Атлантического океана.

Так ли это на самом деле? Видимое сходство и неприметные различия объясняются для нас из разбора различных форм бродяжничества в отдельном виде и из сопоставления их в зависимости одного от другого.

Глава IV. Бродяги и беглые

Страна изгнания. — Бродяжничество в современном виде. — Бегство крестьян от помещичьей власти. — Гулящие люди. — Побеги солдат от военной службы (дезертиры). — Покинувшие отечество (эмигранты). — Пристанодержательство. — Притонщики. — Хлебосольство. — Сибирские заимки. — Варнаки и чалдоны. — Опасности от бродяг и беглых. — Причины народных бедствий. — Псевдонимы каторжных (принятие чужой фамилии). — Городские бродяги. — Бродяжничество, как самобытное явление русской народной жизни. — Исторический очерк русского бродяжничества. — Колонизация России. — Многочисленные остатки древнего народного скитания: беспаспортные, богомольцы, нищие, запросчики, кубраки и лабори, бегуны, офени-ходебщики и проч.

Огромные толпы людей этого своеобразного звания и исключительных свойств ежегодно с неизменным постоянством очищают Россию и расходятся по Сибири. Здесь составляют они более ⅖ частей всего количества ссыльных преступников, свидетельствуя о постоянном, твердом и настойчивом желании России избавиться от этих людей, по-видимому, признаваемых самыми опасными. В то же время появление бродяг на той стороне Уральского хребта служит доказательством, что бродяжество по сю сторону хребта, в России, одно из тех явлений, противодействие которому ведется с неизменным постоянством, но и с таковою же неудачею; каждый год приходят новые толпы, столько же густые и почти равные одна другой своим количеством. Сибирь выигрывает в населении своем, Россия не выгадывает в своем, через ежегодную высылку этих людей, называемых ею бродягами и признаваемых преступными. Освободившись от полуторы тысячи этого народа на прошлый год, Россия имеет надобность и возможность выкидывать в будущие годы еще по две новых тысячи. Борьбе, давно начатой и практикуемой при посредстве старых орудий, и конца не видать. Сибирь, принимая и учитывая военнопленных, глубоко убеждается в том ежедневными осязательными фактами и имеет основательные дан-

ные заключать, что старые формы быта в России и живучи и деятельны. Сама Сибирь, оглядываясь на прошлое и проверяя свое настоящее, имеет полнейшее право думать, что в этом отношении у нее с метрополиею одни и те же основы и поразительное сходство.

Правильной и определенной характеристики бродяжничества мертвая цифра дать нам не может. Отсутствие у нас уголовных хроник, а в литературе характеристик преступлений оставляет бродяжничество под непроглядною завесою тайны, какою, вообще, любили прикрываться все канцелярии и судебные места. Гадательные представления уводят в область предположений, порождают теорию вероятностей, а подобная теория не может служить руководством в области статистики. Вот почему мы с большою подробностью останавливаемся на общих положениях и развиваем только их одни. К этим же общим выводам мы станем прибегать и в дальнейшем течении нашего рассказа, будем следовать указаниям цифр, одушевляя их, по мере наших сил и средств, наглядными наблюдениями над бытом простого народа, преимущественно идущего в ссылку.

Цифра бродяг представляет естественное и простое явление, обнаруживающее ежегодное колебание, повременное уменьшение и возрастание как будто чья- то невидимая, но сильная рука, скрытая за мертвою и пестрою декорациею цифр, как фокусник, расставляет их именно в таких, а не других размерах. Но фокусник спрятан не один, и фокусы показываются в одно время и по хорошо выработанной программе и по капризу, основанному на произволе. Переставляют цифры временные, народные движения, временные правительственные распоряжения. Вот некоторые из тех и других.

В 1826 году в пределах Уральского войска появились во множестве помещичьи крестьяне по ложным разглашениям о новом поселении и вольности. Губернское начальство, руководясь указом 23-го февраля 1823 г., распорядилось всех таковых крестьян, как бродяг, отправить в Сибирь на поселение, но Сенат решил возвратить их на прежние места жительства, «признавая за бродяг только тех беспаспортных людей, кои от лености и по распутному поведению, избегая повиновения поставленным властям и уклоняясь от исполнения повинностей, удаляются от жительств своих для праздношатательства

и, не желая иметь постоянного местопребывания, вдаются в разные распутства, нередко вовлекающие их в весьма важные преступления». И вот, увеличилась, сверх обычной, годичная цифра сосланных за бродяжничество. Увеличилась она также в 1831 году во время кровавых восстаний в Старой Руссе. Увеличилась во время картофельных бунтов в Вятской и Казанской губерниях и в 1846 году на то время, когда остзейские немцы в прибалтийских губерниях начали применять европейскую систему частной собственности к разделению земель на участки и возмутили все население тех краев. В 1847 году Витебская губерния поплатилась сосланными за бродяжничество из числа тех, которые двинулись толпами к Петербургу и остановлены были уже под Порховом, и проч.

Вот причины, которые уменьшали цифру бродяг, шедших в Сибирь. Сенатский указ 4-го августа 1827 г. запретил отправлять в Сибирь за бродяжничество престарелых, глухих, немых и слепых, признанных сибирскими властями совершенно бесполезными для тамошнего края. В следующем году решено бродяг, неспособных по летам, слабому сложению или увечью, отдавать в исправительные рабочие дома, равно всех женщин, взятых за бродяжничество, ссылать в Сибирь. Бродяг южных степных губерний (новороссийских и малорусских, из войска Донского и Ворон., Тамб., Сарат. и Астрах, губ.) некоторое время ссылали на Кавказ; мусульман за беспрестанные побеги из Сибири даже из тяжких преступников — в финляндские крепости. Неспособных к следованию бродяг предписано обращать в ведение приказов общественного призрения, но престарелых — ссылать, «невзирая на их лета, если не будут они дряхлы». Видно увеличение цифры на то время, когда бродяги, сбиваясь в шайки, производят в народе какие-либо бедствия (так, например, пожары от поджогов, периодически повторяющиеся и часто повторявшиеся в 1840-х годах). Уличенные в преступлении, при расследовании причин этих бедствий, бродяги уходили массами в Сибирь на следующие годы и затем, ослабевшие числом внутри государства, ослабляли цифры ссыльных в Сибирь на последующие годы. Периодическое скопление бродяжьих масс в ссылке естественно следовало за скоплением их внутри Империи в шайках; уменьшение — от перемены ссылки на Кавказ для бродяг

из степных губерний и от поглощения многих других губернскими арестантскими ротами гражданского ведомства и проч.

Большим постоянством, при ничтожных колебаниях, отличается цифра бродяг-дезертиров, бежавших от тяжести военной службы и всех крупных, иногда подневольных и не в пору вынуждаемых обязательств этого рода государственной повинности. В Сибирь прошли самые упорные и неисправимые, поплатившиеся еще, сверх того, за такие преступления, которые явились прямым последствием голода и несчастий, сопряженных с бродяжеством. Солдаты-дезертиры, по сибирским приметам, успевают запутываться чаще других в самых тяжких преступлениях, каковы убийства, грабежи и разбои[106], хотя Суворов и говаривал про них так: «Овечка отстала от стада; ну, пусть ее погуляет! Рано ли, поздно ли — придет». Овечка гулять не умеет, гуляла волчьим обычаем и назад доброю волею не приходила. В дезертирах Россия находила и врагов отечества[107] становившихся в

[106] В ряду других арестантских преступлений (из остального числа 254) на первом месте стоят убийства (99), на втором — тот вид преступлений, который назван «телесные повреждения с намерением к убийству» (41), затем воровство (30), побег из-под стражи и взлом тюрем (29), возмущение против властей (20) и, наконец, грабеж (10 случаев).

[107] «Оставление отечества», хотя и представляется в тобольских табелях отдельной рубрикою, но рубрика эта замещена цифрами очень слабо; не покидают родину с расчетом оставить за собою возможность возврата и новой ссылки. Не Сибири считать этих людей, и поскольку имеются — цифры эти представляют поляков, а преступниками, оставившими отечество, табели считают польских эмиссаров, появлявшихся из-за границы время от времени. Перепадал кое- какой и кое-когда сбежавший за границу раскольник и приехавший в Россию или со сборною памятью или на соборные деяния. Временами выдавали беглецов соседние правительства, решавшиеся быть исполнительными в отношении трактатов. Вообще же, эмиграция для русского человека, стеснявшегося выездом за пределы родины и подкупавшего паспорт высокими ценами, прежде была затруднена: для средних и низших сословий она представлялась немыслимым и невозможным явлением, но не в силу отвлеченного чувства патриотизма. В 20 лет с 1827 по 1847 г. сослано В Сибирь за побеги за границу 174 мужч. и 10 женщ.., преимущественно из губ. приграничных: Бессар. обл. 29, Волынской 29 мужч. и женщ., Оренб. 15 мужч. и 1 женщ., Подол. 14 мужч. Вилен. 17 мужч. и 3 женщ. и проч. Эти убежали недалеко, если уже попали в

Сибирь, но нижегородец Иван Степанов Сюземов (целовальник), промотавшись в Астрахани, бежал в Азов, в Константинополь, оттуда морем во Францию и Голландию, где обманом взяли его в матросы на корабли Ост-Индской компании; 7 лет бродил он в море, был в Индии, Японии и, наконец, остался на мысе Доброй Надежды. Здесь выучился он кузнечному мастерству, нажил деньги и поселился в готтентотской Голландии, где женился, имел трех детей и известен был под названием «ганц-русс» (настоящий русский). Не был бы он известен своим соотечественникам и считался бы безвестно погибшим, если бы не встретил его знаменитый мореплаватель В. П. Головнин, проходивший в тех местах на шлюпе «Диана». Архангельские промышленники проездом в Норвегию слышат чистую русскую речь в приветствиях и ругательствах промышленников на норвежских островах около Гаммерфеста, Вадзе и Вардегуза; это — пропавшие без вести промышленники. На персидских берегах, прилегающих к Каспийскому морю, в городах и селениях на островах Мешедесера, Энзели и особенно в деревушках около устьев богатой рыбою персидской реки Сифуд-Руды, значительными группами живут русские промышленники из черноземных губерний, лет по 15–20 не освежавшие своих паспортов и не бывшие на родине. В Тегеране, в войсках шаха, и во многих пограничных городах в военной службе и в офицерских чинах живут и служат русские эмигранты, беглые солдаты кавказской армии (из числа которых значительная часть, более тысячи человек, недавно возвращена в Тифлис). В Турции — целые деревушки русских раскольников, эмигрировавших во время преследований и гонений за веру, и притом одно селение расположилось в Азиатской Турции. Не говорим о раскольниках, забывших родину и поселившихся в Австрии и Пруссии; некогда нужда эмиграции для людей, придерживавшихся старого креста и веры, была явлением законным и неизбежным. Народ бежал во все стороны без разбору и, во времена самостоятельности Польши, поселялся за литовским рубежом огромными деревнями и селами, вроде Ветки, Новозыбкова, Мглина и проч.; при этом мало в Литве и Белоруссии городов, где бы не было подгородных раскольничьих слободок; не исключаем из этого числа и больших городов остзейских: Риги, Дерпта, Митавы и Ревеля. Эмиграция дворовых людей не знала также пределов, и русских людей из этого класса встречают современные путешественники наши и в Париже, и в Лондоне, и в Неаполе, — некоторых даже хозяевами торговых заведений, содержателями гостиниц и ресторанов. Чем ближе к нашему времени, тем болезнь эмиграции становилась сильнее и острее и готовилась перейти как бы в форму хроническую. По Сибири ходят в народе довольно определившиеся слухи, что

чужие вражеские полки (преимущественно у азиатских деспотов, вроде бухарского эмира, ташкентского хана, персидского шаха), и прусские и австрийские негоцианты находили в них людей, готовых наносить ущербы казне перевозом контрабанды через западную границу. В местечке Котычеве, неподалеку от Тильзита, у шмуглера Тирбаха, постоянно находилась целая шайка наших дезертиров, которым, вообще, покровительствовали самогитские помещики. Под видом и званием арестантов, выключенных из военных арестантских работ, они поступают в таком количестве, которое приметно ослабляет цифру всех другого рода преступников. Они, например (вместе с товарищами, выключенными из тех же рот гражданского ведомства), успевают убегать из Сибири почти всем наличным количеством своим (из 3761 мужчин и 15 женщин в девять лет сослано было обратно за побег из Сибири 3509 мужчин и 13 женщин). По отношению к ежегодному колебанию цифры дезертиров, и именно на повременное ослабление ее, и здесь во многом действуют временные меры, ослабляющие, с одной стороны, строгость взысканий по службе, и с другой — уменьшающие сроки этой службы, облегченной в то же время частыми и более или менее продолжительными отпусками. Сибирь, конечно, не может быть судьею в том, насколько силен и характерен этот род преступлений в России, потому что дезертиры умеют прибегать к другим средствам побегов. Матросы покидают службу там, где приводится случай и много соблазнов, предлагаемых вербовщиками во время кругосветных плаваний. Америка и, в особенности, порты Калифорнии (каков, между прочим, С.-Франциско) увеличивают цифру дезертиров. Солдаты убегают и за австрийскую и за турецкую

беглые с места заключения эмигрировали за китайские границы и поселились там деревнями. Несколько глуше слухи и менее вероятны рассказы о беглецах в Ташкент, Самарканд, Бухару и Хиву, и не имеет никакого вероятия и ничем не доказан рассказ об эмигрантах-раскольниках, убежавших в Японию, как уверяет о том распространенное между староверами сказание об Опоньском царстве. Много русских поселилось навсегда в Америке и особенно посчастливилось таковым из матросов с военных судов в Калифорнии; в Сан-Франциско существует даже целая система соблазнов в целые компании соблазнителей для золотых промыслов.

границу, а в войсках персидского шаха они составляли целые отряды и занимали высшие и низшие офицерские должности и проч. Сибирь несомненно убеждена лишь в том, что причины, вынуждающие дезертирство, в России достаточно деятельны: она, между прочим, знакомится с тем видом преступников, которые высылаются из России за членовредительство (за повреждение членов) для избежания военной службы. Преступление это, характеризующее стремление народа избавиться от тяжести службы, в случае неудачи или недостатка самостоятельности в желающих избавления, переходит в тот вид преступления, которое нас остановило. Притом число ищущих средств спасения в побеге приметно превосходит число причиняющих себе для той же цели уродства всякого вида[108].

Как рядом с дезертирством, так и непосредственно в тесной связи, вообще, с бродяжеством, является новый вид народного преступления, обрекающего народ в ссылку. Преступление это является пособником двух. первых и покровителем обоих: оно, с одной стороны, выходит из народного обычая гостеприимства, хлебосольства и радушия, не спрашивающих относящихся к ним с просьбою о приюте, кто они и откуда, а приглашающих садиться и есть; с другой стороны, это преступление опирается на ту же преступную корысть, умеющую превращать дело гостеприимства в промысел, специально и заведомо направленный на пользу тех, которых ищет и преследует закон. Русское слово на немецкий лад, «пристанодержательство» или «передержательство беглых с укрывательством оных», выражает этот род народных преступлений и прикрывает в числе ссыльных и тех, которые действовали намеренно или по принуждению, и тех, которые совершили по неведению закона, по безграмотству, мешающему разуметь хотя бы единую букву, и по необразованности, которая понятие о законе переносит и на палача («закон бьет — палач сечет») и спутывает его с законником — крючкотворцем и взяточником («закон — что дышло: куда хочешь, туда и воротишь»).

---

[108] За повреждение членов 442 человека, за дезертирство 751 в девять лет, причем раз уличена женщина, способствовавшая «к избежанию военной службы другого». Замечательно то, что во все девять лет за обычное явление подлога в отправлении рекрутской повинности сослано только двое и оба в один год!..

В сибирской цифре нет возможности отделить различные виды становщиков, державших притоны, от тех, которые дали приют и сделались попоровщиками, но несомненно, что пришли сюда и те, которые подслужились самым сердечным и невинным гостеприимством, укрывшим под своим теплым кровом того, кого закон признал за бродягу, и усадившим к готовому хлебу-соли, за стол и в красный угол тех, кого ищут как преступников-дезертиров[109]. Пришли и те, которые подслужились кабаком с подпольями для воров и грабителей, теплою избою для преследуемых за разбой и побеги от службы, но и в последнем случае те же сердечные побуждения имеют немалое значение. Так, например, в укрывательстве военных дезертиров играют роль, равносильную мужчинам, женщины (жены, родственницы и любовницы) в пропорции 8 женщин и 10 мужчин. Трудно это последнее выделение и потому, что намеренно держащие станы или притоны обладают большею степенью осторожности и мастерства, чем те, для которых укрывание преследуемого входит в христианские обязательства и весьма часто вынуждается экономическими причинами, превратившимися в обычай и особый своего рода закон. Из распределения цифр сосланных за притоны по губерниям мы видим, что крупнее становятся они там, где бродяжничество — явление обычное, а нужда в пришлых людях, в качестве работников на землях хлебородных и богатых, является во всей безысходности. Всего чаще, таким образом, укрывают беглых в губерниях предкавказской (Ставропольской), в закавказских, где поселились русские сектанты, в Екатеринославской и Таврической; укрывают мещане чаще крестьян, а мещанки немногим меньше солдаток[110]. В Сибири подобные деяния до такой степени ярки и знаменательны, что укрывательство беглых представляет одну из коренных основ, на которых зиждется сибирское хозяйство, в особенности, в тех отдельных формах его, которые выражаются в тамошних фермах, называемых *заимками*.

[109] В 9 лет за укрывательство беглых сослано 247 мужчин, 151 женщина.

[110] Между крестьянами наибольшие покровители беглых встречаются между заводскими, но столь распространенное обвинение в этом грехе старообрядцев цифрами не подтверждается, и виновность староверов не выдается вперед других сословий и вероисповеданий.

Здесь беглый с каторги является рабочим, выгодным по необыкновенной дешевизне и по тем требованиям, которые ограничиваются работою из-за одного хлеба и угрева и не простираются дальше скромного желания не выдавать в руки властей, чтобы не возвращаться снова на каторжные бесплатные и подневольные работы. При помощи этих людей удавалось в Сибири не только расширять одиночные хозяйства, расположенные большею частью в отдаленных и уединенных лесных местах, но и собирать целые селения и деревушки (как сплошь и рядом случалось это всюду, а особенно ярко в Алтайском крае). Подобные явления настолько в Сибири обычны, что начальники некоторых заводов при казенном заказе, не исполнимом наличным числом каторжных, прибегают к осмотру заимок вооруженною командою, как к такой мере, которая всегда венчается полным и желаемым успехом. В Сибири содержание притонов является неизбежным и непобедимым злом во всех окольных селениях, ближайших к казенным заводам, промыслам и рудникам. Хотя по временам и возбуждается бдительность надзора и возрождается энергия преследований, но опыт указывает, в равной мере, и на государственных крестьян-старожилов и на так называемых семейских (старообрядцев), как на содержателей притонов и укрывателей беглых.

Беглые представляют особый, только России свойственный, вид бродяг и в Сибири, под именем «варнаков» и «чалдонов», являются многочисленным и как бы особым сословием людей. Бродяги эти неопасны в одинаковой степени с голодными нищими европейских городов потому только, что руки их всегда свободны и способны находить труд и вне законного покровительства и защиты и еще не нуждаются в Шульце-Деличах. Другие теории они вызывают и другие начала к ним применимы. Грозная опасность, представляемая их поразительным многолюдством, ослаблена значительно на практике, бытовой средой, окружающей их. Они увеличивают количество преступлений, но еще не висят дамокловым мечем над ленивыми и недогадливыми. Хлебосольство сибиряков и готовность их давать работу беглым значительно сдерживает враждебные силы этих испорченных и озлобленных людей, и Сибирь, делаясь виновною в пристанодержательстве, во всяком случае, служит немалую службу России.

Вот что говорят факты: в десять лет (к 1852 году) в Петровском железном заводе считали бежавшими 771 мужчину, 5 женщин, а пойманными только 19; исключено за десятилетнею давностью 31. Из Александровского завода (винокуренного) в 14 лет сорвалось в леса и на волю (с 1-го янв. 1846 по 1 ноября 1859) 1013 мужчин и 19 женщин, а схвачено 277 мужчин, 4 женщины. Все остальные успели устроить себя по своим соображениям и на полной своей воле по той же Сибири. Бегали они и в Россию, попадались там и под прозванием «оборотней» возвращались в Сибирь, но с таким же подозрительным успехом. В семь лет (с 1854 по 1860) возвращено из России в Сибирь обратно всего 354 человека обоего пола; между тем, как только с четырех заводов (не считая рудников и многих других заводов) только в течение пяти лет бежало 2704 чел.[111]. При этом на одном Успенском винокуренном, ближайшем к России, людской утечки насчитывается средним числом в год 94 (или в семь лет на 354 возвращенных 358 бежавших).

Тяжести казенных работ, при неправильном распределении труда и занятий, стремящемся к тому, чтобы устроить по возможности те работы, которым усвоено название каторжных, служат основною причиною побегов. Они заключаются, главным образом, в дурном содержании в сырых, грязных и душных помещениях, превосходящих всякую меру вероятия. После тяжелой работы днем они ложатся усталыми на жесткие нары; голодными получают несчастный приварок и в достаточном количестве только крутую и сухую пищу, порождают арестантскую болезнь «иван-таскун» (колотье). Поставленный в исключительное положение каторжного, лишенного всяких средств приобретать какую-либо собственность, ссыльный не имеет ее даже и в том призрачном виде, какой мог бы явиться в плате за труд и работу, не знающих меры и не признающих праздничных дней. Его собственность — только та рвань, которая унижает его человеческое достоинство и которую, к тому же, он получил в счет ничтожной годовой платы своей, носящей громкое имя жалованья.

---

[111] Из Иркутского солеваренного завода 1344, из Троицкого винокуренного завода 801, из Селенгинского солевар. 203, из Николаев, винокур 356 ч. (с 1836 по 1841 г.). С одного Александровского винокуренного в такой же период семи лет (с 1835 по 1841) бежало 1837 чел, обоего пола.

На заводских, а в особенности на промысловых работах одежные вещи, подвергаясь великим испытаниям, сроков не выдерживают, и смотрители принуждены давать новую одежду, а во избежание личной ответственности за казенное имущество, обязаны вычитать, на этот раз у каторжного не половину, а все жалованье и с кормовыми. Оттого за казенным долгом ссыльный всегда в неоплатных долгах и той крайней нищете, из которой единственный выход — побег. Желание отдыха и стремление на волю, будучи естественными правами всякого человека, на этот раз могут быть приведены в исполнение только посредством этого же пути — «самовольной отлучки» или решительного побега. У одних тоска по родине, у других старая привычка к бродяжеству, у третьих соблазн на путешествие с шайкою товарищей, у четвертых действительно безвыходное положение, которое немного не довело до самоубийства, — все это достаточные поводы к побегам, реже по направлению к заведомым целям, чаще в неизвестность, в темную среду приключений.

В самой обстановке каторжных работ для побегов, сверх тяжести каторжного сверла, неустанно нажимающего при помощи бесчисленных болезней собственно рудниковых и заводских, — представляется много соблазнов и возбуждающих средств. Там, где работы скучены и надзор силен, выручает долговременный опыт бывальцев, высидевших в тюрьме и применивших к делу многочисленные остроумные средства, иногда изумительные по находчивости, иногда поразительные по той отчаянной смелости, с какою приводятся они в исполнение. Там, где работы раскидываются на значительных пространствах, недоступных равномерному наблюдению, средства к побегу упрощаются до того, что не бежит только безногий, или совсем хилый, или дожидающийся на днях законного освобождения от казенных работ. В последнем случае побеги многочисленнее и чаще; в первом они являются в сообществе с самими сторожами, которые по большей части простоватые казаки, вовсе не знакомые со своими воинскими обязанностями и на значительную часть штрафные солдаты, сами бывавшие дезертирами и не лишенные способности вкусить снова этого запрещенного воину плода. Беглые сплошь и рядом уходили вместе с ними и даже под защитою их ружья и форменного вида. Каких средств не выдумывали сибирские власти, начиная с особых команд для поимок, выдачи денеж-

ных наград тем, которые, имея случай бежать, не убежали[112] и кончая измышлением одного начальника засыпать в надрезанные пятки измельченный конский волос, — побеги являются столь частым явлением, что его смело можно полагать обыкновенным и можно считать неизбежным. Укрываются всего чаще каторжные и поселенцы заводскими крестьянами по Уралу (в 20 лет из этого края выслано 7275 чел. беглых из всего числа бродяг, 13769), Следовательно, так называемые варнаки между бродягами составляли около 53 % (в южных степях Новороссии беглым из Сибири принадлежит только 4½ %)[113].

Таким образом, в Сибири не только те, которые замечены с бродяжьими наклонностями в России, но безразлично бегут и бродяжат преступники всякого рода и звания. Сибирь в этом отношении самобытна и историю бродяжничества начинает вновь и ведет ее по собственным данным и образцам, но с неизменным резким постоянством и с нескрываемыми признаками долголетия. На каторге размеры побегов необычайно широки и число одержимых этою трудноизлечимою болезнью бродяжничества поразительно: в нерчинских заводах в десять лет (с 1847 по 1857) подверглось наказанию 3045 человек за прямые побеги и за тот вид их, который там называется «самовольными отлучками» (в этом числе сбежало 22 женщины). К 1-му января 1859 г. за десять лет считалось в бегах там же 24 % всего населения ссыльных (3104 чел.), да сверх того 508 человек вольных людей, называемых горными служителями. Один Александровский винный завод (по сю сторону Байкала) подарил Сибирь в 25-летний период 6899 беглыми, готовыми ко всяким услугам, но на стороне, вне постылых мест и невыносимых каторжных

[112] Одному ссыльному за поимку 5-ти беглых назначена была награда в 25 руб. «в пример и поощрение прочим».

[113] В этом числе мы насчитали пойманных, но принимали в расчет тех, которые сбежали, в таких цифровых отношениях:

В	1833	по	1837	2728
-"-	1837	-"-	1843	3420
-"-	1846	-"-	1859	751

заведений. Эти последние остаются все-таки при созерцании вечного perpetuum mobile и с правом любоваться на круговое вращение, при котором обмен материи новыми элементами велик, но восстановление старого материала незначительно. Число сбежавших и пойманных относилось во многих заводах, как 1:15. Пятнадцатая часть уходила за Уральский хребет и разгуливала по огромным и безлюдным пространствам Сибири, где всякий надзор находится вне человеческих сил. С некоторых заводов бежала часто целая половина всего количества ссыльных рабочих[114].

Теми же бесконечными и многочисленными побегами отвечают и поселенцы (в сословие которых преимущественно поступают русские ссыльные бродяги), отвечают на ошибочную и несовершенную систему водворения. Поселенцы не получают достаточного пособия на первых шагах своей новой жизни, встречают общее нерасположение к себе стариков старожилов и сами являются в среду их достаточно испорченными нравственно в тюрьмах и на этапах. Большинство их находится в крайне бедном положении. Видимая помощь, предполагаемая в поселенческой привилегии работ на частных золотых промыслах, ведет к тем же побегам от тяжести уроков и к беспримерному пьянству от неправильного способа денежных вознаграждений. Большинство поселенцев, таким образом, не имеют прочного домохозяйства и лишены даже тени какого-либо признака благосостояния. Побеги поселенцев также многочисленны[115] и также имеют две более характерные стороны: наряду с каторжными их принуждают к бродяжничеству поиски лучшей участи, и они бегут, стороною от беглокаторжных, прямо в Россию на родину. Здесь эти люди, которым выпала жестокая доля изгнания за менее важные и тяжкие преступления, ищут только того, чего не нашли они на местах водворения. Им дорого с бою добытое

[114] Так, например, на Николаевском винокуренном заводе (в Нижнеудинском окр. Иркутской губ.) общее число рабочих было 442 человека, из них бежало 21 (в 1857 г.). В 1858 г. всех было 347, из этого числа бежало 248, а в 1859 году из 462 человек пустились в бега 291 человек.

[115] В Енисейской губернии, например, с ее немногих каторжных и с многочисленных поселенческих мест водворения в три года бежало 6,572 человека, а поймано и возвращено 1850, около 25% в общей пропорции.

право свидания с родными людьми и местами. У них настолько не истратилось сердце, чтобы возможный покой, тайное укрывательство и невинный процесс простого бродяжества предпочитать исканиям приключений, которые беглых каторжных ведут к грабежам, убийствам и всякого рода злодействам. Если у них уже развилась ненависть к закону и пошатнулась вера в общественное благосостояние, то все-таки поселенец охотнее принимается за такие дела, где меньше ответа и короче обратная дорога в Сибирь. Так говорят данные из России. В Сибири поселенцев больше всего осуждают за побеги из Сибири, за побеги из-под стражи и за взлом тюрем, за развратное поведение и, наконец, за убийство.

Беглые с каторги, достигшие России, отличаются там большею готовностью на разбой и как люди, горьким и тернистым путем выбравшиеся на Русь между множеством страхов и опасностей, устремляются на скрытые и тайные преступления, обусловливаемые заговором, предполагающие шайки (воруют, делают фальшивые монеты, ассигнации и виды, путаются в поджогах). В шайке Быкова, с которою он производил разбои в Спасском и Лаишевском уездах Казанской губернии, следствие обнаружило шесть человек беглых с каторжных работ. Сам атаман пришел с есаулом, свирепым Чайкиным, из иркутского солеваренного завода, а один из товарищей (Федоров) даже из нерчинских рудников. Такие же беглые производили грабежи в Смоленске, разбои в Киевской губернии, и большая часть хотя и сказывались — по обычаю и с повадки — не помнящими родства, но в Сибири оказывались старыми знакомыми «снова здорово». Беглые из Сибири, во всяком случае, принимают на себя значительную долю тягчайших преступлений, и беглые с каторги сильнее и вернее, чем те, которые бежали с мест поселения. Им несомненно обязаны ближайшие к Сибири губернии (Пермская и Оренбургская) тем, что, при всяком виде преступлений краска на них лежит гуще, чем на всех других русских губерниях. Губерния же Тобольская еще сверх того, ко всякому роду преступлений успевает сама прибавить примечательные цифры виновных, в чем немного отстает от нее и соседняя ей Томская губерния. Лет десять тому назад «Восточное Обозрение» сообщало следующее:

«Беглых каторжников разгуливает толпа по Сибири; когда они соединяются вместе, то держат в осаде население обширного района, как это было несколько лет назад в Енисейской губернии. Здесь разбойники плавали на лодках по Ангаре и Енисею и наводили ужас на прибрежные села и деревни. Удержать каторжников в тюрьмах почти нет возможности; они бегут оттуда каждую весну, толкаемые страстью к бродяжеству. Не все они, конечно, готовы вновь совершать убийства, но среди них значительный процент смелых и почти диких людей, которые не остановятся перед убийством. Грабежи и убийства встречаются на каждом шагу, как вдоль большого тракта, так и в стороне от него, и огромное большинство из них проходит безнаказанно».

Нет сомнения также и в том, что пришедшие из Сибири преступники (во всяком случае, люди испорченные, опасные и всегда озлобленные) находят себе безопасный приют в России; пока экономические средства ее достаточно удовлетворяют их насущным житейским потребностям, они неприметны, до известной степени поглощены струею правильно и спокойно налаженного быта. Укрываясь от преследований и соблюдая свою безопасность, они обязательно прилаживаются, по старым знакомым и не забытым в ссылке приемам, к общему строю народной жизни. В этом их основное желание и коренное право на безопасность в местах, до которых достигли они таким тяжелым путем бегства, такими опасными средствами и орудиями долговременного и голодного скитальчества. Разумея цену и важность победы, пришельцы из мест чужих и дальних, на родные и знакомые настолько не слышны там, где им дают приют, что ничуть не влияют даже на самые обычные роды преступлений по России, которые продолжают идти, не возрастая и в подчинении вечным человеческим законам нравственных падений и прегрешений, как будто экономические условия страны, по отношению к избытку вновь появившихся потребителей, устанавливаются в ту норму, при которой лишний человек не затрудняет новыми работами и не тяготит излишним потреблением. Не тяготит он других прокормом и постоем, не нуждается и сам в изыскании средств к существованию темными преступными путями кражи, грабежей и разбоев; равновесие сохраняется и в обыденной жизни нет резких крайностей, по кото-

рым можно было бы судить о скоплении враждебных и опасных сил, порождающих эти крайности уклонения от обычаев и эти противоречия строгому и последовательному складу жизни. На высокой горе лежит вечный снег. К нему наметают ветры новые сугробы, но гора способна удержать на себе еще многие крупные и новые массы снега. Ледник на горе — дело привычное, и селение у подошвы ведет свою обычную жизнь в беззаботности, спокойствии и не боится обвала, который, несомненно, должен нанести вред, спутать все соображения и порядки, напугать близостью опасности и наказать за излишнее доверие и презрение к мерам предосторожности. Равновесие подчиняется вечным законам и нарушается тотчас, как скопление противодействующих сил перейдет законную границу: обвал сползает с горы или всею своею массою быстро рушится на подгорную окольность.

Он не изменяет своим законам, не противоречит сроку появления, и ошибаются те, которые принимают его за явление неожиданное.

Таким образом, пока вновь прибывающие в данную местность нахлебники (из сибирских бродяг), не прошенные на работы, восполняют недостаток рук, больше пьянствуют, чем злодействуют, пока худшие из них, совершающие преступления, кражи и разного рода подделки от фальшивых ассигнаций до паспортов, являются неосторожными выскочками, безопасность беглых обеспечена, они не бросаются в глаза начальству и не будят обычно дремлющих сил его и сил общественных. Безопасность такая становится соблазном для новых охотников, потому что в гостеприимных местах долговременная практика подготовляла те приемы и способы, которые обеспечивают для беглых безопасность. Между тем, со стороны сибирской не перестают действовать те же несокрушимые вечные законы, по влиянию которых прибывают новые толпы и — опасная снежная лавина растет от наметов сибирского снега. Она рухнет, когда придет час, и нарушится равновесие.

Предвозвестниками этого опасного явления, по отношению к скоплению беглых, является увеличение количества краж: значит, объявился избыток рабочих сил и новых не нужно. Новым пришельцам дорога в лес, с обширным правом самим промышлять насущный хлеб. Один на таком деле не воин, «одному страшно, а всем не страшно», на миру смерть красна! — собираются беглые в

шайки, образуют товарищества. Даром не кормят, стало много едоков, надо корм силою брать. Беглые после воровства грабить стали; разбудили дремлющее око, свели хозяина с полатей: он обулся, оделся, взял веревку, пошел искать и ловить грабителей. С соседями он сделал облаву. Облава имела успех: в тенета много волков попалось. Шайку ослабили, но оставшиеся сбились плотнее: всякий товарищ в артели стал рублем дороже. Вырвут одного — у всех шерсть щетиною: надо мстить обычным, дешевым, испокон веку народным средством поджогов. Количество пожаров приметно увеличилось именно от того, что беглых ловят и выдают; пожаров стало так много и зарево от них так велико, что и в Петербурге стало видно, хоть и непонятно. Пожары расплодят погорельцев нищих, новых бродяг, но на этот раз неопасных. Опасны делаются те, которых обозлили преследованиями. Шайки, избегнувшие преследования, ладят уже так, что они имеют всю форму разбойничьих. Найдется не один такой удалой добрый молодец, для которого и жизнь копейка и море по колено, в природе его столько зла, что на многих хватает, а в характере столько силы и воли, что идут за ним товарищи, как послушное стадо, как гуси за вожаком, как кони за передовым табунным жеребцом. Таким образом, вслед за пожарами и грабителями объявился и разбой: грабеж, характеризующий себя только одним насилием, стал разбоем, взяв в руки оружие. И, хотя без оружия, он стал все-таки грозить опасностью жизни, здоровью и свободе людей; с разбоем в тесной связи оказались разнообразные убийства.

Здесь мы видим причину периодического появления злодейств в тех местностях, где преимущественно укрываются беглые каторжные и поселенцы. Таковы в особенности губернии, ближайшие к Сибири: Пермская и Оренбургская, Казанская и Симбирская, умеющие сильно отвечать на все виды поименованных преступлений. Тобольская губерния, населяемая преимущественно арестантами, выбывшими из арестантских рот и смирительных домов и не принятых обществами, и наиболее скопляющая в себе беглых со всех концов Сибири, — является самою преступною изо всех губерний[116]. Отсюда же из этих следует и наибольшее количество бродяг,

---

[116] Вот сравнительно преступления таких арестантов и беглых (за 9 лет):

путешествующих в глубь Сибири; не потому больше, что здесь владеют лучшим уменьем и искусством ловить их (или прилагают к этому делу энергию), а потому, что в этих лесах грибов много: сами валятся в кузов. В Сибири хорошо всем известно, что бродяги, с отчаяния голодовки и по мере приближения зимних палящих морозов, от которых и птица на землю валится, являются из бегов добровольно. Добровольное возвращение вменяется в добродетель, ослабляющую степень взыскания и меру наказания; такого бродягу высекут и водворят на прежнее место до новой весны и кукушки, с каковой поры он снова пациент на лечение «березовою настойкою», предмет практики для палача и полицейских секуторов. Сибирские опыты показали, что minimum побегов для одного человека из опытных бродяг 6, среднее количество 11 и maximum 18 побегов. Количество же бежавших из Сибири в Россию и возвращенных назад далеко не соответствует друг другу во взаимных между собою отношениях; если возьмем количество беглых только с солеваренных

	Бродяги:		Арестанты:	
	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.
Побег из Сибири ……...	—	—	3509	31
Бродяжничество ………	13788	3528	34	—
Воровство ……………….	434	86	32	—
Грабежи ………………...	36	4	10	—
Разбои ………….........	10	1	—	—
Самоубийства …………	120	6	99	—
Телесные повреждения с намер. убийства …….	28	1	39	2
Имение и состав фальшивых видов ……...	345	134	—	—
Подделка ассигнаций и монеты………………...	39	1	7	—
Принятие чужой фамилии………………..	10	3	—	—
Возмущение против властей…………	13	—	20	—
Оставление отечества………………...	5	—	—	—

заводов Восточной Сибири, то и тогда число их больше чем вдвое превосходит число пойманных в России каторжных[117].

Как сибирскому бродяжеству беглых и скитанию русских бродяг в равной степени предшествует преступление, наказываемое ссылкою и называемое «взломом тюрем», так точно тут и там бродяжество неизбежно сопрягается с особым родом преступлений «имения и приготовления фальшивых паспортов» и порождает третий род — «принятие чужой фамилии». Между этими тремя соседями бродяжество считает себя в большей безопасности. Фальшивые виды заказываются грамотным людям с тех пор, как завелись на Руси паспорта. Ломают тюрьмы с тех самых древних времен, когда земляные тюрьмы заменены были срубами, выведенными на поверхность земли и прикрытыми дырявою крышею, а стало бродяжество защищать себя псевдонимами с тех пор, как установился правильный образ ссылки и водворения по методе Сперанского.

Ломают тюрьмы или, собственно, подкапываются под них, или — еще проще — подкупают сторожей так часто, что трудно представить себе хотя одну такую тюрьму в России и Сибири, над которою не было бы произведено опытов этого рода. История этого дела пахнет затхлою стариною, когда беглые назывались «утеклецами». Способы и количество опытов бесконечны и бесчисленны. Цифра может сказать, что чаще производят «взломы» так называемые арестанты; за ними чаще поселенцы, чем бродяги и каторжные (потому что и количество людей первого звания несравненно больше количества людей остальных обоих, взятых вместе). Цифра и говорит это, свидетельствуя еще сверх того о том, что женщины весьма редко прибегают к этой мере освобождения от заточения, представляя исполнение ее сильным рукам тюремных сидельцев мужского пола; женщины не ломают тюрем, а бегут просто с работ

[117] Minimum ежегодно высылаемых каторжных 94, maximum — 210; minimum поселенцев — 223 и maximum — 668. Число ссыльных, судившихся за побег с каторги (в 9 лет с 1838 по 1846), равнялось 1554 м и 7 ж. Число переселенцев, судившихся за побег с мест водворения, 4462 м. и 91 ж. Нам придется еще не один раз обращаться к разбору, объяснению и пополнению этих красноречивых цифр.

на волю, вне острогов. Цифра пришедших из России за это преступление из мужчин и женщин не характеризует его, как местное явление, в достаточной степени уже потому, что суд гонит в изгнание только таких, которые или не умели хорошо произвести операцию, или, произведя ее, не умели хорошо спрятаться. Счастливые гуляют на воле и, виновные в старом грехе, идут уже за какой-нибудь из новых. Несчастных и неловких Сибирь насчитывает в таком количестве, которое уже возбуждает справедливое подозрение[118]. Тюрьмы портят тюремные сидельцы всевозможными способами и только не жгут их (что весьма, впрочем, знаменательно).

В тех же тюрьмах идет приготовление подложных штемпелей и печатей и приготовление паспортов и других видов за цены весьма невысокие, на каковые в Сибири в хороших тюрьмах установлена даже такса. Трудно и в этом отношении представить себе такую сибирскую и из русских мало-мальски жилую тюрьму, где бы при тщательных обысках не найдено было и готовых, и начатых паспортов, и орудий дела в виде кусков свинца, медных монет (обыкновенно пятаков), истертых с обеих сторон и отмеченных новыми нарезками, указывающими на невероятно далекие от Сибири городские думы и волостные правления. Печати обыкновенно крупнее общепринятых форм, номера такой величины, что писавший их иногда и сам выговорить не сумеет, но попадаются и отделанные по всем правилам искусства; в тюрьмах немало настоящих мастеров из тех же резчиков печатей, из подделывателей фальшивых монет и ассигнаций, от известного Цезика из Польши до знаменитого Коренева из Перми. Тюремные паспорта так уже и пишутся по приказу собравшихся в путы на поселенцев, вознамерившихся

---

[118] Однако, и в 9 лет «за взлом тюрем» сослано было 75 человек (32 поселенца. 29 арестантов. 8 бродяг и 7 каторжных). В 1838 году в России бежало из-под стражи 57 м., 1 ж.; в 1839 г, за побег от службы и из-под стражи сослано 84 м., 2 ж.; в том числе 19 из одной Перм., 5 Тул., 5 Грод., 6 Минск., в 1840 — 118 м., 4 ж. (18 из Перм., 12 Минск., 6 Яросл., 8 Бесс.); 1841 — 108 мужч. (17 из Минск, 1842 — 86 м., 1 ж. (17 из Херс., 9 Перм., 4 Вят.), в 1843 — 132 м., 14 ж. (27 Перм., 7 Киевск.), в 1845 — 7 м. (из них: 3 Ряз., 3 Волын., 1 Яросл.). В 1844 г. не показано число, с этого года замаскированное иными темными рубриками.

погулять и отдохнуть в окрестностях; на мещан, крестьян и купцов, желающих прогуляться в Россию. Бри этом обыкновенно избираются те города, которые стоят на Руси двойнями, тройнями и четвернями! Петровски, Николаевски, Александровски, Макарьевы, Яры, Суражи и Спасские в этом случае занимают самые видные и почетные места. Ссыльные из России — первые пособники в этом, они не покидают в Сибири того ремесла, за которое потерпели наказание и впали в несчастье. Ловят в таком преступлении в равной мере каторжных и поселенцев. Из России приходят и дворяне (служащие и неслужащие), и купцы (торгующие и не торгующие), для которых, впрочем, подделка фальшивых паспортов исчезла в итоге преступлений, называемых «подделкою актов и других бумаг» (однако нижние канцелярские чины, ссылаемые чаще за подделку актов и за воровство, выясняются для нас в числе ссыльных, как подделыватели паспортов). За фальшивые паспорта из России идут в одинаковой степени солдаты и мещане, но приметно чаще — само собою разумеется — тот класс людей, который назван бродягами[119]. При этом замечательно то обстоятельство, что бродяги не считали для себя нужным прикрываться какими бы то ни было видами на жительство и прибегать к фальшивым, бродили же просто с так называемыми волчьими паспортами; из пятнадцати тысяч, присланных в Сибирь в течение девяти лет, уличены с фальшивыми паспортами только 479 чел. (345 муж. и 134 жен.), т. е. почти 32-я часть. Главных пунктов этого рода подделок (между которыми принадлежат самые видные места обеим столицам) Сибирь не указывает, привыкнув различать получаемых из России преступников в валовом счете по губерниям. По этой системе подозрительнее других ей кажутся: 1-я Тобольская, 2-я Пермская, 3-я Оренбургская,

---

[119] В таких числовых отношениях:

Солдаты 17, солдатки 11, мещане 82, мещанки 7, бродяги муж. 345, жен. 135. Торопливая и странная система составления тобольских табелей о ссыльных, зачастую сбивающая разного рода преступников в одну" общую категорию, на многие годы мешает отделить подделывателей паспортов от имевших и пользовавшихся ими. Общая же цифра (за 9 лет) «имевших подложные паспорта» для мужчин 1,408, для женщин 328.

4-я Киевская, 5-я Казанская, 6-я Московская, 7-я Петербургская, а прочие губернии в полном безразличии.

«Принятие и имение чужой фамилии», или псевдонимы, употребляемые для подспорья бродяжеству и для пущей легкости и возможности скрывать старые грехи, — в Сибири и России дела обычные. Польза таких выдумок несомненна и в этом отношении неизмеримо практичнее и прочнее литературных псевдонимов; ничто не венчается таким полным успехом, как этот вид преступных помышлений на пользу каторжных, поселенцев и бродяг, исключительно пользующихся ими. Отсутствие сплетни и существование кругового заступничества, вставшего на ее место у этих со всех сторон и всеми преследуемых, делает то, что разоблачение псевдонимов — находка в Сибири равносильная, напр., открытию в самоцветных камнях розового топаза. Смотрители тюрем такие случаи записывают в шнуровые книги под именем «чрезвычайных» происшествий. Так, смотритель Тобольского округа хвастался (в 1850 г.): «Беглокаторжный Федор Иванов, отправленный из Тобольска в Томск, с дороги бежал, в Тюмени пойман, переведен в тобольский острог, снова отправлен в Томск и снова с дороги бежал. В 1850 г. пришел в Тобольск в третий раз в партии каторжных уже из России (но Екимом Зверевым)».

За принятие чужой фамилии из России ушло всего 21 человек в 9 лет[120]. По Сибири едва ли не половина ссыльного люда ходит под прозвищами, взятыми напрокат и, смотря по количеству побегов, под пятою и десятою фамилиею. В сыскных статьях сибирских губернских и областных правлений то и дело поручают искать такого-то (который, как заяц в поле, два раза на год меняет цвет своей шерсти): «Дезертира Путилова Палладий Васильева, он же Александр Лебедев и Одинцов». Одинцов он, вероятно, потому, что любил быть в бегах без товарищей, ходил по лесам, как лось-одинец, как олень-одинец, а, вероятно, это оттого, что псевдонимы каторжных всегда выражают поползновение на своего рода остроумие. В бегах кто какою рекою плывет, тою и славою слывет: умел угождать беглым товарищам мастерством доставать пропитание — Доставалов стал;

[120] Из бродяг 10 м., 3 ж.; из поселенцев 6 м.; из каторжных 2 мужч.

любил встречать прохожих и, ограбив, отпускал их живыми — Разуваевым прозвался. По лесам грабил, в лесах скитался — Дубровин, еще тоньше — Смолкин, Коренев; в горах разбойничал — Гор-Горкин, на острове Ангары пойман — Островским назвался. Очень сердитого Варваровым прозовут, очень угрюмого — Несмеяновым, очень веселых — Балагуровыми, Сказочниковыми, Песенниковыми, Потехиными. Также часто встречаются: Ложечки, Новоженовы, Новограбленные, Монетчиковы, Денежкины, Переплеткины, просто Гришкин и просто Солдатов, Неспособный, Тайнов и проч. и проч. Однако здесь то различие от общепринятых русским и сибирским народом прозваний, что таковые чаще берут на себя сами беглые (а не дают соседи), берут по первому вдохновению, но не без скрытого желания насмешки над допросчиками и сыщиками. Приходят и с заранее надуманными прозвищами, но опять-таки не без скрытого хвастовства своими доблестями, хотя бы на этот раз и злодейскими; арестанты, как известно, народ страшно тщеславный и в высшей степени хвастливый. Бывает, впрочем, и так, что пойманные совсем врасплох и не находчивые сказывают и просят писать себя просто «непомнящими» (такими фамилиями испещрены сыскные статьи и следственные бумаги). Некоторые (и это также в большом употреблении) прозываются именами, получившими на каторге своего рода известность. Так, прозываются они по фамилиям знаменитых сибирских бродяг и разбойников: Горкиными, Апрелковыми, Дубровиными. Палачи, напр., выбираемые преимущественно из бродяг, на большую часть Бархатовы, ибо был-де такой знаменитый криворотый палач в Москве Бархатов, человек суровый и домовитый (словно просоленный был), сам, в свою очередь, вероятно, придумавший себе фамилию также ради острого слова, хотя и не совсем удачно (ибо-де «гладил не бархатом, а чтоб ему, криворотому черту, икать на той свете всю жисть»).

О подобных переменах имен и фамилий неукоснительно доводили до сведения высшего правительства, и оно неоднократно принимало и этом отношении строгие меры: осужденные на поселение и обменявшиеся с каторжными, обязаны были идти туда, куда указала им добрая воля за какое-нибудь ничтожное вознаграждение. Только ссыльного велено было держать в каторжной работе 5 лет, а каторжного, по наказании на месте розгами (ста ударами), держать

лишних 5 лет сверх узаконенного срока. Поселенцев, обменявшихся именами же, велено отсылать в заводские работы на два года, а потом обращать на поселение. Строгости не пособили: ссыльные продолжают меняться именами до наших дней.

Коренные бродяги, занашивающие свои прирожденные прозвища и отеческие имена, для нас поучительны и в том отношении, что прикрывают своим званием многие из тех преступлений, которых нет возможности не только в Сибири, но и в России определить по сословиям с немецкою аккуратностью и, вообще, с европейскою точностью. Но по главным свойствам их ремесла и звания не предстоит большого труда выделить тех из них, которые вырабатываются уже совершенно по европейским образцам и начинают увеличиваться в количестве по мере развития городов со всеми привилегиями и недостатками этих многолюдных сходбищ и стойбищ людей различных свойств, требований и воспитания.

Перед нами бродяги — люди без призвания, не имеющие ни известного жилища, ни средств к существованию, которые не заняты ни ремеслом, ни промыслом. Этот первообраз всех классов злодеев, встречающийся, как неизбежное явление, везде, где производится непозволительная и запрещенная законом торговля, где существует преступная промышленность, — то прозябание, которое получает материалы для питания в больших городах. Такого сорта бродяги и родятся неизбежно в той части населения, которая растет и прозябает в этих больших городах и, по причине непрочных средств к существованию, впадает в крайнюю нищету. Сюда входят и взрослые, и оборванные дети, которые лишились родителей или покинуты ими, — дети, которые, оставаясь без отцовского крова, вертятся на бойких местах главных улиц, на площадях и бульварах Парижа и Лондона и стали появляться и в наших Москве и Петербурге в увеличивающейся прогрессии. Они живут плодами своей навязчивости, милостынею или мелким воровством, и у нас в столицах начинают изредка собираться в воровские шайки или приставать к таковым же взрослых воров.

У настоящих городских бродяг нет ни очага, ни угла, но они — обычные и всегдашние хозяева тех зловонных и злосчастных вертепов, которые открыты для всех приходящих и помещены, по

большей части, во всех больших домах, окружающих самые большие рынки (каковы: Сенная с домом Вяземского в Петербурге и Лубянка с домом Шипова в Москве). Отсюда эти бродяги, — гиблые прозябания больших городов, люди, занятые единственно настоящим днем, — стекаются и толпятся на толкучках, чтобы там легким промыслом (в Европе легкою и ничтожною послугою) добыть себе хлеб и медную монету на приварок или горячее и горячительное, и то только на насущный день. Везде, где частная благотворительность раздает милостыню, бродяги эти, в виде нищих, являются в полном составе: будут ли то церковные паперти в торжественные дни, или крыльца и дворы купеческих и барских домов во время похорон или поминок. Нельзя при этом не заметить, что частная благотворительность старается выбрать иногда для своих подаяний такие места, где, по преимуществу, привыкли собираться бродяги, и, желая быть тороватою и искреннею, благотворительность умеет сделаться, таким образом, вредною и даже преступною. Бродяжничество редко остается в собственных своих границах, но всегда слито с нищенством и воровством — его неизбежными спутниками и естественными помощниками.

Мелкое воровство — единственный выход для бродяг и прямая опора для бродяжества. На средства, добытые этим ремеслом, бродяги умеют поддерживать своих новобранцев и трусливых, закрепляя, таким образом, артельные связи и подкрепляя общий закон, в силу которого легкость добычи уничтожает в бродягах понятие о ценности важных в городской жизни денег. Бродяги тратят их с необузданною расточительностью и поразительною быстротою; безграничное пьянство становится их прямым наслаждением и, при благоприятных поводах, превращается в жизненную цель, для которой предел заключается в смерти. Все места общественных собраний, народных сходок — для них места поживы. Беспорядочная жизнь их составлена из двух половин: одна часть принадлежит занятию ремеслом (дневная), а другая — игре и пьянству (ночная). Игра и пьянство — две страсти, соперничающие между собою в жизни этого погибшего класса людей. Они обе творят с ними изумительные превращения: из легко одетых, большею частью оборванных, они в несколько часов становятся почти совершенно голыми, и только это последнее обстоятельство способно останав-

ливать от выхода на промысел, страсть к которому превращается в некоторый род хронической болезни. Летом они живут под открытым небом, зимою — в самых грязных притонах подозрительных домов. Они, впрочем, привыкли спать и на голых камнях, когда не счастливит добыча; привыкли и голодать и умеют приноравливаться к всякого рода нуждам и лишениям. Бродяжничество, соединенное с воровством, до такой степени сильно затягивающее в себя болото, что люди, попавшие в него, редко бывают способны освободиться. Возвращаемые к оседлости теми или другими случайными способами, они десять-двадцать раз покидают родительские семьи и хозяев, чтобы снова удариться в бродяжничество и пуститься на воровство. Они снова шарят в чужих карманах, высматривают слабые места в чужих квартирах, снова истрачивают добытое и собственные силы только на наслаждения, ради их продавая и носильное платье и все, что продать можно. Таково самопроизвольное, свободное бродяжничество взрослых; но существует и вынужденное — для детей. Отец-ремесленник истощает работою своего сына, хозяин-мастер, принявший из деревни мальчика, не кормит его до тех пор, пока ученик не исполнит заданного урока, тяжелого и для взрослого работника, сурово наказывает, больно бьет, обещается прогнать назад свиней пасти; измученный мальчик бежит и из родительского дома и с хозяйской квартиры, как с каторги.

Разумеется, бродяжничество, нищенство, даже воровство — только печальные последствия, вынуждаемые законами необходимости.

Совершенно особняком от всех указанных нами видов бродяжничества, в подчинении собственным законам, стоит другое явление в народной жизни, на которое указывают сибирские табели, усчитывающие сосланных за бродяжничество. В группах настоящих бродяг большая половина принадлежит тем, которые сказались не помнящими родства, но, в сущности, вовсе не таковы, чтобы можно было оставить за ними прозвание бродяг и считать их опасными и тем более преступными людьми. Это — самовольные переселенцы, ушедшие обменять неблагодарные места родины на лучшие, без дозволения начальств, но по принуждению многочисленных обстоятельств, неблагоприятных оседлости. Они упорно отказывались объявить свое звание и имя, чтобы отнять возможность пересылки

этапным способом туда, где все для них кончено, но, под охраною закона, получить право на оседлость там, где и по слухам и по пословице «хотя и не растут яблоки, но люди не мрут с голоду». Большие толпы людей, ссылаемых в Сибирь за бродяжничество, — те переселенцы, у которых отнято право добровольного выбора мест внутри России и заменено способом принудительного переселения и казенных приемов под видом ссылки на поселение в Сибирь. Им не удалось довести своего предприятия до конца (они пойманы во время самой работы) и, вместо того чтобы воспользоваться плодами своих исканий, на этот раз принуждены видеть свое дело испорченным. Им указано вести его сначала при всех неудобствах ссылки и невыгодах принудительного поселения. Их признали виновными и назвали преступными. Их ссылают в Сибирь за бродяжество, но за ними историческое право, не допускающее преступности в этом характерном явлении нашего отечества.

В России известные формы народных передвижений, называемых в наши времена бродяжничеством, прошли через всю историческую жизнь народа, под благоприятным влиянием времен удельно-вечевого периода. Оно сохранилось, как живое и неизбежное начало, даже и на то время, когда ковалось Московское государство, медленно и ощупью добираясь до начал государственных, неблагоприятных этому бесконечному и беспрерывному шатанию из края в край, из одной области в другую. Когда из Москвы начали высылать ограничения этому народному передвижению и думали остановить народные стремления «брести врозь» — явилась русская Сибирь, обязанная своим бытием именно этому стесняемому свойству, неразрывно слитому со всеми другими свойствами, и тем людям, которые назывались сначала *вольными*, потом получили прозвание *гулящих* и, наконец, названы *бродягами*. Вольные люди до Иванов московских, гулящие при них до Петра, беглые при нем и бродяги после него до наших дней — все одни и те же представители коренного народного свойства, стремившегося осилить и оживить обширные равнинные пространства, на которые набрел русский народ и которые легли неодолимым соблазном перед ним, успевшим сознать самого себя и собственные силы. Бродяжество несло государству громадные выгоды и было одним из правильных и законных явлений.

Новгородские бродяги — вольные люди, уходившие из Новгорода и его волостей, в силу общего народного настроения, на торговлю и промысел или выгоняемые смутами и неурядицею, — эти вольные люди населили весь север России. В странствиях, придерживаясь рек, этим бродяжеством своим сумели они оживить самые отдаленные страны, каковы закамские и сибирские. Избрав привольное любое место, эти вольные люди копили на св. Софию (а потом и на государя московского) слободы из таких же вольных людей, бродяг, известных на старинном языке под именем *прибылых людей*. В пределах России они устояли под защитою частных собственников, сильных капиталом и влиянием и являвшихся на помощь к ним или в виде частных лиц — служилых людей, или в форме общин, каковы монастыри. В пределах Сибири те же промышленные поселения устояли под защитою острогов и под охраною тех бродяг, которые назывались в старой России казаками.

Еще долгое время спустя, когда уже окончательно установилось Московское государство, когда тот элемент, который породил на Руси казачество, быстро и свободно заселил окраины, приобрел государству много новых земель и землиц, покорил много непокорных народов и уступчивых народцев, когда этот древний элемент народного духа вменен был народу в преступление, прежние вольные люди названы были гулящими людьми, — бродяжничество еще продолжало руководить народным инстинктом. Инстинкт этот сказывался отысканием новых мест, лучших, прибыльных и привольных. Это искание какой-то обетованной земли руководило народом долгие годы потом. Живет оно в нем и теперь, даже и после полуторастолетнего существования законов, вменяющих народу бродяжничество в преступление. Оно, под разными формами и именами, пережило и последние полтора столетия, самые трудные для его жизни, но представляющие те же питательные средства, какими богата была древняя Русь и не бедна новая. Теперь, когда, казалось, так прочен и надежен государственный строй, добровольный переход с худых мест на лучшие, не кончая своей истории, ведет ее повесть с такими же подробностями, хотя уже не так смело и открыто, но так же приметно и настойчиво. Один ничтожный, неопределенный слух, распущенный какими-нибудь бродягами (обыкновенно солдатами-дезертирами, нередко беглыми помещичьими

людьми и крестьянами), достаточно силен был для того, чтобы и во время крепостного права поднимать с места сотни и тысячи оседлого населения и вести их в неизвестность, в какую-то призрачную, дальнюю обетованную землю. Так было это в 1825 году с помещичьими крестьянами 20-ти губерний, между которыми Пензенская, Симбирская и Саратовская поступились значительным количеством своего населения, выступившего на «новую линию» и дошедшего уже до пределов Уральского войска с целью разыскать расхваленную и благодатную реку Дарью. Волновался народ слухом о каком-то сенатском указе и, называя его указом 23 февр. 1823, верил в то, что господским крестьянам дозволено селиться на казенных землях за рекою Уралом, что для этого им объявлена полная воля, и кто захочет, тот и может селиться. Народ шел пешком без денег и без хлебных припасов, питаясь подаянием; шел без жен, без детей, оставляя семейства и хозяйства на произвол судьбы. Идя дорогою, не только ни один не совершил преступления, но даже и маловажного проступка, оставив лишь на местах подъема следы не только неповиновения и ослушания помещикам и управляющим, на и следы мятежей и своеволия. Всем хотелось дойти без препятствий до счастливых мест, где на осетрах бабы колотят выполосканное белье, где на всякую избу тотчас по приходе дают всякого скота и птиц вдоволь и где всякий, придя в готовую избу, на дубовом столе найдет 500 руб. на обзаведение всем нужным в хозяйстве. Женщины оставались дома дожидаться подкрепления слухов, а мимошедших снабжали холстами, пряжей, деньгами, хлебом, прося записать их на «новой линии». В подкрепление слухов рассказывали, что сам император Александр I и великий князь Константин Павлович объявили крестьянам свободу и сами поехали выбирать им места, что киргизский хан, по просьбе своих, изъявил желание населить свои земли русскими людьми, что государю это понравилось, и он уж советовался с Аракчеевым и велел Сенату писать указы; к Сенату пристал и Синод, и проч. Разглашали слухи и поясняли их прежде всех, разумеется, бывалые люди — отставные солдаты (уличено 6 человек: Николаев, Фролов, Шлыков, Белоглазов и друг.); затем купеческие дети (2) и сами сбежавшие крестьяне других губерний. Лицо духовного звания — как и быть надо — пономарь открыл на пути канцелярию для снабжения желающих

фальшивыми паспортами. Все число сбежавших крестьян только из трех соседних к линии губерний (Пензенской, Сибирской и Саратовской) простирается до 2084 чел. Из этого числа наибольшую часть успели задержать на местах; другую возвратили из Оренбурга и Уральска (802) в ножных кандалах и за караулом от внутренней стражи. Кроме того, в Симбирской губ. поймано беглых помещичьих крестьян других губерний 203 чел. (Пенз. 86, Саратов. 43, Нижегор. 39, Казан. 15, Тамб. 1, Рязан. 18, Вологод. 1; в Курмышском уезде поймано 35 чел. из Нижегор. губ.). Однако из всего числа бежавших 27 пропало без вести, 20 умерло в дороге, 8 чел. товарищи отбили из-под караула; многие успели ускользнуть от учета. Как велик был прилив народа в Оренбургскую губ., можно отчасти судить по тому, что из одного уфимского казначейства израсходовано на отправку беглых крестьян 15332 руб. 70½ коп. Очень многих местные начальства, под видом бродяг и целыми семьями, отослали в Сибирь на поселение. По исследованиям сенатора князя А. А. Долгорукого, главнейшею причиною побегов было нелепое толкование распоряжений, предписанных указом 23 февраля 1823 года, относительно бродяг.

В 1847 году большая часть Витебской губернии двинулась к Петербургу и уже под Порховом остановлена была вооруженною силою. Сколько раз подобные же слухи шевелили и поднимали большие массы народа во многих других губерниях, как случалось, например, в Псковской, Новгородской, Воронежской, Курской, Киевской, Могилевской, Подольской и проч. Старательно преследуя все подобного рода движения и народные заявления и сурово устраняя ближайшие причины, — преследователи оставляли в почве корни, из которых один вырван великим актом освобождения от крепостного сословия; другие корни остались в почве. Малоземелье в хлебородных южных местах, неурожаи, нередко преследующие из года в год в местах лесных и болотистых, до сих пор, вместе с другими причинами, дают этим скрытым корням питательные соки в достаточной мере.

С поразительною очевидностью Сибирь ежегодно убеждается в том, что наибольшее количество ссылаемых за бродяжничество является из южных губерний степной полосы России. Средняя цифра принадлежит внутренним губерниям средней полосы (в большей

мере подмосковным, в меньшей — западным). Самая малая, сравнительно ничтожная цифра падает на северные губернии и остзейские. Сильное на юге народное переселение слабеет в центре и уничтожается на севере.

Оно, как бы набалованное условиями теплого климата и продолжительностью благоприятных времен года, ослабевает, истощаясь в своих силах при близости полярных холодов и пропадает в непроходимых, темных и ненаселенных лесах севера, на топких и скудных тундрах и болотах его. Приволье степей увеличивает его размеры и, расширяя пути, дает готовые тропы. Неприветливость северных лесов заслоняет эти пути, теряющиеся в непроходимых чащах, и заметает снежными сугробами те дороги, которые легко укладываются в любом месте в степи. Условия народной жизни изменились. Применение труда и народных сил приняло другое направление, противоположное тому, по которому до сих пор следовала история.

Во времена, от нас далекие, когда южные степи оберегались воинственными кочевниками восьми наименований, разбивавшими и разрушавшими жизнь русских славян на юге, вся сила движения направлена была в противоположную сторону — на север. В первобытных, непочатых лесах его внедрились два богатыря: Москва и Новгород. Когда первой удалось притянуть к себе все разрозненные, но однородные части и составить сильное целое, второй уже успел осилить новые препоны и дал народному движению новое направление на восток — в Сибирь. На севере от степей продолжала укрепляться и сосредоточиваться русская жизнь, поразительная своею самобытностью и изумительная по необычайным успехам колонизации. Вольные люди искали новых земель и оживляли трудом своим те, которые удалось занять при содействии собственных общин или по призыву богатых собственников, между которыми в ряду колонизаторов очутились даже монастырские общины и, притом, оказались самыми способными и опытными, к которым охотнее приставали прежние вольные люди. Частное право перехода от одного владельца к другому, более выгодному, с бесплодных земель на плодородные, стало на севере из обычного права — народным, вошло в последующие узаконения, служило народу выходом на несчастные случаи, неблагоприятные для оседлости.

Суровый климат и неблагодарная почва, встретившие пришельцев невзгодами повальных болезней и частых голодов от неурожаев, закрепили за народом право переменять место, как естественное. К негостеприимной стране и неблагодарным займищам и урочищам народ мог применяться на время, но не был в состоянии прикрепиться навсегда. Побежденные природою и желавшие пользоваться естественным человеческим правом свободы уходили на призыв хвастливого и тороватого. Равным образом снимались и с тех мест, где земля не давала надежных всходов, и где прошла война, сопровождавшаяся, по обычаю тех времен, страшными опустошениями и грабежами. Население, оживлявшее леса и боровшееся со всеми препятствиями, встреченными в них, продолжало находиться в постоянном движении и кочевало по тому же способу, как и те аборигены страны, которых вытесняли они с лучших мест. При отсутствии граней в русской земле, это скитание по лесам было бесконечным и вело народ к какому-то оседлому кочевью, «где — по словам одного из историков наших — всякая оседлость казалась временною, а всякий переход совершался оседлости ради». Таким образом, самое завоевание так же кочевало, как и племена; но завоевание на этот раз увенчалось тем успехом, что вся громадная лесная равнина осталась за восточным славянским племенем. Здесь, в пределах этой равнины, главным образом сосредоточивалось это кочевье оседлого народа и находилось в полном разгаре, являлось бесконечным даже и на то время, когда Московскому царству показалось оно и несвоевременным и вредным. Годуновский указ о прикреплении народа к той земле, на которой кого застал указ, оказался только сильною попыткою остановить народные стремления переменять места под тем или другим предлогом, от той или другой причины, которые на времена первых трех царей из дома Романовых оставались те же. Число пришлых людей на первое время уменьшилось, но пределы расширились приобретением новых стран и очисткою хлебородных и соблазнительных степей от элементов, до сих пор сдерживавших стремление русского народа в эту сторону. Не сильное вначале, но такое же устойчивое и здесь, как и на севере, такое же неуступчивое ко всяким препонам, народное передвижение заручилось новыми поводами, выразившимися в крутых и суровых преследованиях за старую веру и новые религиозные

толки. При втором из Романовых, царе Алексее, народное движение, вызванное новыми невзгодами, стремилось и по старым тропам на восток, в Сибирь, бросалось и в обратную, на север, к шведским рубежам, кидалось в отчаянии и по новым сиротским дорогам на донские и приволжские степи, искало помощи и защиты и на западе, за рубежом литовским. Как до сих пор Новгород стремился на восток, так теперь Москва устремилась и на юг, и на запад, куда ни попадя.

В таком народном брожении принял Россию Петр, думавший установить государственный строй по опытам и образцам Европы, но в этих стремлениях сумевший дать народу новые поводы к протесту против нововведений. Тем же бегством в разные и дальние стороны ответил народ на указ Петра о ревизии, на последующие указы его о рекрутстве, преследования за старую веру, на прикрепление к заводам и тяжелые непривычные работы и пр. Расширение владельческих прав под именем крепостного, сурово выразившееся при Анне и достигшее своего полного апогея при Екатерине II, дало новые питательные соки народному стремлению к перемене места. Народ бежал и от второй ревизии при Елизавете, и от рекрутства, обратившегося в государственный принцип и затрагивавшего чувствительные семейные узы в самых здоровых звеньях и узлах. От нередких и всегда неожиданных хозяйственных кризисов народ также по-прежнему спешил подниматься с насиженного места и стал искать приволья и счастья там, где укажут ему старинные предания или сегодняшний заманчивый слух, пущенный каким-нибудь доброхотом.

Как некогда Сибирь была для народа тою обетованною страною, где бабы бьют осетров коромыслами, так потом, когда народ распознал, что и в Сибири то же солнышко светит, Ханаан его стал в степях, сначала оренбургских, потом новороссийских. В настоящее время он ждет новых указаний, но частями не остановил своих стремлений по знакомым и старым тропам. Сомнения нет в том, что с половины прошлого века определительно высказался перелив населения с севера на юг, и мы, во всяком случае, переживаем то время, когда эта народная работа еще не доведена до конца. Народ еще не кончил своей роли и не изменил своему призванию как колонизатора. Как прежде ни запретные указы царей и потом сената,

ни напряженные усилия прежних сыскных и последующих воинских команд не клали препоны, так и теперь не сильны ручательства тому, чтобы народ отказался от миссии, которую он выдержал с таким успехом и которую осязательно выразил в стремлениях к обладанию Азиею. Всеменные кровавые уроки народ скоро забывал, но наболевшее место продолжало по-прежнему жить в народном организме и сказываться при первом, даже легком уколе. Способ лечения посредством так называемой паспортной системы — как всем и давно известно — не имел никакого успеха, а огромная корпорация старообрядцев приняла паспорт за печать антихриста.

К концу этой борьбы за право существования на возлюбленном и сытном месте, с одной стороны, и за право взимания податей и разного рода сборов — с другой, стало ясно теперь, что народные переселения устремились в противоположную сторону. Север, некогда сильный огромными городами и богатыми селами, громкий торговлею в далеких заморских странах, затем обеднел и пустеет. Оставшимся на нем достались в наследство кое-какие следы богатства предков, которое любило, между прочим, выражаться в больших и богатых церквах, выразилось во множестве их и в том, что при обилии лесного материала, церкви эти выстроены из дорогого материала каменного. Стоят еще и до сих пор: некогда великий Новгород — при 6095 жителей, с 12 монастырями и 50-ю церквами; Вологда, куда Грозный царь думал перенести свою столицу из Москвы, — теперь с двумя монастырями и 50 церквами на 27822 жителей; Кострома с 35 церквами и 2 монастырями на 41268 жителей; Ростов Ярославский с 24 церквами и 4 монастырями на 13016 ж.; Углич с таким же числом церквей и 2 монастырями на 9698 ж.; Владимир (Залесский) с 30 церквами на 28315 ж.; Костромской Галич с 16 на 6182; Устюжна с 17 на 5109; Юрьевец с 17 церквами на 4778 жит. В Новгороде те монастыри, которые находились в черте самого города, лежат теперь в 3 и 7 вер. от него. В Холмогорах те Матигоры, на которых жил воевода, отстоят на 5 верст от этого города, и теперь протянувшегося на три версты и заключающего в себе 6 церквей на 1112 жителей самого бедного люда. 24 церкви, большие, каменные и старинные, сохраняет другой древний и торговый город, Каргополь, с населением теперь в 2952 жит., в котором, таким образом, на 80 человеках лежит обязательство

поддержки целого причта и церкви. Как Новгородчина (колонизационное влияние которой ограничивается на юге Волгою) поступилась своим народом для Сибири, где два города выросли до двадцатитысячного населения, а селения стали похожи величиною на города, так точно московские люди выстроили такие большие города, как Воронеж (84146), Саратов (137109), Харьков (174846) и Астрахань (113001) на юге, и разбрелись в таком количестве, что у себя дома оставили воспоминание о многих городах только в бедных селах и пустых урочищах. Когда понадобилось Екатерине преобразить села в города, почти ни одно из них не дошло и до некоторого подобия этих творений немецкого изобретения, но не русского дела. Между тем, во времена этой же императрицы, опиравшейся на завоевания Потемкина, новороссийские степи открылись для русских людей, и стремление нашего народа на юг выразилось в самых очевидных и крупных формах. Население сумело здесь сосредоточиться в городах с такою быстротою, которая поистине поразительна: Волжск[121] с 1781 года вырос в город с 27039 жителей, Екатеринослав, заложенный в 1786 г., имеет теперь 121216 жителей, Херсон с 1778 г. возрос до 69219 жит. Из крепости св. Димитрия (1749 г.) вырос на Дону город Ростов с 119889 населения; из бедных татарских деревушек стали такие города, как Таганрог (1770 г.) с 51965 жит., Николаев (1791 г.) с 92060 и Одесса с 405041 жит. В 1837 г. деревушка, превратившаяся в город Бердянск, имеет теперь 27247 жителей. Воронцов принимал беглых за пришельцев и, подобно де Геннингу (основателю Екатеринбурга), умел делать из опасных людей безопасных и полезных, внедряя их на пустопорожних благодатных черноземных землях юга.

Такой обмен и перелив народных сил, устремившихся из лесов в степи, с севера на юг, сумел до некоторой степени послужить причиною, что многие цивилизующие начала, прилагаемые по европейским образцам, до сих пор не имеют успеха, в особенности по отношению ко введению так называемой паспортной системы. По самому существу колонизации та же причина выразилась в неправильном распределении народных сил, которые успели во многих местах расположиться так, что перелили через край, привели к

---

[121] Вольск.

тому же малоземелью и высказались прежним желанием народа переселяться дальше на новые места. В наше время на призыв на вновь приобретенные земли, наравне с некоторыми из лесных губерний (каковы Вятская, Пермская, Московская и Владимирская), вызываются охотники из степных (каковы Орловская, Тамбовская, Воронежская и Киевская). Так сказалось это при заселении Амура и сказывается в призыве в Крым и на Кавказ и в нынешние времена на Уссури, Аму-Дарью, в южные сибирские страны, в Ташкент. В то же время не перестает народное передвижение в прежнем направления на черноземные степи и через них: под названием «самовольно зашедших» из губерний, бедных поземельным наделом, являются в русских степных и южных губерниях эти остаточные служители древнего русского начала и представители отживающей, но еще живой силы народного духа. Менее находчивые из них возвращаются по этапам на родину; более твердые в своих намерениях, для которых опостылела родина, закрывают себе навсегда обратный путь в нее, сказываясь «ничего не знающими» и прикрываясь именем «не помнящих родства». Эти люди терпят заточение, подвергаясь суду, получают наказание. Зная, что за упорное запирательство в показаниях закон сулит им замену добровольно избранных мест на ссылку на поселение, эти люди, настойчиво уверяя в том, что ничего не знают и не помнят, идут в Сибирь только для того, чтобы не возвращаться назад на немилую родину, с которою успели окончательно рассчитаться. В Сибири не придется им установиться на месте, там снова начнут они бродить, но уже от других причин, порождаемых самою страною и способами сибирского поселения (об этом дальше).

Несмотря на то, что многим «самовольно зашедшим» на юг и по несколько лет не переменяющим паспортов удается до несчастных случаев укрываться на дальних морских рыболовных ватагах[122]

---

[122] Известно, что когда приводили в ясность число беспаспортных, занимающихся рыбною ловлею на астраханских водах, цифра изумила величиною: насчитано было таких людей около пятнадцати тысяч! Нисколько не меньше их на водах Азовского моря; не считаны они на Куринских рыбных (Божьих) промыслах. На южном берегу Персидского залива, в особенности на водах богатой рыбной реки Сифуд-руды, русские рыбаки живут

(не по одному десятку лет со старыми видами и в том числе на персидских и турецких водах), несмотря на это, число пойманных и выразивших желание идти на поселение в Сибирь весьма значительно. С соразмерным постоянством цифра ссылаемых за бродяжничество ежегодно повторялась в более крупных размерах в губерниях южных, и при этом ярко выяснялся тот закон, что таковое поселение производится семьями: количество женщин немного уступает количеству мужчин. Следодовательно, предпринимается оно не ради бездельного скитания с места на место, чтобы, на правах бродяг, считаться людьми без призвания, лишенными предусмотрительности и энергии и пришедшими в то нравственное состояние, при котором исчезает даже тень самостоятельного характера. Тянулись на юг, при крепостном праве, дворовые охотнее и чаще всех других сословий; брели в большом числе, более свободные, государственные крестьяне. Оказалось, что теперь сравнялись с ними в этих стремлениях и бывшие помещичьи крестьяне, облегченные от пут крепостного права. Идут на юг и беглые из Сибири (в 20 лет выслано оттуда попавшихся и уличенных 430 человек)[123].

Как на волжских, каспийских и азовских водах еще многим охотникам сказываться «не помнящими родства» удалось схорониться от ссылки благодаря экономической необходимости их для края и безвыходного положения блюстителей закона[124] так и в Рос-

---

по целым десяткам лет, не принимая персидского подданства, но и не поддерживая особенных связей с отечеством.

[123] Из Астр. губ. выслано за бродяжничество 333 муж. и 55 жен., из земли войска Донского 1245 муж. и 214 жен. в 20 лет (с 1827 по 1847 год).

[124] В известные нам девять лет (с 1838 по 1846 г.) число сосланных в Сибирь за бродяжничество распределялось в таком отношении по южным и степным губерниям (считая мужчин и женщин вместе): 1) Ставр. 947; 2) Екатер. 730; 3) Херс. 642; 4) Полт. 642; 5) Черн. 621; 6) земли войска Довск. 556: 7) Киевской 528; 8) Таврич. 437; 9) Курской 410; 10) Бессараб. 402; 11) Харьк. 368.

Из северных лесных губерний за то же время выслано бродяг: из Вологод. 43 (36 м., 7 ж.), Арханг. 27 (22 м., 5 ж.), Олон. 24 (21 м., 3 ж.). Эти цифры самые меньшие. Из Финляндии и Царства Польского за бродяжничество не высылали; из Остзейской губ. очень мало) из Курл. 48, из Эстляндии 13).

сии удается отбивать многих из тех, которых, по всем признакам, можно считать истинными бродягами в более близком к настоящему смыслу, чем те, о которых мы рассказали сейчас. При всех усилиях, частых и упорных преследованиях, в народе не могли искоренить живучего начала бродяжничества, и оно сумело проявиться в таких формах, при которых стало терпимо, очутилось вне преследований. Прихотливо разветвляясь на многие отрасли, русское бродяжничество, в каждом из видов своих, успело прикрыться благовидным покровом и встать под защиту того самого общества, которое их породило, воспитало и в отживающей и одряхлевшей форме охотно покровительствует приютам, питает и греет. Общественная оборона явилась для многих из этих родов бродяжничества в таком крепком виде, что для последователей нет ни прав, ни возможности одолеть ловко прикрытые остатки наследия отцов и прадедов.

Всматриваясь с большею подробностью в различные виды скитальцев, мы видим, что многие из них, по разнообразным вызовам, основали свое право на экономических условиях страны и представляются тем законным явлением, без которого народная жизнь неполна. Для них скитальчество — наружная форма: одни из скитальцев стоят под защитою коренного народного свойства — всеобщего стремления к так называемому благотворению; другие прикрылись ремеслом; для третьих оказался удобным промысел; четвертые бродят под видом торговцев, и проч.

Нет тех сил, которые могли бы остановить целые массы народа, движимые принципом религиозности и увлекаемые к местам, почему бы то ни было признанным народом за священные. Нет тех знаний, которые были бы способны разграничить искренние религиозные побуждения с меркантильными, чисто коммерческими предприятиями, только снаружи покрытыми массою неподдельного религиозного чувства. Нет тех средств, которые могли бы противостать наплыву масс шарлатанов и обманщиков, которые, под

Самая крупная цифра по этому роду ссыльных принадлежит губерниям Тобольской, Оренбургской и Пермской по причинам, которые мы объясним дальше (в первой собрано 2,553, из второй выслано 957; из третьей — 953 человека).

видом духовного дела, ведут мелочную торговлю, спекулируют на религиозных верованиях таким же нечистым промыслом и, устраивая на той и на другом свое личное благосостояние, в то же время поддерживают в народе суеверия, питают в нем крупные и многочисленные остатки язычества. Для таковых обетные хождения по святым местам русским, ближним и отдаленным, сделались целью существования, превратились в вечное движение, бесконечное скитание, в хроническую болезнь, в промысел. Люди эти понятны народу и любезны ему: нет того места в России, у которого не было бы своего Иерусалима, какого-нибудь города или села, или родника с чудотворною местно-чтимой иконою, с подспудными мощами святого подвижника и целителя телесных и душевных недугов. Обетное хождение к таким местам с молитвою вменяется в обязанность всякому, желающему получить облегчение и от грехов, и от недугов. Восходя мыслью об обрядном обстоятельстве хождения по святым местам, народ наш особенно чтит дальние святые места. В мучительно-трудном пути к этим местам он видит один из путей к облегчению душевных скорбей и вероятие достижения блаженства в райской загробной жизни. Вот почему Головецкий монастырь, удаленный за лесами и болотами и поставленный среди моря «на стоке океана», считает ежегодно богомольцев и рубли, оставленные ими, тысячами, а путешествие в сирийский Иерусалим, чрез землю неверных и зловерных, считается верхом торжества для души, ищущей земного спокойствия. Лавры Троице-Сергиева и Киево-Печерская, непременно достигаемые пешим способом со вкушением всяческих невзгод, для жителя северных лесных губерний (вторая) и для жителей степных южных (первая), приближают радость утешения, всецело доставляемую собственно лишь одним Иерусалимом.

Видя в самом процессе трудного пешего путешествия богоугодный подвиг, задавшись мыслью и твердо стоя на положении, что только та молитва скорее идет к небу, которая у самых нетленных тел препоручена заступникам и угодникам Божиим, народ видит затем во всех странниках подобного рода счастливцев, божьих людей. Препоручая себя молитвам этих людей, народ везде, на всех пунктах (даже и на больших торных дорогах), дает этим странни-

кам бесплатный приют, даровой прокорм и деньги в натуре на дальнюю путь-дорогу и на заздравную и заупокойную просфоры. Главнее всего, с этих странников берут обещание, приправляемое усердною просьбою, не оставлять их святыми подарками на обратном пути и не обходить их избы окольною дорогою, не принеся им тех освященных памяток, какими с избытком запасаются монахи святых мест и какими в обилии снабжают они богомольцев. Не знают того и не хотят знать простые и доверчивые деревенские люди, что часто мимо них проходят в Соловки такие артели, которые в прошлом году бродили около Москвы, года через два очутятся в Киеве, еще через несколько лет попадут на Афон и в Иерусалим. Не знают они, что вся жизнь артелей этих проходит в постоянном, неугомонном бродяжничестве, что бродяжничество успело опутать их соблазнами и тенетами легкого промысла так, что многие странники сами не видят во мнимом спасении своем необлыжного греха против личной совести и против общества. Нет простому человеку дела до того, что это — тунеядцы, что артели их сбиваются греховно и большею частью на самых корыстных расчетах и служат одному из семи неумолимых и смертных грехов. Нет нужды решать такие дела, где замешалось дело совести — самые темные дела, судить которые народ наш, по многовековой привычке, не умеет и не любит. Охотно слушает он потом рассказы о всех необычайных явлениях вроде стона грешных душ, слышимых во аде через отверстие в Иерусалимском храме, и верит им всею слепотою своего ума, всею восприимчивостью своего сердца, боясь не доверять им из страха смерти. Верит народ в обоих случаях и тому рассказчику, который сам воспринял все слышанное и виденное на свою слепую веру, и тому, который лживо-привычною и медово-сладкою речью хитро прикрывает личное безверие и, выкладывая с языка рассказы о чудесах, в уме своем раскладывает счеты и грешные соображения о количестве и качестве денежных и других наград за повествования[125].

---

[125] О бродяжестве этого характера и разных видов автор говорит в отдельном сочинении, изд. Т-вом «Просвещение» под названием «Бродячая Русь Христа-ради».

Насколько слепо в народе доверие, производимое религиозными возбуждениями, и насколько простосердечна вера, преданная разумению одной внешней обрядности, настолько часты в жизни народа такие заключения, которые происходят от обманов и подлогов, употребляемых людьми хитрыми и злонамеренными. Сколько раз ловила в разных местностях России наша немудрая земская полиция целые шайки бродяг с перламутровыми образами и крестами, с поддельными частицами мощей и обломков от креста Христова, бродяг, переодетых в монашеское платье и выдававших себя за греков из Иерусалима или с Афонской горы. Нахичеванские армяне такие подлоги обратили в особый вид промысла и коммерческого предприятия, основанного на запасе вещами, хорошо идущими в торговле: камешками разного вида, образками, четками, евангелиями, кусочками разного рода и даже песком, уверяя, что все это из Иерусалима, и что деньги собирают на гроб Господень. И сколько еще ходит по большим и столичным городам таких странников в полумонашеском платье, которые со смирением на лицах повествуют о сверхъестественных явлениях, но сбиваются на географических и других показаниях и потом ловятся в кабаках в пьяном и безобразном виде и без всяких видов.

Замечательно, что любили спекулировать этим большею частью армяне деревень Нахичеванского уезда, запасавшиеся перед уходом заграничными паспортами на Джульфинской таможенной заставе в персидских пределах. Здесь персидским шахом разрешена выдача билетов персианам, идущим на заработки в Россию. За условленную плату закавказским (русским) армянам здесь же выдавали билеты с прописскою, что они — греческие священники. Некоторые запасались заграничными паспортами и от тех армян, которые приходят из Турции. Опытные и бывалые умели накалывать на руках татуированные знаки, изображающие распятие, лики святых или просто кресты. По деревням русским они уверяют, что эти знаки наколоты самим Иерусалимским патриархом. Эти плуты не бреют бород, носят священнические рясы и шляпы, вроде невысокого монашеского клобука; службою молебнов наживают большие деньги, особенно на ярмарках в Нижнем, Харькове и Полтаве. В опасных местах они рясы снимают и ходят они купцами с коробками, предъявляя уже нахичеванские паспорта. По многим местам

у них заведены притоны и передатчики награбленных обманом денег. Чрез притонщиков этих ведется переписка с родными; в домах у них производятся и переодевания. Некоторые из мошенников-армян успевали сделаться кое у кого по купечеству духовниками, помимо которых к настоящим уже и не ходили, а у этих пришлецов крестили младенцев и проч. Наслежены таковые мошеннические притоны на Волге, на Дону (в земле казачьей), в Харькове, Симбирске, Новочеркасске, — по большей части у армян же[126].

Огромные толпы нищих покрывают все церковные паперти в городах и селах, площадки на базарах и площади на ярмарках. У одиночно-просящих милостыню нищих круг скитальчества неширок, ограниченный своим околотком. У каждого во всех деревнях по соседству имеются такие избы и семейства, которые во всякое время готовно отпирают нищей братии ворота и двери, открывают печь, припасают теплое и уготованное место для ночлега и красный угол для рассказов о сонных видениях и приключениях в соседстве. Носит эта нищая братия худые вести с чужого двора, не видя и не чуя в них греха сплетни, не подозревая в себе ясных *и* определенных черт неумытного ремесла вестовщины, межидворницы, готовой подслужиться и семейному раздору, и общественной неурядице. Смирение, обязательное для молитвенницы, переходит в грех пересуда, и осуждения соринки в чужом глазу; из легкого ремесла становится привычкою и промыслом, у которого опять-таки один исход — бродяжничество, безмествое шатание, бесконечное кочевье. Если по смыслу пословицы: «от поваженного, что и от наряженного, отбою не бывает», то и нищенство, подпадая под форму бродяжничества, не имеет на Руси конца и меры и в дальнейшем своем развитии доходит до странных, неожиданных и крайних

---

[126] 7-го июня 1890 г. московский окружной суд приговорил к восьмимесячному тюремному заключению перса Якова-Боба Ибрагимова, выдавшего себя за священника православной константинопольской патриархии и присвоившего крупные пожертвования на Афонские монастыри. На суде выяснилось, что в Москве существует правильно организованная партия персов-христиан, занимающихся тем же. Одетые в священнические рясы, они по подложным свидетельствам собирали на восточные православные святыни и добытые деньги делили между собою.

пределов. Везде, где только какое-нибудь случайное возбуждение — во имя молитвы, а кстати, тут же и ради торговли — собирает толпы народа, сбивает торг, базар, ярмарку, везде во всех таких местах нищая братия является с неизменным и несокрушимым своим правом, столько же древним, как сама Русь. На большую часть в бойкие торговые пункты нищие приходят в плотно слаженных артелях. У этих артелей нет уже иных целей, кроме рассчитанных коммерческих соображений на промысле горлом и смиренным видом. Часть заработаннаго капитала поступает в руки того слепца-подрячика, который сбил эту кучу попрошаек в артель и подобрал голоса по давней привычке и личным соображениям: громкому голосу, при хорошей памяти, положил большую плату, слабый голос, при малом знании стихов и старин, оценил меньшим паем. Смиренное сидение над деревянною чашечкою, с опущенными долу слепыми очами, подделано и наведено только для базара и народа. За глазами базара оно скидается, как тяжелое, гнетущее бремя, и видимо благочестивая и смиренная артель в заговоренных кабаках развертывает сдержанные базаром и корыстью страсти: многие слепые оказываются зрячими, многие хромые и безногие пляшут трепака под влиянием разжигающей влаги. У целовальников до сих пор свято правило наливать самую лучшую водку нищим. Ни одна артель не живет таким обилием всяческих дрязг и свар, ни в одной не бывает таких ожесточенных кровопролитий и темных нечистых дел, вроде умыкания (похищения) чужих детей, нередко сопряженного с искалеченьем членов и, во всяком случае, с неизбежною порчею их нравственности на полном просторе и раздолье этого вида бродяжничества. Большая часть бродяг деревенских нищих живет в постоянных круговых переходах из места на место, с базаров на ярмарки, с харьковской на полтавскую, с Коренной на киевские Контракты и проч. Живет этот род бродяжества-промысла с самых отдаленных и темных времен нашей истории до настоящего дня, надежно пристроившись к тому народному свойству, которое истекает из религии. Во многих губерниях, в особенности во Владимирской (Судогожского уезда), из-под Москвы, в Пензенск. губ. Саранского уезда, целые волости заколачивают избы и уходят нищенствовать. При этом побирание Христовым именем

принимает форму настоящего, правильно организованного промысла, вызванного либо замечательным бесплодием почвы (как в окрестностях Судогды), либо вековым обычаем, не только ничем не сдержанным, но даже находившим покровительство при крепостном праве (как в деревнях подмосковных и в Калужской губернии)[127].

На всегдашней готовности русского народа к благотворению неимущим, несчастным и страждущим основал раскол самую живую и деятельную сторону своего дела — дело пропаганды и рассчитанно достиг богатых и счастливых результатов. Так называемые «запросчики», в постоянных переходах с места на место, полагали свое общественное служение, как долг, радение и священное обязательство общине. Семен Уклеин всю жизнь свою не имел где главу приклонить, но в итоге увидел то, что молоканство из тамбовских деревень перекинулось на Хопер и с Дону перебралось за Волгу, далеко в Самарскую степь. Кондратий Селиванов, с тем же странническим посохом и под видом бродяги, прошел по черноземной полосе глубоко с юга до Петербурга, посещая хлыстовские «корабли» и устроя сионские «горницы» скопцов. Наконец, из того же принципа бродяжничества возник особый вид раскольничьей секты, известной под именем бегунов, или так называемого сопелковского согласия, ревнители которого уже не в истинном смысле люди, не имеющие где главу приклонить, по религиозному принципу уходящие в глубь лесов и во мрак подпольев (подробности в том же сочинении «Бродячая Русь»).

На разнообразном пространстве огромной русской земли народные передвижения с места на место для отыскания средств к

---

[127] В прошлом веке и в начале нынешнего всех странствующих нищих, хромых, слепых, немых и убогих, приходивших из соседних губерний, хотя бы и по собственным делам, а не только для испрошения милостыни, принимали за бродяг и ссылали в Сибирь. Указ 23-го февраля 1823 года повелевал даже всех не предъявивших паспортов, не наводя никаких справок, ссылать в Сибирь. По почину калужского губернатора точнее определено законом значение бродяги, дозволено помещикам возвращать крепостных людей из бродяг на пути следования в Сибирь, а убогих и нищих отдавать, по принадлежности, на призор самого народа, оставлять на родных местах и на родной почве.

существованию на стороне, когда их нет на месте, между прочим, разительно высказались в существовании так называемых отхожих промыслов. Из них некоторые многознаменательны до того, что выводят население многих местностей поголовно (по крайней мере лучшую и здоровую часть его). Как промысел и ремесло, так и торговля искала применения и путей для себя в тех же переходах и скитаниях по лицу земли русской. Эта разновидная подвижность населения также глубоко скрыла начальные основные корни свои в давних временах народной истории и также не стеснялась пространствами и расстояниями. Как плотники и печники, шерстобиты и шубники уходят в глубь Сибири, так некогда ковровского и вязниковского ходебщика-офеню видали за австрийскою границею и считали сотнями за Кавказом и за Уралом, десятками на самых отдаленных окраинах государства, каковы прибрежья Белого моря и ссыльные места Забайкальского края. С коробом за плечами, с аршином в руках, офеня-разносчик почти круглый год (от середины одной Макарьевской ярмарки до начала ее в следующем году) бродил из села в село, с людного базара и малого Торжка на большую и бойкую ярмарку. Шерстобиты ходят с места на место всю зиму, коновалы половину зимы и весну и проч. Хотя кое-какие частные распоряжения и, наконец, самое время и изменения экономического быта, с проведением шоссейных и железных дорог, ослабили это скитальчество торговли, тем не менее оно производится еще и теперь, хотя и приметно в уменьшенных размерах. Офени прикрепились к тем местам, где сосредоточивали они, главным образом, свою торговлю, и бродят уже только по околицам срединного пункта, но зато ярославские салфеточники бродят еще по петербургским и московским домам, разнося полотна и полотенца, а тверские и буевские гребенщики подают еще свой козлиный голос на столичных дворах и улицах. Отхожий промысел в столицы имеет, сверх невыгод долговременных отлучек для нравственности семей, еще ту особенность, что приучает сельского жителя к городской холостой жизни, несомненно влияющей прямым и косвенным образом на развитие преступлений «против прав семейственного состояния».

Не видать уже теперь в таком множестве тех цыганских таборов, которые, с разломанными кибитками, с рваными и одетыми в лох-

мотья женщинами, с полуголыми ребятишками и с крадеными лошадьми, во множестве становились в окрестностях уездных городов и больших торговых сел. Реже (и не только в северных и соседних местах России) видятся теперь эти бродяги из индусского племени, женская половина которых занималась ворожбою, кражею кур и бабьего тряпья, в то время как мужская пускалась на плутовской обмен краденых лошадей. Те и другие отслужили свою достославную службу шаловливому безделию помещиков и чиновников, умевших тратиться и пьянствовать под обаянием диких песен и удалых плясок На пятьдесят лет тому назад ушли для бессарабских цыган те времена, когда они, своими таборами, как бы татарскими ордами, осаждали молодые города Новороссии (например, херсонский Елисаветград) и высылали из лагеря в город послов с требованиями денег и имущества и с угрозами смерти и пожара на случай отказов. Там, по всему югу и даже на западе (по Белоруссии), цыгане еще остаются при старых правах бездомных скитальцев.

Глава V. Воры и мошенники

Народные понятия о собственности. — Ведомый большой вор. — Воровские места в России. — Причины воровства. — Столичные жулики и мазурики. — Карманники. — Музыка (воровской язык). — Мешки (барышники-приемщики). — Честный человек в воровстве. — Мошенники высших слоев общества: карточные шулера. — Сословия и места, наиболее видные по воровскому промыслу. — Воровство — повальная тюремная и поселенческая болезнь

Древняя Русь придавала это прозвание «ворами» вообще всем лихим и злым людям, тем недоброхотам и злодеям, от которых народ ожидал для себя несчастий и получал всякого рода невзгоды и бедствия. Ворами слыли и литовские люди, опустошавшие московские страны, и казаки, пользовавшиеся смутными временами и народными неурядицами. Ворами назывались и те русские, которые, не имея оседлости, бродили по московской земле, наживались плодами чужого труда и прозваны в наши времена бродягами. Ворами прозвал народ и царьков-самозванцев, которых соблазнял московский престол в смутное *безгосударное* время. Вором в те времена был не тот, кто посягал на мелкую собственность; недоброхот

подобного свойства назывался *татем*, а ремесло его — *татьбою.* «Теперь, — по пословице, — люди таковы стали: унеси что с чужого двора — *вором* назовут» и «кто раз украл — навек *вором* стал».

Таким образом, с исчезновением старого настоящего слова, другое старое же вступило во все его гражданские права и приняло на себя все его обязательства. С переменою слов же изменились самые свойства преступного промысла. Он в нетронутом виде достался в наследие и нашим временам, только с тем различием, что несомненно развился в применении и разветвился на новые виды, более утонченные и весьма разнообразные. Современный закон признал в воровстве два вида, из которых за одним оставил прозвание кражи как такого способа похищения, каковое не сопровождалось нападением с открытою силою (с оружием или без оружия), как разбой, или с насилием же, но без опасности жизни, здоровью и свободе человека, как грабеж. Воровством-кражею назвал закон всякое преступное посягательство на чужую собственность, произведенное втайне, и назвал воровством-мошенничеством тот вид кражи, которая произведена посредством *обмана.* Но сколько ни ясны подобные определения, сколько ни точно определены и предусмотрены частные виды обоих родов воровства, народные понятия с этими объяснениями во многом расходятся. Народ же во всем согласен со своими законодателями, потому что не во всем приладил жизнь к тем образцам, из которых выбраны руководящие правила для нравственной жизни и заимствованы весы, вызнающие степень виновности его в случае отклонений от общественных правил и падений в противоположную сторону.

Ни в чем до такой степени не разнообразны (и, по-видимому, даже разноречивы) народные понятия, как именно по отношению к понятию о собственности. Несмотря на то, что воровство одно из тех преступлений, в котором всего чаще обвиняются люди и всего больше подвергаются наказанию ссылкою, Россия представляет поразительные крайности. Не говоря уже о том, что в пестром калейдоскопе племен, населяющих русскую землю, понятия о чужой собственности замечательно разнообразны, в самом русском племени это право совсем не таково, чтобы его можно считать определенным и оконченным. В густонаселенных пунктах, где нужда, лишения и житейские неудачи делают свое законное дело, воров-

ство является неизбывным последствием; количество жертв велико: им в ссылке принадлежит второе, а за исключением бродяжничества первое место в ряду всех других родов преступлений. При этом ссыльными становятся те лица, на которых испытано значительное количество всякого рода возмездий, произведено много целительных операций; в ссылку являются неисправимые, отбившиеся от рук преступники; стало быть, воровство представляется в более отчаянном виде безнадежным и сильно распространенным в народе преступлением. С другой стороны, в местностях менее населенных уважение в чужой собственности сильнее, при меньшем числе соблазнов количество ссыльных жертв поразительно слабее. Являются такие места, из более глухих и менее оживленных, где воровство еще одно из тягчайших и самых нетерпимых преступлений. Народные понятия складываются в совершенно противоположном направлении, и нравы народные представляются во всей чистоте патриархальности. Употребление орудий, оберегающих собственность, слабо, а во многих местах еще даже и неизвестно. Деревянные замки заменяют железные. На Терском берегу Белого моря и на Печоре употребление таковых оправдывают необходимостью обороны против блудливой рогатой скотины. В лесных местностях Вологодской, Костромской и Вятской губерний еще жив обычай заявлять о пропаже в церкви и, в крайнем случае, на базаре, обращая на себя внимание шапкою, приподнятою на длинной палке. Старинная форма самосуда по всей Сибири и северной России еще продолжает отличаться своим простодушием и не встречается насмешками, не возбуждает удивления, не покидается в силу несостоятельности. С несознавшегося упрямого вора снимают на базаре шапку, с бабы — платок; в Шадринском уезде (Пермск. губ.) на пойманного с поличным надевают украденную вещь и водят по базару. Против упорных и забаловавшихся употребляют крутые меры, которые, с одной стороны, свидетельствуют о грубости первобытных нравов, с другой — показывают, до какой степени щекотливо чувство уважения к чужой собственности и обидно и невыносимо даже мелкое нарушение прав ее[128].

[128] Не сознающихся в воровстве кормят, между прочим, солеными пирогами и не дают пить. Между родными — суд Божий, т. е. сними икону со

Особенною строгостью в этом отношении отличалась Запорожская Сечь: за воровство и грабеж одного отвечал весь курень, к которому вор-казак принадлежал, если он не имел у себя достатка. Во всяком случае, вор и грабитель отвечал, при несостоятельности, спиною: преступника привязывали или приковывали к столбу на базаре и клали подле несколько киев, подобных бичам и нарезанных из дубового дерева. Тут же ставили разные напитки: горилку, мед, пиво, брагу. Всякий казак, проходивший мимо, ел и пил сколько хотел, но за даровое угощение обязан был ударить привязанного по чему захочет (по голове или ребрам) с приговором: «От тоби, сучий сыну, щоб ты не крав и не разбивав, мы все за тебя куренем платили». Бывали случаи, что забивали до смерти. За убийство платились убийством: вешали, подвозя верхом на лошади под шибницу (виселицу) и, накинув на голову сильцо (петлю), лошадь ударяли плетью; вешали на горе за ноги, за ребро железным крюком и оставляли висеть, пока не рассыплются кости. Сажали на кол, т. е. деревянный столб вроде острожной пали вышиною в два аршина, с железным шпилем наверху. Посаженный на кол сидел до тех пор, пока не высыхал и крутился кругом шпиля, как мельница, и торохтили его кости, пока не спадали на землю. Придорожных грабителей забивали до смерти палками. Освобождали преступников от смерти только в таком случае, когда девушка изъявила желание выйти за него замуж. В Запорожье существовали уже правильные суды — «паланки», с тремя членами-судьями, панами: полковником, есаулом и писарем, избранными на три года. К ним в

стены и скажи: «Порази меня, Царь небесный, если я этому делу виновен». По дрожанию рук, ног, губ судят о вине; добиваются сознания соленым пирогом, которым накормят и пить не дадут. В таких местах еще кладут надежды на домашние средства исправления и нередко достигают цели. Простодушных конокрадов в степных губерниях узнают в церкви по восковой свече, поставленной низом вверх перед образом Ивана Воина. Чох (чихание кстати) идет на правду. Верят и боятся, что за воровство придется возить на том свете попа в решете. У старца (нищего) взять — огонь в дом. Пугают должника прощением: «с бирки срежу». Наказывают (в Белоруссии) за разврат виновницу битьем веревки от звонницы (колокольни), а загулявшуюся покрепче тем же концом веревки на самой звонице, и проч.

помощь определяли трех помощников из казаков — пидпанков. Сотворил казак шкоду какую: потраву, драку, обиду — оба берут на базаре по калачу и идут судиться; пидпанки производят следствие, паны мирят. Помирились — по домам, не помирились — в Сечь.

Зато в других местах, где свету стало побольше, за воровство велят три раза простить, в четвертый прохвостить; говорят (и делают): хлеб за хлеб, а за перестorожку ведро вина: не пойман — не вор, не уличена — не гулява. Права собственности уже достаточно ясны, им положен предел: чей берег — того и рыба, чья земля — того сено. Вор еще не бывает богат, бывает горбат; для него еще больше накладу, чем барыша; у воров не бывает каменных домов. Но по мере того, как редеет лес, пахотные земли делаются богаче, население гуще, города многолюднее, селения чаще, — понятия о воровстве и воре, подчиняясь таковым явлениям, становятся на ту настоящую почву, на которой уже вор да мот до веку не переводится, где пословица «грех воровать, да нельзя миловать» представляется во всей наготе и неотразимой правде. Здесь уже грех заспать можно, здесь *десятая* вина виновата. Кругозор разумения шире, уступчивость греху сильнее, и самый грех не вызывает тех негодований и отвращения, которые могли бы высказываться со старинною нетерпимостью и с древними формами возмездия, на этот раз уже и непригодными на практике. Здесь уже распознали, что не ворует мальчик, а сами люди носят; здесь сам отец благословляет деток до чужих клеток: вор ворует, а сам горюет. Попуская оставаться сукну и овчине у портного на ножницах, по тому же снисхождению и способу, в силу каковых у развитых людей и образованных сословий зачитываются книги, умудренный житейским опытом народ кое-где продолжает еще соблюдать правила старины и понятия о воровстве имеет по-прежнему своеобразные. Они бросаются в глаза по своей исключительности, но в то же время в массе понятий видится система, выработался общий закон. Все, к чему не приложен труд и что, таким образом, не представляет благоприобретенного капитала — воровать не грех. Все барское с тех самых пор, когда оно узаконено в отдельную собственность, возбуждает самый крепкий соблазн, подвергается преимущественным нападениям, наводит на грех кражи, как придорожный горох и репа, с крайне сомнительным сознанием виновности и ответственности перед совестью. Все

добытое трудом, убереженное уходом, выработанное уменьем и искусством, становится неприкосновенным до границ подозрительной собственности, вроде господской и поповской. За этою границею способность распознавать чужое от своего значительно слабеет, виновность в грехе возрастает; количество наказуемых ссыльных жертв укладывается в определенную систему, выражается ежегодными, непрерывными и непобедимыми цифрами. Цифры приходят в обязательную подчиненность от законов, которые для всего народа становятся однообразными. Они одинакова всеми исповедуются по той мере, как целостно сохраняется в народе общинный склад его жизни; народный смысл наталкивается на распознавание и разумение, что создано Богом на службу и потребу людям, каковы земля, вода и воздух, словом, все, чего люди не могут создать сами. Народ не расходится в этом отношении с тем, что веками укреплялось в сознании с самых древних времен, когда Бог устами законодателя Моисея сказал всем людям: «Земля бо Моя есть, вы же на ней пришельницы есте», и что подтверждено Екатериною II в земских постановлениях России. Считая землю за *средство* к работе и не сомневаясь в правах на нее, народ (испытавший на себе, что и с *правом* на работу можно умереть с голоду без *средств)* сумел достаточно укрепиться в мысли, что там, где не приложено сил, не выказалось прилежание — слабо право собственности, подозрительна греховность в нарушении его. Рубка чужого лесу представляется, таким образом, самым законным способом пользования на домашнюю потребу и повсеместно в целой России выразилась фактом, для уничтожения которого еще до сих пор не придумано не только верных, но и приблизительных средств. Самовольные порубки — грех повсеместный, развитие его не остановили и такие меры, какова ссылка за кражу в заповедных казенных лесах, ссылка, остающаяся при одном праве ежегодно повторять старую истину и ежегодно не достигать никаких полезных результатов[129]. Неосторожные и чаще других попадавшиеся, глубже и

---

[129] В тех же лесах, что находятся под охраною неписаного закона, но домашнего обычая, стоят в неприкосновенной целости, как бы зачурованные заговором, борты для пчел, силки по путикам для зверей, в редких случаях охраняемые какою-нибудь тамгою (штемпелем), свидетельствующею об

сильнее других убежденные в бессилии греха, эти жертвы общего всей России прегрешения значительно дополняют и оправдывают цифру ссыльных в Сибирь за воровство-кражу.

На тех же основах древнего быта, при мало измененной обстановке старинных приемов и веровании, зародился и уберегся до наших дней в сельском быту живучий и злобный тип недоброхота чужого имущества, известный под именем *ведомого вора.* Редкая местность России (из людных и бойких) не испытывает всех неблагоприятных последствий от такого явления, не находится в страхе и опасности от злых деяний и воровских прегрешений этого рокового и злого духа. Он, благодаря почти непрерывному влиянию благоприятных обстоятельств, умел продлить историческое существование и уберег себя на текущее время в замечательной неприкосновенности. Вся тайна его живучести заключается в наглости и дерзости, с которыми производит он свой промысел и которыми доводит своих жертв до страха покорности, причем всякое противодействие неспособно выразиться достатком сил и не умеет заручиться излишком смелости и решимости. Избытком добычи, приобретенной воровским промыслом, ведомый вор умеет прикрывать свои следы и заслонить себя от предстоящих опасностей.

имени владельца. Ничто с такою строгостью не наказывается деревенским самосудом, как именно воровство этой заповедной добычи и продуктов промысла: речной рыбы, уловленной сетями и вынутой хищнической рукою, пчелиных роев, переманенных из чужого улья в свой, или медовых сотов, подрезанных без спроса и в недоброе время и проч. Уличенным и пойманным на таких необычных делах не было еще дано ни разу прощения или снисхождения ни в северной России, ни в Белоруссии, ни в Сибири. Особенно ненавистно и нетерпимо воровство общинного имущества там, где еще не умерщвлены основы общинного владения землею и водою. На Урале, у казаков уральских, о таких преступлениях и слухов нет. В Сибири, при слиянии р. Исети и Течи, по наволокам, т. е. по приречным кустарникам, в обилии растет хмель — общественная собственность. Его миром отдают на откуп. До назначенного дня никто не смеет рвать его, иначе виновному привязывают руки назад к колесу, затем ругают, плюют в глаза и, опутав хмелевыми кленами, водят по толпе любопытных. Помещичьих крестьян за порубку лесов, в случае негодности их в военную службу, начали систематически ссылать в Сибирь в начале нынешнего столетия.

Он становится вне всяких преследований, когда имеет право сказать: «Что мне законы, когда судьи знакомы!» Он, в звании и с именем большого вора (когда опирается в промысле на товарищей и вполне зависящих от него соучастников), становится тем безопаснее, чем счастливее на походах и в добыче. За что воришек бьют, то ему с рук сходит. «Когда малый вор бежит, этот большой вор лежит», лежит, оберегаемый людскою оплошностью и нерешительностью, лежит до тех пор, пока сам не зарвется, пока с другой стороны не переполнится чаша терпения. До тех пор он — вне всякой опасности, потому что все убеждения жертв его преследований сводятся к одному: «с сильным вором тягаться не под силу»; веками дознано и многими тысячами опытов и примеров доказано, «что вор попал, а мир пропал (поплатился), один в грехе — все в ответе». Безнадежность эта тем сильнее и вернее, что вор вора терпит, вор на вора не доказчик.

Ведомый и большой вор, начиная практику с приема краденого, с потачки и попустительства мелким воришкам, сам выходит на дело, придерживаясь сначала деревенских околиц и клетей, и не задумывается потом встать на дорогу, чтобы здесь воровски разбивать, шапки снимать и встречать из-под мосту проезжих. Обычные приемы защиты — поклепы на людей неповинных и подкупы людей сильных; наиболее легкий предмет для промысла и практики — крестьянские лошади, и самая частая виновность — конокрадство. Этот вид воровства — наиболее распространенное в народе преступление, против которого еще до сих пор, как всем досконально известно, не придумано пока никаких средств. Перед неодолимою силою зла пали все учреждения и деятели сошли со сцены побежденными. И при них, как и до них, после уцелели такие места, где «что ни двор, то вор», и что ни год, то огромные толпы неисправленных воров и мошенников, которые сумели осилить всякое возможное терпение, перейти все степени и рубежи и добиться тех печальных результатов, которые оканчиваются лишением прав состояния, дальнею ссылкою и всякого рода злоключениями. Сибирские табели ссыльных не умеют распознавать воров по родам их промысла и по степени их преступности, но, принимая воров из крестьян и мещан, несомненно вносят в эту графу большое число конокрадов. Воры в тесном смысле, похитители без разбора всего,

что попадет под руку и что плохо лежит, — составляют исключительную особенность городов. Конокрады — прозябание деревень и преимущественные обитатели тех местностей, где группируются конные торжки и в большом множестве гнездятся в местах, ближайших к специальным (конным) ярмаркам. Некоторые местности успели сделаться привилегированными, и ремесло, за долгое существование, умело приготовить таких ловких мастеров, что «из-под себя кобылу украдут», — говоря словами народной поговорки. Те же поговорки отчасти указывают и на этих мастеров, рекомендуя искать у татарина кобылу и говоря про торопчанина, что он лошадь купил, а цену забыл. Цыган давно уже выговорил, что краденая кобыла не в пример дешевле купленной обходится. Между русскими конокрадами наиболее всех других выдавалось, между прочим, одно из пермских имений гр. Строгановой, в котором конокрады пользовались наибольшею славою, и самое воровство этого рода производилось в изумительных размерах (особенно в течение 1844–1846 годов). В Уфимском уезде, в том уголке, который смежен с Белебеевским, деревня Каргала, густонаселенная князьями и мурзами (1200 душ), долгое время представляла гнездо конокрадов, наводивших страх и трепет на все окрестные деревни. Башкиры воруют без разбора и у своих единоверцев кочевых, безбожно разоряют и русских крестьян: таскают лошадей, коров и овец. Лошадей крадут десятками у кочевых и единицами у оседлых, угоняя добычу в далекие страны. Выкуп лошадей хозяевами за высокую цену —один из тех обычаев, который полагается неизбежным и обязательным (за одну голову 30–40 руб.). Отдается лошадь в каком-либо лесу или в глухом овраге. Лошадь приводится пятью вооруженными людьми с кинжалами и пистолетами; обворованный, сверх денег, приносит вино. Один дает ему оплеуху, другой стреляет над его головою и выговаривает угрозы, если тот вздумает хлопотать и жаловаться. Угрозы превращаются в дело немедленно, и панический страх поддерживается в народе. Прекращенное в одном месте, конокрадство перекочевывало, цыганским и татарским способом, в другое; на практике конокрадов из русского племени производится оно шайками, где два вора в одну руку играют и где каждый мастер — по словам народного приговора, из плута кроен, мошенником подбит, каждый еще сверх плута на два фута, каждый

умеет свинью продать за бобра, каждый обует и разует. Иногда прикрываются они каким-нибудь благовидным и невинным ремеслом и, шатаясь, например, по деревням швецами, в сущности те самые опасные мастера, которые (по словам поговорки) «день сидят с иглой, а ночью с обротью» (т. е. уздою или недоуздком), и во всяком случае та опасная корпорация людей, которой народ боится как огня, зная, что здесь «вор по воре и каблук кроет». На конных торжках и ярмарках вор является под охраною и защитою барышников и перекупщиков, таких же плутов. Если конокрад смело и ловко крадет, то барышник еще лучше концы хоронит, и на этот раз действуют также сообща.

На таких руках и при таких условиях конокрадство есть одно из зол, трудно поправимых, потому что в самом народе находит много питательных материалов, а служители зла столь многочисленны, потому и сильны, что не всякий обиженный решается доказать на них. Из боязни мщения и преследований, в расчете на горшее зло, народ подошел к прямому и неизбежному заключению: «Пропадай собака и с лыком, лишь бы не судиться». Воровство такого рода продолжает собирать шайки там, где не существует обычая держать пастухов, сколько за недостатком свободных рук (в местностях, существующих отхожими промыслами), столько же и по отдаленности пастбищ (как, напр., во всех наших лесных губерниях). Придерживаясь торговых конных центров, конокрады потому и прочны, что ведется повсеместный на Руси обычай меняться лошадьми и, стало быть, представляется полная возможность быстрого перехода краденой лошади через многие руки, тем более что народ продает лошадей без всяких свидетельств. В таких случаях даже и перекраски и подтасовки не нужно, а равно и тех многосложных аптек, какими обычно обставляются столичные барышники — деятели тамошних конных площадей. Здесь на место воровства самого грубого вида является легкое и утонченное мошенничество. В степях, у кочевых народов, конокрадство принимает форму грабежа, даже разбойничьего набега: киргизская баранта является уже характерною особенностью племени, жаждущего показать свою удаль во славу отцов, в отмщение за обиду или, по степному вдохновению, над зазевавшимся и оплошавшим или более слабым кочевым родом.

В девять лет (с 1838 по 1846) за оба вида воровства (кражу и мошенничество) сослано в Сибирь из России 13180 мужч. и 2186 женщ.[130]. В этой цифре, по проценту сосланных, наибольшее количество ссыльных принадлежит губерниям новороссийским, молодой стране, еще не установившейся, еще организуемой новыми пришельцами в виде бездомных бродяг, беглых голышей, явившихся искать здесь счастья; за ними следуют губернии, искушенные в житейском опыте и, между прочим, населенные татарским племенем, склонным к конокрадству (Казанская и Симбирская). Несколько меньше первой и больше второй шло воров из Бессарабской области — преимущественного гнездилища цыганского племени, откуда народ этот, как саранча, не так давно выходил на промысел с грабежом по соседству и с обманом на всякую руку по целой России вплоть до отдаленной Вятки. Между ними с высоким процентом воровства встали обе губернии столичные (С.-Петербургская и Московская), виновность которых, прямым образом, зависит от самих столичных городов. Губернии Пермская и Оренбургская, само собою, не могли встать дальше других по исключительности своего инородческого населения (в особенности башкир) и русского, дурно обеспеченного (заводские и фабричные). Наименьше запутались в

---

[130] С предыдущими 11-ю годами (с 1827 г.), т. е. за 20 лет, цифра эта возрастает до 41666 чел. (35416 мужч. и 5250 женщ.). До 1781 г. высылка воров была обильна. Ссылали всякого рода без различия степеней и видов воровства, присуждая к кнуту и плетям. Екатерининский наказ разобрал дело с большим вниманием и нашел более удобным и справедливым населять Сибирь теми ворами, которые поживились имуществом, превосходящим стоимость ста руб. ассиг., и всеми, которые повторили кражу и ниже ста руб., начиная с 20 руб. ассиг. Но и на этот раз цель Петра I, стремившегося к пополнению армии ворами и бродягами, не утратила своей силы: в Сибирь шли неисправимые воры, не пригодившиеся в военную службу. Жалобы главнокомандующих армиями на деморализацию войска вызвали указ 1821 года (11 июля), по которому таких воров стали прямо направлять в Сибирь. В 1823 году запрещение приема в военную службу воров ограничено было тем, что стали принимать не наказанных рукою палача. Словом, теперь попали в Сибирь за кражи, превосходящие ценность 30 руб., и за кражи меньшей ценности, но повторенные несколько раз. При этом лица до 35 лет, годные, отданы в солдаты либо помещены в арестантские роты.

воровстве губернии белорусские и северные, между которыми Олонецкая — наиболее других добродетельна[131]. По отношению ко всем другим губерниям России, где потребности шире, а средства к удовлетворению их ограниченнее, количество ссылаемых за воровство возрастает наряду с большею или меньшею количественностью общего числа жителей. Как удалось выделиться из общего числа другим двум столичным, так наиболее выдаются также и те, где крепостная жизнь поддерживалась наибольшим количеством владельцев (Пензен., Рязац., Калуж., Смолен., Яросл., Черниг.). В малороссийских преобладало наибольшее число ссыльных женщин. Явление это, естественным образом, вызывалось общим законом всего человечества, по которому история воровства становится, в то же время, историею пороков и других страстей человека, служа одинаково и историею его несчастий и слабостей. Нужда, лишения, житейские неудачи если не оправдывают кражи, учиненной с ущербом для другого, то, во всяком случае, объясняют и ослабляют значение этого рода преступлений. Случается зачастую, что сами судьи оправдывают в душе это преступление. Особенно это важно по

[131] Губернии встали в таком порядке (за 20 лет):

	Мужч.	Женщ.
Пермская…………………	1427	193
Казанская…………………	1354	137
Оренбургская…………….	1272	92
Симбирская………………	1261	78
Кирршя…………………...	1218	212
Саратовская………….....	1137	111
Московская………………..	1170	93
С.-Петербургская………..	866	170
Херсонская………………..	735	184
Бессарабская……………..	791	58
Екатеринославская..........	765	96

Из Архангельской воров выслано: 80 мужч., 32 женщ.; из Олонецкой 32 мужч., 8 женщин.

отношению к столицам, как пунктам, наиболее привлекающим к себе охотников улучшить свое состояние.

Обстоятельств, порождающих воровство, много, и хотя чрезвычайно редки случаи, чтобы честных людей наталкивали на этот грех нищета и лишения, но, тем не менее, в последних бедах — десятки, сотни причин, самых разнообразных и неожиданных, доводящих до кражи. Неожиданности эти тем чаще, чем сильнее становится безвыходность и безнадежность житейского положения. Не только люди, не раз обманутые в жизни, потерявшие всякую веру на улучшение своего положения, делаются жертвами этого порока, но даже и те, для которых не померк луч надежды, которым дорога и в которых сильна еще вера, и такие люди поддаются соблазну, и для них не закрыты пути к гибели. Большие города в особенности много порождают жертв подобного рода, привлекая массы искателей работ. Всякий надеется иметь успех, а надежда, столь свойственная человеческому сердцу, заставляет эти массы покидать семейства для торговли, промысла, для государственной службы. Пришедший ищет протекции, проводит время в поисках влиятельных людей, в хождениях за справками. Между тем, маленькие средства, принесенные из дому, мало-помалу истощаются. Поденная работа за скудную плату на некоторое время удаляет опасность. Временная помощь только обманывает: лишения становятся ощутимее по мере того, как заработок удовлетворяет только сегодняшним нуждам и не позволяет произвести сбережений на будущее. Бедняк испытывает голод, закладывает необходимые вещи, он еще при надеждах и далек от падения, но час его приближается. Как только препятствия и злосчастия преодолели чувство гордости и самоуважения, бедняк превозмогает стыд и обращается за помощью к частной благотворительности. Но эта помощь, имея узкие пределы, скоро прекращается. Домой возвращаться — незачем, там не лучше. Впереди только лишения, препятствия, несчастия и, как бы назло, перед глазами тысячи людей, пользующихся богатством и всеми благами жизни. Бедняк задается сравнением — и сравнение это унижает его, оскорбляет, приводит в отчаяние. В уме зарождаются пагубные замыслы, желание мстить обществу. Бедняк, под гнетом таких мыслей, дрожит, отступает при мысли о бесчестии, но, преследуемый нуждою и увлекаемый ее непобедимою силою,

он, наконец, уступает и становится преступником. «Голодный, — по пословице, — и архиерей крадет».

Большие города, и в особенности столицы, отогревают еще новый вид воровства, называемый мошенничеством, которое также совершается умышленно с признаками несомненного обмана. На низшей ступени стоят те из мошенников, искусство которых состоит в ловкости и гибкости рук. По отношению к людям они безукоризненны и пользуются только теми вещами, которые носят люди, а потому их обыкновенно называют карманниками (жуликами в Москве, мазуриками в Петербурге). Шайки их небольшие, но они с изумительною ловкостью умеют сновать в толпе, и дни воскресные и праздничные — для них рабочие. Где нет тесноты, там они нарочно производят ее, бросают в толпу разные запугивающие объявления, чтобы, пользуясь смятением и напором, легче очищать карманы. Вещи срывают или вытаскивают, производя встречный толчок, за который вежливо извиняются. Деятельность их хотя и мелка, но и чрезвычайно разнообразна. Процедура расправы и суда была известная: обвинителей беспокоили расспросами и показаниями, вору позволяли играть всевозможными способами уверток, а потому воры в ссылке нисколько не характеризуют этого промысла во всем его широком развитии. Сибирская цифра не служит мерилом. Мошенника, по недостатку улик, либо освобождали, либо, после полицейского наказания, снова оставляли на свободе приниматься опять за старое ремесло. В лучших случаях мошенника, судя по ценности уворованного, предавали суду, где зачастую он отделывался запирательством или бежал. По приговору его иногда оставляли в сильнейшем подозрении, но выпускали на волю; в худшем случае высылали на родину. Здесь мошенник брал новый паспорт и радовал столичную братию — товарищей по ремеслу — своим внезапным возвращением. Снова вынимал платок, часы, попадался с поличным, хозяин вещи хватал за руку, хотел передать в руки правосудия, но никого нет возле, зрители не пособляют, и свидетели не объявляются из боязни таскаться по чужому делу. При таких условиях воровство быстро возрастало: в 1842 г. серьезная опасность от мошенников в Петербурге вызвала особую комиссию, желавшую обозреть это дело во всей подробности. Комиссия получила официальную цифру: узнала, что на три первые месяца

1842 года случилось по 5 и 6 краж, в течение следующих от 12 до 14, и в течение трех последних от 30 до 40, но уверилась, что эта цифра не давала не только истинного, но и приблизительного понятия. Из числа 326 краж, о которых донесла полиция, только по 50 сделано кое-какое открытие и возвращена весьма незначительная часть украденного. Из украденных у одной мещанки 2178 руб. отыскано не более 137; из украденных у одного купца 22 с лишком тыс. найден был только билет на 700 р., а после третьей покражи у второго купца 19 тыс. возвращена была одна только пустая шкатулка. Из всех покраж на 357 тыс. отыскано было только на 18 тыс. При таких поощрениях, упущениях и просторе воровство разыгралось, но следствие дало возможность узнать кое-что об этом ремесле. Вот несколько более характерных черт.

Столичные воры являются в трех видах: карманники, уличные и барышники. Карманники — на сборищах, начиная от театров и маскарадов до церквей в праздничные дни; временами (говоря их же байковым языком) на задельях (свадьбах) и уборках (похоронах). Места наибольшей поживы — площади на Масленице и Пасхе и в церкви в Великом посту. 9 недель в году — время особенно обильной жатвы (шубы и салопы причастников, деньги и карманные вещи гуляющих). В тесноте густой толпы они налетают сзади, невинно уставив глаза вперед и жалуясь на тесноту. Часы срезают, в тесноте их отрывают, ловко свертывая колечко часов с тоненького и слабого шпинечка. У военных, наглухо застегнутых, приподнимают кончик полы и, подставив руку, вытряхивают карманные вещи; подобная ловкость помогает и при операциях над людьми во фраках. Иногда, кроме ловкости, в этих случаях требуются и хлопоты: нередко вырезают карман снаружи во всю длину его. У женщин вырывают серьги, у мужчин срывают цепочки с такой быстротою, что рука только мелькает, но взгляд на подозреваемого всегда встречает благоприличного человека, которого и заподозрить опасно. Такие никогда и не ходят без товарищей. Выследив добычу, вор скажет: «трекай!» — и начнется толкотня локтами, за нею в разных местах счеты и ссоры за толчки. Вода замутилась, и рыба клевать начала. Главное искусство здесь состоит в том, чтобы вовремя заметить следящих и сказать: «стрёма» (берегись), успеть и суметь «перетырить», т. е. украденную вещь передать. Оттого-то пойманный вор на месте и шумлив, требователен

и обидчив («обыщите!»), хотя, в сущности, он только ловок и обладает изумительною сноровкою, как привилегиею ремесла. Случается, что воры кидаются на обворованного, хватают его за ворот, тащат в полицию и отстают, получив отступное за бесчестие. Наглость мошенников доходит до того, что приемщик сам шепчет на ухо обворованному, что у него украли вещь, и указывает на вора, завязывает шумное объяснение, а сам тем временем скрывается. Иные даже платили несколько рублей, чтобы только отбиться от вора. Эти воры-приемщики всегда отличаются замысловатыми карманами, занимающими все пространство между верхом и подкладкою платья и способными вместить дюжины платков и фуражек. Искусству своему мошенники-карманники также учатся с малолетства. Бывали примеры, что мальчики 12–13 лет содержали ремеслом своим целые семейства. Мальчикам воровать легче: что с него взять? выдерут за уши и отпустят. Жулики (т. е. мальчишки), по правилам воровского товарищества, не смеют работать сами по себе, а обязаны отчетом старшим и получают от них известную долю. Для рекогносцировок нередко употребляются девочки. Комнатные воры подкупают слуг, являются в виде посланных от знакомых; оставленные в дверях ключи вынимают вертуном (особым инструментом). Простым крепким долотом отпирают почти всякую дверь так, что никто даже днем не услышит. Пойманные за дверями умеют притворяться бесчувственно-пьяными. Опытные из этих воров, прежде чем забраться в комнаты, старательно узнают привычки хозяев, часы, когда они не бывают дома, и предметы кражи, которые могут быть наиболее выгодны. В подражание почти всем ворам, они действуют группами от 3 до 5 человек, и проч.

Уличные воры кидаются внезапно, ищут случая, зеваку захватывают врасплох, стараются оглушить его сильным ударом по голове или по затылку, а потом быстро обыскать и поспешно раздеть. Выходят вдвоем и втроем, рассчитывая на пустые места и на отсутствие свидетелей, которые, впрочем, поражают больше равнодушием, чем готовностью помочь. Дворник боится волокиты, извозчик спешит ускакать, лавочник рискует потерять место за оговор воров в том, что покупал краденое. Эти воры опаивают дурманом; под видом земляков предлагают лошадей деревенским простакам, и проч.

Барышник (по музыке — *мешок)* иногда дает мошенникам вперед задатки и потом наблюдает, стоя или расхаживая на условных местах. Добычу, выносимую им, подхватывают и часто вырывают друг у друга из рук, ломая часы и театральные трубки, разрывая пополам платья. Украденные вещи, в особенности шубы, продают по частям (отдельно рукава, воротники, верх и мех); белье — поштучно (это называется «переиначить»). Сбывают частью здесь, часть в других городах.

Укрыватели — это один из самых опасных классов преступного населения, совершающий свои преступные деяния при условиях, до крайности затрудняющих их преследование. Они, вместе с тем, обусловливают своею деятельностью возможность совершения многих преступлений. Высказываемое мнение, что не будь укрывателей, не было бы и преступлений, не лишено значительной доли истины. Преследование укрывателей затруднено, между прочим, и тем, что деятельность их нередко заходит за пределы территории. Между тем, укрывателей по справедливости можно назвать капиталистами преступления.

Продажа воровских вещей в 1842 г. была распространена на улицах до изумительной степени. Она породила даже особенный вид мошенничества: под видом и предлогом ворованных (т. е. хороших) отдавали поддельные. Ворам пособляли лихачи-извозчики, получая от 25 до 100 руб. за ночь. Полиция потворствовала, медлила розысками и бездействовала наблюдениями; пойманного или приведенного вора отпускали; отделывались замечаниями и выговорами. Воры продолжали весело жить в притонах — грязных ямах, по гривне меди за ночлег, и отличаться общим свойством всех промышленников легкого заработка — расточительностью. Все свободное время они проводят в трактирах. Никогда не богатели (богатеют приемщики), хотя некоторым удавалось производить кражи на несколько тысяч и хотя некоторые организовались в общества, которые вели доходам и расходам счеты. При дележе добычи в организованных шайках существовали следующие правила: жулик (ученик) от малоценной вещи пользуется половиною, от ценной — третью; всякий помощник или товарищ — половиною, простой зритель —¼, а иногда ⅓. Где есть атаманы, там и они получают свою часть. Кроме того, по разным случаям, делали расклад-

ку, напр., выкупать попавшегося товарища. Кто прежде участвовал с ним, жертвовал всем, что мог достать.

На высшей ступени лестницы мошенничества стоят те ловкие и искусные мошенники, которые, благодаря приличной одежде и изящным манерам, вращаются в высших слоях общества. Они посещают балы по подписке, спектакли, концерты, кабинеты и салоны. Они смеются над теми ворами, которые ломают замки и рискуют шумом. Без ломов, напорьев и поддельных ключей они отправляют свое ремесло в таком виде, что следить за ними чрезвычайно трудно. Самое происхождение их представляет оригинальные особенности: если воровство преимущественно вербует своих агентов в низших классах, то мошенничество зачастую отыскивает деятелей в высших сферах общества. Известного рода утонченность, ловкость, сноровка и прочие качества, несовместные с воровством, — грубым видом преступлений против собственности, — всегда обязательны для мошенничества, которое тем неожиданнее, находчивее и поразительнее, чем чище вымыты руки, чем более развита и завита голова. Если администрация меньше обращает внимания на порочные классы, чем на те, в которых порок соединен с развратом и нищетою, то это только потому, что порочный богач, расточающий свой избыток или даже часть своего состояния на предосудительные удовольствия, внушает лишь жалость и отвращение. Опытные администрации знают, что лишь только подобные люди остаются без средств к существованию и с отвращением к труду, воспитанным прежним обеспечением, они становятся опасными по наклонностям к добыванию средств к жизни легкими способами обманов, подделок и разных видов мошенничества. Наиболее благоприятными временами их деятельности и появления считают времена финансовых кризисов, местами деятельности — большие города. Здесь большая часть мошенников происходит от богатых и честных родителей. Они получили хорошее воспитание, но не умели им воспользоваться. С малых лет они погрязали в пороке и, после многих приключений, обыкновенно отбиваются от родительских домов, чтобы смешаться с толпою негодяев, организоваться в шайку, по примеру известной Москве и Петербургу шайки так называемых «труболетов». В шайке у них происходят встречи, производятся собрания, на сходках они во-

оружают друг друга против общества. На счастливые случаи поимок они оказываются людьми, принадлежащими к различным сословиям без разбора, лишь бы только предполагалась известная доля достатка и вероятие утонченной и разносторонней порчи. Самые симпатии их и места деятельности сосредоточиваются на богатых классах и в той среде, где они родились и воспитались. Ниже того они и не сходят и там едва ли были бы состоятельны. Самый распространенный класс, постоянно существующий и рекрутирующийся, является в виде карточных шуллеров, подделывателей духовных завещаний и ценных документов. В виде исключения и более редкого явления, мошенники организуются в шайки для дневного грабежа, преимущественно у лиц торгующих и богатых, и тогда мошенничества их отличаются поразительною изобретательностью. Во всех случаях женщины являются пособницами и участницами, либо как приманка неопытных и простодушных людей, отличающихся слабостью к прекрасной половине человеческого рода, либо в виде прямых пособниц, где женская хитрость имеет наилучшее представительство, а наименьшая законная ответственность является вспомогательною причиною. Не исключая того, что и этот класс преступников отличается расточительностью и самое приобретение добычи основывается ради ее, — во всех остальных своих приемах они мало чем отличаются от воров. Все преимущество их заключается в том, что они реже попадаются, ловчее прячут концы и избегают судебных преследований.

Более ясными признаками продолжает обставляться преступление воровства в широком значении этого слова[132].

---

[132] Конечно, сибирские табели точно таким же образом не способны подкрепить подробные характеристики воровства в зависимости, например, от времен года. Оно, как известно, усиливается на осеннее время: многочисленные случаи воровства в начале зимы слабеют, на весенние месяцы и на летнее время значительно упадают. На это обстоятельство, главным образом, действуют увеличение и уменьшение дней и ночей: большая или меньшая продолжительность ночей усиливает или ослабляет количество краж. Осень — когда люди горох молотят, а воры замки колотят — самое благоприятное время, исключая, может быть, одно только мошенничество, которое действует, по своим законам и в сфере собственной обстановки, во всякое время года.

Так, наиболее развито воровство в мещанском сословии. По общему проценту ссыльных оно занимает самое видное место и обнаруживает наклонность к нарушению прав чужой собственности заметно сильнее, чем крестьяне. Причина очевидна из простого сопоставления городской жизни с соблазнами и деревенской с условиями, более благоприятствующими честному труду и непрерывной правильной работе. Мещанам уступали в воровстве даже солдаты, для которых вероятие стать преступниками подобного рода также было довольно сильно, до введения закона о всесословной воинской повинности, вследствие крутого перехода из собственника в казенного человека, у которого сторонние заботы о снабжении ослабляли понятие о своей и уважение к чужой собственности. Несмотря на то, что солдаты только в ограниченных и редких случаях наказывались за воровство ссылкою (а потому, по сравнению с ними, в сибирской цифре перевес на стороне солдаток), воровство в солдатском сословии было одним из господствующих и резко выдававшихся на глаза преступлений[133].Для доказательства у народа имелся значительный запас пословиц, притчей, сказок и присказов, свидетельствовавших о том, что солдат и добрый человек, да плащ его хапун: шинель постель, шинель кошель, а руки — крюки (что зацепил, то и потащил). Здесь воровство выразилось также поверьем (с постою хоть ложку деревянную, а украсть что-нибудь надо; солдата за все бьют, только за воровство не бьют), и солдатские проступки этого рода также нашли в народе оправдание (солдат не украл — просто взял; ему не грех поживиться: не украсть, так и взять ему негде). Теперь все это уже ушло в предание, и пословицы становятся анахронизмом.

Таким образом, по русским сословиям и по общему количеству приговоренных в ссылку за воровство — этот вид преступления занимает везде первое место (с тою разницею для духовенства, что в этом сословии на первое место встал тот специальный вид воровства, который называется святотатством). По процентному отношению, наибольшая наклонность к нарушению прав чужой собственности

---

[133] Вследствие особенностей уложения о наказаниях для военных, процент сибирских ссыльных воров из солдат был очень мал.

выразилась в сословиях, слабее других упрочившихся и обеспеченных условиями быта: на первом месте стоят дворовые, за ними жители городов или мещане с тою непреоборимою последовательностью фактов, что и евреи — исключительные жители городов и местечек и непременные мещане, — в воровстве представляют особенное участие, самую характерную черту и сильнейшую наклонность[134].

На местах ссылки все эти условия изменяются, отношения спутываются и результаты более характерные приметны только в том, что у ссыльных воров не только не отнято право увлекаться новыми соблазнами на кражу, но им заданы еще и другие мудреные житейские задачи. На первых шагах — долговременная и последовательная порча по тюрьмам, как таким заведениям, где отбирается нажитая собственность, заменяемая скудною казенною, и затем постоянно и настойчиво внушаются уверения в бесправности ссыльных на всякую собственность. Для присужденных на каторгу уверения эти преследуются во всю жизнь их на работах, а потому пересыльные тюрьмы в частности, а каторжные в особенности, — это такие общины, где воровство уже не проступок, где воруют все поголовно, не распознавая товарищеских вещей от своих. По словам сибирской поговорки, измышленной в самих тюрьмах: «арестант ест прошенное, носит брошенное, живет краденым». Для поселенцев, куда наибольше поступают сосланные за воровство, бытовые условия представляют более умягченную форму, но запутывают их в новые условия, неблагоприятные для честного житья, но благоприятные для бесчестного промысла воровством. Вот причина, почему сибирскими старожилами произведен безапелляционный суд над поселенцами, выразившийся в такой несокрушимой правде-пословице: «поселенец что младенец, что видит, то и тащит!» и «хоть того лучше посельщик — не верь ему!» В бегах и на воле ссыльный только тем и живет, что украдет: «не украдешь — не

---

[134] Из различных видов крестьянского сословия однодворцы, по проценту высланных в Сибирь за кражу, превышают все другие сословия. Между женщинами, как воровки, приметны были на первом месте дворовые, на втором солдатки. Между ссыльными за все роды преступлений сосланные за воровство женщины составляли ⅕часть всего числа (воры-мужчины, против общего числа ссыльных мужчин, составляли часть).

проживешь». В Сибири укрепилось даже такое всенародное убеждение, что болезнь воровства в России хроническая: сколько десятков лет в пришлых новых людях Сибирь не видит людей путных. В недавние годы еще сильнее она укрепилась в своем убеждении, когда новые поселенцы на Амур (штрафные солдаты) прошли во всю длину страны, как бы голодное Мамаево войско, со всеми явлениями опустошительного набега. В окрестностях некоторых каторжных заводов воровство укреплялось обычаем и возбуждало соблазн даже в тех ссыльных, которые не хотели идти на воровство в бегах и бродяжничестве. Чтобы сделаться конным рабочим, т. е. получать больший плакат, ссыльные крали чужих лошадей и с ними являлись к начальству, хорошо знавшему пути и средства добычи, но равнодушному к этому злу, как к неизбывному и издавна укоренившемуся. Воровство золота на промыслах, вина, соли, железа на заводах до такой степени было обыкновенным преступлением между ссыльными рабочими, что вменялось в обычай и преследовалось разве настолько, насколько позволяли скудные средства и ловкая изворотливость самих преступников. Словом, воровство не из тех болезней, которые лечит ссылка, имеющая все данные противоположного, еще более заразительного свойства (доказательства общие и частные мы имели случай представить прежде, имеем множество таковых и впереди). Если нерчинские заводы и уверяли в том, что в десять лет (с 1847 по 1857 г.) вновь наказано на них за грабеж 8, за кражи 64, за утрату казенных вещей 129, то, во-первых, не все наказанные в России были ворами; во-вторых, большая часть совершивших кражи ускользнула из рук (в те же 10 лет бежало и поймано 2841 человек голодавших и оборвавшихся одеждою); в-третьих, опытные бродяги уходят с предосторожностями; они кражами не смущают покоя, чтобы вернее скрыться, и, в-четвертых, скрываются так, что в воровстве попадаются уже далеко за Байкалом. Тобольская, Томская и Иркутская губернии соперничают между собою в количестве жертв, осужденных за грабежи и кражи. В Якутской издавна живет племя (якутов), у которого резче других выдается наклонность к мелкому воровству, каковое и производится там с замечательным искусством, ловкостью и опытностью. Зато у тунгусов (иркутских и забайкальских) воровство — один из смерт-

ных грехов, и до сих пор еще не только ни одна из городских тюрем, но и ни одна из полицейских сибирок и кучумок не видали тунгуса, посаженного за кражу.

Глава VI. Грабители и разбойники

Причины и корни грабежей. — Происхождение и связь грабежа с воровством. — Баранта. — Сибирские и российские грабители и разбойники. — Связь разбоя с грабежом. — Характер русского разбойника. — Разбойники вообще и в частности. — Быков. — Чайкин. — Дуван. — Кабаки. — Целовальники. — Разбойничьи атаманы и их любовницы. — Притоны и проч.

Старые наши законы и сам народ понятие о грабителях смешивает с понятием о ворах и называет их этим последним именем, хотя между грабежом и воровством лежит пропасть. Как воровство по преимуществу гнездится в городах и есть самый частый посетитель населенных и людных пунктов, так и грабеж выбирает для деятельности места погуще, любит поле и лес. Грабеж сильнее, энергичнее воровства. Он тем и отличается от него, что действует открытою силою. Без смелости и дерзости он немыслим. Воровство бережет себя для завтрашнего дня и ходит весьма осторожными шагами, босыми ногами; грабеж меньше бережет себя и не боится опасностей. Забывая о них, он бьет напропалую, а потому его не страшит и торная проезжая дорога, а потому он примечательно часто пристраивается, как бы на правах арендатора, поблизости торговых пунктов, даже больших городов. Грабеж берет с собою про всякий случай кистень и нож, а потому нередко переходит в разбой. Границы его с разбоем близко сходятся и нередко с трудом различаются. Он любит также хоронить концы, заметать свой след, прикрываться тайною, а потому, под мраком ночи, он прячется в укромных и скрытных местах. Как и воровству, ему темная ноченька родна матушка, и грабитель точно так же день врастяжку, а ночь нараспашку, или день кольцом, а ночь молодцом.

Точно так же, как и воровство и разбой, грабеж основывает свои успехи на преимущественном праве товариществ, складывается в шайки.

Редко, в крайне исключительных случаях, он ходит в одиночку или вразбивку. Но и в таком виде пойманный, он почти всегда

скрывает какой-нибудь из следов своих в шайке и в заговоре. Зачастую, свободная от законных преследований, шайка эта бывает виновна если не в прямом и непосредственном участии в грабеже, то косвенный путь укрывательства грабителей, приема или сбыта награбленных вещей является всегдашним и неизбежным последствием этого грубого вида воровства. Если воры большей частью трусы, то товарищества грабителей, с самых древних времен, отличаются смелыми до дерзости свойствами. Близость опасности, возможность скорых и сильных преследований закаляют их буйный характер. В этой-то борьбе со страхом и в тревожном положении между двух огней они находят запасы энергии и, в силу удач и счастья, выходят на разбой в том же товарищеском союзе.

Некогда грабеж и разбой так и ходили вместе, в особенности в те времена, когда складывалось Русское государство из разноплеменных враждебных элементов. С самых древних времен явление это повторялось с одинаковым постоянством и немедленно обнаруживалось везде, где развивался процесс водворения русского элемента. Грабежи и разбои не выдавались резко из ряда обычных явлений до тех только пор, пока прилив пришлого населения уравновешивался с туземным, и в тех случаях, когда колонизация опиралась на мирные средства торговли и промышленности. Грабежи и разбои неизбежно обнаруживались тотчас, когда появление чуждого и опасного элемента делалось приметным и опасным, возбуждало и вызывало опасения, и туземцы, в виду грядущих бед, в отчаянии несостоятельности, брались за оружие, прибегали к последнему средству защиты, которое, однако, им уже не удавалось. Пришлецы восторжествовали везде: с большим успехом и с меньшим количеством жертв в столкновении с кроткими финскими племенами всего севера плодили грабежи и разбои; в замечательном числе жертвуя своими первыми пионерами в степных и горных местностях, где русские приобретения покупались дорогою ценою крови и всяческих бедствий. Особенно резко выдается подобное явление во времена, когда русское племя, ослабив стремление на восток за Каму и за Камень, устремилось на юг, стало приобретать земли за Окою, по Дону и Днепру.

На севере в лесах дешевизна приобретений мест жительства с достаточною ясностью выразилась в народных преданиях, уверяю-

щих в том, что белоглазая чудь, испуганная появлением в лесах белой березы (означавшей грядущее владычество белого царя), строила стойки, запиралась в них, или сожигалась живою, ила уходила сквозь землю, проваливалась без следа. Это предание, одинаково общее для всей северной России и для всей Сибири, подтверждается и теми местными легендами, по одной из которых русским людям стоило только прорубить лед на одном месте реки и загнать всех чужаков в эту прорубь, а на память об них прозвать эти места нехитрых побоищ «кровяными плесами». Редко являлась здесь вооруженная оборона. Только в житиях самых первых святых вологодских, олонецких и архангельских рассказываются отдельные случаи сопротивления туземцев, выражавшиеся оскорблениями уединившемуся в лес подвижнику: жгли его келью, сгоняли с обогретого места, приходили с угрозами и только в двух-трех случаях из целых сотен прибегали к убийству, сделав из подвижников мучеников. То же самое повторилось и на севере Сибири, где сожжение юраками города Мангазеи (на Енисее) оказывается серьезным случаем вооруженного и серьезного противодействия пришельцам. На всей картине этих приобретений лежит более мягкий колорит на стороне туземцев, но здесь грабежи и разбои, при всей исключительности своего явления, производятся уже самими пришлецами. Насилия над туземными племенами столь же древние, как и самые акты приобретений, начиная от походов удалой новгородской молодежи для завоевания верховьев Волги и кончая приобретениями земель за Волгою: на Каме, Чусовой и Белой. Здесь открытые противоборства, вооруженные восстания туземцев, называемые в последние времена бунтами, делались замечательно частыми и грозными, потому что и самые приобретатели из мирного купца и промышленника превращались в завоевателей, намеренно ходивших с оружием, в виде казаков, стрельцов и, наконец, солдат. Особенно дороги России приобретения прибрежьев Волги от истоков, где действовали ушкуйники, до середины устьев, где выказывали удальство и молодечество вольные люди, разбойники, и действовали стрельцы и казаки.

Грабежами и разбоями усыпались берега этой реки, столь дорогой для России. Нет ни одного города, ни одного урочища, которые не вели бы бесконечных рассказов о разбойничьих подвигах и

похождениях. Здесь родилась и разбойничья песня, здесь поддержал свой начальный закал воинственный дух народа, устремившегося на завоевания с лихорадочною поспешностью и с неудержимою энергиею.

Теми же грабежами и разбоями началась и с ними продолжала свое течение история приобретения на рубежах южных степей, в низовых степях, начиная с орловских и оканчивая придонскими (в воронежских верховьях реки Дона и ее притоков). Здесь нападениям туземцев и набегам татар, калмыков и черкес отвечали пришельцы таковыми же набегами, сопровождавшимися грабежами и разбоями по всей долине передовых линий, от ближайших до отдаленных. Долговременному неустройству, кровопролитным распрям и всякого рода насилиям и смутам здесь способствовало также и то, что окраины эти произвольно и насильственно заселялись беглым и преступным людом (беглыми холопами и изуродованными каторжниками). Те и другие, скитаясь по стране и покидая ветхие и некрепкие тюрьмы, несли пожары и опустошения и обливали свои следы кровью. О деяниях их до наших времен сохранилась память во множестве присловий и бранных прозвищ, свидетельствующих о том, насколько изменился народный дух вследствие противодействий и в контраст мирным завоеваниям на севере. Здешние приобретения России куплены дорогою ценою неволи и крови, посреди ежедневных тревог и опасностей и при помощи и содействии людей, не лучших, как было на севере, а тех, которых отечество сочло негодными и ненужными, выгнало или выселило вон. Хотя они выместили потом за это в смутное безгосударное время лихолетья опустошением родины до отдаленных пределов тундры, зато ими упрочилось приобретение всех благодатных земель по Дону, по Волге, до Десны на запад, до Оки на север, до Маныча на юг[135].

---

[135] Насколько бранные прозвища и присловья согласно характеризуют дух населения низовых украин, служит доказательством, между прочим, Орловская, где нет города, который бы похвалила народная память. «Хорош заяц — да туляк, хорош малый — да тумак»; орловцы — проломанные головы; Орел да Кромы — первые воры, да и Карачев на поддачу; Амченина бы тебе во двор, город Амченск (Мценск) цыгане семь верст обходили; Ливны —

Словом, во время строения русской земли грабежи и разбои были одним из последовательных и неизбежных явлений, народившихся вследствие самой системы завоеваний, неправильных способов водворения поселенцев и направления их сил и колонизаторских способностей. Разбои в низовых странах и таковые же по Волге следовали одни за другими по вызову времени и по закону обстоятельств, отдельно и независимо друг от друга, но действовали сообща и заодно под руководством сильных и талантливых натур, вроде Булавиных, Хлопков, Разиных, Пугачевых и бесконечного числа многих других. Грабежи и разбои в России кочевали вместе с ее неосевшим населением и изумляли количеством и размерами. Изумляют они теперь богатством присловий (особенно по Волге), заклеймивших обитателей многих местностей нелестным прозвищем воров и разбойников. То же самое повторилось и в Сибири во времена столкновений с туземцами на юге; вызывались открытые восстания, и из путаницы взаимных отношений и неурядиц выходили разбойники из племени пришельцев, порожденные воинственным настроением духа, раз возбужденным и постоянно раздражаемым. Так, извлекали выгоду от грабежей и разбоев и в мутной воде ловили рыбу выродки общественного неустройства: в средине прошлого столетия (около 1765 г.) казак Федор при заселении иртышской линии (имевший притон в селении Маслянском Шадринского уезда, Пермской губернии и шайку в 400 человек). Так, около того же времени, когда заселяли омскую линию и населяли Алтай, вышел на удалые подвиги разбоя Афанасий Селезнев, руководивший из Бухтармы несколькими шайками, разбивавшими русские и бухарские караваны и производившими баранты, т. е. угонявшими табуны лошадей и гурты скота и овец. Многие урочища и речка, до сих пор нося его имя, сохраняют память о нем. Так, при заселении лесной пустыни, между городами Красноярском и Иркутском, злодействовал разбойник Гондюхин, покровительствуемый самим иркутским губернатором Немцовым, ограбивший, по его же заказу, губернаторских гостей, собравшихся для гулянки на Ангаре. В 1805 году ночью, за 50 верст от Иркутска, ограблен был

всем ворам дивны; Елец — всем ворам отец; Крестись, Андроны (куряне) едут. Нет у белого царя вора супротив курянина, и проч.

камер-юнкер Гурьев, принадлежавший к свите китайского посольства Головкина, шайкою из тех поселенцев, которые по указу Павла следовали для водворения за Байкалом. За Байкалом водворения эти последовательно вызывали Григорьева, Горкина и других[136].

Точно так же, как и в России, раз возбужденный разбойничий дух долго не поддавался укрощению, и разбой нашел себе привилегированные, заусловленные местности внутри России и по Волге[137], в Сибири наклонность к грабежам (и на крайний случай к разбоям) также сохранилась в некоторых местностях, например, у Алтая и во многих селениях, лежащих на почтовых и купеческих трактах. До тридцатых годов нынешнего столетия и там также сохранились остатки грабежного духа и выходили удальцы на разбойничьи похождения. С тридцатых годов, с наибольшего развития золотых промыслов, на больном теле открыта фонтанель, и разбойники ушли в тайгу промывать золото. Так случилось в Сибири.

В России, по мере того как развивалась промышленность и заводились фабрики и заводы внутри территории, укреплявшие мирное направление и силу народного труда, по той степени усиления надзора и систематических преследований, до которых додумались через ряд косвенных и неверных путей административные распоряжения — разбои пропали на Волге. Пароходы окончательно их добили, и явление в последней четверти XIX века Рузавина (около Нижнего), со всеми признаками старого волжского разбойника, героя песен — явление исключительное, последний вздох героев. Теперь разбои стали случайным явлением, зависящим от преднамеренного соединения или стачки вышедших на грабеж, при

---

[136] Об этом мы уже говорили, как равно о разбойнике — князе Баратаеве, вызванном неурядицею заселений охотских краев, когда, по проекту вице-адмирала Фомина, замышляли перенести Охотский порт на р. Алдан. Прокладывали туда дорогу; каторжные стали бегать и вместе с Баратаевым разграбили город Жиганск. Баратаев этот пойман был во льдах уже на устьях Лены и взят в плен простреленным восемью пулями.

[137] На них с достаточного ясностью указывают уже народные присловья и рассказы. В Сибири указывают на подобные пункты под Иркутском (окрестные селения Тельминской бывшей суконной фабрики), под Томском (деревни Воронова и Вемилужная).

благоприятных условиях места и времени, — явление всегда неожиданное, редко предугадываемое. Причину его народ скрыл в себе и до сих пор определительно не поведал. Видимые, наслеженные причины слишком еще неопределенны и малочисленны, чтобы по ним можно было составить общее, а тем более конечное заключение.

Между прочим, один из поводов заключается в уничтожении крепостного права, имевшего те особенности, что при нем, как в селе Воронье (Костр. губ. Галиц. уезда, по народному присловью, «бывшее днем семидесяти господ, а ночью — одного»), все на грабеж выходили и по вызову его, ходили на преступный промысел и дворовые и крестьяне, а по свидетельству древних актов и новейших документов — сами помещики, и притом не из одних только мелкопоместных, каковы однодворцы и шляхта. Теперь тоны на картине грабежей и разбоев измельчали, пресечение преступлений стало удобнее для полицейской администрации, по частям и по местам труднее для внимательного и подробного изучения в общем виде. Но многое и сохранилось и все находит оправдание в прошедшем.

Редкая из губерний наших не имеет хотя бы одного заповедного места, где по временам не производился бы преступный промысел грабежа, где бы, говоря общепринятым и любимым народным выражением, не «пошаливали». Грабежам, в особенности, покровительствуют местности, где, по административному или политическому делению, проходят границы с чужими землями (как в Бессарабии и Подольской губернии), или такой внутренний клин, где одна из губерний пользуется привилегированными правами и благоприятными условиями такого рода, что не представляет трудностей для перехода в третью губернию (каковы малоземельные градоначальства). Определение других выясняется количеством грабежей и удобством для них местности на Дону и Западной Двине, вроде окрестностей Таганрога, Ростова с Аксаем и Нахичевани или окрестностей Динабурга. Под гнетом и увлечением соблазна, в последней местности и еврей становится грабителем, и на раскольников падает до половины справедливое подозрение в грабежах[138].

---

[138] Двинск (бывший Динабург) стоит при таких условиях, что тотчас за Двиною начинается Курляндская губерния с ее вялым и медленным немецким

Затем, и после такой исключительности, грабежи в остальной России подчиняются приемам, которые имеют уже много общих черт и свои заповедные места. Места эти, по большей части, преимущественно торговые тракты, а цель грабежей — купеческие обозы. В нередких случаях грабеж выбирает для своей деятельности почтовые дороги и тогда устремляет нападение безразлично и безрасчетно, наудачу, на проезжего и казенную почту. Первый вид грабежей встречается чаще. Его можно назвать хроническим, оттого что у него есть и определенные пункты, и приемы, и определенное время, а именно: предшествующее большим ярмаркам. Второй вид грабежей, на почтовых дорогах, имеет форму периодическую, и этот грабеж, как случайность, выжидает совокупности многих, также случайных, но благоприятных причин, не всегда готовых и деятельных. Местами он не стесняется и загорается безразлично, и в степях саратовских, пензенских, под Самарою (близ известной луки Волги), и в лесах Виленской губ., в лесах костромских. И этот грабеж любит лес, особенно когда дорога тянется длинными волоками (известным «шестидесятным» в Ветлужском и Макарьевском уездах Костр. губ.). Грабеж, направленный на купеческие транспорты, не испугался проезжих дорог, ведущих в Нижний, вызывая на эти места ежегодные сторожевые пункты, пикеты — особый вид земской повинности для окольных жителей и казаков. Теми же пикетами предупреждаются (но не всегда предотвращаются) грабежи по более глухим и дальним дорогам, какова пермская, где грабежи направлялись на чайные транспорты и являлись в систематическом виде между городами Пермью и Кунгуром, Кунгуром и Екатеринбургом. Такими же грабежами славятся некоторые из оренбургских дорог. Здесь башкиры и мещеряки умеют выказывать присутствие в их натуре остатков степного хищничества (очевидное и по тобольским табелям ссыль-

---

судопроизводством средневекового дела и с презрением к русским интересам. В 20-ти верстах от города губ. Ковенская и несколько подальше Виленская (сам Динабург губ. Витейской). Опасность жителей увеличивается тем, что чрезвычайно распространенное мелкое воровство нередко доходит до дерзости грабежа. Полиция стоит в самых затруднительных положениях при желании поймать, припугнуть и застращать воров и грабителей силой влияния своего и самостоятельностью образа действий.

ных). Предостерегают вероятие придорожного грабежа снабжением конвойными по весьма многим местностям Кавказа. Здесь грабеж, из обычного политического принципа горцев, сменился в наши дни на особенный вид мщения покровителям, продолжает выражаться и по старым образцам племенных расчетов за обиду, за угон скота (и по тобольским табелям горцы, преимущественно, ссылаются за грабежи и разбои). Не говорим уже о киргизах, где грабеж барантою — одна из политических основ кочевого племени, и о татарах, в которых сильная наклонность к грабежам находит объяснение в старых привычках, порожденных и доказанных историей, а оправдание в религиозных принципах, завещанных кораном (татарин, по русской пословице, либо насквозь хорош, либо насквозь мошенник). На Кавказе мусульманство сумело насадить мюридизм, а истребление людей не правоверных (гяуров) возведено было в догмат и настоятельно требовалось обоими главами секты (Шамилем и Махмет-Аминем). Во всех этих случаях в грабежах мы видим прочное существование и упорную устойчивость. Наследственная болезнь тем и опасна, что корни ее крепко и глубоко уходят в испорченную почву и, как у всякого подобного явления, имеющего основанием племенные особенности, болезни не предстоит внезапного или скорого исчезновения. Внутри России, в русском племени, болезнь эта представляется в другой обстановке, но и в более смутных и спутанных явлениях.

Останавливаясь на русском племени и следя за цифрами ссыльных в Сибирь, мы приходим к следующим общим выводам о грабежах.

Цифра, не отличаясь постоянством, не принадлежит к крупным: грабеж не из тех преступлений, которые можно считать наряду с крупными цифрами других преступлений и, в особенности, но сравнению с ближайшим видом его — воровством. Грабители, при недостатке благоприятных причин, мельчают числом и пропадают в разряде воров или, при противоположных данных, уходят в разряде ссылаемых за разбой. В этом случае, как и во всех других, при усилении административного внимания и надзора и увеличении преследований грабителей вследствие каких-либо случайных, сильно наталкивающих обстоятельств, цифра грабителей увеличивается и

при противоположных условиях упадает[139]. Уменьшение этой цифры в особенности приметно по отношению к женщинам. Возрастание цифры доказывает, что виновность в грабежах женщин, совершилась под защитою мужчин, при участии которых только и мыслим для женщин грабеж как преступление, наиболее требующее тех сил душевных, каковых недостает этому слабому и забитому полу. Грабеж и разбой — не женские преступления; они уступают место воровству и поджогам. На серьезные кражи с грабежом и в расчете на разбой женщин не берут. При этом вероятнее это преступление для них в возрасте от 20 до 40 лет: в ранний возраст это — самое редкое явление из всех преступных женских деяний.

По количеству ссыльных по сословиям у крестьян, солдат и мещан грабеж занимает первое место после воровства, стоящего у всех на первом плане. По процентному отношению самый высокий стоит за военными поселянами, заводскими крестьянами, одно-

---

[139] Вот доказательство в цифрах, по годам:

В	1838	сослано	за	грабеж	139	мужч.
-"-	1839	-"-	-"-	-"-	127	-"-
-"-	1840	-"-	-"-	-"-	142	-"-
-"-	1841	-"-	-"-	-"-	105	-"-
-"-	1842	-"-	-"-	-"-	143	-"-
-"-	1843	-"-	-"-	-"-	241	-"-
-"-	1844	-"-	-"-	-"-	210	-"-
-"-	1845	-"-	-"-	-"-	146	-"-
-"-	1846	-"-	-"-	-"-	111	-"-
В	1838	сослано	за	грабеж	9	женщ.
-"-	1839	-"-	-"-	-"-	4	-"-
-"-	1840	-"-	-"-	-"-	11	-"-
-"-	1841	-"-	-"-	-"-	10	-"-
-"-	1842	-"-	-"-	-"-	10	-"-
-"-	1843	-"-	-"-	-"-	6	-"-
-"-	1844	-"-	-"-	-"-	4	-"-
-"-	1845	-"-	-"-	-"-	4	-"-
-"-	1846	-"-	-"-	-"-	8	-"-

Таким образом, количество сосланных женщин в 18 раз меньше числа мужчин.

дворцами и солдатами, а у мещан сильнее развита наклонность к грабежу, чем у крестьян. По различным местностям России грабеж выразился сильнее в стране сходцев (в Новороссийском крае и Бессарабии). В Бессарабии процент, по общему отношению ссыльных к нессыльным обитателям, настолько велик, что подобного ему нет во всей России. Вдвое меньшая населением Пермской губернии, Бессарабская превосходит ее числом грабежей, несмотря на то, что Пермская вместе с Тобольскою одновременно и заводская и случайно заполняемая большим количеством беглых, а вместе с Казанскою и Симбирскою с избытком населена инородческими племенами, исповедующими ислам[140].

Разбой — это последнее и крайнее звено в цепи преступлений, вытекающих последовательно из бродяжничества и непосредственно из грабежа, как неизбежное следствие последнего, по крайней исключительности своей,—стал принадлежать к явлениям случайным, но в то же время и к таким, где всех запутаннее основные причины и вызывающие поводы. С другой стороны, внешний вид

---

[140] По губерниям число грабителей распределилось так (в 9 лет с 1838 по 1847 год):

	Мужч	Женщ.
Пермская …………..	55	11
Тобольская ………..	64	5
Грузия ……………….	56	6
Бессарабия ………….	61	—
Симбирская ……….	60	—
Подольская ………..	56	2
Казанская …………..	49	5
Курская …………….	50	1
Кавказская область ..	40	2
Киевская ……………	38	— и проч.

Губерния Олонецкая во все 9 лет выслала только двух; Архангельская, Псковская, Вологодская, Лифляндская и Астраханская — по пяти. В Финляндии и Польше грабежи — также исключительное явление. В 20 лет для Олонецкой поднялась цифра до 10, Архангельской до 21, Вологодской до 28, Лифляндской до 31, Астраханской до 20. Наивысший процент для грабежа остался за Новороссийским краем с ногайскими татарами на востоке, с крымскими на юге и цыганами на западе и кое-где в середине.

разбоев сумел и успел принять кое-какие определенные формы, которые можно типизировать таким образом.

Некогда на разбой выходили казаки, в числе которых бродяга, в виде беглого холопа и солдата, играл первую роль. Теперь разбоем охотнее занимаются заводские люди и опять те же солдаты. Иногда с крайней голодовки пускается на такое дело мещанин, обыкновенно прямо из целовальников или ведомых пригородных воров. Бывают и такие годы, когда путается в разбойниках мелкопоместный дворянин, избаловавшийся до конца в звании однодворца (сословии, как известно, не отличающемся нравственностью и не свободном от тяжкой преступности). Хаживали на разбой и капитаны Копейкины (имеющие, впрочем, основанием историческую почву, бывалое событие). Но — повторим опять — и этот тип измельчал и только временами, в представительстве крупных злодеев, обнаруживает некоторые признаки отживших свой век удалых молодцев, в среде которых разгоряченное народное воображение сумело поставить даже страшный образ женщины-разбойника. Вот каким образом складываются эти остатки в цельном виде злодее-разбойника.

Он, по большей части, дезертир из солдат, озлобленный неудачами жизни, строгостью и невзгодами службы; всем был бит, и о печку бит, разве только печкою не бит. Чаще — это беглый с каторги, опять-таки тертый калач, мятые бока, но в этих случаях нередко выясняется в нем беглый солдат и, непременно, сосланный за убийство. Убийства у этих героев в аттестатах (статейных сибирских списках) повторяются иногда по нескольку раз. Преступник подобного рода забрызган чужою кровью, на которой он как будто приобретает закал и повадку.

Прежде чем пуститься в разбой, он обыкновенно бродяжничает долгое время и, в занятии этом отыскивая потерянной воли и доли, находит то, чего не дает людская семья и жилое место, но чем богата лесная дичь и постоянное отчуждение. В лесу бродяга дичает, отвыкая от людей, теряя к ним любовь и всякую веру, додумывается до равнодушия к чужой и собственной жизни и выносит неверие ко всему. Выходя из лесу только в кабаки, для размена легкой добычи на вино, он получает ту внутреннюю болезнь, которая характеризуется хандрою в самом сердитом значении этого слова. Ипохондрик

он самого крупного и опасного свойства. Дальнейшие неудачи и преследования — неразлучные спутники бродячей жизни — при крайнем недостатке начал успокоительных и примирительных, развивают в сердце бродяги озлобленность и зависть к свободе и к счастью других до болезни. Озлоблению недолго перейти в непримиримую злобу: ненависть к честным людям раздражает зародившееся чувство, а отсутствие средств к жизни довершает гибель, когда и по пословице «голый разбою не боится, голому разбой не страшен». Переходит же эта непосредственная озлобленность в прямую и открытую злобу всегда, когда бродяга пустынник наталкивается на таких же горюнов, заготовивших одинаковый образ воззрения на жизнь и поставленных в одинаковые бытовые условия. Это, большею частью, те же бродяги, беглокаторжные голыши.

Встреча происходит обыкновенно в лесах, и знакомство сводится в скрытых и укромных станах и притонах, дорога к которым указывается на каторге и хорошо известна всякому желающему про то знать и этого искать. Затем — кабак: место прибежища для честного работника и пьяницы по профессии, в то же время, с древнейших времен до новейших, притон и для недовольных, для всякого незваного и непрошеного. Целовальник и по тюремным песням далеко не доносчик, не полицейский агент, тем более, когда знаменитый казанский разбойник Дмитрий Быков из этого звания ушел в Сибирь и вернулся назад на старые места сильно злодействовать. Выпивки же всегда на чистые деньги сумели выучить этого сорта промышленников и торговцев приему под заклад вещей, в которых составляют избыток и берут перевес над собственными краденые, приобретенные воровством, грабежом и разбоями. Таких и скрывать негде, таковые и приобретаются предпочтительно для обмена на целебное зелье, умеющее укладывать тоску по прошлому и развивать веселые мысли и светлые взгляды на будущее. Целовальник непременно, косвенным или прямым путем, впутается в биографию разбойника, попадет в шайку и подпадет суду и наказанию (от которых откуп в былую пору умел откупать большими деньгами). Главным же образом бродяги, решившиеся на правильные вылазки и на отчаянный поход, приобретают дружбу и участье, помощь и содействие в местном «ведомом воре», который только потому не попал в Сибирь, что откупился. Нуждою и тюрьмою выучен он

ловкости изворотов на следственных показаниях и на самом суде, а потому приладил жилище на бродяжьей тропе и приотворил дверь для бродяг, потому что законы и судьи, за неясностью улик и доказательств, оставили его на родине, хотя и в сильнейшем подозрении.

«Ведомый вор» теперь — соумышленник и соучастник пришлых недобрых людей. Сговорен он ими в том же кабаке, при помощи развязывающей язык и окрыляющей помыслы влаги. Он указывает им на цель нападений, на те бреши, где шире пролом и крепче спит стража, дает он им советы, местно-пригодные и им, старым вором, самим нащупанные и не раз испытанные. Товарищи молодцы — ночные дельцы ждут сначала мастерить, «заугольничать» по постоялым дворам, а потом «с дубовой иглой портняжить по большим дорогам». Они грабят обоз, грабят дом богатого мужика или попа, грабят церковь, грабят все и у всех, где только верна и прибыльна добыча и по мере накопления храбрости и дерзости. Умелые воры «воз рассыпают — два нагребут», умелые воры, с помощью доброго знакомца, и концы спрячут чисто, хотя следы воровские и не идут дальше кабака или дома подговоренного благодетеля. Нередко в таких случаях откуда ни возьмется на помощь вдова-солдатка или баба-солдатка, 25 лет выжидающая своего мужа и на досуге привыкшая прятать чужое и поваженная соблюдать награбленное. Является в пособницах и другая женщина (но реже), какого-нибудь из удалых добрых молодцов, плененная не ростом и дородством и сильною бородою (как бы солдатка какая, ведающая по опыту, в чем больше сласти), а плененная удальством, заболевшая кручиною к его горькой доле, не позволяющей ему и головушку приклонить на невертлявую подушку. Защемляет она больше сердце, чем разум. На атамана обыкновенно налетает хватившая опыта в жизни солдатка, которая перестала верить в суженых и призраки и привыкла любоваться в очи смельчаку и недюжинному, не умному да смелому, не богатому да тороватому. С рожи ей не воду пить, а из кармана вместе водку пить. Та или другая полюбовница поит и кормит и пристань держит, а участьем и сочувствием дает разбойникам силу, которая наталкивает на новые замыслы и свежую бодрость, с ними так легко ходится на всякие самые трудные предприятия.

Без «соприкосновенности в преступлении» женщины разбоя не бывает, без ее «сопричастности злодеяниям» мало найдется даже официальных хроник и следственных дел по грабежам и разбоям. Как бы то ни было, разбой ходит всегда снабженный и закрепленный многоразличными пружинами. Пружины эти крепнут в упругости по мере того, как усиливаются неудачи и ослабевают надзор и преследования, и становится злым и лихорадочно-деятельным, когда погоня и поиски начнут ходить по пятам и нападать на горячие следы. Тогда чувство самосохранения начинает последнюю борьбу, и обе силы затевают ожесточенный спор, нередко кровавую битву. Сторона слабейшая пускает в ход последние свои средства и все разом: ловкость и хитрость, бешеную храбрость и замысловатую изворотливость. Сколько становых и исправников улетело под суд за то, что не умели поймать атамана под самым носом! Вот он, истомленный бессонными ночами, напившийся до беспамятства и бессилия, валялся на самой торной дороге у огорода и принят был в лохмотьях за нищего. Как бы то ни было, но последние вздохи героя громки и чересчур слышны и чувствительны! Убийства становятся чаще, производятся безрасчетное и ожесточеннее. Грабеж и разбой додумываются до такого ужасного правила, по которому: грабь того, кто первый попадется, людская оплошность затем и на свет создана, чтобы добрый вор не дремал. Ограбленного убивай — следы хорони. Не убьешь — сам пропадешь, оставишь на следах своих язык, который непременно докажет.

Применяя правило на опыте к делу, разбойничья шайка тут напала на обоз и убила извозчиков, а тела их зарыла в болоте; там накинули на проезжую торговку с товаром платок и задушили до смерти, а лошадь увели с собою в лес. Здесь ограбили избу, а самого хозяина зарезали и труп сожгли в печи. Там ограбили проезжего купца и тело его бросили в реку, которая принесет потом в руки земской или городской полиции «труп, неизвестно кому принадлежащий, по знакам на теле коего видны знаки насильственной смерти». Надоумленная таким казусом, ревнивая к милостям и вниманию начальства, поджигаемая рассказами в обществе о злодействах и упреками знакомых в бездействии, принуждаемая частными просьбами, облеченными в официальную форму, а всего более предписаниями и понуждениями начальства, — земская

полиция приходит в сознание своих служебных обязанностей и начинает действовать.

Находятся, в расчете на денежную награду, сыщики и доносчики, каковые и рассыпаются по заведомым кабакам. Из окольных людей собирается облава. Само начальство выезжает на место скорбей и обид временным отделением. Все болтают о разбоях. Все наперерыв друг перед другом стараются пособить и, с растерянными головами, сначала только путают. Завязывается из рассказов целый роман в духе Дюма, где бывалое с небывалым путается до громадных размеров, так что нередко случалось первым следователям уезжать без успеха и просить на помощь себе из губернии свежих и опытных людей. Кто-нибудь из трех или пяти, и всегда случайно, нападает на первый след. Если сумеют не дать остыть этому следу, то схватят прежде всего мелких воришек, которые, по пословице, любят зевать. Но это не всегда прямые деятели, большею частью они соучастники тех, которые держат пристани и дают притон. Эти только тем запачкались, что пользовались крохами от добычи, да и то беспутно, да и то неосторожно: у них и остатки дувана найдены; пойманные с поличным, они зачастую уходят в ссылку за больших и главных. Сплошь и рядом на них возмещают успехи и торжество победы. При уменьи и ловкости, а всего чаще при помощи угроз и легоньких пыток, страхами и запугиваньем у этих попавших в силки добиваются языка, который и ведет начальство на первых разбойников, но не главных. Атамана с близкими друзьями ищут долго, его берегут пуще всех, да и сам он, стреляный зверь, хитрее и ловчее всех. Находят его с помощью той же случайности, иногда далеко в другой губернии или в дальнем уезде. Его либо предаст, напоит и свяжет подкупленная полициею полюбовница, либо он сам, чтобы не мрачить своей славы, напьется, нагуляется в кабаке в последний раз и свалится снопом под лавку. Целовальник, которому при этом надо и себя защищать и выслуживаться на подручном и легком случае, удалого молодца свяжет и представит начальству. Так поступают смелые и решительные. Опасливые, но также опытные, выводят одурелого и зачумелого гуляку на торную дорогу и бросают тут. Сюда-то сыщик и приводит начальство, обыкновенно руководимый тем же питейным сидельцем, действующим за его спиною и осторожно, с целью

застоять кабак от поджога. Берите теперь и казните! Вот главный воротило, докучливый зверь лежит, растянувшись пластом, словно убитый, и руки раскидал, и ноги выставил; отяжелелыми глазами ничего не увидит, сквозь стиснутые зубы ни словечка не вымолвит и похмелья не даст влить. Связанный веревками, заклепанный в кандалы, с всклокоченною головою и бородою и опухшим от пьянства лицом, он приходит в себя в секретном каземате острога (если крупен зверь, то в губернском). Теперь он сыт и готов на всякую казнь, затем, что покинут всеми друзьями-товарищами. Пойманный раньше их — непременно станет стараться убежать и редко не настаивает на своем. На выручку атамана Быкова, наводившего в 1848 году ужас на Казанскую губернию и город Казань, пришел товарищ и друг его Чайкин, такой же беглый с каторги молодец. Пришел Чайкин сам, зная, что его усиленно ищут и что за его голову (слыхал в народе) какие-то деньги положили, он пришел в город, зашел в трактир, поиграл на бильярде, стал водку пить в общей комнате, где сидел и частный пристав за чаем после бани. Богатырь Чайкин был неладно кроен и нелепо сшит: резко бросался в глаза своим угловатым лицом, на котором (судя по слепку маски и скелету его, хранящихся в Казанском университете) верхние скулы сильно были развиты, и орбита глаз глубока. Бросился он в глаза и всею своею фигурою, и манерами тому полицейскому лицу, которое, вместе с другими, на то время думало об одном только Чайкине и готово было принимать за него всякого встречного. К тому же и приметы злодея были поведаны: недоставало решимости. Но вот и она, на крайний случай явившаяся вдохновением. Смелость города берет. Ей удалось взять и Чайкина, ошеломленного смелым приступом и словами:

— Ведь ты Чайкин?

— Так точно.

— Зачем пришел сюда?

— Попытать счастья повидаться с Быковым, нельзя ли как его из острога спасти (а на то время, вследствие городских слухов, острог был оцеплен сторожами).

— Я тебя должен буду взять.

— Вам ничего больше не остается делать. Сам я это теперь вижу, вяжите!

Очутившись в остроге, разбойник знал, что делать. На следствии постарался показать невозмутимое спокойствие. В течение начатого о нем дела пускался путать и запутывать других, чтобы было дольше и труд нее распутывать. Наплетал он столько ложных показаний и на себя, и на сторонних, что дела о злодействах копили огромными томами. Обзывались больше непричастные люди — богатые мужики, на которых обрывались надежды на добычу (как делал это орловский — Малоархангельского уезда — разбойник из кантонистов «Сирота»). Попадали под словоохотливый и расходившийся язык и настоящие пособники: «за одно отвечать». Процесс следствия и суда тянулся месяцы, и от самого героя романа зависело протянуть его дольше целого года, если не получится предписания судить его по полевому уголовному положению, так называемым военным судом, в 24 часа. Так поступили и с шайкою Быкова и Чайкина.

Дальнейшая судьба преступника известна: дадут ему прогуляться по зеленой улице, и пройдет он ее, если не ослабели на злодейской беспутной жизни силы и если не было помечено количество ударов шпицрутенами особым зловещим придатком. Быков ходит, Чайкин глядит; попросит полушубок снять и кваску испить, пожелает, чтобы опять накинули и застегнули полушубок, и опять просит квасу. Возвращенный в тюрьму окровавленным и раздутым от ударов тысячи человек, он или пойдет на вылечку, чтобы выходить положенное, или добитый сразу (как Быков одиннадцать раз) в тот же самый день (и, во всяком случае, не дальше другого дня) умрет в острожном лазарете от острого воспаления легких. Некоторые, уверенные в том, что любопытная толпа любит эффект и охотно ходит на различные блестки, рассчитанно бросают в толпу блестки остроумия, тяжелого красного слова. Выговорились этим Пугачев, Чуха, Разин. Не высказался Быков, а Чайкин совсем иззяб, но саратовский злодей Гусев, ограбивший собор, убивший сторожа, совершивший кощунство и святотатство, не удержался. Когда его доставили на эшафот, он сам снял рубаху и надел на шею ремень. Когда все сняли шапки и прочитана была сентенция суда, Гусев, при виде наклонной знакомой скамейки «кобылы» с одною большою дырою для головы и с двумя маленькими для рук, закричал на весь народ громким голосом:

— Эх, кобылка, кобылка! езжал я на тебе, вывозила ты меня! ну-ка, вывози опять!

— Нет, Иван Петрович! — отвечал ему не тише его саратовский палач. — Нет, она тебя теперь не вывезет.

Положил он его на пологую скамейку, прикрутил голову на исподней стороне машины к рукам, просунутым в дыры, укрепил ноги на кольце внизу кобылы и снаружи ее (причем сильно выгнулась спина и невозможно стало ни шевельнутся, ни перевернуться), отошел на несколько шагов и с промежутками секунд в 6 начал с прискоком давать удары. После 15-ти обязательно переменил кнут, сделавшийся слишком мягким от крови. Счет был с подлинным верен, а удары так сильны, что обещание свое палач исполнил. Когда сняли Гусева с кобылы, чтобы приложить ко лбу и щекам машинку с железными иглами, рисующими слово К. А. Т. (каторжный) и ударить по ней несколько раз ладонью руки, Гусева уже не было в живых. Незачем было и порохом притирать заклейменные части лица.

Отвернув глаза от ужасного зрелища (к счастью человечества и славе России, давно уже не существующего), народ, расходясь по домам, станет рассказывать детям и внукам обо всем, но по-другому, а не то, что видел он и видели другие. Редкий из разбойников не останется в народной памяти и преданиях не колдуном и чародеем, спознавшимся с нечистою силою и от нее наделавшим столько злодейств. Половину злодейских подвигов разбойника народ забудет и, рассказывая о памятных, сумеет умягчить их жестокость, приписать мщению, где кровь за кровь и жертва за жертву идут, цепляясь и не прерываясь. Поведает народ потомству, что казненный разбойник отличался красотою лица, окладистою черною бородою, живыми глазами, широкими плечами и таким высоким складным ростом, что так все и ахнули, увидя его на эшафоте, и все пожалели об нем. В этом народная память не ошибается: таковы были и Гусев, и Рузавин, и Васька Торинской (костромской), и Митька Быков (казанский), скелет которого в музее университета поражает пропорциональностью костей, обещая красавца и в анатомическом значении этого слова. Полагают даже (не без серьезного основания), что красивый и дородный молодец оттого и стал разбойником, что забаловался на женских ласках и требованиях от

них похвальбы и бахвальства. Забаловавшись, он запил, закутил, закружился в вихре удовольствий до того, что стал никуда не годен; начал останавливать на себе и общее и бабье внимание и другими удалыми подвигами, не отличая за недосугом грабежа от разбоя. Расскажут про разбойника, что он так пел песни, что сыр-бор прислушивался и птицы умолкали, и сам умел складывать такие песни, что редкого человека не прошибала слеза и у редкого не защемливало сердце. И в этом много правды: начиная со Степана Разина в XVII веке, затем первообраза всех остряков из воровского рода — Ванки Каина в прошлом и в нынешнем того же Гусева, малороссийского разбойника Кармелюка и проч. — все они были авторами песен.

Перенося деяния с одного на другого, народная память, как одному, так и всем, припишет однородное: все разбойники были милостивы к несчастным и угнетенным и, разбойничая, только мстили обидчикам: богатых грабили, казну грабили, купцов обижали, на чиновников и господ нападали, но бедным и нужным людям давали милостыню щедрою рукою. И здесь народная память не противоречит действительности: эти люди в самом деле не скупились на дачу бедным и обиженным по тому обстоятельству, которое имеет оправдание в характере всех грабителей из бродяг. Бродяги еще в тюрьмах вырабатывают презрение к деньгам и привыкают к безрасчетным тратам. Скопидомы в бега не ходят, а ушедшие тратят прахом нажитое с расточительностью, составляющею одну из самых главных черт их характера. Великодушие также в свойствах людей с сильною волею; к тому же, на виду и при случае, можно им побахвалиться, похвастаться: ограбив помещика, высечь и отпустить; чиновников перевязать спинами и прикрепить к дереву; нападать исключительно на казенные транспорты и не трогать обозов купеческих, а крестьянские провожать своим конвоем в целости и сохранности, и проч. Все это ловко попадает в цель и в начале поисков и гонок за разбойниками непомерно затрудняет искателей. В окольном народе встречается нерешимость, отсутствие всякой энергии: у кого от страха, у кого от тайных причин. Большая часть других бестолковою хлопотливостью, не скрывающею равнодушия к успеху, раздражают искателей и помещиков так, что они обыкновенно решаются просить помощи у военной силы, на

окольную перестают надеяться. Ловят милосердных разбойников всего чаще солдатами. Хвастливость и желание красоваться и в тюрьме их не покидают, с одной стороны, чтобы с особенным тщанием на время казни приготовить для толпы хвастливые изречения и острые слова, а с другой — чтобы не памятовали об них иначе, как об удалых добрых молодцах, и — достигают цели. Под призрачным идеалом народ уже не видит в разбойнике потерянного жестокого человека, у которого все навыворот, который запачкался во всевозможных пороках и нравственно развращен до самого корня. Чайкин разрывает людей на две части, привязав к двум наклоненным вершинам гибкого дерева за ноги, а Быков стоит вдали и любуется и на следствии клянется и божится, что он неповинен, ибо своими руками не действовал, а только придумывал и заказывал своему есаулу. Чайкин режет бедную попавшуюся на дороге беременную женщину, а Быков подходит и смотрит, оправдывая потом преступление и приказ свой тем, что хотел полюбопытствовать, как лежит в утробе матери еще не родившийся ребенок; затем и приказал убить ее.

Всматриваясь затем в уголовные хроники, мы встречаем еще немногие дополнительные черты, в которых если мало общих, то много характерных. Большею нетерпимостью отличаются разбои, производимые беглыми с каторги (в шайке Быкова таких было 9, в том числе сам атаман, и есаул были из таковых же, бежавших с иркутского солеваренного завода). Большую ловкость и изворотливость обнаруживали беглые кантонисты, и большую жестокость — беглые солдаты. Какою-то дикою силою, нерасчетливостью и непредусмотрительностью отличаются те грабежи и разбои, которые производятся татарами, и неумолим и жесток тот разбойник, который выходил из кочевых племен и из башкир. Затем племенные особенности выступают на вид и берут свои права во всех случаях: замешался татарин в шайке Быкова — после разбоя, при дуване, он выговаривает себе лошадь, сбрую, телегу. Телегу сжигает, колесный накат катит домой. Вмешался в дело цыган — при грабежах указывает на конюшни, сам уводит, под защитою товарищей, лошадей мастерски и осторожно и еще с большим искусством загоняет их в скрытые места, где вытравляет клейма, перекрашивает масти, выгодно перепродает. При дележе дувана ограбленных и убитых

красильщиков он не берет деньги натурою, берет выпивкою, но, отказавшись от злата, с охотою бросается и выговаривает себе кубовую краску и опять тех же лошадей.

И нет худа без добра: разбои, как и всякое другое преступление, наводящее ужас, выходящее из ряда обыкновенных, грозное многочисленностью участников, пробуждают общество из временной апатии, будят в нем остывшую осторожность и в деятелях административных возбуждают энергию и усердие. Энергия сказывается в усилении надзора и внимания, деятельность, через это удвоенная, наталкивается на множество скрытых преступлений. Застигнутые врасплох и выведенные наружу, преступления эти освещают для судей много таких дел, которые, за неясностью улик и видимых доказательств, преданы были суду и воле Божией. Дело о Быкове открыло в Казани целую толпу в 27 человек беглых из беспаспортных, из которых одни оказались преступниками, бежавшими из Сибири с каторжных работ, другие бродягами, «отлучившимися от своих жительств без дозволения их начальств и мотающимися по городу без определенной цели». Побеги разбойников из тюрем наводят мысль на тщательный осмотр острожных помещений. Осмотр наталкивает на существование в тюрьмах деятелей фальшивых ассигнаций и монеты. Продолжительные и усиленные поиски, внезапные повальные обыски разбойничьих притонов обнаруживают мастерские делателей тех же фальшивых денег, канцелярии для фальшивых паспортов, притонщиков и места складов краденых вещей. Искатели попадают на следы конокрадства и на те пути и дороги, по которым проводятся краденые лошади и проч.

Возвращаясь к сибирским цифрам преступников, ушедших в Сибирь за разбой, мы видим, что количество женщин, осужденных за это преступление, несравненно меньше количества мужчин, и участье их в разбоях даже несравненно слабее, чем в грабежах. Разбойницы остались только в песенной памяти, и такие дела им совсем не по природе и не по характеру: на 341 муж., ушедших за разбой в девять лет, 17 разбойниц, с исключительным перевесом на губ. Виленскую (6 чел.), и с преобладанием мужчин в той же губернии и в Бессарабии, Грузии, губ. Ярославской, Симбирской, Киевской, Воронежской, «Подольской, Каспийской области — словом,

чаще на рубежах, чем внутри государства; предпочтительнее в мусульманской среде (в Кавказских и Казанской губ.); в Приволжье больше, чем по системам других рек; у заводских крестьян чаще, чем у помещичьих и государственных. Между солдатками сильнее пособничество в виде содержания притонов, чем между всеми другими женщинами из прочих сословий.

На местах ссылки и на каторге за разбой приходится судить редко (в нерчинских заводах в 10 лет ни одного случая из 1136 человек, сосланных за грабежи и разбои). В Тобольской губ. в 9 лет предыдущих (с 38-го по 46) шесть, из поселенцев ни одного; зато за грабеж в это же время каторжных поселенцев 23 (20 м., 3 ж.); взломали тюрьмы 7 каторж.; 32 посел. Бежало из Сибири и возвращено 8246 муж. (каторжных и поселенцев) и 285 жен. Вот тот источник, из которого предоставляется России право почерпать для себя все невзгоды, происходящие от воровства, грабежей, разбоев и поджогов. Бродяг поймано в 9 лет на разбоях 10 муж., 1 жен. Дома эти люди не так скоро решаются на обиду, но разбойник выходит на злодейства, вдохновляемый на большую часть одинаковыми с Россиею причинами. Скопление опасных и голодных людей в одной местности, где вражьей силе трудно найти прокорм и приют, порождает грабежи и разбои, теперь временно, периодически. Об этом рассказано подробно в своем месте. В Сибири опасных разбойников и злодеев сажали на цепь, а для этого, кроме всех каторжных, существовала особенная тюрьма в Акатуе — одном из нерчинских рудников.

Переходим к поджогам, как к такому преступлению, которое часто имеет отношение и к смутным временам известных местностей, накопивших сибирских беглых, и некоторыми корнями своими укреплено в той же почве бродяжничества и из нее вырастает.

Глава VII. Поджигатели

Причины поджогов. — Проявление их. — Пожары городов и деревень. —Где нет поджогов? — Поджоги — детское и женское преступление. —Поджоги в России. — Красный петух. — Мщение

Поджоги или (как привыкли выражаться казенные бумаги и лица, а за ними и сибирские табели) зажигательство — одно из тех

преступлений, причина которых всего меньше определена. Ни при одном из всех других не выразились до такой степени несостоятельность следствий и бессилие следователей недавних времен, спутанных и затрудненных тем особенным явлением, что поджоги являются периодически и в некоторые годы разом, массою случаев, приносят несчастье целым местностям, чаще всего в один и тот же год, и при этом значительно одна от другой удаленным. Подозревая в таком явлении обыкновенно результаты сильно возбужденного неудовольствия партий и политических движений, руководящихся поджогами как средствами для возбуждения народа, — следователи, в своих исканиях, наталкивались на целый ряд неодолимых препятствий. Запутавшись в них, они обыкновенно никуда не выходили и, после тщетных исканий, являлись с тем же, с чем и ушли. Подозрение как будто стало яснее; схвачены и виновные, но в большинстве случаев это — дети, которые ничего определенного не говорят (и сказать не могут): дали им деньги, поджигательные снаряды и указали, где начинать. Кто эти заказчики, они не знают, в первый раз видят. Эти дети в больших городах, по большей части брошенные родителями, вкусившие плодов бродяжьей жизни, или отбившиеся от мастеров-хозяев ученики, начавшие изучать приемы и правила увлекательного ремесла бродяг. В деревнях — это нищие проводники слепых старцев, тоже подкупленные и тоже никого не знающие. Поджигатели они потому только, что их юное, неопытное сердце не привыкло правильно различать добро от зла; пошли на преступление поджога, не давая себе в том отчета; пошли потому, что их приласкали, соблазнили, дали денег и пообещали всего, чего они захотят и чего ни попросят. Иногда их ловят сбитыми в шайки (в которых безразлично попадаются и мальчики и девочки), но при этом показания их еще запутаннее. Каждый противоречит один другому и так, что представляется обширное поле для предположений о том, насколько подстрекатели и руководители тонко обдумывали каждый свой шаг и ловко припрятали все концы, по которым можно было бы доходить до них. До них и не дошли ни во время, ближайшее к нам, ни во время отдаленное (как, например, в 1848 году), когда сгорели целые города (как Кострома, Орел и проч.). Сгорели они столько же и от несомненных и настойчивых поджогов, столько

же и потому, что все, по старинным приемам, стоят на горах, над водою, но далеко от воды (как, напр., все, а Симбирск в особенности). Не найдя виновников по задаче — не ходили искать вне ее, и в скоплениях опасных людей, прибежавших из Сибири, причин поджогов по вызову мщения за преследования не искали. Народ, знакомый с такими делами по опыту, заказал себе одно правило гостеприимства и укрыванием бродяг и потворством опасным людям предотвращает на время беды поджогов. В городах для этого меньше средств и охотников и больше готового люда для исполнения, а потому здесь жгут те шайки воров, которые надеются на суматоху пожаров, как на выгодное средство к легкой, но богатой наживе. В деревнях причины поджогов выясняются больше, и самое преступление возрастает на то время, когда ко многим народным бедствиям присоединяются частые и многочисленные грабежи, и когда чинятся разбои.

Поджигают деревни всего чаще женщины. Поджоги являются таким преступлением, которым как будто гнушается мужское население, и не будь тут мальчиков (значительно восполняющих количество сосланных за поджоги мужчин), этот вид преступлений можно было бы назвать исключительно женским. По сибирским табелям ссыльных так и выходит, что в общих цифрах самая крупная принадлежит женщинам, осужденным за поджоги: нигде уже цифра женщин так не приближается к цифре мужчин (за девять лет 528 мужчин и 434 женщины). По процентному отношению женщины также характеризуются в ряду поджигателей со всею очевидностью прав на подозрение в сильнейшей наклонности вымещать житейские неудачи охотнее этим, чем, например, даже убийством мужей. При этом наибольшая пропорция принадлежит раннему возрасту (от 14 до 20 лет), когда преступная воля охотнее пускается на мщение путями более легкими, как, например, на этот раз подбросить огонь и высмотреть к тому более удобное время и более скрытое место. Даже и в зрелом возрасте простая русская женщина, увлекаемая порывами непосредственных чувств и руководимая грубыми природными инстинктами, старается поджогом излить накипевшую на сердце злобу, высказать мщение за неверность любовника, за жестокое обращение мужа. Поджигает дом соперницы, поджигает дом мужа, невеста у жениха, изменившего

слову, обманутая у счастливой суженой и проч. Сибирские табели высоким процентом поджигательниц из дворовых людей указывают на иную причину, переставшую в настоящее время действовать, но прежде выдвигавшую это сословие на первый план впереди крестьян, единоверцев и солдат (или собственно солдаток).

По отношению к различным местностям России число поджигательниц преобладает в губерниях, где и по отношению к поджигателям цифра эта велика. Таковы прежде всего две: одна малороссийская — Полтавская, другая полумалорусская — Черниговская. За ними непосредственно следуют: Симбирская, ярко заявившая себя богатою по поджогам и в последнее время (в девять лет с 1838 по 1847 г. из Симбирской сослано 28 мужчин, 18 женщин; из Черниговской 24 мужчины, 14 женщин; из Полтавской 11 мужчин, 21 женщина). Из остальных губерний чаще других случались поджоги в таких, которые по преимуществу и гуще других населены были крепостными людьми и могли быть названы помещичьими. Не было поджогов во все наши девять лет ни в одной из губерний северных (каковы: Архангельская, Олонецкая и Вологодская) и, вообще, во всех тех, где избыток народонаселения принадлежал или казенным крестьянам, или казакам, или инородцам. В Новороссийском крае, где оказалось наибольшее количество бродяг, значительная степень участья в воровствах всякого рода, грабежах и даже убийствах — самая слабая степень виновности в поджогах: гостеприимство там еще в той степени радушного настроения, при которой нет места для злобы и мщения, и отношение женского пола к мужскому, слабое по количеству, находится в благоприятных (мирных и уступчивых) границах. Резче выясняется преобладание поджигательниц в Остзейском крае, а в преступном населении Закамья (Оренбургской и Пермской губерниях) процент поджигателей самый низкий.

В Сибири хотя и существует обычай у бродяг мстить отказавшим в приюте красным петухом или поджогом, но случаи эти настолько не выдаются, по сравнению с таковыми в России, что, например, в нерчинских заводах в десять лет (с 1847 по 1857 г.) на 174 человека, присланных за поджоги, не было ни одного такого, который оказался бы больным пироманиею или выслан был вновь за такое тяжелое для сельского населения злодеяние. Стало быть,

страх поджогов теперь только призрак, высматривающий из мрака далеких времен, который для бродяг становится духом-защитником, а для туземцев покровителем, оправдывающим ответственность перед судом за укрывательство беглых с каторги и мест поселения. В десять лет (с 1838 по 1847 г.) не было замечено ни одного поджигателя ни между арестантами, выпущенными в Сибирь из России, ни между каторжными, ни в среде поселенцев. Поджоги в Сибири такая же временная болезнь, как разбой и грабеж шайками, и в таком случае немедленное и непременное последствие этих двух родов злодеяния. Между тем, и ссыльные женщины бегут в леса и на волю, не справляясь с силою, испрашивая только согласия и позволения у мужчин каторжных; бегут немного (по три на год), но опять-таки на новой своей родине поджогами заниматься не любят. В новом крепостном положении их все согласно направляет к деятельности противоположных свойств. Редкой из них не удается сделаться матерью еще на дороге; ни одной не привелось еще, по недостатку женщин, остаться в безбрачии. За мужем и детьми для каторжной женщины прекращаются все пути к крупным преступлениям и остаются торные дороги для воровства и прелюбодеяния.

Глава VIII. Преступники против веры

Святотатцы. — Преступность духовенства. — Гробокопатели. — Колдуны. — Богохуление. — Отступление и отвлечение от веры. — Ересь и раскол. — Скопцы — Церковные воры в Сибири и России. — Богрядский-гробокопатель. — Распявшийся на кресте фанатик. — Скопцы в Сибири. — Хлысты. — Хлыстовщина в монастыре. — Субботники. — Духоборцы. — Щельники. — Охохонцы. — Молокане. — Староверы. — Масляников. — Отшельник. — Алтайские староверы. — Семейские староверы за Байкалом. — Битвы за попа. — Часовенная Сибирь. — Духовенство в Сибири. — Заводское духовенство. — Филиппов. — Раскол в Сибири. — Причины его и развитие

Сибирь, как громадная тюрьма, вметающая все наличное количество пойманных и осужденных преступников, могла бы, по-видимому, давать данные для проверки нравственного уровня России, но на самом деле этого не только нет, но и предположить

какую-либо возможность подобной поверки не представляется в настоящее время никаких данных. В Сибири записывают наличное число приходящих преступников по такой же системе, по какой ведут счеты принятому товару в пакгаузах, ограничиваясь отметкою времени приема, количества мест, и заботливо заносят в книгу только нумера тюков. О содержании принятого и о других любопытных подобностях не заботятся. Составлял образцы для книг старый подъячий, поседевший на рутинных приемах и высидевший приметное равнодушие и нескрываемую ненависть ко всему живому.

Ко всему тому, что возбуждает интерес науки и служит ее достоянием, у этого писца полнейшее неуважение и преднамеренное недоверие. Временами он уступал настойчивым требованиям и начинал записывать потолковее, но вскоре затем опять сводил на свое и снова писал зря, придерживаясь приемов старой рутины и образцов, завещанных его седыми и отписывавшими свой век предместниками.

На этот раз, так же как и в тысячах других случаев, в столкновении интересов науки с казенною практикою замечается обоюдный разлад и огромное отчуждение. Старый подъячий, разумеется, не догадался сам и не был возбужден другими к тому, чтобы остановиться и подумать, насколько применимы к делу и пригодны для практических и поучительных выводов его длинные и скучные записи. Отсюда произошло то, что прежде он писал даже как будто толковее и, например, в убийствах умел отделять отцеубийства, детоубийства, убийства мужей женами, жен мужьями, — затем все это сбил в одну кучу под фирмою умышленного убийства и успокоился, придумав отдел убийства случайного. Точно так же писал он, для ускорения акта писания и для пущей темноты разумения, всех преступников против веры в одну графу. Прежде отделял он все роды этого преступления и знал число отступников от господствующей веры и число отвлекавших от нее, знал и различал святотатцев, колдунов и принявших ложную присягу; отделял богохуление и порицание веры и вел отдельный счет разрывшим могилы. Перемудрило ли тут новое начальство, как не домудрило старое, оба, по-видимому, руководившиеся высшими взглядами, —

и теперь, за давностью, определять трудно и излишне. Результаты невыгодны тем, что к таким уголовным хроникам и статистическим выводам, к каким пришли европейские криминалисты, у нас легко и скоро не подойдешь. Ученые общества, с одной стороны, а с другой, казенные учреждения — это два незнакомца, случайно встречающиеся на улицах и безучастно проходящие друг мимо друга, каждый своею дорогою. В Тобольске, где принимали ссыльных и записывали их преступления, не могли указать, например, на то, какие орудия чаще употребляются для убийств, какое время предпочитали для краж, какие способы мошенничества приняли господствующую форму, чтобы при случае можно было обществу встать в оборонительное и охранное положение. Не объяснять и в Тюмени, что грабежи совершаются товариществами в известных местностях чаще всего, что разбои находят место и пищу себе при таких- то общественных и экономических условиях и проч. Не говорим уже о мелких, по-видимому, частностях, однако серьезных настолько, что, например, Кетлэ сумел из них выработать веские и поучительные выводы, о которых мы имели неоднократные случаи говорить.

Впрочем, Сибирь не в состоянии представить мерку для нравственной оценки России и потому еще, что существующий там приказ о ссыльных ведет счет только тем преступникам, которые приговорены к ссылке в Сибирь. Многие оставляются в России по особенным соображениям судов и администрации. Останавливаясь на преступниках против веры, мы должны помнить, что для таковых имеются места заточений и в России, каковы монастыри, между которыми тюрьмы при Спасо-Евфимиевом в Суздале и Соловецком монастырях занимали главное место. Известную хлыстовскую богородицу Ульяну Васильеву, последнюю отрасль знаменитого Данилы Филиппова, первого хлыстовского бога[141], лица полумифического, смирили монастырем (девичьим) Пермской губернии; известного пропагандиста старообрядцев Папулина — Соловецким заточением и т. д.

В расчете на то, чтобы до некоторой степени объяснить степень влияния каторги и ссылки на нравственные и религиозные убеждения

---

[141] Существование его, помимо хлыстовских преданий, не доказано никакими историческими документами.

сосланных в Сибирь, мы останавливаемся на известной нам таблице тобольского приказа, имеющей важное значение потому, что она, во-первых, считает сосланных в Сибирь, а во-вторых, считает их верно, несколько раз пересчитывает и проверяет. По этой таблице, наказанные ссылкою грешники определились в следующих числовых отношениях.

Самая крупная цифра принадлежит святотатцам, вторая — сосланным за отступление и отвлечение от веры и третья — ссыльным за богохульство и порицание веры.

Святотатцев в большом числе обвиняли в Северо-Западном крае, где православие, обезличенное униею, но не побежденное католичеством, должно было вести борьбу с тою массою религиозных предрассудков и суеверии, которые достались тамошнему русскому народу в наследие от предков. Здесь, в этой стране, во время давней борьбы о преимуществе господствующих исповеданий, в которой народ высказался (по сравнению с малороссийским) полным равнодушием, суеверия уберeглись в такой массе, в какой они уже не являются в русском народе, населяющем громадную равнину Русского царства. У русских в Северо-Западном крае остатки народных верований настолько крупны и серьезны, что несомненно обличают древнее происхождение от языческого славянского культа, и до того многочисленны, что представляют вероятие восстановить эту древнюю славянскую языческую веру в цельном виде. Когда в Великой России тому же наследию предстояло великое испытание в пропаганде монастырей и обессилилось, сверх того, оно от примечательной подвижности племени, дававшей возможность обмена вместе с продуктами и мыслей, — в Белой России изолированное положение народа и его неподвижность на то же наследие произвели противоположное влияние.

Белорусский народ лучше сохранился в прародительском виде и бережно донес до нашего времени стародавний дохристианский закон предков. Великорусский народ умел от общения с инородцами смешать наследство с новыми приобретениями и обезличить то, что у белорусов является почти в бесприметном и цельном виде. Великоросс успел за веру и в леса разбежаться, и в ту же Белоруссию кинуться, и Сибирью, и Новорусским краем, и Предкавказьем

и Закавказьем был наказан. Умел он броситься по делам веры и в крайность мистицизма (духоборцы), и в крайность особого и более строгого вида язычества (хлысты и скопцы). Попытался сменить веру отцов на обрядовую ветхозаветную (субботники) и на безобрядную веру последних трех веков (молокане). Белорус оставался неподвижен. Вне его произошла борьба православного и римско-католического исповеданий, коснувшись его только в той мере, что, не обезличив и мало обессилив старую славянщину, являет перед нами законный и правильный результат безразличия и холодности. За отступление от веры и совращение, за ересь и раскол — нет ни одного ссыльного; за святотатство — самое большое число. За это преступление шли именно из тех губерний, где больше всего, в последнее время, велась католическая пропаганда, успевшая охладить в глазах нетвердого в христианских догматах народа все то, что дорого истинно верующему, вообще, на Руси, от храмов и церковного имущества до могил умерших и их погребальных саванов. В девять лет (с 1838 по 1846) за святотатство сослано было из западных губерний 124 муж., 24 жен., т. е. почти ⅓. часть количества всех сосланных изо всей России по отношению к мужчинам (124 на 389 челов.) и почти ½ по отношению к жещинам (24 на 53). При этом Виленская губерния дала 29 муж., 12 жен., Минская 14 муж., 6 жен., Витебская 22 муж., 4 жен., Подольская 26 муж., с тем, может быть, «ослабляющим вину обстоятельством», что на этот раз святотатство обезличивается до известной степени в простое воровство и тем более в этой стране, где бесчисленные лишения и повсеместная бедность разлиты в примечательном обилии среди загнанного и угнетенного народа. Неурожаи — ежегодное явление в той или другой местности лесного и мокрого края. Урожаи, кроме немногих счастливых оазисов, дают такое количество сбора, который всегда недостаточен для прокормления местного населения, с давних времен знакомого со множеством хлебных суррогатов[142].

[142] Сибирские табели и в последующие годы продолжают увеличивать число святотатцев на сторону тех же губерний. Возьмем на выдержку: в 1854 году сослано 10 из Гродн., 9 Минск., 6 Бесс, обл., 5 Киевск.; в 1855 — 8 Вит., 10 Минск.; то же самое открывается и по сравнении цифр за 20 лет (с 1827–46 гг.), которое приводит к тому главному выводу, что по всей России нигде

Странный род преступления, каково разрытие могил, явившееся в немногих случаях с объяснением («ограблением мертвых тел»), увело жертв народного суеверия, жертв ничтожных по общей численности (12 человек в 9 лет), также в большинстве из западных губерний (по 3 человека из Гродненской и Киевской, 2 из Витебской и 1 из Волынской). Цифры эти, указывая, таким образом, на существование особого промысла воров, имеющего в понятии великорусского народа значение святотатства, в то же время свидетельствуют и о крайней его исключительности, а по отношению к Северо-Западному краю принимает он особый характер, чем в Великой России, неизменный до наших дней. Уголовные характеристики сумели указать на основной принцип, руководящий этим преступлением, и отделили из общего числа преступников тех, которых побудила корысть и стяжание одежды и украшений, полагаемых во гроб по прадедовским обычаям, от тех, которых увлекало к преступлению странное и печальное суеверие. Тогда в понятиях определялись оба вида. В России тогда выяснялся на этом преступном промысле солдат-дезертир, испортившийся в казарме и оголодавший в бегах, действовавший преступно в тех губерниях (каковы, по нашим данным, Казанская, Пермская и Пензенская), где инородцы, а особенно татары, любили снабжать трупы и гробы умерших самыми дорогими одеждами и украшениями. В губерниях же северо-западных поводом к преступному действию служит суеверие, основанное либо на мистической необходимости, выкопав труп, отнять голову, чтобы обнести ее кругом селения для прекращения скотского падежа на тот случай, если не решится какая-нибудь женщина голою объехать верхом на лошади вокруг деревни. Либо суеверие основывается на приготовлении свечи-невидимки, которая делает лицо, приготовившее свечу, невидимым для тех, кого оно вздумает обворовать, и которую необходимо приготовлять именно из жиру

святотатство не развито так сильно, как в губ. Минской (58 м., 8 ж.) и Витебской (42+7), Московск. дала 53+2, Владим. 41 +7, Киевск. 46+4, Костр. 28+2, Новгор. 29+2. Зато, как во всех этих губерниях Западного края, так равно и малороссийских, процент сосланных за чисто религиозные преступления замечательно слаб, даже ничтожен.

умершего колдуна, с соблюдением некоторых сложных, но исполнимых, мистических приготовлений и обрядов.

Взаимное недоразумение, обоюдный обман (суеверного грешника) этих преступников, ожидающих лекарства от церкви и, на худой конец, от больницы психиатра, привели в Сибирь вместе с ними и таких людей, на судьбе которых снова встретились обман и вера в черта и всякую нечистую силу. В сибирских табелях явились колдуны.

Колдовство признано за преступление, обрекающее на изгнание и предполагающее в ссылке исцеление. В этом случае что-нибудь из двух: или мы настолько просветились, что стали отличать врача-шарлатана от настоящего мастера своего дела, или верим черту, с которым спознался чародей-колдун. Конечно, так называемый колдун не имеет возможности украшать свою приемную предметами вовсе ненужными, но возбуждающими уважение и доверие в пациенте. Тем не менее не можем отрицать, что в большинстве этого рода шарлатанов живет глубокая вера в собственную силу, исходящую из личного убеждения и укрепляемую постоянным доверием массы. Едва ли подобный человек больше шарлатан и обманщик, чем те, которые изредка налетают к нам из Европы; едва ли он не настолько же убежден в себе, как и все остальные убежденные и убеждаемые в своем врачебном знании. На самом деле, колдун — представитель той медицины, которая известна была древним и перешла к русским от шаманов, называвшихся в старину «волхвами» и «кудесниками». «Колдун» — лекарь, у которого большая часть лекарств действуют как симпатические средства, и ни одно из них не крушит болезни без таинственной обстановки и многосложных суеверных обрядов. Понятно, что попал он в Сибирь потому, что плел на себя в суде напраслину, которую сам не считал таковою, и не жалел себя, щадя прежнюю славу и будущую славу последователей и товарищей. Попался он потому, что не был так ловок, как другие, и подвернулся под удар судьбы на время случайных народных бедствий, когда народ его околотка, озлобленный несчастьями неурожаев и повальных болезней и растерявшийся от них, вышел из себя, изменил себе до того, что предал нужного человека в руки казенных судей и на суд уголовных законов. Впрочем, таких случаев было немного и колдунов все- таки уберегает народ про себя.

По приговорам прежних судей, в числе других преступников, ушедших в Сибирь за преступления против веры, меньшее количество палок выпало за богохульство и порицание веры (в 9 лет 21 чел.), несколько больше (31) за отступление и отвлечение от веры, и всего больше (59) сослано за ересь и раскол. По первому роду самое большее число шло из губернии Пермской. По второму виду религиозных преступлений (отступление и отвлечение от веры) цифра представляется большою на стороне мужчин и ничтожною на стороне женщин (хотя, на самом деле, бывает наоборот), а в общем цифра явилась одною из самых малых по сравнению с иными по всем другим родам. Собранные факты говорят противное, и сибирскую цифру можно объяснить тем, что из отступников шли сюда только те, которые жили в местностях, издавна пользующихся как бы привилегиею, по делам веры, на ссылку в Сибирь.

Оттого крупнее цифра явилась на губерниях Тифлисской и Ставропольской, как таких, которые предназначены были правительством для поселения всякого рода сектантов. Объявилась величина цифры (хотя, сравнительно, меньшая) в губ. Тамбовской (в которой, прежде других, обнаружились молокане) и Таврической (куда перевело правительство всех замолоканившихся, духоборцев и субботников, поселив их в Мелитопольском уезде, на урочище «Молочные воды»). Пойманы вероотступники и в земле черноморских казаков, где сильно бродит религиозная пропаганда. Сосланы увлеченные и увлекавшие из Симбирской губ., куда устремилось молоканство, до сих пор путешествовавшее по степям, и из Тобольской, где на всякое увлечение и на всякое преступление всегда находится не один ответчик.

Третий род религиозных преступлений, раскол и ересь, отвечает цифрами тому же обязательству, как и предыдущий вид: больше шло из губерний, населенных сосланными из России за измену господствующей вере (каковы губернии Таврическая, Казанская и закавказские) и, разумеется, на большей свободе и при вполне очищенной изгнанием совести, не переставших выяснять себе и рассказывать другим любопытные истины новой веры. Явились в Сибирь по таким делам люди более зрелых лет, приобретшие большую сосредоточенность и самоуглубление, а вместе с тем заме-

чательную стойкость и крепость в тех нравственных убеждениях, которые, на утешение старости, выработались в начала, очищающие совесть и поддерживающие дух. Большая часть людей, поплатившихся за свои религиозные верования и убеждения лишением прав состояния и ссылкою в Сибирь, принадлежали по возрасту к людям свыше шестидесяти лет, который редко уже замечается виновным в других, более важных и действительных преступлениях, а по сословию к купцам — сословию, занимающему по всем другим родам преступлений самое отдаленное место с примечательно некрупною цифрою. Ересь и раскол, совращение и отступление от веры — как будто привилегированные купеческие преступления. Процент сосланных за веру купцов значительно превосходит все другие сословия[143].

Оскопление, как крайний результат известных религиозных убеждений скопческой секты, по самой исключительности своей, не может быть объяснен сибирскими цифрами. Ссылали этих «божьих людей» и на Аландские острова, и за Кавказ, и в Сибирь одновременно. Шли в Сибирь те прозелиты, которым удалось оскопить других, поверивших живому Богу, живущему в городе Иркутске, в сибирской сторонушке, а шли, разумеется, оттуда больше, куда были высланы скопцы из России. Так и по нашим табелям, наибольшее число «оскопивших себя» и «оскопленных другими» вышли из Закавказского края и Новороссийского (губ. Херсонской и Таврической)[144]. Все эти прозелиты ушли либо на реку Енисей в

---

[143] Сибирские табели собственно по делам старобрядчества — плохой судья. С 1831 года, по случаю увеличения раскола, перестали ссылать преступников этого рода. В последние годы перед этим запрещением по цифрам табелей заметно было сильное распространение раскола в Воронежской губ., Рязанской, Пензенской, Тамбовской и Орловской. Нет сомнения в том, что это увеличение произошло не в сторону староверов, уживающихся преимущественно в лесных и северных губерниях, а в сторону нововеров (сект рационалистов), которые наиболее облюбовали степные и южные губернии. В этом отношении враждебные вероисповедания приняли противоположное географическое направление друг другу, как бы преднамеренно условившись между собою в отмежевании местностей.

[144] В конце 20-х гг. нынешнего столетия из великорусских губерний сильнее скопцами губ. Орловск. (с 1828 по 1831–55); Тамб, (50), Курская (46) и Калужская (35) — места преимущественного религиозного движения хлыстовщины

Туруханский край, либо на Лену в Якутский. Скопили чаще солдат и мещан и всего меньше — крестьян; большое число оскопившихся людей ушло в холодные тундры и самые неудобные сибирские места, из инородческих племен — из племени финнов (или попросту чухонцев) по преимуществу. Множество скопцов убежало из России и за австрийскую границу. Одинаково оскопляли во младенчестве, скопились и в молодые и в зрелые годы, мужчины и женщины безразлично и почти в таких же взаимных числовых отношениях[145].

Совсем другими свойствами отличается тот вид преступлении против веры, который вел грешников прямо на каторгу, в нерчинские рудники и который называется святотатством. Церковные воры, за исключением губерний Северо-Западного и Юго-Западного края, в русских губерниях попадались в большом числе, конечно, там, где древняя Русь настроила большее количество церквей и монастырей, богаче украсила их от избытка собственных денежных богатств и где, таким образом, при обилии соблазна для голодной голытьбы укрепился грех святотатства. Он, в сибирских табелях ссыльных, сделался судьбою, каким-то видом неизлечимой и постоянной болезни; последовательно и настойчиво повторялся в губерниях: Владимирской, Киевской, Черниговской, Московской, Костромской, Нижегородской и Новгородской. Не выразились только Ярославская и Тверская, поступающиеся значительным числом своего населения для дальних отхожих промыслов[146].

до скопчества, от духоборства до молоканства. Самый основной и древний пункт хлыстовщины (Костромская губ.) выразился также и скопцами (20).

[145] Между преступлениями против веры указана в табелях графа для сосланных за «лживую присягу», но графа эта только раз оживлена была преступниками этого рода (с 1846 г. сосланы были из Ковенской губ. 1 муж. и 1 жен.), несмотря на то, что подобное преступление, в прежней судебной практике, являлось делом обычным. Всем памятен обычай очистительной присяги, всенародно, при звоне колоколов. Целой Москве памятен тот случай, когда заведомо всем виноватый сходил под колокола и не устыдился, а за это — как извество по народным приметам — до седьмого колена не смываетси с потомков грех «ложной присяги».

[146] Женщины по отношению к мужчинам, в общем числе святотатцев, составляют ⅙ часть. В некоторым губерниях, последовательно за все годы, высланы были одни только мужчины (из Моек., Новгор., Воронежем,

Шли в Сибирь за воровство церковного имущества изо всего множества русских сословий, преимущественно и почти исключительно три: одно, ближе стоящее к церкви, и два, ставшие от нее примечательно дальше других. Так, например, лица духовного звания, причастные в приметной степени преступлению воровства-кражи и реже воровства-грабежа, упорно отстаивают за собою в ежегодной цифре тот вид этого рода преступлений, который известен на юридическом языке под именем святотатства. В равной степени падает этот грех и на священнослужителей и на церковнослужителей, если принять в расчет то, что число причетников в общей сложности вдвое превышает количество священников и дьяконов[147].

Из двух остальных сословий оба искусственно водворены на русской почве и оба не обеспечены в экономическом отношении: один пролетарий без земли, другой без всякой собственности — разделили с духовенством преступление церковного воровства между собою. Сняв таким образом всю вину обвинения в преступлении с русского простого народа, они оказались между собою в тех количественных отношениях, по которым ясно, что цифра святотатцев после духовенства всею тяжестью своею тотчас падает на солдат, а затем на мещан. Вероятие святотатства для крестьян в 40 раз слабее, чем для духовенства. В числах эти отношения, за наши 9 лет, выражаются так:

Лиц духовного звания	140 муж.	
Солдат, служащих и отставных	87	2 женщ.
Мещан	51	5

Для духовенства вероятие тяжкого греха церковных краж составляет исключительную особенность наравне с преступлениями по службе чиновников.

Перм., Подол., Тифл. и Оренб.). Западные губернии отличаются также довольно значительным процентом церковных воров; губернии Витебская и Минская сильно выдаются впереди всех других.

[147] Так, в 1845 г. сослано за святотатство священнослужителей 9, церковнослужителей 11, в 1844 г. священников и дьяконов — 7, причетников — 15, и т. д.

По отношению ко всем другим родам преступлений, совершенных этими тремя сословиями — святотатству у духовных и мещан принадлежит третье место, у солдат же оно занимает пятое (убийства, побеги, воровство, грабежи и — святотатство). Само же духовенство, по проценту для тяжких преступлений, занимает самое видное место; за исключением его, по другим родам, духовенство встает на самое дальнее, превосходя только купеческое сословие. Попадьи и поповны тут ни в чем не повинны, точно так же, как и всякая другая преступность в них замечательно слаба.

В период последующего десятка лет (с 1 янв. 1841 по 1 янв. 1857) в нерчинские заводы поступило рабочих, сосланных за святотатство — 72 и за оскопление — 7. Последуем сюда за ними по нашей задаче и ради вопроса о том, что происходит с этими ссыльными там, на каторге: остаются ли они при своем, исправляются или больше портятся?

Само собой разумеется, что с уничтожением основных поводов и вызывающих причин или с ослаблением питательных соков, — преступление уничтожается вовсе или ослабевает количеством жертв. Верно также и то, что ссылка, со своими резкими, решительными и грозными последствиями, производит с преступниками то, что они или, оглушенные и озадаченные крутым бытовым переворотом и крупным житейским несчастьем, зарекаются на новые преступления, или, в крайнем случае испорченности и забалованности, делаются более осторожными и опытными. В ссылке, как известно, существует признанная законами и весьма излюбленная ссыльными форма, нравственное значение которой состоит в том, что совершивший преступление и умевший спрятать его может высказаться потом под видом бродяги, не помнящего родства. На огромную массу людей этого звания, не без некоторого практического основания, возлагается участье в не объясненных и не открытых преступлениях. Тем не менее, в числе ссыльных, обвиняемых в Сибири за новые и различные преступления, исчезает вид богоотступников, еретиков и раскольников, как бы в силу того, что раз содеянный факт подобного рода не имеет возможности повториться. За преступления против веры и даже за такой вид их, как святотатство, в нерчинских заводах, в числе вновь осужденных, не указано ни одного в течение десяти лет (с 1847 по 1857 г.), а в течение

предыдущих девяти (с 1837 по 1846 г.) на всю Сибирь, из всего числа каторжных, указан виновным в святотатстве только один, из числа поселенцев 5, из арестантов, выключенных из арестантских рот военного и гражданского ведомства, только 2. Конечно, на этот факт должно было иметь значительное влияние то обстоятельство, что Сибирь примечательно скудно наделена церквами. В часовенной Сибири святотатцам, конечно, лежала более торная дорога к другим преступлениям и полнейшая возможность (по силе народной пословицы, гласящей, что «раз украл — навеки вором стал») уйти на воровство с более широкими (а не специальными) применениями и исчезнуть в цифре осужденных, вообще, за хищение чужой собственности. Таковых в те же десять лет в одних нерчинских заводах только уличено и осуждено 201 человек, а по всей Сибири за 9 лет предыдущих осуждено за явное воровство из каторжных 34, из бродяг 476, из поселенцев 144 и из арестантов 30, всего 684 человека. По другим родам веропреступных действий, исчезнувших сами собою на каторге, за неимением пищи и поводов, — лживая присяга потеряла свою силу, конечно, потому только, что закон воспрещает ссыльным всякое формальное клятвенное обещание и не допускает их ни до какой присяги. Точно так же все русские колдуны очутились бы в Сибири не у дел уже потому, что там и своих довольно, в виде шаманов, с одной стороны, и бурятских лам — с другой, из которых последние готовы полечить, а первые полечить и покудесить. Зато нерчинские архивные и казенные хроники сохранили следующий случай в ответ на вопрос об исправлении сосланных за разрытие могил и воровство положенной в гробы с мертвыми телами одежды.

Некто Богрядский (судя по фамилии, уроженец тех мест, на которые мы указали в начале статьи и которые по преимуществу усвоили себе этот вид странного воровства) сослан был на каторгу и помещен в работы на Селенгинский солеваренный завод (давно не существующий). Здесь он занялся грабежом мертвых и в могилах и за то был наказан кнутом и переведен на нерчинский завод, на глаза духовного и гражданского начальства, так как в заводе этом — центральном пункте местного административного управления — гражданские и военные власти организовались в целое правление, а духовные — в собор. При Нерчинском заводе Богрядский сидел в тюрьме. В тюрьме он снова задумал тот же промысел и на помощь

себе в участники наживы успел подговорить товарищей. Для успеха предприятия он днем часто посещал тюремный госпиталь и тщательно осматривал всех умерших; ночью, «бегая скрытно из тюрьмы», выходил на промысел, т. е. разрывал могилы и обирал с покойников все до последней нитки. В могилах иногда ошибался по причине ночной темноты. Раз рассчитывал попасть на могилу горного служителя, а попал на могилу ссыльного: «ободравши рубаху — видел знаки на спине от наказания». Успел разграбить пять могил. На последней попался и указал на товарища Полещука (необлыжного белоруса и вероятного земляка), «который умел сбывать краденые вещи заводскому служителю, любившему принимать все краденое и платившему за то наличными деньгами». Деньги — вот единственная цель преступления и единственное объяснение его, которое дали виновные Богрядский и Полещук на суде в заводе.

Таким образом, там, где замешался фанатизм, проявилась болезнь своего рода, мономания, где, словом, замешалась твердая и настойчивая воля, желающая действовать по личным убеждениям, хотя бы и ошибочным, — там каторга в полной несостоятельности, и она уже не только не лекарство, но даже еще одна из предрасполагающих причин.

Когда-то (впрочем, не так давно) во Владимирской губернии фанатик сжег свой дом и в нем собственных малюток, предварительно зарезанных им ножом на горе за селением. На допросах он хладнокровно показывал, что поступил так, начитавшись Библии, и совершил детоубийство по образцу Авраама, приносившего в жертву Исаака. В то время, когда он колол ножом, жена его, мать малюток, говорила слова, молитвенно объяснявшие цель заклания. Детоубийца этот был Никитин. И вот, в Средней Борзе на Аргуни живет старичок у тамошних казаков в работниках, сосланный из России, и тоже Никитин; поживет у одного, поработает у другого, вскоре непоседливо бредет работать на третьего, по праву и званию выпущенного на пропитание. Вопреки всем аргунским казакам, он был человек трезвый, вопреки всем поселенцам — послушным и не сварливым; в отличие от всех сибиряков — человеком набожным и начитанным. Начитан он был так, что все дивились тому и оказыва-

ли ему почет и уважение. Все свободные дни отдавал он чтению Библии и при всяком случае и со всяким любил поговорить о божественном. Не в меру был он этим докучлив, не в меру во все время был угрюм и задумчив. Думали, что он человек какой-нибудь русской секты: все хулил церкви, все говорил о зле, в них царствующем. Между тем, чем больше читал он, тем угрюмее становился: перестал ходить в компании, избегал шумных и людных собраний, начал дичать и уединяться. Все это было всем видно, но всем непонятно, отчего стал чаще уходить в лес чудной старичок и подолгу там оставаться. Вскоре объяснилось дело, а объяснили его пастухи-ребятишки, привлеченные стонами к часовне и натолкнувшиеся в ней на невиданное диво. На том кресте, который сам Никитин вкопал в землю и в котором видевшие его не видели ничего странного, так как дело это в Сибири за обычай, — на кресте этом, под навесом в часовенке, висел человек. Голова в терновом венце склонена была набок, в крепкий мороз висел он голым, только подпоясан низ живота белым платком. В боку была рана, все тело было облито и забрызгано кровью. Под крестом лежало копье и валялись орудия Христовых страстей. Когда сбежавшиеся люди сняли распятого с креста, он был еще жив. Когда в Нерчинском заводском лазарете его вылечили и призвали к допросу, Никитин отвечал, что жертвовал собою за грехи людские и выбрал для того вечер Великой пятницы. Распинал себя сам, хотя и трудно ему было, но перед тем он долго молился. Сначала он прибил к кресту ноги правою рукою, придерживаясь левою за поперечное древко креста, потом левую руку насадил на большой гвоздь, вбитый предварительно с задней стороны поперечной доски. То же самое хотел сделать и с правою рукою, да совсем изменили силы: он ослаб и повис. Так с опущенною рукою он и найден был пастухами. «Захотелось умереть, как умер Христос за людей, и тем угодить Богу»[148].

На этом стремлении угождать Богу по собственным способам (в самых исключительных и редких случаях) и по тем образцам, которые

[148] Никитина сослали в Иннокентьевский монастырь, под Иркутском, на покаяние, откуда снова возвратили за Байкал и поселили в Нерчинске, где он еще жив был в 50-х годах.

завещаны и указаны св. отцами (и это всегда), остановились все те ссыльные, которые сосланы сюда за «раскол и ересь». Начнем с сектантов, ссылаемых в Сибирь с большею готовностью и постоянством.

Говорить про скопцов много не приходится; разумеется, в ссылке они остались теми же самыми фанатиками. Для них возврата не может быть никакого. Крупный и решительный акт совершен — остается исполнять обязательные при нем обряды, чтобы не утратить сочувствия единоверцев, умеющего высказываться в замечательно единодушной денежной помощи, которою не забывают и в енисейских деревнях, вблизи Туруханска, и в приленских, за Якутском. Несомненно пользовались теми же самыми денежными присылами и те, которых судьба отделила от прочих и послала за Байкал. Мы лично были свидетелями (в петергофской тюрьме) того холодного равнодушия и поразительного бесстрастия, с какими нашли мы скопцов (в 1861 году) накануне того дня, когда им приходилось идти из тюрьмы в холодные и суровые места дальней Сибири. Ни сожаления, высказанные нами, ни сведения, какими мы готовно делились с ними, ни советы на дорогу, имевшие целью руководить их первыми шагами на чужбине, — ничто не озабочивало и не трогало их. Они как будто в каком-то отупении готовились на предстоящую борьбу с ссылкою, и притом видно было, что ей не сломать их характера и не поколебать их решимости. Нам казалось тогда, что это люди, выступающие на битву с огромным запасом сил, что перед этими героями самое тяжелое из наказаний (какова ссылка) объявится в полнейшем ничтожестве и крайней неприменимости: все равно жили здесь, поживем и там. Они тяготились одним и жаловались и просили об одном — чтобы их скорее отправили: зачем жить в теплой, светлой и чистой тюрьме и под боком богатых благодетелей, когда судьба судила идти в негостеприимные, мерзлые пустыни, в соседство полудиких, полуголодных тунгусов и юраков? Зато во время путешествия по русским и сибирским этапам везде готовится им встреча от таких же дряблых, с морщинистыми лицами, с пискливым птичьим голосом почитателей Петра III и Селиванова. Всякую арестантскую партию неизбывно встречают скопцы в городах и селениях, выходящие посмотреть: нет ли кого-нибудь из «голубей», чтобы наделить их деньгами.

Отправляются туда скопцы не без запасов настоящих, не без надежд на будущие и, во всяком случае, с верою в свое призвание и с твердою уверенностью, что именно в этих-то страданиях выражается для них, под видом мученичества, один из путей к блаженству, к тому же, на этот счастливый случай, ведет их в соседство той страны и горы того города (Иркутска), откуда явится их живой бог (Кондратий Селиванов)[149]. Другой путь к довершению религиозных стремлений и одно из средств к духовному совершенству, достигаемые посредством привлечения в секту новых прозелитов, для ссылаемых в Сибирь дело не особенной трудности. Удачная скопческая практика в Сибири не редкость. В Сибири, как и за Кавказом, на Енисее, как и на Рионе, поразительны они тем незлобивым характером, которым отличаются в сношениях между собою, и тем отсутствием распрей или ссор, которое они полагают для себя как бы за обязательный религиозный догмат в отношениях к прочим туземцам. Нельзя не замечать и не чувствовать того удивления и уважения, которым пользуются они у соседей, умеющих обнаруживать эти чувства, помимо недовольства их грехом оскопления. Скопцов никто и никогда не обижает, имея глубокое сострадание к тем затруднениям, которые встречают их слабые силы при исполнении различных многотрудных работ, задаваемых дикими и девственными местами поселения. Работают они усердно и безропотно, где требуется применение их сил и способностей, или по указаниям доброй воли, или по вызову различных начальств.

На Рионе из них составляли рабочую роту, вверенную военному офицеру; на Енисее они занимаются легким промыслом извоза и

---

[149] До Иркутска шел Селиванов в пересыльной партии на канате и успел совершить над собою вторичное полное оскопление. В Иркутске, со смирением искреннего православного (в пример и поучение своим последователям), живя на свободе, он ходил по городу с чашечкою и собирал на церкви. Около двадцати лет пробыл он в ссылке, не склонившись на подговоры скопцов, явившихся из России предложить ему услуги к побегу и укрывательству. В 1795 году император Павел освободил его и позволял возвратиться в Петербург. В 1832 году Селиванов умер в Суздале в Спасо-Евфимиевом монастыре, но скопцы думают, что он до сих пор скрывается в окрестностях Иркутска, откуда и ждут его для начала нового царствия.

сплавами. Оскопление ссыльными ссыльных в нерчинских заводах не обнаруживается в надлежащей силе оттого, что это дело находится в руках самых осторожных и уже достаточно наловчившихся, но, обнаруженное в одном месте, всегда указывает на многие другие случаи. Так, замечено было сильное распространение секты скопцов в Петровском заводе (одном из нерчинских), в 30-х годах, в такой степени, что генерал-майор Лепарский (приставник декабристов) решился не принимать скопцов в Петровский завод, а отправлять их в нерчинские рудники. При этом обнаружено было, что скопцы уловляли в свои сети и соблазняли ссыльных деньгами, в большом количестве получаемыми из России. Точно так же секта эта, умеющая скрываться и периодически обнаруживаться во время самых крайних увлечений прозелитизма, в 1854 г. заметно распространялась в Тобольской губернии между старожилами Юргинской волости (Ялуторовского округа). Виновные и уличенные были осуждены и высланы дальше в Сибирь. Этим приостановлено было дальнейшее распространение секты, которой в той стране не благоприятствует то, что адепты ее, сосланные по судебным решениям, живут рассеянно и их по губерниям очень немного.

Хлыстов Сибирь также не угомонила: самые первые хлысты на Руси — ученики стрельца Прокопия Лупкина, не прерывали сношении с оставшимися в России: ни те трое, которые были сосланы в Тару, ни сестра известной хлыстовской богородицы Акулины Ивановны (заточённой в пермском Далматовском монастыре), Александра Ивановна, увезенная в г. Илимск. Сношения эти были очевидны еще в то время, когда уличен был в ереси сын Лупкина, Серафим, иеродиакон Симонова монастыря в Москве. Его расстригли, позвали к суду, в 1735 году за его важные вины били кнутом и сослали в Охотский порт. За Байкалом найдены были те же погреба, которые заменяли сектантами церковь, и замечены были такие же успехи в пропаганде, с резким отличием от скопцов в том, что хлыстовская проповедь имела поразительный успех. В деревне, пристроившейся к стенам Троицкого монастыря, нашли многих новых хлыстов, сделавшихся таковыми вследствие соблазнов от сосланных в монастырь из России. Ссыльные хлысты совратили многих монахов, некоторых крестьян и купцов. Отступничество

соблюдалось в самой строгой тайне, пропаганда проведена была весьма осторожно, не сразу узнали о том. Узнали сначала соседи-крестьяне и сказали властям; власти, по троицким крестьянским избам, добрались до монастырских келий и разрешили вопрос тем, что скакавших и хлеставшихся монахов, для исправления, разослали по русским монастырям, других же хлыстов сослали в Туруханский край. На место старых монахов из России присланы были новые; хлыстовщина в монастыре исчезла.

Сила религиозного увлечения, доводимая до крайностей мистицизма, не могла обойти и забайкальского купечества, в особенности кяхтинского и верхнеудинского. Незадолго до описываемого нами события общественное внимание было возбуждено появлением подвижника из России, успевшего дать сильный нравственно-религиозный толчок дремлющему равнодушию и индифферентизму. Возбуждение это фактически выразилось в постройке Чикойского монастыря на скале, в месте диком, но картинном, на берегу реки Никоя. Сюда удалился для созерцательного уединения известный всей Кяхте Василий Надеждин — человек светлого ума и замечательной религиозности, родной брат известного ученого Н. И. Надеждина. В России он странствовал по монастырям и святым местам русским; пришел и в Сибирь, увлеченный подвижничеством к уединению. В Кяхте, при соборе, исполнял он должность пономаря. Благочестивая и добродетельная жизнь и тогда уже привлекла общее внимание и уважение, а когда через несколько лет открыт был его центральный скит, в кяхтинском купечестве нашлось довольно лиц, пожелавших оставить в потомстве память о подвижничестве знакомого отшельника, и довольно денег, чтобы уговорить его выстроить на месте скита монастырь. Сам Надеждин остался в нем монахом, под именем Варлаама, и умер там в 1840 году. Религиозное настроение кяхтинских купцов, сильно возбужденное этим человеком, после его смерти не охладевало до нового кризиса в скромном быту Забайкалья.

Вскоре после смерти Варлаама прибыл в ту же Кяхту монах Израиль, посланный из России в Сибирь на исправление, на житье, человек лет около сорока, статной осанки. До сих пор помнят в Кяхте его вдохновенные глаза, выражение смирения и святости на

лице, тонкие руки, его красноречивые, глубоко западающие в душу беседы и его образованность. В обществах много толковал он о порче православия, разражался против корыстолюбия священников, указывал на отступления их от истин Христова учения; он говорил, что возвышенное учение Спасителя затуманено обрядами. Видя ослабление веры, а в силу того и умножение грехов между людьми, милосердный Бог, для исправления того, что испорчено, во второй раз прислал на землю Единородного Своего Сына и он-то, дескать, Израиль, и есть тот сын Божий. Евангельские сказания старался он уподобить и приравнять к своей личности и событиям из собственной жизни. Одну молодую особу назвал Богородицею, другую Мариею Магдалиною, одного старца назвал Спасителем. Израиль нашел последователей не только между монастырскими учеными (как было сделано им в России), но и между купцами (как случилось в Кяхте и Верхнеудинске). Собирал он их в Кяхте для религиозных обрядов в доме одного купца, но всего чаще в Троицком монастыре, где его в сане архимандрита успели сделать настоятелем. При нем монастырь быстро обстроился, как бы невидимою десницею. Прекрасные здания встали на месте старых лачуг. Здесь-то он давал полнейшие толкования о втором явлении Христа и о новом законе. Здесь-то, говорят, он вел немонастырскую, нецеломудренную жизнь; все это обратило на него внимание правительства, и Израиль, за связь с купчихою и за ересь, сослан был в Соловецкий монастырь (где умер в 1863 г.). Секта распалась; теперь нет ее и следа. В 1838 году С. Б. Броневский, генерал-губернатор Восточной Сибири, объезжая вверенный ему край, в Верхнеудинском остроге видел «еретиков, Израилем произведенных из ссыльных святых, облеченных в белые стихари, с голубыми поясами и в волосах наподобие Иисуса. Он сам и последователи его им благоговейно поклонялись в ноги. Мнимо-святые ожидали в остроге решения своей участи».

В Западной Сибири (в Тобол. губ.) распространял хлыстовщину (лугинскую веру) крестьянин Частоозерской волости, деревни Денисовой, Лугинин. Он долго бегал на Урале и, вернувшись, выучил собираться в один дом, чествовать мужика за Христа, девку — за Богородицу. Ее пеленали и сажали в сторону к востоку, сами бегали кругом кадки и на голос пели: «По воде хлещу, Христа ищу;

встань, Христос, растянись, Христос, выйди, Христос, наружу — дай денег на нужу». Со смертью Лугинина вера пала в деревне Щетниковой (в 1824 г.), а началась в Курганском округе (д. Межеумная), Ялуторовск, (д. Семенова и Менщикова) и Омском (Русина, Черновая, Шипицына).

Субботники также не делаются здесь, на каторге, православными, и нет ничего удивительного в том, что нерчинское начальство принуждено было запрещать сношения субботников с евреями и не дозволять браков субботниц-поселенок с евреями-поселенцами (как, напр., судя по архивным делам, запретило таковой поселенке Худеяровой, желавшей сочетаться браком с евреем Юсиновичем). В селе Укыре (по почтовому и Читинскому тракту) субботники молятся по-русски, но в Христа не верят, ожидают Мессию; на молитвах прикрываются саваном и называют его по-еврейски талесом; привязывают также во время молитв скрижали с заповедями на лоб и также носят на плечах, вместо жилета, цыцис. Женщины бреют головы и обрезание признается за обычай и за символ смирения. Евреев почитают братьями и не гнушаются есть с ними из одних чашек. По Сибири они живут рассеянно, но кое-где и группами (как, напр., в Томской губернии и в окрестностях Иркутска). Пропаганда их не сильна; вера, рекомендующая еврейскую молитву и еврейские обычаи и пищу, и в России не пользуется особыми успехами, а в Сибири о ней даже редко слыхивали[150]. В Сибири, и то преимущественно в каторжных местах, сильнее выразилась пропаганда духоборцев; впервые появились они на каторге в 1800 г., после указа, повелевающего ссылать в вечную каторжную работу изобличенных в духоборческой ереси и отвергающих высшую власть на земле.

---

[150] В Западной Сибири, именно в Петропавловске, уличены были некоторые из солдат (Аристов и Соловьев) «праздновавшие еврейскую пасху». В субботу не работали, во Христа не верили, постов не соблюдали. Причастившись в полковой церкви, выбросили причастие. Их арестовали, произвели следствие и сослали в дальние батальоны. Сына Аристова определили в Омский полубатальон кантонистов, дочь — на тамошнюю казенную суконную фабрику. Замечен был также в Солторайской волости один из сосланных чиновников, дочитавшийся по книгам Ветхого Завета до сектантства этого же рода.

Некогда пропаганда духоборцев была сильно развита по ссыльному Нерчинскому краю. Теперь, напутанная, она ослабела, но несравненно сильнее пропаганды субботников и успешнее таковой же скопцов. Обязательства взаимной помощи и содействия, выражающиеся в денежных пособиях и братской любви, — достаточные приманки для людей, совершенно беспомощных и обнищавших. Милосердие к несчастным и обязательное участие ко всем из своих делают из сект молоканской и духоборческой привлекательный приют и надежный угрев, на манер немецкой клики, столь сильно и мощно распространенной по целой России. Как все чужеземцы на чужбине и как иностранцы в России, духоборы в Сибири стараются жить общинами, группами и не тяготятся даже житьем на дальнем Енисее в соседстве скопцов и поблизости Туруханска, потому что община помогает жить с достатком. Немного опечалились и потеряли те из духоборцев, которые рассеянно жили по нерчинским рудникам и, после наказания за успешную пропаганду между каторжными и между вольными крестьянами и купцами, были сосланы из Чалбучей с Аргуни на Енисей в Туруханск (Мизигинов с некоторыми товарищами). Под влиянием их, а еще больше при ловкости четырех главных (Хабарова, Ярошенко, Кудрявцева и Алексеева), община духоборцев в Забайкалье росла. Один Кудрявцев сумел подвести под военный суд за ересь 8 человек служителей, превращенных потом в солдат. Некто Ярошенко умел совратить и многих каторжных — людей холодных и совершенно изверившихся. Убеждения влагались до того глубоко и твердо, что когда уличенных призывали на церковный суд — они со смелостью и решимостью говорили за свою веру и действовали по ее принципам.

Каторжные не шли к священнику на исповедь и говорили, что «они делам рук человеческих не поклоняются и присяги учинить не хотят; работы же, какие по службе с них требованы будут, исполнять не отрекаются, и они присягу имеют внутреннюю, а делами рук человеческих называют Евангелие и крест, потому что они деланы руками».

Служители горные говорили подобное же, но действовали еще решительнее; один из служителей (Кухтин), позванный на суд в со-

бор, прошел по церковной паперти в шапке и рукавицах, которых не снял и в то время, когда был позван в духовное правление пред зерцало, говоря, что «все это есть писано руками человека».

Это были духоборцы, сосланные в Нерчинский завод. Здесь они упорно не соглашались трудиться, не входили в обязательства работ, как в России, отданные в солдаты, не принимали ни амуниции, ни провианта. За упорство из Нерченского завода их велено было ссылать на Селенгинский солеваренный завод. Когда в Астраханской губернии, в 1802 г., духоборцы попробовали целыми толпами с шумом выступить на торжище и явно говорить о своей вере, главных из них сослали в Колу.

Один из обращенных в секту духовных христиан ссыльный, а именно Неронов, когда никого не было в церкви, сорвал со стены иконы и бросил на пол. Подошедшему дьякону он говорил: «Вот ваши боги-идолы! Иди — молись, а если они святые, то пусть-ка встанут» (на суде он сам подтвердил показание дьякона и свидетельствовал о том, что сказал такие слова в здравом рассудке и твердой памяти).

В Лоншакове (старом, близ Шилкинского завода) на Шилке несколько новообращенных изуродовали образ Богоматери и выкололи ей глаза. В Нерчинском заводе один из таковых же расколотый надвое образок (обе половинки) положил в сапоги вместо стелек и ходил так. Наказали этого, били кнутами и лоншаковских отступников: Кухтина прогнали сквозь строй два раза через 500 человек; служителя Суходолина, наказанного кнутом и признанного негодным к военной службе по годам (41), велели поселить далеко на севере между некрещеными инородцами; Кудрявцева, Алексеева и Хабарова гоняли сквозь строй и также угнали в тундру. Такие решительные меры приостановили пропаганду; проповедники замолчали, новообращенные притаились по деревням и рудникам. На время стало духоборцев как будто меньше, но за действительное уменьшение числа их ни одно из нерчинских начальств в будущем поручиться не могло.

В пределах Западной Сибири, в тех местах, которые смежны с Россиею и отличались всегда сильною восприимчивостью ко всевозможным учениям, духоборчество также нашло себе приют и последователей. В прошлом веке 11 домов в дер. Гилевой и Петелиной

(около Ялуторовска в волости Томиловской) перестали молиться иконам и за то прозваны были народом *немоляпами,* духовенством — *нежертвенными,* правительством — *иконоборцами,* сплетниками чиновными — *щельниками* и сплетниками соседями и насмешниками — *охохопцами.* Эти исповедники стали толковать и верить, что внешняя молитва не нужна, она даже запрещена св. Писанием; с 8-й тысячи лет бывшая наружная молитва пропала, потеряла силу; Бог не требует ни свеч, ни ладану, ни других приношений, не нужно и крестного знамения, а с ним и за ним и церквей; молитва непрестанно должна быть в сердце, а сердце — храм, украшение его — доброе житие. Молиться надо непрестанно, а потому на работе, в дороге всегда твердят про себя какое-либо место св. Писания. На молитву собираются в избе, садятся в кружок, один читает книгу (Библию, Маргарит, Ефрема Сирина, Златоустого, Псалтырь), все другие слушают и вздыхают: «Ох-ох-ох!» В 1821 году в деревне Гилевой явились настоящие духоборцы: свадеб не делали, детей не крестили, иконы занавесили и перестали им молиться. В 1850-х годах в д. Куимовой, Ишимского окр., в шести домах и в дер. Кривощековой в двух домах иконы вынесли совсем; стали побранивать молокан; стали толковать, что если-де у кого разум, тот и сам исправится без всяких таинств; читать не нужно. Стали соблюдать чистоту и опрятность, как религиозное обязательство; грязными руками ковша не возьмут и даже не прихватят его фартуком, а позовут другого с чистыми руками, если не успеют сами вымыть свои. Праздники перестали чтить, стали работать, а следом затем начали их соседи рассказывать, что и в день Христова Воскресения считают необходимым хотя топором три раза ударить в угол избы, чтобы доказать свое мнение. Вдохновлял их поселенец, которого засадили в острог и сослали по суду; духоборство прекратилось, но вслед затем в дер. Гагарьей почти все жители выбросили иконы и перестали принимать попов. Количество молокан в Сибири увеличилось по поводу поселения их в таком отдаленном краю, как Амур (близ г. Благовещенска, на реке Зее) и по причине сознательного и фактического стремления оставшихся в России приселяться доброю волею к тем, которые высланы были в Сибирь по выбору и назначениям местного начальства. В среду молоканских общин присылались, по временам, даже и такие ловкие

«ловцы в человецех», каким явился, например, между минусинскими молоканами знаменитый основатель секты «общих» Михайло Акинфиев Попов. Человек этот раз уже роздал все богатое имущество свое, еще живя в Самарской губернии, и наделил им своих бедных шабров (соседей), чтобы, по слову Писания, гласящего, что «вси верные живяху вкупе и имеху вся общая», восстановить древнюю христианскую гонимую общину и таким путем очистить молоканство, блуждавшее, по смерти Уклеина, во тьме сомнений и с крупными задатками разложения. Этот же Михайло Акинфиевич, сосланный на Кавказ, сумел и там, не умудренный наказанием и ссылкою, сладить такую же оригинальную общину на общем труде по способу всевозможных религиозных и экономических коммун. Вторая ссылка (в Шушу — волость Минусинского округа, Енисейской губернии), при большом просторе пропаганды, не сумела сбить его с пути апостольства и не оставила его без слушателей, а стало быть, и последователей[151].

В Акатуе, в тюрьме, жил прикованным на цепь некто Масленников, новая жертва собственных религиозных убеждений. В рудниках он очутился за проповедание старой веры дониконовских обрядов, каковую втолковывал и здесь товарищам-ссыльным. Он успел совратить так много, что начальство обратило на это внимание, посадило проповедника на цепь, приковало к стене в одиночном каземате, давало ограниченную дачу воды и хлеба и только по праздникам приварок. Масленников и на цепи продолжал восставать на господствующую веру. На суде вел себя со смелостью, как глубоко убежденный, и целый протокол наполнил такими данными, что и следователю пришлось над ним задуматься и смотреть на подсудимого, как на человека из ряду вон. Погубили его только некоторые дерзкие словесные выходки.

Старовер Гурий Васильев, сосланный за раскол из Екатеринбурга и поселенный в Удинском округе, сговорил двух товарищей и вместе с ними бежал на Амур, который тогда еще не был русским. В пещере на р. Урее он провел целую зиму, как в молитвенном

[151] В Западной Сибири известны духоборцы в Поповской волости, Омского округа (деревня Мотарова и Батенинская), а молокане в том же округе в волостях Карасутской, Кобырдатской и Юдинской (почти все артели).

ските, но был схвачен маньчжурами и выдан в пограничной крепости нашей на Аргуни; в Нерчинском заводе его наказали и опять водворили в том же Забайкальском округе. Оттуда Гурьев опять убежал на Амур, опять летом схвачен и опять выдан. На этот раз в Нерчинском заводе его били плетьми и написали в каторжные работы. Через четыре года после того, при первых признаках возможности, он в третий раз бежал на Амур и в ту же пещеру на р. Урсе. Питаясь кореньями, дичью и рыбою, он жил в ските еще одну зиму, но, боясь старых историй, поплыл искать большего уединения дальше по Амуру. Это сразу ему не удалось; удалось позже попасть через весь Амур в Охотское море, по нем, на маленькой лодочке, к устью реки Тугура и оттуда, через шесть лет после последнего бегства, явиться в Удинский острог, в место истинного уединения. Только такими острыми средствами и притом принятыми с твердостью и настойчивостью, этот старовер исцелил сам себя от жестокой болезни и уже больше не бегал и уединения не искал.

Вот два пациента собственно каторжной больницы душевных болезней, взятые как образцы, рисующие болезнь в специальном виде в одиночно взятых субъектах. Но вот эти болезни и целыми массами и также не исцеленные.

В Алтайских горах, как известно, в 1765 году расселена была часть тех старообрядцев, которые присланы были в Сибирь из стародубских и ветковских слобод, лежавших тогда за литовским рубежом. Живут они на юге Кузнецкого округа к стороне Бийского округа. Народ зажиточный, отличающийся замечательными хозяйственными способностями, но для нас на этот раз поучительный в том отношении, что за старую веру стоит крепко и притом с такою замечательною ревностью, каковой немного примеров и в России. Селили их не без стеснений; дальнейшую жизнь не позволяли проводить без прижимок, преследований и вымогательств всякого рода. Выстрадать привелось многое, немало повидать и соблазнов на случай обращения в православие. Но не смутили люди, не смутили и льготы: алтайские старообрядцы сумели и в жизни сохранить приемы древнерусских обычаев, хотя и зовут себя поляками. Так, например, они еще до сих пор бредут врозь по-старинному и оживляют дикие и глухие алтайские места новыми выселками. Село Алтайское уже отличается многолюдством. Сюда пожелал при-

ехать к ним для поучения тобольский архиерей Афанасий, а потому послал вперед священника проведать о том, насколько они согласны будут послушать его и как его примут с походною церковью. Передовой вернулся и сообщил такие ответы:

— Христос висел на кресте не со щепотью (одни говорили), а с нашим двуперстным крестом и всему миру показал свой истинный крест и апостолов благословил этим креститься до конца века, с тем и на небо вознесся, а Никон патриарх перемену сделал.

— Никон (говорили другие) помутил и порушил веру Христову и Христов крест переменил, ввел щепоть, бритоусие и проч., а потому-де архиерея слышать не хотим.

— Мы от священства не бежим (отвечали третьи), просто кого дома может не случиться... Опять же другого силой молиться не заставишь. Куда поедет отец- владыка, мы повезем; где будет служить, мы посмотрим; будет учить, послушаем! Для чего не послушать?!

Четвертые велели отвечать так:

— Мы надобности не имеем видеть его преосвященство, а если ему угодно приехать, мы встретим и проводим; мы и корчемных встречаем и провожаем. Кто хочет смотреть, смотри, а мы видали.

Вторая партия (и самая значительная), также выгнанная из белорусских лесов Могилевской и Черниговской губерний, прошла дальше, на юго-восток Сибири, и теперь в людных, веселых и богатых селениях живет в западной половине Забайкалья, в горах, тремя волостями. Сами себя эти старообрядцы называют также поляками, но у русских сибиряков известны более под именем «семейских», так как пришли сюда семьями в разные годы (первая партия в 1755 году, вторая в 1768 году, третья в 1780 г.). При сытой и обеспеченной жизни и при некоторой свободе ее (в последнее время), эти семейские выродились в людей замечательно крепкого и красивого телосложения, а женщины поражают красотою лиц и дородством. Сибиряки, хотя и прозвали их «востроголовыми сычами» (за довольно верную и приметную особенность), далеко уступают им в дородстве и силе. Женщины вольны на словах и на деле, мужчины отличаются все до единого бойкостью языка и свободою в разговорах. Про Россию и про своих там единоверцев знают всю подноготную, не теряя общений и сближений. Сами по себе остались верны

старой вере и старым обычаям; в единоверие успели перейти из них только те, которые поселены на р. Никое, небольшое число в селении Тарабагатае, а больше нигде. Иконы получают из Екатеринбурга и там писанные; в церковных книгах чувствуют недостаток. «В Иркутске хвастают, что там-де у архиерея наших старопечатанных книг на десяти возах не свезешь; все наворовали от нас семинаристы и поотобрали попы и всякий, кому и не надо». Издавна отнимали все заветное и наговаривали на них всякие неподходящие злодеяния. При всем этом семейские устояли на своем с приметною твердостью и цельностью.

В 1812 году отняли у них беглого попа (Ивана Петрова, в Куналейском селении), и они руководились без него бабами и начетчиками, но без попа стало жить «не можно, утеснительно».

Ходоки съездили в Москву, добыли там попа, охотливого и решительного, в 1840 году. Поп этот крестил младенцев, благословлял новоженов и погребал умерших. Совершит он обряд и спрячется. Начальство прознало, стало следить, искать, нашло уже и место его пребывания, но семейские успели спрятать его в горах и решились не выдавать. Пришел генерал Безносиков с войском и с приказанием взять попа силою. Старообрядцы сначала не испугались, но когда главнейших из них, окруженных толпою, солдаты вывели в поле и как в бунтовщиков прицелились из ружей и направили дула, все упали на колени и обещали выдать попа. Увели генерала в горы. В горах попа отдали, но опять заболели тою же болезнью: опять без попа стало жить «не можно, утеснительно». Снова семейские посылали ходоков в Россию и снова получили в 1850 году нового попа, но на этот раз из Калуги. Начальство опять узнало о том и опять пустилось на поиски. Заседатель, узнав от шпионов, что поп такого-то дня поедет тайною и скрытою дорогою, засел в кустах и попа выждал, схватил, связал, отдал своим провожатым, а сам поехал в Бичуру, куда вперед его поскакал верховой (говорят, один из его провожатых), который и рассказал в селе бывальщину о попе и заседателе. Когда сам заседатель показался в тарантасе на улице, несколько сотен народа бросилось на него, вытащили из экипажа и, влача по улице, били, мучили, насмехались над ним разными способами. Приведя заседателя в избу и угрожая ему

смертью, они выбили из него приказ отпустить попа. Сторож, видя приказ написанным дрожащею рукою, не хотел попа отдать. После того опять все накинулись на заседателя, но на этот раз один из стариков оборонил его. Заседатель написал второй приказ, по которому попа освободили, но самого заседателя староверы спрятали в склеп. Эстафета, извещающая о событии, убежала в Иркутск, сам Муравьев-Амурский приехал в Бичуру, ласково поговорил со староверами, склонил на отпуск заседателя и на выдачу попа; самых виновных строго наказал. Попа посадили в Иркутский монастырь, но в 1860 году староверы эти говорили нам: «Нам без попа стало опять жить не можно; опять попа надо выписывать, а над прежним попом твори Бог волю Свою»...

Бичурское дело на нашей памяти завершает целый ряд таких дел, в которых, с одной стороны, высказывается, насколько ссылка не повлияла на дела веры сосланных, а с другой — выясняется взгляд на то же начальство и способы, ими употребляемые, из которых, может быть, только последний был всех ближе к цели. Но чем дальше в лес, тем больше дров; чем глубже в прошедшее, тем неопровержимее та истина, что сосланные по делам веры ссылкою не только не исправлялись, но даже приводимы были в еще большее ожесточение и упорство. В этом отношении даже замечательно, что ссыльные люди были первыми проповедниками раскола и насаждали учение, которое велит держаться всего старого, начиная с креста и книги и кончая бородою[152].

В то же время, когда в России начался раскол, началась и ссылка в Сибирь раскольников и, разумеется, самых упорных из них. Сибирь нашли они без церквей и священников, население — разбросанным по причине той быстроты, с которою расселилось оно по обширной стране и расселилось по ее широким, многоводным и привольным рекам[153]. Во сто лет, предшествовавших появлению в

---

[152] Старую икону ссыльные староверы старались внести между нераскольниками и, судя по архивным памятям, чаще записывались в цех. иконописцев. Указом 1845 г. это было запрещено.

[153] Быстрота, действительно, изумительная; в 1586 г. основан Тобольск и Тюмень, через 6 лет (1592 Пелым, в следующем году, Березов и Сургут, в

Сибири старообрядцев, занята была вся обширная северная пустыня. Когда жил в Тобольске передовой из них и самый ревностный проповедник, протопоп Аввакум, передовые казаки с Хабаровым пробрались на Амур и строили на его берегу Албазин.

Во сто лет русское племя успело уже достаточно укрепиться, освоиться и завести свои порядки. Расселилось оно с теми приемами, как населялся и север России, теми же людьми новгородского происхождения, но с тем отличием, что на этот раз промышленные люди и казаки шли одни, без существенной помощи и поддержки, которая на севере России выразилась в содействии монастырей и отшельников, благочестивых людей, которые умели закреплять приобретенные места новыми поселениями, едва ли не более прочными, чем поселения промышленные. На севере России едва сколачивалась слобода, как уже являлась в числе первых сооружений и церковь, а при ней поп. В Сибири прежде слободы сооружался острог в диких и непроходимых лесах, окруженный рвом в сажень глубиною, в две шириною, затем земляным валом и защищенный частоколом из заостренных бревен по углам с четырьмя бойницами. Около рва, на осадное время, насыпался ряд чесноку (рогулек о 3-х и 4-х спицах) сначала деревянного, а за ним железного, сделанного из копьецов со стрел. Брошенный на землю чеснок становился на две ножки, двумя другими торчал кверху, затрудняя приступ. На частоколе становились колья, куда клали смолевую лучину для освещения ночью. Палисадник защищал несколько деревянных избушек, нередко землянок, несколько лавок и высокий раскат, срубленный посреди острога, из которого стреляли из пушек: тут же был и колодезь, от которого на четыре стороны шли желоба, чтобы, на случай пожара, у каждой стены была вода. Здесь надо было, среди неприязненных соседей, отстаивать сначала свою жизнь от стрел и голодной смерти, упрочивать за собою занятое

следующем (1594) Тара, затем (1595) Нарым и Кете, через три года (1598) Верхотурье, 1600 Обдорск и Мангазея, Туринск в 1601. Через 18 лет русские были за Барабинской степью: в 1604 основали Томск, в 1609 году они уже на устьях Енисея основали Туруханск, в 1619 на Енисее Енисейск, в 1632 на Лене Якутск, вскоре на Ангаре в 1652 Иркутск, в 1695 русские были уже в Камчатке. С небольшим в сто лет занята одна из громаднейших стран в свете.

место, чтобы вскоре потом, по указу разгулявшихся воевод и атаманов, уходить искать новых землиц и строить новые остроги. В них, вместо церкви, являлась часовня и нередко далеко после всех других сооружений. О попе на первых порах и помину не было. Казаки и промышленные люди, вооруженные ружьями, ножами и топорами, по временам таща на себе ржавую пушку, продирались сквозь трещи мрачных и густых тайговых лесов или, доверившись утлой ладье, неслись по рекам, пытаясь проникнуть в неведомые страны. Пораженные видом русых людей с бородами, которые не боятся смерти, лезут на копья и стрелы, горсть нападает на силу втрое большую, — туземцы или добровольно сносили меха и ясак всякого рода, или навстречу чужеземцам высылали стрелы и выходили сами с боем. Но и тогда, как казаки останавливались острогом, дикари не переставали высиживать наездами и всякою хитростью, какая только могла быть доступна неразвитому, но озлобленному уму. Стрелы не вредили людям в доспехах, а казачьи пули клали насмерть дикарей, которым оставалось одно — назвать пришельцев «лоча» (лешими). Без огнестрельного оружия, без всякой организации, дикари уступили и изнемогли перед ничтожною горстью казаков, шедших шайками из сотни либо полусотни человек, и видели, как режут атаманов, секут и рубят остальных и бегут их князья и владельцы. Эти сотни и полусотни, крадучись волками промежду туземных жилищ и пробираясь лесами, утоптали первые следы исторического грунта Сибири и пробили тропы для цивилизации. Где можно было удержаться от боя, пришельцы брали лестью и уговором. Через толмачей, которых всегда брали с собою, говорили сибирским туземцам: «Наш государь-царь силен, и велик, и страшен, но милостив и праведен, кровей не искатель. А у государя в одном сибирском царстве ратных людей многое множество, к ратному делу навычных, а бьются они, не щадя голов своих». Обросший волосами и зачерствелый от трудов и необычайных походов, сибирский казак горел одною страстью грабежей и завоеваний, привык к приключениям в лесах, степях и льдах; закаленный морозами, он уже был безразличен ко всему, кроме жажды стяжаний. Изнашивая наследственные свойства, приобретенные на родине, сибирские пришельцы из России поступались ими, в силу обстоятельств и ради корысти, в виду новых туземных, влиявших неотразимо и

настойчиво. Износил казак одежду, стал наряжаться по-сибирски; охладел к вере, стал заражаться языческою туземною, к восприятию каковой и без того мягкая почва, сверх того, была еще сильнее разрыхлена и еще более приспособлена.

Когда через тридцать пять лет после построения Тобольска в нем была открыта епископская кафедра (30-го мая 1621 г. прибыл первый сибирский архиерей); когда, таким образом, представилась возможность поверки тех религиозных убеждений, при каких оказались в Сибири пришедшие из России люди, — многое представилось в ужасном виде. Казаки, увлеченные завоеваниями и промыслом, успевшие ознакомиться с туземцами и войти с ними в ближайшие сношения, оказались задичавшими почти до уровня тех же дикарей-язычников. Уже в 1622 г. известно было в Москве, что сибиряки не носят крестов, не соблюдают постов, едят всякую скверну, живут с некрещеными женами, кумами и сестрами своих жен (свояченицами). При отъезде закладывают их на срок и, не имея чем выкупать, женятся на других. Какие успели завестись монастыри — в тех обителях монахи и монахини живут вместе или, уходя из монастырей, опять живут в мире. Сами духовные потворствуют всем новым порядкам, какие завели русские люди в новой стране: умыкание (воровство) невест, многоженство, отчуждение от церкви. Уже от простых служивых людей начинали слышаться дерзкие речи против уставов церкви (одного Сургучева думали даже сжечь за то живым в самом Тобольске), уже многие и в самом епископском городе (по сведениям 1649 г.), вместо духовных лиц, стали обращаться к «чародеям и волхвам и богомерзким бабам». «В домы пущают и те волхвы над больными и над младенцами чинят всякое бесовское волхвование и от правоверия всяких православных христиан отлучают». Между тем, наличное духовенство о пастве своей не заботилось, думая больше о себе и услаждая себя «греховным и зельным пьянством», так что митрополит сибирский Павел (в 1680 г.) принужден был отбирать в архиерейскую кладовую все церковные суммы из опасения, чтобы попы и церковники, бражничая вместе со старостами и раздавая казну в частные долги, не растратили ее вовсе.

Не останавливаясь пока на объяснении тех бесчисленных причин, которые заключены в самом духовенстве и в силу которых рас-

кол имел такой успех в Сибири, снизошедшей до язычества, мы не станем, из боязни повториться, рассказывать об успехах таких толковников, как Аввакум, который, живя долгое время в Тобольске, увлекал массы. Все это происходило в то время, когда сам архиепископ сибирский Симеон целый год находился под запрещением, не имея права служить даже литургию. Не меньшим успехом пользовался сосланный в 1660 году монах Иосиф Истомин, 24 года странствовавший с проповедью по сибирским городам: Верхотурью, Туринску и Тюмени, где и теперь значительное число старообрядцев. На помощь им бежали в Сибирь гонимые там староверы значительным многолюдством. Успех раскола казался настолько опасным, что стали прибегать к самым решительным мерам. За тарскими жителями до сих пор сохраняется от старины прозвание «коловичей» за то, что прадедов их искоренители сильно развившегося раскола за упорство сажали на кол. Успех проповедников был настолько велик, и почва народная до того восприимчива, что, когда за неимением действительных средств к вразумлению прибегли к помощи и содействию вооруженных команд, раскольники отвечали самоубийствами в форме неоднократных самосожжений большими толпами в Тобольском, Тюменском, Томском и других округах.

Испуганный успехами пропаганды, Петр I указом 1722 года принужден был воспретить ссылку в Сибирь раскольников и обратил их для заточения в крепость Рогервик (нынешний Балтийский-Порт). В итоге осталось одно: раскол усилил в сибирском населении подвижность, бродяжничество и этим способствовал тому, что, уходя в леса за учителями, сибирский народ ладил селения там, где не могли бы они иметь места по обычным и заветным приемам промышленных людей держаться берегов главных рек. Продолжим наши наблюдения за Байкалом в местах каторжных, а потом обратимся к местам ссыльных поселений.

Удержался раскол старообрядства и до наших дней за Байкалом и приобретает новых прозелитов благодаря тому главному обстоятельству, что сибирское духовенство было бессильно бороться с ним — бедное нравственными средствами (недавно еще или необразованное, или совсем безграмотное), но богатое средствами материальными, на приобретение которых, в ущерб прямому долгу,

тратило и тратит много времени и много сил[154]. Значительная часть духовных лиц в этом последнем отношении достигла того материального довольства, что их справедливо называют богачами, и встала в то положение, когда народ, и ближний, и дальний, начинал смотреть на них с уважением, как на замечательных хозяев, умевших забрать в свои руки всю окольную торговлю. В купце-монополисте, вроде Кандинского, в хозяине-счастливце, у которого и лошади и рогатый скот ведутся в великом множестве, а клети трещат от избытка ссыпного хлеба, в кладовых сложены шкурки пушного драгоценного товара — в таких чудодеях для сибирского народа нередко совсем исчезает без следа образ друга, более необходимого и дорогого. Не с желанием руководства и поучений, ради душевного спасения и объяснения греховных сомнений, а для того же греховного дела, со шкурками соболей и белок для продажи или с просьбою о денежной ссуде под залог имущественный, ходят свободные сибиряки к своим духовным отцам, не только по многим местам Сибири, но и за Байкалом. За Байкалом еще больше, чем где-либо, духовенство слабо численностью и духовным влиянием на окрестный народ, во всяком случае, всех больше имеющий право на духовную помощь и руководство. Здесь злодеи, бродяги и всякий испорченный люд всего чаще нуждаются в объяснении нравственных истин, а между тем, на всех 1200 человек (в наш проезд еще работавших в кандалах на Карийских золотых промыслах) полагался один священник и одна церковь, но и те под наметом. Если казна открывала рудное богатство, на этом месте очень скоро она успевала собирать скороспелое население и в числе забот полагала, между прочим, сооружение церкви; но или церкви эти являлись настолько малыми, что далеко не вмещали в себе всего числа молельщиков, либо храм освящался тогда, когда рудник уже выработался или завод оказался невыгодным и непроизводительным. В некоторых местах появление церкви прямо свидетельствовало о

---

[154] Как образчик слабости духовнаго влияния, представляются, между прочим, финны из секты скакунов, сосланные на поселение из Ингерманландии и рассеянные по Якутской области: с 1859 года они не видали ни одного пастора. Живущему в Иркутске приходится объезжать 6 тысяч верст, чтобы попасть в Якутск.

том, что забота об исправлении ссыльных вовсе не входила в число нравственных обязанностей попечителей. Это место вероятного и временного успокоения духа и совести являлось, как обязательная и неизбежная принадлежность при селении и при священнике, который получал командировку сюда вместе с причтом и ассигновкою жалованья[155]. Если рабочие не много родят, не часто брачуют-брачуются, то все же они и умирают, а начальство требует от них ежегодной исповеди и причащения св. тайн.

Таким образом, арестант на каторге только рабочая сила, а в жизни и быту преступник спит на одной койке с невинным, молодой — со старым, опытный бродяга — с вчера пришедшим, и для всех равно жизнь без услады, сомнения без разрешения, тоска без утешения. Обязательных утешителей видят только при случае смерти товарища и, издали, при проходе на работы. Суровое обращение постоянно раздражает, беспросветная жизнь становится тяжелым бременем, а бесконечные работы доводят до отчаяния. Где же тот человек, который умел бы заглянуть в прошлое и узнать из него о верных способах к исправлению и сокрушению о старых грехах, где этот человек, который внушал бы нравственность и все то, что должно служить целью и средством карательных учреждений? Таковых на каторге не полагается вовсе. Бывают зачастую только такие, для которых эти высокие цели совсем непонятны или вовсе недоступны, особенно если остановимся на дальних местах заточения, каковы интересующие нас нерчинские рудники и заводы. Бывали там и совсем безнадежные люди, о которых архивные дела и народная память сохранили такие факты.

Вот два архивных и судебных факта, которые нарочно мы берем из двух весьма отдаленных один от другого заводов. Между обоими событиями легло расстояние 20-ти лет.

---

[155] Так, например, Александровский винокуренный завод (под Иркутском) основан был в 1787 году — церковь освящена в нем в 1835. В Ильгинском заводе в 1812 году построена была (разумеется, деревянная) церковь; в 1811 году она сгорела, а вскоре и самый завод был уничтожен. Петровский железный завод построен в 1790 г., а дело о церкви в горном правления началось в 1801 году; в 1760 построен Дучарский серебряный завод, в 1783 началось дело о постройке в нем церкви в одно время с таковою же для Кутомарского завода, построенного в 1761 г., и проч.

В Дучарском заводском госпитале умирает казак Ослопов и желает видеть священника.

Горный унтер-офицер побежал за последним. Священник находился в доме рудовоза Московского и был пьян.

Унтер-офицер Калашников подошел под благословение и сказал:

— Ступай, батюшка, я за тобой пришел! У нас больной есть и умирает, а ты пьянствуешь.

— Я и сам болен, — отвечал батюшка, — и не иду. Ты ступай за гындыбойским попом, а я еще не явился в команду и идти надобности не имею.

— Как не идешь, я и за волосья потащу, так как в нашем месте вашу братью, попов, бьют, не спрашивают.

Священник, встав с места, «неприметно, чтобы был довольно пьян», говорит Калашникову:

— Когда имеешь волю бить, так бей же!

И лег на лавку, говоря:

— Вишь, я болен — у меня душа выходит.

Священник, однако, в госпитале был и больного исповедовал, но, произнося три раза слова: «прощаю и разрешаю», три раза ударял больного палкою.

Больной умер, а дело было переисследовано под присягою.

В Петровском заводе, в праздничный день, приходит священник служить заутреню, шатаясь во все стороны. Причетники старались его отклонить от служения, «однако отвратить от того никак не могли». Попав в алтарь и возложив на себя епитрахиль и самую лучшую ризу, он растворил царские врата, сделал начало, но «засим в виду довольного числа предстоящих мужского и женского пола мирян не мог сказывать ектении, потому что был в хмельном положении. За всем сим, при неоднократных выходах из алтаря, в бывшем на нем облачении валялся по полу церкви, так что мы неоднократно оного поднимали и вводили в алтарь, упрашивая, дабы он оставил действие служения». Священник не согласился и вслух всех предстоящих дьячков ругал «площадными ругательствами», затем снял ризу, вышел из алтаря в церковь «к мирянам и погнал всех вон; между тем, бывшая пожилых лет старушка Москвичиха,

по описанной старости, несколько от прочих приостановилась в церкви; упоминаемый же священник, заметивши оную, бросившись к ней, выгонял из церкви с причинением ей удара. После же всего оного, упавши на амвон, уснул. Почему мы, тогда распорядясь, послали в квартиру его за лошадью; по приводе же оной мы, взявши того священника под руки, вывели из церкви, положа в пошевни, и отправили в его квартиру».

А вот и тот факт, который сохранен народною памятью.

В Акатуе жил спущенный с цепи известный бродяга и большой злодей Филиппов — человек невысокого роста, худощавый, сутулый, но обладавший необыкновенною силою. Выражение лица его отличалось чрезвычайною скромностью. Говорил он всегда тихим, вкрадчивым, богомольным голосом. Сам себя называл неумытным грешником, молился всегда горячо, обливаясь слезами. Когда усиливалась его набожность, знавшие и привыкшие к нему боязливо присматривали за ним с верным расчетом на то, что Филиппов таит на уме что-нибудь недоброе, прячет какое-нибудь зверское или злодейское намерение. Раз, в таком настроении, он пошел на испытание и соблазн священника, так как по званию «пропитанного» гулял уже на свободе после акатуевской стенной цепи.

Явился он с низкими поклонами и, сложив на груди преступные руки, своим обычным набожным голосом выразил раскаяние, желание исправления и поучений. Священник обратил на него внимание, стал говорить и слушать.

— Одно, — говорил ему Филиппов, — одно мешает моему примирению с Богом, я знаю дьявольский секрет удвоить все те деньги, какие имеешь. И забыть его не могу, и жжет он мне и мозги, и внутренности.

Секрет этот Филиппов поведал. Исполнение секрета требовало кое-каких решительных мер: надо было на целую ночь положить на себя заклятие, лечь спать, не молившись Богу, и снять с шеи крест; деньги положить под подушку и в постели лежать не шевелиться. Поутру деньги найдешь удвоенными.

Священник, рассказывает народная молва, соблазнился; лег попытать счастья и поутру вынул вместо пяти рублей десять. Филиппов сделался другом. О нравственных поучениях перестали и

думать и говорить. На деньги охотились еще раза два: черт хорошо служил свою службу, производя по ночам свои коммерческие операции. Решились положить под подушку все триста рублей. Филиппов, по обыкновению, сунул бумажку с заклятием под подушку, но на этот раз деньги прилипли к его рукам, и он перестал показываться в доме священника. При встрече на улице отговаривался тем, что рано-де встал и помешал черту, а при угрозах и сам пригрозил архиереем. Чиновники, в свою очередь, посоветовали махнуть рукою на мошенника и никогда с ним больше не связываться.

Эта недавняя и в то же время свежая легенда, еще владевшая возможностью и правом указывать на лица, называть имена и места действия, заключает собою весь ряд данных о взаимных отношениях духовных лиц к ссыльным, отношениях, в которых много материального, но мало духовного. О других мы не рассказываем теперь по недостатку места и неудобству, но еще не слыхать было ни об одном таком случае, где бы участие священников подействовало на обращение и исправление ссыльных. Вместо того в архивных делах то и дело получались сведения о том, что в таком-то заводе двое ссыльно-каторжных духоборцев обратили в свою веру ссыльно-каторжного православного; там скопцы оскопили нескольких человек из прихожан нессыльных; здесь замечено, что многие из православных, чтобы избежать говения и исповеди, нарочно сказывались старообрядцами. Столь обычное дело в России здесь выразилось тем же исходом: уличенные охотно платили денежные штрафы, но от церковных обрядов уклонялись, не будучи вовсе староверами. Не способные оправдаться при помощи взятки, по русскому обычаю, за Байкалом подвергались наказанию строгою епитимьею: их ставили на колени в церкви, держали их в притворе, на паперти; в случаях упорства ссылали в монастыри на сроки. Дела живые не поправлялись, потому что и архивные с поразительною ясностью продолжали указывать на то, что вот надзор за отступниками вступил в обычную и привычную колею равнодушия, а между тем ссыльный под рукою крестит бурята и становится субъектом целого судебного рассказа под заглавием: «О ложном крещении ссыльным Орловым братского Даримова». В силу понуждений, адресованных издалека и подтвержденных вблизи, началась усердная систематическая деятельность на пользу православия; горное начальство ре-

шилось показать образцы и способы пропаганды своему духовенству, само принялось за стряпню — и вот в архиве следы этого дела в жалобах на крутые меры и в рапорте рассказ одного пристава о том, что такая-то женщина, из раскольниц, с сыном перерезала себе горло. Когда возник вопрос о том, что это за вера, за которую ссыльные решаются на самоубийство? — местное духовное начальство, по собранным справкам у знающих людей, свидетельствовало свои знания и рекомендовалось ими перед горным начальством и перед потомством такою краткою историческою запискою (сохранившеюся в архиве Нерчинского Большого завода):

«Содержащаяся ими секта разнится от греко-российской церкви в сложении креста, с малою переменою в словах при церковном служении. В житии же происходит так, что у них, по неимению в этой секте священников, рождающимся младенцам имена нарекают и погружение, подобно крещению, делают иногда бабки, а иногда и грамоту разумеющие старики, а когда случаются той секты священники, то оные делают миропомазание». И только!

Если удивят такие неведомые, словно из-под земли вышедшие люди (как поступили, напр., казаки, сосланные из Уральского войска), удивят и обидят более резким и крайним упорством (не позволяют стричь волос и бород, не пойдут на работу) — их исправляли кнутом, давали удары десятками. На этом же кнуте ехали и дальше: один и после наказания готов «лишиться жизни, но в работе не быть», его снова подвергали наказанию: два раза плетьми и два раза кнутом. Кто упорствовал и после того, тем полагали «ограниченную дачу провианта, достаточную только для поддержания жизни», и учреждали надзор, «чтобы ни от кого пособий со стороны не получали». «Успеху не было», — сокрушалась нерчинская горная экспедиция[156].

---

[156] В 1775 году яицкие казаки, приверженцы Пугачева, расселены были по разным местам Забайкалья: наиболее виновные и упорные — при заводах и рудниках на каторге, остальные — на поселении в деревнях. Так, между прочим, в Газимурской сотне (в деревне Калгинской) поселены были 32 человека. Каждому выдано было от казны на покупку лошадей по 5 руб., а начальникам велено наблюдать, чтобы казаки лошадей непременно купили («дело» Нерч. Бол. зав. 25 мая 1776 года).

За Байкалом существовала на английские деньги великобританская миссия, направленная против язычников и жившая в Селенгинске. Существует там же, в Посольском монастыре, на русские деньги православная миссия для обращения в христианство местных бурят; но миссии, направленной на помощь и содействие ссыльным, для поучения и исправления заключенных, еще не было и в проекте. До тех пор те, которые прегрешили против веры и за эти преступления сосланы в Сибирь, продолжали жить там предоставленными самим себе и если оставались и здесь при старом — при полной возможности пуститься на другие и новые преступления, то зачем они здесь? Зачем в России все разнородные виды противорелигиозных деяний сведены безразлично в одну категорию?

На каторжных работах, само собою разумеется, преступников против веры не отличали от убийц и грабителей, не имея на то никакого права, а затем, сообразно с таким взглядом, и трактовали этих людей.

Для полноты картин перенесемся из Восточной Сибири в Западную и, для характеристики отношений старообрядцев к местному духовенству и, наоборот, остановимся на тех местностях, где преимущественно распространена старая вера в близком соседстве с уральскими заводами и Россиею. Эта местность, ограниченная на востоке Барабинскою степью, на юге Киргизскою и теряющая границы на западе в пространствах России, представляет собою непрерывную цепь населения, придерживавшегося старого креста и дониконовских церковных обрядов. В ней раскол почти столько же древен, как и в самой Москве. В деревне Лепехиной, Ялуторовского округа (Ингалинской вол.), до сих пор молитвенный дом староверов в руках потомках известного в истории ссыльного стрельца Якова Лепехина. Церковь эта была небольшая ветхая избушка, возбуждавшая сильное археологическое подозрение, что это та самая, в которой молились древние стрельцы. Стояла она в глубокой, с трудом проницаемой теснине обывательских домов. Внутренность ее представляла нечто необыкновенное по богатству окладов образов, которыми уставлена была избушка сверху донизу в два яруса, вроде иконостаса. Иконостас этот, по обилию икон древнего пошиба, в глазах староверов представлялся громадным сокровищем, не

имевшим даже цены. Деревушка, сохранившая за собою имя своего древнего основателя, населена крестьянами-поповцами, носящими в Сибири у своих название «стариковщины», у посторонних, известных под общим прозванием «кержаков», — прозванием, приписываемых всем староверам за то, что большею частью они имели сношения со скитами реки Керженца (с керженецкими поповцами Нижегор. губ., Семеновского уезда). Пришли они сюда с Урала, из тамошних заводов, как беглые от тяжелых работ, а здесь и сейчас всех староверов зовут также «кержаками» уже по прямому указанию на известный приток Волги.

Во всей западной половине Сибири, по рекам Иртышу, Ишиму и Тоболу, гуще других населенной, общественное мнение и свидетельства крестьян указывают на поселенцев, сосланных за религиозные мнения, как на совратителей. Хотя еще до сих пор не изобретены средства узнавать, кто кого совратил, и хотя, само собою разумеется, прямой путь — нападать на невинных (путь, которым привыкли ходить и в Сибири), тем не менее, поселенцев обвиняют первыми. В особенности пользуются успехом, говорят, те из них, которые перечислены из Восточной Сибири в Западную, а между ними наибольшею склонностью к пропаганде отличаются филиппоны и федосеевцы. Уверенно наслеженных оказалось немного: известен Плотников, венчавший сводные браки. Его приговорили в ссылку и сослали в Каинск; он не унялся — услали дальше. Он делал своды священническим венчанием. После него стали сводить родительским благословением с прочтением молитв и с возложением на главы иконы. Другой перед смертью завещал раздать своим единоверцам 25 тыс. руб. сер. Из других совратителей известны: солдаты Кайгородов и Колмаков, влияние которых выразилось в молитвенных приемах. На молитве стали становиться правильными рядами или шеренгами, поклоны начали класть не врозь, по желанию, а все разом по уставу и по образу «полета птиц, делающих взмахи крыльями перед небесным царем вдруг, или, подобно метанью ружья солдатами, перед царем земным». Кроме архиерея, жившего в 15 верстах от Оренбурга, староверы пользовались влиянием даже одного из ссыльных поляков, умевшего разыгрывать роль староверского наставника и попа, нажившего, таким способом, большие деньги. Этот поляк (староверский поп) был

сослан в сибирские батальоны за участье в революции 1831 г. и так ловко подделался к староверам, что они деньгами купили для него увольнение от военной службы. В стране, где издревле религиозный фанатизм был так велик, что вел к самосожжениям (по Тобольской губ. известны 33 случая, из которых первый принадлежит 1682 г., а последний 1828 г.), в стране, где все местные условия благоприятны свободе учения, старообрядство воспользовалось значительными успехами (см. статью «Самоубийства»). Успехи до того были приметны, развитие в Сибири раскола так сильно, что с 1831 г. прекратили туда ссылку преступников против веры. Участие духовенства в этом отношении, именно здесь, выразилось чертами характерными и доказанными.

Прежде всего положение среди двух огней, из которых один больно жегся, другой приятно грел, всегда ставило и сибирское духовенство в те ложные условия, при которых выходило одно из двух: или мало пишешь бывших на исповеди — значит, нерадив, небрежешь об овцах, не миссионерствуешь, а за это — архиерейский выговор, замечание, штраф, вызов в консисторию для личных объяснений; или пишешь не бывших бывшими, некрещеных крещеными — стало быть, усердие есть; виновные доносить не умеют и на место доносов привыкли платить приносами, т. е. хлебом и деньгами; практика известная, освященная вековым опытом. В 1751 году в селе Кармецком сожглись 25 человек крайних фанатиков федосеевского толка, которые оказались в приходских книгах все записанными в православие, бывшими на исповеди и у св. причастия. Не так давно умер священник, отправивший в банк 36 тыс. руб., и крестьяне объясняют гласно эти яркие явления тем, что за дозволение не быть у исповеди платят по 1 руб. за душу, и что бывали примеры, когда священники продавали право перехода из православия в раскол за такое ничтожное вознаграждение, как, напр., фунт чая. Процедура в последнем случае была обычная: православный крестьянин перестал ходить в церковь и на исповедь — священник доносил об этом. Назначалось следствие. Отступника вызывали на увещание или улещание (как крестьяне привыкли выражаться); в духовном правлении он настаивал на своем. Совещательный комитет, по закону, отдавал его затем на увещание местному священнику, тому самому, с которым уже сделана сделка.

Увещатель писал начальству своему: «непреклонен». Число остальцев древнего благочестия увеличивалось. Новоприбылые самодовольно говорили всем: «Хоть и дорого встало, да зато уж теперь спокоен». Православному священнику оставалось наблюдать только за тем, чтобы отбившаяся от стада овца не сделала «внешнего оказательства». Конечно, она этого не делала, никогда и ни за что этого не делала.

Лет 40–45 тому назад, в этом краю, где, по народному выражению, «попят многие, но попов мало», где народ давно выговорил, что «не бежит церкви, а бежит священников», известен был между последними один такой, который никогда не служил обеден, а разве только от скуки часы или вечерню, и за которого все правили причетники. Бывало, и спросят прихожане: «Будет ли обедня?» и довольствуются таким ответом: «Обедни не будет, мы старенькую разогрели и уж кончили». Этот поп продал или, лучше сказать, пропил весь свой приход и отписывал в раскол за полуштоф. Другого разжаловали в причетники за то, что он, ходя на Пасху мимо раскольничьих изб, бросал к ним на двор через забор крест, заводил ссоры, грозил доносами, брал отступное. Крестьяне, как известно, не оправдывающие в своих пастырях только запоев, охотно прощают подгулы. «Почему и попам не подгулять, человеки есть; напился, надурил — приди, извинись перед старшими и младшими, попроси молитв, зла не попомним». Но где же у крестьянина силы примиряться с теми, которые, нося в глазу бревно, ищут у других щепку, и выносить тех, которые являются в тесном деревенском кругу присяжными врагами, доносчиками и вымогателями? Один, напр., единоверческий священник больше ничего и не делал, как только подсматривал: не тайно действуют ли? Заметив, он вторгался в избы, вымогал отступное. Где не смогал сам, туда приглашал заседателя, обещал ему 300 руб. сер. наживы. Другой (православный) служил только раз в году на Пасху. К третьему, который едва 5 раз в году правил службу (утреню, часы и вечерню), в 1860 г. собрались на любимые сибирским народом «водокрещи» (в крещенье), а попа и дома нет, уехал в дальние деревни за побором; на первого Спаса в 1861 г. сделал то же. Собравшиеся подождали и уехали с ропотом, тем более сильным, что вообще сибирские люди на церковную молитву неохочи, а считают важными и серьезными

только молебны: Богородице, Николе, Власию и Модесту, Илье-Пророку, а в особенности любят молебствия на полях и принятие в дома икон на Пасху. На такие непритязательные народные требования не так давно имелись такие священники, которые вовсе не были грамотными: либо не доучившись, живя в глуши, перезабыли все, либо прямо из причетников посвящены были в пасторский сан. Люди эти старого закала стали переводиться, но тем не менее являются еще противниками и недоброжелателями молодого поколения и новых священников. Эти выразились для крестьян, хотя и в новых формах, однако не в идеальных. Крестьяне жаловались на их грубое обращение, на гордость, «чехвальство», на то применение высших семинарских взглядов, которое выражается презрением к неграмотному люду. Крестьяне предпочитали им стариков уже по тому одному, что старые были обходительны, привычливы и, стало быть, уступчивы. Молодые попы на первых же порах оказывались бранчливыми и крутыми. От тоски ли по городу стали они раздражительными, от унижения ли средою стали обидчивыми, прихожане этого не разбирали; о старых попах тосковали, о новых рассказывали, что один во время крестного хода курил папиросы; другой, при всякой встрече, ругался, при всяком деле и заказе капризничал; третий за исправу треб, чтобы слишком не беспокоиться, положил большую плату. По этой самой причине от этого последнего прихожане стали ездить к единоверческому попу, который за свадьбу брал довольно дешево, нестеснительно, всего три рубля, а не красную. Другой (с неодолимою привычкою к табаку) как раз очутился в гнезде раскольников, где, с подстриженными усами, казался человеком и без того немилым, да кстати место принял от такого, который во время службы нюхал табак, на всю церковь. Молодые попы сердились на мужичье невежество, презирали крестьян, а сами в то же время исполняли только обряды (и, надо сказать, аккуратнее старых): окрестит, похоронит, исповедует, повенчает, а о назидании нет и помину (и сами никаких книг не читали). Под носом у таких издавна приладились наставники, начетчики-старообрядцы. У раскольничьих стариков первое дело, как известно, назидание, публичное чтение книг: Маргарит, Ефрем Сирин, Псалтырь старопечатная и живое и упрощенное толкование; «в моленной избе посидеть любо, и навздыхаешься до самого до-

нушка сердца, и всплакнешь не один раз у хорошего и дотошного наставника». Сводили молодые попы дружбу с заседателями, с этими ведомыми охотниками на раскольников, как бы на какую вкусную птицу либо жирную рыбу[157]. Многие из молодых по-старому за ними погнались: при обысках ходили с понятыми и положили уже на себя в народе худую славу. Многие уберeглись от преследования потому только, что заседатели умели прикрывать дела. Старые порядки остались на том же положении: староверы женятся и «сводятся» (свободным, гражданским браком) с православными, и если раскольница попала в дом к православным, в семье редко кто устаивал.

Уходили в раскол, между прочим, от тяжести общественных должностей; смоленским выселенцам велено было участвовать в постройке церкви — они объявились раскольниками. Псковские переселенцы (из Великолуцкого уезда), с начала водворения, будучи раскольниками на родине, объявились в Курганском округе православными все, за малыми исключениями; когда в 15 лет успели приглядеться к сибирским порядкам, они сказались староверами, отстали от церкви и все ушли в раскол. Когда в деревне Мальцевой (1756 г.) приготовившиеся к самосожжению (ушедшие в ямки — по туземному выражению) долго раздумывали и успели явиться увещатели, крестьяне требовали: уговорить священника не брать поборов, сменить начальство за то, что отрывало от земли и мучило на работах, заставляя строить дощаники и возить хлеб в дальние места. Они говорили, что разорены так, что не мила жизнь, что словам чиновников не верят и боятся расположиться на них. Как их ни увещевали потом, они все-таки подожглись; одного обгорелого успели выхватить из огня, вылечить, посадить в острог,

[157] В 1852 году ген.-губ. Западной Сибири вынужден был формально запретить чиновникам ходить по староверским домам облавою ночью или вмешиваться в дела раскольников, отбирать книги и проч. Но это не остановило: чиновники продолжали впутываться, и исправники, например, по прежнему получали 500 р. за каждый молитвенный дом. Одну начетчицу довели до истерической непоправимой болезни заточением за то, что в стариковщине (поповщинцам) читала каноны за единоумершего и за умерших.

заковать в кандалы и отдать на суд светской власти. В то же время 600 человек из Верх-Исетского завода и 300 из Екатеринбургского ведомства бежали в Польшу. При 9-й ревизии сумели схватить уважаемых миром зажиточных людей 12 человек, отправить в этапный каземат, там железными цепями приковать к столбам, оттуда отправить в Тюмень на увещание; при этом вели по городу с обритыми половинами головы; в домах оставлены были только малые дети. Этот казус произвел такое сильное впечатление, что многие православные поспешили обратиться в раскол. В 1860 году из разных волостей Тюменского округа крестьяне с семействами, в количестве 519 душ, подали просьбу по начальству об отписке их в раскол; до того времени все они числились православными. Тюмень застроилась было каменными церквами, свидетельницами усердия жителей к православию, но иконостасы почернели, церковных капиталов не стало, все обветшало. Народ ушел в раскол, а не так давно причетники стаивали в рубищах на перекрестках. Появились новые священники — все стало поправляться и уменья и усердия явилось больше.

Сводные браки, вообще, непрочны: кто-нибудь из сведенцев непременно нарушит контракт и потребует нового свода, а с ним калыма и новых расходов. Теперь многие стали прибегать к венчанию в православных и, разумеется, чаще всего в единоверческих церквах. После того немудреная исправа: несколько лестовок (лестовка — сто поклонов), очистительные молитвы — и делу конец. Министерство внутренних дел не велело считать таких браков законными, но сведенцы отвечали: «Пожалуй, не считай; мы и так живем и проживем», а своды усилились до высшей степени.

Архиерей Георгий велел писать раскольниками всех, не бывших на исповеди. Столоначальник консистории показал эту резолюцию раскольникам, и слух проник глубоко. Захотели отписаться и православные, придерживавшиеся раскола, и для того решились подать о себе особые ревизские сказки. В 10-ти волостях заварилась каша: писари помогали, а земское начальство поощряло. Нарядили следствие: виновных посадили в острог, некоторые там умерли; других лишили прав состояния и сослали в Восточную Сибирь; остальным с рук сошло.

По отношению к высшим духовным властям у староверов остались в воспоминании только мимолетные проезды владык и их поезды со свитою, напоминающие древние воеводские поезды с челядью, которая хватала по дороге серебряные ложки, скатерти со стола и все, что ни попадало под руку. «Да и станет ли владыка (говорили крестьяне) примерять священника к мужику, а тем пуще менять его на старовера?» Таким образом, обязанные «ведать вся да всяко некия спасут» не ведали и не хотели верить, между прочим, таким несомненным данным.

В бытописаниях тобольского летописца сохранился, между прочим, такой оригинальный тип. В начале прошедшего века в Тобольске, в Знаменском монастыре, жил архимандрит Порфирий, происхождением из подъячих. При монастыре состояли крестьяне, платившие вместо сделок (заделья) деньгами. Порфирий уговорил их дать подписку в том, что они, за скудостью денег, пришли в изнеможение и что, вместо денег, желают производить платеж сделками. «Недомышленный народ переменил свою беду на напасть», — замечает наш летописец. Архимандрит накладывал сделки дровами, бревнами, сеном, круглым лесом и тесом. Монастырь начал богатеть. Для вящего успеха Порфирий прикармливал и одаривал подъячих, а через их кляузы достиг до того, что выбывших по указам крестьян и бобылей, как из крестьянства, так и из ямщиков, многих людей по-прежнему обратил в монастырские служители и, конечно, разорил. «Сам же жил в монастыре роскошным и полноправным помещиком, мало того — сибаритом: умывался кипяченою и процеженною сквозь полотно водою; от кельи до церкви, внутри монастырской ограды, и до других покоев ездил на лошади в экипаже, хотя бы то было и в летнее время. Подражая древних отец, в кушанье пекли ему хлеб ячменный, а ячмень ему чредили, по его приказу, крестьянские жены и их дочери, так что у всякаго зернушка ячменного оскабливали скорлупу ножичками и так чищеные зерна мололи на нарочно на то построенных мельницах и всякий день готовили ему хлебцы и булки новые и свежие; варили ему рыбу живую, делали лапшу из топленого молока со сниманными пенками». Разоренные им дотла крестьяне подали на него челобитье в губернскую канцелярию. Канцелярия решила: главных челобитчиков выбить кнутом, вырвать им ноздри и 50 человек послать на

каторгу, из остальных 300 старших десятого наказать кнутом, а прочих, по состоянию их лет, бить плетьми и батогами. Битые крестьяне вырыли для монастыря пруды и построили мельницы. В пруды архимандрит напустил рыбы и кормил ее печеным хлебом, но рыба вся поколела и всплыла на поверхность воды. В Тобольске отгородил он себе большое место, стеснил крестьян, вытребовав их вновь на житье в монастырь. Такие дела дошли до ведения Синода. Порфирия перевели в Тюмень, в Троицкий монастырь. Здесь он начал творить то же, «но, — говорит летописец, — умножившаяся в нем болезнь и скорбь, от печали и стыда бываемая, не допустила его до дальних предприятий и тягостью своею ввергнула во исступление ума, да к тому и смерть не преминула употребить свои наблюдения. Притом она, опасаясь столь хитрого политика и приказного происка, чтоб какими-нибудь приказными крючками не мог ее довести до дальные волокиты, не опуская времени, из знатной себе такой добычи, из своих рук сей жизни лишила его». Про другого троицкого архимандрита, управлявшего духовенством до 1835 г. (Амвросия), рассказывают ряд разных анекдотов, дебошей; пил он мертвую[158]. С третьим архимандритом (Иоакинфом, в Пыскорском монастыре) разделались самосудом — убили. В убийстве оказались виновными, в одинаковой степени, и монахи и монастырские крестьяне, не любившие его за строгость. Дело произошло в 1839 году. Курьезны при этом допросы, доводившие до сознания: «Исправник принужден был употребить притом последние средства, хотя было то с законом и не согласно; не дав ему, Фотиеву (более других подозреваемому), одуматься, толкнул его из присутствия в прихожую по затылку и в оной принужден был употребить его несколько по зубам, повторяя один за другим удары, чем приведен будучи в расстройку и не имея случая оправиться — сознался».

---

[158] Этого Амвросия раз посылали увещевать со священниками в 1828 г., в дер. Гилеву, где явились духоборцы (толковавшие, что истинные поклонники поклоняются Богу духом и истиною). Амвросий, как приехал, так и выпил, как выпил, так и начал стращать острогом; когда острогу посмеялись, он обещал расстрелять из пушек. С тем и уехал, захватив с собой крестьянина Хохлова; 13 месяцев прожил Хохлов в остроге и приговорен к ссылке, но синод оставил его на месте жительства.

Староверы всего края, примыкающего к Уральским горам и прилегающего к Иртышу, Ишиму, Тоболу и прочим рекам, — люди грамотные, начитанные, вообще, трезвы, любят молиться, беседовать и читать священные книги; не любят общественных забав, гулянок, масленичных катушек, пасхальных калачей и, особенно, игрищ в праздники. Молодежь хотя и любит выпить, но в большие праздники в кабаки не ходит, пьет мимо праздников. В праздники даже помочей не делают и, вообще, стараются не работать, а больше молиться, беседовать и слушать Писание. За пьянство и другие грехи старики накладывают несколько лестовок, отлучают в пище, в молитве: ешь один, молись после всех. Раскольники люди богатые, они первые плательщики податей, первые помощники бедным, помогают милостынею и православным (этим меньше, своим бедным больше). На следствиях, и без присяги, не кривят душою. Гостеприимны, как все сибиряки, но честны и справедливы, как приметное исключение. Все староверы очень набожны, особенно старики: всякое домашнее дело начинают молитвою. За обедом всякое блюдо встречают большим крестом и без креста не едят ничего. Встав с постели, кладут большой или малый начал (судя по досугу); так же поступают и вечером. На праздники и в праздники молитвы неизбежны от старого до малого; праздничная служба совершается по книгам, а у кого их нет, по лестовкам с подручниками. Памятуя и уважая старину, в праздники мужчины, обыкновенно, надевают кафтаны, женщины большие платки и непременно сарафаны одного цвета, либо синего, либо черного, но не пестрого (только савинская поповщина позволяет девкам ходить в молитвенные дома щегольски одетыми). От православных крестьян староверы в этом отношении значительно отличаются и стоят далеко выше; во всех толках строгое обязательство грамотности по Часослову и Псалтыри. Если нельзя выучить грамоте, непременно выучат молитвам. Из православных редкий читает молитвы, у староверов всякий мальчик и девочка знают наизусть так называемый малый начал, другие знают и большой и много молитв. Попы у стариковщины почти уже дряхлые старики, но трезвые и набожные. Начетчики у поморцев представляют собою класс людей высоконравственных, внушающих к себе полнейшее уважение; все это люди трезвые, разумные, умеющие найтись всюду, где нужен их

совет, и не медлящие идти на помощь всюду, где в ней нуждаются. Они — те общественные избранники, народные друзья, тот идеал, к которому непременно должны стремиться священники, желающие действовать на староверов и руководить ими. Когда в 1762 году Екатерина воспретила преследования, обложив староверов двойным окладом, в «старой Сибири» многие прибегали к церкви по чистому сознанию, что без церкви нельзя и без таинств спасение невозможно. Они стали венчаться, крестить, иногда исповедаться и даже погребать умерших близ церкви. Потомки их остались в чистом православии. Теперь, когда колебание староверов сделалось приметнее, не утрачиваются надежды на то, чтобы способом постепенных уступок поставить дело в лучшее положение, чем нынешнее. Крутые меры и резкие требования не только останавливали дело, но и поворачивали назад. Прямо и разом превратить староверов в православных еще никому до сих пор не удалось, опыты постепенного обращения в Сибири увенчались кое-где успехом даже и в тех местах, о которых идет наша речь. Там сами староверы делают такое уподобление: «Разок в церковь войти — это как бы на морозе раздеться, искупаться и рубаху переменить!» А потому некоторые окрестить у попа не прочь, но миропомазание уже затрудняет их; исповедаться у хорошего охотятся (и зачастую делают это тайно по ночам), но причаститься даже из рук трезвого, не курящего, усов не подстригающего священника очень трудно; разом всего не поднимешь. На православном кладбище умершего положить очень трудно, на своем, среди родичей, приятно во все удовольствие сердца. Крещеного и венчанного попом, пожалуй, и поправлять не станут, если бы священниками, при погружении, позволено было держать младенца спиною к востоку. При венчании хождение кругом аналоя супротив солнца — тоже крупное препятствие: ноги не ходят. Двуперстное сложение, столь обширно распространенное, почти всеобщее по Сибири и в северной России, желательно им видеть и у православных священников. Один священник сшил епитрахиль с семью крестами и приделал к требнику медное распятие, — стали ходить к нему все староверы и прикладываться к требнику, хотя и знали, что он недавнего синодального издания. Некоторыми уступками один достиг того, что в десять лет исправил дело, испорченное его нетрезвыми и корыстолюбивыми предмест-

никами: староверы стали снова православными. Выбор священников, излюбленных миром, является одним из верных и прямых путей для выхода из запущенных и запутанных отношений. Тогда не будет нужды прибегать к составлению фальшивых мирских приговоров, как сделал это, в 1860 г. в Тобольской губернии, недостойный служитель алтаря, ссадивший с места того, которым все прихожане были довольны.

Глава IX. Старовер Папулин

Таинственные дома. — Папулин по личным воспоминаниям автора. — Совратитель. — Борьба с ним. — Успехи пропаганды. — Постный товар. — Успехи беспоповщины. — Женский вопрос. — Бегствующая церковь — Параллель между двумя расколами. — Необычайный успех федосеевщины. — Гонения и упорство. — Посад Судиславль. — Светопреставление. — Папулинская община. — Совращения. — Торжественные моления. — Старая книга и старая икона. — Похищение последних из православных храмов и самое знаменитое из них. — Иконографические редкости и драгоценности. — Торговля иконами. — Семен Кузьмин. — Соловецкая тюрьма. — Где правда?

Мало найдется в северной лесной России таких городов, в которых не было бы таинственных деревянных домов, окруженных высокими бревенчатыми заборами и построенных отступя от жилищ на версту и менее. Лишь только город старинный, знакомый летописям и, в особенности, издревле торговый и теперь не в особом упадке, бывало, ищи в нем по ближним околицам, где полагается быть кладбищам, эти застоявшиеся, почернелые здания с обрешетившеюся крышею и окруженные обросшими мохом и пожелтелыми заборами. Казались эти крепостцы совершенно забытыми и давно покинутыми; видимо, в них никто не живет, и они как будто ждали хорошей бури с вьюгою, чтобы совершенно рассыпаться. В окрестном народе об этих зданиях, обыкновенно, рассказывались невероятные басни, порождаемые именно их таинственным видом, всегда крепко запертыми воротами и вечным меланхолическим безмолвием. Все рассказы плелись, обыкновенно, как лапоть, на одну колодку и также с подковыркою. В таком лживом виде переходили они и в официальные бумаги и в печать. Ревнив и беспокоен открыто живущий человек к тем, которые

уединяются и прячутся за забором. Любопытство мучится желанием проникнуть в сокровенное, стучится в дверь и, в досаде на крепкие запоры, спешит утешиться всякою формою фантастических рассказов. Ночью там видятся невидимые огни, слышится топанье босых ног и хлопанье плясок; затем предполагается мгновенно наступающая темнота и начинающееся содомское бесовское действо.

На самом деле, старик с бородою по чресла, одинокий и никогда не скучающий, зажег лучину или огарок и, при вспышках слабо мерцающего света, тачает кривым шилом настоящий лапоть. Надоест ему работа, выйдет он проветриться и прислушаться, с какой стороны дует непогодь, не сбирается ли дождь (поясницу что-то поламывает). Вот взвыли волки, долетел из города звук соборного колокола, в который ударил другой такой же сторож; крикнул на лошадь, под самым забором, проезжающий на базар мужичок из ближних деревень и т. п. Воров бояться дряхлому старику нет нужды: им тут взять нечего! Лежат безмолвно и неисходно в земле покойнички, и стоят над их могилками также полу- развалившиеся голубцы, в виде бревенчатых срубов с двускатными кровельками и крестиком. Их пробовали было запрещать законом, но староверы отбили себе это право и продолжали держаться и в этом, как и во всем, старинного русского обычая.

Таинственные подгородные избы были, в самом деле, не что иное, как староверские кладбища, а если стояли за высоким забором, то почти наверное — беспоповские молитвенные дома, по большей части, весьма распространенного федосеевского согласия. Из многих десятков таких безмолвных, как страшная могила, зданий, мне яснее и знакомее прочих помнятся два, со времен далекого детства. Оба примыкали к выгонам и стояли за обывательскими огородами, подобно знаменитым столичным кладбищам: Преображенскому в Москве и Волкову в Петербурге, кровно родственным по единомыслию и находившимся, несмотря на расстояния, в теснейшей дружественной связи. Оба знакомые мне также примыкали к выгонам древнейших северных городов, из которых одна, как Галич, был славен и гремел на всю Нижегородскую и Суздальскую земли еще во времена Дмитрия Шемяки, а другой, Судиславль, со-

хранивший почтенное древнее имя, забыл, за давностью времени, даже год своего основания и давно утерял все документы, свидетельствующие об его аристократическом происхождении.

В последние два-три десятка лет подобные загородные строения мало-помалу стали делаться редкостью; они или снесены, или переведены в самые города, или же заменены новыми зданиями. В сороковых годах они были еще целы, и по ним можно было наблюдать за явлением некоторого чуда и поверять нравственные качества местных правящих властей. Чудо заключалось в том, что утлые здания, казавшиеся сложенными из гнилушек и покрытыми ободранными крышами, продолжали себе стоять незыблемо и несокрушимо. Строго заказано было не только строить новые здания, но и подновлять старые. Всякая свежая заплатка на кровле, всякая новая доска на обшивке, даже кол, приставленный к пошатнувшемуся забору, порождали целые судебные дела, вызывали наезды временных отделений с понятыми, производили народные толки между православными и волнения с опасливым страхом среди староверов. Умные и осторожные из них заменяли совершенно сгнившие бревна и доски, пропускавшие течь, подержанными, но крепкими, чтобы не было бросающихся в глаза доказательств. Смелые и решительные испрашивали разрешения властей (при помощи денежного взноса, сообразно со степенью опасности для самого начальства) и подводили под здание новые венцы из крепких мелкослойных и смолистых сосновых бревен. Влиятельные и богатые дерзали сооружать совершенно новые молитвенные дома, лишь оберегая их назначение каким-либо отводом и прикрывая ссылкою на один из видов заводских, ремесленных и фабричных заведений. Впрочем, последнее обстоятельство надо считать большою редкостью, весьма исключительным явлением, так сказать, знаменательным историческим фактом в жизни федосеевщины, по чрезвычайной трудности осуществления дерзостной мысли.

Одно из подобных сооружений красовалось (по почтовой дороге в г. Макарьев из Костромы) всего в одной версте от этого заштатного города Судиславля. Приезжая гимназистами на вакацию, мы могли любоваться не только дерзкою красною крышею, но и внушительными размерами новых зданий, очень похожих на фабрику. Строения эти, кажется, так и назывались. Строил и владел ими

судиславский купец Папулин, беспоповец федосеевского толка, «батюшко-отец», «батюшко Николай Андреевич», как звал его весь окольный серый народ и городское мещанство, щеголявшее в синих сибирках по милости его же, батюшки-отца Николая Андреевича.

Я как сейчас вижу эту бороду, которая вошла в залу местного влиятельного чиновника, не кланяясь глубоко в пояс, как будто бы даже приподнявшись повыше, чем была до тех пор. Как вошел твердою и решительною поступью этот старый человек, так и заговорил, обращаясь к хозяину и, конечно, не обращая никакого внимания на молоденького гимназиста.

— Хлеб-соль про меня нынче будет?

— Какую велишь; про тебя всякая есть.

— Так вот я на подстилочку скатерочку маленькую принес тебе.

И вынул он, развернув, на преддиванный стол огромную камчатную скатерть.

— Привык ведь ты после еды-то и обтираться, дворянским делом, не полотенцем, а, чай, салфетками, — продолжал он и выкрикнул своего молодца, который стоял за дверями. Худой и длинный, как шест, парень явился с узлом.

— Вот пока на дюжинку, а может, и две твоя барынька выкроит.

Солидный человек во все время не терял шутливого, веселого тона, но, сев на диван и опершись обеими руками на колени раздвинутых ног, вздохнул, покачал головою и пристально воззрился на хозяина.

— Больно что-то крепко холодком потянуло от Костромы. Слыхал, чай?

— Было повторительное секретное предписание...

— Все меня соблюдают. Слыхал, что протопоп на днях туда ездил, и красавец-то ваш в поход собирается. Готовишь подводы-то?

— Четверку под его карету, тройку под протодьякона, три пары под певчих и одну под прислугу.

— Многонько. Тяжеленько мужикам-то будет в эту рабочую пору... Больно уж сильно воинство, не испугаться ли мне?

— Может быть, и на этот раз мимо проедет.

— Не захочет, думаешь, оскверняться? Ладно бы так-то!.. Из Москвы худые вести привезли. Хромой граф, что вот над этими ре-

бятами самый большой начальник, взял, слышно, костыль свой и пошел прямо на нас. Мне от него первая петля. И красавец-от в Ипатьевском развоевался: донос за доносом пишет в Питер. Меня клянет и грозится большим судом. Сдается мне, что подходят мне последние часы, и, может быть, я в последний раз говорю с тобой!

Как ни старался Папулин говорить обычными староверам иносказаниями, мне и тогда понятно было, что намеки шли на архиерея Владимира (Алявдина) и графа С. Г. Строганова, бывшего тогда попечителем московского учебного округа. Ходили слухи, — всякий ямщик рассказывал нам об этом, — что Папулин отвадил всех судиславских жителей от обоих православных городских приходов. Толковали даже так, что видели соборного дьякона, как он выбегал на мост и протягивал к проезжающим руку за милостынею. Церковь в слободе уже давно стояла без звону, и местный священник вызван был в Кострому и нанимался служить ранние обедни по четвертаку за службу, да чтобы покормили обедом. Сосчитали также, что всего в два-три года произвел Папулин это пленение, что жалобы на него посылались куда следовало, а он продолжал дело без помехи и даже с возрастающим успехом. Под влиянием его состояли не только все федосеевские общины в Костромской губернии, но, по верным слухам, даже и те, которые были разбросаны по Ярославской и Тверской. Хорошо известно было нам также и то, что, главным образом, он производил торговлю не полотнами и скатертями, а таким товаром, которым нигде за границею не торгуют, а прознавшие там о подобной статье засмеялись бы и не поверили. Николай Андреевич производил оптовую торговлю грибами во всех их ботанических и кулинарных видах. На первом месте стоял, конечно, сушеный белый гриб со снежным отливом мездры или бухтармы, нанизанный на суровые нитки, в вязках. За ним, ценою гораздо подешевле и достоинством ниже, также сушеные, нанизанные в вязки, следовали черные грибы (масленики с зеленоватою бухтармою), красные (боровики, подосиновики). На местах сборов солеными и здесь, в оптовом складе, сортированными поступали в грибной товар: рыжики, грузди, свинари и т. д. Эти сорта сбывались в кадушках, которые, на этот раз, изготовлялись в ближнем лесном городке Кадые. Ткацким делом Папулин занялся

лишь в последнее время, соблазнившись близостью (всего 50 верст) кинешемского или, вернее, вичужского фабричного округа, но вел его в исключение, а, по слухам, просто для прикрытия (да и вел ли еще?). Под видом рабочих у него жили под попечением и на прокорме те ревнители федосеевщины, которым угрожала опасность в других местах и надо было скрываться. Для укрытия у него находился под рукою тот дремучий лес, в котором сам черт искал три года этот город Кадый, износил три пары лапотков и все-таки не нашел. В 15-ти верстах от Судиславля Папулин владел двумя мельницами: одна называлась «Калишкою», а другая «Шемякиной)». Когда в 1845 году уничтожили его федосеевскую общину, ютившуюся на самом виду городских церквей, он перевел ее сюда, построил избы для жилья и отдельную молельню. Из Москвы прислали к нему на поддержку твердого, как адамант, наставника, который и помогал в устройстве общежития и в отправлениях молитвенной службы. Им же приняты были и все меры к тому, чтобы укрыть дела новой общины и уберечь ее так, чтобы она казалась провалившеюся и сгинувшею в болотных трясинах. Это, однако, не удалось и покровительство общинам своего толка признано было преступлением и названо пристанодержательством. Это-то обстоятельство и послужило вскоре начальным и главнейшим поводом к тому, что Папулина, наконец, обвинили, схватили и заточили навечно в Соловецком монастыре.

Главным и самым надежным потребителем «постного товара», конечно, был первопрестольный град, неизменно верный староотеческим обычаям. С Москвою непосредственно и вел Папулин торговые сношения со своим товаром, который, в груде прочих, не особенно был приметен, однако, по слухам, с годовым оборотом на сто тысяч рублей. На первой неделе Великого поста товар этот выставлялся наружу, изумлял своим обилием. Выставка его занимала огромное пространство Москворецкой набережной и привлекала поразительное многолюдство. В Москве, издавна привыкшей жить годовыми запасами, сюда сходились хозяйки и бродила между ними голодная бедность, которой дозволялось пробовать съестной товар, и она даром наедалась и соленым грибом, и соленою в корень рыбою, и сладким медом в течение целой недели.

Впрочем, не эта сторона скучного дела грибной торговли занимает нас в настоящее время. Судиславские грибы вяжутся с другою стороною народного быта и подсказывают данные, не лишенные глубокого интереса, как материал для истории русского раскола, в значении нового эпизода.

В то время, когда поповщина истощалась материальными средствами и общинными силами, распадаясь на толки по поводу искания истинного древнеправославного священства до архиерейства включительно, — беспоповщина решительно отказалась от попов и успокоилась на выборных и излюбленных наставниках с попечителями. Она ширилась и крепла, благодаря практическому разуму первых и богатству вторых. Поповцы, нуждаясь в главном священном чине и не имея его, принуждены были обходиться лишенными сана беглецами из православной иерархии, попадали на строптивых и кляузных, терпели от пьяненьких и гулящих, принимали единоверие и благословенные церкви и т. д. Беспоповцы, заручившись опытными старцами и умудренными в книжной премудрости уставщиками, могли находиться в более благоприятных условиях относительно этого трудного вопроса. Первые едва добились в полтораста лет до белокриницкой митрополии, вторые давным-давно успокоились на выборных и излюбленных по образцу выговских общежитий, т. е. по правилам поморского согласия. Ведя борьбу с господствующим исповеданием в первые времена старообрядства под одним знаменем, сами староверы распались, таким образом, на два раскола, существенно не согласные, а потому немедленно объявились лютыми врагами друг друга. Они перестали общаться не только в молитве, но и в пище, впали в полемический задор и повели открытую борьбу, которая довела, наконец, до смешных крайностей и, во всяком случае, до полной невозможности примирения.

В среде беспоповцев, в свою очередь, внешние давления могущественной власти послужили также причиною внутренних расколов. Смутил прежде всего женский вопрос и сделался предметом несогласий и пререканий, тем более серьезных и оживленных, что в уставщики и наставники, как главы общин, попадали, конечно, пожилые люди с сильно пробившеюся сединою, но не остывшею

кровью. Додумались до того, что начали отрицать брак, говорить: «Какое же это таинство, когда нет христоподражательных священников, освященных благостию Св. Духа?» Одни встали за брак (секта поморская), другие отказались признавать его святость (и это — федосеевщина). Женщина, однако, возобладала крупными правами, дотоле не слыханными: она могла также заменять попа при освящении молитвами браков, при перекрещиваньи, при исповеди. На похоронах она уже не разводила языческих «плачек», а читала молитвы по старопечатным отеческим требникам. Не всегда была она орудием приманки и поддержкою сластолюбия, но управляла не женскими только, но и мужскими общинами с такою же самостоятельностью и искусством, как мужчины. Вообще, в делах федосеевщины женские услуги чрезвычайны, и если мало известны, то потому лишь, что не исследованы ни по вопросам о воспитании ребят в духе толка и обучения их грамоте, ни по отношениям их к толкованию правил и распространению в народе федосеевщины.

Все секты согласились на том, что с оскудением благочестия в правящей церкви наступило предреченное антихристово царство и что гонительная власть — его слуги. И вот из поморского согласия выделилась филипповщина (они же и филиппоны), учившая бежать из мира и гнушаться всех прелестей его. Озлобленность этой самой мрачной и непримиримой секты дошла до того, что последователи ее начали носить за пазухою свои иконы, перестали есть из одной чашки, одною ложкою даже с поморцами и федосеевцами, а завершилось все это тем, что выродилась скрытническая секта (бегунов). Последователи ее, совершенно покинув оседлую жизнь поморцев и федосеевцев, решились скитаться из места в место, охотнее жить в непроходимых дебрях лесов или в темных подпольях лесных деревушек. И все вместе — поморцы, филиппоны, федосеевцы и скрытники — до того отчудились от православной церкви, что не только войти в нее, но и встать под тень ее начали считать тягчайшим грехом. Последнюю заменили молитвенные избы, которые, по случаю гонительного времени, в самом деле, скрыты были на задах и выездах, за высокими заборами, даже в городах, находящихся в Белоруссии, и даже в те времена, когда последнею владела католическая Польша. Здесь были и кладбища и разре-

шенные при них богадельни, которые полагались обязательными и для каждой, где бы то ни было устраиваемой молельни. Богатый человек строил здания, подыскивал начетчика. Из всего множества знающих и опытных, каким, вообще, владеет федосеевщина, он выбирал самого лучшего и собирал у себя верное стадо избранных. Богадельни приняли вид монастырей и были таковыми в силу тех строгих правил жизни и твердых догматов верований, какими руководится все наше староверие и в среде его, главным образом, беспоповщинские толки. Последним отшельническая жизнь в особенности полюбилась и там, где заводился мужской монастырь, непременно вырастала и женская обитель. Обоим не привелось укрепиться на избранных местах по причине беспрестанных преследований и потому, что самые крепкие и многолюдные были вконец разорены. От этих обителей на память нынешним временам и для наблюдения любопытных остались лишь гнилушки, как остатки двухэтажных келий и обширных скотных дворов, да ямы, как признаки засыпанных погребов и разметанных каменных фундаментов. И такая-то судьба постигла те жительства, которые древним свободным способом, любезным народу, устраивались в обширные слободы и в таких местах, где, по многим данным, не могло быть особого приволья людскому труду, как бы ни был он всесилен и многоопытен. Таковы поселения беспоповцев на Крайнем Севере, вроде выгорецких и лексинских, мезенских и даже таких, которые искали убежища на негостеприимной Новой Земле и на гранитных беломорских островах. Рассказ наш относится именно к тому времени, когда гонения достигли крайних пределов и, стало быть, давали возможность и право усиливаться энергии до упорства со стороны преследуемых. Прогнанные с одного места рассеивались в разные стороны, чтобы собираться вновь на более безопасном. Втихомолку, с большою осторожностью, они скучивались, а при усиленных материальных пособиях богатых покровителей плотнее оседали, потому что дороже стоили, как гонимые и страдальцы. Замечательна при этом та быстрота, с какою организовались федосеевские общины, однако, снова для того, чтобы быть в свое время открытыми, разбитыми и разбросанными на мелкие и ослабленные кучки. Верующие, обходившиеся без попов, продолжали по-прежнему кочевать и, представляя в полном смысле слова

« бегствующую церковь», не поддавались ни точному учету их количества, ни надлежащему наблюдению за ними со стороны властей. В этом заключается существенная разница их от поповщины и староверов, т. е. тех, которые собственно не уклонились в догматах от православия, но привязаны лишь к старым церковным книгам и обрядам. Эти надежно уживались рядом с православными, являя из себя сплошные поселения, и свободно веровали, живя бок о бок, при благословенных церквах, единоверческими приходами. Кочевала только поповщинская иерархия, увлекая за собою в надежные места особенно гонимых и искренно верующих.

Стоек и славен был в чернораменных заволжских лесах Керженец, но ослабел и он, когда выросла Ветка в далекой Белоруссии и возродилось в черниговских пределах разом 14 больших слобод. Процветала здесь старая вера о церквами и обеднями и с монастырями для обоего пола отшельников, но появился в Поволжье Иргиз — и снова пришлось делить славу и первенство, пока не выродилась старообрядческая иерархия в пущей силе и значении уже за пределами государства — в австрийской Буковине. «Исправленные» дома, попы из беглых заменены были рукоположенными безместным греческим митрополитом и последующими его преемниками в архиерействе. Москва, которая не перестает служить в миниатюре полным подобием России и, как в зеркале, отражать в себе всякие движения народной мысли и быта, представляет собою наглядные доказательства тому, насколько поповщина казалась безопасною и вела жизнь поспокойнее. Иногородная поповщина не требовала от Москвы чрезвычайных усилий в поддержке материальными средствами и исключительных забот в укреплении ослабевшего среди преследований религиозного духа. В делах этого толка ей не привелось занять первенствующего места и сделаться руководящим центром. Предвосхищало у нее славу любое место и всякий счастливый и находчивый человек. Скиток «Смольяны» в лесах Заволжья, на речушке Белмаше сделался митрополиею и некнижный старец Денис (Шуйский) — главою поповщины только потому, что сберег довольный запас св. миро и даров, освященных еще при патриархе Иосифе. Преемник его, Феодосий, ухитрившийся разыскать в Калуге старую церковь и отслуживший в ней обедню, стал влиятелен и силен лишь потому, что приготовил но-

вый запас даров. Когда поселился он за литовским рубежом в Ветке, самый Керженец принужден был преклониться перед этою новою метрополиею. Феодосий стал во главе всего староверия лишь за то, что начал варить миро и снабжать им все общины. Не понадобились и денежные капиталы: в несколько дней из дубового леса, сотнями топоров, срубили ветковцы большую церковь с высочайшею, в пять пролетов, колокольнею.

Беспоповщина, напротив, всегда нуждалась в покровительстве и становилась под защиту сильных капиталами богачей. Если, вообще, замечается в ней наклонность искать последователей в среде фабричного и заводского населения, то этим объясняется и самое существование этого староверского толка там, где гнездится рабочий народ, закрепощенный на все 24 часа в сутки, отбившийся от сохи и ставший полукочевым и бродячим по безнадежности в жизненных средствах и по исключительной зависимости от личных капризов и денежных сундуков хозяев. Этим объясняется и то выдающееся явление, что для беспоповщины богатая Москва стала действительною главою, а Преображенское кладбище — метрополией. Она временами лишь разделяла некоторую долю влияния и силы своей с кое-какими иногородними общинами. Многочисленные (до 50-ти) мелкие толки беспоповщины были рассыпаны и разъединены, — Москва умела сплотить многие из них и выучила действовать заодно, согласно своей воле и благодаря обстоятельствам, благоприятно сложившимся для нее одной, в исключение. Насколько умело велось это дело именно в тяжкие времена усиленных преследований, доказывают красноречивые цифры. До 1826 года во всей Москве едва насчитывалось 30 молелен, к началу же сороковых годов их было уже до 150. При этом и здесь, как и в остальной России, беспоповцы силились скучиваться в сплошное население, но, под давлением внешних препятствий и обид, снова разбивались на отдельные мелкие общины и укрывались где ни попадя, лишь бы только объявился там богатый и охотливый покровитель. До указанного года они гнездились около Преображенского кладбища, в Лефортове и по Басманным, после того рассыпались по всей Москве и засели гнездами без разбора и безбоязненно в городских центрах и в Замоскворечье. Сила этого толка возрастала и от умелого ведения дела искусными, многоопытными книжниками, и от

поддержки фабрикантами с теми известными фамилиями, которые гремели не только по России, но и по всей Сибири до китайских пределов и Кяхты. Фабриканты, как бы по влечению особенною мистическою силою, готовно шли на помощь именно этой наиболее гонимой секте федосеевщины, опиравшейся, с другой стороны, на энергию и большие нравственные силы наставников. Такой-то умелости последних и готовной щедрости первых Москва обязана была тем, что временами принуждена была уступить силу влияния иногородним общинам, в которых случайно сочетались оба условия: нравственное и материальное.

В 30-х и начале 40-х годов нежданно-негаданно для богомольной столицы обнаружился соперник там, где всего менее можно было его подозревать. В Москве принуждены были вступать с ним в сделку, стараться установить живые и прочные связи и делить самую власть пополам.

На большом сибирском тракте из Петербурга, шедшем через Кострому на Вятку, расположился тот маленький и ничтожный городок Судиславль, который Екатериною II оставлен был за штатом. Он близко примыкал к тому непочатому, по недоступности, дремучему лесу, который в 1839 году устрашал всю северную Русь необычайным и страшным явлением лесного пожара. Пожар длился весь август месяц. От сгустившегося дыма солнце несколько недель не давало лучей и казалось вырезанным из фольги кругом; природные цвета от смрада видоизменялись: зелень на полях и огородах казалась голубою, красные крыши отливали желтым цветом. В самый полдень становилось так темно, что в избах по деревням начали зажигать огни и работать при лучине. От раскаленного лесного воздуха ветер превратился в ураган. Буря с вихрями разбрасывала пепел вместе с перегорелыми листьями, недотлевшим лапчатым мохом, еловою и сосновою хвоею, как пух, за сотню верст от пожарища и мчала пламя с усиленною быстротою в северо-восточном направлении. Она перекинула огонь через реку Унжу, загнала в лес по Ветлуге и, перебросившись через Волгу, опоясала огненною неодолимою стеною все те леса, которые были смежны, тянулись по уездам трех губерний и по рекам Ветлуге и Керженцу и которые, в особенности, были любезны и дороги всему нашему староверью. Народ обуял небывалый страх: в течение всего лета почти не было дождя, и выпав-

ший один раз в течение пяти недель лишь только вспрыснул сильно потрескавшуюся жадную землю, словно испарившись еще на ходу из облаков. К тому же дождевые капли, пробиваясь сквозь воздух, наполненный пеплом, принимали красноватый оттенок.

— Идет кровавый дождь! — с замиранием сердца толковал народ и в усиленной молитве искал успокоения, ожидая страшного суда и конца света. Поднимали православные из церквей иконы и служили беспрестанные молебны. Старые люди принялись говеть, исповедаться и причащаться.

— Наступает светопреставление! — уверенно повторяли в каждой деревне. Надевали чистые рубахи, вынимали из сундуков спрятанные на смертный случай саваны с длинными рукавами и широкими подолами. Приготовлялись к кончине. Ждали пришествия антихриста и даже выходили к нему навстречу, вовсе покидая жилища. По крайней мере, когда наступила ночь, редкий решался оставить часовенные и церковные площадки и идти спать на печи или на полати. Целые дни проводили под открытым небом в соседском сообществе и на миру, где и смерть считается красною. На всех лицах написан был ужас. Редкий решался вымолвить слово и в деревнях не замечалось обычного суетливого движения. На беду, пришлые слепые старцы, усевшись в кружок где-нибудь на задах селения, истово разводили тоскливыми, хриплыми голосами:

А и месяц-солнце померкнули:
Не видать луча света белого, —
Словно мать-сыра земля погибается,
Погибается мать-сыра земля, расступается...

— Тошнехонько! — мучительно выговаривал каждый от мала до велика, когда воздух до того уже наполнился дымом и смрадом, что нечем было дышать, тупело зрение, утрачивался вкус, ощущалась во рту горечь и захватывало горло до кашля.

Это было время того страшного народного отчаяния, когда каждый ищет утешения в любом ободряющем слове и прислушивается к первому указанию, где искать спасения. В это время народного бедствия, в особенности, «посчастливилось» судиславским начетчикам и покровителю их Папулину. Число последователей

быстро увеличилось, сколько по ненаходчивости и равнодушию местного духовенства, привыкшего гнушаться сближений и лишь исполнять одни заказные требы, столько же в виду помощи торопатого богача, умевшего приютить погорелый народ, спасшийся от пламени. Погорели в это время не только деревни и села, но и целый городок, — исторический Кадый, обойденный и пощаженный татарами и литовскими людьми, но сгоревший весь дотла; уцелела каким-то случаем одна лишь кладбищенская деревянная церковь, соборная же Никольская каменная сгорела. Приютил Папулин весь этот обездоленный безнадежно народ в своих обширных покоях и других строениях; нанимал на свои средства и частные дома в судиславской слободке и на посаде. Поил и кормил, навещал с ласковою улыбкою и приветливым словом весь этот напуганный люд, видевший самолично все ужасы лесного пожара: горящим дождем сыпалась на него расплавленная смола с вековыми деревьями, и негде было укрыться; в одной стороне бешеный огонь зажигал те сухари, те старые дуплистые деревья, которые, по ветхости, едва отстаивались на корню, а охваченные пламенем, они валились на молодые и здоровые сосны пылающими головешками; с визгом и свистом свертывались в комки молодые ветки и, склубившись от жара в огненные шары, отрывались ветром и уносились в невидимую даль зажигать попутные и еще уцелевшие боры. Кругом и около шли неудержимо, наступая с двух других сторон, две другие огненные стены, уже наладившиеся на полное разрушение всего, что попадалось им на дороге, с выстрелами, с пушечною пальбою, со змеиным шипением и звериным воем.

На время та и другая примолкали, но обманывали: не стало слышно шуму и треску, значит, разгорается. Вообще к ночи пожар, видимо, стихал, но снова лукавил: налетел ветер бешеным порывом и снова раздувал пламя, и снова разливалось огненное море там, где рассчитывала найти место для ночлега и укрытия. Все выбивались из сил, прорубая просеки, разрывая канавы и пуская встречный пожар. Все опускали руки в полном отчаянии при виде, как выли собаки, как отрывались от коновязей лошади, выскакивали с выгонов коровы и ошалелыми бросались в пламя и обгорали; как медведи скучивались на полянах и лесных прогалинах в том же беззащитном до очумения ужасе.

Все это живьем вставало в памяти обогретых, успокоенных и накормленных, твердо веровавших, что стряслась беда — ясное дело — за великие людские грехи и беззакония, но за какие же из прочих? Не замедлил Папулин объяснить напрямик сомнения церковников и ежедневно показывал ту силу веры своей, которая наглядно выражалась невозмутимым хладнокровием, хлопотами о сегодняшнем дне. Ясно виднелась твердая вера и образно оказывалась в земных поклонах перед образами, в продолжительных службах в часовне, благолепно по всем четырем стенам приукрашенной дорогими иконами. Мрачно с темных фонов смотрели изможденные лики и тощие фигуры святых, писанных старинным пошибом, рассчитанным именно на устрашение напуганного воображения. Войти туда и умиляться, искать утешения в молитве и сладости созерцания божественных ликов можно было не иначе, как приняв повторное крещение — мужчинам от мужчин, женщинам от наставниц их же пола — и после многих отречений от привычного. Здесь все необычно, и самая молитва требует особых приемов и совершается с таким отменным благочинием, какого не видывали пригретые новики ни у деревенских часовен своих, ни в сельских церквах.

К этим новоприбывшим, наиболее дорогим и желанным гостям, привычно называемым «совращенными», раньше уже причислили себя все те из мещан городка, которые измаялись на скудости житья и в безвременьи. Один сеял на огороде лук, да сам его и ел; другой поторговывал тряпьем, да и на этом разорился; третий точал сапожишки, починял башмаки, а сам ходил от такого промысла круглый год босиком. Этот пробовал торговать солью вразвес, рыбою вразрез, соленым судаком на вес, да порешил, что ему в родном месте выгоднее попытаться торговать лаптями, а потом уже с прибылями шататься промеж дворов, нанимаясь у соседей либо огородец вскопать, либо сено перетрусить, либо баньку истопить. Кто совсем сбрел от бедности, а из оставшихся многие словно очумели, принявшись печь калачи, которых, помимо базарных дней, и покупать здесь было некому. Всем известно это мещанское счастье, готовое всегда продать себя во всякую веру: было бы умелое предложение с утоляющим нужду приложением. Конечно, умный сосед хорошо знал, с какой стороны подойти к оскуделому и в

какой день и час обмотать тенетами. При этом какая же вера без проповеди и не в этом ли главная суть для всякого, кто назвался попечителем или кого выбрали уставщиком и в наставники?

Процветанию Папулинской общины помогало, сверх прочего, также и то, что в нее присылали из Москвы всех людей, за которых там боялись и которыми в то же время дорожили. Без людей, не имевших паспортов или, облыжно за подкуп, приписанных неправильно к московскому и всякому любому мещанству, конечно, по силе вещей, тут не могли обходиться. И затем, разумеется, в пригретых и спрятанных попадали и те «ловцы в человецех», для которых труднее было заманить новика, чем закрепить его. Если полиция хватала таковых, Москва успевала находить новых и присылать свежих; известный большим подворьем Чижов умел на своих лошадях провозить и вывозить, наживая деньги и славу и оставаясь у начальства десятки лет лишь в сильном подозрении.

К этому-то живому и деятельному приюту пожарное время привлекло новые силы, увеличив численность и прибавив славы и влияния судиславскому старцу.

Вырядится, бывало, Папулин в однорядку-кафтан, на котором по спине у талии сделаны сборки, а на них справа и слева вшиты треугольные маленькие лоскутки; по воротнику и по бортам идет красный кружок и ряд серебряных пуговиц с чернью, выписанных прямо из Устюга, где только и умели выделывать в те времена таковые. Волоса на темени у него гладко выстрижены. Пойдет, бывало, он в этом молитвенном наряде в часовню слушать всенощную. Там, вместе с прочими, он присядет на своем месте прямо на пол и станет ожидать выхода наставника. Появится тот самый, что прибыл из Москвы. Там он делал карды для сукон и торговал в малом скобяном ряду, а до того в Туле с тремя архиереями имел состязание, защищая федосеевщину, и ото всех с упрямством и дерзостью отбился. Через это самое он прославился на всем пространстве беспоповщины от топозерских скитов, вблизи Белого моря, до земли кубанских казаков, примыкающей уже к Черному морю.

Кадит наставник указным способом из ручной кадильницы, крестообразно; кадит Папулину и всем предстоящим, хранящим гробовое молчание. Восходит он затем на амвон, провозглашает: «восстаньте!» и ведет всенощную службу долго, без пропусков и от-

четливо. Неясно произносимые возгласы бойким и громким пением отвечают ему певчие из девушек и молодых мужчин, занимающие боковые клиросы. Сквозь открытые окна выносится наружу это пение отлично слаженного хора, одноголосное, по крюкам и с обычною припускою. Как нельзя лучше отвечает оно настроению напуганных и тоскующих душ тех, которые еще не были, после строгой исповеди и поучения, исправлены, т. е. перекрещены и разрешены к общей молитве. Они лишь издали могли видеть богато убранный серебряными ризами с золочеными венчиками и богато освещенный восковыми свечами и хрустальным лампадами иконостас. Могли все это видеть и умиляться тому, чего они никогда не знавали прежде, как все согласно и разом, как бы по команде, бросали на пол коврики и становились на колени или перебирали в руках кожаные лестовки с кистями кожаных же лепестков.

Особенною торжественностью обставлял Папулин свои моления и с особенным усердием клал земные поклоны и неустанно перебирал лестовку в это время потому еще, что восходила его звезда не над одними лишь кинешемскими и галицкими пределами. Она начинала ослаблять свет всех тех звезд, которые сияли по стогнам Москвы, и даже той, которая давно уже играла ярким блеском над самим Преображенским кладбищем еще со времен Ильи Ковылина. Пусть на Филях, в Москве, кичатся неиссякаемыми денежными капиталами, он, Папулин, овладел таким сокровищем, на которое едва ли хватит этих капиталов. Сам великий московский наставник Семен Кузьмич, со всем собором попечителей и со всем Преображенским кладбищем, явится теперь к нему и поклонится до самой земли. За совершенный им подвиг в прославлении своей веры он уже предугадывал свое место в сонме отошедших к праотцам праведников: Ильи Алексеевича (Ковылина), доставившего Преображенскому кладбищу уважение и покровительство высшего правительства, и Луки Терентьевича, не только установившего порядок на кладбище, но и учредившего более десятка единоверных общин в различных местах. Папулин имел уже право воображать себя сидящим рядом с обоими в месте «полистом и прекрасном, в одежде апостольской». На главе его венец из цветов райских, сплетенный весьма дивно, на ногах сандалии апостольские. Триста младенцев предстоят ему и дивно и прекрасно поют ему

по-старонаречному: «Днесь благодать Святаго Духа нас собра! И то пение превосходит ум человеческий!»

В беспоповщине, где привязанность к старой обрядности, почитаемой деревнею, доведена до крайних пределов нетерпимости, наибольшая любовь и усиленное искание обращены на старую книгу и старую икону. В среде федосеевцев последние в особенности живы и деятельны. Это очевидное явление объясняется тем, что (по свидетельству даже несомненных врагов) самый низший класс феодосеевцев столь сведущ в знаниях Священного Писания, как редко можно найти исповедников православия в среде образованного общества. С малолетства, как только ребенок укрепится на ногах и начнет ходить, его заставляют три раза в день класть «начал» по семи поклонов. С первым лепетом он начинает уже затверживать молитвы; в школе, для всех обязательной, он поступает в руки самых искусных и немилосердно строгих мастеров, из которых каждый в любой из обеих книжных премудростей — письме и чтении — является доточником и во всех федосеевских общинах на виду и на счету. Один с таким искусством переписывает сказания с книги, что хороший знаток с трудом разбирает подделку; другой настолько начетлив, что не выстаивают в спорах с ним церковники-никониане. На обычных всем староверам начатках премудрости в федосеевщине не останавливаются, а идут гораздо дальше: часослов сменяется триодями, псалтырь — писаниями ветхозаветных пророков и т. п. Во всем множестве апокрифических книг разбирается потом каждый из юношей, вернувшись из лавки и от дневных работ, и списывает полууставом для себя интересное из книги, полученной на подержание и для прочтения. Всегда суровая и строгая домашняя жизнь, которую отчуждают правила секты от всех развлечений, представляет единственный выход в постоянное чтение, размышления и беседы. В семье изгнано всякое поползновение к расточительности и во всем установлены границы самого строгого истинно монашескаго воздержания. Ни один федосеевец, даже очень богатый, не позволит себе оскверниться одною каплею постного масла, одною ложкою горячей пищи в обе великие недели Великого поста и т. п. Поразительное безмолвие, темнота во всех покоях, давящее уныние — царствуют в домах этих людей, которые бережливы до скаредности, скупы до алчности и, вместе с тем, ли-

цемерны до крайностей пустосвятства. В этих условиях закаляется феодосеевец, действительно, в такого книжника, с которым спор становится не только невозможным, ввиду его упорного самомнения, но и досадно-оскорбительным по причине непреодолимаго упрямства начитавшихся до пресыщения. Нет ничего удивительного также и в том, что если из подобной среды сплошь и рядом выделяются и стойкие оберегатели верований секты и практичные руководители делами всей общины, умевшие приобрести и сберечь, и наилучшие знатоки по иконографии, по оценке пошибов письма старинных рукописей и старопечатных книг. Ни в одной секте не поставлено это дело на такую прочную основу и не идет таким правильно намеченным путем. Здесь народились и те знатоки-самоучки, в которых, бывало, нуждались и от которых многому научились наши историки, археологи, археографы, нумизматы и т. д.

Для прочих староверов с удобством служит и вполне удовлетворяет живую потребность село Палех, где пишутся иконы по старинным подлинникам, и село Мстера, не только приготовляющее новые, но и починяющее старые иконы. Для них же, владеющих менее опытным глазом, сходят с рук и многочисленные подделки, выражающиеся в искусственных трещинах, в скоробленных досках в местах, отставших от грунта, в красках и т. д. Для них же на сырую глину оттискивается рельеф истово старого медного образа (столь любимого староверами)[159], в полученную форму заливается расплавленная медь; остывший образ держится над парами нашатыря, зеленая медь превращается в красную и образ принимает закоптелый старинный вид. Теперь надо уже звать именно федосеевца, чтобы он разобрался в искусной подделке и тонко доказал все погрешности и отступления. В иконах, рукописях и книгах любой самоучка-знаток разбирается, намечая цену, с таким же искусством

[159] Любимы металлические образа собственно по той причине, что сделаны не погаными руками, а прошли через огонь. Старинные складни чтут даже так, что к владельцам их ходят на поклонение, как бы в какое святое место. При этом старую икону стараются обмывать, поливая на нее воду рукою. Эту воду сгоняют с ликов в чистую посуду и после молитвы пьют, а недопитую выливают в печь.

и легкостью, как иной торговый приказчик, поседевший на производстве в течение многих лет все одних и тех же сортов товара.

Внимание федосеевцев обращено совсем в другую сторону: на подлинные и живые предметы. Некоторые из федосеевцев были сосланы в Соловецкий монастырь, и вскоре богатые московские молельни украсились иконами из тамошнего Спасского собора, писанными еще в то время, когда св. митрополит московский Филипп был там игуменом. Сводя знакомство с монахинями и белицами московских монастырей, федосеевцы научили их снимать во время очередных дежурств в церквах указываемые ими старинные иконы и подменять их поддельными. Таким способом, из верхнего яруса в большом соборе Новодевичьего монастыря вынуты были и подменены иконы письма знаменитого русского иконописца Андрея Рублева. Известный знаток и любитель подкупил сторожа кремлевской церкви Двунадесяти Апостолов и за недорогую цену выпросил дозволение взять к себе на дом створчатый образ 12-ти праздников; он возвратил копию, а драгоценный подлинник оставил у себя. Он же, через подкупленного служителя, находившегося неотлучно при продаже свечей, покупал иконы и из Успенского Большого собора. Торговец медною посудою в Колокольном ряду рассылал с ходебщиками церковную утварь вместе с шелковыми и шерстяными товарами и из губерний Новгородской, Тверской и Псковской получал старопечатные книги и рукописи, вымененные на шерстяные платки и разные бесценные безделушки. Один из таких же ходебщиков, проделывавший подходящие торговые операции по мелочи в деревнях около Саввы Сторожевского и Кирилла Белозерского, привез к воротам Преображенского кладбища целый воз старинных икон без окладов (которые были проданы у Сухаревой башни отдельно); ходебщик сдал порученную кладь и исчез.

Вот те видимые и ведомые источники, из которых заручалась богатая федосеевщина религиозными сокровищами в таком количестве, что с избытком могла снабжать единомышленные общины даже в Сибири и на Дону. Приобретения эти тем быстрее исчезали, что самые моленные требовали иконного обилия не только в тяблах, заменяющих иконостас, но и сплошь по стенам. Ту моленную и прославляли, в той часовне и молились охотнее, где не видно бы-

ло стенных просветов и все любимые и требуемые обычаем изображения были налицо и стояли на своих местах. Московские богачи находили случаи, по присущему породе и природе их тщеславию, искать удовлетворения не только в дорогих окладах, но и в изяществе и редкости письма. Они-то, приобретая иконы, не щадя средств, уменьшили их количество на рынке и подняли цены до недоступной высоты. Специальная лавка у Варварских ворот превратилась в археологический музей, куда можно было лишь приходить любоваться корсунским или строгановским письмом и изумляться тем высоким ценам, за которые приобретались редкости федосеевцами-ценителями. За «Воскресение Христово с Восстанием» письма Никифорова заплачено было 1700 руб. Серебряные оклады, густо вызолоченные, древней сканной работы, оценивались каждый в три и более тысяч. Все это происходило в виду того обстоятельства, что простые иконы новейшего письма, но по старинным подлинникам, поступают в руки офеням от 2 р. до 25 руб. за сотню. Только заказные палеховские, сработанные тщательно на масле и в том миниатюрном виде, где правильность и отчетливость изумительны, возрастают в цене от 50 коп. до 1 руб. за каждый лик на иконе.

С усилением к сороковым годам текущего столетия количества федосеевских молелен, из которых каждая стремилась заручиться какою-либо подлинною старинною редкостью, чтобы, украсив богатым окладом, сделать ее драгоценностью, — требования на подобные изображения сильно увеличились. В это-то самое время Папулин изловчился приобрести целую древнюю церковь со всем ее иконостасным и стенным украшением. Изумленная до восхищения, федосеевщина даже смутилась от такого отчаянного и крупного подвига, который неизбежно должен был загреметь, не мог укрыться и не повлечь за собою роковых последствий. Только привычка жить и действовать под постоянным страхом преследований, научивших не бояться опасностей и искать приключений, изловчаться на скользком пути и обегать разверстые пропасти, — привычка помогла осилить тяжелые впечатления от дерзкого, но, очевидно, обдуманного и тонко проведенного предприятия Папулина. Преображенское кладбище и, в особенности, настоятель его, Семен Кузьмин, приняли самое деятельное участие и поспешили оказать надлежащую помощь, когда она потребовалась решительным и

смелым приобретателем. Такой случай повторился в первый раз после едва памятного подобного же и, во всяком случае, через полтораста лет.

В городе Сольвычегодске, Вологодской губернии, где во времена Грозного царя именитые люди братья Строгановы на выварке соли наживали основы последующих несметных родовых богатств, ими построены богатые церкви. Соборная Введенского монастыря, испещренная фронтонами и колоннами, высеченными из белого камня и разноцветными кафельными украшениями по всем наружным стенам, уступает в изяществе одному лишь Василию Блаженному. Всеградская соборная Благовещенская церковь, огромнейшее готическое здание, издавна славилась древностью икон, богатством одежд и утвари. От двух пожаров уцелели соборные драгоценности и между ними такая, как холстинный саккос, покрытый живописными образами и приписываемый св. Стефану Пермскому. Строгановы, очевидно, не щадили средств на приобретение именно редкостей и драгоценностей, а заботу о церковном благолепии простерли даже до того, что выписали из Италии мастеров и поселили их у себя с семьями. Этими зодчими, кроме храмов, построены были и жилые каменные и деревянные палаты, также наполненные дорогими и редкими иконами. Заведена была особая школа иконописцев, слава которой дошла до наших времен. Позднейшие потомки их, увлеченные государственной службою и громадными делами на Урале, забыли о сольвычегодских сокровищах. Их-то и заметил тот проницательный глаз, который до тех пор высматривал лишь боровые грибные места. С помощью галицких единоверцев, закупавших в тех лесистых местах сырые меха на выделку в селении Шокше, доискался он до этих забытых сокровищ. Съездил туда сам, осмотрел, залюбовался и, найдя покладистого человека в протопопе, повел с ним тайные речи. Решено было большое дело легким способом на том, чтоб испросить у Синода разрешение продать обветшавшие и якобы уже совсем облупившиеся старые иконы и на вырученные деньги, приблизительно в тысячу рублей ассигн., починить и подновить разрушающиеся графские терема и дворец, как исторические памятники. Синод не замедлил заочным благословением, а Папулин — выдачею настоятелю собора условленной суммы, сверх сметной тысячи, другую за

хлопоты и легкую сговорчивость. Первою «тысячею умздил руце протопресвитера Ник. Анд. Папулин», как задатком, — говорит народное предание, — и обещал остальные шесть тысяч вручить, когда окончено будет все предприятие и иконы положены будут на воза. С пустыми возами приехал Папулин обратно, съездив домой за условленною, крупною по тому времени, платежною суммою. Он остановился в ближайшей деревне, приказав извозчикам накормить тут лошадей, и, как тать в нощи, сходил наведаться о том, не раздумали ли. На другой день иконы в соборе составили с мест еще засветло и приготовили к отправке. Деньги вручены были немедленно, и позднею ночью тронулся обоз на 15-ти лошадях и на шести парах подвод со всеми предосторожностями от недобрых людей и с иконами количеством до 1350. Тут были и местные, мерою в 3 аршина, и складни из 5 и 3 икон, и походные полковые, «писанные нынешнему свету на удивление (продолжает записанное свидетельство самовидца), в полном виде как в рисовке, так и в прочности заготовки, и в изображении красок, светлости и прочности удивлением состоят для нынешних изографов, какие у князей были писцы и как занимались искусно и не жалели времени» и т. д.[160]

«В настатии лета того года (продолжает писать откровенный свидетель), где иконы стояли, на стенах по краске раскинуты разные цветы и травы, с отливкою разных красок по древнему вкусу, а более, чтобы их плутовство не оказалось».

У Папулина, во всяком случае, на возах оказались иконы, писанные св. Петром митрополитом, известным изографом, — именно

---

[160] Пользуюсь здесь теми данными, которые нашел в Дневных дозорных записках о московских раскольниках, отысканных нашим известным археологом, неутомимым искателем следов родной старины и ее восстановителем в Ростове, А. А. Титовым. Эти записки, очевидно, писанные для г. Липранди, тайно следившего за движениями в среде раскольников, напечатаны г. Титовым в 1885 г. в Чтениях Императорского Общества Истории и Древностей Российских (кв. II). Вероятно, это ученое общество не замедлит обнародованием и второй части, как продолжения этих записок, представляющих такой живой материал совершенно заново освещающий темное дело вашего раскола, в особенности, федосеевщины. К изданному же надеюсь возвратиться еще раз.

Петровская Умиления и копия Владимирской (Пирогощи). Этими иконами благословляли московские патриархи именитых людей Строгановых (и свидетельствовали о том собственноручными надписями на оборотной стороне досок), когда братья, сыновья или племянники приезжали в Москву и являлись в дни св. Пасхи христосоваться с царем и патриархом, поднося тому и другому золотые монеты на серебряных блюдах. Тут же, с прочими иконами, купленною оказалась и икона «Год святых», подлинно писанная иконописцем Андреем Рублевым.

Привезенные иконы Папулин исправлял и поновлял, а для этого у него в Судиславле жили три года восемь человек мастеров. Поновленными он украсил две свои каменные молельни: мужскую и женскую; другими торговал в Москве при помощи тех же мастеров, а при участии своего приказчика Николая Семенова, постоянно жившего в Петербурге, и в этой столице. Здесь этот доверенный человек торговал грибами, салфетками и холстом. В обозе этого товара и в перекладку с ними он возил сольвычегодские иконы и на потребу петербургских федосеевцев для домашних молелен и общественной на Волковом кладбище. «Деисус» в трех иконах продал Папулин в Москве за 700 р., Иоанна Предтечу с крыльями, прямо личный на трех иконах — за 500 руб. Самому Папулину обошлась каждая икона, мелкая и большая, круглым счетом по 5 рублей, а он брал за иные по 250 и выручил от продажи в разные губернии до 13 тысяч и, сверх того, 7 тыс. от одного Преображенского кладбища[161].

Этот второй случай в истории раскола — случай похищения священных украшений полного храма — для главного виновника не увенчался, однако, тем же успехом, как случилось в подобный первый раз. То было в 1695 году, когда уже упомянутый нами черный поп Феодосий, по разорении Керженца и после сожжения живым

---

[161] Здесь эти иконы впоследствии, по настоянию гр. С. Г. Строганова, разыскивали, но квартальный надзиратель, получивший от Семена Кузьмина две тысячи рублей, отозвался по начальству, что отыскиваемых икон на кладбище не имеется. Между тем, Семен Кузьмин сольвычегодскими иконами переторговывал: так, напр., за «Распятие Христа» получил 300 руб. и столько же за «Нерукотворный Образ». Продавал не только своим федосеевцам, но и поповцам на Рогожском кладбище.

товарища его, пошехонского дворянина Токмачева, бежал к московским рубежам и по пути очутился в Калуге. Здесь он в ветхой церкви Покрова, стоявшей без звона и пения много лет, купил иконостас, сооруженный также во времена Ивана Грозного. С ним он перебрался в Ветку и установил его на вечные времена во вновь отстроенной церкви.

Про Папулина весною 1846 года стали доходить в Москву на Преображенское недобрые слухи. Писали из общины его на мельнице Калишки, что все иконы, бывшие в тамошней молельне, взяты земскою полициею, что забрано даже имущество проживавших там людей и все это отправлено куда-то на 20 возах. Груды этих икон видел пишущий эти строки в Ипатьевском монастыре, где, по поручению попечителя учебного округа, переписывал сольвычегодский учитель гимназии. Известно также было, что много икон небрежно хранилось в губернском правлении (какая судьба постигла те и другие, осталось неизвестным). Известно лишь то, что много икон успели из Судиславля препроводить в разные места и там припрятать. Так, между прочим, из другой Папулинской общины привезены были воспитанником Папулина в Москву, на Преображенское кладбище, иконы в количестве тридцати, между которыми были три дорогие строгановского письма, и из них одна, оцененная в 200 рублей.

Вскоре за этим транспортом с иконами, уже летом, прибыли на Преображенское кладбище два подручных уставщика из судиславских мещан с известием, что управление общинами Папулина и устройство быта проживавших там федосеевцев поручено тому самому Николаю Семенову, который торговал в Петербурге грибами и иконами. Начали приезжать оттуда же их монахи и монахини, которых Преображенский наставник, в видах безопасности и в расчете на преследования, отправлял в Судиславль, как в безопасное место. У него они снова благословлялись теперь, на старом месте в Москве, чтобы совершать службы в молельнях ради пропитания, а две монахини приняты Семеном Кузьминым в число сестер в женскую кладбищенскую палату. Еще весною того года Папулин надеялся «угодить местному начальству» и написал о том этими словами в Москву, но посланного отсюда для устройства калишкинского

общежития московского мещанина Плата Карпова Папулин отправил назад, чтобы не нанести неприятностей самому Преображенскому кладбищу. Писал Папулин в апреле, что община его весьма стеснена надзором тамошнего начальства, а затем вскоре достиг до Москвы верный слух о том, что он задержан полициею, — слух, породивший большие беспокойства в московском богаделенном доме не унывавших доселе федосеевцев. Купленные в Судиславле иконы, находившиеся в часовнях кладбища, решено было переместить в безопасное место, каковым оказалась моленная на фабрике одного из Преображенских радетелей, известного в торговом мире фабриканта купца Гучкова.

В не менее надежное место помещен был и сам Папулин.

В одном из промежутков между циклопическими стенами Соловецкого монастыря, сложенными из громадных диких камней, и стенами жилых монастырских строений, в северо-западном углу, приютилась отдельная палата каменная и двухэтажная. Часть ее занята казармами караульных солдат, присылаемых на определенное время из Архангельска с офицером; другая часть — арестантскими. 12 чуланов существовали издавна в нижнем этаже очень старинного здания, построенного еще в 1615 году. 16 новых чуланов прилажены были и в верхнем этаже в 1828 году. Тогда уже наступило строгое время преследования за всяческие убеждения, в том числе и за религиозные, ввиду развития сект молоканской и духоборческой. Основателями этих сект наших рационалистов и были впервые оживлены маленькие соловецкие чуланы, похожие более на собачьи конуры. Соловки стали второю по счету живою могилою после таковой же, приспособленной в городе Суздале, в тамошнем Спасо-Евфимиевом монастыре.

Мне не разрешили попасть туда, несмотря на то, что я был снабжен официальною бумагою, предлагавшею оказывать в моих работах возможное содействие. Готовно показывали мне все, что относилось до монастырского хозяйства, столь замечательного своим благоустройством и предусмотрительною обеспеченностью. Я видел даже и ту палатку в связи с Преподобническою церковью в два этажа, в которой сложена была разная церковная ветхая утварь, и те иконы, которые отбирала земская полиция в Поморье и доста-

вила из разрушенных федосеевских скитов на Топ-озере и р. Мягриге. Приходилось довольствоваться чужими сведениями и, без личной проверки, на них полагаться.

Проезжая прелестным чищенным лесом поперек острова из главного монастыря в Анзерский скит, я слышал от своего возницы-монаха:

— Не выдерживают они у нас, в уме мешаются.

Вот и пример.

— Один досиделся до того, что возомнил о себе, якобы зверь в него вселился, и сам он стал зверем. Встанет на четвереньки и с боку на бок качается и хрюкает. Положат его на постель и отвернуться не успеют, как он опять на том же месте мотается. Там, где коленками упирался, большие ямки вывертел, где руками — поменьше; пол-от в тех покоях мягкий, кирпичный.

Не спрашивайте: ни имени, ни фамилии здесь нет, знаем только нумера. Вот и ваш под 13-м, как раз под чертовою дюжиной, — поучал меня инвалидный капитан, на другой день возвращавшийся с командою в Архангельск и успевший уже на прощанье со знакомыми монахами подгулять, «натороpиться», как выразился он сам.

Добровольно явился он в мой номер монастырской гостиницы в той же походной форме, в которой сидел поутру за общею трапезою. Разговаривая со мною, он все оглядывался по сторонам и, оглядываясь, оправдывался:

— Стены здесь слышат, вот какое строгое место!.. А земляк ваш добрый старик и ласковый! Да вот какой добрый: когда ни придешь, он всякий раз начинает около себя обыскиваться, шарить на столе, заглядывает под кровать. «Подарил бы, говорит, что, да взять нечего, все отняли монахи. А селедки моей есть не станешь; сам не ем, гнилая».

Офицер при этих словах не только оглянулся и приподнял над ухом настороженный палец, но на цыпочках подкрался к двери и, быстро отворив ее с видимым расчетом ударить в лоб того, кто там подслушивает, заглянул в длинный и неметеный коридор. Возвратившись, он с большею смелостью говорил:

— Доводят до беды, потому что исправляют. Я готов в рапорте написать, что нельзя поверять монахам таких людей, которые

с ними переругались. Помилуйте, скажите: я — офицер, а к архимандриту каждое утро должен ходить, как к генералу или коменданту, вытягиваться и рапортовать. Он выслушает, а чашки чаю не даст, гордится предо мною.

Сквозь слегка нескладную болтовню я узнал от этого офицера, что земляк мой летнею порою сидит в чулане безвыходно, надевает на нос большие круглые очки и беспрестанно читает толстые книги в кожаном переплете.

— Кроткому человеку архимандрит попущает — дает книги, а зимой выпускает с солдатом в старый собор помолиться. Конечно, это дело его, он здесь полный хозяин, на комендантских правах. Он каждого монаха может высечь.

— Конечно, без солдата и ему я не могу дозволить! — хвастался офицер: — Положим, что льды обкладывают монастырь так, что не вырвешься. Да, здесь держи ухо востро! Вдруг он скрылся: может быть, с берега прибыл сюда его сообщник. Остров-от очень велик, есть где спрятаться. Выждал время, посадил в карбас и увез; здешний народ льдов не боится. Да, по-моему, лучше морская пучина, чем эти чуланы. Я к тому это говорю, что из богомольцев много народу припрашивалось повидаться с ним, давали мне хорошие деньги. Я не соглашался, я помню присягу...

Следовала затем похвальба личными достоинствами, к которой обычно прибегает под хмельком всякий приниженный человек. Нового он уже ничего не говорил и становился просто докучным. Стал он просить и от меня угощения, для того советовал послать к самому архимандриту:

— Пришлет, хорошего рому пришлет. Хорошо бы пунштику на дорожку. Давно не пил. Твоему приезду они не рады. Не по нутру им. Говорили мне, что писать будешь, грехи их переписывать. Постарайся, сделай одолжение!

Дальше пошло уже такое все нескладное, настоящий бред, что я и в самом деле не знал, как развязаться с ним. Он помог мне тем, что пообещал сам пойти просить рому, и ушел.

За него договорил сам архимандрит, пожелавший дополнить мои скудные сведения о Папулине, как бы в утешение за отказанное личное свидание.

— Глубоко огорчен я был, когда, приняв настоятельство, посетил тюрьму, неся туда слабое слово утешения, — рассказывал мне о. Александр, прославившийся защитник Соловецкого монастыря во время блокады его англичанами в Крымскую войну; рассказывал он тем говором, который обличал в нем малоросса и который не сумело затушевать и обезличить даже столь богатое и типическое архангельское наречие и, притом, в течение многих лет. — Получил я оскорбление, откуда не ожидал, от своего же, так сказать, брата духовного. Бросился он на меня с зубовным скрежетом, намеревался ударить, круто обругал. Я уже не давал ему наставлений, ушел от греха. То был атеист, профессор одной из духовных семинарий. Номер второй обратился ко мне с криком и слезными жалобами на отца, по просьбе которого он и прислан к нам за непочтение родительской власти. Я ходатайствовал через Синод и испрошено было повеление, чтобы несчастному отец его обязательно высылал благопотребную сумму в приварок к монастырскому продовольствию. Видел и тринадцатый номер и ожидал новых оскорблений; полагал — отвернется или приблизится, чтобы сказать укоризненное слово. Взглянул он на меня исподлобья и нависших бровей кроткими глазами, поклонился очень низко, ничего не сказал, ничего не просил, разбиваться и на получаемые из Москвы деньги запасаться всякими ненужными безделушками, выписывал французские духи. За темнотою в комнате при моем посещении он намеренно, говорят, не показал, сколько кабинетных пустяков накопил он здесь, от шерлов и аквамаринов до пилочек для ногтей и уховерток. Когда главный начальник заводов не разрешил ему права преподавания детям науки и вовсе не ходатайствовал о разрешении путешествия, он жил себе, не мыкая горя, благодаря московской помощи. Поношенный сюртучок, который получил он в подарок от доброхотных дателей, умел обряжать так, что старенький сходил за совершенно новый и франтоватый. Не смешно и не стыдно ему было в таком по внешности улучшенном виде рассыпать комплименты и подводить турусы на колесах даже и после того, как в этом же Нерчинском заводе один из обиженных родителей в третий раз поколотил его также довольно больно. Среди повсеместной нищеты и скаредного перебиванья из кулька в рогожку он все-таки остался прежним. Когда разрешили выезд в Иркутск, Зыков поспешил обзавестись

собственным возком и, приобретя рваный и ломаный, ухитил и обрядил так, что хотя бы снова поехать через Москву в Донской монастырь торжествующим победителем. Встретив по дороге добрых знакомых, он нашел возможность угостить их пожарскими котлетами. Из Иркутска Зыков передвинулся потом в Ялуторовск, ближе к России. Его перетащили бы и через Уральский хребет и сюда, если бы не постигла его вскоре несколько запоздалая смерть. Только бы не гнилая селедка для Папулина в монастыре, прославившемся этою рыбою, которая посещает здешние морские губы в таком множестве, что они превращаются в густую рыбную кашу. Все это, впрочем, в отношении самой простой справедливости. Этот из заточения просят только одной милости — смиренно помолиться перед ликом древнего начертания и искренно признает его чудотворным, хотя бы он и находился в никонианском соборе. Этому надо немногое, хотя он также не исправился. Но зато Папулин смирился, смирился он, очевидно, для того чтобы не оставаться в руках несомненных и доказанных врагов своих...

Глава X. Убийца из пустосвятов

Публичная казнь. — Голоса из толпы. — Молодость и воспитание преступника. — Быстрый успех в большом свете. — Разнообразные похождения. — Таинственная келья. — Монастырские послушания. — Злодейские приемы. — Убийство и способы самооправдания. — Ссылка и новые приключения в стране изгнания. — Тобольский острог и нерчинское пропитание. — Встреча и беседа с преступником. — Коренев и сопоставление с ним Зыкова. — Мнение о последнем соузников

«На пути по этапам я того наслышался и насмотрелся, что теперь неохотно читаю романы».
(Из записок декабриста барона Штейнгеля)

В первых числах августа 1850 г. (какого именно, не упомню) площадь Охотного ряда в Москве была необычно запружена народом. Там, где пересекается Тверская и предполагается начало Моховой, толпа до того загустела в плотную стену, что в самом деле нельзя было пробить ее ядром. Проходящим пришлось остановиться и созерцать.

В этом народном множестве преобладали молодцы с поддернутыми фартуками из приказчиков мясных и курятных лавок, обладающие известною грубостью в обхождении и препрославленною силою, и разносчики, оглашающие Москву сотнями выкриков и распевок, которые, за их разнообразие и оригинальность, давно следовало бы переложить на ноты и записать в сборник песен. Были в белоснежных рубашках трактирные половые с распущенными бородами и тщательно, с очевидным кокетством, причесанными волосами. Толпился тут же и всякий тот праздный сброд, который в любое время готов с неостывающим любопытством подолгу смотреть, как плывет по Москве-реке полено. По разнокалиберности зевак и по их чрезвычайному многолюдству, возможному только в Москве, следовало предполагать о предстоящем каком-либо необычайном зрелище; при крестных ходах такого собрания не бывает.

Жандармы в касках, с сердито торчащею щетиною в гребне из конских волос, и казаки на куцых лошадках, с дерзко сдвинутыми набекрень киверами, успели уже сделать свое предопределенное дело. Толпа крупами огромных жандармских лошадей и при помощи тяжелых сабель разбита была на две строгие и послушные стенки. Между ними образовался тот широкий коридор, который и представлял собою теперь очевидное и живое продолжение Тверской до того места, где клочок ее мимо Лоскутного ряда выходит на Иверскую площадку. Там, вероятно, тоже месиво из живых людей толклось и переругивалось, стонало и гудело, высаживая локтями задорных, а само все-таки напирало вперед, прямо под казацкие нагайки и тяжелое холодное оружие жандармов. Толпа, сбившаяся вплотную плечо к плечу, колыхалась, как морские волны, подаваясь вправо и влево и назад, кажется, от одного лишь того, что вот этот вздумал переступить с ноги на ногу, а тот вот вздохнул полною грудью и нарушил напряженное равновесие вытянутой в струну стенки. Казак уже не один раз успел достать назад концом нагайки и «смерять» того бунтовщика из фабричных ребят, который ретиво работал плечами, раздражая и надавливая толпу, и который за тычком никогда не гонится, а еще потом перед товарищами хвастается:

— Он меня крепко ожег через правое плечо под левое подвздошье, да я ему не покорился.

— У него, надо быть, на конце-то пулька вплетена; следует тебе в баню сходить, отпарить. Вспухнет — помрешь; настегаешь веником с мылом — отпустит.

Зубоскальства в толпе, по обычаю, много. Виноватых и обиженных не щадят. Московский рядский закон таков, что если и поскользнулся человек на сплеснутых выбросах чая, надо того человека осмеять, праздным делом, с головы до ног. Лакеев, например, в те времена вдоль Ножевой линии Гостиного двора пропускали не иначе, как сквозь строй насмешек, самых ядовитых и очень обидных. Впрочем, знаменитого и в полную меру еще не оцененного московского балагурства, срывающегося прямо с кончика языка, острого, как шило, не переслушаешь. Неизвестно, зачем мы пришли и остановились здесь.

— Стой прямо, смотри направо, слушай, как трель бьют! — советовали мои соседи друг другу. В самом деле, послышались редкие, нескладные, как-то вперебой, удары барабана. Стукнут по телячьей шкуре березовыми палками — посыплется дробь; начнешь вслушиваться — она и перестала, оборвалась. «Тук!» — скажет барабан еще один раз и замолчит. Где эти барабаны идут, нам из-за плеч и голов совсем не видно. Приходится принимать на веру невидимое, как бы видимое, и неведомое, как бы настоящее.

Видим, однако, вскоре, как на пригорке Тверской улицы, над головами многотысячной толпы, заколыхалось нечто чрезвычайно неопределенное, странное и Бог весть почему-то вдруг показавшееся страшливым. Пословица говорит: хорош барабан в поле, а не в городе, потому-то, должно быть, он и настроил на подобную неожиданную мысль. Иному, в самом деле, гром не гром, а страшен барабан. Он-то и поддержал испуганные мысли, несмотря на подручные развлечения: жандарм, нагнувшись на лошади, таскал в рукавицах с широкими раструбами хохлатую голову мальчика из-под кухонного трактирного куба, а тот молча старался вырваться. Казак опять успел кого-то смерять. Участились крики: «осаживай, осаживай!» — потому что толпа пришла в сильное возбуждение, именно то самое, когда еще немножко, еще одно оскорбление, как капля, переполняющая сосуд, — и толпа взревет, ожесточится и нарушит весь налаженный строй. Этого почему-то не случилось, и народная

волна начала принимать другое направление — кверху и вниз. Все становились на цыпочки, и каждый старался приподняться, опираясь самым решительным образом на плечи соседа, тараща глаза и разевая рот, а чужие плечи не медлили сбрасывать чужие руки. Все отменно переругивались.

Мимо нас медленно, пошатываясь из стороны в сторону, промелькнула темная фигура привязанного к столбу человека. Мы слышали за чужими спинами, как сфыркивали лошади, громыхали до мостовой тяжелые колеса; мы видели, что привязанная к столбу серая фигура имела бледное лицо, опущенные вниз и полузакрытые глаза. Мы успели прочитать на свесившейся на грудь доске страшное слово: «убийца», и одновременно и мимоходом уловить несколько замечаний наших соседей.

Каким-то плаксивым голосом спрашивала женщина в косынке, с узелком на лбу, как бы внезапно пораженная или что-то потерявшая и вдруг спохватившаяся:

— Да где же у него каблук-от?

— А на сапоге, должно полагать, — ответил тот, который был доволен тем, что видел, хотя чувствовал в сердцах, что у него изрядно намяты бока и надавлена грудь.

Женщина, однако, не отвязывалась:

— Да ведь он монах. Я ведь про тот каблук-от спрашиваю, что они на головах носят.

— А тот каблук он, должно быть, дорогою потерял. Далеко ведь, вишь, с самых Бутырок везут, — острил все тот же.

— По закону, матушка, перед торговою казнью извергают духовных лиц из сана, — благодушно успокаивал ее тоном довольного человека, по-видимому, чиновник. Он успел, вероятно, при содействии своих светлых пуговиц и замеченных нами вразумительных и вкрадчиво-кротких объяснений с разными полицейскими чинами удержать свое место в стенке, далеко впереди всех нас.

Не скоро толпа разошлась и очистился проход на Моховую. Всякий старался поделиться своими впечатлениями, и, как всегда бывает в этих случаях, выводы и заключения оказывались не похожими и не только не согласными в общем, но и совершенно противными в частностях. Кто говорил, что видел слезы на глазах у

преступника, а кто уверял, что, напротив, заметил усмешку, и весьма даже злую. На одного так страшно глянул он, что тот даже взмахнул на лоб и спустил с плеч на пояс большой истовый староверский крест. Иной поймал у преступника такой вздох, что у него, у свидетеля, даже под сердцем кольнуло. Один видел позади преступника на эшафоте палача, которого совсем тут не было. Двое взялись спорить до ругани и косых взглядов друг на друга о том, носил ли преступник полный образ или был только послушником. Вмешавшийся в спор третий настойчиво уверял, что он и послушником-то не был, а только жил в Донском монастыре и надевал рясу, а от мира вовсе никогда не отрекался. Все согласны были на одном, что жертвою преступления была действительно княгиня и притом известного старинного рода, издревле любезного городу Москве. Говорили, что с раннего утра сегодня на место казни скакали не только извозчики, но того больше— кареты, коляски, ландо, фаэтоны; вся Москва ехала и бежала на место казни еще до рассвета. Только недосужные, запоздалые и немощные рассыпались по дороге, как брызги от схлынувшей волны, и установились сплошными рядами по уличным тротуарам, на всем протяжении длиннейшего пути следования печальной колесницы. Самодовольный чиновник утешал себя и успокаивал, вразумляя всех нас, что на месте казни и смотреть, собственно, нечего: там надломят над головою шпагу, ибо преступник был доподлинно дворянин и чиновник, не успевший еще постричься в рясофорные монахи.

— И все тут, ничего интереснаго, — старался он уверять себя и нас. — Шпага, — уверял чиновник, — должна быть заранее надпилена так, чтобы палач мог ее легко и скоро разломить над головою преступника.

Не мог он, однако, утверждать, ударит ли палач надломленною шпагою по голове преступника или разломит ее на воздухе. Здесь он сам запутался, говоря свое, но соглашался и с противоположным мнением соседа.

— Опять как же, ведь, и ударит по голове? Ведь она не горшок! — заметил вовсе не удовлетворенный рассказом торговец.

— Удар удару рознь! — решительно успокаивал он себя и пошел вместе со мною на Моховую. Я видел, как он встряхивал голо-

вою, и слышал при этом его глубокие вздохи с приговором про себя: «Ох, грехи наши тяжкие, немощи наши человеческие! Подишь ж ты!..» и т. п.

Эти глубоко врезавшиеся в моей памяти впечатления, буквально на первых шагах знакомства с Москвою, вызваны событием, весьма памятным там, кажется, до сих пор. В свое время оно переполошило весь город до самого донышка. Замечательно и поразительно было не столько само преступление, сколько участники и жертва, в самом деле (по времени совершения злодейства) вечерняя. Участие духовного лица в преступлении не казалось особенно выдающимся в городе, где до того преизобилует духовенство, что в среде населения его, ревностно охраняющего старинные обычаи, даже тот древнейший — отругиваться и отплевываться при встрече — значительно ослабел и даже покинут. Участие же монаха казалось чересчур неожиданным и оскорбительным, хотя бы в церковном и богомольном городе этом было монастырей и монахов ровно столько, сколько полагается их на целую губернию, и притом также издревле населенную и столь же благочестивую. Но главное, с одной стороны — монах, а с другой — княгиня: зачем они вместе, и при чем они оба? Объясняли все это в то время все вдруг и каждый по-своему, а потому и выходило что-то такое темное и трущобное, где мудрено было разобраться. В официальных документах уголовной палаты еще мудренее было добраться до сути. Постановления и протоколы писались тогда таким языком, о достоинствах которого обычно говорили так: «писано-прописано от села Борисова, от Макара Денисова». После того, как разберемся в уличных и гостиных слухах и смахнем с архивных документов 50-летнюю пыль, перед нами встает нижеследующая внушительная личность.

С чердачка на Зацепе, где ютилась чиновничья семья отца Николая Семеновича, последний поступил в науку и выучился ровно настолько, чтобы быть писцом. Москва таковых мастеров не балует и, за неимением средств, не дает им приюта и ходу. Как губернский город, она владеет только уездными и губернскими присутственными

местами с некоторою надбавкою канцелярий временных, кроме бессрочных комиссий и кое-каких комитетов. В один из последних, заведующих делами самого сильного и привилегированного благотворительного общества, он и попал на легкую службу. Проставив нетвердую ногу, он, благодаря своей природной юркости и угодливости, сумел укрепиться настолько, что, пересаживаясь от стола к столу, очутился и за тем из них, который ведал дела по части дамской благотворительности и попечительств. Представилась необходимость личных докладов титулованным баловницам и возможность проявить перед ними свои скрытые таланты и придавленную силу. Женское бессилие, постоянно нуждающееся в мужской помощи и поддержке, тотчас же предъявило требование на услуги этого угодливого и ловкого молодого человека и нашло в нем аккуратного и толкового исполнителя. К побегушкам он приучен был еще в родной семье, на посылки сделался способным под руководством своего хромого, злого и вороватого начальника; в дамские ручки он попал уже совершенно приготовленным. Сделаться же опытным, сообразно с капризами заказчиц, ему было уже не мудрено в то время, когда приобретена была известная гибкость рассудка, при настойчивости природного характера. Недаром же его закаляла чердачная жизнь в ежовых рукавицах раздраженного бедностью, служебною неудачею и неподвижным сидением на одном месте родного отца. Всего оказалось в достаточном запасе: хитрость и осторожливость битой собаки, ее же льстивость с поджатым хвостом и другое — все в надлежащей цельности, в порядке и на месте. Стоит Николай Семенович с докладом перед любою благотворительною дамою все таким же неизменным: тот же дружеский, улыбающийся взгляд, когда читает доклад; та же живая игра навостренных ушей, когда выслушивает приказания, точь-в-точь, как у любимой болонки, когда ее заставляют служить. Даже как будто и хвост вытянут так, как у ищейки, которой приказано отыскать запрятанную вещь и принести сейчас же и во что бы то ни стало. Все в нем мило: и эта пестрая шерстка, худощавое длинное тело, чисто вымытая, вылощенная длинная мордочка, а главное, ласка и готовность ринуться по первому слову со всех ног, хотя бы и не за делом, а ради одной праздной забавы. Дамская любовь со

скучного и флегматичного мопса, с изнеженного шарло перенесена была с полною готовностью и на этого человека. Он такой услужливый, он такой ласковый, безропотно покорливый и очень умный. Надо было княгине разузнать секрет у портнихи мадам Аннет, какого фасона и цвета платье шьет она на бал Дворянского собрания для графини, — и месье Зыков в тот же день сообщал с подробностями. Он делает и не такие крупные одолжения, он оказался способен на величайшие: он умеет передать на словах ту тайну, которую нельзя выразить на письме даже по-французски. Ему одному можно поручить разузнать, кому раньше и кому лучше высланы будут на Кузнецкий Мост французские модные материи. У него десять рук на те случаи, когда разгуляется дамский каприз и разом разохотится на множество поручений. Только и скажет он как-то по-своему и странно: «Одна моя нога здесь, а другая — там», — и сделает с изумительною поспешностью. Из-за груды покупок, привезенных по поручению, самого и не видать, а он, однако, всегда привезет их в срок и даже гораздо раньше. Незаменимый человек, очаровательный молодой человек! И в манерах стал улучшаться, оставил кое-какие дурные привычки. Тонкими платками обзавелся и духами опрыскивается. Можно его кое к чему и допустить, например, дать ему поцеловать ручку и этим не погнушаться, посадить его за чайный вечерний стол с серебряным самоваром и, саксонской посудою. Не надо заботиться и волноваться о том, что он возьмет пирожное прямо голыми руками, что он вздумает опрокинуть чашку вверх донышком, чтобы в знак благодарности, положить туда обмусоленный кусок сахару.

Наступила, в самом деле, для Николая Семеновича Зыкова пора полного блаженства. Вот он в надушенном будуаре докладывает сидя, а товарищи тем временем, в сторожевской, пропитанной насквозь махоркою, стоя и торопливо, затягиваются из одной трубки через перышко мусатовским вакштафом. Он сидит и за обеденным столом, — положим, на кончике крайнего и дальнего стула, — однако ест кушанья, изготовленные настоящим французом поваром. А небритые и немытые сослуживцы его, забравшись в низок Егоровского трактира, требуют перед 2–3 парами чая даровую закуску из кусочка ветчины, огурчика и пеклеванника на основании

обычая, давно вынужденного у хозяина трактира чиновничьею бедностью и незыблемо установленного. Или, еще хуже того, товарищи сытого Зыкова спят и видят и усиленно ищут такого просителя, который угостил бы их солянкою в кастрюльке. Или, как консисторские нахалы, всею оравою накидываются на пришедшего сельского попа и грабительски вытаскивают у него из-за пазухи пирог с ячневой крупою.

Николай Семенович превознесен и отличен даже тем, что освобожден был от прямых служебных обязанностей, от ежедневного посещения комитета на Маросейке. Он весь отдался дамским особым поручениям и, с воли и ведома прямого и хромого начальства, был совершенно откомандирован к патронессам. Ему у них привольно. Его все они до единой знают, ценят; большая часть считает его не только полезным, но и необходимым человеком. От него зависело то обстоятельство, что для некоторых благотворительниц он сделался правою рукою и ногой: ступить без него не умели, взяться ни за что не могли даже по домашнему хозяйству. А он, тем временем, подучился болтать по-французски целыми фразами и еще более округлил манеры: брал у Иогеля уроки танцев и переменил походку, способы кланяться и садиться. Его начали считать своим и наружно оказывать ему чрезвычайные знаки внимания, любезности и откровенной приветливости. Вот в это-то время и произошло то крупное недоразумение, которое повело к роковому исходу. Недоразумение это порождено было грубою ошибкою во взаимном понимании обеих сблизившихся сторон.

Душевный прием суждения по наружности, при непривычке ленивых и сытых людей к анализу и какому-либо тонкому разбору, послужил главным основанием к заблуждению: сходственные черты милых домашних животных, в сущности, не оправдывались и в данном субъекте даже совершенно отсутствовали. Если уже идти тем же путем сравнения, то окажется, что все было понято в обратном смысле и извращенном виде. Это худощавое, длинное и гибкое тело доказывало способность ко всяким изворотам, подсказывало, что этот человек способен пролезть во всякую щель, не зацепляясь. Не заметили те, кому это надлежало ведать, что эта льстивая ласка, усыпляющее мурлыканье, даже эта постоянно вычищенная, вымы-

тая и выбритая мордочка — характеризовали животное совсем другой породы: лукавое и вороватое, полное вкрадчивой хитрости и ужасающей изворотливости. Оно одарено редкою остротою чувств именно для того, чтобы в своей кровожадности быть ненасытным. Нет нужды, что он не брал никаких вещественных знаков благодарности за оказываемые услуги, а довольствовался казенным содержанием. Он искренно уверял, что помощь, оказываемая им дамам и самому благотворению, до того ничтожна, что о ней и говорить не стоит, ему самому совестно слушать о приписываемых ему заслугах, — смирение невиданное, неслыханное и столь очаровательное.

А затем у него светящиеся глаза, маленькое ухо, короткая и почти круглая голова, как у самых свирепых хищных животных. У него и походка неслышная, как у этих, где под густою шерстью на изогнутых ногах спрятаны смертоносные, быстро выскальзывающие наружу когти. Нет, это — не шарло, всегда открытые когти которого менее опасны, потому что вечно бывают измочалены. Как настоящий лютый зверь, дамский баловень и угодник в лице комитетского чиновника прятал свои, чтобы показать их в то время, когда накопятся силы и подойдет случай. Он трудился, хлопотал, недосыпал, подвергался унижениям и неспроста проходил не раз сквозь строй оскорбительных, презрительных насмешек. Он вознамерился за все испытанные страдания и очевидные заслуги получить плату, награду и отступное, однако не мелочью, а каким-нибудь внушительным кушем. Если те ошиблись излишком ласки и приветливости, он ошибся тем, что, относя их прямо к своей личности, не сообразил и не догадался, что это — прямое обязательство вежливости, деликатного обращения, как заурядная привычка людей, воспитанных в холе и неге до пресыщения, в спокойной среде самодовольства, где нет места отчаянию или постоянным раздражениям. От мягкого стула и постели улыбающийся привет дается на рубль ценою с твердою уверенностью, что этот низкий нищий, получая, оценит дар в полную тысячу. Если он, этот чужой, обласканный, вздумает торговаться и запрашивать больше, — значит перешел предел. Необходимость преграды становится настолько ясною, что ее сейчас же с досадою, ловко скрытою и затаенною, начнут быстро сооружать те же самые лица, которые, шутя и от безделья, ее расстроили. Этого-то и не заметил наш слепой счастливец,

а когда на сильный скачок свой получил такой же отпорный толчок, то и выпустил свои смертоносные когти. Теперь пока им только намечена была самая жертва, но уже производилась страшная скрытая работа мстительной души, соображая подходящее время и соразмеряя для прыжка расстояние. У настоящего зверя промаха не бывает, он не скользнет лапами мимо чужой шкуры и не разобьет своего крепкого медного лба. Так поступил и Зыков, притулившийся, как зверь, в яме за камнями и тщательно припрятавший когти.

Веселый, шаловливый и беззаботный кружок московских дам-благотворительниц как-то один раз вздумал осмотреться, побуждаемый неопределенным инстинктивным чувством. На него как будто пахнуло откуда-то легоньким холодком; не то ему чего-то стало недоставать, не то кого-то из своих он нечаянно потерял, да не сразу успел спохватиться.

— Да где же Зыков? Куда пропал Николай Семенович?

Одна не видала его больше месяца, по ее довольно приблизительному счету.

— У княгини Веры он даже очень давно не был. От одной он увез брабантские кружева в чистку и не возвратил и записки не оставил.

— Конечно, возвратит, если не сам, то через родных своих. У него есть такие. Сам он про них никогда не говорил, а стороною было слышно, что у него они есть, эти родные. Он такой честный!

Многих занимал также серьезный вопрос, с кем теперь играть в карты, в фанты, в маленькие игры и т. п.

— Он так мил и находчив, так весело смешит и мило шутит. Я всегда им в это время любуюсь.

Решено было навести справки на месте службы, а если уж это не удастся, то и в том доме, где он жил и куда ходил ночевать. Оказалось теперь по справке, что некоторые дамы настолько не гнушались Зыковым, что бывали у него, не боясь подозрений и превратных толков. Зыков был весьма дурен, вытянутая физиономия его походила на лошадиную; помилуйте, кто пленится таким уродом среди щеголеватого офицерства? «Вот езжу к нему, езжу в квартиру его, чтобы ускорить одно благотворение и осчастливить им десять человек».

Легкое беспокойство весело настроенного кружка весьма легко и скоро удовлетворено было самым точным сведением, что Зыков ушел в монастырь.

— Но в какой? Их здесь так много!

Новая справка прямо указала на Донской.

— Если он сделался настоящим монахом, то это очень любопытно; ведь он отрастил волосы, отпустил бороду, как делают эти попы.

Видали Зыкова в чистеньком фраке и в танцах, как не посмотреть на него в рясе и на молитве!

— Ведь он будет ходить по церкви и дымить этим кадилом.

Поехала в Донской не одна карета и не одна коляска, к полному изумлению монахов, которые гуляли праздно около церкви, когда шла в главном соборе обедня. От них узнали дамы, что Зыков в затворах.

— Что же он там делает?

— Спасается. Никуда не выходит, даже в храм Божий. Никого, кроме отца архимандрита, к себе не допускает.

— Когда же он выйдет и покажется ? Нам его надо видеть, очень надо видеть.

— Когда найдет к тому благопотребное время. А теперь втайне молится, сокрушается о грехах, что содеял там, в мире.

Вот это слово «спасается» показалось столь неожиданным и острым, что кое-кого кольнуло прямо в сердце. Решили наведываться. Разве не все равно, в какую церковь ездить молиться, если уже заведен у всех такой обычай по преданию от родителей? Каждое воскресенье заведено и фамильною печатью припечатано приказание по большим праздникам бывать в какой-либо из модных церквей — в университетской, на Остоженке, в Шереметьевском доме у Сухаревой башни и в других.

— Все еще в затворе! — продолжает говорить справка в Донском монастыре от слоняющихся по аллеям и кладбищу монахов.

— Да какие же это грехи? И зачем ему понадобилось от нас скрываться и отмаливаться и так строго и так даже страшно? — думали посетительницы, проходя мимо этих двух окон под архимандричьими кельями, которые занавешены были густыми зелеными шторами.

— Зачем этого маленького человека мы допускали столь близко? Пусть бы он там... — раскаивались другие.

— Начнет исповедываться на всю церковь — кажется, это бывает у монахов — надо, во всяком случае, постараться заласкать его, повидаться с ним. Ну, просто попросить его, чтобы каялся как-нибудь по-другому.

— Как же это сделать, когда заперты двери и наглухо спущены шторы?

За этими шторами, действительно, в задумчивости сидел этот паук и плел паутину. Плел он ее, конечно, с искусством и опытностью старого и зоркого рыбака и притом еще под надзором не менее опытных глаз самого настоятеля. Он уже и привыкать стал к легкой работе затвора, да наставник сказал:

— Довольно. Теперь закрепи. Длинная сеть тоже не всегда полезна бывает. Она одну рыбу ловит, а другую пугает, — как бы всех не распугала? Я вот пришлю церковного старосту; пусть он скажет, до чего оскудело кружечное и кошельковое приращение.

После того встретившие дам монахи обрадовали их неожиданною радостною вестью:

— На днях доброхотно вышел. И, как свеча перед образом, бдит на молитве. Даже удивляемся.

— Вот и Зыков!.. Кажется, он? — по крайней мере, в эту сторону указывал рукою провожатый монах, да и теперь туда же кивает головою с клироса и подмигивает. Не узнать Зыкова в темном углу между большою печкою и церковною стеною и не разглядеть его: все стоит опустя голову, часто молится и еще чаще того становится на колени. Некоторым удалось уловить его тяжкие вздохи.

Это уже очень страшно. Это уже что-то такое невероятное, но очень, очень любопытное. Вот, даже дух замирает, так это прекрасно и умилительно.

В следующее воскресенье в Донской монастырь наехало карет вдвое больше, на следующее втрое. Зыков стоит на прежнем месте, смиренно понурив голову и не поднимая глаз, иная так бы вот и пошла приказать ему поднять голову и хоть раз взглянуть на грешницу. Он все еще закреплял на сетке петли; захлестнул крепким концом последнюю.

— Приемлет ныне малое послушание, «благоугодил», говорит. И от священноархимандрита получил благословение на церковный сбор во дни богослужения.

Ловецкий удар был рассчитан верно. В развернутую сеть стала попадать сначала мелкая рыба с серебряною чешуею, добывалась и с золотою. Блюдо, которое носил по церкви с опущенными долу очами Зыков, наполнялось даянием доверху, все из-за того одного, что интересный молодой отшельник в колпачке, сдвинутом на самые брови, умел, остановившись, поклониться вкладчице по-монашески, во всю спину, а не по-старому и по-светски, как в кадрили, одною головою.

Любопытство заразительно среди праздных людей, а потому нет ничего удивительного в том, что и рогатые и комолые супруги потащились за женами посмотреть на столь редкостного монаха.

— Вчера был он среди нас, а теперь лег живым в гроб, и вот, говорят, по временам встает и тенью шатается по церкви. Надо взглянуть!..

Совершилась и в монастыре перемена: из начальника настоятель сделался истинным другом (переименованным впоследствии в соучастника). Об одном только и была его просьба:

— Порадей святой обители верным и благим послушанием. Токмо не передергивай петлей сети. Действуй косно, не борзяся.

Когда вскоре потребовалось поучение из того, о чем было надумано в глубокомыслии затвора, разрешение дано было на посещение убогой кельи рыбака одной лишь той, которая могла больше вместить и много веровала. То была княгиня Вера, не пропускавшая ни одного воскресенья, больше других клавшая на блюдо, сильнее и настойчивее других стучавшая в затворенную дверь.

Там в это время за нею успел уже побывать сам святой владыка, умнейший и прозорливейший святитель Филарет, привлеченный слухом о подвигах нового затворника. Он беседовал с ним. Владыка сам видел и рассказывал потом всем, что у нового подвижника на простой деревянной кровати действительно лежали в изголовии два березовых полена и стояли в келье лишь два простых рыночных стула.

Таинственная келья стала еще святее и еще любопытнее, в особенности для таких верующих, какою была молодая и красивая княгиня Вера. У нее был старый муж, разбитый параличом и давно

лежавший в постели. Врачи обрекли его на смерть, и княгиня прибегала к молитвам, посещала монастыри, делала вклады. Донской монастырь, в особенности, привлек ее внимание и полюбился, не потому лишь, что был близко. В келье затворника, умевшего выбрать именно эту обитель, нашла она и то кресло, на котором сидел святитель, и тот образок в серебряной оправе, которым он благословил таинственного монаха. Видела она келью из трех конурок, а не комнат; но лишь в одной стояла та убогая мебель, которую похвалил Филарет, да шкапчик с образами; в другой, задней, не было ничего, кроме стен и священно-таинственного безмолвия. Когда посетила келейный сумрак новая посетительница, затворник и остальным желающим вскоре решился дать разрешение. Да и пора наступила: богомольные жены испытали продолжительный искус. Посещения участились, келейное безмолвие нарушилось: затворник впал в искушение, падал, задумывался, тосковал и оправдывался тем, что сам архимандрит пленился теми же удобствами для бесед и тихих поучений. Затем всякий, кто захочет, пусть то и говорит. Да и что кому за дело, что когда умер муж княгини Веры, Зыков читал псалтырь по нем, по давнему знакомству? Пусть говорят, что у них с настоятелем заведены очередные обеды через день, и у каждого из них имеется свой повар. Пусть говорят!.. главная задача, во всяком случае, теперь решена с победительным успехом: попала рыбарю в сети та самая вкусная и большая рыба, на которую и расчет был сделан.

Сквозь монастырские стены нельзя нам было видеть, что происходило за синими занавесками, а слухам и сплетням мы не смеем доверяться. Именно в Москве с Замоскворечьем они особенно злоязычны, всякие слухи перепутаны вкривь и вкось и подозрительны, как всякая клевета и диффамация. Верю тому лишь, что вышло прямо на Божий свет и городские стогны и показалось въявь.

В одном из московских, по большей части либо косых, либо кривых переулков (на этот раз именно в таком, которые также зачем-то изгибается, исходя из большой улицы) случилось такое событие. В сумерки шел по этому переулку к Каменному мосту одетый в черную ряску некоторый человек. Ему навстречу вышли из подозрительной «Ямки» три молодца. Из них один нес большую бутыль. Поравнявшись с черным человеком, этот толкает его пле-

чом своим в бок и роняет бутыль, из которой льется деревянное масло. Поднимается крик, завязывается перебранка, после которой пускают в дело кулаки. Черного смяли, повалили и били, как могут бить только графские крепостные кучера и конюхи, да мясники Охотного ряда. Избитого, еле дышавшего, втащили на извозчика и свезли в часть, где поместили с ворами и мошенниками на несколько дней (его из монастыря исключили, архимандрита удалили). Знать, «спознал князь да доведался (как поется в песне о Ванюше-ключнике), что от самой от последней девки сенной горничной, когда уже довольно было попито и поедено, в красе-хороше похожено, про его ли, княжую милость, много было ругано».

Оправлялся Зыков очень долго и медленно, ровно столько времени, чтобы монашеским обетом смирения уврачевать душевные и телесные раны, или в самом деле, по мирскому обычаю, растравить язвы до новой боли уже от кровавой обиды, которая толкает на мщение. Оправившись, он и в самом деле взял с собою оба орудия и слово примирения, да кстати прихватил и нож. Княгиня собралась к Троице говеть и зашла к Зыкову попросить, христианским обычаем, прощения. Он готов был примириться, если позор его будет смыт честным браком, в большой церкви, всенародно. Согласия не было дано, ответ сказан решительный, так как и самый вопрос поставлен был в упор. Сверкнуло лезвие кинжала, купленного на Кузнецком Мосту, и бездыханный труп упал к ногам убийцы. Он быстро схватил молитвенник, припал на колени к трупу и истово начал читать отходные молитвы, пока из зияющей раны, нанесенной как бы волчьими зубами, хлестала фонтаном алая кровь. В таком виде и нашли убийцу, когда, и в переносном смысле, свалилась наконец с его плеч овечья шкурка и объявился подлинный волк, как высказался о нем сам митрополит, когда довели до его сведения о содеянном злодеянии. «Вяжите, заточайте, судите и казните!» — говорил Зыков, а на первый случай и оправдание было приготовлено в простых и кратких словах, такого смысла и значения:

— Так угодно Богу! Я, видимо, избран орудием для того, чтобы из этого греховного мира праведную и святую душу чистой голубицы — княгини Веры — препроводить в горние селения. Там, а не здесь, подобает ей быть.

Я был личным свидетелем дня казни Зыкова, но, по случайностям скитальческой жизни, попал и в места уголовных возмездий, в самое ядро и пекло каторги и ссылки, куда посылают подобных грешников. В административном центре каторжных заводов и промыслов, — именно в Большом Нерчинском заводе, — я встретился с этим человеком, начавшим свое житейское поприще в роли Молчалина и кончившим его на гражданской свободе в роли Ваньки-ключника и Ваньки-Каина. На этот раз, ровно через десять лет после казни, в 1860 году, я нашел его там в казенном звании «пропитанного», т. е. перед поселением, в разряде «исправляющихся».

— Исправился ли он — спросит иной читатель.

— Зайдите к Зыкову, — советовал мне один из начальников нерчинских заводов — Он вас ждал, он намеревается поездить по Забайкалью для собирания песен и записи обычаев. Разрешения из Иркутска ждет. Теперь он нуждается в советах и указаниях, не откажите ему в них. Узнавши о вашем приезде, он снова умоляет в письме уговорить вас не погнушаться им. Конечно, он и сам бы пришел, да тяжко болен; у него и подагра и хирагра разыгрались на это время. Зыков молит о свидании, говоря, что, если не удастся мне уговорить вас, он наймет людей донести его на носилках. Вы исполните истинно христианский долг.

Благоволение начальств — видимый первый знак в пользу ссыльного.

По узенькой тропе, едва промятой в глубоких снежных сугробах оврага, я поднялся на ту горушку, на которой стоял домик в два окна, — в два по своеобразному сибирскому обычаю, не признающему нечетного числа окон, как указано узаконенными нормальными чертежами. С горушки открылись еще лучшие виды на эти горы, обступавшие селение, как застывшие волны рассерженного океана, — горы, богатые настоящим серебром и другими минеральными сокровищами. И этот выбор жилища — добрый знак в пользу ссыльного.

Единственная комната в этом домике среди белого дня поразила меня темнотою, и, вопреки сибирскому обычаю, в ней было очень тепло. Во мраке мне, прежде всего, бросились в глаза ширмы направо. С тех пор первое впечатление не покидало меня. Ширмы

были центром всего жилища, из-за них затушевывалось все остальное. За ними тотчас послышался кашель, спрашивающий голос и показалась фигура живого мертвеца, совершенного скелета, у которого только что не стучали кости, как у настоящего. Эта худоба скрывала черты лица и их выражение. Я с трудом успел разобраться и в том и в другом, когда услышал высказанное глухим, гробовым голосом приветствие. Мертвец вкрадчиво говорил:

— Вам уже, вероятно, известна история моего несчастья?

— Роковой день вашей жизни был одним из счастливых в моей: я шел предъявлять свой гимназический аттестат, освобождавший меня от риска экзамена в университете.

— Я и Альфонским был обласкан, Овер лечил меня, ведь я в больших домах был принят. На меня возлагались серьезные поручения, доходившие даже до графа Арсения Андреевича. А жив ли Грановский, Рулье — ваши звезды?

Началась известная песня униженного и ссыльного, стремящегося приподнять свое прежнее значение хотя бы на одну пядь. Я дал ему волю вспоминать. Видимо, он перенесся мыслями на родину и витал воображением по Москве, с точностью вспоминая адреса милых домов и мимоходом останавливаясь на попутных зданиях, на прикосновенных к главному рассказу лицах. О своем преступлении, конечно, ни слова, как все прочие ссыльные. Да и никто в Сибири не нуждается в этих сведениях из деликатности и убеждения, что, конечно, все волки серы. Разумеется, всякое признание интересно. Случалось, что вот иной стал подходить к интересному месту, но на самом же деле он ушел от этих воспоминаний еще дальше, даже гораздо дальше, чем отвел меня Зыков в самом начале беседы, прямо в университет, из Донского монастыря на Моховую.

Во все время, пока длилась беседа, его ширмы не давали мне покоя: стоят себе, заслоняя все, даже интересное лицо хозяина, и кричат, требуя особенного к себе внимания. Точно какая новогодняя реклама. Он это заметил.

— Эту святыню я уберег от недоброго прошлого в полной целости, и для нее нанимал во всю дорогу особую подводу. Вот моя главная святыня.

Он показал мне тот образ, которым благословил его Филарет. Приложившись к лику, он повернул ко мне исподку доски. На ней

имелась собственноручная надпись митрополита, изображенная тем почерком, который так разительно похож у всех духовных лиц, подобно русскому почерку немцев, занимающихся в коммерческих конторах.

— У меня есть частица камня от Гроба Господня. Мне ее подарил добрый князь...

Следовала подробная история о характере отношений его к этому князю и о причинах, заставивших последнего обязательно сделать ему этот подарок; все пока о Москве по поводу своего унижения.

Я заметил у него подвешенными на ширмах, унизанных крестиками и образочками различных цветов и калибров, между прочим, и хорошо всем известные: шапочку от мощей Митрофания, рукавичку от Геннадия Любимоградского, поясок из Киева от Варвары-великомученицы. Не ширмы, а целый иконостас отделял от меня его постель и столик. На постели уже лежали две пуховые подушки, на столике Евангелие в серебряной оправе.

«Вот он и не изменился, — невольно подумалось мне. — И что он в самом деле: ханжа или истинно верующий?»

И эту мою мысль он отгадал:

— Я верую, я слепо верую. Это одно утешение в моем несчастьи. Судьба помешала мне сделаться монахом...

Вот, кажется, сам наскочил на больное место, а настороженные мои уши слышат о том, как бы он был счастлив, если бы Господь сподобил его внушить такую же веру другим, какою живет и дышит он сам.

— Одна эта вера и спасает меня.

И с этого пункта крутой переход совершенно в противоположную сторону, по крайней мере, прямо к цели, которая вызвала наше свидание.

— Здесь борется с христианством сильный враг — ламайство. Не по моим немощным силам борьба эта. Не подумайте, что я с этим намерением прошу себе дозволение путешествовать. Расскажите мне, как вы это делаете.

Поставленные мне вопросы все ограничивались практической почвою, доказывая, что он уже раньше присмотрелся к делу и ис-

кренно желает ему послужить. Он показался мне весьма начитанным человеком. Он сумел сделать беседу довольно приятною и поддержал ее так, что у нас вышло как бы литературное утро. Он все обнаружил: искусство хорошо слушать и тонкую осторожность в возражениях. Резко бросалась в глаза и мягкость в манерах, его деликатность в обращении, — все это им по дороге в Сибирь не растеряно. Привез он сюда и уберег и ловкую льстивость в приемах с легким пересолом в комплиментах, и уделил мне в малой дозе на мой счет и по скорости все то, что с избытком расточал во дни оны в Москве и что послужило началом современного печального положения. Ни одною чертою настоящего своего внутреннего мира он не поделился со мною. Можно было уловить лишь только те моменты, когда он извертывался, и не шутя любоваться гибкостью и своевременностью чрезвычайно ловких изворотов. Играл он точно змея и блеском глянцевитой шкурки и всем разнообразием окрашивающих ее пестрых цветов. Неужели он искал во мне, ввиду возможности, хотя бы и мимоходом, попасть в печать, потому что желал представиться не иначе как в благообразном виде? Правда, он жал мне руку при прощаньи, прижимал ее даже к сердцу, убедительно, умоляющим образом прося меня еще раз, хотя один только раз и на полчаса какие-нибудь навестить его. На болезнь пожаловался только за то, что она мешает ему лично навестить меня на отведенной мне квартире. Он даже весьма самонадеянно и уверенно рисовал планы своего путешествия; при такой изможденной фигуре и истощенной натуре, он, видимо, рассчитывал жить еще многие годы (чего, впрочем, не случилось). Он потом вступил со мною в переписку: написал не одно письмо (я их храню), но все, однако, такие, которые не требовали ответов. Он точно помешался на самом себе, и в письменных строках всегда казалось, что он все продолжает чиститься, обшаркивается щеткою и веничком и опрыскивается духами, хотя и дешевенькими.

Самые милые впечатления я вынес от него из дому и с готовностью поспешил навестить во второй раз, хотя он оказался и последним. Тогда, прощаясь со мной окончательно и роняя видные мне слезы, он уже не выдержал и проговорился прямо с маху, без всякого с моей стороны и вне всякой связи с предыдущим нашим разговором:

— Поверьте мне, княгиня Вера была такая святая душа, что я вовсе не совершил над нею какого-либо преступления насилием. Ее душою я лишь только увеличил сонм небесных ангелов.

Обрадовавшись тому, что он снизошел ко мне и приспустил и ослабил одну петельку, я догадался ухватиться за нее.

— Вероятно, сама княгиня довела вас до этой крайности?

— О, нет! — отвечал он мне, и я видел, как мгновенно глаза его вскинулись к небу и руки повисли, как плети: — Княгиня была ангел кротости, но, вследствие не зависящих от нее обстоятельств, она была поставлена в такое безвыходное положение, что для спасения этой чистой души я решился прекратить жизнь ее.

В самом деле нам уже больше не о чем было разговаривать. Если он не говорил затверженную фразу, как помешавшийся на подобном выражении, то уже во всяком случае на каторге он не исправился. Он все тот же и теперь, каким был и в то время, когда тянули его за язык, именно в страшный день безжалостного убийства, над неостывшим еще трупом его жертвы.

— Я скажу вам, как он исправился или переменился, — говорил мне один из интеллигентных людей, очутившихся также на каторге и к которому я обратился за справками.

Это был Ипполит Васильевич Кашкадамов, из воспитанников московского Воспитательного дома. Кашкадамов довольно долгое время жил с Зыковым в тобольской тюрьме, где все оставались подолгу, особенно ссыльные из привилегированных сословий (Кашкадамов был действительным студентом Московского университета и попал в Сибирь за подделку монеты). Под прикрытием того обстоятельства, что приказ, распределявший ссыльных по областям, уездам, волостям и городам, находился в то время в Тобольске (теперь он в Тюмени), несчастные люди от этапного пути отдыхали здесь и перед каторгою запасались кое-какою силою. В те времена было попроще, и тобольская тюрьма представляла собою некоторое подобие гостиницы.

Зыкову позволили в большой тюремной общей камере, устроиться так, как было ему поспособнее, чтобы уединиться и помолиться, не вызывая соблазна и насмешек (ссыльный народ — большой охальник и злой шутник).

— Вот эти-то ширмы, что вы видели у него в Нерчинском заводе, видели и мы в тобольском остроге. Он их возил на особой подводе, как настоящий фокусник, который показывает, как Петрушка всех колотит, а сам невоздержно при этом хохочет. Это — не иконостас, а, так сказать, забор, который в здешних местах строят в реке для прославленной сибирской рыбы — максунов. Иной из них придет к кольям, стукнется головой, очумеет и не знает дальше, что ему делать. Надо бы повернуть назад и утекать, а он этого не смыслит, и все стоит и все ждет, когда его возьмут голыми руками.? Ох, эти ширмы! Много они бед натворили, да и не бед только, а настоящих преступлений. Правда, что, по его словам, тут из многих святых мест получены им подарки. И не столько это, сколько он сам свят и величествен из-за этих самых ширм. Так он благолепен и медоточив, что бери да и пиши его лик на икону и ставь ту икону в славну церковь.

— Вот я что хочу рассказать вам, — продолжал И. В. Кашкадамов. — Содержался в одно время и в одном этом же танцевальном зале бродяжьего и воровского российского собрания Коренев — злодей высокой пробы. Он восемнадцать убийств совершил и владел непомерною силою духа еще настолько да на полстолько убийств. Когда его потом приковали на цепь и посадили в одиночную камеру, он так отрезал в ответ архиерею Феогносту, что того отшатнуло на несколько шагов от одного только слова злодейского (ибо окровавленные руки были прикованы к собачьей цепи).

В то время, про которое я рассказываю, Коренев лежал с нами на одних нарах. Полеживал себе да посвистывал. Иногда в карты играл, а чаще по сторонам поглядывал. С Зыкова он не спускал глаз. Раз и толкает меня Коренев под бок локтем: «Гляди, Полит Васильич, у московского-то чудотворца рыба уж начала знатно клевать». Я лично не придавал до той поры большого значения тому обстоятельству, что к Зыкову дозволен был доступ всякому; ходило к нему народу много, особенно бабья. Известно, их это дело — сначала святошей рожать, а потом ханжей воскармливать. К тому же ведомо мне было, что барыни декабристов в городе Тобольске, на досуге и безделье, придумывают какую-то новую веру и что больше всех беспокоится об этом Фонвизина. Архиерей Владимир и ласкал ее, и доносы о ней в Синод посылал, а она, однако, успела натворить то, что на купеческих жен и дочерей нашло самое мистическое

настроение, вместо родного язычества. И то не был Сведенборг настоящий, а что-то около него, только немножко позаволокло мозги туманом, — словом, одурели бабы. На что им лучше Зыкова, когда его привезли сюда да прочитали его статейный список, да ветер кое-что нанес, да его самого послушали? Важное кушанье! Чего, помилуйте, лучше? Первостатейную княгиню убил, в монастыре жил, архимандрита загубил, в благотворителях состоял, а сам образованнейший человек, в каком-то институте курса не кончил. Роману тут так много, что и не выгребешь и не переслушаешь. И, в самом деле, слушали его очень долго; иные каждый день, как одна рябенькая купеческая вдова с двумя пухленькими дочками. Все, бывало, видим — проходят они втроем за эти ширмы и беседуют. А то вдруг пришла к нему одна дочка, самая пухленькая, без сестры и маменьки. В это-то время меня Коренев и толкнул в бок, да — чертов он сын — так-то больно пихнул, что я насилу отругался.

Стал Коренев помаленьку и предсказывать: «Смотри, — говорит, — Полит Васильич, завтра она опять придет одна и сидеть будет дольше». Почему, мол, ты, дурья голова, знаешь? — «Да уж не сумлевайся! я ихнюю сестру только что не убивал, а хороводы с ними важивал и любил это дело, когда на воле жил и ножных брушлетов еще не надевывал. Он в монастыре недаром привык пенки снимать». И предсказал проклятый варнак: пришла в самом деле одна. Нам из-за косяка в ту маленькую комнатку все было видно, потому что двери, по закону, были сняты с петель. Очень хорошо мы видим, как проскакнула за ширмочку и даже как будто еще и каблучком ее задела и покачнула. Коренев, лежа на полатях, приподнялся даже, оперся на локотки и воззрился как коршун. Ох, зоркий у него был глаз и строгий! Когда, бывало, рассердится, зрачки так и забегают, как мыши, которые не найдут, в какую щель безопаснее сунуться. Я уже вижу этот самый взгляд и думаю, что и он видит что-то недоброе. Ну, мол, худо тому, кто у этого глаза на смотру и на линии. Меня даже морозом по спине продернуло. Однако Коренев меня немного успокоил тем, что, смотрю, опять опрокинулся на спину и смотрит в потолок и даже песню мурлыкает. Дай-ка, мол, вгляжусь я в него; ой, худо! он рыжую свою бороду закусил, прием тоже знакомый мне и знак весьма внушительный!

Вышли они парочкою. Зыков, как вежливый кавалер, под ручку ведет барышню. Проводил ее за дверь, возвращается. Я и не заметил, как успел Коренев очутиться с ним лицом к лицу, должно быть, одним прыжком, как тигры это делают. Понесся по казарме его зычный голос, неприятно-сиплый, как у всех бродяг, подмоченный и застуженный.

— Скажи ты мне, дворянский сын, кто изо всех нас лучше?

Рукой он сгреб его за горло и шагу ему не дает. Сам орет, на всю голову, во всю силу, что было ее в груди у него и в горле.

— Скажи, говорит, кто из нас лучше: ты или я? Не пущу, пока не дашь ты мне ответа.

Казарма вся гогочет. Кто заливается смехом, а молодые ребята начали науськивать. Я подумал: это, мол, ему будет вторая публичная трепка, да последняя ли? Вот сторожа показались в дверях. Мелькнули солдатские штыки. Коренев, должно быть, это скоро заметил и начал накладывать, да так быстро, что только кулак сверкал. Тут его и связали ремнем и оторвали от лежачего; он и не прекословил, даже ногой не брыкнул. Когда подняли Зыкова, то уже понесли на руках, не мог идти.

Долго лежал он в тюремной больнице. Коренева за это за самое на цепь приковали: не самоуправничай и не озорничай! Про Зыкова мне сказывал доктор наш, что у него сильно повреждено легкое и, вероятно-де, прирастет оно к спинному хребту. Однако вот вы его в Нерчинском заводе живым видели, и он еще и вас успел обмануть. А не спрашивали вы там про дочку Калинского, не рассказывали вам про вдовую попадейку? Жаль! Тогда не пришлось бы вам сдаваться на его слова и приняли бы вы ширмы за шарманку, слезы — за насморк, воздыхания — за привычку дурного воспитания, а ученое путешествие — за подвох. Ему надо теперь чем-нибудь отличиться и выдвинуться, чтобы попасть сначала хотя в волостные писаря, а потом поискать и высокий чин коллежского регистратора, который он так неосторожно обронил в Москве, на Каменном мосту. Вот он и погулял бы кстати и песенок по Забайкалью-то послушал бы. Заседатели ему в этом деле помогли бы: девок бы к нему нагнали, а у семейских они такие породистые и такие гульливые. Пособрал бы он кое-что из веселенького и в печать послал, ну хотя бы в газету «Амур» что ли. Узнало бы об этом сильное

начальство, стало бы о нем хлопотать повыше и кричать по всем землям, по всем странам: «Исправился, совсем исправился нашими стараниями. Нашею помощью вернулся блудный сын в дом отца своего. Заколем на радости теленка или ягненка», или что иное на тот раз под руку попадет.

Не бывать плешивому кудреватым! Так я понимаю это дело по пристальным и давним моим личным наблюдениям. Припоминаю последнее объяснение ваше с ним, которое я уже раз от него сам слышал, когда он в тобольском остроге отвечал на вопросы генерал-губернатора. Он тоже тогда играл зрачками. Я как сейчас помню слова его: «Я — великий грешник!» и слышу его вздох. Он был даже настолько неосторожен в то время, что стукнул кулаком себя в грудь, по-актерски. Припоминая рассказ ваш о свидании, мне хочется задать последний вопрос: что лучше — цинизм ли бродяги Коренева или мистицизм горожанина Зыкова? Лично я над этим вопросом никогда не задумывался, может быть, потому, что привык на каторге делать все тотчас же, как только задумал. Проверять себя некогда, — сейчас в барабан забьют, — и оглянуться не успеешь. Я всегда был твердо убежден, что из Коренева, при благоприятных условиях жизни, всегда мог выйти человек хотя на что-нибудь годный; Зыков — безнадежно неисправим. Счастлива вся наша русская каторга именно тем, что таких отвратительных личностей попадается на ней очень мало.

Глава XI. Преступления против казны

Фабриканты металлических и бумажных фальшивых денег. — Места и способы приготовления. — Деньги в шубах. — Венгерцы. — Лабзин. — Знаменитый Цезик. — Его замечательное мастерство. — Политические цели в фабрикации ассигнаций за Байкалом. — Фабрикация фальшивых документов; места и лица. — Корчемники; корчемство вином и солью. — Контрабандисты. — Кража золота и серебра. — Кяхтинская, сибирская и русская контрабанда

Покушения на интересы казны (преступления против имущества и доходов ее) выразились абсолютным числом сосланных в Сибирь в таких отношениях: самое большое количество жертв ушло за подделку и перевод ассигнаций и монеты, затем за корчемство вином и солью, потом за нарушение таможенных постановлений (контрабан-

ду) и, наконец, за похищение драгоценных металлов на заводах и промыслах (за кражу золота). Похищение и истребление казенных лесов появлением своим отдельною рубрикою в сибирских табелях опоздало, а кража казенного имущества (облагороженная прозванием «присвоения и утраты вверенного по службе имущества») отнесена, вместе с подлогами по службе (мздоимством и лихоимством), в отдел преступлений должностных лиц по службе государственной и общественной. Подчиняясь этому порядку, преследуем задачу нашу прочитать списки ссыльных преступников до конца.

1. Фабриканты металлических и бумажных денег

Прежде всего не можем не выразить сожаления о том, что сибирские табели, путая производителей с потребителями, слепого со зрячим, фабрикантов и заказчиков, передатчиков и обманутых (всех четырех) в одну кучу, лишают нас желаемой возможности отделить тех, которые фабриковали бумажные деньги, от мастеров, попавшихся на подделке монеты. На практике, по обычаю и закону всякого ремесла (требующего и разделения труда и служения какой-нибудь одной специальности), оба вида преступных деяний выразились ясными признаками отдельного и самобытного проявления. С переменою способа записей ссыльные табели этой разницы не признавали, но по некоторым старым признакам (по таблицам за 9 лет с 1838 по 1846 г.) можно видеть и убеждаться на цифрах, что монетчиков попалось больше, чем фабрикантов бумажных денег (с лишком в 4 раза), хотя настоящее время, по всему вероятию, переставляют картину в обратном виде. С уменьшением количества ходячей монеты и с переменою ее внутреннего достоинства, древнейший способ денежных подделок, требующий меньших подготовительных средств от безграмотного, но опытного техника, естественно, должен был уступить новому способу подделок, практикующемся во время развития технических производств (в особенности фотографий, литографий и т. п.). Хотя для монетчиков целые столетия опыта, а для фабрикантов только с небольшим сто лет практики (со времени манифеста Екатерины II, вводившего ассигнации с целью «подать способы к обращению денег, от которого много зависит благоденствие народа и цветущее состояние торговли»), тем не менее развитие подделки фальшивых

кредитных билетов в настоящее время одно из ярких и модных явлений. Подделыватели ассигнаций, уступая монетчикам[162] в первую половину текущего столетия, в течение второй заняли, конечно, более почетное и видное место по необычайному распространению кредитных бумаг всякого рода. Прошлое время дает настоящему следующие указания и предостережения.

Подделка фальшивых денег нисколько не останавливалась при изменении формы денежных знаков, и подделыватели не затруднились ни в 1817 году, когда ассигнации, дойдя до громадной цифры 836 миллионов, упали в цене (и приняты были меры к изъятию их из обращения), ни в 1843 г., когда они заменены были кредитными билетами. Напротив, даже перемена ассигнационного курса (в 1837 г.) на серебро усилила подделку и увеличила число ссыльных (в 1841, 1842, 1844 и 1845 гг.). В наши дни не задумывались подделыватели над более трудными сериями и в подделке кредитных билетов не совладали лишь с радужными (высшего достоинства) и реже снисходили до фабрикации бумажек желтого цвета и самого низшего достоинства (рублевых). Наибольшее количество ссыльных по делам фальшивых бумажек, в известные нам годы, замечалось в смежных с границею губерниях, свидетельствуя сильнее о передатчиках, чем о фабрикантах, и издавна указывая на заграничных деятелей, подрывающих наш кредит с помощью жадных к денежным богатствам и необыкновенно ловких и опытных в такого рода операциях евреев[163]. Этим явлением и выразилась первоначальная история наших фальшивых бумажек на то время, когда свои мастера практиковались еще на древнем способе чеканки фальшивой монеты и к способам подделки бумажных денег только присматривались и приловчались.

---

[162] За подделку и перевод монеты сослано 368 чел. (850 мужч. и 18 ж.), а подделывателей и переводчиков фальшивых ассигнаций за то же время выслано только 86 (82 м. и 4 ж.).

[163] Бывшая Белостокская область отличается самым высоким процентом изо всех. При этом евреи, по процентным отношениям ко всем другим инородцам, занимают самое первое место. Риск обогатиться фальшивыми деньгами в этом народе уступает только риску в поползновениях на контрабанду. Так уверяют сибирские цифры.

Наибольшее число покушений обогащаться фальшивою монетою внутри России объявилось в тех губерниях, где городская жизнь сумела пригреть те технические мастерства и ремесла, которые облегчают фабрикацию запрещенных продуктов, и в тех местностях, где наиболее развито заводское и фабричное дело. Процентные сравнения в ряду многочисленных русских сословий указывали на большую виновность в этом преступлении именно людей, приписанных к заводам или работавших на фабриках. Им уступало даже купечество, наиболее в том виновное (по отношению к ссыльным за уголовные преступления), и замечательно далеко остались позади крестьяне других наименований и духовенство (сословия, наименее виновные в этого рода подделках). Таким образом, губернии Пермская, Нижегородская, Оренбургская, Казанская, Владимирская и Московская обнаружились в числе первых, с одной стороны, по количеству умелых рук, с другой — по обилию слепых глаз в русских захолустьях смежных губерний и в среде инородческого населения, обильно населяющего все четыре первые губернии. Московской и Владимирской пришлось выдвинуться дальше других внутренних губерний по тому счастливому географическому положению, которое поставило их посреди двух самых живых торговых центров и на пути к ним, каковы Москва (круглый год) и Нижний Новгород (на время двухмесячной ярмарки). Тут и там, в обоих пунктах, руководящих всем торговым движением целой России, при слабости нашего торгового кредита (вызывающей сильнейшую потребность в денежных заказах), преступный промысел издавна устроили на более прочных основаниях. Оправдываясь помощью и содействием при тех затруднениях, которые встречает товарный обмен на Нижегородской ярмарке и на которые часто слышатся там жалобы, промысел фальшивых денег имел наибольший успех в практических приспособлениях в то время, когда одна крупная операция, вызывая одновременно вторую, продолжала действовать в целом ряду других, самых крупных и сильных оборотов. Когда начинали чай и железо и тотчас шевелили мануфактурные товары, последовательно вызывавшие движение товарами москательными, фальшивые деньги с успехом втирались в груды разменных знаков, которые быстро переходили из одних хлопотливых рук в другие, спешившие не терять момента, не задерживать хода и

успеха операций. Под видом «красноярок» и «гуслицких блинов» фальшивые бумажки появлялись на свет Божий, по окончании ярмарки, в самых отдаленных пунктах России и, в шубах и без шуб, т. е. в бумажных рамках, свободно расходились в более темных и глухих захолустьях. Те же оптовые приемы торговли и отчасти тот же недостаток разменных знаков в отдаленных пунктах России, при общей слепоте меновщиков собственных сырых продуктов, омозоливших руки и загрубивших нравы до противоборства грамотности, указали для фабрикации фальшивых денег такие же видные места под Казанью, ведущею сильный оптовый торг с Сибирью и Россиею, и в Пермской губернии, ради Ирбита, ярмарка которого уступала одной только Нижегородской. Помимо фальшивых бумажек, здесь в сильнейшей степени укреплялась подделка монеты, в расчете на близость и соседство самых темных людей из инородческих племен, которые в одно время любят задерживать обращение монеты: и через приспособление ее к украшениям своих нарядов и через сохранение ее в земле зарытою в кубышках и горшках, как древнейший, доисторический способ сбережения капиталов.

Насколько силен вызов фальшивой монеты, обеспеченный и руководимый обычаями и невежеством инородцев, служили доказательством наши тюрьмы — учреждения наиболее неблагоприятные (по-видимому) существованию в стенах их фабрик подобного опасного товара. В ближайших к Сибири и в сибирских тюрьмах не было почти ни одной, тщательные разысканий в которой не навели бы на следы этого преступного промысла. Промысел фальшивою монетою в некоторых тюрьмах (например, Тобольской) и в некоторых заводах каторжных (например, Успенский завод Тобольской губернии) издавна считался привилегированным[164]. По временам ослабевал он, по временам возрастал, в силу большей или меньшей бдительности и преследований, но, вообще, подчинялся тем же законам, по которым, например, в России Воронежская губерния, в ряду русских, заняла первое место без всяких разумным образом

[164] Отсюда Тобольской губ., по сравнению с русскими, принадлежит самое видное и почетное место: в 9 лет в ней накопилось пойманных монетчиков 20 (тогда как из русских, в те же годы: в Сарат. 15, в Симб. 12, в Перм. 4 и проч.) и делателей ассигнаций 26 (в Пермск. 6, в Херс., Волын., Спб. по 4, и проч.).

объяснимых оснований. Оставаясь под прикрытием тайны в обычное время, промысел выбивался наружу при усиленном надзоре, начинавшем устремляться в одну и ту же точку, но продолжал оставлять в постоянной виновности все русские губернии (с меньшею виновностью для белорусских и северных и с большею — на правах передатчиц и проводниц подделок — для приволжских и новороссийских; а из малороссийских для тех, где существуют огромные ярмарки: для Курской, Полтавской и Харьковской).

Насколько распространен этот промысел и широко его применение в России, доказывают те же тюрьмы, в каковых, по делу о разбойнике Зыкове, оказалась виновною даже такая немноголюдная, как лаишевская (Казанской губернии), а равно и глас народный, сознательно указывающий на многие села и деревни, занятые приготовлением монет и бумажек, на многие города и в них на купеческие дома, застроившие каменными домами улицы и украсившие их богатыми церквами, с целью прикрыть и замолить грех, пособивший первоначальному обогащению. В особенности часты, сильны и убедительны подобные указания в тех местностях, где наиболее скопились в согласное целое упомянутые нами причины, каковы, между прочим, губернии Казанская, Пермская и Тобольская[165]. Сибирь является страною, наиболее страдающею от разного рода подделок. В ней долгое время, во всей неприкосновенной целости, сохранялся первобытный способ обмена товара на товар: пушного зверя на порох, свинец, муку и соль, а в разменную единицу, на одинаковых правах с серебром, золотом, медью и бумажными деньгами, допущены даба (особая бумажная материя кинешемского дела), кирпичный чай (разбиваемый на куски до ценности 5 и 3 копеек) и клубные марки (в губернских городах до Перми включительно). В то же время фальшивая монета и ассигнации разгуливали тем свободнее, чем больше высылалось из России мастеров, чем сильнее приучали тамошних аборигенов к вере в кредитные билеты и металлические знаки и чем чаще являлись

---

[165] Следственные дела указывали чаще в Пермской губ. на завод Богословский и в Вятской на Камско-Боткинский. Народные предания, преимущественно, сосредоточивают свои указания на городах, лежащих на перевалах Сибири и России.

затруднения в мелких разменных единицах. Последнее обстоятельство особенно замечательно; участье ссыльных в денежных подделках несомненно и места временных и постоянных заключений безразлично служили местами фабрикаций. Разница заключалась в том, что на востоке Сибири промышленность эта слабее, а на западе она является во всеоружии давнего опыта и искусства. За Байкалом (около 1848 года) венгерцы и другие иностранцы, занимавшиеся мелочною разносною торговлею и ездившие большими партиями с заграничными товарами без таможенных клейм, но с поддельными пломбами и штемпелями, уличены были в том, что приобретали преимущественно серебро и серебряную монету и пускали в обращение фальшивые ассигнации. Там же считали различные сорта поддельных ассигнаций домашнего дела: насчитали 25 видов и с отчаяния прекратили счет, оставив заведенную книгу для любопытных в архиве. Подделывали татары, подделывали и евреи, но особенным искусством перед всеми отличались — по наблюдениям начальств — те из русских, которые были присланы сюда из Пермской губернии за то же самое искусство. Некто Соколов делал из контрабандного золота, украденного на казенных промыслах, такие червонцы, которые, при осмотре в Петербурге на Монетном дворе, оказались преступными лишь в том, что сделаны были из чистого золота (серебристого золота) без лигатуры; «цветом пожелтее, в окружности больше настоящих, буквы поовальнее и не так явственны, зубчики крайнего ободка потолще, и вместо звездочек точки». Под Иркутском нашли фальшивых монетчиков на одном из островов Ангары (наз. островом Любви), а затем наталкивались во всех тюрьмах непрерывно. В Западной Сибири промысел этот рассчитывал на омскую линию, через которую продукты выдела свободно уходили с караванами в Бухару, Хиву и Ташкент: и золотые, пробою выше казенных, и оловянные целковые, пригодные на киргизскую руку. Ходит предание, что с того времени, как прошел слух о предписании омскому казначейству разменивать фальшивую монету на ходячую, приготовление оловянных целковых в тобольском остроге и бумажных денег в Успенском заводе производилось в огромных размерах. Под Тюменью называют целые деревни, указывают на заимки, на многие купеческие дома, разбогатевшие от этого промысла. Некоторые мастера, как ссыльно-

каторжный Игнатий Попов (он же Голодаев) в Троицком заводе, беглокаторжный Коренев в тобольском остроге и Игнатий Цезик везде, куда ни приводила его судьба, приобрели повсеместную известность, перешедшую в потомство. Для них солдаты-сторожа и бабы-торговки являлись на помощь, как передатчики; кабаки были местами хранилищ и казначейскими, а базары — разменными кассами. Тобольский острог напрактиковался в этом занятии до того, что лет 60 назад пользовался далекой известностью, потом начал ослабевать, но в пятидесятых годах обнаруживал ежегодно, средним числом, не менее трех следов монетной и ассигнационной фабрикации. Тобольская губерния одна давала ровно У3 часть всего количества преступников, осужденных за подделку ассигнаций, и почти У16 часть изо всего числа людей, ушедших в Сибирь за подделку и перевод монеты. Кроме надежды поправить свое отчаянное состояние при помощи спекуляции на темных людей, кроме рокового влечения забаловавшихся рук в России, не сдерживаемых, но поощряемых каторгою и поселением, стремление к подделкам ассигнаций прикрывалось и политическою целью, но тут оно не имело особенного успеха. Фальшивых бумажек, говорят, ссыльные поляки выпустили в народное обращение очень небольшое число. Ссыльные за подделку ассигнаций и монеты и в ссылке оказались неисправимыми: восемь человек, учеников тверского купца Лабзина, и в нерчинских заводах объявились такими же ловкими и искусными монетчиками, когда привелось отвечать отсюда на запрос из России по новой подсудности Лабзина. Не отставал от них и Франц Карговский, торговавший на каторге вином, спиртом и водкою, «под названием виттенберской», и скупавший у крестьян свиней, тетеревов и рябчиков, несмотря на то, что никуда и ни под каким видом из Нерчинского завода его не отпускали и не позволяли ездить по аргунским деревням с лекарственным ящиком. Игнатий Цезик, в особенности, оставался цельным и неисправимым, подчинившись влечению несокрушимого жизненного духа.

Цезик выучился в Вильне рисованию и лепным работам и долго прожил там, показав большую страсть и способность. Из Вильны он перебрался на родину, в окрестности Слуцка, и в родной деревне, вместе с братом (отставным военным), занялся хозяйством. Мастерство совершенно бросил. Ничто им до поры до времени не

благоприятствовало, но подвернулся случай: Игнатий поступил в число членов какого-то масонского общества и, в увлечении его задачами, остановился на мысли приспособить свои знания и полузабытое искусство к приготовлению фальшивых денег. Кроме личных интересов поправить свое расстроенное состояние, он руководился и тою задачею, чтобы ослабить кредит правительства, и открыл фабрику фальшивых бумажек. Брат его, Феликс, фабрикованную бумагу проводил в обращение и вместе с Игнатием рассчитывал оказать услугу вольности и свободе народа. Искусство Игнатия до некоторого времени обеспечивало успех, но — повадился кувшин по воду ходить — преступление было открыто, и оба брата посажены в тюрьму.

В тюрьме, во время процесса, ни Игнатий, ни Феликс не теряли времени даром. По обычаю многих заключенных, и они принялись лепить фигурки из теста и хлеба, но с тою разницею, что на изделиях Цезика лежала уже печать даровитости, и работы его тотчас же обратили на себя внимание надзирателей и приставников. Ему облегчили оковы, доставляли глину, и по Бобруйску стали расходиться изящные глиняные сосуды, отличавшиеся от общих арестантских петушков и коробочек, крестов и голубков из лучины красотою и изяществом отделки. Цезик и сам удивлен был не меньше других.

Бобруйское заточение кончилось для Цезиков тем, что имение их было конфисковано, сами они лишены дворянства и приговорены в Сибирь на каторгу. В Тобольске братьев разлучили: менее искусный Феликс ушел по назначению, талант Игнатия обратил внимание начальства, и он оставлен был в самом Тобольске в тюрьме. Здесь слава его выросла уже настолько, что лепные работы его оплачивались хорошими деньгами и отправлялись в Москву и Петербург для подарков и на удивление. «Поделки, выходившие из его рук (говорит один из знавших его уже восьмидесятилетним стариком, не встававшим с постели), красотою фигур равнялись греческим антикам; орнаменты кружек, кубков и ваз полны были прелести и готической фантазии; картины же из глины были артистическими созданиями ваятеля. Если бы Цезик не бросал после Вильны полезного ремесла, если бы совершенствовался и учил-

ся дальше и больше, в нем получили бы необыкновенного скульптора». Судьба распорядилась иначе. Нуждами неволи натолкнутый на труд, он потом прибегал к нему ради хлеба. Личные лишения вынуждали у него ремесленную торопливость, работу наспех и на сроки, а потому не все изделия имеют художественную ценность. В старости работы его были даже неудачны. Сделав модель, он оттискивал в ней кусок обыкновенной глины и, пока она сохла, выглаживал, выравнивал, обряжал и украшал свои изделия. Неблагодарный материал не позволял ему придавать работам своим надлежащую оконченность: ломкая, хрупкая глина и трескалась, и коробилась, и, во всяком случае, отнимала красоту первоначального рисунка, который потом уже нельзя было исправить. В Сибири мудрено было Цезику искуситься на более твердом и лучшем материале: мраморные изделия, по высокой цене своей, не имели бы там сбыта, да притом он должен был думать о самоскорейшем сбыте товара. «По материалу, которым пользовался он, мы назовем его гончаром, но гончаром-артистом настолько же, насколько Бенвенуто Челлини был золотых дел артистом».

В Тобольске Цезику жилось хорошо. Начальство покровительствовало, заказы непрерывно следовали один за другим с перебоем. У него был уже домик и сад, наполненный цветами; в доме жена-сибирячка, полюбившая его всем сердцем и помогавшая ему в работах, и двое сыновей на усладу грядущей старости. Завелись приятели, имелись и доброжелатели, из которых один (Петр Мощинский) назначил ему даже пенсию, ежегодную и пожизненную, в 300 рублей. Казалось, благоприятно соединились все данные для того, чтобы на том ему и покончить жизнь в изгнании, но ловкая рука изменила и с глины перешла на бумагу, стали выходить рисунки немудреных старых ассигнаций. Одну полицейский не затруднился принять и спрятать, как взятку; поощренный успехом, Цезик приладил целую фабрику, был уличен, опять посажен в тюрьму, снова осужден и наказан ссылкою в нерчинские заводы, в Акатуйский рудник. Брата там он не нашел (умер в Олочах на Аргуни), старого ремесла не покинул, но и здесь делал фальшивые бумажки, за что сажали его на цепь и приковывали к тачке. Он вылепил свою фигуру в этом виде — и на том успокоился. Уволенный

от работ через несколько лет, он поселился под Верхнеудинском, а в 1857 году переехал в Иркутск (сослан был в 1828 году).

Здесь зазнали Цезика стариком, с морщинистым и бледным лицом, которое некогда било красиво, теперь стало серьезным и украшалось седыми волосами и бородою. Печальная и тревожная жизнь отразилась на нем во всей своей целости. Работал он тут только для поддержания себя и семейства. Жена и сын ему помогали, вылепляя по старым моделям, но эти работы не имели уже души и не красовались прелестями артистической отделки; хотя и носят они имя Цезика, но не могут почитаться за дела рук его. За Байкалом он породил подражателей, но эти ремесленники, хотя и с успехом спекулировали на его имени, только неизмеримо далеко остались позади. Даже неопытный глаз в состоянии отличить его поделки от подделок. Из них замечательны следующие.

Акатуйский рудник (плоская резьба): в долине знаменитая тюрьма, в отдалении — горное селение, пристроившееся к руднику, на горизонте опускающееся за гору солнце, на небе несколько облачков. На переднем плане видна штольня и около нее несколько ссыльных с тачками, везущих серебряную руду; впереди, на самом первом плане, он, Цезик, прикованный по рукам и по ногам к тачке, наполненной рудою. Одежда на нем изорванная и заплатанная. Видны голое плечо, протертое колено, сквозят помочи, поддерживающие кандалы. Узник отдыхает, подхватившись локтем и опершись на правое колено; у левого боку легла рука с молотком; на лице грустная, тяжелая задумчивость и спокойствие отдыха (статуэтка имеется на столе у пишущего эти строки).

Лучше закончены некоторые образа (как, напр., св. Варвары), Аристотель с книгою, стоящий под деревом (статуэтка), и Христос, благословляющий детей (плоская резьба). А вот и он сам в заточении: голова, богатая по мысли, оперлась на руку и обращена к распятию, стоящему на столике. Под столиком играют мыши, и, увлеченные тишиною, приблизились к ногам спящего. И опять он (плоская резьба), с выжидающим взглядом, смотрит сквозь решетку окна, к которому приближается женщина с двумя детьми на руках — несчастная жена счастливого на этот момент мужа. И снова он (плоская резьба) незримым в опустелом жилище его семейства: изба,

на потолке которой прикреплен одним концом шест с корзинкою на другом конце, заменяющей зыбку; на постели подле сидит его жена и кормит грудью ребенка; у стены кудель с прялкою, горшки и другая мелочь, отделанная с фламандским терпением и чистотою.

Сохранилась плоская резьба, изображающая мыльные пузыри, которые пускает мифологический гений, а сонм известных в истории великих людей их ловит. Степенный и над всем господствующий Час злобно усмехается под наитием думы о том, что вот и слава такова же, как эти мыльные пузыри. Вторая: птица пеликан, как символ материнской любви, кормящий детей кровью, добытою из собственного сердца. Третья (плоскою же резьбою), в силу впечатлений тюремной неволи и под влиянием классическаго воспитания, полученного им в Вильне: римлянка, дочь сенатора, обреченного на голодную смерть в темнице, кормит отца собственною грудью. Четвертая: карикатура пьяницы верхом на скотине. Делал он и портреты из глины: Мощинского, благодетеля, ссыльного в Тобольске, и Муравьева-Амурского, и статуи того же Мощинского, Будды и других божков (для продажи бурятам). Самое большое количество работ выпущено им на продажу в виде безделушек для украшения будуарных этажерок (трубки курительные с мельчайшими ландшафтами или в виде мертвых головок, распустившихся цветков, фигуры греческой мифологии, сахарницы из коричневой глины, усаженные мелкими мушками, вазы, облепленные разнообразными листьями), на иной ползет рак, по другой разлетелись птички, расцвел цветок и на нем уселась отягощенная медом пчела. Из этого сорта особенно замечательны две: сигарочница (ссыльный, прикованный к тачке, отдыхает под дуплистым деревом; тачка для спичек, дупло для сигар) и охотничья кружка. Последняя сделана из черной глины и украшена принадлежностями охоты, где полублеск, где полумрак, где наведен целый мат: заяц, кабан, болотная птица и собака сделаны как бы тончайшим резцом. Многие сибиряки уверяют, что некоторые работы, как, например, мелкие ландшафты на курительных трубках, делывал он в одиночном тюремном заключении, куда не дают ничего острого, делывал чем ни попадя: рыбьею косточкою, осколочком тарелки, стакана, оконного стекла, но всегда с одинаковою ловкостью и неизменным искусством.

Вот на какого человека пала зараза обогащения посредством фальшивых денег в России и Сибири! Если в России удается отливать монеты таким мастерам, как московские пастухи, то понятно, что в Сибири, в месте сбора опытных мастеров и художников, дело подделки денежных знаков идет с большим успехом и совершенством, чем в России. Соперничает с этим ремеслом тут и там одна только преступность подделки фальшивых документов.

2. Фабриканты фальшивых документов

В Сибири эти поползновения исходят из необходимости обставить бродяжничество более законными атрибутами, и преступление практикуется ссыльными в равной степени с теми, которые сочувствуют их бездолью и горю или подкуплены ими. Виновны больше всех ссыльные (грамотные и письменные люди), но помогают им и вольные люди: государственные крестьяне и исключенные из службы чиновники. Нельзя удивляться тому, что и на этот раз нет той тюрьмы в Сибири, которая, при обысках, не сказалась бы виновницею и не указала бы на ясные и неопровержимые следы этого рода преступлений. Можно удивляться разве изобретательности заключенных арестантов, которая обнаруживается на следах находок. Не только в тюменской тюрьме, но и в далеких тюрьмах нерчинских, на стертых пятаках и десяти копеечниках попадаются самые разнообразные указания на волостные правления, городские думы, полицейские управления, иногда до того отдаленные, что на курьерских тройках раньше двух месяцев до них не доедешь. Останавливаешься перед запутанностью комбинаций, недоумеваешь перед намерениями и планами заказчиков или самих мастеров и авторов, как бы перед задачами многосложного и многотомного романа, но с тою разницею, что на этот раз роман — не вымысел, а сама действительность. В тобольском остроге оставил по себе живую память один из таких мастеров — некто Петр Ветвеницкий (чиновник). При обыске камеры в январе 1851 г. нашли в щелях и углах и отобрали у него орудия мастерства и самые продукты изделий. В марте опять подобная же находка в кошельке, вместе с деньгами; в апреле перевели его в новый номер, но и в этом те же находки в туезе; в ноябре уже в войлочных пимах, обшитых холстом, в голенище между холстом и войлоком. По мере того как изловчался мастер на изобретение более

скрытных и потайных хоронушек, самое ремесло оставалось в той же специальности. Орудия пребывали неизменными, менялись лишь заказы и разнообразились задачи: циркуль, деревянный с железными проволочными шпильками, долотца из иголок, маленькие ножики из старого железа, роговая кость, куски железной проволоки и пемзы, шильца из иголок в деревянных черешках, истертые с одной или двух сторон пятаки и гроши. В первый раз найдены готовые печати на медном пятаке: с одной стороны, тобольского губернского правления, с другой — петрозаводского земского суда; во второй: бумажная печать, срезанная с конверта, и истинная, и опять пятак с поддельными: на одной — алатырского духовного правления, с другой — симбирской духовной консистории; при третьем обыске: печать Ишимского округа Гагарьевского волостного правления, и при четвертом — готовая печать на пятаке: с одной стороны — саратовской городской думы, а с другой — городской же думы, но уже симбирской. В предыдущем году и в том же остроге таковых печатей наловлено восемь с не менее замысловатыми указаниями (между прочими на одном медном кружке и на красноярскую, и на черноярскую градские думы). Подозревались и прикованные к стене, и ходившие по воле. Изделия находили и в подушках, и закладенными под полом, и в стене, где-нибудь за печью. Везде было место и по всем тюрьмам широкое приспособление этого рода подделкам, предшествующим побегам и вызываемым бродяжничеством.

В России наибольшее число такого рода фабрикантов объявилось в тех губерниях, где сильнее развито бродяжничество (в Новороссийском крае) и где этот промысел столько же древен, как сама паспортная система (губерния Саратовская с землею Войска Донского и соседними приволжскими, Симбирскою и Астраханскою). В подделывателях первое место в ряду сословий принадлежит дворянству (по процентному отношению); затем второе солдатам, а дальше: дворовым, мещанам, духовным; между ссыльными: бродягам (в 9 лет 345 мужчин, 134 женщины), поселенцам (31 чел.) и каторжным (11 чел.). Между ссыльными, виновными против интересов казны, уличенные в подделке фальшивых документов составляют в общем числе целую половину.

Народная молва и следственные показания пойманных с фальшивыми видами умеют указывать, и в Сибири и в России, не только

на отдельные лица и семейства, но на целые города и селения, где приготовление поддельных актов (и преимущественно паспортов) составляет специальный, привилегированный промысел. Для некоторых городов (вроде Казани, Нахичевани и Ростова-на-Дону, Кунгура и Тюмени в Сибири) и для многих селений (вроде семейских за Байкалом и села Алексеевского в Лаишевском уезде, Казанской губернии) воровской промысел, сосредоточенный на ущербах казны, покрыт сединами древности. Подделки другого вида документов и актов, входя в исключительное занятие служилого дворянства, сосредоточиваются, естественным образом, в городах и усиливаются количеством сообразно с числом тех лиц, которые имеют власть и силу и владеют искусством и знанием. Сибирские табели, делая крупные намеки и резкие указания на Москву и Петербург, для сравнительной преступности городов не давали никаких данных. Вообще, по делам этого сословия табели оказались в крайней несостоятельности. Так, напр., табели сводили вместе цифры сосланных за «мздоимство и лихоимство», обещающие обилие жертв этого первородного греха и под двумя наименованиями скрывающего один и тот же вид крайне застарелой и сильно распространенной болезни — и эти табели оставались почти не заполненными. Считаем излишним входить в разбирательство причин, ослабляющих до поразительно ничтожных размеров цифру больных этой хронической болезнью. Возвращаемся снова к тем, которые говорят о себе с большею откровенностью, но лишены возможности быть судьями самих себя и находить защиту в адвокатах из своего же рода и той же кости (не белой, а черной). Вот снова два вида крестьянских преступлений, из которых одно отжило свой век и почти исчезло. Это корчемство вином и корчемство солью.

3. Корчемники и контрабандисты

Искусственно созданный властелин, заручавшийся быстро нараставшими денежными богатствами, убитый наповал нынешнею системою питейного сбора, питейный откуп, некогда державший в своих руках почти всю Россию, в Сибири сумел выразить свое могущество теми жертвами, которых он услал за преступление, называемое корчемством вина. Преступление, искусственно

вызванное и прожившее свой долгий век, опираясь на всемогущую силу денег и подкупа, имело для народа то значение, что уловляло падкое на соблазн человечество именно там, где прилажены были ловецкие сети и обильно рассыпаны соблазнительные приманки. Местами этими полагались те пункты, на которых встречалась задурманенная и некрепкая водка с настоящим и добротным продуктом вольного промысла, с так называемою «вольною». Места эти были, по преимуществу, местами ловли для корыстного промысла, не желавшего ходить прямыми путями и искавшего себе оправдания в карательной силе временных постановлений. Задавалась откупу охота и ловля с наименьшим успехом в среде народа, слыхавшего о вольной продаже и добротной водке только по рассказам проезжих купцов с украинских ярмарок и прохожих солдат, возвращавшихся от хохлов или из польской стороны на родину. В местах, ближайших и смежных с Украйною и Белоруссиею, сила соблазна разрешилась тяжестью ссылки для тех, которым судьба довела поселиться вблизи самых границ, на пунктах встречи обоих враждебных лагерей. Как очистительные жертвы за «вольную» и напрасные за откуп, ушли в Сибирь преимущественно крестьяне и в наибольшем числе из губерний, прилегающих к тем, где узаконена была вольная продажа вина. В 20 лет 366 чел. из Смоленской (с границ Могилевской и Черниговской), 364 из Курской, 181 из Псковской, 153 из Орловской, 58 из Харьковской, 44 из С.-Петербургской и 23 из Воронежской явно и сильно высказались протестом против тяжелого и неодолимого запрета. 1227 муж. и 20 жен. ушли в Сибирь избранными из неосторожных и неумелых, оставив позади себя массы ловко спрятавшихся или откупившихся высокою ценою домашних сделок. Обрадованный и польщенный силою предоставленной власти, откуп, на первых же порах, поспешил воспользоваться ею со всею невоздержанностью баловня, с расчетом на острастку и с безрасчетными порывами на собственное бесславие в потомстве. С 1832 года в нем обнаружились невоздержные поползновения на кару нерадевших его интересам и, в первые годы, по его ходатайству и указаниям выслано было в Сибирь 805 человек (мужчин и женщин). Когда время охолодило первый пыл и жар опьянелого наездника, число подмятых им под ноги и раздавленных

уменьшилось (с 1840 года) почти наполовину (в семь следующих лет сослано было 442 человека).

Таковы орнаменты (в числе других весьма многих), которые Сибирь посылает от своего избытка на украшение памятника умершего врага народной жизни, одного из сильных противников благосостояния рабочих классов, для которых гроза ссылки за корчемство прошла теперь мимо. В наши дни она висит только над теми из представителей русских сословий, которые развели пары и пустили воду под винокуренные заводы, но, говорят, эта туча тихо разрядилась и до сих пор не дала громовых оглушающих раскатов. В Сибири, в старые времена, корчемство вином (самогоном) представлялось явлением повсюду распространенным. Причина его везде была следствием изобилия хлеба (25 коп. асс. за пуд), как по Иртышу в Западной Сибири, так и в Минусинском округе Восточной Сибири. Тут и там выкуренное дома вино становилось в 15 раз дешевле кабацкого. Против самосадочников устраивалось вечное осадное положение и, временами, при поимках затевались кровопролитные баталии. Нередко сыщики откупщика злонамеренно подбрасывали крестьянам туезы (бураки) и кубы и при помощи заседателей срывали взятки с невинных или затягивали дело. В Минусе ревизовавший свою губернию ген.-губер. Броневский наткнулся, между прочим, на такое дело, которое было озаглавлено так: «Дело о найденном у крестьянина туезе с запахом якобы корчемного вина».

Второй вид корчемства, которого казна не сдавала на откуп в частные руки алчных промышленников и не организовала в откупную комиссионерскую систему, было корчемство солью. Оно выразилось в Сибири замечательно слабым проявлением своего существования. Неправильная, воровская торговля тем продуктом, на который крестьянин всегда обязан был приготовить наличные деньги и который составляет для него самое большое сокрушение и предмет первейшей необходимости, к счастью, не преследовалась с азартом, озлоблением и постоянством. Сибирская цифра, ничего не доказывая, в то же время вовсе не свидетельствовала о том, что тайный промысел был слаб, что казенная соль, которая для одних мать (напр., для казаков уральских), для других мачеха (каковы все

остальные ее потребители) — не представляет продукта, способного окрылить смельчака и заставить его взять, сколько можно, на потребу, как продукт торговли и промысла. В числе других русских местностей та же Сибирь представляла примеры удачной практики, с тем различием, что корчемная (коряковская или, потуземному, ямышевская) соль в Западной Сибири отличается от таковой же казенной торопливою отделкою: она грязна на вид, горьковата на вкус, неустойна в рассоле. Но и при этих недостатках соль устаивается в употреблении по вызову бесчисленных потребностей в грибной, рыбной и богатой мясом Сибири и подтверждает положение Дибиха, что расход соли показывает степень благосостояния народа и развития его сельского хозяйства. Понижение цен на казенную соль обессилило корчемство, которое и исчезло теперь в силу нового закона о соляной торговле. Тем же опасностям и там же подвергалось и казенное вино, но с тою разницею, что оно похищалось ссыльными исключительно на собственную потребу и усладу, а соль — преимущественно для продажи на гроши, как продукт, посредствующий для вымена того же вина на ту же усладу и потребу. За эти кражи на местах ссылки расплачивались всего чаще домашними наказаниями; сильнее смотрели и больнее били за другие кражи, из которых один род вменяют в крупную преступность. Между прочим, воровство золота, под строгим именем «похищения драгоценных металлов с промыслов», внесено в особую графу для табелей о ссыльных в России.

В России кража золота (не предъявленного в казну и пошлиною не оплаченного) выражалась наименьшею цифрою в общем ряду всех других преступлений, потому что соблазн предлагается только в одной богатой всякими металлами местности. Только одно сословие заводских крестьян отличалось исключительно виновностью. Только три губернии в этой краже участвовали (Пермская, Оренбургская и Вятская) по роковому влечению соблазном драгоценного металла, который лежит, быстро истощаясь, в почве земли рудоносного восточного склона хребта. Со времен Петра началась промывка золота, а стало быть, и его кража, но с 1835 г. Сибирь получила возможность (в одно время с контрабандистами иностранных товаров) производить учет виновным в краже золота. На первые

годы цифра была велика. Затем похитители стали осторожнее. Цифра приметно упала и на практике выразилась тем, что где больше существовало соблазнов, там и большее количество искушенных грешников; на юге Урала искушения чаще, и из Миасских и Златоустовских округов, поэтому, высылка сильнее и вернее (и все тех же заводских крестьян, с добавкою самого незначительного числа солдат и башкир, как передатчиков). В Сибири это преступление вступает в более широкие права не столько потому, что Россия успела уже снабдить ее людьми умелыми и досужими (которые, может быть, стали там, умудренные опытом, осторожными), сколько по тем предрасполагающим причинам, что производство казенных и частных работ находится в руках каторжных и поселенцев. Большинство последних, как известно, принадлежит к сосланным за воровство и, на самом деле, сибирскую кражу золота можно назвать преступлением поселенческим. Людская молва на частных золотых промыслах указывает, как на пособников и передатчиков, на тех, которые ездят в хвосте рабочих с водкою и ситцами и останавливаются от места работ и резиденций в почтительном, установленном законами отдалении. Здесь способности евреев и живучести в них страсти к драгоценным металлам отдают все и всегда предпочтение. В Сибири на евреев выпало сильное подозрение (особенно в Западной) в тайном сношении с горными заводами и в переводе за границу дорогих металлов. Хотя, по сибирскому учреждению 1822 года, и принято в основание не допускать поселения евреев на сибирской линии (южной границе), тем не менее 40 еврейских семейств водворены там «попущением местного начальства» (как сказано в сенатском указе 5 апр. 1826 г.). Такие злоупотребления вызвали положительные меры обращать всех евреев в Томскую губернию, далее от горных заводов Колывано-Воскресенского округа. Оставили только тех, которые, причислившись к крестьянам, занимаются ремеслами и хлебопашеством и, разумеется, после этого распоряжения не перестали контрабандировать. Но не упускали своей выгоды евреи и на казенных золотых промыслах Нерчинском горного округа, хотя здесь приобретателями являлись безразлично все, от казенных подрядчиков и вольных торговцев до крестьян, солдат и казаков. Рабочие ссыльные воруют, вышедшие на пропитание и исправление прикрывают, свободные

люди покупают, а казаки передают за китайскую границу с тою же ловкостью, с какою принимали оттуда контрабандный чай всякого сорта. Женщины и здесь охотнее ходили на такое дело, требующее крайней осторожности, таинственности и ловкости, при помощи каковых в итоге являлся тот факт, что самая преступность гораздо сильнее, чем доказывающие это цифры пойманных и уличенных; женщина, во всяком случае, продавщица, как тюремные надзиратели, то есть солдаты, первые приемщики[166]. Вместе с золотом, известным под именем «желтой пшенички», на нерчинских заводах шла кража серебра и контрабандная продажа его за китайскую границу, по той же процедуре таинственных приемов и почти с таким же успехом и выгодою в предприятиях. Около серебра воровство хитрее; при песчаном золоте россыпей воровской труд облегчен был до крайней степени простоты и возможности. Шилкинский завод, с самого начала разработки золотых приисков на Каре, был таким местом, где покупка краденого золота производилась в значительных размерах. Сколько раз ни пытались ловить, ничего

[166] На Каре золотник краденого золота продавался за 1½ руб. и не дороже 2 руб. (в казне стоит 3 р. 57¾ к.). Если обменять у монголов на кирпичный чай, то цена поднималась на золотник до 7 руб. и выше (дают 10 кирпичей, а по 70 коп. кирпич — в первых руках; в Нерчинском заводе давали за него 90 коп. и 3 руб.). Характерное дело об убийце из евреев Хаиме Вульеве обнажило следующие подробности промысла хищническим золотом: арестанты раз подрались между собою по тому поводу, что выпили не по ровному количеству водки, принесенной покупателями золота, а в краже участвовали все в равной степени. Вульев указывал при этом на самого смотрителя замка. В доказательство своих слов он представил три слитка, которые перекупил у товарища на вес. Вешали золото на тех же весах, на которых развешиваются в арестантской кухне порции мяса и хлеба. Тюремный староста (Колобаев) взял золото по 1 руб. золотник и, сверх того, обязался угостить вином. Купленное золото староста перепродал урочникам, а вино принес на разрез, откуда оно было доставлено на тюремную кухню в опростанной посуде и потом, под видом пищи, принесено в тюремную казарму. Другой раз этот же представитель златолюбивого племени продал горному служителю 2 золотника золота за пуд орехов, которыми и услаждал тюремную тоску, сокращал докучное время каторжного безделья сибирским женским способом.

не выходило: попадалась мелкота с золотниками и долями, пуды и фунты сквозь расставленные сети прорывались наружу. Во время одной сенаторской ревизии выискались евреи ищейки, нахвастались, наговорили, наобещали с три короба, подложили золото к одному польскому изгнаннику, но строгое следствие показали лишь то, что, во-первых, и здесь евреи ходили на обман, а, во-вторых, отысканное золото вовсе не карийское, потому что было очень высокой пробы, по всему вероятию, попалось сюда с частных промыслов и, вероятнее, из Западной Сибири или даже с Урала. В Западной Сибири те же контрабандисты-евреи сумели обнаружить прежние наклонности и не смиренное ссылкою досужество в такой степени, что Сенат в 1826 г.(указом 5 апр.) предписал переселить их в другие места Сибири. Евреи объявились в тайном сношении с горными заводами и в переводе за границу дорогих металлов. Способствовало к тому житье по линии 40 семейств, водворенных попущением местного начальства, несмотря на то, что сибирское уложение 1822 г. подобного поселения не дозволяет. Предполагалось оставлять впредь только тех, которые, причислившись к крестьянам и мещанам, занимаются ремеслами и хлебопашеством. Приказу велено обращать всех евреев в Томскую губернию, дальше от горных заводов Колывано-Воскресенского округа. Мера эта, ослабив временное зло, не служила препоною для прекращения основного зла, и переселенные стали передатчиками. Уральское золото езжало в чемоданчике с евреем, приезжавшим за ним по нескольку раз в год в условное время, из г. Гродно даже в самое ближайшее к нам время.

Переходя от этого, преимущественно сибирского преступления к контрабанде, мы на этот раз снова имеем дело с таким преступлением, которое составляет принадлежность отдельных местностей и может быть названо в России исключительно пограничным. На всех наших границах контрабанда является господствующим, сильным и неизлечимым злом, не исключая северных холодных и южных степных и пустынных, на всем протяжении от Прута на Закавказье, по пограничной линии со среднеазиатскими владениями до Иркутска, забайкальских и амурских пределов, пользующихся правом porto-franco. Там, где граница встречается с наиболее промышленными и торговыми странами, каковы государства евро-

пейские, преступление это является во всем блеске, со всею несокрушимою настойчивостью и давнишнею последовательностью. Пешком, в виде ящика за плечами или на бойких, приспособленных к этому делу лошадках врывается к нам контрабандный, беспошлинный товар, соблазняя всех безразлично, от бессарабских цыган и польских евреев до малороссов Юго-Западного, литвинов и белоруссов Северо-Западного края и кончая чухнами за Петербургом и под самым Петербургом. Еще уголовная статистика не решила, кто ловчее: петербургский ли чухонец или сибирский казак, закавказский армянин или волынский малоросс, или же и в самом деле еврей (как подсказывают сибирские табели) взял надо всеми перевес, объявился с большею наклонностью (по процентному отношению чисел) и с большим искусством (по повсеместному общественному мнению)[167]. Сибирские табели говорят, что мещане в этом промысле преступнее крестьян. Ссыльных за контрабанду стали считать в Сибири с 1835 года и во втором десятке лет насчитали их почти в 7 раз больше, чем в первом, и контрабандисты против общего числа сосланных за покушение на интересы казны составляют $\frac{1}{40}$ часть. По абсолютной цифре жертв изо всех пограничных и ближайших к границе выделились губернии: Волынская (52 муж., 8 жен.), Виленская (34 муж., 5 жен.), Гродненская (15 муж.), Курляндская (11 муж.), Подольская (9 муж.), в те 12 лет, которые следовали первыми после учета в Тобольске[168].

Не забудем при этом, что на местах соблазнов для тайного ввоза иностранных товаров, при встрече дорогих таможенных с более дешевыми непломбированными товарами, для пресечения преступлений организована вооруженная стража. По вызову ее и для собственной защиты контрабанда, в свою очередь, вооружилась огнестрельными снарядами, с ружьями, заряженными обыкновенно

---

[167] Из 26 мещан всех городов Империи выделилось 14 евреев.

[168] В 1819 году отправлена в Сибирь целая колония немцев и немок, сосланных по громкому и известному в то время ревельскому делу о контрабанде. Все они заручились рекомендательными письмами к тогдашнему губернатору М. М. Сперанскому. «Привезли мне много рекомендательных писем (писал он к дочери), но много пособить им я не могу. Сколько можно, однако же, пособлю».

картечью, и в целых отрядах. Отряды эти во время пути спереди и сзади прикрываются взводом вооруженных людей и сверх того обеспечиваются, где нужно, боковыми патрулями и даже разъездами. По переходе за границу шайка находит подставу приготовленных верховых крестьянских лошадей. На них контрабанда доходит до еврейских местечек и въезжает в них уже среди белого дня с песнями. Здесь товар немедленно разбирается по рукам и поступает либо в экипажи шляхты, либо в коробки евреев для разноски. Оттого-то всего чаще запрещенный товар попадается мелочами. Под именем контрабандистов уходят в Сибирь передатчики, а главные оптовые воротилы за пятою спиною подставных остаются на местах в полной безопасности. Границы по обе стороны усажены комиссионерами. Ближайшие города населены оптовыми торговцами; частные меры (а не общие) состоят только в поимке нескольких тюков и не приносят никакой пользы. Главные воротилы в Сибирь не сосланы, а германские города, и между прочими Лейпциг (во время ярмарки), выработали особый род промышленности, состоящий в заготовлении огромного количества деревянных ящиков для товара, идущего в Россию тайными путями. Таким образом, контрабанда, выходя на тайные дороги свои, иногда обливает свои следы кровью, идя напролом малочисленной стражи или отстреливаясь при неудаче и при отступлении за границу, не щадит собственных и чужих жертв, словом — является в форме разбоя. Тогда и контрабандисты, в виде убийц, пропадают в общих и темных сибирских цифрах. Контрабанда, или беспошлинный провоз заграничных товаров, как настоящий промысел, выработал свои специальные приемы, как промысел тайный, стоящий среди всяких опасностей, потребовал условной искусственной терминологии, непонятной профанам. Главные заводчики дела — приказчики заграничных контор (для Петербурга гамбурских), ежегодно развозящие образчики полотна, шелковых материй, муара, ситцев, холстинок. Заказы дают обыкновенно люди, искусившиеся в опыте передач, и получают товар, чаще всего, на девятимесячный кредит. Таких заказчиков у каждой конторы бывает по 30–50, в числе которых несостоятельные оправдываются аккуратными плательщиками. Запроданные товары имеют свои депо, между которыми предпочитаются морские острова (вроде балтий-

ских Наргена и Гохланда) и ближайшие к границам города и местечки, между которыми наибольшею опытностью отличались Грудск (в Подол, губ., на австрийской границе) и Колычев (около Тильзита). Впрочем, вся прусская и австрийская граница усыпана строениями и жилыми избами разных наименований и населенными именно такими жителями, которые, под видом хозяйственных нужд, имеют право свободного подхода к границе и перехода ее в любом пункте, хотя до ста раз в день. Соседи их, живущие на русской территории целыми деревнями, не кто иные, как перевозчики, ямщики. Между ними крестьяне графа Зубова, Огинского и др. особенно пользовались известностью сколько по ловкости, смелости, наглости, столько же и потому, что действовали артелями, принимали товар на свой страх, обеспечивая его за границею значительными залогами звонкой монеты. Продолжительная игра с большими ставками и большим риском переродила этих крестьян в решительных, азартных игроков, со всеми свойствами и последствиями. Если товар благополучно доставлен, залог возвращен, барыши разделены соответственно величине залога — счастье тащится в корчмы и там расточительно пропивает заработок. Если товар захватывается, то и залоги пропадают, а крестьянин разорен дотла, залоги им взяты у еврея или шляхты за высокие проценты. Деморализация нравов в таких местах такова, что эти селения невинные соседи считали притонами и гнездами разбойничьими. Успехи контрабанды основывались, между прочим, и на том, что: во-1-х, так называемый аршинный товар отличался лучшею добротою, потому что не было нужды делить его, легче для таможен, которые берут пошлины с весу; во-2-х, подобный товар находился в третьих руках в небольших количествах, поимка только затрудняла, не вела к цели, влекла неприятности осмотра и свидетельства лавок; в-3-х, являлось облегчение на товарах, не подлежащих клейму.

Товар, не подлежащий клейму и известный у контрабандистов под именем короткого, немедленно имел право занять место в магазинах — он глаз не колет, а потому немедленно выставляли напоказ напитки, часы, фарфор, хрусталь. Доказать его незаконность не было особой возможности, закон (ст. 1347 св. зак. т. VI) ему даже покровительствовал. А потому, напр., карандаши с пошлиною 20 коп. за дюжину продавались (лучшие кипарисные) не дороже

15 коп.; в городах и местечках западных губерний за 12 приборов бронзовых пуговиц платили пошлины 18 руб., продавали контрабандные от 4–15 руб.; лучшая фарфоровая трубка с живописью и в оправе требовала 1 р. 15 к. пошлины, продавалась за 30 коп. и проч. Наибольший соблазн возбуждают, разумеется, прежде всего товары первой необходимости и, по мере того как вырастает потребность, с тою же силою укрепляется контрабанда, напр., кофею, собирающегося большими складами летним временем и вывозимого обыкновенно зимою. Сахар на западных границах стоит под защитою свекловичного и врывался в оберточной бумаге с этикетами свеклосахарных заводчиков, заготовленными в городах близ границ. Богатство выработанных средств и способов ввоза позволило во многих местах составиться целым товариществам, которые брали доставку товаров в Россию на свой страх (таковые существовали во Львове, Гамбурге, Любеке и особенно в Лейпциге), брали 10 % задатка и, только по доставке товара, получали остальные 90 % и 30 % за доставку. Прием всегда у них одинаков, производился гласно; в русские пределы товар отправлялся раздробленным; бронзовые вещи, посуда и прочее разбирались по частям и в одну бочку укладывались крышки и поддоны, в другую постаменты, в одну перчатки с одной руки, в другую — все с другой руки. На аукционе мог купить и покупал только тот, кому довезли недостающие вещи. Впрочем, гуртовая отправка — редкость и требует различных хитростей, из которых уже большая часть изучена и предусмотрена. Всего чаще товар перевозился беспрестанно по малым частям. Поимка в этих случаях венчалась ничтожным успехом, не поддерживала энергии наблюдателей, мимо которых проезжал пароходный шкипер, умевший очень искусно прятать запрещенный товар, путешественник, наловчившийся прятать около себя и нескучающий несколько раз путешествовать с судна на берег и обратно. Проскальзывали консулы, пользующиеся своим официальным званием, курьер, разные члены посольства и посылки на их имя, наши собственные чиновники и проч. Товар, подлежавший клейму и опасный тем, что мог быть признан без штемпеля и внутри империи контрабандным во вторых и третьих руках, поступал под особое покровительство шляхты, панов, портных, модисток и тех же чиновников. Но и в этом случае, будучи контрабандою, он

мог быть продан как купленный после конфискации. Евреи иной товар не любят и у себя не держат, предоставляя путь другим сословиям замешаться в тот грех, за который обвиняют их исключительно. Замешивались в контрабандисты еще и солдаты пограничных войск. Способ этот назывался машинным и состоит в том, что солдаты таскали товар по частям и передавали при обходах, объездах и при сменах. Пойманные врасплох извозчики бросали товар и лошадей, облегчая таможням счет конфискаций. Товаров, уловляемых такими и иными способами в 1843 году, по официальным данным, считалось по всем таможням государства почти на 300 тысяч. Если принять расчет контрабандистов, кои считают в сложности не более двух ста на перехваченный товар, выходит, что контрабанды должно быть ввезено на 10 мил. руб. сер., а вся привозная торговля составляет 75 мил. (см. «Чтение общ. ист. и древн. рос», 1861 г.). Частные меры, таким образом, бессильны, общие преобразовательные обещали успех; кабинетные правила деморализовали нравственность пограничного купечества и выучили всякого рода уловкам и обманам. В особенности, в этом отношении, поучительна была кяхтинская торговля в то время, когда потребление чая (цветочного) неимоверно возрастало, а кирпичный сделался продуктом основного потребления и первой необходимости у сибирского простого народа.

При расценке наших товаров на Кяхте, наши купцы вовсе не старались выказывать лучшее или настоящее достоинство товара, а, напротив, прибегали к таким сноровкам, чтобы товар казался, по возможности, худшего сорта, так, напр., заглаживали сукно против ворса, чтобы оценка была ниже. Высшей оценки на Кяхте боялись потому, что тогда товар мог залежаться, особенно, если у купца не было для придачи опиума или, преимущественно, золота и серебра. Один из богатых московских фабрикантов, торговавший на большую сумму с Китаем, наработал раз плису почти всю пропорцию для Кяхты, сделав ее против устава и общепринятой меры полувершком шире. Последнего никто не заметил. Назначили цены. Китайцы тотчас увидели разницу, и весь товар разошелся, а у прочих его не тронули. Обиженные подали жалобы, но дело было сделано. Некоторое время господствовал в кяхтинской торговле известный и любимый в Китае корень женьшень. С первого раза

казалась странною цель этого обмена, потому что как аптекарский материал корень этот вовсе не требовался в Россию, а между тем вывоз его доходил в иной год до миллиона руб. Но недолго скрывалось настоящее значение корня: купцы, вредя друг другу, чтобы более выменять чаю и поскорее сбыть товары, отдавали их по дешевым ценам. Но т. к. этим нарушалось строгое положение, то на бумаге показывали товары промененными по настоящим ценам на драгоценный корень, который в Маймачине заготовлялся пудами за несколько рублей. С изданием закона 1857 года, по которому отпуск металлов дозволялся в половинном количестве при пушных товарах и при мануфактурных только одна третья часть, — представилось выгодным сбывать мягкую рухлядь (особенно соболей, лисьи лапы темных цветов и т. п.). Но т. к. нельзя же было принудить китайцев к роскоши для большего отпуска металлов, то какая-нибудь сотня собольих шкур странствовала, как Вечный жид, из Троицкосавска в Кяхту и оттуда опять обратно. Такие переходы на бумаге давали цифру промена дорогих пушных товаров до такого числа, что вывоз их в последние три года был сравнительно больше, чем в целое шестилетие. Чтобы более променять серебра, купцы истолковали количество отпуска металлов по-своему: брали общий итог ценности промениваемых товаров и металлов и разделяли на две или на три части, смотря по тому, какие отпускались товары: пушные или мануфактурные. Так что если общий итог был, напр., в 12 т. руб. (на 6 т. товаров и на 6 т. металлов), то металлов отпускалась половина на 6 т. руб., тогда как действительно, по закону 1855 г., следовало отдать их только на половину ценности одних пушных товаров (а не общего итога товаров и металлов), т. е. на три тыс. руб. Нарушение закона обнаружилось, заговорили строгие блюстители ограничительных правил, поднялась многотомная переписка; со своей стороны и купцы представили правоту своих действий. Дело кончилось тем, что велено соблюдать Высочайшее повеление 1855 г. Приказание исполнили: действительно расчет по отпуску металлов введен был тотчас же, несмотря на то, что прежний учет, в течение двух лет, был в виду начальства, контролирующего торговые действия. Но не прошло и дня, как купцы нашли способ отпускать металлы в таком количестве, какое нужно, — возвысив цены на все товары на 20 и 30 %. Самолюбие блюстителей

закона было удовлетворено, а Высочайшее повеление на деле оставалось одною формою, без действительного значения. Так действовало кяхтинское купечество. Троицкосавское мещанство противоставило стеснениям обычную форму контрабанды во всех ее видах, даже и по доставке для подспорья сбыту русских мануфактурных товаров контрабандного казенного золота. Без контрабанды самый худший кирпичный чай стал у нас дороже самого последнего английского и американского чая; самые высокие сорта чаев приближались ценами на Кяхте к ценам в Гамбурге и Лондоне; самые обыкновенные сорта черного за границею были дешевле кирпичного кяхтинского и проч. С разрешением в настоящее время доставки чая кругосветным путем, конечно, сибирская чайная контрабанда в сильной степени ослабела.

Глава XII. Преступники против семейных прав

Разврат. — Кровосмешение. — Снохачи. — Сводные браки. — Прелюбодеяние. — Растление и насилование. — Мужеложство и скотоложство. — Развратное и порочное поведение дворовых и крестьян. — Ябедничество и кляузничество чиновников. — Ложные доносы. — Неуживчивость чиновного люда в Сибири

Оскорбление родителей и непослушание, в примечательном большинстве случаев, оказывали сыновья. Преступление это менее всего можно считать женским: за двадцать лет на 69 мужчин ушло в Сибирь 2 женщины, мимо монастырей и всякого рода исправительных заведений. Слабо высказываясь своими особенными характерными чертами, преступление это в Сибири успело определиться во весь этот длинный период времени только коекакими признаками, много не говорящими: шло средним счетом по три человека в год. Сильнее выразилось это преступление абсолютною цифрою у государственных крестьян, затем у мещан и дворян, а наибольшею пропорцией) в купечестве; в общем числе всех ссыльных ему принадлежит самое последнее место во свидетельство той высокой степени положения, на которой стоит родительская власть, злоупотребившая на этот раз своим правом и не способная сладить домашними средствами в этих исключительных (70) случаях (за 20 лет).

Деспотизм и несостоятельность самосуда, выразившиеся сильнее в купечестве (по процентному отношению), вызвали наибольшее число ссыльных за 20 лет из губерний: Курской (7), Вологодской (6), Ярославской (5), Пензенской и Тамбовской (по 4).

Сюда сибирские табели до 1844 г.относили еще «принятие чужой фамилии» и «прелюбодеяние», как преступления, направленные против прав семейственного состояния; но первое, при широком приспособлении в бегах и сильном применении к бродяжничеству, в табелях выделяется слабо, а прелюбодеяние смешивается с плотскими преступлениями, а потому мы и переходим прямо к ним[169].

Из плотских преступлений по прелюбодеянию замечается сильнейшая наклонность в женщинах, и, по свидетельству сибирских цифр, виновность их (по всем родам преступлений) на этот раз представляется самою характерною наряду с преступлением убийства детей (по прелюбодеянию один мужчина на пять женщин, по убийству детей 1 на 19). Почти исключительно усвоенный женщинами (по числу ссыльных), тот же порок прелюбодеяния, по житейскому опыту, сильнее свидетельствует не о невинности мужчин, а о той ловкости уверток, к каким удачнее прибегают последние, злоупотребляя своим правом сильного и счастливо пользуясь более обеспеченным и лучше устроенным общественным положением.

Обвинения, не одолевая сильного, ложатся всею тяжестью на бессильного, страдающего от общественного предрассудка. По процентному отношению наибольшая наклонность замечается в

[169] Так же слабо и бесхарактерно, временами даже не выделяя вовсе, объясняют тобольские цифры: неплатеж податей (в 4 г. с 1838 по 1842 г. 12 чел.); подлоги в отправлении рекрутской повинности, сильнее выражающиеся в цифрах отдела табелей, озаглавленного: «телесные повреждения себе и другим с намерением избежать службы». Точно так же в одно время выяснилась «лживая присяга» и произвольно пропадала вслед за другими, исчезая там, где этого вовсе и ожидать было нельзя. Принятие чужой фамилии или перемена имени и прозвания в России преступление не так частое, в Сибири — дело обычное, с большим успехом практикуемое поселенцами и каторжными. В одних нерчинских заводах в десять лет уличили и засадили таковых 156 человек, да за «ложный извет» одного.

военном сословии (у мещан больше, чем у крестьян), а солдатки чаще других делаются жертвами обвинения на суде и ссылки. Всего больше ушло виновных всякого пола и возраста (за прелюбодеяние, кровосмешение и насилование) из губернии Пермской (в 20 лет 60 м., 15 ж.) и из южных: Харьковской (32–5), Полтавской (28–12) и Херсонской (21–7). С меньшею или большею цифрою ссыльных за плотские преступления являются и все до одной другие русские губернии.

Действуя с большою силою в больших городах, разврат, по рассказам путешественников, царствует на всем пространстве земного шара, существуя под двумя главными формами: публичного и тайного. Некоторые статистики, рассматривая его в обоих видах, пришли к тем положительным выводам, что цифра разврата крупнее между 16 и 28 годами человеческого возраста, что от 14 до 28 лет она идет в возрастающей прогрессии, а с 28 до 40 — в уменьшающейся. С последнего термина (40 лет) прогрессия начинает падать примечательно быстро, так что в 50-летний возраст доходит до нуля. Замечено при этом, что разврат, преимущественно, любит гнездиться в семействах и между теми лицами, которые соединены кровными узами и, по преимуществу, заражает сестер. Чаще предается разврату дочь при матери, показывая, до какой степени развращения доходят иные семейства, где сама мать подает примеры распутства собственным детям. Особенно приметно это в среде бедняков больших городов. В деревнях порок этот подчиняется отчасти давнему, укоренившемуся за долгое время обычаю, отчасти зависит от некоторых местных и временных обстоятельств. К числу последних относят сторонние влияния, зависящие от причин географических (сильнее разврат в приморских местах и городах от прилива матросов весною и летом) и экономических (напр., чаще падения женщин совершаются в тех местах, где существуют дальние и продолжительные отхожие промыслы). Кое-где влияют на то же некоторые предрассудки религиозных сект, из которых сильнее других выясняются беспоповщина и хлыстовщина. Существенною же и вероятною причиною считается быстрое увеличение военного сословия с продолжительными стоянками одиноких солдат в губерниях, существующих сторонними заработками на отхожих промыслах. Причина усилена дважды: покинутая мужем солдатка

грешит нарушением верности дома в то время, когда солдат соблазняет чужую жену на чужой стороне. Тем не менее, во многих неиспорченных солдатскими стоянками местах, где наплыв холостой молодежи не действителен, против согрешивших существуют домашние меры взыскания, мирской самосуд, так же строгий и неуступчивый, как и всякий народный самосуд на разных преступников. В Белоруссии и Малороссии наказывают виновных так: на мать, отдающую дочь лишенною невинности в замужество, надевают хомут и заставляют прыгать через огонь или бегать по полю и лаять по-собачьи; на дочь надевают бабью кику без обрядов, не в избе, а в сенях и на дворе; не прицепляют красной ленты на наметку, не поят красною водкою. С уличенных в прелюбодеянии женщин срывают платки на народе, простоволосят, т. е. позорят самым тяжким оскорблением, мажут ворота и двери дегтем и проч. Евреи западных губерний поступают еще суровее. Нарушившую целомудрие приводят в школу (синагогу), здесь плюют на нее, бросают в лицо тряпки, намоченные нечистотами; потом одевают в оборванную солдатскую шинель, в высокий колпак, дают в руки шест со рваною шапкою (магеркою) наверху, связывают назад руки и на веревке водят по местечку. Проходящие имеют право бросать чем ни попадя и плевать в лицо сколько угодно.

К числу укоренившихся народных обычаев, которые, отчасти, можно считать историческими, относится, между прочим, обычай искать не жену сыну, а в дом бесплатную работницу, приобретаемую единовременным и необременительным взносом калыма («выводного»). Цель достигается женитьбою подростков на взрослых, вошедших в полную силу девушках, — цель, которая и теперь не покинута во многих глухих и отдаленных местностях. Обычай этот, сверх того обусловленный обыкновениями уходить на дальние заработки у крестьян и на долговременную службу у казаков, сумел породить новый вид, тот вид преступления, который называется кровосмешением и слывет в народе под именем «снохачества». Отец, уславший сына на службу или на работу, свекор, возлагающий сыновние работы на жену его, сноху свою, на старости лет впадает в грех любовных связей, включает себя в число снохачей. Когда исходят годы и молодому работнику настоит надобность и возможность возврата домой (чтобы там и остаться), по смерти отца

он находит жену перестарком, ищет любви на стороне, грешит прелюбодеянием и, в свое время и в свою очередь, становится снохачом — типом людей, осмеянных во множестве скандальных анекдотов, поговорок, загадок и песен. Такими людьми приметно усиливается цифра тех, которые ссылаются в Сибирь за кровосмешение. Кровосмешению со снохою и со свекром принадлежит первое место; отцу с дочерью второе; деверю с невесткою и сестре с братом — третье; отчиму с падчерицею и племяннице с дядею — четвертое. Остальные случаи очень редки, но большая часть сопровождается насилием (в особенности кровосмешение отца с дочерью), и только снохачество является формою любовной связи, закрепленною на обоюдном (менее принудительном) соглашении. Мужчина чаще всего попадается в этом грехе в возрасте от 50 лет и не останавливается, а еще больше греховодничает и в лета свыше 60-ти. Для жертв соблазна и изнасилования ранний возраст женщин становится роковым, в особенности между 20 и 30 годами[170]. По губерниям кровосмесители всего больше понесли наказание в Тобольской, Вятской, Пермской, земле донских казаков, Полтавской и Харьковской; из последней, как из места военных поселений, из первых пяти, как таких, которые преимущественно живут по старозаветным, обычаям; Тобольская, к тому же и ссыльная, умеющая отвечать на все роды и виды всяческих преступлений. Губернии без отхожих промыслов, а в особенности белорусские и северные, свободны в этом отношении от всякого упрека.

Во всяком случае, южные губернии по всем родам плотских преступлений успели подтвердить закон о наибольшем возбуждении плотских страстей в силу климатического влияния. Если же они приблизились к северо-восточным губерниям, то в силу лишь того, что губернии эти населены инородцами-мусульманами и заводскими рабочими, с дурно обеспеченным в плохо устроенным семейным бытом. Естественные условия сравнялись с искусственными

[170] В 9 лет общее число кровосмесителей равняется 61 мужч. и 48 жен. Чаще других этот вид преступников заявлялся в среде крестьян, но особенно сильную наклонность обнаружили бывшие военные поселяне и казаки (донские). Вообще, плотские преступления у казаков являются на первом плане.

и в этом отношении оспаривают друг у друга взаимный перевес. Кровосмешение же в Сибири — преступление настолько давнее, что о нем находим свидетельство еще в обличительной грамоте патриарха Филарета, присланной сибирскому архиерею Куприану в 1622 году. Казаки, первые обитатели Сибири, не носили крестов, не соблюдали постов, жили с кумами и сестрами своих жен, находя себе оправдание в недостатке женщин. Московская грамота, выданная ермакову послу — атаману Кольцу, при возврате его из Москвы, позволяла казакам увозить из городов жен и девиц, и Филаретова грамота силилась воспретить подобное умыкание девиц, существовавшее в его время еще во всей своей силе. Филарет приказывал выслать эту грамоту в Москву и считать привилегию неуместною. Им же воспрещалось житье русских с некрещеными женами, воспрещалось совместное житье монахов с монахинями в одном монастыре, воспрещалось тем и другим уходить из обителей и жить в миру, обличались воеводы, продававшие в замужество краденных в России девиц и заставлявшие при себе их венчать. В 1637 году присланы были из России: из Вологды, Тотьмы, Устюга и Сольвычегодска 150 девиц для женитьбы казаков, сверх 500 семей, обязанных поставить впоследствии невест; но в 1725 г. митрополит Филарет извещал губернскую канцелярию, что казаки, посланные за ясаком, вместо подводчиков берут красивеньких остяцких девушек и дорогой насилуют их. Впоследствии узнано было, что русские березовцы издавна покупают у остяков детей, платя за мальчиков по 25 коп. медью и по 20 коп. за девочку. Распущенность нравов в прошлом столетии была так же велика, как и в предшествовавшем: воеводы и сильные люди, не исключая амурского героя Хабарова, отнимали чужих жен и жили с ними блудно. Мужья, измученные неверностью жен, принуждены были прибегать к чародействам, и знахари подслуживались им различными, самыми оригинальными способами привораживанья: скоблили с изб стружки, смешивали с колесною грязью, распускали в банной воде и давали пить неверным женам, шептали на воск и на серу и прилепляли к кресту; брали с головы волосы, шептали на них и велели носить при себе рогоносцам; шептали по волшебным книгам у белой березы всякие наговоры и неверных жен привязывали к этим березам; водили в баню и кормили там волшебными колобками из

воску, печины, соли, волос и всякой неподходящей дряни. Сибирь продолжала устаивать на своем, и в 1836 году один из губернаторов сибирских писал: «Не говоря о мужиках, женщины и девки без стыда ходили в кабак пьянствовать. Легкая нравственность и вольная жизнь, выражаемые термином "прелюбодеяние", представляются в женском населении Сибири явлением довольно обыкновенным, причину которого следует искать в неравномерном пропорциональном отношении мужчин к женщинам, в порче, приносимой поселенцами, и в обычаях страны, практикуемых с древних времен, каковые сильнее всякого закона. В сытой жизни не только в местах золотопромышленных, но и во всех сибирских, находится много возбуждающих причин, как вызовов тех явлений, которые называются распутством, считаются безнравственностью. У тюменских сытых староверов издавна пристраиваются заимки, на которых они держат вторых жен, и сами наезжают туда для развлечений и удовольствий, в числе которых главное место принадлежит пьянству и играм с бабами и девицами. В Алтайских горах тамошние староверы известны, между прочим, тем, что нет дома, где бы не было известных сибирскому люду и любезных их сердцу подворищ. Бывшая слобода Кия, теперь город Мариинск, некогда центр наймов рабочих на золотые промыслы, вела торговлю крепкими винами, всяким товаром и различными сладкими яствами во всевозможных широких приспособлениях. Слава ее не меньше Енисейска, где не так давно навстречу выходившим из тайги с золотых промыслов рабочим выходили мещане с женами и девками и с вином. Отцы поили вином, бабы и девки, славящиеся своею красотою, зазывали в баню, в дома; там опять напаивали, обирали до нитки, возбуждали ссоры и драки и бесконечные дела, которыми Енисейск и Красноярск издавна весьма славятся. Про города эти сложились в народе такие поговорки, которые не годятся для печати. Бойкие, рослые, видные бабы семейские за Байкалом сильно попивают и скоромничают в разговорах и в среде тамошнего населения нравственностью своею не славятся, в соответствие тем единоверцам своим, которыми переполнена губ. Тобольская. Там издавна весь ответ потерявшей невинность девушки состоит в том, чтобы прийти и пасть в ноги родителям: "Простите, я в упаденье пала", и подвергнуться за это епитимии. У семейских за Байкалом

существуют на святках кладки — род свального греха. Своды разрешаются просто: баба бросает кику под лавку и объявляет, что она девка.

Сводные браки там не удержались долго именно потому, что давали простор бабам уходить к другому и отвечать начальству, что не были венчаны...»

Там, по этому случаю, даже самые ярые староверы стали прибегать к венчанию в православных и единоверческих церквах, чтобы закрепить за собою жену и не плакаться потом над потерянным калымом. Так, под влиянием таких неблагоприятных супружеской жизни бытовых основ, странник и скиталец тюменский, посадский человек Михаил Васильевич Девятин, во второй половине прошлого века, сумел организовать особый толк, названный по его имени Девятинским. Толк этот немноголюден, но, тем не менее, придерживаются его и в Тюмени, и в деревнях Першиной, Межборной, Талевой и Сунгуровой. Девятин объявился навсегда холостым для спасения души на старости лет и поселился в скиту в лесу близ деревни Черепановой (Тебяницкой вол., Курганского округа). Деревня эта при ревизии уничтожена была по случаю неприятностей, наносимых каторжными казенного Боровлянского винного завода. Здесь Девятин перекрестил себя якобы по примеру равноапостольной Феклы, препод. Феофана, Дросиды (дщери царя Траяна) и др. День и ночь он читал книги, молился и тем привлек поклонников и подражателей, поселившихся около него скитами. Девятин их перекрестил. Ему наследовал крестьянин Вас. Матв. Гусев (он же Садков), переселившийся за пустынное озеро, где был потом стеклянный завод Бархатовых, тоже в Тебяницком бору (ум. 1805).

Девятинцы верили в то, что ежеминутно надо ожидать второго пришествия, а потому для браков прошло время. Венчанную жену считают блудницей, и потому венчанные их толка всегда под епитимиею. Мужу не дозволяется сходиться с женою, — и этим крутым воспрещением секта достигла противоположных результатов — разврат усилился, хотя в согласие поступали больше старики. К своей жене муж мог ходить не иначе, как через окно, в темную пору. Старики смотрят на это сквозь пальцы, пока нет во чреве; тогда на обоих возлагается строгая епитимия. Соседи заподозревают их даже в кровосмешении по завету: «подобает делателю от плода своего

вкусити», и ведут сплетню о праве сожительства в их толке отца с дочерью, брата с сестрою. Но и на этот раз, как и во все прочие по вопросу о сектантах, отдельные частные случаи ничего не доказывают. Своды или сводные браки у староверов понимаются различно: одни брак в православной церкви признают в гражданском, другие в церковном смысле и непременно венчаются, чтобы жена не сбежала. Свенчавшихся в церкви одни исправляют: налагают епитимию, иногда очень значительную (несколько лестовок, т. е. несколько раз по ста поклонов; отлучение в молитве, в пище); другие не полагают и того. Венчаются и с подписками и без подписок: венчаются и сводятся с православными, бывает и наоборот. Когда усилились сводные браки, одни позволили признать их законными, как Родионовщина тюменская, другие продолжали венчаться в церквах, разумеется, предпочитая православным церквам единоверческие, где все-таки водят посолонь. Подцерковники (поповцы) венчаются в православных и единоверческих церквах, но потом их исправляют. Теперь свои выборные обществом старик или старуха (но не наставники, которые не венчают, не крестят) прочитывают чин венчания. Прежде это делали беглые попы в Екатеринбурге в Полетиковой или Рязановской часовне с наложением епитимии, куда сибиряки нарочно ездили. Появление сводных браков усилилось с того времени, как умер (в 1835 г.) последний поп их Никола (бежавший в 1812 году из имения Куракина, а потому Куракинский). До того времени отпевали покойных по канону единоумершего, совершали вечерни, повечерницы, полуночницы, утрени и часы, разъезжая по округу, беглые попы из Пензенской епархии: Иван Грузинский, Парамон Лебедев, Петр Андреев, и самозваные попы из крестьян: Аристарх, Таврило, Максим и более других известный Никола Куракинский (Парамон во время гонений пристал к единоверию в 1838 году и поступил в единоверческий екатеринбургский приход; другие все, кроме Николы, бежали на Иргиз и Керженец).

Среди заводского населения, в особенности организовавшегося из ссыльного люда, нравственность глубоко потрясена. Там оправдывают разврат как промысел, вынужденный безвыходною нуждою, и признают за ним право, оправданное и отвоеванное целым

столетием. Гмелин нашел в Даурии сифилис в застарелых формах до elephanthiasis'а (слоновой проказы) в то время, когда о сифилисе в России не имели еще никакого понятия. Распутство в нерчинских заводах весьма распространено, почти открытое и к тому же нередко весьма раннее. Здешние девицы легко относятся к своей невинности, зная, что девичьи роды здесь грехом не почитаются, а женихи смотрят более на воспитание: рукодельна ли, трудолюбива ли и может ли вести хозяйство. Употребление вина девушками и женщинами, обычное в целой Сибири, на ссыльных местах Забайкалья кончается только по географическим причинам. Сифилис страшно распространен между заводским народом, поэтому знахарям, знахаркам и ламам бурятским работы много, на сулему и киноварь — расход большой: сулему пьют в вине, киноварь курят с табаком в трубках.

Произведенное растление и насилованье, смешиваясь на самом деле с виновными в соблазнительном и развратном поведении и с преступными в кровосмешении, в тобольских табелях временами учитывались отдельно, но, к несчастию, и на этот раз спутаны с теми, которые способствовали преступлению. Рассматривая их отдельно, нельзя не видеть, что с насилием преимущественно пускались в плотскую любовь люди военного звания, с тою привилегиею перед всеми ссыльными этого вида, что плотские насилия военных людей отличаются самою большою пропорциею и уступают только виновности их в убийствах. В этом преступлении особенно также отличается дворянство. У мещан наклонность к насилию и растлению сильнее, чем у крестьян, но у последних, сравнительно с первыми, живые порывы к кровосмешению и противоестественному удовлетворению страстей (мужеложству и скотоложству). Большое число ссыльных по обоим видам дали те же губернии: Харьковская, тогда богатая военными поселянами, Полтавская, противопоставившая племенное свойство целомудрия нападениям солдат, и неизменные Пермская с Тобольскою, умеющие путаться во всяком преступном грехе, и где изнасилование готовы производить и холостые заводские работники, и истосковавшиеся бродяги и обрекаемые на монастырское целомудрие поселенцы.

Общее число сосланных за противоестественное удовлетворение страстей, и именно за тот вид этих преступлений, который носит название скотоложства, за 9 лет равнялось 50 мужч. Большее число выслали губернии Пермская и Вятская; из них в одной (Вятской) это преступление находит оправдание в стародревнем суеверном обычае лечиться от лихорадки, когда истощены все ведомые и симпатические и самые едкие средства, недействительность которых вызывает, таким образом, последнее, и самое отчаянное, обещающее ссылку. Под влиянием последней преступление не исчезает и на каторге, очень бедной женщинами, и является в присылаемых на исправление субъектах таким родом преступных деяний, который всего чаще усваивается пастухами, беглыми, не помнящими родства, и на довольно значительную часть заявляется на каторге дураками-бажениками, т. е. идиотами. В этих людях, обездоленных нравственными чувствами, с извращенными вкусами по физиологическому уродству организма, преступность отразилась с очевидностью, резко бросающеюся в глаза на местах ссылки. Тобольская губ. и самый город Тобольск выделяются по этому роду преступлений впереди всех других. Причина очевидна в приметном недостатке женщин; однако же по делам приказа было видно, что, вообще, число обвиняемых в скотоложстве год от году уменьшалось.

Мужеложству принадлежит самая меньшая цифра: за 9 лет только четыре случая выпали на долю государственных крестьян России. В Сибири, в каторжных тюрьмах, это матросское преступление сделалось исключительно арестантским. Здесь педерастия, надежно пристроившись по вызову кое-каких покровительствующих причин, по свидетельству врачей, обнаруживает несомненные и очевидные признаки, при осмотре зараженных сифилитическою болезнью. В нерчинских тюрьмах зачастую находили первичные язвы не там, где показано, а circa anum или же in recto.

Насколько незначительна общая сумма сосланных за плотские преступления сравнительно с общим числом наказанных Сибирью, настолько велика другая цифра ссыльных, которых приказ силился названием приравнять к этим и называл иногда ссыльными за развратное, иногда только за дурное поведение или за дерзкие поступки. В самом же деле это — люди, удаленные на житье в Сибирь по воле

помещиков, по их просьбам, с темным и неопределенным обозначением их преступности. Все это — жертвы умершего в наши дни произвола и особый разряд ссыльных, сосланных не по суду, а по административным распоряжениям (о нем после). Ни о какой особенной развращенности нравов эти жертвы не свидетельствуют, и мерилом для объяснения нравственного уровня владельческих крестьян служить они ни в каком случае не могут. Временное возрастание или уменьшение цифр по годам зависит от изменения различных постановлений: правилами 1827 г. не велено ссылать дряхлых, увечных, жен без мужей и мужей без жен и вместе с малолетними детьми (мужского пола до 5-ти, женского до 10-ти лет), не ссылать людей старше 50 лет. С 1829 г. установлена правильная ссылка мещан и казенных поселян по приговорам обществ, а чрез два года запрещено женам государственных крестьян и мещан следовать за мужьями. Иногда цифры доказывают, что злоупотреблениям силою и властью по временам полагались пределы, и произвол сдерживался в границах возможного приличия законными постановлениями. Так, напр. (указом 8 января 1827 г.), увеличилась сибирская цифра оттого, что дозволено следовать за мужьями женам людей, ссылаемых на поселение по просьбам помещиков. Увеличилась цифра сосланных из недовольных теми способами приспособления крепостного труда, какие вздумали применять владельцы в черноземных губерниях, заводившие заводы и фабрики. В Пензенской губ. возмутились все мастеровые Сильвинского завода купца Манухина, в Тамбовской мастеровые Виндреевского завода г-жи Очкиной. В 1827 г. (сенатским указом 28 июня), по вызову этих случаев, на просьбу Манухина зачинщиков сослать в Сибирь дано позволение горным заводчикам посылать на поселение их заводских людей за дурное поведение, без зачета за рекрут. Случай, вызвавший это постановление, рассказан «Полным Собранием Законов» в таком виде: помещик Рижского уезда ротмистр Батурин привлекал жену своего дворового Трофимова к прелюбодеянию и, по несогласию ее, делал обоим наказания и притеснения, разлучал в разные места и, наконец, чтобы удобнее достигнуть своей цели, предложил отправить его в Сибирь за дурное поведение (жену же оставить на усадьбе). Жена объявила, что не желает расстаться с мужем.

Ввиду этой разницы понятий о развратном и дурном поведении и под защитою старинного права (juris primae noctis), объявившегося у нас из подражания и в Западном крае практикованного в числе прочих приемов Польши (остававшейся, по крепостным понятиям, средневековою до наших дней), мы считаем излишним входить в подробности старых грехов и вспоминаем о нем теперь по поводу учета людей, заселивших Сибирь не по доброй воле. Воля и произвол помещиков успели выслать в Сибирь 6886 поселенцев только за 20 лет и с тою особенностью на практике, что приговоры частных людей были не милостивее и не снисходительнее приговоров мирских обществ[171]. При этом помещичий произвол готовнее разделывался и разлучался с дворовыми, чем с оброчными крестьянами; охотливее прогоняли от себя владельцы уральских и других заводов своих рабочих и, затем, мещанские общества порочных людей своего сословия. Солдат оказалось меньше, потому что для них существуют дисциплинарные меры взысканий, но из духовенства выслано в Сибирь на житье больше, чем из купечества. При этом замечательно, что с расширением полицейских прав различных обществ и с усиленьем значения помещичьей власти над крепостными людьми невыгоды status in statu не замедлили возрасти прогрессивно. Помещичья власть поспешила сослать вдвое против прежнего. В пять лет, предшествовавших 1836 году, сослано по воле помещиков 882 чел., а в следующее пятилетие (с 1837 по 1841 г.) уже 1980, а затем в пятилетие с 1842 по 1846 г. сослано 2775 чел. Сталось таким образом то, что за возмущение сослано всего больше крестьян, и при этом наибольшая пропорция замечается у крестьян владельческих. Высшим процентом ссыльных за дурное поведение отличаются дворовые (за ними заводские, фабричные и мещане). В числе

[171] Между крестьянами больше доставалось женщинам и количество сосланных образует перевес в эту сторону. Между государственными крестьянами наибольший процент сосланных за порочное поведение принадлежит магометанам (татарам и башкирам). Ушло много грузин, черемис и мордвы. Чуваши и вотяки всего чаще высказывались непослушанием и неповиновением властям. Местные начальства и мирские общества, действуя вдвоем при руководстве разнородными требованиями, выслали 6189, помещики — 6886.

губерний с наибольшим процентом высланных за дурное поведение стоят обе столичные и чрезвычайно характерно выделяются остзейские. Сибирские цифры людей, сосланных за порочное поведение, указывают на большую силу произвола, не сдержанного правильною регламентациею и разнузданного потворством в следующих местностях: из остзейских губерний — в Эстляндской, в обеих столичных и в других восточных заводских (Пермской и Вятской). Внутренние губернии встали в соперничество с этими, как преимущественно сосредоточившие в себе крепостное население, и притом выяснились так, что Московская, напр., уступает в процентном отношении первенство свое баронской Эстляндской губернии. Белорус, по отношению к подобного рода ссылке, счастливее всех других и даже малоросса, также счастливо ускользавшего от высылки в Сибирь. Рабочая сила их оказалась ценнее в глазах владельцев, сильнее и энергичнее вводивших на своих землях плантаторское и рациональное хозяйства. Из пяти белорусских и шести малорусских угнали в Сибирь всего 415 человек, тогда как за те же 20 лет одна Московская потеряла 627, Орловская 485, Рязанская 512, Тамбовская 452, Тульская 531, Пензенская 354, Нижегородская 367 и проч.

Сибирская цифра не может служить мерилом нравственности еще и потому, что во власти помещиков оставалось право отдачи неугодных людей в солдаты с зачетом за рекрута во всякое время, и правом этим, как памятно всем, они пользовались с заметною охотою. Это — одна из причин, почему, между прочим, сибирская цифра (в процентных отношениях) получила склонение на сторону сосланных на житье женщин. На ослабление точной цифры действовали также, в сильнейшей степени, самовольные побеги в разное время и в разные места, каковыми на памятное нам всем время на правах Америки для Европы считались у крестьян и дворовых южные степи, где город Одесса получил значение Нью-Йорка, Херсон уподобился Чикаго. Крепостное право было одною из причин бродяжничества, а бродяжничество предотвращалось тем преступлением, которое носит в тобольских табелях название «возмущения и неповиновения помещикам».

Неповиновение помещикам в абсолютной цифре выразилось слабее возмущений против власти, но с тою особенностью, что чис-

ло неповиновавшихся женщин в 3 с лишним раза меньше числа восстававших против властей мужчин. Годовые цифры показывают, что там, где неповиновение помещикам обнаруживалось массами, участье женщин почти равносильно участью мужчин. В одном 1846 году всех случаев возмущений насчитывают до 27-ми, но тобольский приказ не выделил их и, смешав с неповиновавшимися установленным властям, отнял возможность идти к определенным выводам. Из других годов крупнее выдаются 1837 и 1845. В 1837 г. много выслано из Пермской и Оренбургской губерний, где в это время существовали столь известные башкирские бунты; в 1845 и следующем крупные цифры по преступлениям против порядка управления — в губерниях Пермской и Оренбургской между заводскими крестьянами. Выводов можно сделать немного. Крупные крестьянские бунты бывали явлением периодическим; в памяти народной смуты эти сохранились под общим именем «дубинщины».

Крестьяне сильнее других сказались также в преступлении, называемом членовредительством, сделавшимся равно обязательным для всех сословий, подлежащих рекрутской повинности. Владельческие крестьяне превосходят в этом все другие сословия снова в силу того же обстоятельства, что назначение в рекруты основано было на произволе владельцев, так как для мещан и крестьян государственных такое назначение подчинялось более строгим законным уставам[172]. Все число сосланных за повреждение членов в 20 лет равняется 854 человекам.

В тех сословиях, где оно вызывалось рекрутскою повинностью, преступление не выразилось ни одним случаем ни в служилом, ни в вольном дворянстве, ни в духовенстве и купеческом сословии, ни в шляхетстве, ни у военных поселян и только по одному случаю во все 12 лет высказалось в сословии однодворцев и у казаков, отбывающих эту повинность по народному и политическому принципу.

---

[172] По числу преступников за 12 лет в таком порядке: мещан 20 (в этом числе евреев только 2); государственных крестьян 108; помещичьих крестьян 419 мужч.; военных 22 м., дворовых (за 9 лет) — 13 чел. Преимущественно же часто повреждение членов у заводских и фабричных крестьян. Временами появлялась отдельная графа сосланных за подлоги в отправлении рекрутской повинности, но эта цифра малозначительна.

В среде самих господ, дворян служащих и неслужащих, и в среде чиновников сильнее обнаружились преступления по службе, побеги за границу, лихоимство; при этом некоторые, как преступления государственные (возмущение и неповиновение законной власти, подделка документов), отличаются наивысшим процентом сравнительно с другими сословиями. Преступления по службе составляют исключительную особенность крестьянских владельцев, представителей привилегированных и счастливых классов. По некоторым родам, как, например, по наклонности к убийству родителей, дворяне отличаются больше и при этом у дворянок она сильнее не только всех женщин, но и мужчин всех сословий (исключая одного — некогда дворянского, а теперь одводворческого). Сосланные за изнасилование соперничают процентом только с военным сословием. Если государственные преступления не особенно часты, то подделка документов — самое частое преступление, наравне с преступлениями по службе. Последний род, вместе с кляузничеством, сильнее высказался на сибирской цифре у чиновников. Для них же имелись в тобольских табелях особые графы: «похищение актов из присутственных мест, составление подложных грамот и указов, распространение вредных слухов и составление пасквилей». Каждый вид этих преступлений, по своей исключительности, давал по небольшому числу жертв, которые потом сочли за нужное смешать в общей цифре преступлений по службе.

Останавливаясь на последних, не разобранных нами преступлениях, и на этот раз собственно дворянских, мы видим, между прочим, что за ябеды, доносы и лживые поступки сослано всего в 20 лет 385 чел. (327 м., 31 ж.), за растрату казенного имущества 157, за побеги за границу 184 (174 м., 10 ж.) и за государственные преступления (по первым двум пунктам) 443 (439 м., 4 ж.). За побеги за границу всего больше ушло из губерний пограничных: Бессарабской (39 м.), Волынской (29 м., 4 ж.), Виленской (17 м., 3 ж.), Оренбургской (15 м., 1 ж.), Подольской (14 м.). Ябедничеством и доносами всего больше отличается дворянство служащее и участь этаго обвинения разделяет только с мещанами. Наибольшее число за эти роды преступных действий из губерний: Оренбургской (30 м., 1 ж.), Владимирской (19 м., 5 ж.), Тульской (16 м., 1 ж.), Казанской (16 м.), Пензенской (12 м., 3 ж.), Новгородской (11 м., 1 ж.),

Тверской и Вятской (по 11-ти). Сравнительно слабое по отношению ко всем другим родам преступлений, мало распространенное и бессильное для России, оно является с замечательно серьезным значением для Сибири, как страны, которая с самых давних времен считается страною кляуз и подъяческого ябедничества, а со времен Екатерины, как известно, находилась под запрещением и сильным подозрением, в силу которого некоторое время не принимались от сибиряков просьбы. Бесчисленные, разнообразные и самые тяжелые притеснения от тогдашних властей, — пользовавшихся удалением края от центра, — Пестелей, Трескиных, Кохов, Чичериных, Немцевых, Нарышкиных, Милекиных и множества других (им же имя легион) выродили эту особенную черту в сибиряках, как результат встречи достатка, с одной стороны, и алчности — с другой. В ссыльных грамотных приказных Сибирь умела находить пособников в старые времена и не малотяготится теперь сама от поселения этих кляузников преимущественно в городах. Какая-то непоседливая и неугомонная докучливость в сношениях с начальством и людьми одинакового воспитания, но свободными, является характерною чертою этих людей. С одной стороны, черта эта представляется сходною с тою, которая известна у потерянных, испившихся московских подъячих, пристающих к прохожим с милостынею и нередко провоцирующих тех сорваться на бесчестие. С другой стороны, в этой черте характера видна та неумелость и неспособность примириться с несчастьем, которая так сильна в ссыльных из простого люда. В несчастных чиновниках ссылка умеет обнажать недостатки воспитания и отсутствие прочных честных правил во всей ужасной наготе. Чиновники в ссылке действительно становятся несносными, беспокойными людьми и не возбуждают никакого уважения, не пользуются у туземцев ни малейшим сочувствием. У горного начальства ссыльные из дворян далеко не все пользовались благоволением, да и сами того не заслуживали. Близко стоявший к ним и знавший их свидетельствует, что худшие из них делались еще большими негодяями. Не приученные воспитанием ни к какому труду, всеми способами они старались избавиться от работы, употребляли всевозможные усилия попасть в лакеи, в рассыльные при канцеляриях и полиции. Подлое угодничество

являлось в их быту самою яркою чертою характера. Оставаясь в среде простаков, эти люди подстрекали доверчивых людей на разные мерзости, обыгрывали в карты и т. д. Они казались или очень жалкими, или возбуждали к себе презрение. Доносы этих людей заставляли начальство не один десяток раз пристроить содержанием других их товарищей, ни в чем неповинных. Между тем, с ними старались поступать по возможности человеколюбиво и обращались вообще хорошо. Их почти никогда не посылали на работу, и если не было особого предписания, то даже не содержали и в тюрьмах, а помещали на гауптвахтах, позволяли заниматься обучением детей и разными ремеслами. Сосланных, хотя и за важные преступления, но не кладущие пятна на человеческую честь, положительно не употребляли ни в какую черную работу. Не измышляя никакой своей работы, ссыльные из чиновников и дворян все время предавались беспредельному пьянству, обыкновенно одной из застарелых привычек и причин их ссылки. Пьянство редко не имело формы запоев и положительно всегда вело к нервному расстройству, которое характеризовалось или неугомонным беспокойством, или, в нередких случаях, покушениями на самоубийство. В тобольском остроге, на пути в Нерчинск, в каких-нибудь три-пять недель отдыха, они успевают обнаружить самую богатую и разнообразную серию всевозможных пороков. В тобольском остроге, в 1853 году, караульный офицер Путьковский отпустил одного чиновника в город, а когда тот не вовремя вернулся в замок — всыпал ему 300 ударов розгами. Чиновник не жаловался, но когда дошло об этом до начальства, то оно имело несчастье узнать, что таков был взаимный уговор. В тех камерах, где сидели два товарища из ссыльных чиновников, ссоры и драки являются неизбежными, обыкновенными. Рассказами об них испещрена летопись происшествий в острогах, и разбирательством подобных домашних дел занята большая часть времени смотрителей. Хотя Сибирь не представляется теперь страною особенных неурядиц, вызывающих жалобы, но не так давно могла указать на такие пункты, где ябедничество выдавалось наиболее резко. В начале нынешнего столетия славился этим Иркутск, но к середине столетия губернатор Трескин ослабил эту страсть высылкою беспокойных подъячих в Якутск. Зато с 40-х годов и едва ли

не до сего дня стала резко бросаться в глаза эта городская и чиновничья страсть в этом городе. Здесь эта страсть к кляузам и жалобам сумела перейти от сосланных к русским туземцам и заразить даже якутов. Хитрый, коварный, мстительный, но даровитый и переимчивый народ якутский стал, от благоприобретенных наследств, докучливым в ябедах и кляузах до крайней степени невозможности. То же явление заразы, вызванное теми же самыми причинами, сильно обнаружилось в Тобольске, так что за Сибирью, в сравнении с ее метрополией), ябедничество и кляузничество остаются как одни из характерных черт, проявляются и теперь приметно чаще и значительно резче. Это даже как будто род какой-то болезни.

Глава XIII. Общие выводы

Валовое число ссыльных. — Распределение их по родам ссылки, по сословиям, по полам, по возрастам. — Наиболее преступные сословия. — Слабая преступность владельческих крестьян. — Распределение ссыльных по наиболее обобщенным категориям преступлений. — Роды преступлений, сильнее господствующие в сословиях. — Преступность инородцев, населяющих Россию: татары, киргизы, калмыки, башкиры и инородцы финского племени. — Преступления евреев и евреек. — Безгреховность мусульманок. — Преступления немцев и вообще лютеран. — Католики. — Православные

Постараемся подвести к предыдущим наблюдениям следующие краткие и заключительные итоги.

В течение тридцати восьми лет (с 1823 по 1861) в Сибирь из России ушло всего обоего пола лиц 289514, сосланных по судебным приговорам и административным порядком, не считая пришедших по воле жен и детей. Последних (за мужьями — жен и детей и за матерями — детей) за все это время ушло в Сибирь — 23764 лица обоего пола. В этом числе сослано в каторжные работы 39601 мужч. и 4330 женщ. и на поселение 207604 мужч. и 37979 женщ. Принимая в соображение одних ссыльных, мы увидим, что ежегодно средним числом ссылалось по 7618 человек; распределяя же ссылку по обоим способам ее, ясно определяется то обстоятельство, что число сосланных по суду уступает числу сосланных административным порядком; причем воле помещиков принадлежит наиболее видное место.

Главную массу ссыльных, по абсолютному количеству, составляют бродяги и беглые (т. е. бежавшие с каторги, мест поселения, от помещичьей власти) и выключенные за неспособностью из крепостных работ и арестантских рот. За ними следуют владельческие крестьяне с дворовыми людьми; затем государственные, удельные и другие казенные крестьяне; потом нижние воинские чины всех ведомств, мещане, отставные и неслужащие; духовные: духовенства белого и монахи; дворяне обоих видов службы (военной и гражданской); шляхтичи и именовавшие себя таковыми, купцы, люди всех других свободных состояний и, наконец, иностранцы.

Для доказательства возьмем общую сложность 19-ти известных нам лет с 1838 по 1848 и с 1852 по 1861.

		Мужчин	Женщ.
Из	бродяг и беглых ……………………………………….	29333	6181
-"-	выключенных за неспособностью из крепостных работ и арестантских рот …………………………….	19203	1594
-"-	владельческих крестьян и дворовых людей ……....	18320	5017
-"-	государственных, удельных и, вообще, казенных крестьян ……...............................	16582	3406
-"-	нижних воинских чинов всех ведомств (унтерофицеров, солдат, казаков, военных поселян) ………..	5214	877
-"-	мещан ……………………………...........................	3679	559
-"-	отставных и неслужащих …………………………….	784	108
-"-	духовенства белаго и монахов ……………………….	523	35
-"-	дворян военной и граж данской службы ………....	333	—
-"-	шляхтичей и именовавшихся таковыми …………..	187	56
-"-	людей свободных состояний ………………………...	167	48
-"-	купцов …………………………….........................	151	8
-"-	иностранцев ………………………………………….	89	5

Распределяя ссыльных по полам, мы увидим, что число мужчин равняется за все известные нам 38 лет 247205, а число женщин 42309, т. е. в массе ссыльных, женщины составляют около шестой части сосланных мужчин. Женщины, по наклонности к различным видам преступных деяний, определяемой сравнительным процентным отношением, являются впереди мужчин по убийству детей и по

плотским преступлениям. Первое — почти исключительно женское преступление. Убийство мужей представляет также особенно определившуюся наклонность в женской половине ссыльного люда, наравне с поджогами. Последние точно так же следует считать преимущественно женским преступлением. При слабой виновности в убийствах вообще и в остальных преступлениях, собственно мужских, преступность женщин становится виднее между убийствами помещиков и родственников при известной облегченности сношений и поводов из виду значительной стесненной общественной деятельности и при перевесе исключительно замкнутой домашней и семейной жизни. Потому-то виновность женщины и сильнее в преступлениях против прав семейственных, чем общественных.

Рассматривая преступления по возрастам, мы замечаем, что наибольшая преступность развита в возраст наиболее ранний. Большая часть тяжких преступлений совершается до 40 лет; причем ранние возрасты (от 10 до 15 лет) выясняются для мальчиков в поджогах (20 лет 77 человек), святотатстве (29), в убийстве посторонних (19), в участьи в убийстве помещиков (6), в изнасиловании (4). Для девочек преступность за 20 лет высказывается в поджогах же (54 чел.), в убийстве посторонних (5), в участьи по убийству помещиков (4). Затем уже преступность этого возраста ни в чем не проявляется. С 16-ти лет для обоих полов преступность становится одинаково присущею по всем видам своим и одинаково достигает наибольшей абсолютной цифры, как для мужчин, так и для женщин, в возрасте от 20 до 30 лет. Свыше 60-ти лет преступные наклонности мужчин в 9 с лишним раз сильнее таковых же у женщин, но зато ранний женский возраст (до 20 лет) — пора несдержанных инстинктов, не установившегося развития умственного в противоположность старческому, отличается наклонностями к наиболее тяжким преступлениям. Поджоги составляют принадлежность этой женской поры развития. Убийство мужей чаще в возрасте свыше 30 лет; убийство детей в возрасте раньше 30 лет. До 30-ти же лет женщины чаще ссылались за кровосмешение, чем мужчины, тогда как это же преступление сильнее возрастает для мужчин с годами (за 40 лет) и не ослабевает в старческом возрасте (свыше 60-ти). Старики за 60 лет наиболее виновны в воровстве, как одном из видов стяжания, столь приличного старческому возрасту,

и в ереси и расколе, т. е. когда избыток и крепость личного убеждения требовали выхода на убеждения других, т. е. совращения. Люди от 50 до 60 лет по преимуществу ссылались за лихоимство. Возмущения против властей производились также усиленнее в возрасте от 50 до 60 лет, тогда как возмущения дворовых людей против помещиков одинаково часты и до 40, как и в лета после 50-ти. Разбои и грабежи, непосильные для стариков, сильнее в возрасте до 40 лет и в возрасте от 40 до 50 в особенности. У женщин во все возрасты самое частое преступление — убийство; в лучшую пору цветущего возраста — грабежи, святотатство и поджоги (грабежи до 20 лет самое редкое). Общая наклонность к преступлениям у мужчин приметнее ослабевает после 40 лет; у женщин после 30-ти.

Ввиду того, что самая большая часть тяжких (уголовных) преступлений, по пропорции, оказывается в высших сословиях (всего более в духовенстве, затем в военном сословии и, наконец, у дворян), — владельческим крестьянам принадлежит четвертое место, а государственным — шестое (купечеству — пятое, мещанам — седьмое). Духовенству принадлежит высшее место по обилию святотатцев, военному сословию — по наклонности к убийствам и грабежам; дворянам — по числу сосланных за подделку документов и государственные преступления. За крестьянами остается крупная виновность по убийствам (за государственными — убийства родных и убийства супругов), по самоубийствам (у владельческих и дворовых), по преступлениям против власти (за дворянством немедленно следуют господские крестьяне), по возмущениям (у крестьян владельческих), по повреждению членов (у владельческих), по воровству, как самой обыкновенной причине ссылки всех сословий, за исключением военного и духовного, и по виновности в дурном поведении. Крестьяне, сосланные административным порядком, составляют в массе всех наказанных: государственные ⅐ часть, владельческие почти ¼, дворовые почти ⅓. Из сосланных за преступления против собственности — крестьяне всего более ссылались за грабежи; за грабежами следуют поджоги, затем корчемство, святотатство и подделка ассигнаций. При этом замечается, что вероятность ссылки сильнее в крестьянском сословии для фабричных и заводских. Последние в значительной степени принимают на себя виновность в убийствах чужих, родных и в убийствах супругов.

Большую часть покушений на самоубийство снимают с крестьян на себя дворовые, грабежи и разбои — заводские с фабричными, поджоги — дворовые; в фальшивых монетчиках почти исключительно являются крестьяне, приписанные к фабрикам и занятые на заводах (в особенности уральских). Возмущение и неповиновение несколько чаще заявляют дворовые и крестьяне заводские, чем прикрепленные к земле и занятые исключительно земледелием. Земледельцы крепостные уступают в воровстве преимущество также дворовым и еще однодворцам и военным поселянам. Членовредительство также сильно развито у заводских и фабричных; они же чаще содержат притоны для бродяг и беглых и, в свою очередь, делаются бродягами и беглыми. За дурное поведение сослано, по процентному отношению, опять-таки наиболее дворовых и заводских с фабричными, чем крестьян-земледельцев. Последние, таким образом, при всех невыгодных условиях общественного положения и быта, представляются наиболее свободными от упрека в преступных наклонностях. Господские крестьяне становятся наиболее испорченными и преступными только лишь в тех случаях, когда они искусственным и насильственным образом отрываются от земли и превращаются либо в дворовых, либо когда в качестве безземельных пролетариев становятся к фабричным станкам и машинам, к заводским печкам и горнам. Государственным крестьянам владельческие крестьяне уступают в преступности убийств и грабежей, дворовым же людям в общей наклонности ко всем преступлениям, даже в дурном поведении, в возмущениях, в подделке документов и в воровстве. В тесной рамке деревенских и семейных отношений, в сосредоточенности трудового земледельческого быта, вне соблазнов городом, владельческий крестьянин уцелел в заметной безгреховности. Обременяемый налогами и тяжестью искусственных и произвольных форм быта, он иногда выражает себя местью, сопротивлением, но чаще отделывается мирною формою побега и, затем, бродяжничества. Его ловят на поджогах чаще, чем кого-либо из лиц других сословий, и на крайний случай ловят с фальшивым паспортом уже вдалеке от обогретого и насиженного им места, в виде бродяги, который при этом не умеет еще так искусно скрывать свое происхождение, как делают это, напр., мещане и, в особенности, дезертиры-солдаты и дворовые люди. Несколько сильнее лишь

обнаруживается преступная наклонность в женской половине владельческих крестьян, чем в крестьянках государственных, да повреждение членов — одно из наиболее мелких преступлений у владельческих крестьян являлось на выручку и помощь там, где у воина недоставало ни умственного развития, ни достаточной воли, ни силы характера, как это чаще случалось при отбывании рекрутской повинности, при исполнении полного числа тяжелых урочных работ и проч.[173].

В наибольшей степени крестьяне всех родов и наименований являются виновными в преступлениях, направленных против собственности частных лиц; гораздо слабее в преступлениях против жизни, здравия, свободы и чести частных лиц и в наименьшей степени в преступлениях против прав семейственных и против общественного благоустройства и благочиния.

Приводим таблицу преступлений, господствующих в сословиях (по расчету 1 на 100 сосланных)[174].

ДВОРЯНСТВО

Государственные преступления — 2/3 всего числа сосланных (9 проц. на 100 всех сосланных: 13 проц. служащих по военному ведомству, 3 проц. по гражд. вед.).

Преступления служебные — остальная треть сосланных (3 проц. на сто).

Подделка документов: у чиновников 23,5 проц., у служащих военных 17 проц., у отставных 14 проц., (у духовенства 7 проц., у мещан 3,75 проц., у владельч. крест. 3,5 проц., у купцов 3,6 проц., у дворовых 3,25 проц., у однодворцев около 3 проц., у казаков и солдат около 2 проц.).

---

173 Более ранние сибирские табели умели членовредительство отчасти освещать тем, что выделяли в особую графу сосланных за подлоги в отправлении рекрутской повинности. Цифра эта, однако, слаба: в 10 лет сослано всего трое.

174 Таблица эта составлена по вычислениям г. Анучина в его исследованиях о проценте ссылаемых в Сибирь.

Оскорбление родителей: дворяне, служащие в гражд. службе 1 проц., дворяне неслужащие 0,53, купечество 0,72, казаки 0,21, мещане 0,12).

Кляузничество (ябеды): дворяне, служ. по граж. ведом. 4,5 проц. неслужащие 1,5 проц. (военные 0 проц., мещане 0,75, купечество 0,72, государственные крестьяне 0,27, помещ. Крестьяне — 0,21, дворовые 0,18, духов. 0,16, казаки 0,11, солдаты 0,10, однодворцы 0,08).

Мздоимство и лихоимство 0,28 (купечество 0,4).

ДУХОВЕНСТВО

Святотатство: 34 проц. на сто сосланных (солдаты 3 проц., купцы около 3 проц., дворяне, не служащие и отставные, около 2,5 проц., мещане около 2 проц., казаки 1,81 проц., дворяне служащие около 1½ проц.).

Дурное (соблазнительное) поведение: 91 проц., (у владельч. крестьян 24,5 проц., т. е. заводск. и фабричн., у мещан 15 проц., у государственных крестьян около 15 проц., у купцов 5 проц., у военного сословия проц., у дворян около 3 проц.).

МЕЩАНЕ

Воровство: около 58 проц., самый высокий после однодворцев — 63 проц. (купечество 53 проц., дворяне 49 проц., государственные Крестьяне около 47 проц., казаки 44 проц., дворовые 39 проц., владельческие крестьяне 38 проц., дворяне не служащие и отставные 36 проц., духовенство 27 — проц., солдаты 21 проц. дворяне служащие —18 проц.).

Контрабанда: 0,61 проц., (казаки 0,53, государственные крест. 0,47 проц., владельч. крест. — 0,11 проц.).

КУПЕЧЕСТВО

Подделка фальшивых ассигнаций и монет: 6,5 проц., (у солдат около 4 проц., у дворян, служащих по военному ведомству, 2,5 проц., у мещан 1,76 проц., у казаков 1,25 пр., у дворян не служащих и отставных и у дворян, служащих по гражданскому ведомству — 1 проц., у духовенства около 1 проц., у государственных

крестьян несколько менее, у владельческих, у однодворцев, у дворовых почти равная степень наклонности).

Преступления религиозные: 2,25 проц., (у однодворцев почти 1,5 проц., у духовенства — 1,25 проц.)

Пристанодержательство: 2,25 проц., (солдаты 1,5 проц., гражд. чиновники 1,5 проц., однодворцы около 1,5 проц., крестьяне госуд. 1,25 проц., духовные 1,25). Военные поселяне завинялись наименьше, затем из крестьян — заводские и фабричные.

ВОЕННОЕ СОСЛОВИЕ

Смертоубийство всех видов: у солдат слишком 22 проц., у казаков около 21 проц., у дворян, служащих по военнему ведомству, 16 проц., (у государственных крестьян — 15,5 проц., у владельческих 13,25 проц., у дворян не служащих 11,75 проц., у купечества — 11,5 проц., у дворовых 11,25 проц., у однодворцев 11 проц., у духовенства 10,25 проц., у чиновников гражданских 7,25 проц.). Детоубийство (высший процент) у солдаток. Убийство мужей у заводских и фабричных, затем у однодворцев, дворян и военных поселян. По убийству родственников у дворян процент наивысший. Убийство родных — у фабричных с заводскими.

Грабеж: у казаков 10,25 проц., у солдат около 9 проц., у дворян, служащих по военному ведомству, около 11,25 проц., (у купцов около 6 проц., у государ. крест. 5,25 проц., у однодворцев около 5 проц., у мещан 4,25 проц., у владельческих крест. 3,5 проц., у дворян неслужащих около 2 проц., у дворовых 1,5 проц., у духовенства около 1,5 проц.).

Побеги и бродяжество: у солдат 15,5 проц., у казаков 2,5 проц., (у владельч. крест., фабричн. и завод., около 2,5 проц., у мещан 2,26 проц., у государств. крест.1,25 проц., у дворовых около 1,5 проц., у духовенства более 1,25 проц., у дворян военных несколько более 1,25 проц., у однодворцев почти 1 проц.).

Поджоги: дворяне военной службы около 5 проц., солдаты 2,25 проц., казаки 2,26 проц., (дворовые 3 проц., владельч. крест, около 3 проц., купцы 2,25 проц., госуд. крест. 2,25 проц., однодворцы 1,5 проц., мещане 1,25 проц., дворяне не служащие 1 проц.).

Плотские преступления: дворяне военных чинов 3,75 проц., казаки 2,75 проц., солдаты 1,75 проц., (граждан, чинов. 1,5 проц., государственные крестьяне 1,25 проц.). Изнасилование в военном сословии имеет высший процент.

Кража золота: солдаты 0,31 (помещич. крест. 0,25, государств. 0,23, дворовые 0,18).

ДВОРОВЫЕ

Возмущение и неповиновение: 5,5 проц., (чиновники гражд. около 4 проц., владельч. крест. 3,75 проц., солдаты 3,25 проц., государств. крест. — 3 проц., купцы 2.25 проц., мещане около 1 проц.).

Самоубийство: 0,48. За дворовыми и помещ. крест. — солдаты; затем казаки, государств, крест, и мещане.

ПОМЕЩИЧЬИ КРЕСТЬЯНЕ

Повреждение членов (членовредительство): 1,75 проц. (преимущественно у заводских, фабричных и пахотных с намерением избежать военной службы).

Корчемство вином: 2 проц., (государств, крестьяне 1,75 проц. и однодворцы 1,5 проц.; корчемство солью столь ничтожно характеризуется ссылкою, что в 20 лет, напр., является сосланных только 5 человек).

Рассматривая преступления по отношению к населяющим Россию инородцам, мы увидим, что татары и евреи (мещане) дают большую цифру сколько по сравнительной количественности своей, столько же и по многим племенным условиям. Татарин и еврей, если, вообще, не на хорошем счету у русского народа, то, во всяком случае, наблюдения убеждают в том, что на татар, по преимуществу, падают преступления самые тяжкие, каковы смертоубийства, грабежи и разбои; на евреев менее тяжкие, каковы преступления против собственности.

Татарин — по народной примете и пословичному выражению — либо насквозь хорош, либо насквозь мошенник. В последнем случае убийства их отличаются большою жестокостью, разбои — большою ловкостью и отчаянностью, грабежи — крайнею дерзостью

и изворотливостью. Воровство у татар сравнительно редко, и оно в большей части направлено на тот пункт, на котором у них только два соперника: цыган и башкир; это — конокрадство. Так, напр., за воровство в течение 6-ти лет сослано татар всего только 20, зато убийств сделано 42, грабежей произведено 51, разбоев 9 (80 мужчин и 3 женщины сосланы в это же время за так называемое развратное поведение). Татарин часто бежит от службы, бродяжничает, несмотря на незнание русской грамоты и письменности, не прочь составить фальшивый вид, подделать монету; он, вообще, недурной хлебосол, а потому не ускользнул и из ссыльных-пристанодержателей. Татары охотнее укрывают беглых, чем какие-либо другие инородцы, исключая, может быть, одних только *тептярей.* Татары приметно ослабляют своим участьем и вмешательством общие цифры детоубийц, кровосмесителей, отцеубийц, святотатцев. В среде братоубийц у них только одни соперники — башкиры. Резко выдается в татарском населении наклонность к членовредительству, как определенное стремление к избежанию от военной службы по рекрутской очереди. Татары же вместе с башкирами чаще многих других успевают убегать из-под стражи, не выдерживая пытки неволи. Их превосходят в таких делах и поползновениях одни лишь кавказские горцы.

Как будто еще до сих пор живут, сильно действуют и долго не иссякнут в природных свойствах всех многочисленных осколков монгольских племен свойства, воспитанные дикою жизнью азиатских степей и гор и широким простором для воли в глуши лесных и степных губерний восточной России. Здесь еще много в народе тех элементов, которые родятся в степи и воспитываются ею, оправдываются в понятиях и законах номадов. Элементы эти, выдвинутые на вид и поставленные на суд оседлого народа, оказались проявлениями дикой и необузданной воли, преступлениями. Баранта оказывается самым нахальным и отчаянным грабежом и разбоем с неизбежным последствием смертоубийств; упорное отстаиванье степной воли является также преступлением и называется «возмущением против законом установленных властей»; народное удальство, степное молодечество обзываются разбоем или грабежом и получали оценку на торговых площадях под уда-

рами сначала кнута, потом плетей и палок. Вот почему беспокойная неуживчивость с порядками господствующего народа, не успевшая выразиться открытым недовольством, но достаточно надоевшая начальствам, по преимуществу ведет инородцев в ссылку под темным именем ссыльных «за развратное поведение». Калмыки, киргизы, черкесы, чеченцы, лезгины, куртины преимущественно попадаются в ссылке под названием возмутившихся против законом установленных властей, за грабежи и убийства исключительно. Вот почему ногайцы, наиболее других сохранившие свойства степных кочевников, хотя и редко появляются в списках ссыльных, но всегда идут за грабеж. Грузины идут на убийства, за вспышки своего горячего южного темперамента. Он же уводит в изгнание и башкир весьма часто за те же убийства и грабежи. Чуваши, вотяки, мордва, черемисы — флегматики по темпераменту, не умевшие племенного недовольства довести до открытых бунтов и вооруженных восстаний и ограничившиеся лишь ропотом, обвиняются в так называемом развратном поведении, которое, по тягучести своего значения, совсем не определенного этою рубрикою таблиц приказа, вмещает в себе и вольные и невольные противоборства закону: и неуменье примириться с русскими законоположениями, и неспособность подчиниться местным административным распоряжением, и прочее тому подобное. Все это на темпераменте монгольских племен, разжигаемом фанатическим учением Корана, выразилось открытыми восстаниями у киргиз и башкир, как у кавказских горцев убийствами гяуров. Рассматриваемые нами годы представляются одними из самых беспокойных в племени башкир, туго привыкающих к законам государственной организации, в прошлом столетии принимавших самое деятельное участье во всех народных волнениях по Волге и за Волгою, в нынешнем затевавших бунты в доказательство своей неуживчивости и своего недовольства русскими порядками. Теперь они огражданились. На смену их выступил очередной вопрос колонизирующего начала над степными киргизами, которые, в свою очередь, в наши дни успели дать немалое количество национальных консерваторов, угодивших в ссылку. В шесть только лет башкир за возмущение против властей выслано 77 мужч. и 4 женщ.

За то же число лет сосланных за возмущение дали: 41 калмык, 11 чел. киргизов, 10 черкесов.

Смертоубийств учинено: 42 башкирами, 7 черкесами, 8 киргизами.

Грабежей наделано: 11 башкирами, 10 черкесами.

За воровство-кражу сослано: киргиз 12, башкир 20.

За развратное поведение башкир сослано более всех инородцев — именно: за 6 лет 77 мужч. и 4 женщ. (в этом числе 5 тептярей).

Татары, при своей абсолютной многочисленности (по сравнению со всеми другими инородческими племенами), дают определение себя в следующей таблице:

За развратное поведение		80	мужч.	3	женщ.
-"-	воровство …………….	191	-"-	5	-"-
-"-	смертоубийство ……	55	-"-	3	-"-
-"-	грабеж ………………..	46	-"-	5	-"-
	(в том числе 2 ногайца)				
За пристанодержательство		9	мужч.	5	женщ.
-"-	разбой ………………..	9	-"-	—	-"-
-"-	поджоги ……………..	3	-"-	1	-"-

При этом на инородцах монгольской расы лежат упреком столь тяжкие и редкие преступления, как отцеубийство, братоубийство. Кровосмешением они также выдаются из ряда.

Нельзя не заметить, что в женской половине мусульманского населения России преступная наклонность несравненно слабее всех женщин других господствующих исповеданий. Степные обычаи успели так отвадить женщину от общественной жизни, а Коран так закрепил ее у домашнего очага и в затворе, что она может грешить перед законом лишь хлебосольством, т. е. пристанодержательством, но едва ли и здесь не та же апатия, не то же тупое равнодушие, как следствие примечательной неразвитости. Продажная вещь, рожавшая героев, сама никогда во все века не дорастала до героини, не имела средств и случаев выразиться каким-либо сильным рельефным порывом, хотя бы даже и на какое-нибудь преступное деяние.

Женщина у евреев, сумевшая выбиться из затвора и завоевать своими дарованиями право на участье во всех хлопотливых и меркантильных делах мужа, представляет собою более видное явление. Резкой границы между мужем и женою в еврейском племени не существует. Скажем больше: еврейка во всех делах продажи и купли, где не требуется хлопотливой, нервозной деятельности факторства и непоседливой беготни, в лавочной и домовой торговле, — с достоинством занимает место мужчины, и еще не решено, чьи способности определеннее и сильнее: хлопотливого ли, вечно бегающего мужа или сидящей за прилавком жены. Вот почему еврейка является уже с более крупною наклонностью к преступности, чем мусульманка, хотя и реже женщин всех других исповеданий. Воровство представляется одною из крупных причин к преступлению, за которую являются еврейские женщины в ссылку; затем уже стоит их соучастье в различных преступных поползновениях мужей.

Из числа других инородцев немцы, при существовании собственного привилегированного суда в остзейских губерниях, не только сами не дают возможности судить их по степени наклонности к преступлениям, но даже отнимают возможность производить те же наблюдения над безусловно-подчиненными им другими инородческими племенами России (каковы эсты, ливы, латыши). По этой причине в немецком населении, присылающем в Сибирь случайные жертвы ссылки, можно видеть слабую наклонность ко всем видам преступлений. Исключение составляет одна только контрабанда. Не видать ни виновных в плотских преступлениях, ни виновников в похищении казны и, вообще, во всяких многоразличных ущербах ее интересам и другом прочем. С некоторою отчетливостью выясняется в лютеранском населении Остзейского края, податном и земледельческом, наклонность к поджогам, выражающимся наибольшим процентом для женщин. Наибольший процент сосланных за дурное поведение лютеран (эстов, ливов и, в особенности, латышей) доказывает лишь силу домашнего произвола и бесконтрольность суда остзейских собственников над их вассалами — крепостными рабочими. Очень может быть, что в этом проблеске правды, отчасти освещаемом тобольскими табелями, можно подозревать и оправдание поджогов, как мщения за притеснения, и т. п. Наклонность к поджогам у женщин лютеранского

исповедания сильнее, чем у женщин-католичек и православных. Инородцы финской расы отличаются такою же слабою наклонностью к преступлениям, как немцы и русские подданные лютеранского закона, несмотря на то, что обе расы стоят на двух противоположных полюсах умственного и нравственного развития[175]. Чрезвычайно неприметно мелькают самоеды наряду с другими инородцами финского племени, как виновные в краже. Мордву, черемис, чувашей, вогулов позднейшие тобольские табели перестали даже выделять из общего числа ссыльных. Хотя эти племена наиболее успели слиться с соседями и затонуть в славянском море, тем не менее в их племенных обычаях, в темпераменте, в условиях быта, утверждаемого еще до сих пор на кое-каких осколках древних законов номадов — следует искать оправдание очень многих причин ссылки. Едва ли ввиду этих данных может что-либо определившееся и характерное подсказать вероисповедание, за которым может спрятаться живой и пылкий темперамент рядом с вялым и флегматическим; рядом с грамотным и развитым немцем, испорченным городскою жизнью, зачтется забитый, задержанный в развитии теми же немецкими баронами какой-нибудь деревенский эст или латыш; с оседлым и развитым касимовским и казанским татарином под мусульманином пройдут степные дикари вроде ногайца и киргиза, или дикари горные, вроде чеченца или лезгина. Этим племенным свойствам должны уступить свое место влияния религиозные, которые, при всей тщательной разработке этого вопроса по тобольским табелям, подсказывают весьма немногое. Они говорят, напр., что затворница-мусульманка наименее всех наклонна к преступлениям, однако в равной же степени процентных отношений находятся в безгре-ховности домоседки православного исповедания: купчихи и жены лиц духовного звания — попадьи, дьяконицы и дьячихи, но наибольшую часть сытые и хорошо обеспеченные. По тобольским табелям католикам наиболее

[175] Иностранцев обвиняют и ссылают всего чаще за подделки всякого рода актов, за переход за границу, за тайный ввоз иностранных товаров. В последнем случае довольно приметны между русскими евреями евреи иностранцы. Женщины-иностранки ссылаются в Сибирь исключительно за развратное поведение.

присущи государственные преступления, но под католиков попали поляки, потерявшие свое отечество и в поисках его свободы, действительно, увлекшие своих ксендзов, — представителей веры, и, действительно, в костелах и церковных песнях сумевших найти наилучшие места и средства к политическому возбуждению. Правда, что индифферентные в вере, обезличенные униею обитатели западных окраин Империи виновны в святотатстве, но виновны они столько же, как и евреи, для которых преступность святотатства в национальном, религиозном смысле исчезает в преступлении простого воровства. Если в преступлениях против самой религии наибольшая виновность остается за православными, то и в этом случае она далеко не в равной степени распределяется между северными и южными жителями России: великоруссы, отличающиеся наибольшею пытливостью в делах веры, числом ссыльных несравненно превосходят индифферентных малороссов и белорусов, как в преступности по богохульству и отвлечению от веры, так и по ересям, расколам, скопчеству и т. п.

Русские подданные православного исповедания, во всяком случае, заявляют наибольшую наклонность лишь к бродяжничеству и тесно с ним связанной подделке документов (т. е. фальшивых паспортов). Сильная виновность православного населения России замечается еще в преступлениях убийства и в подделке ассигнаций, но в наклонности к убийствам православные уступают мусульманам, у которых она сильнее, а по процентным отношениям подделывателей ассигнаций и монеты над русскими преобладают евреи. Виновность в бродяжничестве ослаблена для русских в настоящее время совершившимся великим фактом — освобождением от крепостной зависимости. Последняя была основною причиною этого исключительного русского преступления.

Оглавление

Максимов Сергей Васильевич

Сибирь и каторга

Том I

Часть 1–2

12+

Ответственный редактор *Л. Сурис*
Верстальщик *Д. Ананьева*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru

НАШИ ПРОЕКТЫ

www.biblioclub.ru – Университетская библиотека онлайн, электронная библиотека для вузов и ссузов

www.lib.biblioclub.ru – Библиотека NON-FICTION, онлайн-библиотека научной и познавательной литературы

www.art.biblioclub.ru – Арт-портал «Мировая художественная культура» и Арт-библиотека, интерактивная галерея произведений мирового искусства

www.biblioschool.ru – «Библиошкола» и «Читающая школа», онлайн-библиотека школьной образовательной литературы и книг для внеклассного чтения

www.read-analytic.ru — «Аналитик чтения», программа для оценки сложности текстов и читательских компетенций учащихся

www.new-gi.ru — «Новое поколение», интеллектуальный центр дистанционных технологий

www.english-direct.ru — Ресурсный центр изучения иностранных языков и курсы иностранного языка онлайн

www.enc.biblioclub.ru — «Энциклопедиум», сайт классических, академических и авторских энциклопедий и онлайн-справочников

www.directacademia.ru — «Директ-Академия», учебно-методический центр обучения цифровым технологиям в образовании

www.lms.biblioclub.ru — Центр профессионального онлайн-обучения «Электронные курсы». Платформа дистанционного обучения